

МОЕМ

УИЛЪЯМ СОМЕРСЕТ

2

УИЛЪЯМ
СОМЕРСЕТ

МОЕМ

2.

УИЛЪЯМ
СОМЕРСЕТ
МОЭМ



УИЛЬЯМ
СОМЕРСЕТ

МОЭМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

Редколлегия:

Н. ДЕДУРОВА,

М. КЛИМОВА,

Н. МИХАЛЬСКАЯ,

В. СКОРОДЕНКО



Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1997

УИЛЬЯМ
СОМЕРСЕТ

МОЭМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

ЛУНА И ГРОШ

РОМАН

ПИРОГИ И ПИВО, ИЛИ СКЕЛЕТ В ШКАФУ

РОМАН

ТЕАТР

РОМАН

Перевод с английского



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1997

ББК 84(4ВЛ)

М 87

W. Somerset Maugham

1874—1965

Составление

В. СКОРОДЕНКО

Художественное оформление

С. КУЗЯКОВА

ISBN 5-280-03205-0 (Т. 2)

ISBN 5-280-03204-2

© Составление. Скороденко В., 1991 г.

© Оформление. Кузяков С., 1991 г.

ЛУНА И ГРОШ

Перевод Н. Ман

The Moon and Sixpence

1919

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда я познакомился с Чарлзом Стриклендом, мне, по правде говоря, и в голову не пришло, что он какой-то необыкновенный человек. А сейчас вряд ли кто станет отрицать его величие. Я имею в виду не величие удачливого политика или прославленного полководца, ибо оно относится скорее к месту, занимаемому человеком, чем к нему самому, и перемена обстоятельств нередко низводит это величие до весьма скромных размеров. Премьер-министр вне своего министерства сплошь и рядом оказывается болтливым фанфароном, а генерал без армии — всего-навсего пошловатым провинциальным львом. Величие Чарлза Стрикленда было подлинным величием. Вам может не нравиться его искусство, но равнодушны вы к нему не останетесь. Оно вас поражает, приковывает к себе. Прошли времена, когда оно было предметом насмешки, и теперь уже не считается признаком эксцентричности отстаивать его или извращенностью — его превозносить. Недостатки, ему свойственные, признаны необходимым дополнением его достоинств. Правда, идут еще споры о месте этого художника в искусстве, и весьма вероятно, что славословия его почитателей столь же безосновательны, как и пренебрежительные отзывы хулителей. Одно несомненно — это творение гения. Мне думается, что самое интересное в искусстве — личность художника, и если она оригинальна, то я готов простить ему тысячи ошибок. Веласкес как художник был, вероятно, выше Эль Греко, но к нему привыкаешь и уже не так восхищаешься им, тогда как чувственный и трагический критянин открывает нам вечную жертвенность своей души. Актер, художник, поэт или музыкант своим искусством, возвышенным или прекрасным, удовлетворяет эстетическое чувство;

но это варварское удовлетворение, оно сродни половому инстинкту, ибо он отдает вам еще и самого себя. Его тайна увлекательна, как детективный роман. Это загадка, которую не разгадать, все равно как загадку вселенной. Самая незначительная из работ Стрикленда свидетельствует о личности художника — своеобразной, сложной, мученической. Это-то и не оставляет равнодушными к его картинам даже тех, кому они не по вкусу, и это же пробудило столь острый интерес к его жизни, к особенностям его характера.

Со дня смерти Стрикленда не прошло и четырех лет, когда Морис Гюре опубликовал в «Меркюр де Франс» статью, которая спасла от забвения этого художника. По тропе, проложенной Гюре, устремились с бóльшим или меньшим рвением многие известные литераторы: уже долгое время ни к одному критику во Франции так не прислушивались, да и правда, его доводы не могли не произвести впечатление; они казались экстравагантными, но последующие критические работы подтвердили его мнение, и слава Чарлза Стрикленда с тех пор зиждется на фундаменте, заложенном этим французом.

То, как забрезжила эта слава, пожалуй, один из самых романтических эпизодов в истории искусства. Но я не собираюсь заниматься разбором искусства Чарлза Стрикленда или лишь постольку, поскольку оно характеризует его личность. Я не могу согласиться с художниками, спесиво утверждающими, что непосвященный обязательно ничего не смыслит в живописи и должен откликаться на нее только молчанием или чековой книжкой. Нелепейшее заблуждение — почитать искусство за ремесло, до конца понятное только ремесленнику. Искусство — это манифестация чувств, а чувство говорит общепринятым языком. Согласен я только с тем, что критика, лишенная практического понимания технологии искусства, редко высказывает сколько-нибудь значительные суждения, а мое невежество в живописи беспредельно. По счастью, мне нет надобности пускаться в подобную авантюру, так как мой друг мистер Эдуард Леггат, талантливый писатель и превосходный художник, исчерпывающе проанализировал творчество Стрикленда в своей небольшой книжке¹, которую я бы назвал образцом изящного стиля, культивируемого во Франции со значительно бóльшим успехом, нежели в Англии.

¹ Леггат Эдуард. Современный художник. Заметки о творчестве Чарлза Стрикленда. Мартин Секер, 1917. (Примеч. автора.)

Морис Гюре в своей знаменитой статье дал жизнеописание Стрикленда, рассчитанное на то, чтобы возбудить в публике интерес и любопытство. Одержимый бескорыстной страстью к искусству, он стремился привлечь внимание истинных знатоков к таланту, необыкновенно своеобразному, но был слишком хорошим журналистом, чтобы не знать, что «чисто человеческий интерес» способствует скорейшему достижению этой цели. И когда те, кто некогда встречались со Стриклендом — писатели, знавшие его в Лондоне, художники, сидевшие с ним бок о бок в кафе на Монмартре, — к своему удивлению, открыли, что тот, кто жил среди них и кого они принимали за жалкого неудачника, — подлинный гений, в журналы Франции и Америки хлынул поток статей. Эти воспоминания и восхваления, подливая масла в огонь, не удовлетворяли любопытства публики, а только еще больше его разжигали. Тема была благодарная, и усердный Вейтбрехт-Ротгольц в своей внушительной монографии¹ привел уже длинный список высказываний о Стрикленде.

В человеке заложена способность к мифотворчеству. Поэтому люди, алчно впитывая в себя ошеломляющие или таинственные рассказы о жизни тех, что выделались из среды себе подобных, творят легенду и сами же проникаются фанатической верой в нее. Это бунт романтики против заурядности жизни.

Человек, о котором сложена легенда, получает паспорт на бессмертие. Иронический философ усмехается при мысли, что человечество благоговейно хранит память о сэре Уолтере Рэли, водрузившем английский флаг в до того неведомых землях, не за этот подвиг, а за то, что он бросил свой плащ под ноги королеве-девственнице. Чарлз Стрикленд жил в неизвестности. У него было больше врагов, чем друзей. Поэтому писавшие о нем старались всевозможными домыслами пополнить свои скудные воспоминания, хотя и в том малом, что было о нем известно, нашлось бы довольно материала для романтического повествования. Много в его жизни было странного и страшного, натура у него была неистовая, судьба обходилась с ним безжалостно. И легенда о нем мало-помалу обросла такими подробностями, что разумный историк никогда не отважился бы на нее посягнуть.

¹ Вейтбрехт-Ротгольц Гуго, доктор философии. Карл Стрикленд. Его жизнь и искусство. Швингель и Ганиш, Лейпциг, 1914. (Примеч. автора.)

Но преподобный Роберт Стрикленд не был разумным историком. Он писал биографию своего отца¹, видимо, лишь затем, чтобы «разъяснить некоторые получившие хождение неточности», касающиеся второй половины его жизни и «причинившие немало горя людям, живым еще и поныне». Конечно, многое из того, что рассказывалось о жизни Стрикленда, не могло не шокировать почтенное семейство. Я от души забавлялся, читая труд Стрикленда-сына, и меня это даже радовало, ибо он был крайне сер и скучен. Роберт Стрикленд нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзегезой (толкованьем текста), а ловкость, с которой пастор Стрикленд «интерпретировал» все факты из жизни отца, «не устраивающие» почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокочеловеческое положение в церковной иерархии. Мысленно я уже видел лиловые епископские чулки на его мускулистых икрах. Это была затея смелая, но рискованная. Легенда немало способствовала росту славы его отца, ибо одних влекло к искусству Стрикленда отвращение, которое они испытывали к нему как к личности, других — сострадание, которое им внушала его гибель, а посему благонамеренные усилия сына странным образом охладили пыл почитателей отца. Не случайно же «Самаритянка»², одна из значительнейших работ Стрикленда, после дискуссии, вызванной опубликованием новой биографии, стоила на 235 фунтов дешевле, чем девять месяцев назад, когда ее купил известный коллекционер, вскоре внезапно скончавшийся, отчего картина и пошла опять с молотка.

Возможно, что Стриклендову искусству недостало бы своеобразия и могучей притягательной силы, чтобы оправиться от такого удара, если бы человечество, приверженное к мифу, с досадой не отбросило версии, посягнувшей на наше пристрастие к необычному, тем более что вскоре вышла в свет работа доктора Вейтбрехта-Ротгольца, рассеявшая все горестные сомнения любителей искусства.

Доктор Вейтбрехт-Ротгольц принадлежит к школе историков, которая не только принимает на веру, что челове-

¹ Стрикленд Роберт. Стрикленд. Человек и его труд. Уильям Хайнеман, 1913. (Примеч. автора.)

² Эта картина описана в каталоге Кристи следующим образом: «Обнаженная женщина, уроженка островов Товарищества, лежит на берегу ручья на фоне тропического пейзажа с пальмами, бананами и т. д.»; бо 48 дюймов × 48 дюймов. (Примеч. автора.)

ческая натура насквозь порочна, но старается еще больше очернить ее. И конечно, представители этой школы доставляют куда больше удовольствия читателям, чем коварные историки, предпочитающие выводить людей недюжинных, овеянных дымкой романтики в качестве образцов семейной добродетели. Меня, например, очень огорчила бы мысль, что Антония и Клеопатру не связывало ничего, кроме экономических интересов. И право, понадобились бы необычайно убедительные доказательства, чтобы заставить меня поверить, будто Тиберий был не менее благонамеренным монархом, чем король Георг V.

Доктор Вейтбрехт-Ротгольц в таких выражениях расправился с добродетельнейшей биографией, вышедшей из-под пера его преподобия Роберта Стрикленда, что, право же, становилось жаль злополучного пастыря. Его деликатность была объявлена лицемерием, его уклончивое многословие — сплошным враньем, его умолчания — предательством. На основании мелких погрешностей против истины, достойных порицания у писателя, но вполне простительных сыну, вся англосаксонская раса разносилась в пух и прах за ханжество, глупость, претенциозность, коварство и мошеннические проделки. Я лично считаю, что мистер Стрикленд поступил опрометчиво, когда для опровержения слухов о «неладах» между его отцом и матерью сослался на письмо Чарлза Стрикленда из Парижа, в котором тот называл ее «достойной женщиной», ибо доктор Вейтбрехт-Ротгольц раздобыл и опубликовал факсимиле этого письма, в котором черным по белому стояло: «Черт бы побрал мою жену. Она достойная женщина. Но я бы предпочел, чтобы она уже была в аду». Надо сказать, что церковь во времена своего величия поступала с неудобными ей свидетельствами иначе.

Доктор Вейтбрехт-Ротгольц был пламенным поклонником Чарлза Стрикленда, и читателю не грозила опасность, что он будет всеми способами его обелять. Кроме того, Вейтбрехт-Ротгольц умел безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий. Психопатолог в той же мере, что и искусствовед, он отлично разбирался в мире подсознательного. Ни одному мистика не удавалось лучше прозреть скрытый смысл в обыденном. Мистик видит несказанное, психопатолог — то, о чем не говорят. Это было увлекательное занятие — следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя. Он захлебывался от восторга, когда ему удавалось вытащить на свет божий еще один пример жестокости или низости, и ликовал, как инквизитор,

отправивший на костер еретика, когда какая-нибудь давно позабытая история подрывала сыновний пиетет его преподавателя Роберта Стрикленда. Трудолюбие его достойно изумления. Ни одна мелочь не ускользнула от него, и мы можем быть уверены, что если Чарльз Стрикленд когда-нибудь не заплатил по счету прачечной, то этот счет будет приведен *in extenso*¹, а если ему случилось не отдать взятые займы полкроны, то уж ни одна деталь этого преступного правонарушения не будет упущена.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Раз так много написано о Чарльзе Стрикленде, то стоит ли еще и мне писать о нем? Памятник художнику — его творения. Правда, я знал его ближе, чем многие другие: впервые я встретился с ним до того, как он стал художником, и нередко виделся с ним в Париже, где ему жилось так трудно. И все же я никогда не написал бы воспоминаний о нем, если бы случайности войны не забросили меня на Таити. Там, как известно, провел он свои последние годы, и там я познакомился с людьми, которые близко знали его. Таким образом, мне представилась возможность пролить свет на ту пору его трагической жизни, которая оставалась сравнительно темной. Если Стрикленд, как многие считают, и вправду великий художник, то, разумеется, интересно послушать рассказы тех, кто изо дня в день встречался с ним. Чего бы мы не дали теперь за воспоминания человека, знавшего Эль Греко не хуже, чем я Чарльза Стрикленда?

Впрочем, я не уверен, что все эти оговорки так уж нужны. Не помню, какой мудрец советовал людям во имя душевного равновесия дважды в день проделывать то, что им неприятно; лично я в точности выполняю это предписание, ибо каждый день встаю и каждый день ложусь в постель. Но, будучи по натуре склонным к аскетизму, я еженедельно изнуряю свою плоть еще более жестоким способом, а именно: читаю литературное приложение к «Таймс».

Поистине это душеспасительная епитимья — размышлять об огромном количестве книг, вышедших в свет, о сладостных надеждах, которые возлагают на них авторы, и о судьбе, ожидающей эти книги. Много ли шансов у отдельной книги пробить себе дорогу в этой сутолоке? А если

¹ Полностью (*лат.*).

ей даже сужден успех, то ведь ненадолго. Один бог знает, какое страдание перенес автор, какой горький опыт остался у него за плечами, какие сердечные боли терзали его, и все лишь для того, чтобы его книга часок-другой поразвлекала случайного читателя или помогла ему разогнать дорожную скуку. А ведь, если судить по рецензиям, многие из этих книг превосходно написаны, авторами вложено в них немало мыслей, а некоторые — плод неустанного труда целой жизни. Из всего этого я делаю вывод, что удовлетворения писатель должен искать только в самой работе и в освобождении от груза своих мыслей, оставаясь равнодушным ко всему привходящему — к хуле и хвалу, к успеху и провалу.

Но вместе с войной пришло новое отношение к вещам. Молодежь поклонилась богам, в наше время неведомым, и теперь уже ясно видно направление, по которому двинутся те, что будут жить после нас. Младшее поколение, неугомонное и сознающее свою силу, уже не стучится в двери — оно ворвалось и уселось на наши места. Воздух сотрясается от их крика. Старцы подражают повадкам молодежи и селятся уверить себя, что их время еще не прошло. Они шумят заодно с юнцами, но из их ртов вырывается не воинственный клич, а жалобный писк; они похожи на старых распутниц, с помощью румян и пудры старающихся вернуть себе былую юность. Более мудрые с достоинством идут своей дорогой. В их сдержанной улыбке проглядывает снисходительная насмешка. Они помнят, что в свое время так же шумно и презрительно вытесняли предшествующее, уже усталое поколение, и предвидят, что нынешним бойким факельщикам вскоре тоже придется уступить свое место. Последнего слова не существует. Новый завет был уже стар, когда Ниневия возносила к небу свое величие. Смелые слова, которые кажутся столь новыми тому, кто их произносит, были, и почти с теми же интонациями, произнесены уже сотни раз. Маятник раскачивается взад и вперед. Движение неизменно совершается по кругу.

Бывает, что человек зажился и из времени, в котором ему принадлежало определенное место, попал в чужое время, — тогда это одна из забавнейших сцен в человеческой комедии. Ну кто, к примеру, помнит теперь о Джордже Краббе? А он был знаменитый поэт в свое время, и человечество признавало его гений с единодушием, в наше более сложное время уже немыслимым. Он был выучеником Александра Попа и писал нравоучительные рассказы рифмованными двустушиями. Но разразилась Французская революция, затем наполеоновские войны, и поэты запели новые песни,

Крабб продолжал писать нравоучительные рассказы рифмованными двусишиями. Надо думать, он читал стихи юнцов, учинивших такой переполох в мире, и считал их вздором. Конечно, многое в этих стихах и было вздором. Но оды Китса и Вордсворта, несколько поэм Кольриджа и в еще большей степени Шелли открыли человечеству ранее неведомые и обширные области духа. Мистер Крабб был глуп как баран: он продолжал писать нравоучительные истории рифмованными двусишиями. Я прочитываю иногда то, что пишут молодые. Может быть, более пылкий Китс и более возвышенный Шелли уже выпустили в свет новые творения, которые навек запомнит благодарное человечество. Не знаю. Я восхищаюсь тщательностью, с которой они отделяют то, что выходит у них из-под пера, — юность эта так закончена, что говорить об обещаниях, конечно, уже не приходится. Я дивлюсь совершенству их стиля; но все их словесные богатства (сразу видно, что в детстве они заглядывали в «Словарь» Роже) ничего не говорят мне. На мой взгляд, они знают слишком много и чувствуют слишком поверхностно; я не терплю сердечности, с которой они похлопывают меня по спине, и взволнованности, с которой бросаются мне на грудь. Их страсть кажется мне худосочной, их мечты — скучноватыми. Я их не люблю. Я завяз в другом времени. Я по-прежнему буду писать нравоучительные истории рифмованными двусишиями. Но я был бы трижды дурак, если бы делал это не только для собственного развлечения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Но все это между прочим.

Я был очень молод, когда написал свою первую книгу. По счастливой случайности она привлекла к себе внимание, и различные люди стали искать знакомства со мной.

Не без грусти предаюсь я воспоминаниям о литературном мире Лондона той поры, когда я, робкий и взволнованный, ступил в его пределы. Давно уже я не бывал в Лондоне, и если романы точно описывают характерные его черты, то, значит, многое там изменилось. И кварталы, в которых главным образом протекает литературная жизнь, теперь иные. Хэмпстед, Ноттинг-Хилл-гейт, Хай-стрит и Кенсингтон уступили место Челси и Блумсбери. В те времена писатель моложе сорока лет привлекал к себе внимание, теперь писатели старше двадцати пяти лет — комические фигуры. Тогда мы конфузились своих чувств,

и страх показаться смешным смягчал проявления самонадеянности. Не думаю, чтобы тогдашняя богема очень уж заботилась о строгости нравов, но я не помню и такой неразборчивости, какая, видимо, процветает теперь. Мы не считали себя лицемерами, если покров молчания прикрывал наши безрассудства. Называть вещи своими именами у нас не считалось обязательным, да и женщины в ту пору еще не научились самостоятельности.

Я жил неподалеку от вокзала Виктория и совершал долгие путешествия в омнибусе, отправляясь в гости к радужным литераторам. Прежде чем набраться храбрости и дернуть звонок, я долго шагал взад и вперед по улице и потом, замирая от страха, входил в душную комнату, битком набитую народом. Меня представляли то одной, то другой знаменитости, и я краснел до корней волос, выслушивая добрые слова о своей книге. Я чувствовал, что от меня ждут остроумных реплик, но таковые приходили мне в голову лишь по окончании вечера. Чтобы скрыть свою робость, я усердно передавал соседям чай и плохо нарезанные бутерброды. Мне хотелось остаться незамеченным, чтобы спокойно наблюдать за этими великими людьми, спокойно слушать их умные речи.

Мне помнятся дородные, чопорные дамы, носатые, с жадными глазами, на которых платья выглядели как доспехи, и сублильные, похожие на мышек, старые девы с кротким голоском и колючим взглядом. Я точно зачарованный смотрел, с каким упорством они, не сняв перчаток, поглощают поджаренный хлеб и потом небрежно вытирают пальцы о стулья, воображая, что никто этого не замечает. Для мебели это, конечно, было плохо, но хозяйка, надо думать, отыгрывалась на стульях своих друзей, когда в свою очередь бывала у них в гостях. Некоторые из этих дам одевались по моде и уверяли, что не желают ходить чучелами только оттого, что пишут романы: если у тебя изящная фигура, то старайся это подчеркнуть, а красивые туфли на маленькой ножке не помешали еще ни одному издателю купить у тебя твою «продукцию». Другие, напротив, считая такую точку зрения легкомысленной, наряжались в платья фабричного производства и нацепляли на себя поистине варварские украшения. Мужчины, как правило, имели вполне корректный вид. Они хотели выглядеть светскими людьми и при случае вправду могли сойти за старших конторщиков солидной фирмы. Вид у них всегда был утомленный. Я никогда прежде не видел писателей, и они казались мне несколько странными и даже какими-то ненастоящими.

Их разговор я находил блистательным и с удивлением слушал, как они поносили любого собрата по перу, едва только он повернется к ним спиной. Преимущество людей артистического склада заключается в том, что друзья дают им повод для насмешек не только своим внешним видом или характером, но и своими трудами. Я был убежден, что никогда не научусь выражать свои мысли так изящно и легко, как они. В те времена разговор считали искусством; меткий, находчивый ответ ценился выше подспудного глубокомыслия, и эпиграмма, еще не ставшая механическим приспособлением для переплавки глупости в остроумие, оживляла салонную болтовню. К сожалению, я не могу припомнить ничего из этих словесных фейерверков. Но мне думается, что беседы становились всего оживленнее, когда они касались чисто коммерческой стороны нашей профессии. Обсудив достоинства новой книги, мы, естественно, начинали говорить о том, сколько экземпляров ее распродано, какой аванс получен автором и сколько еще дохода она ему принесет. Далее речь неизменно заходила об издателях, щедрость одного противопоставлялась мелочности другого; мы обсуждали, с каким из них лучше иметь дело: с тем, кто не скупится на гонорары, или с тем, кто умеет «протолкнуть» любую книгу. Одни умели рекламировать автора, другим это не удавалось. У одного издателя был нюх на современность, другого отличала старомодность. Затем разговор перескакивал на комиссионеров, на заказы, которые они добывали для нас, на редакторов газет, на характер нужных им статей, на то, сколько платят за тысячу слов и как платят — аккуратно или задерживают гонорар. Мне все это казалось весьма романтичным. Я чувствовал себя членом некоего тайного братства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Никто не принимал во мне тогда больше участия, чем Роза Уотерфорд. Мужской ум соединялся в ней с женским своенравием, а романы, выходявшие из-под ее пера, смущали читателей своей оригинальностью. У нее-то я и встретил жену Чарлза Стрикленда. Мисс Уотерфорд устраивала званный чай, и в ее квартирке набилось полным-полно народу. Все оживленно болтали, и я, молча сидевший в сторонке, чувствовал себя прескверно, но был слишком робок, чтобы присоединиться к той или иной группе гостей, казалось всецело поглощенных собственными делами. Мисс Уотер-

форд, как гостеприимная хозяйка, видя мое замешательство, поспешила мне на помощь.

— Вам надо поговорить с миссис Стрикленд,— сказала она.— Она в восторге от вашей книги.

— Чем занимается миссис Стрикленд? — осведомился я.

Я отдавал себе отчет в своем невежестве, и если миссис Стрикленд была известной писательницей, то мне следовало узнать это прежде, чем вступить с нею в разговор.

Роза Уотерфорд потупилась, чтобы придать больший эффект своим словам.

— Она угощает гостей завтраками. Если вы будете иметь успех, приглашение вам обеспечено.

Роза Уотерфорд была циником. Жизнь представлялась ей оказией для писания романов, а люди — необходимым сырьем. Время от времени она отбирала из этого сырья тех, кто восхищался ее талантом, зазывала их к себе и принимала весьма радушно. Беззлобно подсмеиваясь над их слабостью к знаменитым людям, она тем не менее умело разыгрывала перед ними роль прославленной писательницы.

Представленный миссис Стрикленд, я минут десять беседовал с нею с глазу на глаз. Я не заметил в ней ничего примечательного, разве что приятный голос. Она жила в Вестминстере, и окна ее квартиры выходили на недостроенную церковь; я жил в тех же краях, и это обстоятельство заставило нас почувствовать взаимное расположение. Универсальный магазин Армии и Флота служит связующим звеном для всех, кто живет между Темзой и Сент-Джеймским парком. Миссис Стрикленд спросила мой адрес, и несколькими днями позднее я получил приглашение к завтраку.

Я редко получал приглашения и потому принял его с удовольствием. Когда я пришел с небольшим опозданием, так как из страха явиться слишком рано три раза обошел кругом церкви, общество было уже в полном сборе: мисс Уотерфорд, миссис Джей, Ричард Туайнинг и Джордж Род. Словом, одни писатели. Стоял погожий весенний день, и настроение у собравшихся было отличное. Разговоры шли обо всем на свете. На мисс Уотерфорд, разрывавшейся между эстетическими представлениями ее юности (строгое зеленое платье, нарциссы в руках) и ветреностью зрелых лет (высокие каблуки и парижские туалеты), была новая шляпа. Это придавало ее речам необыкновенную резкость. Никогда еще она так зло не отзывалась о наших общих друзьях. Миссис Джей, убежденная, что непристойность — душа

остроумия, полушепотом отпускала остроты, способные вогнать в краску даже белоснежную скатерть. Ричард Туайнинг все время нес какую-то чепуху, а Джордж Род в горделивом сознании, что ему нет надобности щеголять своим остроумием, уже вошедшим в поговорку, открывал рот только затем, чтобы положить в него лакомый кусочек. Миссис Стрикленд говорила немного, но у нее был бесценный дар поддерживать общую беседу: чуть наступала пауза, она весьма кстати вставляла какое-нибудь замечание, и разговор снова оживлялся. Высокая, полная, но не толстая, лет так тридцати семи, она не отличалась красотой, но смугловатое лицо ее было приятно, главным образом из-за добрых карих глаз. Темные волосы она тщательно причесывала, не злоупотребляла косметикой и по сравнению с двумя другими дамами выглядела простой и безыскусственной.

Убранство ее столовой было очень строго, в соответствии с хорошим вкусом того времени. Высокая белая панель по стенам и на зеленых обоях гравюры Уистлера в изящных черных рамках. Зеленые портьеры с узором «павлиний глаз» строгими прямыми линиями ниспадали на зеленый же ковер, по углам которого среди пышных деревьев резвились блеклые кролики — несомненное влияние Уильяма Морриса. Каминная доска была уставлена синим дельфтским фаянсом. В те времена в Лондоне нашлось бы не меньше пятисот столовых, убранных в том же стиле — скромно, артистично и уныло.

Я вышел оттуда вместе с мисс Уотерфорд. Чудесный день и ее новая шляпа определили наше решение побродить по парку.

— Что ж, мы премило провели время, — сказал я.

— А как вы находите завтрак? Я внушила ей, что если хочешь видеть у себя писателей, то надо ставить хорошее угощение.

— Мудрый совет, — отвечал я. — Но на что ей писатели?

Мисс Уотерфорд пожалала плечами.

— Она их считает занимательными и не хочет отставать от моды. Она очень простодушна, бедняжка, и воображает, что все мы необыкновенные люди. Ей нравится кормить нас завтраками, а мы от этого ничего не теряем. Потому-то я и чувствую к ней симпатию.

Оглядываясь назад, я думаю, что миссис Стрикленд была еще самой безобидной из всех охотников за знаменитостями, преследующих свою добычу от изысканных высот Хэмпстеда до захудалых студий на Чейни-Уок. Юность она

тихо провела в провинции, и книги, присылаемые ей из столичной библиотеки, пленяли ее не только своей собственной романтикой, но и романтикой Лондона. У нее была подлинная страсть к чтению (редкая в людях, интересующихся больше авторами, чем их творениями, больше художниками, чем их картинами), она жила в воображаемом мире, пользуясь свободой, недоступной для нее в повседневности. Когда она познакомилась с писателями, ей стало казаться, что она попала на сцену, которую прежде видела только из зрительного зала. Она так их идеализировала, что ей и вправду думалось, будто, принимая их у себя или навещая их, она живет иною, более возвышенной жизнью. Правила, согласно которым они вели свою жизненную игру, ее не смущали, но она ни на мгновение не собиралась подчинить им свою собственную жизнь. Их вольные нравы, так же как необычная манера одеваться, их нелепые теории и парадоксы занимали ее, но ни в какой мере не влияли на ее убеждения.

— Скажите, а существует ли мистер Стрикленд? — поинтересовался я.

— О, конечно, он что-то делает в Сити. Кажется, биржевой маклер. Скучнейший малый!

— И они в хороших отношениях?

— Обожают друг друга. Вы его увидите, если она пригласит вас к обеду. Но у них редко обедают посторонние. Он человек смирный. И несколько не интересуется литературой и искусством.

— Почему это милые женщины так часто выходят за скучных мужчин?

— Потому что умные мужчины не женятся на милых женщинах.

Я ничего не смог на это возразить и спросил, есть ли у миссис Стрикленд дети.

— Да, девочка и мальчик. Оба учатся в школе.

Тема была исчерпана, и мы заговорили о другом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В течение лета я довольно часто виделся с миссис Стрикленд. Я посещал ее приятные интимные завтраки и куда более торжественные чаепития. Мы искренне симпатизировали друг другу. Я был очень молод, и, возможно, ей льстила мысль, будто она руководит моими первыми шагами на многотрудном поприще литературы, мне же было

приятно сознавать, что есть человек, к которому я всегда могу пойти с любимыми моими заботами в уверенности, что меня внимательно выслушают и дадут разумный совет. У миссис Стрикленд был дар сочувствия. Прекрасное качество, но те, что его сознают в себе, нередко им злоупотребляют: с алчностью вампира впиваются они в беды друзей, лишь бы найти применение своему таланту. Они обрушивают на свои жертвы сочувствие, и оно бьет точно нефтяной фонтан, еще хуже запутывая их дела. На иную грудь пролито уже столько слез, что я бы не решился увлажнять ее еще своими. Миссис Стрикленд не злоупотребляла этим даром, но, принимая ее сочувствие, вы явно доставляли ей радость. Когда я с юношеской непосредственностью поделился этим наблюдением с Розой Уотерфорд, она сказала:

— Молоко пить приятно, особенно с бренди, но корова жаждет от него избавиться. Разбухшее вымя — пренеприятная штука.

У Розы Уотерфорд язык был как шпанская мушка. Никто не умел злее съязвить, но, с другой стороны, никто не мог наговорить более милых слов.

В миссис Стрикленд мне нравилась еще одна черта — ее умение элегантно жить. В доме у нее всегда было очень чисто и уютно, повсюду пестрели цветы, и кретон в гостиной, несмотря на строгий рисунок, выглядел светло и радостно. Кушанья у нее были отлично приготовлены, стол маленькой артистичной столовой — изящно сервирован, обе горничные щегольски одеты и миловидны. Сразу бросалось в глаза, что миссис Стрикленд — превосходная хозяйка. И уж конечно превосходная мать. Гостиную украшали фотографии ее детей. Сын Роберт, юноша лет шестнадцати, учился в Регби; на одной фотографии он был снят в спортивном костюме, на другой — во фраке со стоячим воротничком. У него, как и у матери, был чистый лоб и красивые задумчивые глаза. Он производил впечатление чистоплотного, здорового, вполне заурядного юноши.

— Не думаю, чтобы он был очень умен, — сказала она однажды, заметив, что я вглядываюсь в фотографию, — но зато он добрый и славный мальчик.

Дочери было четырнадцать лет. Ее волосы, темные и густые, как у матери, волнами спадали на плечи. И у нее тоже лицо было доброе, а глаза безмятежные.

— Они оба — ваш портрет, — сказал я.

— Да, они больше похожи на меня, чем на отца.

— Почему вы так и не познакомили меня с вашим мужем? — спросил я.



— Вы этого хотите?

Она улыбнулась — улыбка у нее и правда была прелестная — и слегка покраснела. Я всегда удивлялся, что женщина ее возраста так легко краснеет. Но наивность была, пожалуй, главным ее очарованием.

— Он ведь совсем чужд литературе, — сказала она. — Настоящий обыватель.

Она сказала это без тени пренебрежительности, скорее нежно, словно стараясь защитить его от нападок своих друзей.

— Он играет на бирже, типичнейший биржевой маклер. Вы с ним умрете с тоски.

— Вы тоже скучаете с ним?

— Нет, но ведь я его жена. И я очень к нему привязана.

Она улыбнулась, стараясь скрыть свое смущение, и мне показалось, что она боится, как бы я не отпустил какой-нибудь шуточки в духе Розы Уотерфорд. Она помолчала. В глазах у нее светилась нежность.

— Он не воображает себя гением и даже не очень много зарабатывает на бирже. Но он удивительно хороший и добрый человек.

— Думаю, что мне он придется по душе.

— Я приглашу вас как-нибудь отобедать с нами в семейном кругу, но, если вам будет скучно, пеняйте на себя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Обстоятельства сложились так, что, встретившись наконец с Чарлзом Стриклендом, я толком не познакомился с ним. Однажды утром мне принесли письмецо миссис Стрикленд, в котором говорилось, что сегодня вечером она ждет гостей к обеду, и, так как один из ранее приглашенных не может прийти, она предлагает мне занять его место. В записке стояло:

«Считаю своим долгом предупредить вас, что скука будет отчаянная. По составу гостей это неизбежно. Но если вы все-таки придете, я буду бесконечно вам признательна. Мы улучим минутку и поболтаем с глазу на глаз».

Я решил, что добрососедские отношения велят мне явиться.

Когда миссис Стрикленд представила меня своему мужу, он довольно сухо пожал мне руку.

Живо обернувшись к нему, она шутливо заметила:

— Я пригласила его, чтобы показать, что у меня действительно есть муж. По-моему, он уже начал в этом сомневаться.

Стрикленд учтиво улыбнулся — так улыбаются в ответ на шутку, в которой нет ничего смешного, — но ни слова не сказал. Новые гости отвлекли от меня внимание хозяина, и я снова был предоставлен самому себе. Когда все были уже в сборе и я занимал разговором даму, которую мне было назначено вести к столу, мне невольно подумалось, что цивилизованные люди невероятно изобретательны в способах расходовать свою краткую жизнь на докучные церемонии. Это был один из тех обедов, когда невольно дивишься: зачем хозяйка утруждает себя приемом гостей и зачем гости взяли на себя труд прийти к ней. За столом было десять человек. Они встретились равнодушно, и разойтись им предстояло со вздохом облегчения. Такой обед был отбыванием светской повинности. Стрикленды «должны» были пригласить отобедать этих людей, ничуть им не интересных. Они выполняли свой долг, а гости — свой. Почему? Чтобы избегнуть скуки сидеть за столом tête-à-tête, чтобы дать отдохнуть прислуге, потому что не было резонов отказать или потому что хозяева «задолжали» им обед?

В столовой было довольно-таки тесно. За столом сидели известный адвокат с супругой, правительственный чиновник с супругой, сестра миссис Стрикленд с мужем, полковником Мак-Эндрю, и супруга одного члена парламента. Так как сам член парламента решил, что в этот день ему нельзя отлучиться из палаты, то на его место пригласили меня. В респектабельности этой компании было что-то невыносимое. Женщины были слишком манерны, чтобы быть хорошо одетыми, и слишком уверены в своем положении, чтобы быть занимательными. Мужчины являли собой воплощенную солидность. От них так и веяло самодовольством.

Все говорили несколько громче обычного, повинуюсь инстинктивному желанию оживить общество, и в комнате стоял шум. Но общий разговор не клеился. Каждый обращался только к своему соседу: к соседу справа — во время закуски, супа и рыбы, к соседу слева — во время жаркого, овощей и десерта. Говорили о политике и гольфе, о детях и последней премьере, о картинах, выставленных в Королевской академии, о погоде и планах на лето. Разговоры не умолкали ни на одно мгновение, и шум усиливался. Миссис Стрикленд имела все основания радоваться — обед удался на славу. Муж ее с достоинством играл роль хозяина. Пожалуй, он был только слишком молчалив, и под конец

мне показалось, что на лицах обеих его соседок появилось выражение усталости. Видимо, он им наскучил. Раз или два тревожный взгляд миссис Стрикленд останавливался на нем.

После десерта она поднялась, и дамы гуськом последовали за нею в гостиную. Стрикленд закрыл за ними дверь и, перейдя на другой конец стола, сел между известным адвокатом и правительственным чиновником. Он налил всем по рюмке портвейна и стал угощать нас сигарами. Адвокат нашел вино превосходным, и Стрикленд сообщил, где оно куплено. Разговор завертелся вокруг вин и табака. Потом адвокат рассказал о судебном процессе, который он вел, а полковник стал распространяться об игре в поло. Мне нечего было сказать, и я сидел молча, стараясь из учтивости выказывать интерес к разговору других; никому не было до меня дела, и я стал на досуге разглядывать Стрикленда. Он оказался выше, чем я думал; почему-то я воображал, что Стрикленд — худощавый, невзрачный человек; на деле он был широкоплеч, грузен, руки и ноги у него были большие, и вечерний костюм сидел на нем мешковато. Чем-то он напоминал принарядившегося кучера. Это был мужчина лет сорока, отнюдь не красавец, но и не урод; черты лица его, довольно правильные, но странно крупные, производили невыгодное впечатление. Бритое большое лицо казалось неприятно обнаженным. Волосы у него были рыжеватые, коротко остриженные, глаза не то серые, не то голубые. В общем, внешность самая заурядная. Я понял, почему миссис Стрикленд немного стеснялась его: не такой муж нужен женщине, стремящейся добиться положения в обществе литераторов и артистов. Он был явно лишен светского лоска, но это качество не обязательное; он даже не выделялся какими-нибудь чудачествами. Это был просто добродушный, скучный, честный, заурядный малый. Некоторые его качества, может быть, и заслуживали похвалы, но стремиться к общению с ним было невозможно. Он был равен нулю. Пусть он добропорядочный член общества, хороший муж и отец, честный маклер, но терять на него время, право же, не стоило!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Сезон уже подходил к своему пыльному концу, и все вокруг готовились к отъезду. Миссис Стрикленд с семьей собиралась в Норфолк, там дети могли наслаждаться морем, а супруг — игрою в гольф. Мы с нею распростились, угово-

рившись встретиться осенью. Но накануне своего отъезда я столкнулся с нею и с ее детьми в дверях магазина; она, как и я, делала последние закупки перед отъездом из Лондона и, так же, как я, чувствовала себя усталой и разгоряченной. Я предложил им пойти в парк и поесть мороженого.

Миссис Стрикленд, вероятно, была рада показать мне своих детей и с готовностью согласилась на мое предложение. Дети ее в жизни выглядели еще привлекательнее, чем на фотографиях, и она по праву гордилась ими. Я был еще молод, а потому они меня не стеснялись и болтали направо и налево. Это были удивительно милые, пышущие здоровьем юные создания. И сидеть под деревьями тоже было приятно.

Час спустя она кликнула кеб и уехала домой, а я, чтобы скоротать время, пошел в клуб. В этот день у меня было как-то тоскливо на душе, и я ощутил даже некоторую зависть к семейному благополучию, с которым только что соприкоснулся. Все они, видимо, очень любили друг друга. Они то и дело вставляли в разговор какие-то словечки, ничего не говорившие постороннему, им одним понятные и смешившие их до упаду. Возможно, что Чарлз Стрикленд был скучным человеком, если подходить к нему с меркой, превыше всего ставящей словесный блеск, но его интеллект соответствовал среде, в которой он жил, а это уже залог не только известного успеха, но и счастья. Миссис Стрикленд была прелестная женщина и любила его. Я представил себе, как течет их жизнь, ничем не замутненная, честная, мирная и благодаря подрастающим прелестным детям, предназначенным продолжать здоровые традиции их расы и условия, наполненная содержанием. «Наверно, они тихо доживут до глубокой старости,— думал я,— увидят своих детей зрелыми людьми; сын их женится, как и надлежит, на хорошенькой девушке, будущей матери здоровых ребятешек; дочь выйдет замуж за красивого молодого человека, скорей всего военного; и вот в преклонных годах, среди окружающего их благоденствия, оплаканные детьми и внуками, они отойдут в вечность, прожив счастливую и бесполезную жизнь».

Такова, вероятно, история бесчисленных супружеств, и, право же, в подобной жизни есть своя безыскусственная прелесть. Она напоминает тихий ручеек, что безмятежно струится по зеленеющим лугам и в тени густых деревьев, куда не упадет в безбрежное море; но море так спокойно, так тихо и равнодушно, что в душу внезапно закрадывается смутная печаль. Или, может, это просто странность моей

натуры, сказавшаяся уже в те годы, но такая участь огромного большинства всегда казалась мне пресноватой. Я признавал ее общественную ценность, видел ее упорядоченное счастье, но жаркая кровь во мне алкала иной, мятежной доли. Столь доступные радости пугали меня. Мое сердце рвалось к более опасной жизни. Пусть встретятся на моем пути рифы и предательские мели, лишь бы не так монотонно текла жизнь, лишь бы познать радость нечаянного, непредвиденного.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Перечитав все написанное мною о Стриклендах, я вижу, что они получились у меня довольно блеклыми фигурами. Мне не удалось придать им ни одной из тех характерных черт, которые заставляют персонажей книги жить своей собственной, реальной жизнью; полагая, что это моя вина, я долго ломал себе голову, стараясь припомнить какие-нибудь особенности, могущие вдохнуть в них жизнь. Я уверен, что, обыграв какое-нибудь излюбленное слово или странную привычку, я бы сделал своих героев куда более значительными. А так они, точно выцветшие фигуры на шпалерах, слились с фоном, на расстоянии вовсе утратили свой облик и воспринимаются лишь как приятные для глаза мазки. Единственным моим оправданием служит то, что именно такими они мне казались. В них была расплывчатость, свойственная людям, которые, являясь частью социального организма, существуют лишь в нем и благодаря ему. Эти люди напоминают клетки в тканях нашего тела, необходимые, но, покуда они здоровы, не замечаемые нами. Стрикленды были обычной буржуазной семьей. Милая, гостеприимная жена с безобидным пристрастием к второразрядным литературным львам; довольно скучный муж, честно выполняющий свои обязанности на том самом месте, на какое его поставил господь бог; миловидные здоровые дети. Трудно встретить более заурядное сочетание. В них не было ничего такого, что могло бы привлечь внимание любопытного.

Вспоминая все, что случилось в дальнейшем, я спрашиваю себя: может, я просто дурак, если не разглядел в Чарлзе Стрикленде ничего, что отличало бы его от простого обывателя. Возможно! Думается, что за годы, отделяющие то время от нынешнего, я хорошо узнал людей, но, даже если бы весь мой опыт был при мне тогда, когда я впервые встретил Стриклендов, я уверен, что отнесся бы к ним точно

так же. С одной только разницей — уразумев, что человек полон неожиданностей, я не был бы так потрясен сообщением, которое услышал по осени, вернувшись в Лондон.

На следующий же день после моего возвращения я столкнулся на Джермин-стрит с Розой Уотерфорд.

— Вид у вас весьма оживленный, — заметил я. — В чем дело?

Она улыбнулась, и в глазах ее мелькнуло злорадство. Причину его я понял немедленно: она прознала о скандальной истории, случившейся с кем-нибудь из ее друзей, и все чувства этой литературной дамы пришли в волнение.

— Вы ведь знакомы с Чарлзом Стриклендом?

Не только ее лицо, вся ее фигура выражала полную боевую готовность. Я кивнул и подумал, что бедняга, наверно, попал под омнибус или же проигрался на бирже.

— Ужасная история! Он бросил жену!

Мисс Уотерфорд, конечно, чувствовала, что тротуар на Джермин-стрит не место для дальнейшего развития этого разговора, и, как натура артистическая, ошеломила меня только самым фактом, заявив, что никаких подробностей она не знает. Я, правда, усомнился, чтобы такая мелочь, как городская сутолока, могла помешать ей, но она стояла на своем.

— Говорят вам, я ничего не знаю, — отвечала она на все мои взволнованные расспросы и, слегка передернув плечами, добавила: — Думаю, что какая-нибудь смазливая девица оставила свою службу в кафе.

Она очаровательно улыбнулась и, пояснив, что ее ждет зубной врач, удалилась, бойко стуча каблуками.

Я был скорее заинтригован, чем огорчен. В ту пору мой непосредственный житейский опыт был очень невелик, и меня потрясло, что вот среди моих знакомых случилось нечто такое, о чем я прежде только читал в романах. Позднее я привык к подобным событиям в окружавшей меня среде, но тогда все это сильно меня смутило. Стрикленду было не менее сорока лет, и я не понимал, как это человеку столь почтенного возраста вздумалось пуститься в любовные авантюры. В своем юношеском высокомерии я полагал, что после тридцати пяти лет уже не влюбляются. Ко всему эта новость ставила меня самого в неудобное положение. Я еще из деревни написал миссис Стрикленд, что скоро возвращаюсь в Лондон и тотчас же приду к ней на чашку чаю, если, конечно, она не сочтет это нежелательным. Я обещал прийти как раз сегодня, но ответа от нее не получил. Хочет она меня видеть или не хочет? Возможно, что среди таких

волнений она попросту забыла о моем письме и разумнее воздержаться от визита. С другой стороны, может быть, она хочет сохранить всю историю в тайне, и я совершу бестактность, дав ей понять, что это странное известие уже дошло до моих ушей. Я боялся оскорбить чувства милейшей женщины и в равной мере боялся показаться навязчивым. Ясно, что она очень страдает, стоит ли смотреть на чужое горе, если ты бессилен ему помочь? И все-таки в глубине души, хоть я и стыдился своего любопытства, мне хотелось посмотреть, как она справляется со свалившейся на нее бедой. Одним словом, я находился в полной растерянности.

Затем я сообразил, что могу явиться как ни в чем не бывало и осведомиться через горничную, желает ли миссис Стрикленд меня видеть. Это даст ей возможность мне отказать. Все же я был вне себя от смущения, произнося перед горничной заранее приготовленную фразу, и, дожидаясь ответа в темной передней, напрягал все свои силы, чтобы попросту не удрать. Горничная воротилась. В своем возбуждении я почему-то решил, что ей все известно о несчастье, постигшем этот дом.

— Не угодно ли вам пройти вот сюда, сэръ,— сказала она.

Я последовал за нею в гостиную. Занавеси на окнах были почти задернуты, и миссис Стрикленд сидела спиной к свету. Ее зять, полковник Мак-Эндрю, стоял перед камином, греясь у незажженного огня. Мне было мучительно неловко. Я вообразил, что мое появление застало их врасплох и миссис Стрикленд велела просить меня только потому, что позабыла написать мне отказ. Полковник, решил я, возмущен моим вторжением.

— Я не был уверен, что вы пожелаете принять меня,— заговорил я с наигранной непринужденностью.

— Разумеется, пожелая. Энн сейчас подаст нам чай...

Даже в полутемной комнате я разглядел, что глаза миссис Стрикленд опухли от слез, а лицо ее, всегда несколько бледное, было землисто-серого цвета.

— Вы ведь, кажется, знакомы с моим зятем? Помнится, вы весною встретились у меня за обедом.

Мы пожали друг другу руки. Я так растерялся, что не находил слов, но миссис Стрикленд поспешила ко мне на выручку. Она осведомилась, как я провел лето, и с ее помощью я кое-как поддерживал разговор, пока не внесли чай. Полковник спросил себе виски с содовой.

— И вам я тоже советую выпить виски, Эми,— сказал он.

— Нет, я хочу чаю.

Это был первый намек на то, что случилась какая-то неприятность. Я пропустил его мимо ушей и приложил все усилия, чтобы вовлечь миссис Стрикленд в разговор. Полковник, стоявший у камина, не проронил ни слова. В душе я то и дело спрашивал себя, когда мне можно будет откланяться, и еще, зачем, собственно, вздумалось миссис Стрикленд принимать меня? В гостиной не было цветов, и всевозможные безделушки, убранные на лето, еще не были расставлены по местам; комната эта, обычно столь уютная, выглядела такой чопорной и угрюмой, что странным образом начинало казаться, будто за стеной лежит покойник. Я допил свой чай.

— Хотите сигарету? — спросила миссис Стрикленд.

Она оглянулась, ища коробку, но ее не оказалось под рукой.

— У нас, видимо, нет сигарет.

Внезапно она разразилась слезами и выбежала из комнаты.

Я опешил. Видимо, отсутствие сигарет, которые, как правило, покупал ее муж, больно резнуло ее, и новое чувство, что вот теперь некому позаботиться о доме, вызвало приступ боли. Она вдруг поняла, что прежняя ее жизнь кончилась навеки. Невозможно было дольше соблюдать светские условности.

— Я полагаю, мне лучше уйти, — сказал я полковнику и поднялся.

— Вы, верно, уже слышали, что этот негодяй бросил ее? — запальчиво крикнул он.

Я помедлил с ответом.

— Да, мне намекнули, что у них что-то неладно.

— Он сбежал. Отправился в Париж с какой-то особой. И оставил Эми без гроша.

— Как это печально, — сказал я, не зная, собственно, что сказать.

Полковник залпом выпил свое виски. Это был высокий, тощий мужчина лет пятидесяти, седоволосый, с обвисшими усами. Глаза у него были голубые, губы дряблые. Из прошлой встречи в памяти у меня осталось только его глупое лицо, и еще я запомнил, с какой гордостью он рассказывал, что до отставки лет десять подряд играл в поло не менее трех раз в неделю.

— По-моему, миссис Стрикленд сейчас совсем не до меня, — заметил я. — Передайте ей, что я очень скорблю за нее и почту за счастье быть ей чем-нибудь полезным.

Он меня даже не слушал.

— Не знаю, что с нею будет. Кроме всего прочего, у нее дети. Чем они будут жить? Воздухом? Семнадцать лет!

— Семнадцать лет? Что вы хотите этим сказать?

— Они были женаты семнадцать лет,— отрезал он.— Мне Стрикленд никогда не нравился. Конечно, он был моим свояком, и я ничего не мог сказать. Вы считаете его джентльменом? Не надо было ей выходить за него замуж.

— Так, значит, это окончательный разрыв?

— Ей остается только одно — развестись с ним. Я ей так и сказал: немедленно подавайте прошение о разводе, Эми. Это ваша обязанность перед собой и перед детьми тоже. Пусть он лучше мне на глаза не попадается. Я задам ему такую взбучку, что он своих не узнает.

Я невольно подумал, что полковнику Мак-Эндрю будет не так-то легко это сделать — Стрикленд был дюжий малый,— но промолчал. Как это печально, что оскорбленной добродетели не дано карать грешников. Я вторично сделал попытку откланяться, как вдруг вошла миссис Стрикленд. Она успела вытереть слезы и припудрить нос.

— Мне очень жаль, что я не совладала с собой,— сказала она.— Хорошо, что вы еще не ушли.

Она села. Я окончательно растерялся. Мне было неловко заговорить о предмете, вовсе меня не касающемся. В ту пору я еще не знал, что главный недостаток женщин — страсть обсуждать свои личные дела со всяким, кто согласен слушать. Миссис Стрикленд, казалось, сделала над собой усилие.

— Что, об этом уже много говорят? — спросила она.

Я был озадачен ее уверенностью в том, что мне известно несчастье, постигшее ее семью.

— Я только что вернулся. Я не видел никого, кроме Розы Уотерфорд.

Миссис Стрикленд стиснула руки.

— Скажите мне все, что вы от нее слышали.

Я промолчал, но она настаивала:

— Я хочу знать, во что бы то ни стало.

— Вы же знаете, что она охотница посудачить. Веры ее словам давать нельзя. Она сказала, что ваш муж оставил вас.

— И это все?

Я не считал возможным повторить прощальную реплику Розы Уотерфорд насчет девушки из кафе и соврал.

— Она не говорила, что он уехал с какой-то женщиной?

— Нет.

— Это все, что я хотела узнать.

Я стал в тупик, но все-таки сообразил, что теперь мне можно уйти. Прощаясь, я заверил миссис Стрикленд, что всегда буду к ее услугам. Она тускло улыбнулась.

— Благодарю вас. Но вряд ли найдется человек, который мог бы что-нибудь для меня сделать.

Слишком застенчивый, чтобы высказать ей свое соболезнование, я повернулся к полковнику, намереваясь проститься с ним. Он не взял моей руки.

— Я тоже уйду. Если вы идете по Виктория-стрит, то нам по пути.

— Отлично,— сказал я.— Идемте!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Скверная история,— проговорил он, едва мы вышли на улицу.

Я понял, что он пошел со мной, чтобы еще раз обсудить то, что уже часами обсуждал со свояченицей.

— Понимаете ли, мы даже не знаем, кто эта женщина,— сказал полковник.— Знаем только, что мерзавец отпавился в Париж.

— Мне всегда казалось, что они примерные супруги.

— Так оно и было. Как раз перед вашим приходом Эми говорила, что они ни разу не повздорили за все время совместной жизни. Вы знаете Эми. На свете нет женщины лучше.

После столь откровенных признаний я счел возможным задать ему несколько вопросов.

— Итак, вы полагаете, что она ни о чем не подозревала?

— Ни о чем. Август месяц он провел в Норфолке с нею и с детьми. И был такой же, как всегда. Мы с женой ездили туда на несколько дней, и я играл с ним в гольф. В сентябре он вернулся в город, так как его компаньон должен был уехать в отпуск, а Эми осталась на взморье. Они сняли дом на полтора месяца, и к концу своего пребывания там она написала ему, сообщая, в какой день они приедут в Лондон. Он ответил ей из Парижа. Написал, что больше не хочет жить с нею.

— Чем же он это объяснил?

— А он, голубчик мой, ничего не объяснил. Я читал письмо. В нем и всего-то было строчек десять, не больше.

— Ничего не понимаю.

В эту минуту мы как раз переходили улицу, и оживленное движение помешало нам продолжить разговор. То, что

мне рассказал полковник, звучало очень уж неправдоподобно, и я решил, что миссис Стрикленд что-то от него скрывает. Ясно, что после семнадцати лет супружества человек не оставляет жену без причин, которые должны заставить ее усомниться, так ли уж благополучна была их совместная жизнь. Полковник прервал мои размышления.

— Да и что он мог объяснить, кроме того, что удрал с какой-то особой женского пола. Он, наверно, решил, что об этом она и сама может догадаться. Вот какой это тип!

— Что же собирается предпринять миссис Стрикленд?

— Прежде всего мы должны получить доказательства. Я сам поеду в Париж.

— А что с его конторой?

— О, тут он повел себя очень хитро. Он целый год подготавливал себе отступление.

— Он предупредил компаньона о своем отъезде?

— И не подумал.

Полковник Мак-Эндрю разбирался в коммерческих вопросах крайне слабо, а я и вовсе не разбирался и потому так и не понял, в каком состоянии Стрикленд оставил свои дела. Судя по словам Мак-Эндрю, покинутый компаньон должен быть вне себя от гнева и, верно, уже грозит Стрикленду судебным преследованием. Похоже, что эта история обойдется ему фунтов в пятьсот.

— Еще слава богу, что обстановка квартиры принадлежит Эми. Она-то уж ей останется.

— Вы помнили об этом, говоря, что она осталась без гроша?

— Разумеется, помнил. У нее есть сотни две или три фунтов да вот эта мебель.

— Но на что же она будет жить?

— Это уж одному богу известно!

Все было, видимо, очень непросто, а негодующий полковник еще больше сбивал меня с толку. И я очень обрадовался, когда он, взглянув на часы на магазине Армии и Флота, вспомнил, что в клубе его ждут партнеры по карточной игре, и предоставил мне в одиночестве идти через Сент-Джеймский парк.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

День или два спустя миссис Стрикленд прислала мне записку, в которой спрашивала, не могу ли я зайти к ней вечером. Я застал ее одну. Черное, монашески простое

платье намекало на ее тяжелую утрату, и я в простоте душевной очень удивился, как она, с таким камнем на сердце, могла играть роль, по ее понятиям, ей подобающую.

— Вы сказали, что если я обращусь к вам с какой-нибудь просьбой, то вы не откажетесь ее исполнить,— сказала она.

— Да, конечно.

— Согласитесь ли вы поехать в Париж и встретиться с Чарли?

— Я?

Я был ошеломлен. Ведь я только однажды видел его. Что она намеревалась мне поручить?

— Фред собирается туда. (Фред был полковник Мак-Эндрю.) Но я уверена, что ему ехать нельзя. Он только все запутает. И я не знаю, кого мне об этом просить.

Голос ее слегка задрожал, и я почувствовал, что даже секунда колебания с моей стороны — свинство.

— Но я и двух слов не сказал с вашим мужем. Он меня не знает и скорей всего просто пошлет к черту.

— Вам от этого не будет ни жарко ни холодно,— улыбаясь, отвечала миссис Стрикленд.

— Как, по-вашему, я должен действовать?

На этот вопрос она не дала мне прямого ответа.

— По-моему, как раз хорошо, что он вас не знает. Видите ли, он никогда не любил Фреда. И всегда считал его дураком — военные ему чужды. Фред впадет в ярость, они поссорятся, и все выйдет только хуже, а не лучше. Если вы скажете, что явились к нему от моего имени, он обязан будет выслушать вас.

— Я ваш недавний знакомый,— отвечал я.— И я не понимаю, как может взяться за такое дело человек, не знающий о нем всех подробностей. Я не хочу совать свой нос в то, что меня не касается. Почему бы вам самой не поехать в Париж?

— Вы забываете, что он там не один.

Я прикусил язык. Мне уже мерещилось, как я вхожу в дом Чарлза Стрикленда и посылаю ему свою карточку. Вот он выходит ко мне, держа ее двумя пальцами:

— Чему я обязан честью?

— Я пришел поговорить с вами относительно вашей жены.

— Серьезно? Ну, когда вы станете старше, вы поймете, что не стоит соваться в чужие дела. Если вы будете так добры повернуть голову налево, вы увидите дверь. Желаю всего наилучшего.

Я предвидел, что удалиться с достоинством мне будет очень нелегко, и клял себя за то, что вернулся в Лондон прежде, чем миссис Стрикленд выпуталась из всех своих затруднений. Я украдкой покосился на нее. Она была погружена в раздумье. Но секунду спустя посмотрела на меня, глубоко вздохнула и улыбнулась.

— Все это так неожиданно,— сказала она.— Мы были женаты семнадцать лет. Никогда я не думала, что Чарли может увлечься другой женщиной. Мы жили очень дружно. Правда, у меня было множество интересов, которых он не разделял со мною.

— Вы уже знаете, кто...— я не знал, как выразиться поделикатнее,— кто эта особа, с которой он уехал?

— Нет. Никто даже не догадывается. Это очень странно. Обычно в таких случаях люди встречают влюбленных в ресторане или где-нибудь еще и рассказывают об этом жене. Меня никто не предупредил, я ничего не подозревала. Его письмо было как гром среди ясного неба. Я не сомневалась, что он счастлив со мной.

Миссис Стрикленд заплакала, бедняжка, и я от души пожалел ее. Но она тут же успокоилась.

— Мне нельзя распускаться,— сказала она, вытирая глаза.— Сейчас надо решить, что именно следует предпринять.

Она начала говорить несколько вразброд, то о недавнем прошлом, то об их первой встрече и женитьбе. И передо мной стала вырисовываться картина их совместной жизни. Я подумал, что мои прежние догадки не так уж неправильны. Миссис Стрикленд была дочерью чиновника в Индии. Выйдя в отставку, он остался жить там, где-то в глубине страны, но каждый август возил свою семью в Истборн для перемены обстановки; в Истборне она и встретила Стрикленда. Ей было двадцать, ему двадцать три. Они вместе играли в теннис, вместе гуляли, вместе слушали негритянских певцов; и она решила стать его женой за неделю до того, как он сделал ей предложение. Они поселились в Лондоне, сначала в Хэмпстеде, а потом, когда материальное положение Стрикленда упрочилось, в центре города. У них родились дети, девочка и мальчик.

— Он так любил их. Даже если я ему наскучила, как у него достало сердца покинуть детей? Просто невероятно. Я и сейчас еще не верю, что все это правда.

Под конец она показала письмо, которое он прислал ей. Мне давно хотелось его прочитать, но просить об этом я не решался.

«Дорогая Эми!

Надеюсь, что дома ты все застанешь в порядке. Я передал Энн твои распоряжения; тебя и детей будет ждать обед. Я вас не встречу. Я решил жить отдельно от вас и сегодня уезжаю в Париж. Это письмо я отправляю уже по приезде. Домой не вернусь. Мое решение непоколебимо.

Всегда твой *Чарлз Стрикленд*».

— Он ничего не объясняет, ни о чем не сожалеет. Разве это не чудовищно?

— Весьма странное письмо в подобных обстоятельствах, — ответил я.

— Объяснение тут может быть только одно — он не в себе. Я не знаю, кто эта женщина, завладевшая им, но она сделала его другим человеком. Видимо, это уже давняя история.

— Почему вы так думаете?

— Фред это выяснил. Чарлз имел обыкновение через день играть в бридж у себя в клубе. Фред знаком с одним из членов этого клуба и однажды в разговоре назвал Чарлза заядлым бриджистом. Его знакомый очень удивился. Он ни разу не видел Чарлза за карточным столом. Теперь все ясно — когда я думала, что он в клубе, он был с нею.

Я промолчал. Но затем вспомнил о детях.

— Очень трудно, вероятно, было объяснить все это Роберту.

— О, я ни ему, ни дочери ни слова не сказала. Мы ведь вернулись в город за день до начала занятий в школе. У меня хватило присутствия духа сказать им, что отец неожиданно уехал по делам.

Наверно, очень нелегко было сохранять спокойствие и безмятежность с этой внезапной тайной на сердце и еще труднее заботиться о всех мелочах, нужных детям к школе. Голос миссис Стрикленд опять задрожал.

— Что с ними станет, с моими бедняжками? Как мы будем жить?

Она старалась овладеть собою, и я заметил, что ее руки судорожно сжимаются и разжимаются. Горестное зрелище!

— Конечно, я поеду в Париж, если вы считаете, что это принесет вам пользу, но только скажите мне точно, чего я должен добиваться.

— Я хочу, чтобы он вернулся.

— Со слов полковника Мак-Эндрю я понял, что вы решили развестись с ним.

— Я никогда не дам Чарли развода! — воскликнула она гневно. — Так ему и передайте. Он никогда не сможет жениться на этой женщине. Я не менее упряма, чем он, и ни за что с ним не разведусь. Я обязана думать о детях.

Последнее она, наверно, добавила, чтобы объяснить свою позицию, но мне показалось, что дело здесь не столько в материнской заботе, сколько во вполне естественной ревности.

— Вы все еще любите его?

— Не знаю. Я хочу, чтобы он вернулся. Если он вернется, я все забуду. Как-никак, мы были женаты семнадцать лет. Я женщина широких взглядов. Пусть делает что хочет, лишь бы я ни о чем не знала. Он должен понять, что его увлечение долго не продлится. Если он вернется, мы заживем по-прежнему, и никто ничего не узнает.

Меня слегка передернуло оттого, что миссис Стрикленд так страшилась сплетен; тогда я еще не знал, какую огромную роль в жизни женщины играет людское мнение. Страх перед ним бросает тень неискренности на самые глубокие ее чувства.

Где остановился Стрикленд, было известно. Его компаньон в неистово-зломном письме, адресованном банку, метал громы и молнии по поводу того, что Стрикленд скрывает свое местопребывание, тот ответил цинично и насмешливо и дал компаньону свой точный адрес. Жил он в гостинице.

— Я никогда об этой гостинице не слыхала, — заметила миссис Стрикленд. — Но Фред знает этот отель и говорит, что он очень дорогой.

Она густо покраснела. Я понял, что она мысленно увидела мужа, который живет в роскошных апартаментах, обедает то в одном, то в другом знаменитом ресторане, дни проводит на скачках, а вечера — в театрах.

— Так он долго не протянет, — сказала она. — Нельзя забывать, что ему уже за сорок. Будь он человек молодой, я бы все поняла, но в его годы, когда у нас почти взрослые дети, это ужасно. Он окончательно подорвет свое здоровье.

Гнев и страдание боролись в ней.

— Скажите ему, что без него наш дом — не дом. Все как будто осталось на местах — и все уже не то. Я не могу жить без него. Лучше мне покончить с собой. Напомните ему о нашем прошлом, обо всем, что мы пережили вместе. Что я скажу детям, когда они спросят о нем? В его комнате все осталось нетронутым. Она ждет его. Мы все его ждем.

И она стала внушать мне слово в слово, что я должен ему говорить. Более того, подсказала мне точнейшие ответы на любое его возражение.

— Вы обещаете сделать для меня все возможное? — жалобно добавила она. — Скажите ему, в каком я горе.

Она явно хотела, чтобы я всеми доступными мне способами разжалобил его, и плакала, уже не стесняясь. Расстроженный, я негодовал на холодную жестокость Стрикленда и поклялся сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть его домой. Я согласился уехать на следующий же день и пробыть в Париже столько, сколько понадобится для того, чтобы добиться толку. Затем, так как было уже поздно и оба мы устали от всех этих тревожений, я распрощался с нею.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Обдумывая по пути в Париж свою миссию, я опасался, что она обречена на неудачу. Теперь, когда вид плачущей миссис Стрикленд не смутил меня, я мог лучше собраться с мыслями. Меня озадачивали явные противоречия в поведении миссис Стрикленд. Она была очень несчастна, но, желая вызвать мое сочувствие, всячески выставляла напоказ свое несчастье. Так, например, не подлежало сомнению, что она заранее готовилась плакать, ибо под рукой у нее оказался изрядный запас носовых платков. Я восхищался ее предусмотрительностью, но, если вдуматься, эта предусмотрительность делала ее слезы менее трогательными. Я недоумевал: хочет она возвращения мужа оттого, что любит его, или оттого, что боится злословия? Я подозревал, что страдания попорченной любви сплелись в ее сердце с муками уязвленного самолюбия, и по молодости лет считал это недостойным. Я еще не знал, как противоречива человеческая натура, не знал, что самым искренним людям свойственна поза, не знал, как низок может быть благородный человек и как добр отверженный.

Но в моей поездке было нечто интригующее, и по мере приближения к Парижу я воспрянул духом. Я вдруг увидел себя со стороны и очень понравился себе в роли доверенного, который возвращает заблудшего мужа в объятия супруги, готовой все простить. Стрикленда я решил повидать не раньше следующего вечера, ибо чувствовал, что время должно быть выбрано с сугубой щепетильностью. Взывать, например, к чувствам до завтрака — пустое занятие. Собственные мои мысли в то время были постоянно заняты

любовью, но семейного блаженства до чая я не мог себе представить.

У себя в гостинице я осведомился, где находится «Отель де бельж», в котором остановился Чарлз Стрикленд. К моему удивлению, консьерж никогда не слышал о таком. Между тем со слов миссис Стрикленд я понял, что это большая, роскошная гостиница где-то возле улицы Риволи. Мы заглянули в справочник, и оказалось, что единственное заведение, так именуемое, находится на улице Муан. Квартал отнюдь не шикарный и даже не вполне respectable. Я покачал головой.

— Нет, это явно не то.

Консьерж пожал плечами. Другого отеля с таким названием в Париже нет. Мне пришло в голову, что Стрикленд утаил свой настоящий адрес и попросту надул своего компаньона, назвав ему первый попавшийся отель. Не знаю, почему, мне вдруг показалось, что это вполне в духе Стрикленда — заставить разъяренного маклера примчаться в Париж и угодить в захолустную гостиницу с весьма сомнительной репутацией. Тем не менее я решил отправиться на разведку. На следующий день, часов около шести, я взял фиакр и велел кучеру ехать на улицу Муан, но отпустил его на углу, так как хотел пешком подойти к гостинице и для начала хорошенько рассмотреть ее. На улице было полно мелких лавчонок, торгующих на потребу покупателей-бедняков, в середине ее, по левую руку от меня, находился «Отель де бельж». Я остановился в достаточно скромной гостинице, но по сравнению с этой она могла считаться великолепной. Вывеска «Отель де бельж» украшала высокое здание, не ремонтировавшееся годами и до того обшарпанное, что дома по обе его стороны казались чистыми и нарядными. Грязные окна, по-видимому, никогда не открывались. Нет, не здесь Чарлз Стрикленд и неведомая очаровательница, ради которой он позабыл долг и честь, утопали в преступной роскоши. Я был страшно зол, чувствуя, что попал в дурацкое положение, и уже совсем было собрался уходить, даже не спросив о Стрикленде. Но под конец я заставил себя переступить порог этого заведения единственно для того, чтобы сказать миссис Стрикленд, что сделал для нее все, что мог.

Вход в гостиницу был рядом с какой-то лавчонкой, дверь была открыта, и внутри виднелась надпись: «Bureau au premier»¹. Я поднялся по узкой лестнице и на площадке

¹ Контора на втором этаже (*фр.*).

обнаружил нечто вроде стеклянной каморки, в которой находился стол и два стула. Снаружи стояла скамейка, на которой коридорный, по-видимому, проводил свои беспокойные ночи. Навстречу мне никто не попался, но под электрическим звонком имелась надпись: «Garçon»¹. Я нажал кнопку, и вскоре появился молодой человек с бегающими глазами и мрачной физиономией. Он был в жилетке и ковровых шлепанцах.

Не знаю почему, я спросил с самым что ни на есть небрежным видом:

— Не стоит ли здесь случайно некий мистер Стрикленд?

— Номер тридцать два. Шестой этаж,— последовал ответ.

Я так опешил, что в первую минуту не нашелся что сказать.

— Он дома?

Портье взглянул на доску, висевшую в каморке.

— Ключа он не оставлял. Сходите наверх, посмотрите.

Я счел необходимым задать еще один вопрос:

— *Madame est là?*²

— *Monsieur est seul*³.

Коридорный окинул меня подозрительным взглядом, когда я и впрямь отправился наверх. На темной и душной лестнице стоял какой-то омерзительный кислый запах. На третьем этаже растрепанная женщина в капоте распахнула дверь и молча уставилась на меня. Наконец я добрался до шестого этажа и постучал в дверь под номером тридцать два. Внутри что-то грохнуло, и дверь приоткрылась. Передо мной стоял Чарлз Стрикленд. Он не сказал ни слова и явно не узнал меня.

Я назвал свое имя. И далее постарался быть грациозно-небрежным:

— Вы меня, видимо, не помните. Я имел удовольствие обедать у вас прошлым летом.

— Входите,— приветливо отвечал он.— Очень рад вас видеть. Садитесь.

Я вошел. Это была тесная комнатка, битком набитая мебелью в стиле, который французы называют стилем Луи-Филиппа. Широкая деревянная кровать, прикрытая красным стеганым одеялом, большой гардероб, круглый стол,

¹ Коридорный (*фр.*).

² Мадам дома? (*фр.*)

³ Мосье живет один (*фр.*).

крохотный умывальник и два стула, обитых красным репсом. Все грязное и обтрепанное. Ни малейших следов греховного великолепия, которое живописал мне полковник Мак-Эндрю. Стрикленд сбросил на пол одежду, валявшуюся на одном из стульев, и предложил мне сесть.

— Чем могу служить? — спросил он.

В этой комнатухе он казался еще крупнее, чем в первый вечер нашего знакомства. Он, видимо, не брился уже несколько дней, на нем была поношенная куртка. Тогда, у себя дома, в элегантном костюме Стрикленд явно был не в своей тарелке; теперь, неопрятный и непричесанный, он, видимо, чувствовал себя превосходно. Я не знал, как он отнесется к заготовленной мною фразе.

— Я пришел по поручению вашей супруги.

— А я как раз собирался глотнуть абсента перед обедом. Пойдемте-ка вместе. Вы любите абсент?

— Более или менее.

— Тогда пошли.

Он надел котелок, очень и очень нуждавшийся в щетке.

— Мы можем и пообедать вместе. Вы ведь, собственно, должны мне обед.

— Разумеется. Вы один?

Я льстил себе, воображая, что весьма ловко задал щекотливый вопрос.

— О да! По правде говоря, я уже три дня рта не раскрывал. Французский язык мне что-то не дается.

Спускаясь с ним по лестнице, я недоумевал, что случилось с девицей из кафе. Успели они поссориться, или его увлечение уже прошло? Впрочем, последнее казалось мне сомнительным, ведь он чуть ли не целый год готовился к бегству. Дойдя до кафе на авеню Клиши, мы уселись за одним из столиков, стоявших прямо на мостовой.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Авеню Клиши в этот час была особенно многолюдна, и, обладая мало-мальски живым воображением, здесь едва ли не любого прохожего можно было наделить романтической биографией. По тротуару сновали конторские служащие и продавщицы; старики, словно сошедшие со страниц Бальзака; мужчины и женщины, извлекающие свой доход из слабостей рода человеческого. Оживление и сутолока бедных кварталов Парижа волнуют кровь и подготавливают к всевозможным неожиданностям.

— Вы хорошо знаете Париж? — спросил я.

— Нет. Мы провели в Париже медовый месяц. С тех пор я здесь не бывал.

— Но как, скажите на милость, вы попали в этот отель?

— Мне его рекомендовали. Я искал что-нибудь подешевле.

Принесли абсент, и мы с подобающей важностью стали капать воду на тающий сахар.

— Думается, мне лучше сразу сказать вам, зачем я вас разыскал, — начал я не без смущения.

Его глаза блеснули.

— Я знал, что рано или поздно кто-нибудь разыщет меня. Эми прислала мне кучу писем.

— В таком случае вы отлично знаете, что я намерен вам сказать.

— Я их не читал.

Чтобы собраться с мыслями, я закурил сигарету. Как приступить к возложенной на меня миссии? Красноречивые фразы, заготовленные мною, трогательные, равно как и негодующие, здесь были неуместны. Вдруг он фыркнул.

— Чертовски трудная задача, а?

— Пожалуй.

— Ладно, выкладывайте поживее, а потом мы премило проведем вечер.

Я задумался.

— Неужели вы не понимаете, что ваша жена мучительно страдает?

— Ничего, пройдет!

Не могу описать, до чего бессердечно это было сказано. Я растерялся, но сделал все, чтобы не показать этого, и заговорил тоном моего дядюшки Генри, священника, когда тот уговаривал кого-нибудь из родственников принять участие в благотворительной подписке.

— Вы не рассердитесь, если я буду говорить откровенно?

Он улыбнулся и покачал головой.

— Чем она заслужила такое отношение?

— Ничем.

— Вы что-нибудь против нее имеете?

— Ровно ничего.

— В таком случае разве не чудовищно оставить ее после семнадцати лет брака?

— Чудовищно.

Я с удивлением взглянул на него. Столь чистосердечное признание моей правоты выбило у меня почву из-под ног.

Положение мое было не только затруднительно, но и смехотворно. Я собирался увещевать и уговаривать, грозить и взывать к его сердцу, предостерегать, негодовать, язвить, убивать сарказмом. Но что, черт возьми, прикажете делать исповеднику, если грешник давно раскаялся? Опыта у меня не было ни малейшего, ибо сам я всегда упорно отрицал все обвинения, которые мне предъявлялись.

— Ну и что же дальше? — спросил Стрикленд.

Я постарался презрительно скривить губы.

— Что ж, если вы все признаете, мне, пожалуй, не стоит больше распространяться.

— Не стоит.

Мне стало очевидно, что я не слишком ловко выполнил свою миссию, и я разозлился.

— Черт подери, но нельзя же оставлять женщину без гроша.

— Почему нельзя?

— Как прикажете ей жить?

— Я содержал ее семнадцать лет. Почему бы ей для разнообразия теперь не содержать себя самой.

— Она не может.

— Пусть попытается.

Конечно, у меня нашлось бы, что на это ответить. Я мог бы заговорить об экономическом положении женщины, об обязательствах, которые мужчина, гласно и негласно, берет на себя, вступая в брак, но вдруг я понял, что, в конце концов, важно только одно.

— Вы больше не любите ее?

— Ни капли.

Все это были очень серьезные вопросы в человеческой жизни, но манера, с которой он отвечал, была такой задорной и наглой, что я кусал себе губы, лишь бы не расхохотаться. Я твердил себе, что его поведение отвратительно, и изо всех сил старался возгореться благородным негодованием.

— Но, черт вас возьми, вы же обязаны подумать о детях. Они вам ничего худого не сделали. И они не просили вас произвести их на свет. Если вы о них не позаботитесь, они будут выброшены на улицу.

— Они много лет прожили в холе и неге. Не все дети живут так. Кроме того, о них кто-нибудь да позаботится. Я уверен, что Мак-Эндрю станет платить за их учение.

— Но разве вы не любите их? Они такие славные. Неужели вы хотите совсем от них отказаться?

— Я любил их, когда они были маленькие, а теперь, когда они подросли, я, по правде говоря, никаких чувств к ним не питаю.

— Это бесчеловечно!

— Очень может быть.

— И вам нисколько не стыдно?

— Нет.

Я попытался изменить курс.

— Вас будут считать просто свиньей.

— Пускай!

— Неужели вам приятно, когда вас клянут на всех перекрестках?

— Мне все равно.

Его ответ звучал так презрительно, что мой вполне естественный вопрос показался мне верхом глупости. Я подумал минуту-другую.

— Не понимаю, как может человек жить спокойно, зная, что все вокруг осуждают его! Рано или поздно это начнет вас тяготить. У каждого из нас имеется совесть, и когда-нибудь она непременно проснется. К примеру, вдруг ваша жена умрет, разве вы не будете мучиться угрызениями совести?

Он молчал, и я терпеливо дожидался, пока он заговорит. Но в конце концов мне пришлось прервать молчание.

— Что вы на это скажете?

— То, что вы идиот.

— Вас ведь могут заставить содержать жену и детей,— возразил я, несколько уязвленный.— Я не сомневаюсь, что закон возьмет их под свою защиту.

— А может закон снять луну с неба? У меня ничего нет. Я приехал сюда с сотней фунтов.

Если я и раньше недоумевал, то теперь уж окончательно стал в тупик. Ведь жизнь в «Отель де бельж» и вправду свидетельствовала о крайне стесненных обстоятельствах.

— А что вы будете делать, когда эти деньги выйдут?

— Как-нибудь подработаю.

Он был совершенно спокоен, и в глазах его по-прежнему мелькала насмешливая улыбка, от которой все мои речи становились дурацкими. Я замолчал, соображая, что мне еще сказать. Но на этот раз первым заговорил он.

— Почему бы Эми не выйти опять замуж? Она еще не старуха и собой недурна. Я могу рекомендовать ее как превосходную жену. Если она пожелает развестись со мной, пожалуйста, я возьму вину на себя.

Теперь пришел мой черед улыбаться. Как он ни хитер, но мне ясно, что за цель он преследует. Он скрывает, что приехал сюда с женщиной, и пускается на всевозможные уловки, чтобы замести следы. Я отвечал очень решительно:

— Ваша жена ни за что не согласится на развод. Это ее бесповоротное решение. Оставьте всякую надежду.

Он посмотрел на меня с неприятным удивлением. Улыбка сбежала с его губ, и он очень серьезно сказал:

— Да ведь мне, голубчик, все едино, что в лоб, что по лбу.

Я рассмеялся.

— Полно, не считайте нас такими уж дураками. Мы знаем, что вы уехали с некой особой.

Он даже привскочил на месте и разразился громким хохотом. Смеялся он так заразительно, что сидевшие поблизости обернулись к нему, а потом и сами начали смеяться.

— Не вижу тут ничего смешного.

— Бедняжка Эми,— осклабился он.

Затем его лицо приняло презрительное выражение.

— Убогий народ эти женщины. Любовь! Везде любовь! Они думают, что мужчина уходит от них, только польстившись на другую. Не такой я болван, чтоб проделать все, что я проделал, ради женщины.

— Вы хотите сказать, что ушли от жены не из-за другой женщины?

— Конечно!

— Вы даете мне честное слово?

Не знаю, зачем я потребовал от него честного слова — верно, по простоте душевной.

— Честное слово.

— Тогда объясните мне, бога ради, зачем вы оставили ее?

— Я хочу заниматься живописью.

Я смотрел на него вытаращив глаза. Я ничего не понял и на минуту подумал, что предо мной сумасшедший. Помните, я был очень молод, а его считал человеком уже пожилым. От удивления у меня все на свете вылетело из головы.

— Но вам уже сорок лет.

— Поэтому-то я и решил, что пора начать.

— Вы когда-нибудь занимались живописью?

— В детстве я мечтал стать художником, но отец принудил меня заниматься коммерцией, он считал, что искусством ничего не заработаешь. Я начал писать с год назад. И даже посещал вечернюю художественную школу.

— А миссис Стрикленд думала, что вы проводите это время в клубе за бриджем?

— Да.

— Почему вы не рассказали ей?

— Я предпочитал держать язык за зубами.

— И живопись вам дается?

— Еще не вполне. Но я научусь. Для этого я и приехал сюда. В Лондоне нет того, что мне нужно. Посмотрим, что будет здесь.

— Неужели вы надеетесь чего-нибудь добиться, начав в этом возрасте? Люди начинают писать лет в восемнадцать.

— Я теперь научусь быстрее, чем научился бы в восемнадцать лет.

— С чего вы взяли, что у вас есть талант?

Он ответил не сразу. Взгляд его был устремлен на снующую мимо нас толпу, но вряд ли он видел ее. То, что он ответил, собственно, не было ответом.

— Я должен писать.

— Но ведь это более чем рискованная затея!

Он посмотрел на меня. В глазах его появилось такое странное выражение, что мне стало не по себе.

— Сколько вам лет? Двадцать три?

Вопрос показался мне бестактным. Да, в моем возрасте можно было пускаться на поиски приключений; но его молодость уже отошла, он был биржевой маклер с известным положением в обществе, с женой и детьми. То, что было бы естественно для меня,— для него непозволительно. Я хотел быть беспристрастным.

— Конечно, может случиться чудо, и вы станете великим художником, но вы же должны понять, что тут один шанс против миллиона. Ведь это трагедия, если в конце концов вы убедитесь, что совершили ложный шаг.

— Я должен писать,— повторил он.

— Ну а что, если вы навсегда останетесь третьесортным художником, стоит ли всем для этого жертвовать? Не во всяком деле важно быть первым. Можно жить припеваючи, даже если ты и посредственность. Но посредственным художником быть нельзя.

— Вы просто олух,— сказал он.

— Не знаю, почему так уж глупы очевидные истины.

— Говорят вам, я должен писать. Я ничего не могу с собой поделать. Когда человек упал в реку, не важно, хорошо он плавает или плохо. Он должен выбраться из воды, иначе он потонет.

В голосе его слышалась подлинная страсть; вопреки моему желанию она захватила меня. Я почувствовал, что внутри его клокочет могучая сила, и мне стало казаться, что нечто жестокое и непреодолимое помимо его воли владеет им. Я ничего не понимал. Точно дьявол вселился в этого человека, дьявол, который каждую минуту мог растерзать, погубить его. А с виду Стрикленд казался таким заурядным. Я не сводил с него глаз, но это его не смущало. Интересно, за кого можно принять его, думал я, когда он вот так сидит здесь в своей старой куртке и давно не чищенном котелке; брюки на нем мешковатые, руки нечисты; лицо его, с небритой рыжей щетиной на подбородке, с маленькими глазками и большим задорным носом, грубо и неотесанно. Рот у него крупный, губы толстые и чувственные. Нет, мне не подобрать для него определения.

— Так, значит, вы не вернетесь к жене? — сказал я наконец.

— Никогда.

— Она готова все забыть и начать жизнь сначала. И никогда она ни в чем не упрекнет вас.

— Пусть убирается ко всем чертям.

— Вам все равно, если вас будут считать отъявленным мерзавцем? И все равно, если она и ваши дети вынуждены будут просить подаяния?

— Плевать мне.

Я помолчал, чтобы придать больше веса следующему моему замечанию, и сказал со всей решительностью, на которую был способен:

— Вы хам, и больше ничего.

— Ну, теперь, когда вы облегчили душу, пойдете-ка обедать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Я понимаю, что было бы достойнее пренебречь этим предложением. Наверно, мне следовало бы выказать негодование, которое я на самом деле ощущал, и заслужить похвалу полковника Мак-Эндрю, рассказав ему о своем горделивом отказе сесть за один стол с таким человеком. Но беда в том, что страх не справиться со своей ролью никогда не позволял мне разыгрывать из себя моралиста. И на этот раз уверенность, что все мои благородные чувства для Стрикленда что горох об стену, заставила меня держать их при себе. Только поэт или святой способен поливать асфальтовую мостовую в наивной вере, что на ней зацветут лилии и вознаградят его труды.

Я заплатил за выпитый им абсент, и мы отправились в дешевенький ресторан; там было полно народу, очень оживленно, и обед нам подали отличный. У меня был аппетит юноши, у него — человека с окостенелой совестью. Из ресторана мы пошли в кабачок выпить кофе с ликером.

Я уже сказал ему все, что мог, относительно причины моего приезда в Париж, и хотя мне казалось, что, прекратив этот разговор, я стану предателем в отношении миссис Стрикленд, но продолжать борьбу с его безразличием я был уже не в силах. Только женщина может с неослабной горячностью десять раз подряд твердить одно и то же. Я успокаивал себя мыслью, что теперь смогу получше разобраться в душевном состоянии Стрикленда. Это было куда интересней. Но сделать это было не так-то просто, ибо Стрикленд отнюдь не отличался разговорчивостью. Он с трудом выжимал из себя слова, так что, казалось, для него они не были средством общения с миром; о движениях его души оставалось догадываться по избитым фразам, вульгарным восклицаниям и отрывистым жестам. Но, хотя ничего сколько-нибудь значительного он не говорил, никто не посмел бы назвать этого человека скучным. Может быть, из-за его искренности. Он, видимо, мало интересовался Парижем, который видел впервые (его краткое пребывание здесь с женой в счет не шло), и на все новое, открывавшееся ему, смотрел без малейшего удивления. Я бывал в Париже бесчисленное множество раз и всегда наново испытывал трепет восторга. Проходя по его улицам, я чувствовал себя счастливым искателем приключений. Стрикленд оставался хладнокровным. Оглядываясь назад, я думаю, что он был слеп ко всему, кроме тревожных видений своей души.

В кабачке, где было множество проституток, произошел нелепый инцидент. Некоторые из этих девиц сидели с мужчинами, некоторые друг с дружкой; вскоре я заметил, что одна из них смотрит на нас. Встретившись взглядом со Стриклендом, она улыбнулась. Он, по-моему, ее просто не заметил. Она поднялась и вышла из зала, но тотчас же воротилась и, проходя мимо нас, весьма учтиво попросила угостить ее чем-нибудь спиртным. Она подсела к нашему столику, и я начал болтать с нею, отлично, впрочем, понимая, что она интересуется Стриклендом, а не мной. Я пояснил, что он знает по-французски лишь несколько слов. Она пыталась говорить с ним то знаками, то на ломаном французском языке: ей казалось, что так он лучше поймет ее. У нее в запасе было с десятков английских фраз. Она заставила меня перевести ему то, что умела выразить только

на своем родном языке, и настойчиво потребовала, чтобы я перевел ей смысл его ответов. Он был в хорошем расположении духа, его это немножко забавляло, но, в общем, он явно оставался равнодушным.

— Вы, кажется, одержали победу,— засмеялся я.

— Польщенным себя не чувствую.

На его месте я был бы больше смущен и не так уж спокоен. У нее были смеющиеся глаза и очаровательный рот. Она была молода. Я удивлялся: чем ее пленил Стрикленд? Она не таила своих желаний, и мне пришлось пере- вести:

— Она хочет, чтобы вы пошли с нею.

— Я с ними не якшаюсь,— буркнул он.

Я постарался по мере сил смягчить его ответ. И так как мне казалось, что нелюбезно с его стороны отклонять такое приглашение, то я объяснил его отказ неимением денег.

— Но он мне нравится,— возразила она.— Скажите ему, что я пойду с ним задаром.

Когда я это перевел, Стрикленд нетерпеливо пожал плечами.

— Скажите, пусть убирается к черту.

Вид Стрикленда был красноречивее слов, и девушка вдруг гордо вскинула голову. Возможно, что она покраснела под своими румянами.

— *Monsieur n'est pas poli*¹,— проговорила она, вставая, и вышла из залы.

Я даже рассердился.

— Не понимаю, зачем вам понадобилось оскорблять ее. В конце концов, она отличила вас из многих.

— Меня тошнит от этих особ,— отрезал Стрикленд.

Я с любопытством посмотрел на него. Непритворное отвращение выразалось на его лице, и тем не менее это было лицо грубого, чувственного человека. Наверно, последнее и привлекло девушку.

— В Лондоне я мог иметь любую женщину, стоило мне только захотеть. Не за этим я сюда приехал.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На обратном пути в Англию я много думал о Стрикленде и честно старался упорядочить то, что мне предстояло сказать его жене. Я знал, что мой отчет не удовлетворит ее,

¹ Мосье неучтив (*фр.*).

я и сам был недоволен собою. Стрикленд меня озадачил. Я не понимал мотивов его поведения. На мой вопрос, когда у него впервые зародилась мысль стать художником, он не мог или не пожелал ответить. Сам же я тут ни до чего не мог додуматься. Правда, я пытался убедить себя, что в его неповоротливом уме мало-помалу нарастало смутное чувство возмущения, но эти домыслы разбивались о неопровержимый факт — он никогда не высказывал недовольства однообразием своей жизни. Если Стрикленду до того все опостылело, что он решил сделаться художником, лишь бы порвать с докучными узами, — это было постижимо и довольно банально; но самое слово «банальность» никак не вязалось со Стриклендом. Романтик в душе, я наконец придумал версию, которая, правда, мне самому казалась притянутой за волосы, но все же хоть что-то объясняла. В глубинах его души, говорил я себе, заложен инстинкт творчества; приглушенный житейскими обстоятельствами, он тем не менее неуклонно разрастался наподобие того, как разрастается злокачественная опухоль в живой ткани, покуда не завладел всем его существом и не принудил его к действию. Так кукушка кладет свое яйцо в гнездо другой птицы, когда же та выкормит кукушонка, он выпихивает своих сводных братьев, а под конец еще и разрушает гнездо, его приютившее.

Странно, что инстинкт творчества завладел этим скучным маклером, быть может, на погибель ему и на горе его близким; но разве не более странно то, как дух божий нисходил на людей богатых и могущественных, преследуя их с неотступным упорством, покуда они, побежденные им, не отступались от радостей жизни и женской любви во имя сурового монашества. Откровение приходит под разными личинами, и по-разному люди на него отзываются. Некоторым нужна жестокая встряска: так камень разлетается на куски от ярости потока; с другими все совершается постепенно: так вода точит камень. Стрикленда отличала прямо-таки фанатика и свирепость апостола.

Но я хотел еще дознаться, возможно ли, чтобы страсть, которой он одержим, была оправдана его произведениями. Когда я спросил, что думали его сотоварищи по вечерней школе живописи в Лондоне о его работах, он улыбнулся:

— Они думали, что я дурачусь.

— Вы и здесь посещаете какую-нибудь студию?

— Да. Этот зануда — я имею в виду нашего маэстро — сегодня утром, как увидел мой рисунок, только брови поднял и прошествовал дальше.

Стрикленд фыркнул. Он отнюдь не был обескуражен. Мнение других его не интересовало.

Из-за этого-то я всякий раз и становился в тупик, общаясь со Стриклендом. Когда люди уверяют, будто они безразличны к тому, что о них думают, они по большей части себя обманывают. Обычно они поступают как им вздумается в надежде, что никто не прознает об их чудачествах, иногда же они поступают вопреки мнению большинства, ибо их поддерживает признание близких. Право же, нетрудно пренебрегать условностями света, если это пренебрежение — условность, принятая в компании ваших приятелей. В таком случае человек проникается преувеличенным уважением к своей особе. Он удовлетворен собственной храбростью, не испытывая при этом малоприятного чувства опасности. Но жажда признания, пожалуй, самый неистребимый инстинкт цивилизованного человека. Никто так не спешит набросить на себя покров респектабельности, как непотребная женщина, преследуемая злобой оскорбленной добродетели. Я не верю людям, которые уверяют, что в грош не ставят мнение окружающих. Это пустая бравада. По сути дела, они только не страшатся упреков в мелких прегрешениях, убежденные, что никто о таковых не прознает. Но здесь передо мною был человек, которого действительно нисколько не тревожило, что о нем думают: условности не имели над ним власти. Он походил на борца, намазавшего тело жиром — никак его не ухватишь, — и это давало ему свободу, граничившую со святотатством. Помнится, я сказал ему:

— Если бы все поступали, как вы, мир не мог бы существовать.

— Чушь! Не всякий хочет поступать, как я. Большинство нравятся все делать, как люди.

Я пытался съязвить:

— Вы, видимо, отрицаете максимум: «Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило».

— Первый раз в жизни слышу! Чушь какая-то.

— Между тем это сказал Кант.

— А мне что. Чушь, и ничего больше.

Ну стоило ли взывать к совести такого человека? Все равно что стараться увидеть свое изображение, не имея зеркала. Я полагаю, что совесть — это страж, в каждом отдельном человеке охраняющий правила, которые общество выработало для своей безопасности. Она — полицейский в наших сердцах, поставленный, чтобы не дать нам нарушить закон. Шпион, засевший в главной цитадели нашего

«я». Человек так алчет признания, так безумно страшится, что собратья осудят его, что сам торопится открыть ворота своему злейшему врагу; и вот враг уже неотступно следит за ним, преданно отстаивая интересы своего господина, в корне пресекает малейшее поползновение человека отбиться от стада. И человек начинает верить, что благо общества выше личного блага. Узы, привязывающие человека к человечеству, — очень крепкие узы. Однажды уверовав, что есть интересы, которые выше его собственных, он становится рабом этого своего убеждения, он возводит его на престол и под конец, подобно царедворцу, раболепно склонившемуся под королевским жезлом, что опустил на его плечо, еще гордится чувствительностью своей совести. Он уже клеймит самыми жесткими словами тех, что не признают этой власти, ибо теперь, будучи членом общества, он сознает, что бессилен против них. Когда я понял, что Стрикленду и вправду безразлично отношение, которое должны возбудить в людях его поступки, я с ужасом отшатнулся от этого чудовища, утратившего человеческий облик.

На прощание он сказал мне следующее:

— Передайте Эми, чтобы она сюда не приезжала. Впрочем, я все равно съеду с квартиры, и ей не удастся меня разыскать.

— Мне лично кажется, что ей следует бога благодарить за то, что она от вас избавилась, — сказал я.

— Милый мой, я очень надеюсь, что вы ее заставите это понять. Впрочем, женщины — народ бестолковый.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В Лондоне меня ожидала записка с настойчивым требованием явиться вечером к миссис Стрикленд. У нее сидел полковник Мак-Эндрю с супругой, старшей сестрой миссис Стрикленд. Сестры ходили друг на друга, хотя у миссис Мак-Эндрю, уже изрядно поблекшей, был такой воинственный вид, словно она засунула себе в карман всю Британскую империю; вид, кстати сказать, характерный для жен старших офицеров и обусловленный горделивым сознанием принадлежности к высшей касте. Манеры у этой дамы были бойкие, а ее благовоспитанности едва-едва хватало на то, чтобы вслух не высказывать убеждения, что любой штатский — приказчик. Гвардейцев она тоже ненавидела, считая зазнайками, а об их женах, забывающих отдавать визиты, даже и говорить не желала. Платье на ней было дорогое и безвкусное.

Миссис Стрикленд явно нервничала.

— Итак, какие вести вы нам привезли? — спросила она.

— Я видел вашего мужа. Увы, он твердо решил не возвращаться. — Я помолчал. — Он намерен заниматься живописью.

— Что вы хотите этим сказать? — вне себя от удивления крикнула миссис Стрикленд.

— Неужели вы никогда не замечали этой его страсти?

— Он окончательно рехнулся! — воскликнул полковник.

Миссис Стрикленд нахмурила брови. Она рылась в своих воспоминаниях.

— Еще до того, как мы поженились, он иногда баловался красками. Но, бог мой, что это была за мазня! Мы смеялись над ним. Такие люди, как он, не созданы для искусства.

— Ах! Это же просто предлог! — вмешалась миссис Мак-Эндрю.

Миссис Стрикленд некоторое время сидела погруженная в свои мысли. Она не знала, как понять мое сообщение. В гостиной уже был наведен порядок; домовитость, видимо, возобладала в миссис Стрикленд над горем, и гостиная больше не производила унылого впечатления меблированной комнаты, ожидающей нового жильца, как в первый мой визит после катастрофы. Но, лучше узнав Стрикленда в Париже, я уже не мог представить его себе в этой обстановке. «Неужели им ни разу не бросилось в глаза, как все здесь ему не соответствует», — думал я.

— Но если он хотел стать художником, почему он молчал? — спросила наконец миссис Стрикленд. — Кто-кто, а я бы уж сочувственно отнеслась к такому влечению.

Миссис Мак-Эндрю поджала губы. Она, вероятно, всегда порицала сестру за пристрастие к людям искусства и насмеялась над ее «культурными» друзьями.

Миссис Стрикленд продолжала:

— Ведь окажись у него хоть какой-то талант, я первая стала бы поощрять его, пошла бы на любые жертвы. Вполне понятно, что я бы предпочла быть женой художника, нежели биржевого маклера. Если бы не дети, я бы ничего не боялась и в какой-нибудь жалкой студии в Челси жила бы не менее счастливо, чем в этой квартире.

— Нет, милочка, ты выводишь меня из терпения! — воскликнула миссис Мак-Эндрю. — Не хочешь же ты сказать, что поверила этой вздорной выдумке?

— Но я уверен, что это правда, — робко вставил я.

Она взглянула на меня с добродушным презрением.

— Мужчина в сорок лет не бросает своего дела, жену и детей для того, чтобы стать художником, если тут не замешана женщина. Уж я-то знаю, что какая-нибудь особа из вашего «артистического» круга вскружила ему голову.

Бледное лицо миссис Стрикленд внезапно залилось краской:

— Какова она из себя?

Я помедлил. Это будет как взрыв бомбы.

— С ним нет женщины.

Полковник Мак-Эндрю и его жена заявили, что они в это не верят, а миссис Стрикленд вскочила с места.

— Вы хотите сказать, что ни разу не видели ее?

— Мне некого было видеть. Он там один.

— Что за вздор! — вскричала миссис Мак-Эндрю.

— Надо было мне ехать самому, — буркнул полковник. — Уж я-то бы живо о ней разузнал.

— Жалею, что вы не взяли на себя труд съездить в Париж, — отвечал я не без язвительности, — вы бы живо убедились, что все ваши предположения ошибочны. Он не снимает апартаментов в шикарном отеле. Он живет в крошечной, убогой комнатушке. И ушел он из дому не затем, чтобы вести легкую жизнь. У него гроша нет за душой.

— Вы полагаете, что он совершил какой-нибудь проступок, о котором мы ничего не знаем, и скрывается от полиции?

Такое предположение заронило луч надежды в их души, но я решительно отверг его.

— Если бы это было так, зачем бы он стал давать адрес своему компаньону, — колко возразил я. — Так или иначе, а в одном я уверен: никакой женщины с ним нет. Он не влюблен и ни о чем подобном даже не помышляет.

Настало молчание. Они обдумывали мои слова.

— Что ж, — прервала наконец молчание миссис Мак-Эндрю, — если то, что вы говорите, правда, дело обстоит еще не так скверно, как я думала.

Миссис Стрикленд взглянула на нее, но ничего не сказала. Она была очень бледна, и ее тонкие брови хмурились. Выражения ее лица я не понимал. Миссис Мак-Эндрю продолжала:

— Значит, это просто каприз, который скоро пройдет.

— Вы должны поехать к нему, Эми, — заявил полковник. — Почему бы вам не провести год в Париже? За детьми мы присмотрим. Я уверен, ему просто наскучила однооб-

разная жизнь, он быстро одумается, с удовольствием вернется в Лондон, и все это будет предано забвению.

— Я бы не поехала,— вмешалась миссис Мак-Эндрю.— Лучше предоставить ему полную свободу действий. Он вернется с поджатым хвостом и заживет прежней жизнью.— Миссис Мак-Эндрю холодно взглянула на сестру.— Может быть, ты не всегда умно вела себя с ним, Эми. Мужчины — фокусники, и с ними надо уметь обходиться.

Миссис Мак-Эндрю, как и большинство женщин, считала, что мужчина — негодяй, если он оставляет преданную и любящую жену, но что вина за его поступок все же падает на нее. *Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas*¹.

Миссис Стрикленд медленно переводила взгляд с одного на другого.

— Он не вернется,— объявила она.

— Ах, милочка, вспомни, что тебе о нем сказали. Он привык к комфорту и к тому, чтобы за ним ухаживали. Неужели ты думаешь, что он долго будет довольствоваться убогой комнатухой в захудалом отеле? Вдобавок у него нет денег. Он должен вернуться.

— Покуда я считала, что он сбежал с какой-то женщиной, у меня еще оставалась надежда. Я была уверена, что долго это не продлится. Она бы смертельно надоела ему через три месяца. Но если он уехал не из-за женщины, всему конец.

— Ну, это уж что-то слишком тонко,— заметил полковник, вкладывая в последнее слово все свое презрение к столь штатским понятиям.— Он, конечно, вернется, и Дороти совершенно права, от этой эскапады его не убудет.

— Но я не хочу, чтобы он вернулся,— сказала миссис Стрикленд.

— Эми!

Приступ холодной злобы нашел на миссис Стрикленд. Она мертвенно побледнела и заговорила с придыханием:

— Я могла бы простить, если бы он вдруг отчаянно влюбился в какую-то женщину и бежал с нею. Это было бы естественно. Я бы его не винила. Я считала бы, что его заставили бежать. Мужчины слабы, а женщины назойливы. Но это — это совсем другое. Я его ненавижу. И уж теперь никогда не прощу.

Полковник Мак-Эндрю и его супруга принялись наперебой уговаривать ее. Они были потрясены. Уверяли, что она сумасшедшая, отказывались понимать ее. Миссис Стрикленд в отчаянии обратилась ко мне:

¹ Сердце рассуждает по-своему, рассудком этого не понять (*фр.*).

— Вы-то хоть меня понимаете?

— Не совсем. Вы хотите сказать, что могли бы простить его, если бы он оставил вас ради другой женщины, но не ради отвлеченной идеи? Видимо, вы полагаете, что в первом случае у вас есть возможность бороться, а во втором вы бессильны?

Миссис Стрикленд бросила на меня не слишком дружеский взгляд, но ничего не ответила. Возможно, что я попал в точку. Затем она продолжала сиплым, дрожащим голосом:

— Я никогда не думала, что можно так ненавидеть человека, как я ненавижу его. Я ведь тешила себя мыслью, что, сколько бы это ни продлилось, в конце концов он все же ко мне вернется. Я знала, что на смертном одре он пошлет за мной, и была готова к этому; я бы ходила за ним как мать, и в последнюю минуту сказала бы, что я всегда любила его и все-все ему простила.

Я часто с недоумением замечал в женщинах страсть эффектно вести себя у смертного одра тех, кого они любят. Временами мне даже казалось, что они досадуют на долговечность близких, не позволяющую им разыграть красивую сцену.

— Но теперь — теперь все кончено. Для меня он чужой человек. Пусть умирает с голоду, одинокий, заброшенный, без единого друга, — меня это не касается. Надеюсь, что его постигнет какая-нибудь страшная болезнь. Для меня он больше не существует.

Тут я счел уместным передать ей слова Стрикленда.

— Если вы желаете развестись с ним, он готов сделать все, что для этого потребуется.

— Зачем мне давать ему свободу?

— По-моему, он к ней и не стремится. Просто он думает, что вам так будет удобнее.

Миссис Стрикленд нетерпеливо пожала плечами. Я был несколько разочарован. В ту пору я предполагал в людях больше цельности, и кровожадные инстинкты этого прелестного создания меня опечалили. Я не понимал, сколь различны свойства, составляющие человеческий характер. Теперь-то я знаю, что мелочность и широта, злоба и милосердие, ненависть и любовь легко уживаются в душе человека.

«Сумею ли я найти слова, которые смягчили бы горькое чувство унижения, терзающее миссис Стрикленд?» — думал я и решил попытаться.

— Мне временами кажется, что ваш муж не вполне отвечает за свои поступки. По-моему, он уже не тот человек.

Он одержим страстью, которая помыкает им. Безраздельно предавшийся ей, он беспомощен, как муха в паутине. Его точно околдовали. Тут поневоле вспомнишь загадочные рассказы о том, как второе «я» вступает в человека и вытесняет первое. Душа — не постоянная жительница тела и способна на таинственные превращения. В старину сказали бы, что в Чарлза Стрикленда вселился дьявол.

Миссис Мак-Эндрю разгладила ладонью платье на коленях, золотые браслеты скользнули вниз по ее руке.

— Все это, по-моему, пустые измышления, — заметила она кислым тоном. — Я не отрицаю, что Эми чересчур полагалась на своего мужа. Будь она меньше занята собственными делами, она бы уж сообразила, что происходит. Я уверена, что Алек не мог бы годами носиться с каким-нибудь замыслом втайне от меня.

Полковник уставился в пространство с видом самого добродетельного человека на свете.

— Но Чарлз Стрикленд все равно бессердечное животное. — Миссис Мак-Эндрю бросила на меня строгий взгляд. — Я могу вам точно сказать, почему он оставил жену: из эгоизма, и только из эгоизма.

— Это, конечно, самое простое объяснение, — ответил я, про себя подумав, что оно ничего не объясняет. Потом я поднялся, сославшись на усталость, откланялся, и миссис Стрикленд не сделала попытки задержать меня.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Дальнейшие события показали, что миссис Стрикленд — женщина с характером. Она скрывала свои мучения, так как сумела понять, что людям докучают вечные рассказы о несчастьях и вида страданий они тоже стараются избегать. Где бы она ни появлялась — а друзья из сочувствия наперебой приглашали ее, — она неизменно сохраняла полное достоинство. Одевалась она элегантно, но просто; была весела, но держалась скромно и предпочитала слушать о чужих горестях, чем распространяться о своих. О муже она всегда говорила с жалостью. Ее отношение к нему на первых порах меня удивляло. Однажды она сказала мне:

— Вы безусловно заблуждаетесь, я слышала из достоверных источников, что Чарлз уехал из Англии не один.

— В таком случае он положительно гений по части заметания следов.

Она отвела глаза и слегка покраснела:

— Во всяком случае, я хотела вас попросить, если кто-нибудь скажет, что он скрылся с женщиной, пожалуйста, не опровергайте этого.

— Хорошо, не стану.

Она небрежно перевела разговор на другое. Вскоре я узнал, что среди друзей миссис Стрикленд распространился своеобразный вариант этой истории. Стрикленд будто бы влюбился во французскую танцовщицу, впервые увиденную им на сцене театра «Эмпайр», и последовал за нею в Париж. Откуда возник подобный слух, я так и не доискался, но он вызывал сочувствие к миссис Стрикленд и укреплял ее положение в обществе. А это было небесполезно для профессии, которую она намеревалась приобрести. Полковник Мак-Эндрю отнюдь не преувеличивал, говоря, что она осталась без гроша за душой, ей необходимо было начать зарабатывать себе на жизнь, и чем скорее, тем лучше. Она решила извлечь пользу из своих обширных знакомств с писателями и взялась за изучение стенографии и машинописи. Ее образованность заставляла предположить, что она будет превосходной машинисткой, а ее семейная драма сделала эти попытки стать самостоятельной очень симпатичными. Друзья обещали снабжать ее работой и рекомендовать своим знакомым.

Мак-Эндрю, люди бездетные и с достатком, взяли на себя попечение о детях, так что миссис Стрикленд приходилось содержать только себя. Она выехала из своей квартиры и продала мебель. Обосновавшись в Вестминстере, в двух небольших комнатах, миссис Стрикленд начала жизнь заново. Она была так усердна, что не оставалось никаких сомнений в успехе ее предприятия.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Лет пять спустя после вышеописанных событий я решил пожить некоторое время в Париже. Лондон мне приелся. Каждый день делать одно и то же — утомительнейшее занятие. Мои друзья размеренно шли по своему жизненному пути; они уже ничем не могли удивить меня; при встрече я заранее знал, что и как они скажут, даже на их любовных делах лежала печать докучливой обыденности. Мы уподобились трамвайным вагонам, бегущим по рельсам от одной конечной станции до другой; можно было уже почти точно высчитать, сколько пассажиров эти вагоны перевезут.

Жизнь текла слишком безмятежно. И меня обуяла паника. Я отказался от квартиры, распродал свои скромные пожитки и решил все начать сызнова.

Перед отъездом я зашел к миссис Стрикленд. Я не видел ее довольно долгое время и отметил, что она переменилась: она не только постарела и похудела, не только новые морщинки избородили ее лицо, мне показалось, что и характер у нее изменился. Она преуспела в своем начинании и теперь держала контору на Чансери-лейн; сама миссис Стрикленд почти не печатала на машинке, а только проверяла работу четырех служащих у нее девушек. Стремясь придать своей продукции известное изящество, она обильно пользовалась синими и красными чернилами; копии она обертывала в плотную муаровую бумагу нежнейших оттенков и действительно заслужила известность изяществом и аккуратностью работы. Она усиленно зарабатывала деньги. Однако не могла отрешиться от представления, что зарабатывать себе на жизнь — не вполне пристойное занятие, и потому нет-нет да и напоминала собеседнику, что по рождению она леди. В разговоре миссис Стрикленд так и сыпала именами своих знакомых, преимущественно громкими и доказывавшими, что она остается на той же ступени социальной лестницы. Она немножко конфузилась своей отваги и деловой предприимчивости, но была в восторге от того, что завтра ей предстояло обедать в обществе известного адвоката, живущего в Южном Кенсингтоне. С удовольствием рассказывая, что сын ее учится в Кембридже, она не забывала, правда слегка иронически, упоминать о бесконечных приглашениях на танцы, которые получала ее дочь, недавно начавшая выезжать. Я совершил бестактность, спросив:

— Она тоже вступит в ваше дело?

— О нет! Я этого не допущу,— отвечала миссис Стрикленд.— Она очень мила и, я уверена, сделает хорошую партию.

— Это будет для вас большой поддержкой.

— Многие считают, что ей следует идти на сцену, но я, конечно, на это не соглашусь. Я знакома со всеми нашими лучшими драматургами и могла бы хоть завтра достать для нее прекрасную роль, но я не хочу, чтобы она вращалась в смешанном обществе.

Такая высокомерная разборчивость несколько смутила меня.

— Слышали вы что-нибудь о вашем муже?

— Нет. Ничего. Он, по-видимому, умер.

— А если я вдруг встречу с ним в Париже? Сообщить вам о нем?

Она на минуту задумалась.

— Если он очень нуждается, я могу немножко помочь ему. Я вам пришлю небольшую сумму денег, и вы будете постепенно ему их выплачивать.

— Вы очень великодушны,— сказал я.

Но я знал, что не добросердечие подвигнуло ее на это. Неправда, что страдания облагораживают характер, иногда это удается счастьем, но страдания в большинстве случаев делают человека мелочным и мстительным.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Вышло так, что я встретился со Стриклендом, не пробыв в Париже и двух недель.

Я быстро нашел себе небольшую квартирку на пятом этаже на улице Дам и за две сотни франков купил подержанную мебель. Консьержка должна была варить мне по утрам кофе и убирать комнаты. Обосновавшись, я тотчас же отправился к своему приятелю Дирку Струве.

Дирк Струве был из тех людей, о которых, в зависимости от характера, одни говорят, пренебрежительно усмехаясь, другие — недоуменно пожимая плечами. Природа создала его шутом. Он был художник, но очень плохой; мы познакомились в Риме, и я хорошо помнил его картины. Казалось, он влюблен в банальность. С душою, трепещущей любовью к искусству, он писал римлян, расположившихся отдохнуть на лестнице площади Испании, причем их слишком очевидная живописность нимало его не обескураживала; в результате мастерская Струве была сплошь увешана холстами, с которых на вас смотрели усатые большеглазые крестьяне в остроконечных шляпах, мальчишки в красочных лохмотьях и женщины в пышных юбках. Они либо отдыхали на паперти, либо прохлаждались среди кипарисов под безоблачным небом; иногда предавались любовным утехам возле фонтана времен Возрождения, а не то брели по полям Кампаньи подле запряженной волами повозки. Все они были тщательно выписаны и не менее тщательно раскрашены. Фотография не могла бы быть точнее. Один из художников на вилле Медичи окрестил Дирка: *Le maître de la boîte à chocolats*¹. Глядя на его картины, можно было

¹ Специалист по разрисовке шоколадных коробок (*фр.*).

подумать, что Моне, Мане и прочих импрессионистов вообще не существовало.

— Конечно, я не великий художник, — говаривал Дирк. — Отнюдь не Микеланджело, но что-то во мне все-таки есть. Мои картины продаются. Они вносят романтику в дома самых разных людей. Ты знаешь, ведь мои работы покупают не только в Голландии, но в Норвегии, в Швеции и в Дании. Их очень любят торговцы и богатые коммерсанты. Ты не можешь себе представить, какие зимы стоят в этих краях, долгие, темные, холодные. Тамошним жителям нравится думать, что Италия похожа на мои картины. Именно такой они себе ее представляют. Такой представлялась она и мне до того, как я сюда приехал.

На самом деле это представление навек засело в нем и так его ослепило, что он уже не умел видеть правду; и вопреки жестоким фактам перед его духовным взором вечно стояла Италия романтических разбойников и живописных руин. Он продолжал писать идеал — убогий, пошлый, затасканный, но все же идеал; и это сообщало ему своеобразное обаяние. Для меня лично Дирк Струве был не только объектом насмешек. Собратья художники ничуть не скрывали своего презрения к его мазне, но он зарабатывал немало денег, и они не задумываясь распорядились его кошельком. Дирк был щедр, и все кому не лень, смеясь над его наивным доверием к их рассказам, без зазрения совести брали у него займы. Он отличался редкой сердобольностью, но в его отзывчивой доброте было что-то нелепое, и потому его одолжения принимались без благодарности. Брать у него деньги было все равно что грабить ребенка, а его еще презирали за дурость. Мне кажется, что карманник, гордый ловкостью своих рук, должен досадовать на беспечную женщину, забывшую в кебе чемоданчик со всеми своими драгоценностями. Природа напялила на Струве дурацкий колпак, но чувствительности его не лишила. Он корчился под градом всевозможных издевок, но, казалось, добровольно вновь и вновь подставлял себя под удары. Он страдал от непрерывных насмешек, но был слишком добродушен, чтобы озлобиться: змея жалила Дирка, а опыт ничему его не научал, и, едва излечившись от боли, он снова пригревал змею на своей груди. Жизнь его была трагедией, но написанной языком вульгарного фарса. Я не потешался над ним, и он, радуясь сострадательному слушателю, повеял мне свои бессчетные горести. И самое печальное было то, что, чем трагичнее они были по существу, тем больше вам хотелось смеяться.

Из рук вон плохой художник, он необычайно тонко чувствовал искусство, и ходить с ним по картинным галереям было подлинным наслаждением. Способность к неподдельному восторгу сочеталась в нем с критической остротой. Дирк был католик. Он умел не только ценить старых мастеров, но и с живой симпатией относиться к современным художникам. Он быстро открывал новые таланты и великодушно судил о них. Думается, я никогда не встречал человека со столь верным глазом. К тому же он был образован лучше, чем большинство художников, и не был, подобно им, полным невеждой в других искусствах; его музыкальный и литературный вкус сообщал глубину и разнообразие его суждениям о живописи. Для молодого человека, каким я был тогда, советы и объяснения Дирка Струве поистине значили очень много.

Уехав из Рима, я стал переписываться с ним и приблизительно раз в два месяца получал от него длинные письма на своеобразном английском языке, который заставлял меня как бы снова видеть и слышать его — захлебывающегося, восторженного, оживленно жестикулирующего. Незадолго до моего приезда в Париж он женился на англичанке и теперь обосновался в студии на Монмартре. Мы не виделись с ним четыре года, и я не был знаком с его женой.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Я не известил Струве о своем приезде, и когда он открыл дверь на мой звонок, то в первое мгновение не узнал меня. Затем издал ликующий вопль и потащил в мастерскую. Право же, приятно, когда тебя так пылко встречают!

Жена его что-то шила, сидя у печки, и поднялась мне навстречу. Дирк представил меня.

— Ты помнишь, — обратился он к ней, — я много рассказывал тебе о нем? — И ко мне: — Почему ты не написал, что приезжаешь? Давно ли ты здесь? Надолго ли? Ах, если бы ты пришел часом раньше, мы бы вместе пообедали.

Он засыпал меня вопросами, усадил в кресло, похлопывал, точно я был подушкой, настойчиво потчевал вином, печеньем, сигарами. Он никак не мог оставить меня в покое, без конца сокрушался, что в доме нет виски, бросился варить для меня кофе, не знал, как бы еще меня приветить, весь светился радостью, хохотал и от избытка чувств отчаянно потел.

— Ты ничуть не переменялся, — сказал я, с улыбкой глядя на него.

У Дирка была все та же нелепейшая внешность. Маленький, толстый, с короткими ножками и, несмотря на свою молодость — ему было не больше тридцати лет, — уже изрядно плешивый. Лицо у него было совершенно круглое, отличавшееся яркими красками — белая кожа, румяные щеки и очень красные губы. Он постоянно носил большие очки в золотой оправе, глаза у него были голубые и тоже круглые, а брови до того светлые, что он казался безбровым. Он напоминал жизнерадостных толстых торговцев, которых любил писать Рубенс.

Когда я сказал, что собираюсь прожить некоторое время в Париже и уже снял квартиру, он осыпал меня упреками за то, что я заранее не дал ему знать об этом. Он сам подыскал бы мне жилье, ссудил бы меня мебелью — неужто я и вправду уже потратился на покупку? — и помог бы мне с переездом. Он вполне серьезно считал недружественным поступком то, что я не воспользовался его услугами. Между тем миссис Струве молча продолжала штопать чулки и со спокойной улыбкой прислушивалась к тому, что он говорил.

— Как видишь, я женат, — внезапно объявил Дирк, — что ты скажешь о моей жене?

Он смотрел на нее бесконечно нежным взглядом и поправлял очки, так как от пота они то и дело соскальзывали на самый кончик носа.

— Ну скажи на милость, что я могу тебе ответить? — рассмеялся я.

— Полно тебе, Дирк, — улыбаясь вставила миссис Струве.

— Разве она не чудо? Говорю тебе, друг мой, не теряй времени, женись, женись как можно скорее. Я счастливейший из смертных. Посмотри на нее. Разве это не готовая картина? Шарден, а? Я видел всех мировых красавиц, но никогда не видел женщины красивее мадам Струве.

— Если ты не угомонишься, Дирк, я уйду.

— *Mon petit chouх*¹, — отвечал он.

Она слегка покраснела, смущенная страстью, слышавшейся в его голосе. Из его писем я уже знал, что он без памяти влюблен в жену, а теперь и сам убедился, что он с нее глаз не сводит. Любила ли она его, об этом я судить затруднялся. Бедняга Панталоне вряд ли мог внушить пламенную любовь, но глаза ее улыбались ласково, и под ее сдержанностью, возможно, скрывалось глубокое чувство. Я не заметил в миссис

¹ Глупышка ты моя (*фр.*).

Струве пленительной красоты, которую видел его взор, опьяненный любовью, но была в ней какая-то тихая прелесть. Отлично сшитое, хотя и скромное, серое платье не скрывало удивительной стройности ее высокой фигуры. Впрочем, эта фигура, должно быть, была привлекательнее для скульптора, чем для портного. Свои пышные каштановые волосы миссис Струве зачесывала с изящной простотой; лицо у нее было бледное, с правильными, хотя и не очень значительными чертами. В ее серых глазах светилось спокойствие. Я не назвал бы ее не только красавицей, но даже хорошенькой, и все-таки Струве не без основания упомянул о Шардене — она странным образом напоминала ту милую хозяйку в чепце и фартуке, которую обессмертил великий художник. Не было ничего легче, как представить себе ее хлопочущей среди горшков и кастрюль с обстоятельностью, которая сообщает нравственную значимость домоводству, более того, возводит его в ритуал. Впечатления занятой или умной женщины она не производила, но что-то в ее спокойной серьезности возбуждало мой интерес. В ее сдержанности мне мерещилась какая-то таинственность. Странно, что она вышла замуж за Дирка Струве. И хотя она была англичанкой, я никак не мог себе представить, из какого она круга, какое воспитание получила и как жила до замужества. Она почти все время молчала, но голос ее, когда ей случалось вставить несколько слов в разговор, звучал приятно, и манеры у нее были естественные.

Я спросил Струве, работает ли он.

— Работаю? Да я пишу лучше, чем когда-либо!

Он повел рукой в сторону неоконченной картины на мольберте.

Я невольно вздрогнул.

Дирк писал кучку итальянских крестьян в одежде жителей Кампаньи, расположившихся отдохнуть на церковной паперти.

— Ты это сейчас пишешь? — спросил я.

— Да. И модели у меня здесь не хуже, чем в Риме.

— Не правда ли, как красиво? — сказала миссис Струве.

— Моя бедная жена воображает, что я великий художник.

За конфузливый смешок он, довольно неудачно, попытался скрыть свое удовольствие. Глаза его остановились на мольберте. Странное дело, как его критическое чутье, такое безусловное и точное в отношении других художников, удовлетворялось собственной работой, невероятно пошлой и вульгарной.

— Покажи и другие свои картины,— сказала миссис Струве.

— Хочешь посмотреть?

Дирк Струве, столько выстрадавший от насмешек своих собратьев, в жажде похвал и в наивном самодовольстве тут же согласился показать свои работы. Он поставил передо мной картину, на которой два курчавых итальянских мальчика играли в бабки.

— Правда, это прелесть что такое? — спросила миссис Струве.

Он показал мне еще множество картин, и я убедился, что в Париже Дирк писал те же самые избитые, псевдоживописные сюжеты, что и в Риме. Все это было фальшиво, неискренне, дрянно, а между тем свет не знал человека честнее, искреннее, чем Дирк Струве. Как разобраться в такой противоречии?

Не знаю, почему мне вдруг взбрело на ум спросить:

— Скажи, пожалуйста, не встречался ли тебе случайно некий Чарлз Стрикленд, художник?

— Неужели ты его знаешь? — вскричал Дирк.

— Это негодяй, — сказала миссис Струве.

Струве рассмеялся.

— *Ma pauvre chère!* — Он подбежал и расцеловал ей обе руки. — Она его не выносит. Как это странно, что ты знаешь Стрикленда!

— Я не выношу дурных манер, — сказала его жена.

Дирк, все еще смеясь, обернулся ко мне.

— Я тебе сейчас объясню, в чем дело. Как-то я позвал его посмотреть мои работы. Он пришел, и я вытащил на свет божий все, что у меня было. — Струве запнулся и с минуту молчал. Не знаю, зачем он начал этот рассказ, который ему было тошно довести до конца. — Он посмотрел на мои работы и ничего не сказал. Я думал, он приберегает свое суждение под конец. Потом я все-таки заметил: «Ну вот и все, больше у меня ничего нет!» А он и говорит: «Я пришел попросить у вас займы двадцать франков».

— И Дирк дал! — с негодованием воскликнула миссис Струве.

— Признаться, я опешил. Да и не люблю я отказывать. Он сунул деньги в карман, кивнул мне, сказал «благодарю» и ушел.

Когда Дирк Струве рассказывал эту историю, на его круглом глуповатом лице было написано такое бесконечное удивление, что трудно было удержаться от смеха.

¹ Бедняжка ты моя (*фр.*).

— Скажи он, что мои картины плохи, я бы не обиделся, но он ничего не сказал — ни слова!

— А ты еще рассказываешь об этом, — заметила миссис Струве.

Самое печальное, что мне больше хотелось смеяться над растерянной физиономией Дирка, чем негодовать на то, как Стрикленд обошелся с ним.

— Я надеюсь, что больше никогда его не увижу, — сказала миссис Струве.

Струве рассмеялся и пожал плечами. Обычное благодушие уже вернулось к нему.

— Так или иначе, а он большой художник, очень, очень большой.

— Стрикленд? — воскликнул я. — Тогда это, наверно, не тот.

— Высокий малый с рыжей бородой. Чарлз Стрикленд. Англичанин.

— У него не было бороды, когда я встречался с ним, но если он отрастил бороду, то, надо думать, рыжую. Мой Стрикленд начал заниматься живописью всего пять лет назад.

— Это он. Он великий художник.

— Не может быть!

— Разве я когда-нибудь ошибался? — спросил Дирк. — Говорю тебе, он гений. Я в этом не сомневаюсь. Если через сто лет кто-нибудь вспомнит о нас с тобой, то только потому, что мы знали Чарлза Стрикленда.

Я был поражен и взволнован до предела. Мне внезапно вспомнился мой последний разговор со Стриклендом.

— Где можно посмотреть его работы? Он имеет успех? Где он живет?

— Нет, успеха он не имеет. Думаю, что он не продал еще ни одной картины. О них кому ни скажи — все смеются. Но я-то знаю, что он великий художник. Ведь и над Мане в свое время смеялись. Коро в жизни не продал ни одной из своих работ. Я не знаю адреса Стрикленда, но могу устроить тебе встречу с ним. Каждый вечер в семь часов он бывает в кафе на авеню Клиши. Мы можем завтра сходить туда.

— Я не уверен, что он захочет меня видеть. Я напому ему то, о чем он старается забыть. Но все равно я пойду. А можно посмотреть его работы?

— У него — нет. Он тебе ничего не покажет. Но я знаю одного торговца, у которого есть две или три картины Стрикленда. Только ты не ходи без меня: ты ничего не поймешь. Я их сам тебе покажу.

— Дирк, ты меня выводишь из терпения! — воскликнула миссис Струве. — Как ты можешь превозносить его картины после того, что было? — Она обернулась ко мне: — Вы знаете, когда какие-то приезжие из Голландии пришли к нам покупать картины, то Дирк стал их уговаривать лучше купить картины Стрикленда! И настоял, чтобы их принесли сюда.

— А что вы думаете об этих полотнах? — с улыбкой спросил я.

— Они ужасны.

— Ах, радость моя, ты ничего не понимаешь.

— А почему же твои голландцы так на тебя разошлись? Они решили, что ты вздумал подшутить над ними.

Дирк Струве снял очки и тщательно протер их. От волнения его лицо сделалось еще краснее.

— Неужели, по-твоему, красота, самое драгоценное, что есть в мире, валяется, как камень на берегу, который может поднять любой прохожий? Красота — это то удивительное и недоступное, что художник в тяжких душевных муках творит из хаоса мироздания. И когда она уже создана, не всякому дано ее узнать. Чтобы постичь красоту, надо вжиться в дерзание художника. Красота — мелодия, которую он поет нам, и для того, чтобы она отозвалась в нашем сердце, нужны знание, восприимчивость и фантазия.

— Почему я всегда считала твои картины прекрасными, Дирк? Они восхитили меня, едва только я увидела их.

У Дирка чуть-чуть задрожали губы.

— Ложись спать, родная моя, а я немножко провожу нашего друга и сейчас же вернусь домой.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Дирк Струве пообещал зайти за мной на следующий день вечером, чтобы отправиться в кафе, где бывал Стрикленд. К вящему моему удивлению, это оказалось то самое кафе, в котором мы пили абсент со Стриклендом, когда я приезжал в Париж для разговора с ним. То, что он по-прежнему бывал здесь, свидетельствовало об известной верности привычке, и это показалось мне характерным.

— Вот он, — сказал Струве, едва только мы вошли в кафе.

Несмотря на октябрь месяц, вечер был теплый, и за столиками, расставленными прямо на мостовой, сидело множество народу. Я впился взглядом в эту толпу, но не нашел Стрикленда.

— Смотри же, вон там в углу, за шахматами.

Я заметил человека, склонившегося над шахматной доской, но различил только широкополую шляпу и рыжую бороду. С трудом пробравшись между столиками, мы подошли к нему.

— Стрикленд!

Он поднял глаза.

— Хэлло, толстяк! Что надо?

— Я привел старого друга, он хочет повидать вас.

Стрикленд посмотрел мне в лицо, но, видимо, не узнал меня и снова стал обдумывать ход.

— Садитесь и не шумите,— буркнул он.

Он передвинул пешку и тотчас же весь погрузился в игру. Бедняга Струве бросил на меня огорченный взгляд, но я не позволил таким пустякам смутить себя. Я велел подать вина и стал спокойно дожидаться, пока Стрикленд кончит. Я был рад случаю исподволь понаблюдать за ним. Нет, это не тот человек, которого я знал. Прежде всего, косматая и нечесаная рыжая борода закрывала большую часть лица, и волосы на голове тоже были длинные; но более всего непохожим на прежнего Стрикленда его делала страшная худоба. Большой нос еще резче выдался вперед, щеки ввалились, глаза стали огромными. Запавшие виски казались ямами. Тело напоминало скелет. Сюртук, тот же, что и пять лет назад, рваный, в пятнах, донельзя изношенный, болтался на нем, как с чужого плеча. Я долго смотрел на его руки с отросшими грязными ногтями; кожа да кости, но большие и сильные, а я ведь совсем забыл, что они так красивы! Я смотрел на него, погруженного в игру, и думал о том, какая сила исходит от этого изголодавшегося человека. Я только не мог понять, почему теперь она больше бросалась в глаза.

Сделав ход, Стрикленд откинулся на стуле и вперил в пространство рассеянный взгляд. Противник — дородный бородатый француз — долго обдумывал положение, затем вдруг разразился беззлобной бранью, смахнул фигуры с доски и швырнул их обратно в коробку. Изругав Стрикленда и, видимо, облегчив свою душу, он позвал официанта, заплатил за абсент и ушел. Струве придвинул свой стул поближе к столику.

— Ну, теперь мы можем и поговорить,— сказал он.

Глаза Стрикленда были устремлены на него с каким-то злорадством. Я ясно чувствовал, что он ищет повода поиздеваться, ничего не находит и потому угрюмо молчит.

— Я привел старого друга повидаться с вами,— с сияющим лицом повторил Струве.

Стрикленд, наверно, с минуту задумчиво смотрел на меня. Я молчал.

— В жизни его не видел,— объявил он наконец.

Не знаю, зачем он это сказал, от меня все равно не укрылся огонек в его глазах — он, несомненно, узнал меня. Но теперь я не так легко конфузился, как несколько лет назад.

— Я на днях говорил с вашей женой и уверен, что вам будет интересно узнать о ней столь свежие новости.

В ответ послышался короткий смешок. Глаза Стрикленда блеснули.

— Мы тогда славно провели вечер,— сказал он.— Сколько лет назад это было?

— Пять.

Он спросил еще абсенту. Струве начал многословно объяснять, как мы с ним встретились и как в разговоре случайно выяснилось, что мы оба знаем Стрикленда. Не знаю, слушал ли его Стрикленд. Раза два он задумчиво взглянул на меня, но большей частью был погружен в собственные мысли, и, конечно, без болтовни Струве мне было бы нелегко поддерживать разговор. Минут через двадцать голландец поглядел на часы и объявил, что ему пора. Он спросил, пойду ли я с ним. Мне подумалось, что наедине я кое-что вытяну из Стрикленда, и я решил остаться.

После ухода толстяка я сказал:

— Дирк Струве считает вас великим художником.

— А почему, черт возьми, это должно интересовать меня?

— Вы позволите мне посмотреть ваши картины?

— Это еще зачем?

— Возможно, что мне захочется приобрести одну из них.

— Возможно, что мне не захочется ее продать.

— Надо думать, вы хорошо зарабатываете живописью? — с улыбкой спросил я.

Он фыркнул.

— Вы это заметили по моему виду?

— У вас вид вконец изголодавшегося человека.

— Так оно и есть.

— Тогда пойдемте обедать.

— Почему вы мне это предлагаете?

— Во всяком случае, не из жалости,— холодно отвечал я.— Ей-богу, мне наплевать, умрете вы с голоду или не умрете.

Глаза его снова зажглись.

— В таком случае пошли.— Он поднялся с места.— Не плохая штука — хороший обед.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Предоставив ему выбор ресторана, я по дороге купил газету. Когда мы заказали обед, я развернул ее, прислонил к бутылке «Сен-Гальмье» и углубился в чтение. Ели мы молча. Время от времени я чувствовал на себе взгляд Стрикленда, но сам не поднимал глаз. Мне хотелось во что бы то ни стало вызвать его на разговор.

— Есть что-нибудь интересное в газете? — спросил он под самый конец нашего молчаливого обеда.

В его тоне мне послышалось легкое раздражение.

— Я люблю читать фельетоны о театре, — отвечал я, складывая газету.

— Я с удовольствием пообедал, — заметил он.

— А не выпить ли нам здесь же кофе?

— Можно.

Мы взяли по сигаре. Я курил молча, но заметил, что в глазах его мелькал смех, когда он взглядывал на меня. Я терпеливо ждал.

— Что вы делали все эти годы? — спросил он наконец.

Что мог я рассказать о себе? Это была бы летопись тяжелого труда и малых дерзаний; попыток то в одном, то в другом направлении; постепенного познания книг и людей. Я со своей стороны остерегался спрашивать Стрикленда о его делах и жизни, не выказывая ни малейшего интереса к его особе, и под конец был вознагражден. Он заговорил первый. Но, начисто лишенный дара красноречия, лишь отдельными вехами отметил пройденный путь, и мне пришлось заполнять пробелы с помощью собственного воображения. Это были танталовы муки — слушать, как скупыми намеками говорит о себе человек, так сильно меня интересовавший. Точно я читал неразборчивую, стертую рукопись. В общем, мне стало ясно, что жизнь его была непрерывной борьбой с разнообразнейшими трудностями. Но понял я и то, что многое предельно страшное для большинства людей его нисколько не страшило. Стрикленда резко отличало от его соплеменников полное пренебрежение к комфорту. Он с полнейшим равнодушием жил в убогой комнатке, у него не было потребности окружать себя красивыми вещами. Я убежден, что он даже не замечал, до какой степени грязны у него обои. Он не нуждался в креслах и предпочитал сидеть на кухонной табуретке. Он ел с жадностью, но что есть, ему было безразлично; пища была для него только средством заглушить сосущее чувство голода, а когда ее не находилось, ну что ж, он голодал.

Я узнал, что в течение полугода его ежедневный рацион состоял из ломтя хлеба и бутылки молока. Чувственный по природе, он оставался равнодушен ко всему, что возбуждает чувственность. Нужда его не тяготила, и он, как это ни поразительно, всецело жил жизнью духа.

Когда подошла к концу скромная сумма, которую Стрикленд привез из Лондона, он не впал в отчаяние. Картины его не продавались, да он, по-моему, особенно и не старался продать их и предпочел пуститься на поиски какого-нибудь заработка. С мрачным юмором рассказывал он о временах, когда ему в качестве гида приходилось знакомить любопытных лондонцев с ночной жизнью Парижа; это занятие более или менее соответствовало его сардоническому нраву, и он каким-то образом умудрился досконально изучить самые «пропащие» кварталы Парижа. Много часов подряд шагал он по бульвару Мадлен, выискивая англичан, желательно подвыпивших и охочих до запрещенных законом зрелищ. Иной раз Стрикленду удавалось заработать кругленькую сумму, но под конец он так обносился, что его лохмотья отпугивали туристов и мало у кого хватало мужества довериться гиду-оборванцу. Затем ему снова посчастливилось, он достал работу — переводил рекламы патентованных лекарств, которые посылались в Англию, а однажды, во время забастовки, работал маляром.

Однако он не забросил своего искусства, только перестал посещать студии и работал в одиночку. Деньги на холст и краски у него всегда находились, а больше ему ничего не было нужно. Насколько я понял, работал он очень трудно и, не желая ни от кого принимать помощи, тратил уйму времени на разрешение технических проблем, разработанных еще предшествующими поколениями. Он стремился к чему-то, к чему именно, я не знал, да навряд ли знал и он сам, и я опять еще яснее почувствовал, что передо мною одержимый. Право же, он производил впечатление человека не совсем нормального. Мне даже почудилось, что он не хочет показать мне свои картины, потому что они ему самому не интересны. Он жил в мечте, и реальность для него цены не имела. Должно быть, работая во всю свою могучую силу, он забывал обо всем на свете, кроме стремления воссоздать то, что стояло перед его внутренним взором, а затем, покончив даже не с картиной (мне почему-то казалось, что он редко завершал работу), но со сжигавшей его страстью, утрачивал к ней всякий интерес. Никогда не был он удовлетворен тем, что сделал; вышедшее из-под его кисти всегда казалось ему бледным и незначительным в сравнении с тем, что денно и нощно виделось его духовному взору.

— Почему вы не выставляете своих картин? — спросил я. — Неужто вам не хочется узнать, что думают о них люди?

— Я не любопытен.

Неописуемое презрение вложил он в эти слова.

— Разве вы не мечтаете о славе? Вряд ли хоть один художник остался к ней равнодушен.

— Ребячество! Как можно заботиться о мнении толпы, если в грош не ставишь мнение одного человека.

Я рассмеялся:

— Не все способны так рассуждать!

— Кто делает славу? Критики, писатели, биржевые маклеры, женщины.

— А должно быть, приятно сознавать, что люди, которых ты и в глаза не видел, волнуются и трепещут, глядя на создание твоих рук! Власть — кто ее не любит? А есть ли власть прельстительнее той, что заставляет сердца людей биться в страхе или сострадании?

— Мелодрама.

— Но ведь и вам не все равно, пишете вы хорошо или плохо?

— Все равно. Мне важно только писать то, что я вижу.

— А я, например, сомневаюсь, мог ли бы я работать на необитаемом острове, в уверенности, что никто, кроме меня, не увидит того, что я сделал.

Стрикленд долго молчал, но в глазах его светился странный огонек, словно они видели нечто, преисполнявшее восторгом его душу.

— Я иногда вижу остров, затерянный в бескрайнем морском просторе; там бы я мог мирно жить в укромной долине, среди неведомых мне деревьев. И там, мне думается, я бы нашел все, что ищу.

Он говорил не совсем так. Прилагательные подменял жестами и запинался. Я своими словами передал то, что он, как мне казалось, хотел выразить.

— Оглядываясь на эти последние годы, вы полагаете, что игра стоила свеч?

Он взглянул на меня, не понимая, что я имею в виду. Я пояснил:

— Вы оставили уютный дом и жизнь такую, какую принято считать счастливой. Вы были состоятельным человеком, а здесь, в Париже, вам пришлось очень круто. Если бы жизнь можно было повернуть вспять, сделали бы вы то же самое?

— Конечно.

— А знаете, что вы даже не спросили меня о своей жене и детях? Неужели вы никогда о них не думаете?

— Нет.

— Честное слово, я бы предпочел, чтобы вы отвечали мне не так односложно. Но иногда-то ведь вы чувствуете угрызения совести за горе, которое причинили им?

Стрикленд широко улыбнулся и покачал головой.

— Мне кажется, что временами вы все же должны вспоминать о прошлом. Не о том, что было семь или восемь лет назад, а о далеком прошлом, когда вы впервые встретились с вашей женой, полюбили ее, женились. Неужто вы не вспоминаете радость, с которой вы впервые заключили ее в объятия?

— Я не думаю о прошлом. Значение имеет только вечное сегодня.

С минуту я раздумывал. Ответ был темен, и все же мне показалось, что я смутно прозреваю его смысл.

— Вы счастливы? — спросил я.

— Да.

Я молчал и задумчиво смотрел на него. Он выдержал мой взгляд, но потом сардонический огонек зажегся у него в глазах.

— Плохо мое дело, вы, кажется, осуждаете меня?

— Ерунда, — отрезал я, — нельзя осуждать боа конструктора; напротив, его психика, несомненно, возбуждает интерес.

— Значит, вы интересуетесь мною чисто профессионально?

— Да, чисто профессионально.

— Что ж, вам и нельзя меня осуждать. Сами не бог весть что!

— Может быть, потому-то вы и чувствуете себя со мною непринужденно, — отпарировал я.

Он сухо улыбнулся, но ничего не сказал. Жаль, что я не умею описать его улыбку. Ее нельзя было назвать приятной, но она озарила его лицо, придала ему иное выражение, не хмурое, как обычно, а лукаво-злорадное. Это была неторопливая улыбка, начинавшаяся, а может быть, и кончавшаяся в уголках глаз; очень чувственная, не жесткая, но и не добрая, а какая-то нечеловеческая, словно то ухмылялся сатир. Эта улыбка и заставила меня спросить:

— И вы ни разу не были влюблены здесь, в Париже?

— У меня не было времени на такую чепуху. Жизнь — короткая штука, и на искусство и на любовь ее не хватит.

- Вы не похожи на анахорета.
- Все это мне противно.
- Плохо придуман человек.
- Почему вы смеетесь надо мной?
- Потому что я вам не верю.
- В таком случае вы осел.

Я молчал, испытующе глядя на него.

— Какой вам смысл меня дурачить? — сказал я наконец.

— Не понимаю.

Я улыбнулся.

— Сейчас объясню. Вот вы месяцами ни о чем таком не думаете и убеждаете себя, что с этим покончено раз и навсегда. Вы наслаждаетесь свободой и уверены, что теперь ваша душа принадлежит только вам. Вам кажется, что головой вы касаетесь звезд. А затем вы вдруг чувствуете, что больше вам не выдержать такой жизни, и замечаете, что ноги ваши все время топтались в грязи. И вас уже тянет вывалиться в ней. Вы встречаете женщину вульгарную, низкопробную, полуживотное, в которой воплощен весь ужас пола, и бросаетесь на нее, как дикий зверь. Вы упиваетесь ею, покуда ярость не ослепит вас.

Он смотрел на меня, и ни один мускул не дрогнул в его лице. Я не опускал глаз под его взглядом и говорил очень медленно.

— И вот еще что: как это ни странно, но, когда все пройдет, вы вдруг чувствуете себя необычайно чистым, имматериальным. Вы как бестелесный дух, и кажется, вот-вот коснетесь красоты, словно красота осязаема. Вам чудится, что вы слились с ветерком, с деревьями, на которых набухли почки, с радужными водами реки. Вы как бог. А можете вы объяснить — почему?

Он не сводил с меня глаз, покуда я не кончил, и тогда отвернулся. Странное выражение застыло на его лице. «Такое лицо,— подумалось мне,— должно быть у человека, умершего под пытками». Стрикленд молчал. Я понял, что наша беседа окончена.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Обосновавшись в Париже, я начал писать пьесу. Жизнь я вел очень размеренную, по утрам работал, а днем бродил в Люксембургском саду или же шатался по улицам. Долгие часы я проводил в Лувре, приветливейшей из всех галерей на

свете и всегда влекущей к раздумью, или же торчал у букинистов на набережных, перелистывая старые книги, которые не думал покупать. Я прочитывал страничку то тут, то там, затем шел дальше и таким образом просмотрел множество книг, с которыми мне и не хотелось знакомиться подробнее. По вечерам я навещал друзей. Частенько заходил к Струве и, случалось, делил с ними их скромный ужин. Дирк Струве похвалялся своим искусством готовить итальянские блюда, и надо сознаться, что его spaghetti¹ значительно превосходили его картины. Поистине то было королевское пиршество, когда в огромной миске он вносил макароны, щедро пропитанные томатом, и мы ели их с чудесным домашним хлебом, запивая красным вином. Я ближе узнал Бланш Струве, и, может быть, потому, что я англичанин, а она редко встречалась со своими соотечественниками, ее, видимо, всегда радовал мой приход. Она была приветлива, проста в обращении, хотя по большей части молчалива, и, не знаю почему, мне казалось, что на сердце у нее какая-то тайна. Впрочем, может быть, это была всего лишь врожденная сдержанность, подчеркнутая болтливой откровенностью мужа. Дирк ни о чем не умел молчать. Самые интимные вопросы он обсуждал без малейшего стеснения. Жена его конфузилась, но только раз я заметил, что она вышла из себя, когда он пожелал во что бы то ни стало сообщить мне, что принял слабительное, и пустился в длинный и весьма натуралистический рассказ. Абсолютная серьезность, с которой он повествовал о своей беде, заставила меня покатываться со смеху, а миссис Струве окончательно смешалась.

— Не понимаю, что за охота строить из себя дурачка! — воскликнула она.

Когда он увидел, что она сердится, его круглые глаза стали еще круглее, а брови взметнулись.

— Душенька моя, ты недовольна? Никогда больше не стану принимать слабительного. Это из-за разлития желчи. Сидячий образ жизни. Надо больше двигаться. Подумать только, что три дня у меня не было...

— Бога ради, придержи свой язык, — перебила она мужа со слезами досады на глазах.

Лицо его вытянулось, губы надулись, как у наказанного ребенка. Он бросил на меня умоляющий взгляд, взывая о помощи, но я, не в силах совладать с собой, корчился от смеха.

¹ Макароны (*ит.*).

Однажды мы зашли к торговцу картинами, в лавке которого, по словам Струве, находились две или три вещи Стрикленда, но хозяин сообщил нам, что Стрикленд на днях забрал их. Почему — неизвестно.

— По правде сказать, я не очень-то огорчаюсь. Я взял их только из уважения к мосье Струве и, конечно, пообещал продать, если удастся, хотя, ей-богу... — он пожал плечами, — я, конечно, стараюсь поддерживать молодых художников, но тут, *voуons*¹, мосье Струве, вы сами знаете, таланта ни на грош.

— Даю вам честное слово, нет в наши дни более даровитого художника. Помяните мое слово, вы упускаете выгодное дело. Придет время, когда эти картины будут стоить дороже всех, что имеются у вас в лавке. Вспомните Моне, которому не удавалось сбить свои вещи за сотню франков. А сколько они стоят теперь?

— Правильно. Но десятки художников не хуже Моне не могут сбить свои картины, которые и теперь ничего не стоят. Что тут можно знать? Разве успех дается по заслугам? Вздор. *Du reste*² надо еще доказать, что этот ваш приятель достоин успеха. Кроме вас, мосье Струве, никто этого не считает.

— А как вы в таком случае определяете, кто его достоин? — спросил Дирк, красный от гнева.

— Только одним способом — по успеху.

— Филистер! — крикнул Дирк.

— А вы вспомните великих художников прошлого: Рафаэля, Микеланджело, Энгра, Делакруа — все они имели успех.

— Пойдем, — оборотился ко мне Струве, — или я убью этого человека.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Я встречал Стрикленда довольно часто и время от времени даже играл с ним в шахматы. Он был человек очень неровного характера. То молча сидел в углу, рассеянный и никого не замечающий, то вдруг, придя в хорошее расположение духа, начинал говорить, как всегда отрывисто и косноязычно. Я ни разу не слышал от него ничего особенно умного, но его жестокий сарказм порою был заинтере-

¹ Право же (*фр.*).

² К тому же (*фр.*).

лен; и говорил Стрикленд только то, что думал. Ему ничего не стоило больно уязвить человека, и, когда на него обижались, он только веселился. Дирку Струве, например, он наносил обиды столь горькие, что тот убегал, клянясь никогда больше не встречаться с ним. Но могучая натура Стрикленда неодолимо влекла к себе толстяка голландца, и он возвращался, виляя хвостом, точно провинившийся пес, хотя отлично знал, что его снова встретят пинком, которого он так боялся.

Не знаю почему, Стрикленд охотно водился со мной. Отношения у нас сложились своеобразные. Однажды он попросил меня дать ему займы пятьдесят франков.

— И не подумаяю,— отвечал я.

— Почему?

— А с какой радости я стану ссужать вас деньгами?

— Мне сейчас очень туго приходится.

— Не интересуюсь.

— Не интересуетесь, если я сдохну с голоду?

— Мне-то что до этого? — в свою очередь спросил я.

Минуту-другую он смотрел на меня, теребя свою косматую бороду. Я улыбался.

— Что вас смешит, хотел бы я знать? — Глаза его гневно блеснули.

— Неужели вы так наивны? Вы ведь никаких обязательств не признаете, следовательно, и вам никто ничем не обязан.

— А каково вам будет, если я сейчас пойду и повешусь, потому что мне нечем заплатить за комнату и меня выгоняют на улицу?

— Мне наплевать, что с вами будет.

Он фыркнул.

— Хвастовство! Сделай я это, и вас совесть загрызет.

— Попробуйте, тогда увидим,— отвечал я.

Улыбка промелькнула у него в глазах, и он молча допил свой абсент.

— Не сыграть ли нам в шахматы? — предложил я.

— Пожалуй.

Когда мы расставили фигуры, он с довольным видом оглядел доску. Отраднo видеть, что твои солдаты готовы к бою.

— Вы вправду вообразили, что я дам вам денег? — спросил я.

— А почему бы вам и не дать?

— Вы меня удивляете и разочаровываете.

— Чем?

— Оказывается, в глубине души вы сентиментальны. Я бы предпочел, чтобы вы не взывали так наивно к моим чувствам.

— Я презирал бы вас, если бы вы растрогались,— отвечал он.

— Так-то оно лучше,— рассмеялся я.

Мы сделали первые ходы и оба углубились в игру. А когда кончили, я сказал:

— Вот что я вам предлагаю: если у вас дела так плохи, покажите мне ваши картины. Возможно, какая-нибудь из них мне понравится, и я ее куплю.

— Идите к черту,— отрезал он.

Он встал и уже шагнул было к двери. Я его остановил ехидным замечанием:

— Вы забыли заплатить за абсент!

Он обругал меня, швырнул на стол монету и ушел.

После этого я несколько дней его не видел. Но однажды вечером, когда я сидел в кафе и читал газету, он вошел и уселся рядом со мной.

— Как видно, вы все же не повесились,— заметил я.

— Нет, я получил заказ. За двести франков пишу портрет старого жестянщика¹.

— Как это вам удалось?

— Меня рекомендовала булочница, у которой я покупаю хлеб. Он ей сказал, что ищет, кто бы мог написать его портрет. Пришлось дать ей двадцать франков за комиссию.

— А каков он собой?

— Великолепен. Красная рожа, жирная, как баранья нога, и на правой щеке громадная волосатая бородавка.

Стрикленд был в отличном расположении духа и, когда к нам подсел Дирк Струве, со свирепым добродушием обрушился на беднягу. С ловкостью, которой я даже не предполагал в нем, он отыскивал наиболее уязвимые места злополучного голландца. На сей раз Стрикленд донимал его не рапирой сарказма, но дубиной брани. Это была атака настолько неспровоцированная, что Струве, застигнутый врасплох, оказался совершенно беззащитным и походил на вспугнутую овцу, бессмысленно тыкающуюся из стороны в сторону. Он был так поражен и озадачен, что в конце концов слезы потекли у него из глаз. Но самое печальное,

¹ Эта картина ранее принадлежала богатому фабриканту в Лилле, бежавшему при приближении немцев. Теперь она находится в Национальной галерее в Стокгольме. Шведы — мастера ловить рыбу в мутной воде. (Примеч. автора.)

что любой свидетель этой безобразной сцены, при всей ненависти к Стрикленду, не мог бы удержаться от смеха. Дирк Струве принадлежал к тем несчастным, чьи самые глубокие чувства поневоле смешат вас.

И все же приятнейшее мое воспоминание о той парижской зиме — Дирк Струве. Его скромный домашний очаг был проникнут очарованием. Вид этой уютной четы радовал душу, а наивная любовь Дирка к жене так и светилась заботливой нежностью. Бестолковая искренность его страсти невольно вызывала симпатию. Я понимал, какие чувства она должна была питать к нему, и радовался, видя ее теплую привязанность. Если у нее есть чувство юмора, думал я, она забавляется его преклонением, тем, что он вознес ее так высоко, но ведь, и смеясь, она не может не быть польщена и растрогана. Дирк — однолюб, и, даже когда она постареет, утратит приятную округлость линий и миловидность, для него она все равно будет самой молодой и прекрасной на свете. Образ жизни этой четы отличался успокоительной размеренностью. Кроме мастерской, в их квартире была только спальня и крохотная кухонька. Миссис Струве собственноручно делала всю домашнюю работу; куда Дирк писал плохие картины, она ходила на рынок, стряпала, шила — словом, хлопотала, как муравей, а вечером, снова с шитьем в руках, сидела в мастерской и слушала, как Дирк играет на рояле, хотя он любил серьезную музыку, вероятно недоступную ее пониманию. Он играл со вкусом, но вкладывал в игру слишком много чувства, в игре звучала вся его честная, сентиментальная, любвеобильная душа.

Их жизнь была своего рода идиллией. Комичность, печать которой ложилась решительно на все вокруг Дирка Струве, вносила в нее своеобразную нотку, некий диссонанс, делавший ее, однако, более современной и человеческой; подобно грубой шутке, вкрапленной в серьезную сцену, она только еще горше делала горечь, неизбежно заложенную в красоте.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Незадолго до рождества Дирк Струве пришел просить меня встретить праздник вместе с ними. Сочельник неизменно вызывал в нем прилив сентиментальности, и он жаждал провести его среди друзей и со всеми подобающими церемониями. Оба мы не видели Стрикленда уже около

месяца: я — потому, что занимался друзьями, приехавшими на некоторое время в Париж, Струве — потому, что разобиделся сильнее, чем обычно, и дал себе наконец слово никогда больше не искать его общества. Стрикленд — ужасный человек, и он отныне знает его не желает. Однако наступающие праздники вновь преисполнили его добрых чувств, и он содрогнулся при мысли, что Стрикленд проведет рождество в полном одиночестве. Приписывая ему свои чувства, он не мог вынести, чтобы в день, когда друзья собираются за праздничным столом, бедняга пребывал наедине со своими мрачными мыслями. Дирк устроил елку в своей мастерской, и я подозревал, что самые неподходящие подарки для каждого из нас уже висят на ее разукрашенных ветвях. В глубине души он все-таки боялся встречи со Стриклендом, сознавая, что унижительно так легко прощать жестокую обиду, и потому непременно хотел, чтобы я был свидетелем сцены примирения.

Мы вместе отправились на авеню Клиши, но Стрикленда в кафе не оказалось. Сидеть на улице было холодно, и мы облюбовали себе кожаный диван в зале, не устранившись духоты и воздуха, сизого от сигарного дыма. Стрикленд не появлялся, но вскоре мы заметили художника-француза, с которым он иногда играл в шахматы. Я его окликнул, и он подсел к нашему столику. Струве спросил, давно ли он видел Стрикленда.

— Стрикленд болен, — отвечал художник, — разве вы не знали?

— И серьезно?

— Очень, насколько мне известно.

Струве побелел.

— Почему он мне не написал? Какой я дурак, что поссорился с ним. Надо сейчас же к нему пойти. За ним, вероятно, и присмотреть некому. Где он живет?

— Понятия не имею, — отвечал француз.

Оказалось, что никто из нас не знает, как найти Стрикленда. Дирк был в отчаянии.

— Он может умереть, и ни одна живая душа об этом не узнает! Ужас! Даже подумать страшно! Мы обязаны немедленно разыскать его.

Я пытался втолковать Струве, что наугад гоняться за человеком по Парижу — бессмыслица. Сначала надо составить план действий.

— Отлично! А он, может быть, лежит при смерти, и, когда мы его разыщем, будет уже поздно.

— Да замолчи ты, дай подумать! — прикрикнул я на него.

Мне был известен только один адрес — «Отель де бельж», но Стрикленд давно оттуда выехал и вряд ли там даже помнят его. А если еще принять во внимание его навязчивую идею скрывать свое местожительство, то не остается уже почти никакой надежды, что он сообщил портье свой адрес. Вдобавок это было пять с лишком лет назад. Но наверняка он жил где-то поблизости, раз продолжал ходить в то же кафе, что и в бытность свою постояльцем «Отель де бельж».

И вдруг я вспомнил, что заказ на портрет достался ему через булочницу, у которой он покупал хлеб. Вот у кого узнаем мы, возможно, где он живет. Я спросил адресную книгу и стал выискивать булочные. Неподалеку отсюда их было пять, нам оставалось только все их обойти. Струве неохотно последовал за мной. У него был свой собственный план — заходить во все дома по улицам, расходящимся от авеню Клиши, и спрашивать, не здесь ли проживает Стрикленд. Моя несложная схема вполне себя оправдала, ибо уже во второй булочной женщина за прилавком сказала, что знает Стрикленда. Она только не была уверена, в каком из трех домов напротив он живет. Но удача нам сопутствовала, и первая же спрошенная нами консьержка сообщила, что комната Стрикленда находится на самом верху.

— Он, кажется, нездоров, — начал Дирк.

— Все может быть, — равнодушно отвечала консьержка. — En effet¹ я уже несколько дней его не видела.

Струве помчался по лестнице впереди меня, а когда и я наконец взобрался наверх, он уже разговаривал с каким-то рабочим в одной жилетке, открывшим на его стук. Рабочий велел нам стучать в соседнюю дверь. Тамошний жилец и вправду, кажется, художник. Но он не попадался ему на глаза уже целую неделю. Струве согнул было палец, чтобы постучать, но вдруг с отчаянным лицом обернулся ко мне.

• — А что, если он умер?

— Кто-кто, а Стрикленд жив!

Я постучал. Ответа не было. Я нажал ручку, дверь оказалась незапертой, и мы вошли — я впереди, Струве за мной. В комнате было темно. Я с трудом разглядел, что это мансарда под стеклянной крышей; слабый свет с потолка лишь чуть-чуть рассеивал темноту.

— Стрикленд! — позвал я.

¹ В самом деле (*фр.*).

Ответа не было. Это уже и мне показалось странным, а Струве, стоявший позади меня, дрожал как в лихорадке. Я не решался зажечь свет. В углу я смутно различил кровать, и мне стало жутко: а вдруг при свете мы увидим на ней мертвое тело?

— Что, у вас спичек, что ли, нет, дурачьё?

Я вздрогнул, услышав из темноты жесткий голос Стрикленда.

— Господи боже ты мой! — закричал Струве. — Я уж думал, вы умерли!

Я зажег спичку и, оглянувшись в поисках свечи, успел увидеть тесное помещение, одновременно служившее жильем и мастерской. Тут только и было что кровать, холсты на подрамниках, повернутые лицом к стене, мольберт, стол и стул. Ни ковра на полу, ни камина. На столе, заваленном красками, шпателями и всевозможным мусором, нашелся огарок свечи. Я зажег его. Стрикленд лежал в неудобной позе, потому что кровать была коротка для него, навалив на себя всю имевшуюся у него одежду. С первого взгляда было ясно, что у него жестокий жар. Струве бросился к нему и срывающимся от волнения голосом забормотал:

— О бедный мой друг, что же это с вами? Я понятия не имел, что вы больны. Почему вы меня не известили? Вы же знаете, я все на свете сделал бы для вас. Не думайте о том, что я вам сказал тогда. Я был не прав. Глупо, что я обиделся...

— Убирайтесь к черту, — проговорил Стрикленд.

— Будьте же благоразумны. Позвольте мне устроить вас поудобнее. Неужели здесь никого нет, кто бы присмотрел за вами?

Он в полном смятении оглядел убогий чердак. Поправил одеяло и подушку. Стрикленд тяжело дышал и хранил злобное молчание. Потом сердито взглянул на меня. Я спокойно стоял и в свою очередь смотрел на него.

— Если хотите что-нибудь для меня сделать, принесите молока, — сказал он наконец. — Я два дня не выхожу из комнаты.

Возле кровати стояла пустая бутылка из-под молока, в кусок газеты были завернуты отгрызки хлеба.

— Что вы ели это время? — спросил я.

— Ничего.

— С каких пор? — закричал Струве. — Неужели вы два дня провели без еды и питья? Это ужасно!

— Я пил воду.

Глаза его остановились на большой кружке, до которой можно было дотянуться с кровати.

— Сейчас я сбегая за едой,— суетился Струве,— скажите, чего бы вам хотелось?

Я вмешался, сказав, что надо купить градусник, немного винограду и хлеба. Струве, радуясь, что может быть полезен, кубарем скатился по лестнице.

— Чертов дуралей! — пробормотал Стрикленд.

Я пощупал его пульс. Он бился часто и чуть слышно. На мои вопросы Стрикленд ничего не ответил, а когда я настойчиво повторил их, со злостью отвернулся к стене. Мне оставалось только молча ждать. Минут через десять возвратился запыхавшийся Струве. Помимо всего прочего, он принес свечи, бульон, спиртовку и, как расторопный хозяин, тотчас же принялся кипятить молоко. Я измерил Стрикленду температуру. Градусник показал сорок и три десятых. Он был серьезно болен.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Вскоре мы его оставили. Дирку надо было домой обедать, а я сказал, что приведу к Стрикленду врача. Но едва мы оказались на улице, где дышалось особенно легко после спертого чердачного воздуха, как голландец стал умолять меня немедленно пойти вместе с ним в его мастерскую. У него есть одна идея, какая — он мне сейчас не скажет, но я непременно, непременно, должен сопровождать его. Я не думал, чтобы врач в данный момент мог сделать больше, чем сделали мы, и поэтому согласился. Когда мы вошли, Бланш Струве накрывала на стол. Дирк прямо направился к ней и взял ее руки в свои.

— Милочка моя, я хочу кое о чем попросить тебя,— сказал он.

Она посмотрела на него тем серьезным и ясным взглядом, который был едва ли не главной ее прелестью. Красная физиономия Струве лоснилась от пота, вид у него был до смешного перебудораженный, но в его круглых, всегда удивленных глазах светилась решимость.

— Стрикленд очень болен. Возможно, при смерти. Он живет совсем один на грязном чердаке, где некому даже присмотреть за ним. Позволь мне перевезти его к нам.

Она быстро вырвала руки из его рук, я никогда еще не видел у нее такого стремительного движения; бледное лицо ее вспыхнуло.

— Ах нет!

— Дорогая моя, не отказывай мне. Я не в силах оставить его там одного. Я глаз не сомкну, думая о нем.

— Пожалуйста, иди и ухаживай за ним, я ничего не имею против.

Голос ее звучал холодно и высокомерно.

— Но он умрет.

— Пусть.

Струве даже рот раскрыл, потом вытер пот с лица и обернулся ко мне, ища поддержки, но я не знал, что сказать.

— Он великий художник.

— Какое мне дело? Я его ненавижу.

— Дорогая, любимая моя, не говори так. Заклинаю тебя, позволь мне привезти его. Мы его устроим здесь, может быть, спасем ему жизнь. Он тебя не обременит. Я все буду делать сам. Я постелю ему в мастерской. Нельзя же, чтобы он подышал как собака. Это бесчеловечно.

— Почему его нельзя отправить в больницу?

— В больницу? Он нуждается в любовном, заботливом уходе.

Меня удивило, что Бланш так взволновалась. Она продолжала накрывать на стол, но руки у нее дрожали.

— Не выводи меня из терпения! Заболей ты, Стрикленд бы пальцем не пошевелил для тебя.

— Ну и что с того? За мной ходила бы ты. Его помощь мне бы не понадобилась. А кроме того, я — дело другое, много ли я значу?

— Ты как неразумный щенок. Валяешься на земле и позволяешь людям топтать себя.

Струве хихикнул. Ему показалось, что он понял причину ее гнева.

— Дочка моя, ты все вспоминаешь, как он пришел сюда смотреть мои картины. Что за беда, если ему они показались скверными? С моей стороны было глупо показывать их. А кроме того, они ведь и вправду не очень-то хороши.

Он унылым взором окинул мастерскую. Незаконченная картина на мольберте изображала улыбающегося итальянского крестьянина; он держал гроздь винограда над головой темноглазой девушки.

— Даже если они ему не понравились, он обязан был соблюсти вежливость. Зачем он оскорбил тебя? Чтобы показать, что он тебя презирает? А ты готов ему руки лизать. О, я ненавижу его!

— Дочка моя, ведь он гений. Не думаешь же ты, что я себя считаю гениальным художником. Конечно, я бы хотел им быть. Но гения я вижу сразу и всем своим существом

преклоняюсь перед ним. Удивительнее ничего нет на свете... Но это тяжкое бремя для того, кто им осенен. К гениальному человеку надо относиться терпимо и бережно.

Я стоял в сторонке, несколько смущенный этой семейной сценой, и удивлялся, почему Струве так настаивал на моем приходе. У его жены глаза уже были полны слез.

— Пойми, я умоляю тебя принять его не только потому, что он гений, но еще и потому, что он человек, больной и бедный человек!

— Я никогда не впущу его в свой дом! Никогда!

Струве обернулся ко мне.

— Объясни хоть ты ей, что речь идет о жизни и смерти. Нельзя же оставить его в этой проклятой дыре

— Конечно, ухаживать за больным было бы проще здесь,— сказал я,— но, с другой стороны, это очень стеснит вас. Его ведь нельзя будет оставить одного ни днем, ни ночью.

— Любовь моя, не может быть, чтобы ты страшилась заботы и отказала в помощи больному человеку.

— Если он будет здесь, то уйду я! —вне себя воскликнула миссис Струве.

— Я тебя не узнаю. Ты всегда добра и великодушна.

— Ради бога, оставь меня в покое. Ты меня с ума сведешь!

Слезы наконец хлынули из ее глаз. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Плечи ее судорожно вздрагивали. Дирк в мгновение ока очутился у ее ног. Он обнимал ее, целовал ей руки, называл нежными именами, и слезы умиления катились по его щекам. Она высвободилась из его объятий и вытерла глаза.

— Пусти меня,— сказала миссис Струве уже мягче и, сияясь улыбнуться, обратилась ко мне: — Что вы теперь обо мне думаете?

Струве хотел что-то сказать, но не решался и смотрел на нее отчаянным взглядом. Лоб его сморщился, красные губы оттопырились. Он почему-то напомнил мне испуганную морскую свинку.

— Значит, все-таки «нет», родная?

Она уже изнемогла и лишь устало махнула рукой.

— Мастерская твоя. Все здесь твое. Если ты хочешь привезти его сюда, как я могу этому препятствовать?

Улыбка внезапно озарила его круглое лицо.

— Ты согласна? Я так и знал! Родная моя!

Она вдруг овладела собой и бросила на него взгляд, полный муки. Потом прижала обе руки к сердцу, словно стараясь утишить его биение.

— О Дирк, за всю мою жизнь я никогда ни о чем не просила тебя.

— Ты же знаешь, нет ничего на свете, чего бы я для тебя не сделал.

— Умоляю тебя, не приводи сюда Стрикленда. Кого хочешь, только не его. Приведи вора, пропойцу, первого попавшегося бродягу с улицы, и я обещаю тебе с радостью ходить за ним. Только не Стрикленда, заклинаю тебя, Дирк.

— Но почему?

— Я боюсь его. Он приводит меня в ужас. Он причинит нам страшное зло. Я это знаю. Чувствую. Если ты приведешь его, это добром не кончится.

— Что за безумие!

— Нет-нет! Я знаю, что говорю. Что-то ужасное случится с нами.

— Из-за того, что мы сделаем доброе дело?

Она прерывисто дышала, ужас исказил ее лицо. Я не знал, какие мысли пронеслись у нее в голове, но чувствовал, что какой-то безликий страх заставил ее потерять самообладание. И ведь обычно она была так спокойна и сдержанна; ее смятение было непостижимо. Струве некоторое время смотрел на нее, оцепенев от изумления.

— Ты моя жена, и ты мне дороже всех на свете. Ни один человек не переступит этого порога без твоего согласия.

Миссис Струве на минуту закрыла глаза. Мне показалось, что она теряет сознание. Я не знал, что она такая невропатка, и чувствовал глухое раздражение. Затем опять послышался голос Струве, как-то странно прорезавший тишину:

— Разве ты не была в великой беде, когда тебе протянули руку помощи? И ты еще помнишь, как много это значит. Неужели ты не хотела бы, если тебе представляется случай, вызволить из беды другого человека?

Это были самые обыкновенные слова, правда, на мой слух они звучали несколько назидательно, так что я едва сдержал улыбку. Действие их поразило меня. Бланш Струве вздрогнула и долгим взглядом в упор посмотрела на мужа. Он уставился в пол и, как мне показалось, смешался. Щеки ее слегка заалели, но тут же страшная мертвенная бледность проступила на лице; казалось, вся кровь застыла в ее жилах, даже руки у нее побледнели. Она задрожала. Тишина в мастерской стала плотной, почти осязаемой. Я был окончательно сбит с толку.

— Привези Стрикленда, Дирк. Я сделаю для него все, что в моих силах.

— Родная моя,— улыбнулся он и протянул к ней руки, но она отстранилась.

— Я не люблю нежностей на людях, Дирк. Это глупо.

Она опять была прежней Бланш, и никто не сказал бы, что минуту назад ее потрясло такое страшное волнение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

На следующий день мы перевезли Стрикленда. Понадобилось немало настойчивости и еще больше терпения, чтобы побудить его к этому, но он действительно был очень болен и не имел сил сопротивляться мольбам Струве и моей решительности. Мы одели его, причем он все время слабым голосом чертыхался, свели с лестницы, усадили в фиакр и доставили в мастерскую Струве. Стрикленд так изнемог от всех этих перипетий, что без возражений позволил уложить себя в постель. Он прохворал месяца полтора. Бывали дни, когда нам казалось, что он не проживет и нескольких часов, и я убежден, что выкарабкался он только благодаря необычному упорству Струве.

Я в жизни не видывал более трудного пациента. Он не был ни требователен, ни капризен, напротив — никогда не жаловался, ничего не спрашивал и почти все время молчал; но его как будто злили наши заботливые попечения. На вопрос, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь, он отвечал насмешками или бранью. Я его просто возненавидел и, как только он оказался вне опасности, напрямик ему об этом заявил.

— Убирайтесь к черту,— был его ответ. Вот и все.

Дирк Струве окончательно забросил работу и ходил за Стриклендом, как преданная нянька. Он удивительно ловко оправлял ему постель и с хитростью, какой я никогда бы не заподозрил в нем, заставлял принимать лекарства. Никакие труды и хлопоты его не останавливали. Хотя средств у него хватало на безбедную жизнь вдвоем с женой, но никаких излишеств он себе, конечно, позволить не мог; теперь же он сумасбродно расточал деньги на всевозможные деликатесы, которые могли бы возбудить капризный аппетит Стрикленда. Никогда я не забуду, с какой терпеливой деликатностью уговаривал он его побольше есть. Грубости, которые тот говорил ему в ответ, никогда не выводили Дирка из себя; угрюмой злобы он старался не замечать; если его задирали,

только посмеивался. Когда Стрикленд начал поправляться, его хорошее настроение выразалось в насмешках над Струве, и тот нарочно дурачился, чтобы повеселить его, украдкой бросая на меня радостные взгляды: вот, мол, дело пошло на поправку! Струве был великолепен.

Но еще больше меня удивляла Бланш. Она себя зарекомендовала не только способной, но и преданной сиделкой. Трудно было поверить, что она так яростно противилась желанию мужа водворить больного Стрикленда в их мастерскую. Она пожелала ухаживать за больным наравне с Дирком. Устроила постель так, чтобы менять простыни, не тревожа Стрикленда. Умывала его. Когда я подивился ее сноровке, она улыбнулась своей милой, тихой улыбкой и сказала, что ей пришлось одно время работать в больнице. Ни словом, ни жестом не выказала она своей отчаянной ненависти к Стрикленду. Она мало говорила с ним, но угадывала все его желания. В течение двух недель его даже ночью нельзя было оставлять одного, и она дежурила возле его постели по очереди с мужем. О чем она думала, часами сидя около него в темноте? На Стрикленда было страшно смотреть: он лежал, уставившись воспаленными глазами в пустоту, еще более худой, чем обычно, с всклокоченной рыжей бородой; от болезни его неестественно блестящие глаза казались еще огромнее.

— Говорит он когда-нибудь с вами по ночам? — спросил я однажды.

— Никогда.

— Вы по-прежнему его не терпите?

— Больше, чем когда-либо.

Она взглянула на меня своими ясными глазами. Лицо ее было безмятежно, и как-то не верилось, что эта женщина способна на бурный взрыв ненависти, свидетелем которого я был.

— А поблагодарил он вас хоть однажды за все, что вы для него сделали?

— Нет, — улыбнулась она.

— Страшный человек!

— И отвратительный.

Струве, конечно, был в восторге и не знал, как благодарить жену за ту чистосердечную готовность, с которой она приняла на свои плечи это бремя. Его смущало лишь то, как относились друг к другу Стрикленд и Бланш.

— Ты понимаешь, они часами не обмениваются ни единым словом.

Как-то раз — Стрикленду было уже настолько лучше, что через денек-другой он собирался встать с постели, — мы

все сидели в мастерской. Дирк что-то рассказывал мне, миссис Струве шила; мне показалось, что она чинит рубашку Стрикленда. Стрикленд лежал на спине и ни слова не говорил. Случайно я подметил, что его глаза с насмешкой и любопытством устремлены на Бланш Струве. Почувствовав его взгляд, она в свою очередь подняла на него глаза, и несколько секунд они в упор смотрели друг на друга. Мне было не совсем ясно, что выражал ее взор. В нем была странная растерянность и, бог весть почему, смятение. Но тут Стрикленд отвел глаза и снова праздно уставился в потолок, она же все продолжала смотреть на него с непонятным и загадочным выражением.

Через несколько дней Стрикленд начал ходить по комнате. От него остались только кожа да кости, одежда болталась на нем как на вешалке. Взлохмаченная рыжая борода, отросшие волосы, необычно крупные черты лица, заострившиеся от болезни, придавали ему странный вид — странный настолько, что он уже не был отталкивающим. В самой несуразности этого человека проглядывало какое-то монументальное величие. Я не знаю, как точно передать впечатление, которое он на меня производил. Не то чтоб его насквозь проникала духовность, хотя телесная оболочка и казалась прозрачной, — слишком уж была в глаза чувственность, написанная на его лице; быть может, то, что я сейчас скажу, смешно, но это была одухотворенная чувственность. От Стрикленда веяло первобытностью, точно и в нем была заложена частица тех темных сил, которые греки воплощали в образах получеловека-полуживотного — сатира, фавна. Мне пришел на ум Марсий, поплатившийся своей кожей за дерзостную попытку состязаться в пении с Аполлоном. Стрикленд вынашивал в своем сердце причудливые гармонии, невиданные образы, и я предвидел, что его ждет конец в муках и отчаянии. «Он одержим дьяволом, — снова думал я, — но этот дьявол не дух зла, ибо он — первобытная сила, существовавшая прежде добра и зла».

Стрикленд был еще слишком слаб, чтобы писать, и молча сидел в мастерской, предаваясь бог весть каким грезам, или читал. Я видел у него книги самые неожиданные, стихи Малларме — он читал их, как читают дети, беззвучно шевеля губами, и я недоумевал, какие чувства порождают в нем эти изысканные каденции и темные строки; в другой раз я застал его углубившимся в детективный роман Габорио. Меня забавляла мысль, что в выборе книг сказываются противоречивые свойства его необыкновенной природы. Интересно было и то, что, даже ослабев телом, он ни в чем себе

не потакал. Струве любил комфорт, и в мастерской стояли два мягких глубоких кресла и большой диван. Стрикленд к ним даже не подходил, и не из показного стоицизма — как-то раз я застал его там совсем одного сидящим на трехногом стуле, — а просто потому, что он не нуждался в удобстве и любому креслу предпочитал кухонный табурет. Меня это раздражало, я никогда не видел человека более равнодушного к окружающей обстановке.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Прошло две или три недели. Однажды утром, когда моя работа вдруг застопорилась, я решил дать себе отдых и отправился в Лувр. Бродя по залам, я разглядывал хорошо знакомые картины и тешил свою фантазию чувствами, которые они во мне пробуждали. В одном из переходов я вдруг увидел Струве. Я улыбнулся, ибо его кругленькая особа неизменно вызывала улыбку, но, подойдя ближе, заметил, что вид у него против обыкновения понурый. Чем-то очень удрученный, Струве тем не менее был смешон, как человек неожиданно упавший в воду: только что спасенный от смерти, он насквозь промок, еще не оправился от испуга, но понимает свое дурацкое положение. Его круглые голубые глаза тревожно блестели за очками.

— Струве, — окликнул я его.

Он вздрогнул, затем улыбнулся, но какой-то горестной улыбкой.

— Что это вы, сэр, вдруг вздумали бездельничать? — весело осведомился я.

— Я давно не был в Лувре. И вот решил посмотреть, нет ли чего-нибудь нового.

— Но ведь ты говорил, что должен на этой неделе закончить картину?

— Стрикленд работает в моей мастерской.

— Ну и что с того?

— Я сам ему предложил. Он еще слишком слаб, чтобы вернуться домой. Я думал, мы будем работать вдвоем. В Латинском квартале многие так работают. Мне казалось, что это очень славно получится. Я всегда думал: как хорошо перемолвиться словом с товарищем, когда устанешь от работы.

Он говорил медленно, с запинками, глядя на меня своими добрыми, глуповатыми глазами. Они были полны слез.

— Я тебя что-то не понимаю.

— Стрикленд не может работать, когда в мастерской еще кто-то есть.

— А тебе какое дело, черт возьми! Ведь это же твоя мастерская!

Струве бросил на меня жалобный взгляд. Губы его дрожали.

— В чем дело, объясни,— потребовал я.

Он молчал, весь красный. Потом с несчастным видом уставился на какую-то картину.

— Он не позволил мне писать. Сказал, чтобы я убрался.

— Да почему ты-то не сказал ему, чтобы он убрался ко всем чертям?

— Он меня выгнал. Не драться же мне с ним. Швырнул мне вслед мою шляпу и заперся.

Я готов был убить Стрикленда, но злился и на себя, так как, глядя на беднягу Струве, едва удерживался от смеха.

— А что на это сказала твоя жена?

— Она ушла за покупками.

— А ее-то он впустит?

— Не знаю.

Я оторопело уставился на Дирка. Он стоял, точно провинившийся школьник перед учителем.

— Хочешь, я сейчас пойду и выгоню Стрикленда?

Он слегка вздрогнул, и его лоснящееся красное лицо стало еще краснее.

— Нет. Ты лучше не вмешивайся.

Он кивнул мне и ушел. Я понял, что почему-то он не хочет обсуждать эту историю, но почему — мне было неясно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Неделю спустя все выяснилось. На скорую руку пообедав в ресторане, я вернулся домой и сел читать в своей маленькой гостиной. Часов около десяти вечера в передней раздался надтреснутый звон колокольчика. Я открыл дверь. Передо мной стоял Струве.

— Можно к тебе?

На полутемной лестнице я толком не разглядел его, но в голосе его было что-то странное. Не зная я, что он трезвенник, я бы подумал, что он пьян. Я провел его в гостиную и усадил в кресло.

— Слава богу, наконец-то я тебя застал! — воскликнул он.

— А в чем дело? — спросил я, удивленный такой горячностью.

Только сейчас я его разглядел. Всегда очень тщательно одетый, Дирк выглядел растерзанным и даже неопрятным. Я улыбнулся, решив, что он выпил лишнего, и уже хотел над ним подшутить.

— Я не знал, куда деваться, — выпалил он. — Я уже приходил сюда, но тебя не было дома.

— Я сегодня поздно обедал.

Теперь я понял, что не хмель привел Дирка в такое состояние. Лицо его, обычно такое розовое, пошло багровыми пятнами. Руки тряслись.

— Что с тобой? — спросил я.

— От меня ушла жена.

Он с трудом выговорил эти слова, задохнулся, и слезы потекли по его круглым щекам. Я не знал, что сказать. Первая моя мысль была, что ее терпение лопнуло и, возмущенная циническим поведением Стрикленда, она потребовала, чтобы Дирк выгнал его. Я знал, на какие вспышки она способна, несмотря на свое внешнее спокойствие. И если Струве не согласился на ее требование, она могла выбежать из мастерской, клянясь никогда больше не возвращаться. Впрочем, бедняга был в таком отчаянии, что я даже не улыбнулся.

— Да не убивайся ты так, дружище. Она вернется. Нельзя же всерьез принимать слова, которые женщина говорит в запальчивости.

— Ты не понимаешь... Она влюбилась в Стрикленда.

— Что-о?! — Я был ошеломлен, но едва смысл его слов дошел до меня, как я понял, что это вздор. — Какую чепуху ты несешь. Уж не приревновал ли ты ее к Стрикленду? — Я готов был рассмеяться. — Ты знаешь не хуже меня, что она его не выносит.

— Ничего ты не понимаешь, — простонал он.

— Ты истеричный осел, — нетерпеливо крикнул я. — Пойдем-ка, я напою тебя виски с содовой, и у тебя легче станет на душе.

Мне подумалось, что по той или иной причине — а ведь один бог знает, как изобретателен человек по части самоистязания, — Дирк забрал себе в голову, что его жене нравится Стрикленд, и, со своей удивительной способностью высказываться не к месту, он оскорбил ее, а она, чтобы ему отплатить, притворилась, будто его подозрения основательны.

— Вот что, — сказал я, — пойдем сейчас к тебе. Раз уж ты заварил кашу, так ты ее и расхлебывай. Твоя жена, по-моему, женщина незлопамятная.

— Но как же я туда пойду? — устало отозвался Дирк. — Ведь они там. Я им оставил мастерскую.

— Значит, не жена ушла от тебя, а ты ушел от жены?

— Ради бога, не говори так!

Я все еще не принимал его слова всерьез, ни на минуту не веря тому, что он сказал. Однако Дирк был вне себя от горя.

— Ты ведь пришел поделиться со мной, так расскажи все по порядку.

— Сегодня я почувствовал, что больше не выдержу. Я сказал Стрикленду, что, по-моему, он уже вполне здоров и может возвратиться домой. Мастерская нужна мне самому.

— Кроме Стрикленда, на свете, верно, нет человека, которому нужно было бы это говорить, — заметил я. — Ну и что же он?

— Он усмехнулся. Ты же знаешь его манеру усмехаться так, что другой чувствует себя набитым дураком. И сказал, что уйдет немедленно. Он начал собирать свои вещи — помнишь, я взял из его комнаты все, что могло ему понадобиться. Потом спросил у Бланш бумагу и веревку.

Струве запнулся, он прерывисто дышал и, казалось, был близок к обмороку. Признаться, я не это ожидал от него услышать.

— Бланш, очень бледная, все ему принесла. Он не сказал ни слова. Стал что-то насвистывать и увязал вещи. На нас не обращал никакого внимания. А глаза — насмешливые. Ты не можешь себе представить, как у меня было тяжело на сердце. Мне казалось, сейчас случится что-то страшное, и я жалел, что заговорил с ним. Он оглянулся, стал искать шляпу. Тут она сказала: «Дирк, я ухожу со Стриклендом. Я не могу больше жить с тобой». Я хотел заговорить, но слова не шли у меня с языка. Стрикленд молчал. Только насвистывал, словно все это его не касалось.

Струве опять запнулся и вытер пот с лица. Я молчал. Теперь я уже верил ему и был потрясен, но все равно ничего не понимал.

Затем он рассказал мне — голос у него при этом срывался и по щекам текли слезы, — как он бросился к жене, хотел обнять ее, но она отшатнулась, умоляя не прикасаться к ней. Он заклинал ее не уходить. Говорил, как страстно ее любит, старался воскресить в ее памяти счастливые дни и то обожание, которым он окружал ее, твердил, что не сердится на нее и ни в чем ее не упрекает.

— Пожалуйста, Дирк, дай мне спокойно уйти,— сказала она наконец.— Разве ты не понимаешь, что я люблю Стрикленда? Я пойду за ним куда угодно.

— Но ведь ты никогда не будешь счастлива с ним. Остаешься ради своего же блага. Ты не знаешь, что тебя ждет.

— Это твоя вина. Ты настоял на том, чтобы привести его сюда.

Тогда он бросился к Стрикленду.

— Сжальтесь над ней,— умолял он.— Не допускайте ее до этого безумия.

— Она вольна поступать как ей заблагорассудится,— отвечал Стрикленд.— Я не принуждаю ее идти со мной.

— Мой выбор сделан,— глухим голосом сказала Бланш.

Оскорбительное спокойствие Стрикленда отняло у Дирка последнее самообладание. В слепой ярости, уже не понимая, что делает, он бросился на Стрикленда. Стрикленд, захваченный врасплох, покачнулся, но он был очень силен, даже после болезни, и Дирк в мгновение ока—как это случилось, он не понял,— очутился на полу.

— Смешной вы человечиска,— сказал Стрикленд.

Струве поднялся. Жена его все это время оставалась спокойной, и его унижение стало еще нестерпимее оттого, что он оказался смешным в ее глазах. Очки соскочили у него во время борьбы, и он беспомощно озирался вокруг. Она подняла их и молча подала ему. Внезапно он почувствовал всю глубину своего несчастья и, сознавая, как он смешон и жалок, все же заплакал в голос. Он закрыл лицо руками. Те двое молча смотрели на него и не двигались с места.

— Любимая моя,— простонал он наконец,— как ты можешь быть такой жестокой?

— Я ничего не могу с собой поделать, Дирк,— отвечала она.

— Я боготворил тебя, как никто не боготворил женщину. Если я в чем-нибудь провинился перед тобой, почему ты не сказала, я бы загладил свою вину. Я делал для тебя все, что мог.

Она не отвечала, лицо у нее стало каменное, он видел, что только докучает ей. Она надела пальто, шляпу и двинулась к двери. Дирк понял: еще мгновение—и она уйдет. Он ринулся к ней, схватил ее руки, упал перед нею на колени; чувство собственного достоинства окончательно его оставило.

— Не уходи, моя родная! Я не могу жить без тебя! Я покончу с собой! Если я чем-нибудь тебя обидел, умоляю

тебя, прости! Дай мне возможность заслужить прощение. Я сделаю все, все, чтобы ты была счастлива!

— Встань, Дирк! Не строй из себя шута.

Шатаясь, он поднялся, но все не имел сил отпустить ее.

— Куда ты пойдешь? — торопливо заговорил он. — Ты не представляешь себе, как живет Стрикленд. Ты не можешь там жить. Это было бы ужасно.

— Если мне это все равно, то чего же тебе волноваться?

— Подожди минуту. Я должен сказать... Ты не можешь мне запретить...

— Зачем? Я решилась. Что бы ты ни сказал, я не переменяю своего решения.

Он всхлипнул и, словно унимая боль, схватился руками за сердце.

— Я не прошу тебя перерешать, но только выслушай меня. Это моя последняя просьба. Не отказывай мне.

Она остановилась и посмотрела на него своим задумчивым взглядом, теперь таким отчужденным и холодным, отошла от двери и встала у шкафа.

— Я тебя слушаю.

Струве сделал невероятное усилие, чтобы взять себя в руки.

— Будь же хоть немного благоразумной. Ты не можешь жить воздухом. У Стрикленда гроша нет за душой.

— Я знаю.

— Ты будешь терпеть страшные лишения. Знаешь, почему он так долго не поправлялся? Он ведь голодал невесть сколько времени.

— Я буду зарабатывать для него.

— Чем?

— Не знаю. Что-нибудь придумаю.

Страшная мысль промелькнула в голове у бедняги, он вздрогнул.

— Ты, наверно, с ума сошла. Что с тобою делается?

Она пожала плечами.

— Мне можно теперь идти?

— погоди еще секунду.

Он обвел взглядом мастерскую. Он любил ее, потому что присутствие Бланш делало все вокруг приветливым и уютным; на мгновение закрыл глаза, снова открыл их и посмотрел на жену так, словно хотел навеки запечатлеть в душе ее облик. Потом взялся за шляпу.

— Оставайся. Уйду я.

— Ты?

Она опешила и ничего не понимала.

— Я не могу допустить, чтобы ты жила на этом грязном чердаке. В конце концов, этот дом такой же твой, как и мой. Тебе здесь будет лучше. Хоть от самых страшных лишений ты будешь избавлена.

Он открыл шкаф и достал небольшую пачку денег.

— Я дам тебе половину того, что у меня есть.

Он положил деньги на стол. Стрикленд и Бланш молчали.

— Я попрошу тебя уложить мои вещи и передать их консьержке. Завтра я приду за ними.— Он сделал попытку улыбнуться.— Прощай, моя дорогая. Спасибо тебе за все счастье, которое ты дала мне.

Он вышел и прикрыл за собою дверь. Мне вдруг ясно представилось, как после его ухода Стрикленд бросил на стол свою шляпу, сел и закурил папиросу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Я довольно долго молчал, размышляя о том, что рассказал мне Струве. Нелегко мне было снести такое малодушие, и он это заметил.

— Ты не хуже меня знаешь, как живет Стрикленд,— сказал он дрожащим голосом.— Я не мог допустить, чтобы и она жила в таких условиях... просто не мог.

— Это твое дело,— отвечал я.

— Как бы ты поступил на моем месте?

— Она знала, на что идет. Если бы ей пришлось страдать от известных неудобств, ее воля.

— Да, но ты не любишь ее.

— А ты все еще ее любишь?

— О, больше прежнего! Стрикленд не из тех людей, что могут сделать женщину счастливой. Долго это не продлится. Пусть она знает, что я никогда не покину ее.

— Как понимать твои слова? Ты готов взять ее обратно?

— Я бы ни на секунду не задумался. Да и я буду ей тогда всего нужнее. Страшно подумать — она останется одна, униженная, сломленная, и вдруг ей некуда будет деваться!

Он даже не чувствовал себя оскорбленным. А я, естественно, возмущался его малодушием. Вероятно, он догадался, о чем я думаю, так как сказал:

— Я и не мог надеяться, что она будет любить меня так же, как я ее. Я шут. Женщины таких не любят. Я всегда это знал. Не вправе я обвинять ее за то, что она полюбила Стрикленда.

— Ты начисто лишен самолюбия, это редчайшее свойство.

— Я люблю ее куда больше, чем самого себя. Мне кажется, самолюбие примешивается к любви, только когда ты больше любишь самого себя. Ведь женатые мужчины сплошь и рядом увлекаются другими женщинами; а потом все проходит, они возвращаются в семью, и люди считают это вполне естественным. Почему с женщинами должно быть по-другому?

— Рассуждение довольно логичное, — рассмеялся я, — но большинство мужчин иначе устроено; они не могут простить, и этим все сказано.

Я говорил и в то же время ломал себе голову над внезапностью случившегося. Неужели Струве ничего не подозревал? Мне вспомнилось странное выражение, однажды промелькнувшее в глазах Бланш Струве, может быть, она уже смутно понимала тогда, что роковое чувство зарождается в ее сердце.

— Ну а до сегодняшнего дня ты не замечал, что между ними что-то есть? — спросил я.

Струве не ответил. Он взял со стола карандаш и машинально рисовал на промокательной бумаге какую-то женскую головку.

— Скажи прямо, если тебе неприятны мои вопросы.

— Нет, мне легче говорить... Ох, если бы ты знал, какие страшные муки терзали меня. — Он отшвырнул карандаш. — Да, я знал об этом уже две недели. Знал раньше, чем узнала она.

— Почему же, скажи на милость, ты не выставил Стрикленда за дверь?

— Я не верил. Мне это казалось неправдоподобным. Она его терпеть не могла. Более того — невероятным. Я считал, что это просто ревность. Понимаешь ли, я всегда был ревнив, но приучил себя не подавать виду! Я ревновал ее ко всем нашим знакомым мужчинам, ревновал и к тебе. Я знал, что она не любит меня так, как я люблю ее. Иначе и быть не могло. Но она позволяла мне любить себя, и этого мне было довольно для счастья. Я заставлял себя на долгие часы уходить из дому, чтобы оставить их одних; так я себя наказывал за недостойные подозрения; а когда я возвращался, я видел, что им это неприятно... вернее, ей. Стрикленду было все равно, дома я или нет. Бланш содрогалась, когда я подходил поцеловать ее. Когда я наконец убедился, я не знал, что делать. Устроить сцену? Да они бы только посмеялись надо мной. И вот мне подумалось: может быть, если

держат язык за зубами и делают вид, что ничего не замечаешь, то все как-нибудь образуется. А его я решил выжить спокойно, без всяких ссор. Ох, если бы ты знал, как я мучился!

Затем Дирк повторил свой рассказ о том, как он просил Стрикленда уехать. Он выбрал подходящую минуту и постарался высказать эту просьбу как бы между прочим; да только не совладал со своим голосом и сам почувствовал, что в слова, которые должны были звучать легко и дружелюбно, вкралась горечь ревности. Он никак не ожидал, что Стрикленд тотчас же начнет собираться, и, уж конечно, не думал, что Бланш решит уйти вместе с ним. Я видел, как он жалеет теперь, что не сдержался и заговорил со Стриклендом. Мучения ревности он предпочитал мучениям разлуки.

— Я хотел убить его — и только разыграл из себя шута.

Он долго сидел молча, прежде чем произнести то, что я ожидал от него услышать.

— Если бы я не поторопился, может, все и обошлось бы. Нельзя быть таким нетерпеливым. О, бедная моя девочка, до чего я ее довел!

Я только пожал плечами. Бланш Струве была мне не симпатична, но сказать то, что я о ней думаю, значило бы причинить ему новую боль.

Он дошел до той степени возбуждения, когда человек говорит и уже не может остановиться. Без конца возвращался он к пресловутой сцене. То вспоминал что-то, чего еще не успел мне сообщить, то пускался в рассуждения о том, что ему следовало бы ей сказать, и затем опять принимался жаловаться на свою слепоту. Сожалел, что поступил так, а не этак. Между тем давно уже спустилась ночь, и я устал не меньше его самого.

— Что ж ты намерен делать дальше? — спросил я наконец.

— Что делать? Буду дожидаться, покуда она не придет за мной.

— Почему тебе не уехать, хотя бы ненадолго?

— Нет-нет, я могу понадобится ей и должен быть под рукой.

Это был совсем потерянный человек. Он не в силах был бороться с мыслями. Когда я сказал, что пора ему лечь в постель, он возразил, что все равно не уснет. Он хотел уйти и до рассвета бродить по улицам. Его безусловно нельзя было оставлять одного. Наконец мне удалось уговорить его переночевать у меня, и я уложил его в свою кровать. В гостиной у меня стоял диван, на котором я отлично мог

выспаться. Дирк был уже вконец измучен и не имел сил мне противиться. Чтобы заставить его забыться хоть на несколько часов, я дал ему изрядную дозу веронала. И лучшей услуги; пожалуй, нельзя было оказать бедняге.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Мой диван оказался не слишком удобным ложем, и я не столько спал, сколько думал о Струве. Поступок Бланш меня не очень-то озадачил: я считал, что это не что иное, как зов плоти. Она, вероятно, никогда по-настоящему не любила Дирка, и то, что я принял за любовь, было лишь чисто женским откликом на заботу и ласку, которые женщины нередко принимают за любовь. Это пассивное чувство, оно способно обратиться на любой объект, как виноградная лоза способна обвить любое дерево. Людская мудрость воздаст должное этой способности, ибо как иначе объяснить, что девушку насильно выдают замуж за человека, который захотел ее, считая, что любовь придет сама собой. Такого рода чувство составляет из приятного ощущения благополучия, гордости собственницы, из удовольствия сознавать себя желанной, из радости домоводства. И «духовным» женщины называют его только из тщеславия. Это чувство беззащитно против страсти. Я подозревал, что к неистовой ненависти Бланш Струве к Стрикленду с первых же дней примешивался некий элемент полового влечения. Но кто я, чтобы тщиться разгадать запутанные тайны пола? Возможно, что страсть Дирка возбуждала ее, не давая удовлетворения, и она возненавидела Стрикленда, почувствовав, что он может дать ей то, чего она алчет. Наверно, она с полной искренностью восставала против желания мужа привезти его к ним; Стрикленд пугал ее, а почему, она и сама не знала, но предчувствовала несчастье. Ее ужас перед Стриклендом, так ее волновавшим, вероятно, был ужасом перед самою собой. Внешность у Стрикленда была странная и грубая, его глаза смотрели равнодушно, а рот свидетельствовал о чувственности. Он был рослым, сильным мужчиной, вероятно необузданным в страсти, и не исключено, что и она почуяла в нем темную стихию, натолкнувшую меня на мысль о диких доисторических существах, которые хоть и не утратили еще первобытной связи с землей, но уже обладали и собственным разумом. Если он взволновал ее, она неизбежно должна была полюбить его или возненавидеть. Она возненавидела.

Да и ежедневное близкое общение с ним, когда он был болен, тоже, должно быть, странно ее возбуждало. Она кормила его, поддерживая его голову, а потом заботливо вытирала его чувственные губы и огненную бороду. Она мыла его руки, поросшие жесткой щетиной, и, вытирая их, чувствовала, что, несмотря на болезнь, они сильны и мускулисты. У него были длинные пальцы, чуткие, созидающие пальцы художника, и они пробуждали в ее мозгу тревожные мысли. Он спал очень спокойно, не двигаясь, точно мертвый, и был похож на дикого зверя, отдыхающего после долгой охоты, а она сидела подле него, гадая, какие видения посещают его во сне. Может быть, ему снилась нимфа, мчащаяся по лесам Греции, и сатир, неотступно преследующий ее? Она неслась, быстроногая, испуганная, но расстояние между ними все сокращалось, его горячее дыхание уже обжигало ей шею, и все-таки она молча стремилась вперед, и сатир так же молча преследовал ее, а когда он наконец ее настиг, кто знает, в ужасе или в упоении забилося ее сердце.

Жестокий голод снесдал Бланш Струве. Может быть, она еще ненавидела Стрикленда, но только он один мог утолить этот голод, и все, что было до этих дней, больше не имело для нее значения. Она уже не была женщиной со сложным характером, доброй и вспыльчивой, деликатной и бездумной. Она была менадой. Она была вся — желание.

Но, может быть, это лишь поэтические домыслы, может быть, ей просто наскучил муж и она сошлась со Стриклендом из бессердечного любопытства? Даже не питая к нему горячей любви, уступила его желанию, потому что была праздною и похотливой, а потом уже запуталась в сетях собственного коварства? Откуда мне знать, какие мысли и чувства таились за холодным взглядом этих серых глаз, под чистым безмятежным лбом?

Человек — существо столь переменчивое, что о нем ничего наверное знать нельзя, и все же поступку Бланш Струве нетрудно было подыскать правдоподобное объяснение. Что же касается Стрикленда, то тут, сколько я ни ломал себе голову, я все равно ничего не понимал. То, что он сделал, прямо противоречило моему представлению о нем. Мне не казалось странным, что он так жестоко обманул доверие друга и, не задумываясь, причинил страшное горе человеку, только бы удовлетворить свою прихоть. Такова была его натура. О благодарности он не имел ни малейшего понятия. Он не знал сострадания. Чувства, обычные для каждого из нас, ему были несвойственны, и винить его за это было так

же нелепо, как винить тигра за свирепую жестокость. Но самая прихоть — вот что было непостижимо.

Я не мог поверить, что Стрикленд влюбился в Бланш Струве. И не верил, что он вообще способен любить. Любовь — это забота и нежность, а Стрикленд не знал нежности ни к себе, ни к другим; в любви есть милосердие, желание защитить любимое существо, стремление сделать добро, обрадовать — если это и не самоотречение, то, во всяком случае, удивительно хорошо замаскированный эгоизм, — но в ней есть и некоторая робость. Нет, в Стрикленде ничего этого не было. Любовь — всепоглощающее чувство. Она отрешает человека от самого себя, и даже завзятый ясновидец хоть и знает, что так оно будет, но реально не в состоянии себе представить, что его любовь пройдет. Любовь облакает в плоть и кровь иллюзию, и человек, отдавая себе отчет в том, что это иллюзия, все же любит ее больше действительности. Она делает его больше, чем он есть, и в то же время меньше. Он перестает быть самим собой. Он уже не личность, а предмет, орудие для достижения цели, чуждой его «я». Любви всегда присуща доля сентиментальности, но Стрикленд меньше, чем кто-либо, был подвержен этому недугу. Я не верил, что Стрикленд может подчиниться чьей-то воле, никакого ига он бы не потерпел. Я знал, что он вырвет из сердца, может быть со страшной мукой, которая обессилит и обескровит его, все, что станет между ним и тем непонятым влечением, которое не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Если мне удалось воссоздать образ Стрикленда во всей его сложности, то я возьму на себя смелость сказать еще и это: Стрикленд, казалось мне, слишком велик для любви и в то же время ее не стоит.

Впрочем, представление о страсти у каждого складывается на основе его собственных симпатий и антипатий и, следовательно, у всех разное. Такой человек, как Стрикленд, должен был любить на свой лад. И потому копаться в его чувствах бессмысленно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

На следующий день, несмотря на все мои уговоры, Струве ушел от меня. Я предложил сходить за его чемоданом в мастерскую, но он хотел во что бы то ни стало идти сам. По-моему, он надеялся, что они позабыли собрать его вещи и ему представится случай еще раз повидать жену и, кто

знает, может быть, убедить ее к нему вернуться. Но он нашел все свои пожитки внизу, в комнате консьержки, которая сказала ему, что Бланш нет дома. Вероятно, он не устоял перед соблазном поделиться с нею своим горем. Он рассказывал о нем всем встречным и поперечным; он ждал сочувствия, но над ним только подсмеивались.

Дирк вел себя из рук вон глупо. Зная, в какое время его жена ходит за покупками, и не имея сил так долго не видеться с нею, он однажды подстерег ее на улице. Она не хотела говорить с ним, но он настаивал, чтобы она хоть выслушала его. Он бормотал какие-то непонятные извинения за все, чем мог когда-либо огорчить ее, говорил, как преданно ее любит, умолял вернуться к нему. Она не отвечала и шла, не оглядываясь, все быстрее и быстрее. Я словно видел, как он едва поспевает за ней на своих толстеньких ножках. Задыхаясь от быстрой ходьбы, он говорил о том, как он несчастен, заклинал ее сжалиться над ним, обещал делать все, что она пожелает, лишь бы она его простила. Он умолял ее уехать с ним куда-нибудь далеко, предостерегал, что она скоро наскучит Стрикленду. Когда он рассказал мне об этой безобразной сцене, я вышел из себя. До такой степени утратить рассудок и чувство собственного достоинства! Он сделал решительно все, чтобы добиться презрения жены, ибо нет жестокости более страшной, чем жестокость женщины к мужчине, который любит ее, но которого она не любит; в ней не остается больше ни доброты, ни терпимости, одно только безумное раздражение. Бланш Струве внезапно остановилась и наотмашь ударила мужа по лицу. Затем, пользуясь его растерянностью, убежала наверх, в мастерскую. И все это молча, без единого слова.

Рассказывая об этом, Струве схватился за щеку, словно еще чувствуя боль от удара; при этом в глазах его стояла душераздирающая тоска и забавное недоумение. Он был похож на побитого школьника, и я, от души жалея его, едва удерживался от смеха.

Затем он стал ежедневно бродить возле лавок, в которых она делала покупки, и, стоя за углом или на другой стороне улицы, смотрел, как она проходит мимо. Заговаривать с нею он больше не отваживался, но старался вложить во взгляд своих круглых глаз всю мольбу, переполнявшую его сердце. Он, кажется, надеялся, что вид его страданий смягчит ее. Она его попросту не замечала. Даже не потрудилась поискать другую дорогу или изменить время своего хождения по лавкам. В ее равнодушии была немалая доля жесто-

кости; может быть, ей даже нравилось мучить его. Я не понимал, за что она его возненавидела.

Я упрашивал Струве образумиться. Нельзя же быть такой тряпкой!

— Все это тебя до добра не доведет, — говорил я. — Лучше бы ты хорошенько отколотил ее. Тогда бы она перестала презирать тебя.

Я советовал ему уехать на время домой. Он часто рассказывал мне о тихом городке на севере Голландии, где и сейчас жили его родители, люди очень скромные. Отец его был плотник. Их опрятный старый домишко из красного кирпича стоял на берегу заброшенного канала. Улицы там были широкие и безлюдные. Уже двести лет городок умирал, но дома еще сохраняли величавую простоту доброго старого времени. В них некогда жили в покое и довольстве богатые купцы, посылавшие свои товары в далекую Индию, и обветшалые здания, казалось, были еще проникнуты ароматом тех счастливых дней. Берегом канала можно было выйти в зеленеющие поля, где там и сям стояли ветряные мельницы и белые с черным коровы лениво пощипывали траву. Мне казалось, что в этих краях, полных воспоминаний детства, Дирк Струве сумеет позабыть о своем несчастье. Но он не хотел уезжать.

— Я должен быть здесь на случай, если понадобится ей, — твердил он. — Вдруг случится что-нибудь ужасное, а меня здесь не будет.

— А что, по-твоему, должно случиться?

— Не знаю, но мне страшно.

Я пожал плечами.

Несмотря на все свое горе, Дирк Струве оставался комической фигурой. Если бы он хоть немножко похудел и осунулся, он, наверно, возбуждал бы жалость. Но ничего подобного с ним не случилось. Он был по-прежнему кругл, как шар, и его налитые красные щеки блестели, точно спелые яблоки. Своей щеголеватой опрятности Дирк тоже не утратил и ходил, как обычно, в изящном черном костюме и в котелке, который был ему маловат и потому сидел на голове как-то лихо и весело. Дирк уже успел обзавестись брюшком, которое ничуть не уменьшалось от всех его горестей. Он теперь больше, чем когда-либо, походил на преуспевающего коммивояжера. Очень печально, когда внешность человека находится в таком несоответствии с его душой. В данном случае страсть Ромео пылала в теле сэра Тоби Белча. У Дирка было нежное, великодушное сердце и повадки

шута, безошибочное чувство красоты и умение писать только пошлые картинки, удивительная душевная деликатность и вульгарные манеры. Он проявлял немало такта в чужих делах, но в своих собственных отличался удивительной бестактностью. Да, жестокою шутку сыграла старуха природа, когда соединила в одном человеке столь противоречивые качества и столкнула его лицом к лицу с беспощадной и равнодушной вселенной.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я не видел Стрикленда уже больше месяца. Он был мне отвратителен, и при случае я с удовольствием высказал бы ему свое мнение о нем; однако разыскивать его с этой целью мне казалось излишним. Я всегда побаивался выступать в качестве поборника нравственности, ибо в этой роли обязательно становишься самодовольным, а человеку, не лишенному чувства юмора, это не совсем приятно. Если я уж рискую выставить себя в смешном виде, то лишь из-за чего-то очень мне дорогого. А Стрикленду была свойственна язвительная прямота, которая заставляла меня избегать всего хотя бы чуть-чуть похожего на позу.

Но однажды вечером, идя по авеню Клиши мимо излюбленного Стриклендом кафе, куда я теперь не заглядывал, я нос к носу столкнулся с ним. Стрикленд был не один, а с Бланш Струве, и они направлялись к столику в углу, где он обычно сидел.

— Где вы, черт вас возьми, пропадали столько времени? Я уж думал, вы уехали.

Судя по сердечному тону, Стрикленд догадывался о моем нежелании с ним разговаривать. Впрочем, с ним особых церемоний разводить не приходилось.

— Нет,— сухо возразил я,— никуда я не уезжал.

— Почему же вы сюда не заглядывали?

— В Париже много кафе, где можно посидеть от скуки часок-другой.

Бланш подала мне руку и пожелала доброго вечера. Я почему-то был убежден, что она очень изменилась; но на ней было то же изящное и скромное серое платье, в котором я привык видеть ее, и лоб у нее был такой же чистый и глаза такие же безмятежные, как в ту пору, когда она хлопотала по хозяйству в доме Струве.

— Пойдемте сыграем партию в шахматы,— предложил Стрикленд.

Не знаю почему, но я не сумел отказаться и угрюмо пошел за ним к его постоянному столику. Стрикленд велел принести доску и фигуры. Они оба вели себя так, словно ничего не произошло, и я почувствовал, что было бы глупо мне держаться по-другому. Миссис Струве невозмутимо наблюдала за нашей игрой. Она молчала, но она и всегда была молчалива. Я взглянул на ее губы. Может быть, по ним мне удастся прочесть, что она чувствует? Я следил, не промелькнет ли в ее глазах тень страха или горечи, смотрел на ее лоб: может быть, хоть одна мимолетная черточка будет свидетельствовать о скрытом волнении. Ее лицо было ничего не говорящей маской. Мирно сложенные руки покоились на коленях. Я уже знал, что она женщина больших страстей, а судя по тому страшному удару, который она нанесла Дирку, так беззаветно ей преданному, способна и на стремительный порыв, и на отчаянную жестокость. Она ушла из-под надежного крова от доброго мужа, поставила крест на обеспеченной жизни, всем рискнула для преходящего — этого она не могла не знать — сердечного приключения. Если же вспомнить, что она была рачительной хозяйкой и примерно вела свой дом, тем замечательней покажется ее безрассудство, готовность жить в нужде и лишениях. Видимо, у этой женщины была очень сложная натура, едва ли не трагически противоречившая ее повадкам смиренницы.

Эта встреча взбудоражила меня, и мое воображение лихорадочно работало, покуда я старался сосредоточиться на игре. Я всегда очень старался победить Стрикленда, так как он был из тех игроков, что презирают побежденного противника; от его нескрываемого торжества поражение становилось еще неприятнее. Но надо отдать ему справедливость — собственный проигрыш он сносил вполне добродушно. Препротивный победитель, он был симпатичным побежденным. Те, кто считает, что характер человека отчетливее проступает в игре, могут сделать отсюда довольно тонкие выводы.

По окончании игры я подозвал официанта, заплатил за выпитое и откланялся. Наша встреча прошла совсем неинтересно. Ни одно слово не дало пищи моей фантазии, и какие бы предположения я ни строил, ничто их не подтверждало. Я терялся в догадках. Как складывается их жизнь? Много бы я дал, чтобы бесплотным духом проникнуть в стены мастерской и послушать, о чем говорят эти двое. Но моему воображению не за что было зацепиться.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Дня через два ко мне явился Дирк Струве.

— Говорят, ты видел Бланш,— выпалил он.

— С чего ты взял?

— Мне говорил один человек, он видел тебя с ними в кафе. Почему ты мне ничего не сказал?

— Не хотел тебя расстраивать.

— Пустое. Ты же знаешь, я хочу все, все знать о ней, каждую мелочь.

Я приготовился отвечать на его вопросы.

— Как она выглядит?

— Ничуть не изменилась.

— По-твоему, она счастлива?

Я пожал плечами.

— Что я могу тебе сказать? Мы сидели в кафе, играли в шахматы. Я с нею и словом не перемолвился.

— Да разве по лицу не видно?

Я покачал головой. Мне оставалось только повторить, что ни словом, ни жестом она не выдала своих чувств. Ему, Дирку, лучше меня известно ее удивительное самообладание.

Он стиснул руки.

— О-о, я так боюсь! Я уверен, случится что-то страшное, и я не в силах этому помешать.

— Но что именно? — осведомился я.

— Не знаю,— простонал он, сжимая голову руками.— Я предвижу ужасную катастрофу.

Струве и всегда-то легко приходил в волнение, но сейчас он был положительно вне себя и никаких резонов не слушал. Я думал, что Бланш скоро станет невтерпеж со Стриклендом. Неправду говорят, будто что посеешь, то и пожнешь. Люди часто делают все от них зависящее, чтобы навлечь на себя беду, но потом каким-то образом умудряются избежать последствий своего безумия. Поссорившись со Стриклендом, Бланш, конечно, оставит его и вернется к мужу, который в своем смирении только и ждет возможности все простить и забыть. Признаться, ни симпатии, ни сострадания она мне не внушала.

— Да, но ты не любишь ее,— повторял Струве.

— А почему надо полагать, что она несчастна? Насколько мне известно, эта парочка премило устроилась.

Струве посмотрел на меня скорбными глазами.

— Тебе все это, разумеется, безразлично, а для меня это важно, бесконечно важно.

Мне сделалось совестно за свою легкомысленную резкость.

— Можешь ты исполнить одну мою просьбу? — сказал Дирк.

— Охотно.

— Напиши Бланш от моего имени.

— А почему ты сам не можешь написать?

— Я уже не раз писал ей. Но ответа мне ждать не приходится. Она, видно, даже не читает моих писем.

— Ты забываешь о женском любопытстве. Неужели ты думаешь, она устоит против соблазна?

— Да, поскольку он исходил от меня.

Я взглянул на него. Он опустил глаза. Его ответ показался мне до боли унижительным. Дирк знал, что он настолько ей безразличен, что она даже не вскрывает его писем.

— И ты веришь, что она со временем к тебе вернется? — спросил я.

— Пусть она знает, что, если ей станет уж совсем плохо, она может смело на меня рассчитывать.

Я взял листок бумаги.

— Скажи точнее, что я должен писать?

И я написал:

«Дорогая миссис Струве,

Дирк просит меня сказать, что в любое время, когда бы он вам ни понадобился, он будет счастлив возможностью быть вам полезным. Он не питает к вам недобрых чувств из-за того, что случилось. Его любовь неизменна. Вы всегда застанете его по нижеследующему адресу...»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Хотя я не хуже Струве знал, что связь Стрикленда и Бланш добром не кончится, я все же не предвидел столь трагической развязки. Настало лето, душное и знойное, даже ночь не приносила отдыха перенапряженным нервам. Раскаленные солнцем улицы, казалось, отдавали назад весь дневной жар, и пешеходы еле волочили ноги. Я очень давно не видел Стрикленда. Занятый другим, я вовсе перестал о нем думать. Дирк наскучил мне своими тщетными lamentациями, и я избегал его. Нехорошая это была история, и я больше не собирался забивать ею себе голову.

Как-то утром я сидел в пижаме и работал. Мысли мои блуждали далеко, я думал о солнечных заливах Бретани,

о свежем морском ветре. На столе возле меня стоял кофейник, в котором консьержка принесла мне традиционное *café au lait*¹, и остатки недоеденного печенья. Я слышал, как за стеной консьержка спускает воду после моей утренней ванны. Зазвенел звонок. Она открыла дверь, и раздался голос Струве, спрашивающий, дома ли я. Не вставая с места, я крикнул ему: «Входи». Он ворвался в комнату и бросился ко мне.

— Она покончила с собой,— хрипло проговорил он.

— Что ты хочешь сказать? — крикнул я, пораженный.

Струве шевелил губами, но ни один звук больше не слетал с них. Затем он стал что-то лопотать как помешанный. Сердце у меня заколотилось, и, сам не зная почему, я вдруг обозлился.

— Да возьми же себя в руки! Что ты такое несешь?

Он делал отчаянные жесты, но слова у него по-прежнему не выговаривались. Он точно лишился языка. Не знаю, что на меня нашло, но я схватил его за плечи и встряхнул. Вспоминая об этом, я, конечно, досажую на себя, но последние бессонные ночи, видимо, расшатали мои нервы сильнее, чем я думал.

— Дай мне сесть,— задыхаясь, проговорил он наконец.

Я налил стакан «Сен-Гальмье» и хотел подать ему, но мне пришлось поить его, как ребенка, держа стакан у самых его губ. Он с трудом сделал первый глоток, и несколько капель пролилось на его манишку.

— Кто покончил с собой?

Не знаю, почему я задал этот вопрос, мне ведь и так было понятно, о ком он говорит.

Он сделал усилие, чтобы овладеть собой.

— Вчера вечером они поссорились. Он ушел от нее.

— Она умерла?

— Нет, ее увезли в больницу.

— Так что ж ты мне толкуешь? — крикнул я.— Почему ты говоришь, что она покончила с собой?

— Не сердись на меня... я ничего не могу сказать, когда ты со мною так...

Я крепко сжал руки, силясь сдержать себя, и даже попытался улыбнуться.

— Извини. Я тебя не тороплю. Успокойся и расскажи все по порядку.

Круглые голубые глаза Дирка были полны ужаса, стекла очков делали их взгляд еще страшнее.

¹ Кофе с молоком (*фр.*).

— Сегодня утром консьержка поднялась наверх, чтобы передать письмо, ей не открыли на звонок. Изнутри слышались стоны. Дверь оказалась незапертой, и она вошла. Бланш лежала на кровати, а на столе стояла бутылка со щавелевой кислотой.

Струве закрыл лицо руками и, всхлипывая, раскачивался взад и вперед.

— Она была в сознании?

— Да. Ох, если бы ты знал, как она мучилась! Я этого не вынесу! Не вынесу!

Он кричал в голос.

— Черт тебя возьми, тебе и выносить-то нечего. Ей надо вынести.

— Как ты жесток!

— Что же дальше?

— Они послали за доктором и за мной, дали знать в полицию. Я давно уже сунул консьержке двадцать франков и просил послать за мной, если что случится.— Он перевел дыхание, и я понял, как трудно ему продолжать.— Когда я пришел, она не хотела говорить со мной. Велела им меня прогнать. Я клялся, что все простил ей, но она не слушала. Она пыталась биться головой о стену. Доктор сказал, что мне нельзя оставаться с нею. Она все твердила: «Уведите его!» Я вышел из спальни и стал ждать в мастерской. Когда приехала карета и они уложили ее на носилки, мне велели уйти в кухню, чтобы она не знала, что я здесь.

Покуда я одевался—Струве хотел, чтобы я немедленно отправился с ним в больницу,— он говорил, что ему удалось устроить для Бланш отдельную палату и таким образом хотя бы оградить ее от больничной сутолоки. По дороге он объяснил мне, зачем я ему нужен. Если она опять не пожелает впустить его, то, может быть, впустит меня. Он умолял меня снова сказать ей, что он любит ее по-прежнему, не станет ни в чем упрекать ее и хочет только одного — помочь ей. Он ничего не требует и никогда не станет принуждать ее к нему вернуться. Она будет совершенно свободна.

Но когда мы пришли в больницу—это было мрачное, угрюмое здание, от одного вида которого делалось скверно на душе,— и после бесконечных расспросов и хождений по лестницам и коридорам добрались наконец до лечащего врача, он объявил нам, что больная слишком слаба и сегодня никого принимать не может. Для врача, маленького бородатого человечка в белом халате и с грубоватыми манерами, случай Бланш был самым обыкновенным, а взволнованные родственники — докучливыми просителями,

с которыми надо обходиться покруче. Да и что тут могло показаться ему из ряда вон выходящим? Истерическая женщина, поссорившись с любовником, приняла яд — это бывает нередко. Сначала он подумал, что Дирк — виновник несчастья, и был с ним незаслуженно груб. Когда я объяснил, что он муж, готовый все простить, врач посмотрел на него любопытным, испытующим взглядом. Мне показалось, что в этом взгляде промелькнула еще и насмешка. Дирк являл собою классический тип обманутого мужа. Врач слегка пожал плечами.

— В настоящую минуту опасности нет, — ответил он на наши расспросы. — Но мы не знаем, сколько она выпила кислоты. Не исключено, что она отделается испугом. Женщины часто пытаются покончить с собой из-за любви, но обычно так, чтобы в этом не преуспеть. Как правило, это жест, которым они хотят испугать или разжалобить любовника.

В тоне его слышалось нескрываемое презрение. Бланш Струве явно была для него только единицей, которую предстояло внести в число лиц, покушавшихся на самоубийство в текущем году в городе Париже. На долгие разговоры с нами у него не было времени, и он назначил нам час, когда прийти завтра: если больной станет лучше, он разрешит мужу повидать ее.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Не знаю, как мы прожили этот день. Струве ни на минуту не мог остаться один, и я из кожи лез, пытаюсь развлечь его. Я потащил его в Лувр, и он делал вид, что смотрит картины, но я знал, что мысленно он там, у жены. Я заставлял его есть и после завтрака насильно уложил в постель, но он не мог уснуть. Он охотно согласился пожить несколько дней у меня. Я совал ему книги, но, пробежав глазами страницу-другую, он бессмысленно уставлялся в пространство. Вечером мы сыграли неисчислимое множество партий в пикет, и он, чтобы мои старания не пропали зря, храбро притворялся заинтересованным. Кончилось тем, что я дал ему снотворного, и он впал в тревожное забытие.

На следующий день в больнице к нам вышла сиделка, ухаживавшая за Бланш, и сказала, что больной немного лучше; по нашей просьбе сиделка пошла узнать, не хочет ли она видеть мужа. Мы слышали голоса за дверью. Наконец сиделка вернулась и объявила, что больная отказывается

принять кого бы то ни было. Мы сказали, что если она не хочет видеть Дирка, то, может быть, согласится принять меня, но и на это последовал отказ. Губы Дирка дрожали.

— Я не вправе настаивать,— сказала сиделка.— Больная слишком слаба. Возможно, что через день-два она передумает.

— Может быть, она все-таки хочет кого-нибудь видеть? — тихо, почти шепотом спросил Дирк.

— Она говорит, что у нее только одно желание — пусть ее оставят в покое.

Руки Дирка как-то странно дергались, словно они ничего общего не имели с его телом.

— Пожалуйста, скажите ей, что если она хочет видеть одного человека, то я приведу его. Я хочу только, чтобы она была счастлива.

Сиделка взглянула на него своими спокойными, добрыми глазами, которые видели всю земную боль и горечь, но оставались безмятежными, ибо перед ними стояло видение иного, безгрешного мира.

— Я скажу это ей, когда она немного успокоится.

Дирк, изнемогая от сострадания, умолял ее спросить Бланш сейчас же.

— Может быть, от этого ей станет лучше. Заклинаю вас, спросите ее.

По лицу сиделки пробежала слабая, жалостливая улыбка; она повернулась и пошла к Бланш. Я слышал ее приглушенный голос, и потом другой, незнакомый мне голос ответил:

— Нет. Нет. Нет!

Выйдя к нам, сиделка покачала головой.

— Неужели это она говорила? — спросил я. Я не узнал ее голоса.

— Голосовые связки больной, видимо, сильно обожжены.

Дирк чуть слышно вскрикнул в отчаянии. Я велел ему выйти и подождать меня внизу, мне хотелось остаться с глазу на глаз с сиделкой. Он не спросил, зачем мне это нужно, и покорно вышел. Он утратил остатки воли и стал похож на послушного ребенка.

— Объяснила она вам, почему она это сделала? — спросил я.

— Нет. Она не хочет говорить. Она лежит на спине, не шевелясь иногда целыми часами. И плачет. Ее подушка все время мокрая. Она слишком слаба, чтобы пользоваться платком, и слезы льются у нее по щекам.

Меня словно кольнуло в сердце. В ту минуту я готов был убить Стрикленда, и, помнится, голос у меня дрожал, когда я прощался с сиделкой.

Дирк Струве ждал меня на лестнице. Он, казалось, ничего вокруг не видел и не заметил моего приближения, покуда я не тронул его за рукав. По улице мы шли молча. Я старался представить себе, что могло толкнуть бедняжку на этот страшный шаг? Я полагал, что Стрикленду все уже известно. К нему, наверно, приходили из полиции снимать допрос. Где он сейчас? Возможно, вернулся на старый чердак, служивший ему мастерской. Странно, что она не пожелала видеть его. Или она боялась послать за ним, зная, что он откажется прийти? В какую же бездну жестокости заглянула она, если после этого отказывалась жить.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Следующая неделя была ужасна. Струве дважды в день ходил в больницу справляться о жене, которая по-прежнему не желала его видеть. Первое время он приходил оттуда довольный и воспрянувший духом, так как дело, видимо, шло на поправку, а затем в отчаянии, так как осложнение, которого врач все время опасался, отняло надежду на благополучный исход. Сиделка сочувствовала его горю, но ей нечего было сказать ему в утешение. Бедная женщина лежала неподвижно и отказывалась говорить; глаза ее, устремленные в одну точку, казалось, уже видели смерть. Теперь это был вопрос двух-трех дней, не более. И когда Струве пришел ко мне поздно вечером, я понял, что она умерла. Он был совершенно обессилен. От его обычной говорливости не осталось и следа. Он молча опустил на диван. Я оставил его в покое, так как знал, что здесь слова утешения бесполезны. Боясь, что он сочтет меня бессердечным, я не решался читать и с трубкой в зубах сидел у окна, покуда он не нашел в себе силы заговорить со мной.

— Ты был так добр ко мне,— сказал он наконец.— Все были так добры...

— Глупости,— отвечал я не без смущения.

— В больнице мне сказали, чтобы я подождал. Дали мне стул, и я сел в коридоре у ее дверей. Когда она была уже без памяти, они меня впустили. У нее рот и подбородок были обожжены. Ужасно, ее прелестный подбородок — весь израненный. Она умерла совсем спокойно, я даже не знал, что она мертва, покуда сиделка не сказала мне.

Он был слишком утомлен, чтобы плакать. В полной прострации он лежал на спине, точно в теле его не осталось уже ни капли сил, и вскоре я заметил, что он уснул. Впервые по-настоящему уснул за целую неделю. Природа, временами столь жестокая, иногда бывает милосердна. Я накрыл его пледом и потушил свет. Утром, когда я проснулся, он все еще спал. Он даже не переменил положения, и очки в золотой оправе по-прежнему сидели у него на носу.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Бланш Струве умерла при таких обстоятельствах, что нам пришлось пройти через множество отвратительных формальностей, прежде чем мы получили разрешение ее похоронить. Дирк и я вдвоем тащились за гробом в карете, но обратно ехали быстрее, так как возница на дрогах, покачивавшийся впереди нас, нахлестывал лошадей, казалось спеша стряхнуть с себя даже самое воспоминание о покойнице. Страшное и незабываемое зрелище!

Я тоже чувствовал неодолимое желание выбросить из головы всю эту мрачную историю. Меня уже тяготила трагедия, собственно говоря непосредственно меня не касавшаяся, и, делая вид перед самим собой, что я стараюсь для Дирка, я с облегчением заговорил о другом.

— Не думаешь ли ты на время уехать? — сказал я. — Право же, тебе сейчас лучше побыть вдали от Парижа.

Он не отвечал, но я безжалостно настаивал.

— Есть у тебя какие-нибудь планы на ближайшее будущее?

— Нет.

— Ты должен вернуться к жизни. Почему бы тебе не поехать в Италию и не начать снова работать?

Он опять промолчал, но мне на выручку пришел наш возница. На мгновение придержав лошадей, он перегнулся с козел и что-то сказал — что именно, я не разобрал и высунулся из окошка кареты, чтобы расслышать: он спрашивал, куда нас везти.

— Погодите минутку, — отвечал я. — Я бы хотел, чтобы мы вместе позавтракали, — обратился я к Дирку. — Я велю ему свезти нас на площадь Пигаль.

— Нет, я пойду в мастерскую.

— Хочешь, я пойду с тобой?

— Нет, я лучше пойду один.

— Хорошо.

Я крикнул кучеру адрес, и мы опять продолжали свой путь в молчании. Дирк не был у себя в мастерской с того злосчастного утра, когда Бланш отвезли в больницу. Я был рад, что он хочет остаться один, и, проводив его до дверей, с чувством облегчения с ним распрощался. Я снова наслаждался парижскими улицами и радовался, глядя на спящую взад и вперед толпу. День выдался ясный, солнечный, и радость жизни бурлила во мне. Я ничего не мог с собой поделать. Струве и его беда вылетели у меня из головы. Я хотел радоваться.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Я не видел его почти целую неделю. Но наконец под вечер, часов около семи, он зашел за мною и потащил меня обедать. Он был в глубоком трауре, котелок его обвивала черная лента, и даже носовой платок был оторочен черной каймой. Глядя на этот скорбный наряд, можно было подумать, что внезапная катастрофа разом унесла всех его родных и даже какого-нибудь двоюродного дядюшки у него не осталось на свете. Его кругленькая фигурка и толстые красные щеки смешно контрастировали с траурной одеждой. Жестокая участь — даже на беспредельное горе Дирка ложился налет шутовства!

Он объявил мне, что решил ехать, только не в Италию, как я советовал, а в Голландию.

— Завтра я уезжаю. Скорей всего, мы никогда больше не увидимся.

Я попытался что-то возразить, но он слабо улыбнулся.

— Я пять лет не был дома. Мне казалось, что все это отошло далеко-далеко. Я так оторвался от родных краев, что меня пугала мысль съездить туда даже на время, а теперь я вижу, что это единственное мое пристанище.

Он был измучен, подавлен и мыслями то и дело возвращался к своей нежной, любящей матери. Годами он терпеливо сносил свою смехотворность, но теперь она, казалось, придавливала его к земле. Последний удар, нанесенный изменой Бланш, отнял у него ту живость нрава, которая ему помогала весело с этим мириться. Больше он уже не мог смеяться заодно с теми, что смеялись над ним. Он стал парией. Он рассказывал мне о своем детстве, о чистеньком кирпичном домике и о страсти матери к опрятности и порядку. Кухня ее была истинным чудом белизны и блеска. Нигде ни пылинки, и все на своем месте. Аккуратность ее

переходила в манию. Я как живую видел эту румяную хлопотливую старушку, что всю жизнь с утра и до поздней ночи пеклась о том, чтобы домик ее сиял чистотой и нарядностью. Отец Дирка, рослый, сухощавый старик с руками, заскорузлыми от неустанного труда, скупой на слова, по вечерам читал вслух газеты, а его жена и дочь (теперь она была замужем за капитаном рыболовецкой шхуны), чтобы не терять времени даром, шили. Ничего никогда не случилось в этом городке, отброшенном назад цивилизацией, и год сменялся годом, покуда не приходила смерть, как друг, несущий отдых тем, что усердно потрудились.

— Мой отец хотел, чтобы я тоже стал плотником. В пяти поколениях переходило у нас это ремесло от отца к сыну. Может быть, в этом мудрость жизни: идти по стопам отца, не оглядываясь ни направо, ни налево. Маленьким мальчиком я говорил, что женюсь на дочке соседа-шорника. У девочки были голубые глаза и косички, белые, как лен. При ней все в моем доме блестело бы, как стеклышко, и наш сын перенял бы мое ремесло.

Струве вздохнул и умолк. Мысли его унеслись к тому, что могло бы быть, и благополучие этой жизни, которым он некогда пренебрег, исполнило тоской его сердце.

— Жизнь груба и жестока. Никто не знает, зачем мы здесь и куда мы уйдем. Смирение подобает нам. Мы должны ценить красоту покоя. Должны идти по жизни смиренно и тихо, чтобы судьба не заметила нас. И любви мы должны искать у простых, немудрящих людей. Их неведение лучше, чем все наше знание. Надо нам жить тихо, довольствоваться скромным своим уголком, быть кроткими и добрыми, как они. Вот и вся мудрость жизни.

Я считал, что это говорит в нем его сломленный дух, и восстал против такого самоунижения. Но вслух сказал другое:

— А как ты попал на мысль сделаться художником?

Он пожал плечами.

— У меня обнаружили способности к рисованию. В школе я получал награды за этот предмет. Бедная матушка очень гордилась моим талантом и однажды подарила мне ящик с акварельными красками. Она носила мои наброски к пастору, к доктору и судье. Они-то и послали меня в Амстердам экзаменоваться в школу живописи. Я выдержал экзамен. Бедняжка, как она была горда! Сердце у нее разрывалось при мысли о разлуке со мной, но она силилась не показать своего горя. Она так радовалась, что ее сын будет художником. Отец с матерью берегли каждый

грош и прикопили довольно денег, чтобы мне прожить в Амстердаме, а когда была выставлена моя первая картина, они все приехали — отец, мать и сестра; мать смотрела на нее и плакала. — Его добрые глаза увлажнились. — И теперь нет такой стены в нашем домишке, на которой не висела бы моя картина в красивой золотой раме.

Лицо Дирка на мгновение засветилось тихой радостью. Я вспомнил его холодные жанровые сценки — живописных крестьян под кипарисами или оливами. Как странно они должны выглядеть в своих аляповатых рамах на стене крестьянского домика.

— Добрая душа, она думала, что невесть как облагодетельствовала сына, сделав из него художника, но, может, лучше бы я покорился воле отца и был бы теперь просто-напросто честным плотником.

— Ну а сейчас, когда ты знаешь, что дает человеку искусство, ты мог бы пойти по другой дороге? Мог бы отказаться от того упоения, которое испытывал благодаря ему?

— Выше искусства ничего нет на свете, — помолчав, ответил Дирк.

Он долго в задумчивости смотрел на меня, наконец сказал:

— Ты знаешь, я виделся со Стриклендом.

— Ты?

Я был поражен. Мне казалось, что Струве невыносимо будет его видеть. Он слабо улыбнулся:

— Ты же сам говорил, что я лишен чувства гордости.

— Что ты имеешь в виду?

И он рассказал мне удивительную историю.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Когда мы расстались после похорон бедной Бланш, Струве с тяжелым сердцем вошел в дом. Смутное стремление к самомучительству гнало его в мастерскую, хотя он и содрогался при мысли о страданиях, которые его ждут. Он едва втащился по лестнице, ноги отказывались ему служить, и, прежде чем войти, долго стоял у дверей, собираясь с силами. Ему было дурно. Он едва не бросился за мною, чтобы умолить меня вернуться: ему все казалось, что в мастерской кто-то есть. Он вспомнил, как часто стоял перед дверью мастерской, чтобы отдышаться после подъема на крутую лестницу, и как от нетерпеливого желания поско-

рее увидеть Бланш у него снова захватывало дух. Видеть ее — это было счастье, никогда не утихавшее, и, даже выходя из дому на какие-нибудь полчаса, он рвался к встрече так, словно они не виделись целый месяц. Вдруг ему стало казаться, что она не умерла. Все, что случилось, только сон, страшный сон, сейчас он повернет ключ, войдет и увидит ее склоненной над столом в грациозной позе женщины с «Benedicité» Шардена, представлявшейся ему образцом прелести. Он быстро вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел.

Мастерская не имела запущенного вида. Аккуратность была одной из тех черт, которые так пленяли его в жене; он с молоком матери впитал любовь к той радости, которую дают чистота и порядок, и когда заметил, что Бланш инстинктивно кладет каждый предмет на отведенное ему место, то теплое и благодарное чувство поднялось в его сердце. В спальне все было так, словно она только что вышла оттуда: на туалетном столике лежали две щетки и между ними изящная гребенка; кто-то застелил постель, на которой Бланш провела свою последнюю ночь дома, и на подушке, в вышитом конверте, лежала ее ночная сорочка. Невозможно было поверить, что она уже никогда не войдет в эту комнату.

У Дирка пересохло в горле, и он пошел в кухню напиться воды. Здесь тоже все было в полном порядке. Над плитой на полке стояли тщательно вымытые тарелки, с которых она и Стрикленд ели в последний вечер перед ссорой. Ножи и вилки были убраны в стол. Под колпаком лежали остатки сыра, в жестяной коробке — горбушка хлеба. Она покупала продукты ежедневно и ровно столько, сколько нужно, так что со дня на день у нее в хозяйстве ничего не оставалось. Из протокола, составленного полицией, Струве знал, что Стрикленд ушел из дому тотчас после обеда, и дрожь охватила его при мысли, что у Бланш достало силы все вымыть и убрать, как обычно. Эта методичность лишней раз доказывала, как обдуманно она действовала. Ее самообладание было страшно. Острая боль внезапно пронзила его, ноги у него подкосились. Он доплелся до спальни, бросился на постель и стал звать: «Бланш! Бланш!»

Мысль о ее страданиях была ему нестерпима. Он вдруг ясно увидел, как она стоит в кухне — кухня у них была крошечная, — моет тарелки, стаканы, вилки, ложки, до блеска чистит ножи; затем все расставляет по местам, моет раковину, встряхнув полотенце, вешает его сушиться — оно все еще висит здесь, истрепанный серый лоскут, — и

оглядывается кругом, все ли в порядке. Он видел, как она спускает засученные рукава, снимает фартук — вот он на гвозде за дверью, — достает пузырек со щавелевой кислотой и идет в спальню.

Не в силах терпеть эту муку, он вскочил с кровати и бросился вон из спальни. Вошел в мастерскую. Там было темно, так как кто-то задернул занавеси на огромном окне. Струве торопливо раздвинул их, и рыдания сдавили ему горло при первом же взгляде на комнату, в которой он был так счастлив. И здесь тоже все осталось без перемен. Стрикленд был равнодушен к тому, что его окружало, и жил в чужой мастерской, ровно ничего не меняя в ней. Обстановка у Струве была продуманно артистична, в соответствии с его представлением о том, как должен жить художник. На стенах там и сям старинная парча, на рояле — кусок дивного поблекшего шелка. В одном углу копия Венеры Милосской, в другом — Венеры Медицейской. Две итальянские горки с дельфтским фаянсом, несколько барельефов. Была здесь в прекрасной золоченой раме и копия с Веласкесова «Иннокентия X», сделанная Струве в Риме, и множество его собственных картин, повешенных так, чтобы производить наибольший эффект, тоже в великолепных рамах. Струве всегда очень гордился своим вкусом. Он страстно любил романтическую атмосферу мастерской художника, и, хотя сейчас вид всех этих вещей был ему как нож в сердце, он машинально чуть-чуть передвинул столик в стиле Людовика XV, принадлежавший к лучшим его сокровищам. Вдруг он заметил холст, повернутый лицом к стене и по размерам больший, чем те холсты, которыми он обычно пользовался. Дирк подошел и повернул его. На холсте была изображена нагая женщина. Сердце его учащенно забилось, он мигмом понял, что это работа Стрикленда. Он отшвырнул картину — какого черта Стрикленд ее здесь оставил? — но от его резкого движения она упала на пол лицом вниз. Не важно, чья это работа. Дирк все равно не мог оставить ее валяться в пыли и поднял, но тут его одолело любопытство. Чтобы получше рассмотреть картину, он поставил ее на мольберт и отошел на несколько шагов.

У него сперло дыхание. Картина изображала женщину, лежащую на диване; одна рука ее была закинула за голову, другая спокойно лежала вдоль тела; одно колено чуть согнуто, другая нога вытянута. Классическая поза. Все поплыло перед глазами Струве. Это была Бланш. Отчаяние, ревность и ярость душили его, он стал громко кричать что-то нечленораздельное; сжимал кулаки и грозил невиди-

мому врагу. Потом опять кричал не своим голосом. Он был вне себя. Это было уж слишком, этого он снести не мог. Он стал оглядываться по сторонам, ища, чем бы искромсать, изрезать картину, уничтожить ее сию же минуту, но ничего подходящего ему под руку не попадалось; он рылся в своих инструментах, и тоже тщетно, он сходил с ума. Наконец он нашел то, что искал, большой шпатель, и с ликующим криком схватил его. Размахивая им, словно кинжалом, он ринулся к картине.

Рассказывая, Струве снова пришел в неопишное волнение и, схватив подвернувшийся под руку столовый нож, взмахнул им. Потом занес руку, как для удара, но тотчас разжал ее, и нож со стуком упал на пол. Струве посмотрел на меня с виноватой улыбкой и замолчал.

— Продолжай,— сказал я.

— Не знаю, что на меня нашло. Я уже совсем собирался продырявить картину, как вдруг я увидел ее.

— Кого ее?

— Картину. Это было подлинное произведение искусства. Я не мог к ней прикоснуться. Я испугался.

Он опять замолчал и смотрел на меня с открытым ртом, его голубые глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

— Это была удивительная, дивная картина. Меня охватил благоговейный трепет. Еще секунда — и я бы совершил ужаснейшее преступление. Я хотел получше разглядеть ее и споткнулся о шпатель. Ужасно!

В какой-то мере я заразился волнением Струве. Странное действие произвел на меня его рассказ. Мне вдруг почудилось, что я перенесся в мир, где смещены все ценности, и я стоял недоумевая, словно чужеземец в стране, где люди совсем по-иному, совсем непривычно реагируют на самые простые явления. Струве пытался рассказывать мне о картине, но речь его была бессвязна, и мне приходилось догадываться, что он имеет в виду. Стрикленд разорвал путы, связывавшие его. Он нашел не себя, как принято говорить, но свою новую душу, насыщенную силами, о которых никто не подозревал. Это было не только дерзкое упрощение линий, которое так полно и неповторимо выявляло личность художника, не только живопись, хотя тело было написано с такой проникновенной чувственностью, которая уже граничила с чудом; это было не только торжество плоти, хотя вы реально ощущали вес этого распростертого тела; нет, Стриклендова картина была пронизана духовностью, по-новому понятым трагизмом, который вел воображение по неведомым тропам в пустынные

просторы, где прорезают мглу только вечные звезды и где душа, сбросив все покровы, трепетно приступает к разгадкам новых тайн.

Я впал в риторику, потому что и Струве был риторичен. (Кто не знает, что в волнении человек выражается, словно герой романа.) Он пытался выразить чувства, ранее ему незнакомые, не смог втиснуть их в будничные слова и уподобился мистика, который тщится описать несказанное. Одно только стало мне ясно из его речей: люди говорят о красоте беззаботно, они употребляют это слово так небрежно, что оно теряет свою силу и предмет, который оно должно осмыслить, деля свое имя с тысячью пошлых понятий, оказывается лишенным своего величия. Словом «прекрасное» люди обозначают платье, собаку, проповедь, а очутившись лицом к лицу с прекрасным, не умеют его распознать. Они стараются фальшивым пафосом прикрыть свои ничтожные мысли, и это притупляет их восприимчивость. Подобно шарлатану, фальсифицирующему тот подъем духа, который он некогда чувствовал в себе, они злоупотребляют своими душевными силами и утрачивают их. Но Струве, этот вечный шут с искренней и честной душой, также искренне и честно любил и понимал искусство. Для него искусство значило то же, что значит бог для верующего, и, когда он видел его, ему делалось страшно.

— Что ж ты сказал Стрикленду, когда встретился с ним?

— Предложил ему поехать со мной в Голландию.

Я опешил и с дурацким видом уставился на Струве.

— Мы оба любили Бланш. В доме моей матери для него нашлась бы комнатка. Мне казалось, что соседство простых бедных людей принесет успокоение его душе. И еще я думал, что он научится у них многим полезным вещам.

— Что же он сказал?

— Улыбнулся и, кажется, подумал, что я дурак. А потом заявил, что «ерундить» ему неохота.

Я бы предпочел, чтобы Стрикленд сформулировал свой отказ в других выражениях.

— Он отдал мне портрет Бланш.

Я удивился, зачем Стрикленд это сделал, но не сказал ни слова. Мы оба довольно долго молчали.

— А как ты распорядился своими вещами? — спросил я наконец.

— Позвал еврея-скупщика, и он неплохо заплатил мне на круг. Картины я увезу с собой. Кроме них, у меня сейчас ничего не осталось, разве что чемодан с одеждой да несколько книг.

— Хорошо, что ты едешь домой.

Я понимал, что единственное спасение для него — порвать с прошлым. Быть может, его горе, сейчас еще нестерпимое, со временем уляжется и благодатное забвение поможет ему сызнова взвалить на себя бремя жизни. Он молод и через несколько лет с грустью, не лишенной известной сладости, будет вспоминать о своем несчастье. Раньше или позже он женится на доброй голландке и будет счастлив. Я улыбнулся при мысли о бесчисленном множестве плохих картин, которые он успеет написать до конца своей жизни.

На следующий день я проводил его в Амстердам.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Занятый своими собственными делами, я целый месяц не встречал никого, кто бы мог напомнить мне об этой прискорбной истории, и постепенно она выветрилась у меня из головы. Но в один прекрасный день, когда я спешил куда-то, на улице со мною поравнялся Стрикленд. Вид его напомнил мне об ужасе, который я так охотно забыл, и я внезапно почувствовал отвращение к виновнику всего этого. Кивнув ему — не поклониться было бы ребячеством, — я ускорил шаг, но через минуту почувствовал, что меня трогают за плечо.

— Вы очень торопитесь? — добродушно осведомился Стрикленд.

Характерная его черта: он сердечно обходился с теми, кто не желал с ним встречаться, а мой холодный кивок не оставлял в том ни малейшего сомнения.

— Да, — сухо ответил я.

— Я немного провожу вас, — сказал он.

— Зачем?

— Чтобы насладиться вашим обществом.

Я смолчал, и он тоже молча пошел рядом со мною. Так мы шли, наверное, с четверть мили. Положение становилось комическим. Но мы как раз оказались возле магазина канцелярских товаров, и я решил: может же мне понадобится бумага. Это был хороший предлог, чтобы отделаться от него.

— Мне сюда, — сказал я, — всего хорошего.

— Я вас подожду.

Я пожал плечами и вошел в магазин. Но тут же подумал, что французская бумага никуда не годится и что, раз уж моя хитрость не удалась, не стоит покупать ненужные вещи.

Я спросил что-то, чего мне заведомо не могли дать, и вышел на улицу.

— Ну как, купили то, что хотели?

— Нет.

Мы опять молча зашагали вперед и вышли на площадь, в которую вливалось несколько улиц. Я остановился и спросил:

— Вам куда?

— Туда, куда и вам,— улыбнулся он.

— Я иду домой.

— Я зайду к вам выкурить трубку.

— По-моему, вам следовало бы подождать приглашения,— холодно отвечал я.

— Конечно, будь у меня надежда получить его.

— Видите вы вон ту стену? — спросил я.

— Вижу.

— В таком случае, я полагаю, вы должны видеть и то, что я не желаю вашего общества.

— Признаюсь, я уже подозревал это.

Я не выдержал и фыркнул. Беда моя в том, что я не умею ненавидеть людей, которые заставляют меня смеяться. Но я тут же взял себя в руки.

— Вы гнусный тип. Более мерзкой скотины я, по счастью, в жизни еще не встречал. Зачем вам нужен человек, который не терпит и презирает вас?

— А почему вы, голубчик мой, полагаете, что я интересуюсь вашим мнением обо мне?

— Черт возьми,— сказал я злобно, ибо у меня уже мелькнула мысль, что доводы, которые я привел, не делают мне чести,— я просто знать вас не желаю.

— Бойтесь, как бы я вас не испортил?

Откровенно говоря, я почувствовал себя смешным. Он искоса смотрел на меня с сардонической улыбкой, и мне под этим взглядом стало не по себе.

— Вам, видно, сейчас туго приходится,— нахально заметил я.

— Я был бы отъявленным болваном, если бы надеялся взять у вас взаймы.

— Видно, здорово вас скрутило, если уж вы начинаете льстить.

Он осклабился:

— А все равно я вам нравлюсь, потому что нет-нет да и даю вам повод сострить.

Я закусил губу, чтобы не расхохотаться. Он высказал роковую истину. Мне нравятся люди пусть дурные, но

которые за словом в карман не лезут. Я уже ясно почувствовал, что только усилием воли могу поддерживать в себе ненависть к Стрикленду. Я сокрушался о своей моральной неустойчивости, но знал, что мое порицание Стрикленда смахивает на позу, и уж если я это знал, то он, со своим безошибочным чутьем, знал и подавно. Конечно, он подсмеивался надо мной. Я не стал возражать ему и попытался спасти свое достоинство гробовым молчанием и пожатием плеч.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Мы подошли к дому, в котором я жил. Я не просил его войти и стал молча подниматься по лестнице. Он шел за мной по пятам. Он был у меня в первый раз, но даже не взглянул на убранство комнаты, хотя я потратил немало труда, чтобы сделать ее приятной для глаза. На столе стояла коробка с табаком, он тотчас же набил свою трубку и сел не в одно из удобных кресел, а на единственный стул, да и то боком.

— Если уж вы решили устраиваться здесь как дома, почему бы вам не сесть в кресло? — раздраженно спросил я.

— А почему вы так заботитесь о моем удобстве?

— Не о вашем, а о своем. Когда кто-нибудь сидит на неудобном стуле, мне самому становится неудобно.

Он фыркнул, но не двинулся с места и молча продолжал курить, не замечая меня и, видимо, погруженный в свои мысли. Я недоумевал, зачем он пришел сюда.

Писатель, покуда долголетняя привычка не притупит его чувствительности, сам робеет перед инстинктом, внушающим ему столь жгучий интерес к странностям человеческой природы, что он не в состоянии осудить их и от них отвернуться. То артистическое удовольствие, которое он получает от созерцания зла, его самого немного пугает. Впрочем, честность заставляет его признать, что он не столько осуждает иные недостойные поступки, сколько жаждет доискаться их причин. Подлец, которого писатель создал и наделил логически развитым и законченным характером, влечет его наперекор требованиям законности и порядка. По-моему, Шекспир придумывал Яго с большим вкусом, нежели Дездемону, точно сотканную из лунного света. Возможно, что, создавая образы мошенников и негодяев, писатель стремится удовлетворить инстинкты, заложенные в нем природой, но обычаями

и законами цивилизованного мира оттесненные в таинственную область подсознательного. Облекая в плоть и кровь создания своей фантазии, он тем самым как бы дарует отдельную жизнь той части своего «я», которая иначе не может себя выразить. Его радость — это радость освобождения.

Писатель скорее призван знать, чем судить.

Стрикленд внушал мне неподдельный ужас и наряду с этим холодное любопытство. Он меня озадачивал, и в то же время я жаждал узнать мотивы его поступков, а также отношение к трагедии, которую он навязал людям, приютившим и пригревшим его. И я смело вонзил скальпель.

— Струве сказал мне, что картина, которую вы писали с его жены, — лучшая из всех ваших работ.

Стрикленд вынул трубку из рта, в глазах его промелькнула улыбка.

— Да, писать ее было забавно.

— Почему вы отдали ему картину?

— Я ее закончил, так на что она мне?

— Вы знаете, что Струве едва ее не загубил?

— Она мне не слишком удалась.

Он помолчал, затем вынул трубку из рта и усмехнулся:

— А вы знаете, что этот пузан приходил ко мне?

— Неужто вас не тронуло то, что он вам предложил?

— Нет. По-моему, это было глупо и сентиментально.

— Вы, видимо, забыли, что разрушили его жизнь, — сказал я.

Он в задумчивости теребил свою бороду.

— Он очень плохой художник.

— Но очень хороший человек.

— И отличный повар, — насмешливо присовокупил Стрикленд.

В его бездушии было что-то нечеловеческое, и я отнюдь не собирався деликатничать с ним.

— А скажите, я спрашиваю из чистого любопытства, чувствовали вы хоть малейшие угрызения совести после смерти Бланш Струве?

Я внимательно следил за выражением его лица, но оно оставалось бесстрастным.

— Чего мне, собственно, угрызаться?

— Сейчас я приведу вам ряд фактов. Вы умирали, и Дирк Струве перевез вас к себе. Он ходил за вами, как родная мать. Принес вам в жертву свое время, удобства, деньги. Он вырвал вас из когтей смерти.

Стрикленд пожал плечами.

— Бедняга обожает делать что-нибудь для других. В этом его жизнь.

— Предположим, что вы не были обязаны ему благодарностью, но разве вы были обязаны уводить от него жену? До вашего появления они были счастливы. Почему вы не могли оставить их в покое?

— А почему вы думаете, что они были счастливы?

— Это было очевидно.

— До чего же у вас проницательный ум! По-вашему, она была в состоянии простить ему то, что он для нее сделал?

— Что вы хотите сказать?

— Известно вам, как он на ней женился?

Я покачал головой.

— Она была гувернанткой в семье какого-то римского князя, и сын хозяина совратил ее. Она думала, что он на ней женится, а ее выгнали на улицу. Она была беременна и пыталась покончить с собой. Струве ее подобрал и женился на ней.

— Вполне в его духе. Я в жизни не видывал человека с таким мягким сердцем.

Я нередко удивлялся, что могло соединить этих столь несхожих людей, но подобное объяснение мне никогда в голову не приходило. Так вот причина необычной любви Дирка к жене. В его отношении к ней было нечто большее, чем страсть. И помнится, в ее сдержанности мне всегда чудилось что-то такое, чему я и не мог подыскать определения; только сейчас я понял: это было не просто желание скрыть позорную тайну. Ее спокойствие напоминало затишье, воцарившееся на острове, над которым пронесся ураган. Ее веселость была веселостью отчаяния. Стрикленд вывел меня из задумчивости замечанием, поразительным по своему цинизму:

— Женщина может простить мужчине зло, которое он причинил ей, но жертв, которые он ей принес, она не прощает.

— Уж вам-то не грозит опасность остаться непрощенным.

Чуть заметная улыбка тронула его губы.

— Вы всегда готовы пожертвовать своими принципами ради красного словца,— сказал он.

— Что же случилось с ребенком?

— Ребенок родился мертвым три или четыре месяца спустя после их женитьбы.

Тут я спросил о том, что всегда было для меня самым непонятным.

— А почему, скажите на милость, вы заинтересовались Бланш Струве?

Он не отвечал так долго, что я уже собирался повторить свой вопрос.

— Откуда я знаю? — проговорил он наконец. — Она меня терпеть не могла. Это было забавно.

— Понимаю.

Стрикленд вдруг разозлился.

— Черт подери, я ее хотел.

Но он тут же овладел собой и с улыбкой взглянул на меня.

— Сначала она была в ужасе.

— Вы ей сказали?

— Зачем? Она и так знала. Я ей слова не говорил. Она меня боялась. В конце концов я взял ее.

По тому, как он это сказал, я понял, до чего неистово было его желание. И невольно содрогнулся. Вся жизнь этого человека была беспощадным отрешением от материального, и, видимо, тело временами жестоко мстило духу. И в случае с Бланш сатир возобладал в нем, и, беспомощный в тисках инстинкта, могучего, как первобытные силы природы, он уже не мог противиться своему влечению, ибо в душе его не осталось места ни для благоразумия, ни для благодарности.

— Но зачем вам вздумалось уводить ее от мужа? — поинтересовался я.

— Я этого не хотел, — отвечал он нахмурясь. — Когда она сказала, что уйдет со мной, я удивился не меньше Струве. Я ей сказал, что, когда она мне надоест, ей придется собирать свои манатки, и она ответила, что идет на это. — Он сделал паузу. — У нее было дивное тело, а мне хотелось писать обнаженную натуру. После того как я закончил портрет, она уже меня не интересовала.

— А ведь она всем сердцем любила вас.

Он вскочил и заходил по комнате.

— Я в любви не нуждаюсь. У меня на нее нет времени. Любовь — это слабость. Но я мужчина и, случается, хочу женщину. Удовлетворив свою страсть, я уже думаю о другом. Я не могу побороть свое желание, но я его ненавижу: оно держит в оковах мой дух. Я мечтаю о времени, когда у меня не будет никаких желаний и я смогу целиком отдаться работе. Женщины ничего не умеют, только любить, любви они придают бог знает какое значение. Им хочется уверить нас, что любовь — главное в жизни. Но любовь — это малость. Я знаю вожделение. Оно естественно и здорово, а любовь — это болезнь. Женщины существуют для моего

удовольствия, но я не терплю их дурацких претензий быть помощниками, друзьями, товарищами.

Я никогда не слышал, чтобы Стрикленд подряд говорил так много и с таким страстным негодованием. Но, впрочем, я сейчас, как и раньше, не пытаюсь воспроизвести точные его слова: лексикон его был беден, дар красноречия у него начисто отсутствовал, так что его мысли приходилось конструировать из междометий, выражения лица, жестов и отрывочных восклицаний.

— Вам бы жить в эпоху, когда женщины были рабынями, а мужчины рабовладельцами,— сказал я.

— Да, я просто нормальный мужчина.

Невозможно было не рассмеяться этому замечанию, сделанному с полной серьезностью; но он, шагая из угла в угол, точно зверь в клетке, все силился хоть относительно связно выразить то, что было у него на душе.

— Если женщина любит вас, она не уgomонится, пока не завладеет вашей душой. Она слаба и потому неистово жаждет полновластия. На меньшее она не согласна. Так как умишко у нее с куриный носок, то абстрактное для нее непостижимо, и она его ненавидит. Она занята житейскими мелочами, все идеальное вызывает ее ревность. Душа мужчины уносится в высочайшие сферы мироздания, а она старается втиснуть ее в приходо-расходную книгу. Помните мою жену? Бланш очень скоро пустилась на те же штуки. С потрясающим терпением готовилась она заарканить и связать меня. Ей надо было низвести меня до своего уровня; она обо мне ничего знать не хотела, хотела только, чтобы я целиком принадлежал ей. И ведь готова была исполнить любое мое желание, кроме одного — отвязаться от меня.

Я довольно долго молчал.

— А как по-вашему, что она должна была сделать после того, как вы ее бросили?

— Она могла вернуться к Струве,— сердито отвечал он.— Струве готов был принять ее

— Возмутительное рассуждение,— отвечал я.— Впрочем, толковать с вами о таких вещах — все равно что расписывать красоту заката слепорожденному.

Он остановился и посмотрел мне в лицо с презрительным недоумением.

— Неужто вам и вправду не все равно, жива или умерла Бланш Струве?

Я задумался, ибо во что бы то ни стало хотел честно ответить на этот вопрос.

— Наверно, я черствый человек, потому что ее смерть не слишком меня огорчает. Жизнь сулила ей много хорошего. И ужасно, что все это с такой бессмысленной жестокостью отнято у нее, что же касается меня, то, к стыду моему, ее трагедия оставляет меня сравнительно спокойным.

— Взгляды у вас смелые, а отстаивать их смелости не хватает. Жизнь не имеет цены. Бланш Струве покончила с собой не потому, что я бросил ее, а потому, что она была женщина вздорная и неуравновешенная. Но хватит говорить о ней, не такая уж она важная персона. Пойдемте, я покажу вам свои картины.

Он говорил со мной как с ребенком, внимание которого надо отвлечь. Я был зол, но больше на себя, чем на него. Мне все вспоминалась счастливая жизнь четы Струве в уютной мастерской на Монмартре, их отзывчивость, доброта и гостеприимство. Жестоко, что безжалостный случай все это разрушил. Но самое жестокое — что ничего не изменилось. Жизнь шла своим чередом, и мимолетное несчастье ни в чьем сердце не оставило следа. Я думал, что Дирк, человек скорее пылких, чем глубоких чувств, скоро позабудет свое горе, но Бланш... один бог знает, какие радужные грезы посещали ее в юности, Бланш — зачем она жила на свете? Все это было так бессмысленно и глупо.

Стрикленд отыскал свою шляпу и стоял, выжидательно глядя на меня.

— Вы идете?

— Почему вы держитесь за знакомство со мною? — спросил я. — Вы же знаете, что я ненавижу и презираю вас.

Он добродушно ухмыльнулся.

— Вы злитесь только из-за того, что мне наплевать, какого вы обо мне мнения.

Я почувствовал, как кровь прилила у меня к лицу от гнева. Нет, этот человек не в состоянии понять, что его безжалостный эгоизм вызывает ненависть. Я жаждал пробить броню этого полнейшего безразличия. Но, увы, зерно истины все-таки было в его словах. Ведь мы, скорей всего бессознательно, свою власть над другими измеряем тем, как они относятся к нашему мнению о них, и начинаем ненавидеть тех, которые не поддаются нашему влиянию. Для человеческой гордости нет обиды жесточе. Но я не хотел показать, что слова Стрикленда меня задела.

— Дозволено ли человеку полностью пренебрегать другими людьми? — спросил я не столько его, сколько самого себя. — Человек в каждой мелочи зависит от других. Попытка жить только собою и для себя заведомо обречена на

неудачу. Рано или поздно старым, усталым и больным вы приползете обратно в стадо. И когда ваше сердце будет жаждать покоя и сочувствия, вам станет стыдно. Вы ищете невозможного. Повторяю, рано или поздно человек в вас затоскует по узам, связывающим его с человечеством.

— Пойдемте смотреть мои картины.

— Вы когда-нибудь думаете о смерти?

— Зачем? Она того не стоит.

Я смотрел на него в удивлении. Он стоял передо мной неподвижно, в глазах его мелькнула насмешка, и, несмотря на все это, я вдруг прозрел в нем пламенный, мученический дух, устремленный к цели более высокой, чем все то, что сковано плотью. На мгновение я стал свидетелем поисков неизреченного. Я смотрел на этого человека в обшарпанном костюме, с большим носом, горящими глазами, с рыжей бородой и всклокоченными волосами и, странным образом, видел перед собой не эту оболочку, а бесплотный дух.

— Что ж, пойдем посмотрим ваши картины,— сказал я.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Не знаю, почему Стрикленду вдруг вздумалось показать их мне. Но я очень обрадовался. Человек открывается в своих трудах. В светском общении он показывает себя таким, каким хочет казаться, и правильно судить о нем вы можете лишь по мелким и бессознательным его поступкам да непроизвольно меняющемуся выражению лица. Присвоивши себе ту или иную маску, человек со временем так привыкает к ней, что и вправду становится тем, чем сначала хотел казаться. Но в своей книге или в своей картине он наг и беззащитен. Его претензии только подчеркивают его пустоту. Деревяшка и есть деревяшка. Никакими потугами на оригинальность не скрыть посредственности. Зоркий ценитель даже в эскизе усматривает сокровенные душевные глубины художника, его создавшего.

Не скрою, что я волновался, взбираясь по нескончаемой лестнице в мансарду Стрикленда. Мне чудилось, что я на пороге удивительного открытия. Войдя наконец в его комнату, я с любопытством огляделся. Она показалась мне меньше и голее, чем прежде. «Интересно,— подумал я,— что сказали бы о ней мои знакомые художники, работающие в огромных мастерских и убежденные, что они не могут творить, если окружающая обстановка им не по вкусу».

— Станьте вон там.— Стрикленд показал мне точку, с которой, как он считал, картины представляли в наиболее выгодном освещении.

— Вы, наверно, предпочитаете, чтобы я молчал? — осведомился я.

— Конечно, черт вас возьми, можете попридержать свой язык.

Он ставил картину на мольберт, давал мне посмотреть на нее минуты две, затем снимал и ставил другую. Он показал мне, наверно, холстов тридцать. Это были плоды его работы за шесть лет, то есть с тех пор, как он начал писать. Он не продал ни одной картины. Холсты были разной величины. Меньшие — натюрморты, покрупнее — пейзажи. Было у него штук шесть портретов.

— Вот и все,— объявил он наконец.

Мне бы очень хотелось сказать, что я сразу распознал их красоту и необычайное своеобразие. Теперь, когда я снова видел многие из них, а с другими ознакомился по репродукциям, я не могу не удивляться, что с первого взгляда испытал горькое разочарование. Нервная дрожь — воздействие подлинного искусства — не потрясла меня. Картины Стрикленда привели меня в замешательство, и я не могу простить себе, что мне даже в голову не пришло купить хотя бы одну из них. Я упустил счастливый случай. Большинство их попало в музеи, остальные украшают коллекции богатых меценатов. Я стараюсь подыскать для себя оправдание. Мне все-таки кажется, что у меня хороший вкус, только ему недостает оригинальности. В живописи я мало что смыслю и всегда иду по дорожке, проложенной для меня другими. В ту пору я преклонялся перед импрессионистами. Я мечтал приобрести творения Сислея и Дега и приходил в восторг от Мане. Его «Олимпия» казалась мне шедевром новейших времен, а «Завтрак на траве» трогал меня до глубины души. Я воображал, что эти произведения — последнее слово в живописи.

Не буду описывать картины, которые показывал мне Стрикленд. Такие описания всегда наводят скуку, а кроме того, его картины знакомы решительно всем, кто интересуется живописью. Теперь, после того как искусство Стрикленда оказало столь грандиозное воздействие на современную живопись и неведомая область, в которую он проник одним из первых, уже, так сказать, нанесена на карту, всякий впервые видящий его картину внутренне подготовлен к ней, я же никогда ничего подобного не видел. Прежде всего я был поражен тем, что мне показалось топорной

техникой. Привыкнув к рисунку старых мастеров и убежденный, что Энгр был величайшим рисовальщиком нового времени, я решил, что Стрикленд рисует из рук вон плохо. О том, что упрощение — его цель, я не догадывался. Помню, как меня раздражало, что круглое блюдо в одном из натюрмортов было неправильной формы и на нем лежали кособокие апельсины. Лица на портретах он делал больше натуральной величины, и это производило отталкивающее впечатление. Я воспринимал их как карикатуры. Написаны они были в совершенно новой для меня манере. Пейзажи еще сильнее меня озадачили. Два или три из них изображали лес в Фонтенбло, остальные — улицы Парижа; на первый взгляд они казались нарисованными пьяным извозчиком. Я просто ошалел. Нестерпимо кричащие краски, и все в целом какой-то дурацкий, непонятный фарс. Вспоминая об этом, я еще больше поражаюсь чутью Струве. Он с первого взгляда понял, что здесь речь шла о революции в искусстве, и почти еще в зародыше признал гения, перед которым позднее преклонился весь мир.

Растерянный и сбитый с толку, я тем не менее был потрясен. Даже при моем колоссальном невежестве я почувствовал, что здесь тщится проявить себя великая сила. Все мое существо пришло в волнение. Я ясно ощущал, что эти картины говорят мне о чем-то очень для меня важном, но о чем именно, я еще не знал. Они казались мне уродливыми, но в них была какая-то великая и нераскрытая тайна, что-то странно дразнящее и волнующее. Чувства, которые они во мне возбуждали, я не умел проанализировать: слова тут были бессильны. Мне начинало казаться, что Стрикленд в материальных вещах смутно провидел какую-то духовную сущность, сущность до того необычную, что он мог лишь в неясных символах намекать о ней. Точно среди хаоса вселенной он отыскал новую форму и в безмерной душевной тоске неумело пытался ее воссоздать. Я видел мученический дух, алчущий выразить себя и таким образом найти освобождение.

Я обернулся к Стрикленду:

— Мне кажется, вы избрали неправильный способ выражения.

— Что за околесицу вы несете?

— Вы, видимо, стараетесь что-то сказать — что именно, я не знаю, но сомневаюсь, можно ли это высказать средствами живописи.

Я ошибся, полагая, что картины Стрикленда дадут мне ключ к пониманию его странной личности. На деле они

только заставили меня еще больше ему удивляться. Теперь я уже вовсе ничего не понимал. Единственное, что мне уяснилось — но, может быть, и это была игра воображения, — что он жаждал освободиться от какой-то силы, завладевшей им. А какая это была сила и что значило освобождение от нее, оставалось туманным. Каждый из нас одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может общаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не одни для всех, а потому их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как принять их, и потому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок со своими спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Мы похожи на людей, что живут в чужой стране, почти не зная ее языка: им хочется высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произносить лишь штампованные фразы из разговорника. В мозгу их бурлят идеи одна интересней другой, а сказать эти люди могут разве что: «Тетушка нашего садовника позабыла дома свой зонтик».

Итак, основное, что я вынес из картин Стрикленда, — неимоверное усилие выразить какое-то состояние души; в этом усилии, думал я, и следует искать объяснение тому, что так меня поразило. Краски и формы, несомненно, имели для Стрикленда значение, ему самому не вполне понятное. Он испытывал неодолимую потребность выразить то, что чувствовал, и единственно с этой целью создавал цвет и форму. Он, не колеблясь, упрощал, даже извращал и цвет, и форму, если это приближало его к тому неведомому, что он искал. Факты ничего не значили для него, ибо под грудой пустых случайностей он видел лишь то, что считал важным. Казалось, он познал душу вселенной и обязан был выразить ее. Пусть эти картины с первого взгляда смущали и озадачивали, но и волновали они до глубины души. И вот, сам не знаю отчего, я вдруг почувствовал, совсем уж неожиданно, жгучее сострадание к Стрикленду.

— Теперь я, кажется, знаю, почему вы поддались своему чувству к Бланш Струве, — сказал я.

— Почему?

— Мужество покинуло вас. Ваша телесная слабость сообщилась вашей душе. Я не знаю, какая тоска грызет вас, толкает вас на опасные одинокие поиски того, что должно изгнать демона, терзающего вашу душу. По-моему, вы вечный странник, стремящийся поклониться святыне, которой, возможно, не существует. К какой непостижимой нирване

вы стремитесь? Я не знаю. Да и вы, вероятно, не знаете. Может быть, вы ищете Правды и Свободы, и на мгновение вам почудилось, что любовь принесет вам вождеденное освобождение? Ваш утомленный дух искал, думается мне, покоя в объятиях женщины, но, не найдя его, вы эту женщину возненавидели. Вы были к ней беспощадны, потому что вы беспощадны к самому себе. Вы убили ее из страха, так как все еще дрожали перед опасностью, которой только что избегли.

Он холодно улыбнулся и потерял свою бороду.

— Ну и сентиментальны же вы, дружище.

Через неделю я случайно услышал, что Стрикленд отправился в Марсель. Больше я никогда его не видел.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

То, что я написал о Стрикленде, конечно, никого удовлетворить не может, задним числом я вполне отдаю себе в этом отчет. Я пересказал кое-какие события, совершившиеся на моих глазах, но они остались темными, ибо я не знаю первопричин этих событий. Самое странное из случившегося — решение Стрикленда стать художником — в моем пересказе выглядит простой причудой; между тем он, разумеется, неспроста принял такое решение, хотя, что именно его на это толкнуло, я не знаю. Из собственных его слов мне ничего не уяснилось. Если бы я писал роман, а не просто перечислял известные мне факты из жизни незаурядного человека, я бы придумал уйму всевозможных объяснений для этого душевного переворота. Наверно, я рассказал бы о неудержимом влечении Стрикленда к живописи, в детстве подавленном волей отца или же принесенном в жертву необходимости зарабатывать свой хлеб; я бы изобразил, как гневно он относился к требованиям жизни; обрисовав борьбу между его страстью к искусству и профессией биржевого маклера, я бы мог даже привлечь на его сторону симпатии читателя. Я сделал бы из него весьма внушительную фигуру. Возможно, что кто-нибудь даже увидел бы в нем нового Прометея, и оказалось бы, что я создал современную версию о герое, во имя блага человечества обрекшем себя всем мукам Прометеева проклятия. А это неизменно захватывающий сюжет.

С таким же успехом я мог бы сыскать мотивы его поступка в семейной жизни. Тут к моим услугам имелся бы добрый десяток вариантов. Например, скрытый дар

пробивается наружу благодаря знакомству с писателями и художниками, в обществе которых вращается его жена; или: неудовлетворенный семейным кругом, он углубляется в себя; и еще: любовная история раздувает в пламя маленький огонек, который, в моем изображении, сначала бы едва-едва тлел в его душе. В таком случае миссис Стрикленд мне, вероятно, пришлось бы обрисовать совсем по-другому. Не церемонясь с фактами, я бы сделал ее брюзгливой, надоедливой женщиной или ханжой, не понимающей духовных запросов мужа. Брак их я бы изобразил как нескончаемую цепь мучений, разорвать которую можно только бегством. Я бы, наверно, расписал яркими красками его терпеливое отношение к душевно чуждой ему жене и жалость, которая долго не позволяла ему сбросить тяжкое ярмо. О детях, пожалуй, упоминать бы и вовсе не следовало.

Не менее эффектно было бы свести Стрикленда со стариком художником, которого либо нужда, либо жажда наживы некогда заставили отказаться от своего призвания. Видя в Стрикленде возможности, им самим некогда упущенные, старик уговаривает его покончить с прежней жизнью и всецело предаться священной тирании искусства. Этот старый человек, добившийся богатства и высокого положения в свете, который пытается в другом пережить все, на что у него самого не достало мужества, хотя он и сознавал, что искусство — это лучшая доля, должен быть дан слегка иронически.

Факты куда менее значительны. Стрикленд прямо со школьной скамьи поступил в контору биржевого маклера, не испытывая при этом никаких моральных терзаний. До женитьбы он жил, как все молодые люди его круга: понемножку играл на бирже, во время дерби или гребных гонок, случалось, терял два-три соверена. В свободное время он занимался боксом, а на камине у него стояла фотография миссис Лангтри и Мэри Андерсон. Он читал «Панч» и «Спортинг таймс». Ходил на танцы в Хэмпстед.

То, что я потерял Стрикленда из виду на довольно долгий срок, особого значения не имеет. Годы, которые он провел в борьбе за овладение трудным искусством кисти, были достаточно однообразны, а то, чем ему приходилось заниматься, чтобы заработать себе на жизнь, вряд ли представляло хоть какой-нибудь интерес. Рассказывать об этом — значило бы рассказывать о событиях в жизни других людей. Да к тому же эти события не наложили отпечатка на характер Стрикленда. Он видел много сцен, которые могли

бы послужить великолепным материалом для плутовского романа о современном Париже, но ничем этим не интересовался и, судя по его разговорам, не вынес ровно никаких впечатлений из своей парижской жизни. Возможно, что, приехав сюда, он был уже слишком стар и потому неподатлив колдовству большого города. Самое странное, что вопреки всему этому он казался мне не только практическим, но и сухо-деловитым человеком. Жизнь его в те годы, несомненно, была полна романтики, но он не подозревал об этом. Для того чтобы почувствовать романтику, надо, вероятно, быть немного актером и уметь, отрешившись от самого себя, наблюдать за своими действиями с глубокой заинтересованностью, но в то же время как бы и со стороны. Стрикленд был абсолютно неспособен на такое раздвоение. Я в жизни не встречал человека, менее занятого собой. К несчастью, я не могу описать тот тернистый путь, идя по которому он сумел покорить себе свое искусство. Если бы я показал, как неустрашимо он переносил неудачи, как мужественно не поддавался отчаянию, как упорно вел борьбу с сомнением — заклятым врагом художника, я вызвал бы симпатию к человеку, который — я это понимаю — покажется весьма несимпатичным. Но мне тут не за что зацепиться. Я никогда не видел Стрикленда за работой, как, вероятно, никто не видел. Тайны своей борьбы он хранил про себя. Если в полном одиночестве своей мастерской он и единоборствовал с ангелом господним, то ни одна живая душа не знала о его страданиях.

Теперь, когда речь пойдет о его связи с Бланш Струве, я с огорчением вижу, что в моем распоряжении нет ничего, кроме отрывочных, не связанных между собою фактов. Чтобы придать слитность своему рассказу, я должен был бы объяснить, как и почему их союз завершился трагедией, но я ничего не знаю об их жизни в течение этих трех месяцев. Не знаю, как они проводили время и о чем разговаривали. В сутках двадцать четыре часа, а вершины своей чувство достигает лишь в редкие минуты. Я могу только воображать, что они делали все остальные часы. Покуда было светло и Бланш еще не выбивалась из сил, он, вероятно, писал ее, а она сердилась, видя, как он углублен в работу. Она существовала для него только как модель, не как любовница. Но затем оставались еще долгие часы, и они жили бок о бок в полном молчании. Ее это, наверно, пугало. Говоря, что своим уходом к нему Бланш как бы мстила Дирку Струве, пришедшему ей на помощь в трагическую минуту жизни, Стрикленд давал повод ко

многим страшным догадкам. Но я надеюсь, что он ошибся. Иначе это было бы слишком печально. Хотя кто может разобраться во всех мельчайших движениях человеческого сердца? Разумеется, не тот, кто ждет от него только благопристойных и нормальных чувств. Когда Бланш поняла, что, несмотря на мгновения страсти, Стрикленд остается чужим ей, она, должно быть, впала в отчаяние, и тут, когда ей уяснилось, что она для него не личность, а только орудие наслаждения, она стала делать жалкие усилия, чтобы привязать его к себе. Она окружала его комфортом, не замечая, что комфорт ничего не значит для этого человека. Она изощрялась, готовя ему лакомые кушанья, и не замечала, что он совершенно равнодушен к еде. Она боялась оставить его одного, преследовала его своим вниманием и, когда его страсть утихала, старалась снова возбудить ее, ибо только в эти мгновения могла питать иллюзию, что он принадлежит ей. Возможно, она умом и понимала, что цепи, которыми она его опутывала, будили в нем только инстинкт разрушения — так, когда видишь зеркальное стекло в окне, руки чешутся запустить в него камнем, — но ее сердце не внимало голосу разума, и она все шла по пути, который — тут она не заблуждалась — был для нее роковым. Должно быть, она была очень несчастна. Но слепая любовь заставила ее верить в то, во что ей хотелось верить, да и обожала она Стрикленда так, что ей казалось невозможным, чтобы он не платил ей любовью.

Беда в том, что мой рассказ о Стрикленде грешит большими недостатками, чем неполное знание фактов из его жизни. Я много написал о его отношениях с женщинами, потому что эти отношения очень бросались в глаза, а между тем им принадлежало весьма скромное место в его жизни. И право же, издевка судьбы, что для женщин, приближавшихся к нему, они оборачивались трагедией. По-настоящему его жизнь состояла из мечты и титанического труда.

Тут-то и начинается литературная неправда. Любовь, как правило, только один из эпизодов в жизни человека, в романах же ей отводится первое место, и это не соответствует жизненной правде. Мало найдется мужчин, для которых любовь — самое важное на свете, и это по большей части неинтересные мужчины; их презирают даже женщины, для которых любовь превыше всего. Преклонение льстит женщинам, волнует их, и все же они не могут отделаться от чувства, что мужчины, все на свете забывающие из-за любви, — убогие создания. Даже в краткие пери-

оды, когда мужчина страстно любит, он занят еще и другими делами, отвлекающими его от любимой. Внимание одного сосредоточено на работе, которая дает ему средства к жизни; другой увлекается спортом или искусством. Большинство мужчин развивают свою деятельность в различных областях; они способны всецело сосредоточиваться на том, что их в данную минуту занимает, и досадуют, если одно перебивает другое. В любви разница между мужчиной и женщиной в том, что женщина любит весь день напролет, а мужчина — только урывками.

В жизни Стрикленда желание занимало очень мало места. Для него оно было чем-то второстепенным и докучным. Душа его рвалась в иные пределы. Он знал буйную страсть, и желание временами терзало его плоть, требуя неистовых оргий чувственности, но он ненавидел этот инстинкт, отнимавший у него власть над самим собой. Мне кажется, Стрикленд ненавидел и ту, что должна была делить с ним вакханалию страсти. Овладев собою, он испытывал отвращение к женщине, которой только что наслаждался. Мысли его уносились в горние страны, и женщина внушала ему ужас, какой может внушить пестрокрылому мотыльку, порхающему с цветка на цветок, неприглядная куколка, из которой он, торжествуя, возник. Мне думается, искусство — это проявление полового инстинкта. Одно и то же чувство заставляет усиленно биться человеческое сердце при виде красивой женщины, Неаполитанского залива в лунном свете и Тицианова «Положения во гроб». Вполне возможно, что Стрикленд ненавидел нормальное проявление полового инстинкта, оно казалось ему низменным по сравнению со счастьем художественного творчества. Мне самому странно, что, описав человека жестокого, эгоистического, грубого и чувственного, я в конце концов прихожу к выводу, что он был подлинным идеалистом. Но факты — упрямая вещь.

Он жил беднее любого батрака. И работал тяжелее, нимало не интересуясь тем, что большинство людей считает украшением жизни. К деньгам он был равнодушен, к славе тоже. Но не стоит воздавать ему хвалу за то, что он противостоял искушению и не шел ни на один из тех компромиссов с обществом, на которые мы все так охотно идем. Он не знал искушения. Ему ни разу даже не пришла на ум возможность компромисса. В Париже он жил более одиноко, чем отшельник в Фиваидской пустыне. Он ничего не требовал от людей, разве чтобы они оставили его в покое. Стремясь к одной лишь цели, он для ее

достижения готов был пожертвовать не только собою — на это способны многие, — но и другими. Он был визионер и одержимый.

Да, Стрикленд был плохой человек, но и великий тоже.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Немалое значение имеют взгляды художника на искусство, и потому я считаю нужным сказать здесь несколько слов о том, как Стрикленд относился к великим мастерам прошлого. Многого я, конечно, не знаю. Стрикленд был не слишком словоохотлив и то, что ему хотелось сказать, не умел облечь в точные слова, запоминающиеся слушателю. Он не был остроумен. Юмор его, как видно из предыдущего — конечно, если мне хоть в какой-то мере удалось воспроизвести его манеру говорить, — носил сардонический характер. Острил он грубо. Он иногда заставлял собеседника смеяться тем, что говорил правду, но этот вид юмора действителен только в силу своей необычности: если бы чаще слышали правду, никто бы не смеялся.

Стрикленд, я бы сказал, был от природы не слишком умен, и его взгляды на искусство не отличались оригинальностью. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о художниках, работы которых были в известной мере родственны его работам, например о Сезанне или Ван-Гоге; я даже не уверен, что он когда-нибудь видел их произведения. Импрессионистами он особенно не интересовался. Технику их он признавал, но я склонен думать, что импрессионистическая манера казалась ему пошлой. Однажды, когда Струве на все лады прославлял Моне, он заметил: «Я предпочитаю Винтерхальтера». Впрочем, он, вероятно, сказал это, чтобы позлить Струве, и, конечно, достиг цели.

Мне очень жаль, что я не могу привести какие-нибудь из ряда вон выдающиеся суждения Стрикленда о старых мастерах. В характере этого человека столько странностей, что возмутительные высказывания о старших братьях могли бы успешно завершить его портрет. Мне бы очень хотелось навязать ему какие-нибудь фантастические теории относительно его предшественников, но, увы, я должен признаться, что его взгляды мало чем отличались от общепринятых. Я подозреваю, что он не знал Эль Греко, но к Веласкесу относился с каким-то нетерпеливым восторгом. Шарден его восхищал, а Рембрандт приводил в экстаз. Он говорил о впечатлении, которое на него производит Рембрандт,

с такой откровенной грубостью, что я не решаюсь повторить его слова. Но вот что было уже совсем неожиданно, так это его живой интерес к Брейгелю-старшему. В то время я почти не знал этого художника, а Стрикленд не умел выражать свои мысли. Я запомнил то, что он говорил о нем только потому, что это ровно ничего не объясняло.

— Этот настоящий,— заявил Стрикленд.— Бьюсь об заклад, что с него семь потов сходило, когда он писал.

Позднее, увидев в Вене картины Питера Брейгеля, я, кажется, понял, что в нем привлекало Стрикленда. Брейгелю тоже виделся какой-то особый мир, его самого удивлявший. Я тогда хотел написать о нем и сделал ряд заметок в своей записной книжке, но потом потерял ее, и в воспоминании у меня осталось только чувство, вызванное его картинами. Люди представлялись ему уродливыми и комичными, и он был зол на них за то, что они уродливы и комичны, жизнь — смешением комических и подлых поступков, достойных только смеха, но горько ему было над этим смеяться. Мне всегда казалось, что Брейгель средствами одного искусства тщится выразить то, что лучше поддалось бы выражению средствами другого; может быть, поэтому-то и смутно тянуло к нему Стрикленда. Видно, оба они хотели в живопись вложить идеи, бывшие более под стать литературе.

Стрикленду в то время было около сорока семи лет.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Выше я уже говорил, что, если бы не случайный мой приезд на Таити, я бы никогда не написал этой книги. Дело в том, что после долгих скитаний на Таити очутился Чарлз Стрикленд и там создал картины, на которых главным образом и зиждется его слава. Я думаю, что ни одному художнику не суждено полностью воплотить мечту, властвующую над ним, и Стрикленд, вконец измученный своей борьбой с техникой, сделал, быть может, меньше, чем другие, чтобы воплотить видение, вечно стоявшее перед его духовным взором, но на Таити обстоятельства ему благоприятствовали. В этом новом мире он нашел много элементов, необходимых для того, чтобы его вдохновение стало плодотворным. Последние картины Стрикленда уже дают некоторое представление о том, чего он искал. Они являются какой-то новой и странной пищей для нашей фантазии. Словно в этом далеком краю дух его, до той

поры бестелесно бродивший по свету в поисках приюта, обрел наконец плоть и кровь. Выражаясь тривиально, Стрикленд здесь нашел себя.

Казалось бы, что, приехав на этот отдаленный остров, я должен был немедленно вспомнить о Стрикленде, в свое время так сильно меня интересовавшем, но я весь ушел в работу, кроме нее ни о чем не думал и лишь несколько дней спустя вспомнил о том, что его имя связано с Таити. Впрочем, я видел его пятнадцать лет назад, и уже девять прошло с тех пор, как он умер. Кроме того, впечатления от Таити вытеснили из моей головы даже дела, я все еще не мог прийти в себя. Помнится, в первое утро я проснулся чуть свет и вышел на веранду отеля. Нигде ни живой души. Я отправился в кухню, но она была заперта, на скамейке возле двери спал мальчик-туземец. Надежду позавтракать пока что приходилось оставить, и я пошел вниз, к морю. Китайцы уже раскладывали товар в своих лавчонках. Предраассветное небо было бледно, и над лагуной стояла призрачная тишина. В десяти милях от берега высился остров Муреа, хранивший свою тайну, словно твердыня святого Грааля.

Я все еще не верил своим глазам. Дни, прошедшие со времени моего отплытия из Веллингтона, были так необычны, так непохожи на все другие дни. Веллингтон — чистенький, совсем английский городок, точь-в-точь такой, как все портовые городки южной Англии. В море три дня бушевал шторм. Серые, рваные тучи тянулись по небу друг за дружкой. Затем ветер стих, море успокоилось, стало синим. Тихий океан пустынное других морей, просторы его кажутся безграничными, а самое заурядное плавание по нему отдает приключением. Воздух, который мы вдыхаем, — это эликсир, подготавливающий к неожиданному и неизведанному.

Лишь раз в жизни дано смертному испытать чувство, что он вливается в золотое царство фантазии, — когда взору его открываются берега Таити. Вы видите еще и соседний остров Муреа, каменное диво, таинственно вздымающееся среди водной пустыни. Со своими зубчатыми очертаниями он точно Монсерат Тихого океана, и вам начинает казаться, что полинезийские рыцари свершают там диковинные обряды, охраняя недобрую тайну. Красота этого острова раскрывается по мере приближения к нему, когда становятся отчетливо видны восхитительные изломы его вершин, но он бережно хранит свою тайну и, стоит вам поравняться с ним, весь как бы съезживается, замыкается в скалистую, неприступную суровость. И если б он исчез, куда вы ищите проход между рифами, и перед вами простерлась бы лишь

синяя пустыня океана, то и в этом, кажется, не было бы ничего удивительного.

Таити — высокий зеленый остров, с полосами более темной зелени, в которых вы угадываете молчаливые долины; в их темной таинственной глубине журчат и плещутся студёные потоки, и чувствуешь, что жизнь в этих тенистых долах с незапамятных времен шла по одним и тем же незапамятным путям. В таком чувстве есть печаль и страх. Но это мимолетное впечатление лишь обостряет радость минуты. Так на миг промелькнет печаль в глазах шутника, когда веселые сотрапезники до упаду смеются над его остротами, — рот его улыбается, шутки становятся веселее, но одиночество его еще нестерпимее. Таити улыбается, приветствуя вас; этот остров как обворожительная женщина, что расточает свою прелесть и красоту, и нет на свете ничего милее гавани Папеэте. Шхуны, стоящие на якоре у причала, сияют чистотой, городок, что тянется вдоль бухты, бел и наряден, а тамаринды, полыхающие под синью неба, яростны, словно крик страсти. Дух захватывает от того, как они чувственны в своем бесстыдном неистовстве. Встречать пароход на пристань высыпает веселая, жизнерадостная толпа; она шумит, радуется, жестикулирует. Это море коричневых лиц. Точно все цвета радуги волнуются и колышутся здесь под лазурным, блистающим небом. Суматоха все время отчаянная — при разгрузке багажа, при таможенном досмотре, и кажется, что все улыбаются вам. Солнце печет нестерпимо. Пестрота ослепляет.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

В первые же дни моего пребывания на Таити я свел знакомство с капитаном Николсом. Однажды утром, когда я завтракал на веранде, он вошел и представился мне. Прослышав, что я интересуюсь Чарлзом Стриклендом, капитан Николс явился поговорить со мной. На Таити судачат не хуже, чем в английской деревне, и слух о том, что я раза два или три спросил относительно картин Стрикленда, распространился с молниеносной быстротой. Я поинтересовался, завтракал ли капитан.

— Да, — отвечал он, — я рано пью кофе, но от глоточка виски не откажусь.

Я кликнул боя-китайца.

— А может, не стоит пить спозаранку? — сказал капитан.

— Ну, это уж вы спрашивайте вашу печень,— отвечал я.

— Собственно, я трезвенник,— заметил капитан, наливая себе добрых полстакана канадского виски.

Смеясь, он показывал желтые поломанные зубы. Капитан был очень худой человек, среднего роста, с седой шевелюрой и седыми топорщившимися усами. Он явно не брился уже два дня. Лицо его, коричневое от постоянного пребывания на солнце, было изборождено морщинами, а голубые глазки смотрели удивительно плутовато. Они бегали быстро-быстро, следя за каждым моим движением, и придавали капитану изрядно жуликоватый вид, хотя в настоящую минуту он был, можно сказать, сама доброжелательность. Его костюм цвета хаки выглядел весьма неопрятным, а руки очень нуждались в воде и мыле.

— Я хорошо знал Стрикленда,— начал он, закурив сигарету, которую я ему предложил, и поудобнее устраиваясь в кресле.— Благодаря мне он и попал на эти острова.

— Где вы с ним повстречались? — спросил я.

— В Марселе.

— Что вы там делали?

Он заискивающе улыбнулся.

— Гм, я там, собственно, сидел без работы.

Судя по виду моего нового приятеля, он и теперь находился не в лучшем положении; я уже приготовился поддерживать это приятное знакомство. Такие шалопаи, как правило, вознаграждают нас за мелкие моральные издержки, которые несешь, общаясь с ними. Они легко сблизаются, разговорчивы. Заносчивость чужда им, а предложение выпить — вернейший путь к их сердцу. Вам нет нужды завоевывать их расположение, и за то, что вы будете внимательно слушать их рассказы, они заплатят вам не только доверием, но и благодарностью.

Для них первейшее удовольствие в жизни — почесать язык и заодно щегольнуть своей образованностью, и надо признать, по большей части они превосходные рассказчики. Излишество их жизненного опыта приятно уравнивается живостью воображения. Простаками их, конечно, не назовешь, но они уважают закон, когда он опирается на силу. Играть с ними в покер — рискованное занятие, но их сноровка придает дополнительную своеобразную прелесть этой лучшей в мире игре. Я хорошо узнал капитана Никола за время своего пребывания на Таити, и это знакомство, безусловно, обогатило меня. Сигары и виски, за которые я платил (от коктейля он, как заядлый трезвенник, раз и навсегда отказался), так же как и те несколько долларов,

которые капитан взял у меня взаймы с видом, ясно говорившим, что он делает мне величайшее одолжение, отнюдь не эквивалентны тому, что я от него получил: он развлекал меня. Я остался его должником и не вправе отделаться от него двумя словами.

Не знаю, почему капитану Николсу пришлось уехать из Англии. Он об этом старательно умалчивал, а задавать вопросы людям его склада — заведомая бестактность. Он намекал на какую-то беду, незаслуженно его постигшую, и вообще считал себя жертвой несправедливости. Я полагал, что речь идет о мошенничестве или о насилии, и охотно поддакивал ему: да, судейские чиновники в старой Англии — отчаянные формалисты. Зато, как это хорошо, что, несмотря на все неприятности, испытанные им в родной стране, он остался пламенным патриотом. Он неоднократно заявлял, что Англия — лучшая страна в мире, и живо чувствовал свое превосходство над американцами и жителями колоний, итальяшками, голландцами и канаками.

Но счастливым капитан все-таки не был. Он страдал от дурного пищеварения и то и дело глотал таблетки пепсина; по утрам у него не было аппетита, что, впрочем, не ухудшало его настроения. У него имелись и другие основания роптать на жизнь. Восемь лет назад он опрометчиво женился. Есть люди, которым милосердное провидение предуказало холостяцкое житье, но они из своенравия или по случайному стечению обстоятельств нарушают его волю. Нет на свете ничего более жалкого, чем женатый холостяк. А капитан Николс был женатым холостяком. Я знал его жену, ей было лет двадцать восемь — впрочем, она принадлежала к тому типу женщин, возраст которых не определишь; такой она была, вероятно, в двадцать лет и в сорок тоже едва ли выглядела старше. Мне казалось, что она вся как-то стянута. Ее плоское лицо с узкими губами было стянуто, кожа плотно обтягивала кости, рот кривился в натянутой улыбке, волосы были стянуты в тугий узел, платье сидело в обтяжку, а белое полотно, из которого оно было сшито, выглядело как черная бумазая. Я никак не мог понять, почему капитан Николс на ней женился, а женившись, почему от нее не удрал. Впрочем, кто знает, может быть, он не раз пытался это сделать; меланхолия же его именно тем и объяснялась, что все эти попытки терпели крушение. Как бы далеко он ни уходил, в какое бы укромное местечко ни забивался, миссис Николс, неумолимая, как судьба, и беспощадная, как совесть, немедленно настигала его. Он не мог избавиться от нее, как причина не может избавиться от следствия.

Мошенник, артист, а может быть, и джентльмен не принадлежат ни к какому классу. Его не проймешь нахальной бесцеремонностью бродяги и не смутишь чопорным этикетом королевского двора. Но миссис Николс принадлежала к сословию, так сказать, ниже среднего. Папаша ее был полисменом — и, я уверен, весьма расторопным. Не знаю, чем она привязала к себе капитана, но не думаю, чтобы узами любви. Я от нее слова не слышал, но не исключено, что в домашней обстановке это была весьма говорливая особа. Так или иначе, но капитан Николс смертельно ее боялся. Иногда мы с ним сидели на террасе отеля, и он вдруг замечал, что она проходит по улице. Она его не окликала, ни словом, ни жестом не показывала, что видит его, а невозмутимо шагала туда и обратно. Странное беспокойство овладевало тогда капитаном Николсом: он начинал смотреть на часы и вздыхать.

— Ну, мне пора, — говорил он наконец.

И тут уже ничем нельзя было удержать его, даже стаканом виски. А ведь он неустрашимо встречал ураганы, тайфуны и, вооруженный одним только револьвером, не задумываясь вступил бы в драку с десятком безоружных негров. Случалось, что миссис Николс посылала за ним дочь, бледную, сердитую девочку лет семи.

— Тебя мама зовет, — говорила она плаксивым голосом.

— Иду, иду, деточка, — отвечал капитан Николс.

Он вскакивал и шел за дочерью. Прекрасный пример торжества духа над материей, а следовательно, в отступлении, которое я себе позволил, по крайней мере, имеется мораль.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Я постарался придать некоторую слитность отрывочным рассказам капитана Николса о Стрикленде, которые и перескажу сейчас по возможности последовательно. Они познакомились зимой того же года, когда я в последний раз видел Стрикленда в Париже. Как он жил эти месяцы после нашей встречи, я не знаю, но, видно, ему пришлось очень круто, так как Николс встретился с ним в ночлежном доме. В Марселе в то время была всеобщая забастовка, и Стрикленд, оставшись без денег, не мог заработать даже те гроши, которые были ему необходимы, чтобы душа не рассталась с телом.

Монастырский ночлежный дом в Марселе — это большое мрачное здание, где бедняки и безработные получали

право одну неделю пользоваться койкой, если у них были в порядке документы и они могли доказать монахам, что не являются беспаспортными бродягами. Капитан Николс тотчас же заметил Стрикленда, выделявшегося своим ростом и оригинальной наружностью, в толпе возле дверей ночлежки; они ждали молча, кто шагал взад и вперед, кто стоял, прислонившись к стене; многие сидели на обочине дороги, свесив ноги в канаву. Когда их наконец впустили в контору, капитан услышал, что проверявший документы монах обратился к Стрикленду по-английски. Но капитану не удалось заговорить с ним: как только их впустили в общую комнату, туда тотчас же явился монах с громадной Библией и с кафедры, стоявшей в конце помещения, начал проповедь, которую эти несчастные должны были слушать в уплату за то, что их здесь приютили. Капитан и Стрикленд были назначены в разные спальни, а в пять часов утра, когда дюжий монах объявил подъем и капитан заправлял свою койку и умывался, Стрикленд уже исчез. Капитан около часу пробродил по улицам, дрожа от холода, а потом отправился на площадь Виктора Желю, где обычно собирались безработные матросы. Там он опять увидел Стрикленда, дремлющего у пьедестала памятника. Он разбудил его пинком.

— Пошли, браток, завтракать!

— Иди ко всем чертям,— отвечал Стрикленд. Я узнал лаконичный стиль Стрикленда и решил, что свидетельству капитана Николса можно верить.

— Сидишь на мели? — спросил капитан.

— Проваливай,— сказал Стрикленд.

— Пойдем со мной, я тебе раздобуду завтрак.

Поколебавшись секунду-другую, Стрикленд встал, и они пошли в столовую «Ломоть хлеба», где голодным и вправду давали по куску хлеба с условием, что он будет съеден на месте: «навynos» хлеб не выдавался. Оттуда они двинулись в «Ложку супа», там в одиннадцать утра и в четыре дня бедняки получали по тарелке жидкой соленой похлебки. Столовые эти находились в разных концах города, так что только вконец изголодавшийся человек мог соблазниться таким завтраком. С этого началась своеобразная дружба Чарлза Стрикленда и капитана Николса.

Они провели в Марселе месяца четыре. Жизнь их текла без всяких приключений, если под приключением понимать неожиданные и яркие происшествия, ибо они с утра до вечера были заняты поисками заработка, которого хватило бы на оплату койки в ночлежном доме и на кусок хлеба,

достаточный, чтобы заглушить муки голода. Мне бы очень хотелось воспроизвести здесь те характерные и красочные картины, которые развертывались передо мною в передаче капитана Николса. Оба они такого навидались за время своей жизни «на дне» большого портового города, что из этого получилась бы преинтересная книжка, а разговоры действующих лиц в рассказе капитана Николса могли бы послужить отличным материалом для составления полного словаря блатного языка. Но, к сожалению, я могу привести здесь лишь отдельные эпизоды. Начнем с того, что это было примитивное, грубое, но не унылое существование. И Марсель, который я знал, Марсель оживленный и солнечный, с комфортабельными гостиницами и ресторанами, наполненными сытой толпой, стал казаться мне банальным и серым. Я завидовал людям, которые собственными глазами видели все то, что я только слышал из уст капитана Николса.

После того как двери ночлежного дома закрылись перед ними, они оба решили прибегнуть к гостеприимству некоего Строптивного Билла. Это был хозяин матросской харчевни, рыжий мулат с тяжеленными кулаками, который давал приют и пищу безработным матросам и сам же подыскивал им места. Стрикленд и Николс прожили у него, наверно, с месяц, спали на полу вместе с другими матросами — шведами, неграми, бразильцами — в двух совершенно пустых комнатах, отведенных хозяином для своих постояльцев, и каждый день отпраплялись вместе с ним на площадь Виктора Желю, куда приходили капитаны пароходов в поисках рабочей силы. Строптивный Билл был женат на толстой обрюзгшей американке, бог весть каким образом дошедшей до такой степени падения, и его постояльцам вменялось в обязанность поочередно помогать ей по хозяйству. Капитан Николс считал, что Стрикленд ловко увильнул от этой работы, написав портрет Билла. Последний не только уплатил за холст, краски и кисти, но еще дал Стрикленду в придачу фунт контрабандного табаку. Полагаю, что эта картина и по сей день украшает гостиную полуразрушенного домишка неподалеку от набережной и теперь наверняка стоит полторы тысячи фунтов. Стрикленд мечтал поступить на какое-нибудь судно, идущее к берегам Австралии или Новой Зеландии, и уже оттуда пробраться на Самоа или на Таити. Почему Стрикленда потянуло в Южные моря, не знаю, но, помнится, ему давно представлялся остров, зеленый и солнечный, среди моря, более синего, чем моря северных широт. Он, наверно, и привязался к капита-

ну Николсу потому, что тот знал эти далекие края. Мысль отправиться именно на Таити тоже исходила от Николса.

— Таити ведь принадлежит французам,— пояснил мне капитан,— а французы не такие чертовские формалисты, как англичане.

Я понял, что он имеет в виду.

У Стрикленда не было нужных бумаг, но подобные пустяки Билла не смущали, когда можно было хорошо подработать (он забирал у матросов, которых устраивал на корабль, жалованье за весь первый месяц). Итак, он снабдил Стрикленда документами одного английского кочегара, весьма кстати умершего у него в харчевне. Но оба они, и капитан Николс, и Стрикленд, рвались на восток, а работа, как назло, представлялась только на пароходах, идущих на запад. Стрикленд дважды отказался от места на судах, отправляющихся в Соединенные Штаты, и в третий раз — на угольщике, идущем в Ньюкасл. Строптивный Билл не терпел упрямства, из-за которого мог остаться внакладе, и без всяких церемоний вышвырнул обоих из своего заведения. Они снова сели на мель.

Еда у Строптивного Билла не отличалась роскошеством, из-за стола его нахлебники вставали почти такими же голодными, как и садились за него, и все-таки Стрикленд и Николс в течение нескольких дней с нежностью вспоминали об этих обедах. «Ложка супа» и ночлежный дом были закрыты для них, и они поддерживали свое существование только тем, на что расщедривался «Ломоть хлеба». Спали они где придется: в товарных вагонах на запасных путях или под повозками у пакгауза, но холод стоял лютый, и, продремав часа два, они начинали бегать по улицам. Больше всего оба страдали без табаку, и капитан отправлялся «на охоту» к пивному заведению — подбирать окурки папирос и сигар, брошенные вечерними посетителями.

— Я бог знает чем набивал свою трубку,— заметил капитан, меланхолически пожимая плечами, и взял из ящичка, который я ему пододвинул, сразу две сигары: одну он сунул в рот, другую — в карман.

Временами им удавалось зашибить немножко денег. Когда приходил почтовый пароход, они работали на его разгрузке, так как капитан Николс ухитрялся завязать знакомство с боцманом. Иногда они хитростью проникали на бак английского парохода, и команда угощала земляков сытным завтраком. При этом они рисковали наткнуться на корабельное начальство и кубарем скатиться по трапу да еще получить пинок вдогонку.

— Ну да пинок в зад — беда небольшая, если брюхо полно, — заметил капитан Николс, — и лично я на это дело не обижался. Начальству положено наблюдать за дисциплиной.

Я живо представил себе, как капитан Николс вверх тормашками летит по узенькому трапу и, будучи истым англичанином, восхищается дисциплиной английского торгового флота.

Чаще всего они промышляли на рыбном рынке, а как-то раз получили по франку за погрузку на товарную платформу неисчислимого количества ящиков с апельсинами, сваленных у причала. Однажды им сильно повезло: знакомый «хозяин» взял подряд на покраску судна, которое прибыло с Мадагаскара, обогнув мыс Доброй Надежды, и они несколько дней кряду провисели в люльке, нанося слой краски на его заржавленные борта. Положение это, безусловно, должно было вызвать сардонические реплики Стрикленда. Я спросил Николса, как вел себя Стрикленд во время всех этих испытаний.

— Ни разу не слышал, чтобы он хоть выругался, — отвечал капитан. — Иногда он, конечно, хмурился, но, если у нас с утра до вечера маковой росинки во рту не бывало и нечем было заплатить китаезе за ночлег, он только посмеивался.

Меня это не удивило. Стрикленд никогда не падал духом от неблагоприятных обстоятельств, но было ли то следствием невозмутимости характера или гордости, судить не берусь.

«Головой китаезы» портовый сброд прозвал грязный притон на улице Бутери; его содержал одноглазый китаец, и там за шесть су можно было получить койку, а за три выспаться на полу. Здесь оба они завели себе друзей среди таких же горемык и, когда у них не было ни гроша, а на дворе стояла стужа, не стесняясь, брали у них займы несколько су из случайно заработанного франка, чтобы оплатить ночлег. Эти бродяги, не задумываясь, делились последним грошом с такими же, как они. В марсельский порт стекались люди со всего света, но различие национальностей не служило помехой доброй дружбе, все они чувствовали себя свободными гражданами единой страны — великой страны Кокейн.

— Но зато рассвирепевший Стрикленд бывал страшен, — задумчиво процедил капитан Николс. — Как-то раз мы зашли в логово Строптивного Билла, и тот спросил у Чарли документы, которыми когда-то ссудил его.

— А ну, возьми, попробуй! — сказал Чарли.

Строптивый Билл был здоровенным детиной, но вид Чарли ему не понравился, и он стал на все лады честить его. А когда Билл ругался, его, право же, небезынтересно было послушать. Чарли терпел-терпел, а затем шагнул вперед и сказал: «Вон отсюда, скотина!» Тут важно не что он сказал, а как сказал! Билл ни слова ему не ответил, пожелтел весь и смотался так быстро, точно спешил на свидание.

В передаче капитана Николса Стрикленд обозвал Билла вовсе не «скотиной», но, поскольку эта книга предназначена для семейного чтения, я, в ущерб точности, решил вложить в уста Стрикленда слова, принятые в семейном кругу.

Но не таков был Строптивый Билл, чтобы стерпеть унижение от простого матроса. Его власть зависела от престижа, и прошел слух, что он поклялся прикончить Стрикленда.

Однажды вечером капитан Николс и Стрикленд сидели в кабачке на улице Бутери. Это узкая улица, застроенная одноэтажными домишками — по одной комнате в каждом, похожими не то на ярмарочные балаганы, не то на клетки в зверинце. У каждой двери там стоят женщины. Одни, лениво прислонившись к косяку, мурлычут какую-то песенку, хриплыми голосами зазывают прохожих, другие молча читают. Есть здесь француженки, итальянки, испанки, японки и темнокожие. Есть худые и толстые. Густой слой белил, подведенные брови, ярко-красные губы не скрывают следов, оставленных временем и развратом. Некоторые из этих женщин одеты в черные «рубашки» и телесного цвета чулки; на других короткие муслиновые платица, как у девочек, а крашенные волосы завиты в мелкие кудряшки. Через открытую дверь виднеется пол, выложенный красным кафелем, широкая деревянная кровать, кувшин и таз на маленьком столике. Пестрая толпа слоняется по улице — индийцы-матросы, белокурые северяне со шведского парусника, японцы с военного корабля, английские моряки, испанцы, щеголеватые молодые люди с французского туристского парохода, негры с американских торговых судов.

Днем улица Бутери грязна и убога, но по ночам, освещенная только лампами в окнах хибарок, она красива какой-то зловещей красотой. Омерзительная похоть, пронизывающая воздух, гнетет и давит, и тем не менее есть что-то таинственное в этой картине, что-то тревожное и захватывающее. Все здесь насыщено первобытной силой; она внушает отвращение и в то же время очаровывает. Могучим

потоком снесены условности цивилизации, и люди на этой улице стоят лицом к лицу с сумрачной действительностью. Атмосфера напряженная и трагическая.

В кабачке, где сидели Стрикленд и Николс, пианола громко отбарабанивала танцы. По стенам за столиками расселись пьяные в дым матросы и несколько человек солдат; посредине, сбившись в кучу, танцевали пары. Бородастые загорелые моряки с большими мозолистыми руками крепко прижимали к себе девиц, на которых не было ничего, кроме «рубашки». Случалось, что два матроса вставали из-за столика и шли танцевать в обнимку. Шум стоял оглушительный. Посетители пели, ругались, хохотали. Когда какой-нибудь мужчина долгим поцелуем впивался в сидящую у него на коленях девицу, английские матросы оглушительно мяукали. Воздух был тяжелый от пыли, поднимаемой сапогами мужчин, и сизый от табачного дыма. Жара стояла отчаянная. Женщина, сидевшая за стойкой, кормила грудью ребенка. Официант, низкорослый парень с прыщавым лицом, носился взад и вперед с подносом, уставленным кружками пива.

Вскоре туда явился Строптивный Билл в сопровождении двух дюжих негров; с первого взгляда можно было определить, что он уже основательно хлебнул. Он тотчас же стал напрашиваться на скандал. Толкнул столик, за которым сидело трое солдат, и опрокинул кружку пива. Началась свара, хозяин вышел и предложил Биллу убираться вон. Малый он был здоровенный, скандалов в своем заведении не терпел, и Билл заколебался. Связываться с кабатчиком не имело смысла, полиция всегда была на его стороне; итак, Билл крепко выругался и пошел к двери. Но тут ему на глаза попался Стрикленд. Ни слова не говоря, он ринулся к его столику и плюнул ему в лицо. Стрикленд швырнул в него пивной кружкой. Танцующие остановились. На мгновение воцарилась полная тишина, но, когда Строптивный Билл бросился на Стрикленда, всех до одного охватила жажда драки, и началась свалка. Столы опрокидывались, осколки летели на пол. Шум поднялся адский. Женщины врассыпную бросились на улицу и за стойку. Прохожие вбегали и вмешивались в потасовку. Теперь уже слышались проклятия на всех языках, удары, вопли; посреди комнаты в яростный клубок сцепились человек десять матросов. Откуда ни возьмись явилась полиция, и все, кто мог, постарались улизнуть. Когда зал был очищен, на полу без сознания остался лежать Строптивный Билл с глубокой раной на голове. Капитан Николс выволок на улицу Стрик-

ленда, рука у него была ранена, лицо и изодранная одежда — в крови; Николсу разбили нос.

— Лучше тебе смотаться из Марселя, покуда Билл не вышел из больницы, — сказал он Стрикленду, когда они уже добрались до «Головы китаезы» и по мере возможности приводили себя в порядок.

— Это, пожалуй, почище петушиного боя, — заметил Стрикленд.

При этих словах мне сразу представилась его сардоническая улыбка.

Капитан Николс был в тревоге. Он хорошо знал мстительность Строптивного Билла. Стрикленд дважды одолел мулата, а когда Билл трезв, с ним лучше не связываться. Он теперь будет действовать исподтишка. Торопиться он не станет, но в одну прекрасную ночь Стрикленд получит удар ножом в спину, а через день-два тело неизвестного бродяги будет выловлено из грязной воды в гавани. На следующий день капитан отправился на разведку к дому Строптивного Билла. Он еще лежал в больнице, но жена, которая ходила его навещать, сказала, что он поклялся убить Стрикленда, как только вернется домой.

Прошла целая неделя.

— Я всегда говорил, — задумчиво продолжал капитан Николс, — что если уж ты дал тумака, то пусть это будет основательный тумак. Тогда у тебя, по крайней мере, хватит времени поразмыслить о том, что делать дальше.

Но Стрикленду вдруг повезло. В бюро по найму матросов поступила заявка — на пароход, идущий в Австралию, срочно требовался кочегар, так как прежний в приступе белой горячки бросился в море возле Гибралтара.

— Беги скорей в гавань и подписывай контракт, — сказал капитан Николс. — Бумаги у тебя, слава богу, есть.

Стрикленд последовал его совету, и больше они не виделись. Пароход простоял в гавани всего шесть часов, и вечером, когда он уже рассекал студеные волны, капитан увидел на востоке исчезающий дымок.

Я старательно изложил все слышанное от капитана потому, что меня привлек контраст между этими событиями и той жизнью, которой при мне жил Стрикленд на Эшлигарденз, занятый биржевыми операциями. Но, с другой стороны, я знаю, что капитан Николс — отъявленный враль и, возможно, в его рассказе нет ни слова правды. Я бы не удивился, узнав, что он никогда в жизни не видел Стрикленда и что все его описания Марселя вычитаны из иллюстрированных журналов.

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

На этом я предполагал закончить свою книгу. Сперва мне хотелось описать последние годы Стрикленда на Таити и его страшную кончину, а затем обратиться вспять и познакомить читателей с тем, что мне было известно о его первых шагах как художника. И не потому, что так мне заблагорассудилось, а потому, что я сознательно хотел расстаться со Стриклендом в пору, когда он с душою, полной смутных грез, покидал Европу для неведомого острова, давно уже дразнившего его воображение. Мне нравилось, что этот человек в сорок семь лет, то есть в возрасте, когда другие живут налаженной, размеренной жизнью, пустился на поиски нового света. Я уже видел серое море, вспененное мистралем, и пароход; с борта его Стрикленд смотрит, как скрываются вдали берега Франции, на которые ему не суждено вернуться; и я думал, что много все-таки бесстрашия было в его сердце. Я хотел, чтобы конец моей книги был оптимистическим. Как это подчеркнуло бы негибемую силу человеческой души! Но ничего у меня не вышло. Не знаю почему, повесть моя не желала строиться, и после нескольких неудачных попыток я отказался от этого замысла, начал, как положено, книгу с начала и решил рассказать читателю только то, что я знал о жизни Стрикленда, последовательно излагая факты.

Но в моем распоряжении были лишь самые отрывочные сведения. Я оказался в положении биолога, которому по одной кости предстоит восстановить не только внешний вид доисторического животного, но и его жизненный уклад. Стрикленд не произвел сильного впечатления на людей, которые соприкасались с ним на Таити. Для них он был просто бродяга без гроша за душой, отличавшийся от других бродяг разве тем, что малевал какие-то чудные картины. И лишь через несколько лет после его смерти, когда на остров из Парижа и Берлина съехались агенты крупных торговцев картинами в надежде, что там еще можно будет разыскать кое-что из творений Стрикленда, они стали догадываться, что среди них жил человек весьма недюжинный. Тут их осенило, что они за медный грош могли купить полотна, которые стоили теперь огромных денег, и они очень сокрушались об упущенных возможностях. Среди жителей Папее, знавших Стрикленда, был один французский еврей по имени Коэн, у которого случайно оказалась картина Стрикленда. Маленький старичок с добродушными глазками и приветливой улыбкой, наполовину

торговец, наполовину моряк, он курсировал на собственной шхуне между Паумоту и Маркизскими островами, привозя туда всевозможные товары и взамен забирая копру, перламутр и жемчуг. Мне сказали, что он собирается недорого продать большую черную жемчужину, и я пошел к нему; когда же выяснилось, что жемчужина мне все равно не по карману, я заговорил с ним о Стрикленде. Старик хорошо знал его.

— Я, видите ли, интересовался им, потому что он был художник. У нас на островах художник — редкость, и я очень жалел его за то, что он так слаб в своем ремесле. Я первый дал ему работу. У меня есть плантация на полуострове, и туда требовался надсмотрщик. От туземцев ведь работы не добьешься, если над ними нет белого надсмотрщика. Я ему сказал: «У вас останется куча времени, чтобы писать картины, и денег немножко подработаете». Я знал, что он голодает, и предложил ему хорошее жалованье.

— Не думаю, чтобы он был хорошим надсмотрщиком, — улыбнулся я.

— Я смотрел на это сквозь пальцы, потому что всегда любил художников. Это ведь у нас в крови. Но он прослужил у меня всего два или три месяца и ушел, как только заработал денег на холст и краски. Он восхищался здешней природой, и его опять потянуло бродяжничать. Но я иногда продолжал с ним встречаться. Он изредка навевывался в Папэте и по нескольку дней жил там, а потом, если ему удавалось достать у кого-нибудь денег, опять исчезал. В один из таких наездов он пришел ко мне и попросил займы двести франков. Вид у него был такой, словно он не ел целую неделю, и у меня не хватило духу ему отказать. На этих деньгах я, конечно, поставил крест. И вдруг через год он является и приносит мне картину. Он словом не обмолвился о долге, а только сказал: «Вот вам вид вашей плантации, я его написал для вас». Я взглянул на нее и не знал, что сказать, но, конечно, поблагодарил, а когда он ушел, я показал ее жене.

— Что же это была за картина? — спросил я.

— Лучше не спрашивайте. Я в ней ровно ничего не понял, так как отродясь подобного не видывал. «Что нам с ней делать?» — сказал я жене. «О том, чтобы повесить ее, нечего и думать, — отвечала она, — люди будут смеяться над нами». Она снесла картину на чердак, где у нас лежала пропасть всякого хлама, потому что моя жена не в состоянии выбросить ни одной вещи. Это ее мания. Можете себе представить мое изумление, когда перед самой войной брат

написал мне из Парижа: «Не знаешь ли ты чего-нибудь об английском художнике, который жил на Таити? Оказалось, что он гений и его картины идут по очень высокой цене. Постарайся разыскать что-нибудь из его вещей и пришли мне. Можно хорошо заработать». Я спрашиваю жену, как насчет картины, которую мне подарил Стрикленд? Может, она все еще на чердаке? «Конечно, на чердаке,— говорит жена,— ты же знаешь, что я никогда ничего не выбрасываю, это моя мания». Мы с ней полезли на чердак и среди бог знает какого хлама, накопившегося за тридцать лет нашей жизни в этом доме, разыскали картину. Я опять смотрю на нее и говорю: «Ну кто бы мог подумать, что надсмотрщик с моей плантации, которому я дал взаймы двести франков, окажется гением? Скажи на милость, что хорошего в этой картине?» — «Не знаю,— отвечала она,— на нашу плантацию это несколько не похоже, и кокосовых пальм с синими листьями я никогда не видала. Но они там все с ума посходили в Париже и, может, твоему брату удастся продать ее за двести франков, которые тебе задолжал Стрикленд». Сказано — сделано. Мы запаковали и отправили картину. В скором времени пришло письмо от брата. И что же, вы думаете, он написал? «Получив твою картину, я сначала решил, что тебе вздумалось надо мной подшутить. Я бы лично не дал за нее и того, что стоила пересылка. Я даже боялся показать ее тому человеку, который надумил меня послать тебе запрос. Можешь себе представить, как я был удивлен, когда он объявил, что это замечательное произведение искусства, и предложил мне тридцать тысяч франков. Он, может быть, дал бы и больше, но я, откровенно говоря, совсем обалдел и согласился, не успев даже собраться с мыслями».

И затем мосье Коэн сказал нечто совершенно очаровательное:

— Как жаль, что бедняга Стрикленд не дожил до этого дня. Воображаю его удивление, когда я бы вручил ему за его картину двадцать девять тысяч восемьсот франков.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Я жил в «Отель де ля флёр», и хозяйка его, миссис Джонсон, поведала мне печальную историю о том, как она прозвала счастливый случай. После смерти Стрикленда часть его имущества продавалась с торгов на рынке в Папэте. Миссис Джонсон отправилась на торги, потому что

среди его вещей была американская печка, которую ей хотелось приобрести. В конце концов она и купила ее за двадцать семь франков.

— Там было еще штук десять картин, да только без рам,— рассказывала она,— и никто на них не лъстился. Некоторые пошли за десять франков, а большинство за пять или за шесть. Подумать только, если бы я их купила, я бы теперь была богатой женщиной.

Нет, Тиаре Джонсон ни при каких обстоятельствах не стала бы богатой женщиной. Деньги текли у нее из рук. Она была дочерью туземки и английского капитана, обосновавшегося на Таити. Когда я с ней познакомился, ей было лет пятьдесят, но выглядела она старше— прежде всего из-за своих громадных размеров. Высокая и страшно толстая, она казалась бы величественной, если б ее лицо способно было выразить что-нибудь, кроме добродушия. Руки ее напоминали окорока, грудь—гигантские кочны капусты; лицо миссис Джонсон, широкое и мясистое, почему-то казалось неприлично голым, а громадные подбородки переходили один в другой—сколько их было, сказать не берусь: они утопали в ее бюсте. Она с утра до вечера ходила в розовом капоте и широкополой соломенной шляпе. Но когда она распускала свои темные, длинные и вьющиеся волосы, а делала она это нередко, потому что они составляли предмет ее гордости, то ими нельзя было не залюбоваться, и глаза у нее все еще оставались молодыми и задорными. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь смеялся заразительнее, чем она. Смех ее, начавшись с низких раскатов где-то в горле, становился все громче и громче, причем сотрясалось все ее огромное тело. Превыше всего на свете она ставила веселую шутку, стакан вина и красивого мужчину. Знакомство с нею было истинным удовольствием.

Лучшая повариха на острове, Тиаре обожала вкусно покушать. С утра до поздней ночи восседала она в кухне на низеньком стуле, вокруг нее суетились повар-китаец и три девушки-туземки, а она отдавала приказания, весело болтала со всеми и пробовала пикантные кушанья собственного изобретения. Если ей хотелось почтить кого-нибудь из друзей, она собственноручно стряпала обед. Гостеприимство ее не знало границ, и не было человека на острове, который ушел бы без обеда из «Отель де ля флёр», пока в ее кладовой были хоть какие-нибудь припасы. Тиаре никогда не выгоняла постояльцев, не плативших по счетам, надеясь, что со временем дела их поправятся и они отдадут свой долг. Один из них попал в беду, и она в течение многих

месяцев ничего с него не спрашивала за стол и квартиру, а когда в китайской прачечной отказались бесплатно стирать ему, она стала отдавать в стирку его белье вместе со своим. «Нельзя же, чтоб бедный малый разгуливал в грязных рубашках»,—говорила Тиаре, а поскольку он был мужчина—мужчины же должны курить,—то она ежедневно выдавала ему по франку на папиросы. При этом она была с ним ничуть не менее обходительна, чем с другими постояльцами.

Годы и тучность сделали ее неспособной к любви, но она с живейшим интересом вникала в любовные дела молодежи. Любовь, по ее убеждению, была естественнейшим занятием для мужчин и женщин, и в этой области она всегда охотно давала советы и указания на основе своего обширного опыта.

— Мне еще пятнадцать не было, когда отец узнал, что у меня есть возлюбленный, третий помощник капитана с «Тропической птицы». Настоящий красавчик.

Она вздохнула. Говорят, женщины всегда с нежностью вспоминают своего первого возлюбленного,—но всегда ли им удастся вспомнить, кто был первым?

— Мой отец был умный человек.

— И что же он сделал?—полюбопытствовал я.

— Сначала избил меня до полусмерти, а потом выдал за капитана Джонсона. Я не противилась. Конечно, он был старше меня, но тоже красавец собою.

Тиаре—отец назвал ее по имени душистого белого цветка (таитяне говорят, что если человек хоть раз услышит его аромат, то непременно вернется на Таити, как бы далеко он ни уехал),—Тиаре хорошо помнила Стрикленда.

— Иногда он заглядывал к нам, а кроме того, я часто видела его на улицах Папэте. Я так его жалела—тощий, всегда без денег. Бывало, стоит мне услышать, что он в городе, и я сейчас же посылала боя звать его обедать. Раз-другой я даже раздобыла для него работу, но он как-то ни к чему не мог прилепиться. Пройдет немного времени, его опять уже тянет в лес—и он исчезает.

Стрикленд добрался до Таити через полгода после того, как покинул Марсель. Проезд свой он заработал матросской службой на судне, совершавшем рейсы между Оклендом и Сан-Франциско, и высадился на берег с этюдником, мольбертом и дюжиной холстов. В кармане у него было несколько фунтов стерлингов, заработанных в Сиднее. Высадившись на Таити, он, видимо, сразу почувствовал себя дома. Стрикленд поселился у туземцев в маленьком домишке за городом.

По словам Тиаре, он как-то сказал ей:

— Я мыл палубу, и вдруг один матрос говорит мне: «Вот и пришли!» Я поднял глаза, увидел очертания острова и мигом понял — это то самое место, которое я искал всю жизнь. Когда мы подошли ближе, мне показалось, что я узнаю его. Мне и теперь случается видеть уголки, как будто давно знакомые. Я готов голову дать на отсечение, что когда-то уже жил здесь.

— Это случается, — заметила Тиаре, — я знавала людей, которые сходили на берег на несколько часов, покуда пароход грузится, и никогда не возвращались домой. А другие приезжали сюда служить на один год и всячески поносили Таити, потом они уезжали и клялись, что лучше повесятся, чем снова приедут сюда. А через несколько месяцев мы снова встречали их на пристани, и они говорили, что уже нигде больше не находят себе места.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Мне думается, что есть люди, которые родились не там, где им следовало родиться. Случайность забросила их в тот или иной край, но они всю жизнь мучаются тоской по неведомой отчизне. Они чужие в родных местах, и тенистые аллеи, знакомые им с детства, равно как и людные улицы, на которых они играли, остаются для них лишь станцией на пути. Чужаками живут они среди родичей; чужаками остаются в родных краях. Может быть, эта отчужденность и толкает их вдаль, на поиски чего-то постоянного, чего-то, что сможет привязать их к себе. Может быть, какой-то глубоко скрытый атавизм гонит этих вечных странников в края, оставленные их предками давно-давно, в доисторические времена. Случается, что человек вдруг ступает на ту землю, к которой он привязан таинственными узами. Вот наконец дом, который он искал, его тянет осесть среди природы, ранее им не виданной, среди людей, ранее не знаемых, с такою силой, точно это и есть его отчизна. Здесь, и только здесь, он находит покой.

Я рассказал Тиаре историю одного человека, с которым я познакомился в лондонской больнице св. Фомы. Это был еврей по имени Абрагам, белокурый, плотный молодой человек, нрава робкого и скромного, но на редкость одаренный. Медицинская школа дала ему стипендию, и все пять лет учения он был лучшим студентом. Затем Абрагам был оставлен при больнице как хирург и терапевт.

Блистательные его таланты признавались всеми. Вскоре он получил постоянную должность, будущее его было обеспечено. Если вообще можно что-нибудь с уверенностью предрекать человеку, то уж Абрагаму, конечно, можно было предречь самую блестящую карьеру. Его ждали почет и богатство. Прежде чем приступить к своим новым обязанностям, он решил взять отпуск, а так как денег у него не было, то он поступил врачом на пароход, отправлявшийся в страны Леванта; там не очень-то нуждались в судовом враче, но один из ведущих хирургов больницы был знаком с директором пароходной линии — словом, все отлично устроилось.

Через месяц или полтора Абрагам прислал в дирекцию письмо, в котором сообщал, что никогда не вернется в больницу. Это вызвало величайшее удивление и множество самых странных слухов. Когда человек совершает какой-нибудь неожиданный поступок, таковой обычно приписывают недостойным мотивам. Но очень скоро нашелся врач, готовый занять место Абрагама, и об Абрагаме забыли. О нем не было ни слуху ни духу.

Лет примерно через десять, когда экскурсионный пароход, на котором я находился, вошел в гавань Александрии, мне вместе с другими пассажирами пришлось подвергнуться врачебному осмотру. Врач был толстый мужчина в потрепанном костюме; когда он снял шляпу, я заметил, что у него совершенно голый череп. Мне показалось, что я с ним где-то встречался. И вдруг меня осенило.

— Абрагам, — сказал я.

Он в недоумении оглянулся, узнал меня, горячо потряс мне руку. После взаимных возгласов удивления, узнав, что я собираюсь заночевать в Александрии, он пригласил меня обедать в Английский клуб. Вечером, когда мы встретились за столиком, я спросил, как он сюда попал. Должность он занимал весьма скромную и явно находился в стесненных обстоятельствах. Абрагам рассказал мне свою историю. Уходя в плавание по Средиземному морю, он был уверен, что вернется в Лондон и приступит к работе в больнице св. Фомы. Но в одно прекрасное утро его пароход подошел к Александрии, и Абрагам с палубы увидел город, сияющий белизной, и толпу на пристани; увидел туземцев в лохмотьях, суданских негров, шумливых, жестикулирующих итальянцев и греков, важных турок в фесках, яркое солнце и синее небо. Тут что-то случилось с ним, что именно, он не мог объяснить. «Это было как удар грома, — сказал он и, не удовлетворенный таким определением, добавил: — Как от-

кровение». Сердце его сжалось, затем возликовало — и сладостное чувство освобождения пронзило Абрагама. Ему казалось, что здесь его родина, и он тотчас же решил до конца дней своих остаться в Александрии. На судне ему особых препятствий не чинили, и через двадцать четыре часа он со всеми своими пожитками сошел на берег.

— Капитан, верно, принял вас за сумасшедшего, — смеясь, сказал я.

— Мне было все равно, что обо мне думают. Это действал не я, а какая-то необоримая сила во мне. Я решил отправиться в скромный греческий отель и вдруг понял, что знаю, где он находится. И правда, я прямо вышел к нему и тотчас же его узнал.

— Вы бывали раньше в Александрии?

— Я до этого никогда не выезжал из Англии.

Он скоро поступил на государственную службу в Александрии, да так и остался на этой должности.

— Жалели вы когда-нибудь о своем поступке?

— Никогда, ни на одну минуту. Я зарабатываю достаточно, чтобы существовать, и я доволен. Я ничего больше не прошу у судьбы до самой смерти. И, умирая, скажу, что прекрасно прожил жизнь.

Я уехал из Александрии на следующий день и больше не думал об Абрагаме; но не так давно мне довелось обедать с другим старым приятелем, тоже врачом, неким Алеком Кармайклом, очень и очень преуспевшим в Англии. Я столкнулся с ним на улице и поспешил поздравить его с рыцарским званием, которое было ему пожаловано за выдающиеся заслуги во время войны. В память прошлых дней мы стоворились пообедать и провести вечер вместе, причем он предложил никого больше не звать, чтобы всласть наговориться. У него был великолепный дом на улице Королевы Анны, обставленный с большим вкусом. На стенах столовой я увидел прелестного Беллотто и две картины Зоффани, возбудившие во мне легкую зависть. Когда его жена, высокая красивая женщина в платье из золотой парчи, оставила нас вдвоем, я, смеясь, указал ему на перемены, происшедшие в его жизни с тех пор, как мы были студентами-медиками. В те времена мы считали непозволительной роскошью обед в захудалом итальянском ресторанчике на Вестминстер-Бридж-роуд. Теперь Алек Кармайкл состоял в штате нескольких больниц и, надо думать, зарабатывал в год не менее десяти тысяч фунтов, а рыцарское звание было только первой из тех почетных наград, которые, несомненно, его ожидали.

— Да, мне жаловаться грех,— сказал он,— но самое странное, что всем этим я обязан счастливой случайности.

— Что ты имеешь в виду?

— Помнишь Абрагама? Вот перед кем открывалось блестящее будущее. В студенческие годы он во всем меня опережал. Ему доставались все награды и стипендии, на которые я метил. При нем я всегда играл вторую скрипку. Не уйди он из больницы, и он, а не я, занимал бы теперь это видное положение. Абрагам был гениальным хирургом. Никто не мог состязаться с ним. Когда его взяли в штат святого Фомы, у меня не было никаких шансов остаться при больнице. Я бы сделался просто практикующим врачом без всякой надежды выбиться на дорогу. Но Абрагам ушел, и его место досталось мне. Это была первая удача.

— Да, ты, пожалуй, прав.

— Счастливый случай. Абрагам — чудак. Он совсем опустил, бедняга. Служит чем-то вроде санитарного врача в Александрии и зарабатывает гроши. Я слышал, что он живет с уродливой старой гречанкой, которая наплодила ему с полдюжины золотушных ребятишек. Да, одного ума и способностей еще недостаточно. Характер — вот самое важное. Абрагам был бесхарактерный человек.

Характер? А я-то думал, надо иметь очень сильный характер, чтобы после получасового размышления поставить крест на блестящей карьере только потому, что тебе открылся иной жизненный путь, более осмысленный и значительный. И какой же нужен характер, чтобы никогда не пожалеть об этом внезапном шаге! Но я не стал спорить, а мой приятель задумчиво продолжал:

— Конечно, с моей стороны было бы лицемерием делать вид, будто я жалею, что Абрагам так поступил. Я-то ведь на этом немало выиграл. — Он с удовольствием затянулся дорогой сигарой. — Но не будь у меня тут личной заинтересованности, я бы пожалел, что даром пропал такой талант. Черт знает что, и надо же так исковеркать себе жизнь!

Я усомнился в том, что Абрагам исковеркал себе жизнь. Разве делать то, к чему у тебя лежит душа, жить так, как ты хочешь жить, и не знать внутреннего разлада — значит исковеркать себе жизнь? И такое ли уж это счастье быть видным хирургом, зарабатывать десять тысяч фунтов в год и иметь красавицу жену? Мне думается, все определяется тем, чего ты ищешь в жизни, и еще тем, что ты спрашиваешь с себя и с других. Но я опять придержал язык, ибо кто я, чтобы спорить с рыцарем?

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Когда я рассказал эту историю Тиаре, она похвалила меня за сдержанность, и последующие несколько минут мы работали молча — лущили горох. Но затем ее взгляд, всегда бдительный в кухонных делах, отметил какое-то упущение повара-китайца, вызвавшее в ней бурю негодования. Она излила на него целый поток брани. Китаец не остался в долгу, и разгорелась отчаянная перепалка. Они кричали на туземном языке — я знал на нем не больше десятка слов, — и так, что казалось, вот-вот начнется светопреставление; но мир внезапно был восстановлен, и Тиаре протянула повару сигарету. Они оба спокойно закурили.

— А вы знаете, что это я нашла ему жену? — вдруг сказала Тиаре, и все ее необъятное лицо расплылось в улыбке.

— Повару?

— Нет, Стрикленду.

— Но он был женат.

— Он мне так и сказал, но я отвечала, что та жена в Англии, а Англия на другом конце света.

— Это верно, — согласился я.

— Он появлялся в Папеэте каждые два или три месяца — словом, когда ему нужны были краски, табак и деньги, и бродил по улицам, точно бездомный пес. Я очень его жалела. У меня здесь была горничная девушка, ее звали Ата, моя дальняя родственница; родители у нее умерли, и я взяла ее жить к себе. Стрикленд иногда к нам заходил, хорошенько пообедать или сыграть с боем в шахматы. Я заметила, что она на него поглядывает, и спросила, нравится ли он ей. Она сказала, что очень даже нравится. Вы же знаете этих девчонок, они всегда готовы пойти за белым человеком.

— Разве она была туземка? — спросил я.

— Да, чистокровная туземка. Так вот, после разговора с ней я послала за Стриклендом и сказала ему: «Пора тебе остепениться, Стрикленд. В твоём возрасте уже не пристало возиться с девчонками на набережной. Это дрянные девчонки, и ничего хорошего от них ждать не приходится. Денег у тебя нет, и ни на одной службе ты больше двух месяцев не продержался. Теперь тебя уже никто не возьмет на работу. Ты говоришь, что можешь просуществовать, живя в лесу то с одной, то с другой из местных женщин, благо они так охочи до белых мужчин, но это-то как раз белому мужчине и не подобает. А теперь слушай меня внимательно, Стрикленд...»

Тиаре мешала французские слова с английскими, ибо одинаково бегло говорила на обоих языках, хотя и с певучим

акцентом, не лишенным приятности. Слушая Тиаре, я думал, что так, наверно, говорила бы птица, умей она говорить по-английски.

— «Как ты насчет того, чтобы жениться на Ате? Она хорошая девочка, и ей всего семнадцать лет. Она привередница, не чета другим нашим девчонкам; капитан или первый помощник, ну это еще куда ни шло, но ни один туземец к ней не прикасался. Elle se respecte, vois-tu¹. Эконом с «Оаху», когда был здесь в последний раз, сказал, что не видел на островах девушки красивее Аты. Ей пора обзавестись семьей, а кроме того, капитан и первые помощники тоже ведь любят разнообразие. Я у себя долго девушек не держу. У Аты есть клочок земли возле Таравао, у самого въезда на мыс, и при нынешних ценах на копру вы вполне проживете. Там есть дом, и ты будешь писать картины сколько твоей душе угодно. Ну как?»

Тиаре перевела дыхание.

— Вот тогда он мне и сказал про свою жену в Англии. «Бедный мой Стрикленд,— отвечала я,— у каждого мужчины где-нибудь есть жена, поэтому они и бегут к нам на острова. Ата — разумная девушка, и ей не нужны церемонии у мэра. Она протестантка, а протестанты, как тебе известно, смотрят на это иначе, чем католики». Тут он сказал: «А что думает сама Ата?» — «Ата, по-моему, к тебе равнодушна,— заметила я.— За ней дело не станет. Позвать ее?» Он фыркнул как-то отрывисто и сердито, у него была такая манера, и я позвала Ату. Она знала, о чем я говорю с ним, плутовка; я краешком глаза видела, что она подслушивает, хотя она и делала вид, что гладит мою блузку. Ата подошла; она смеялась и немножко робела. Стрикленд, ни слова не говоря, смотрел на нее.

— Она была хорошенькая? — спросил я.

— Недурна. Да вы, наверно, видели ее на картинах. Стрикленд без конца ее писал, иногда в парео, а иногда и совсем голую. Да, она была очень недурна. И стряпать умела хорошо. Я сама ее выучила. Я вижу, что Стрикленд задумался, и говорю: «Ата получала у меня хорошее жалованье и принакопила денег, да еще капитаны и первые помощники иной раз давали ей, у нее теперь не одна сотня франков». Он потеревил свою рыжую бороду и улыбнулся. «Ну как, Ата,— сказал он,— гожусь я тебе в мужья?» Она ничего не отвечала, только хихикнула. «Я же говорю, милый мой Стрикленд, что девочка к тебе равнодушна»,—

¹ Она себя уважает, понимаешь (*фр.*).

настаивала я. «Я буду бить тебя»,— сказал Стрикленд, глядя на Ату. «А как иначе я узнаю, что ты меня любишь?» — ответила она.

Тиаре прервала свой рассказ, задумалась и потом сказала:

— Мой первый муж, капитан Джонсон, постоянно колотил меня. Он был настоящий мужчина. Красавец собой, высокий — шесть футов три дюйма, и пьяный никакого удержу не знал. В такие дни я ходила вся в синяках и кровоподтеках. Ох, как я плакала, когда он умер. Думала, что не переживу его. Но по-настоящему я узнала цену своей потери, только выйдя замуж за Джорджа Рейни. Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. В жизни у меня не было большего разочарования. Рейни тоже был видный мужчина. Ростом чуть пониже капитана Джонсона и с виду крепкий. Но только с виду. Спиртного он в рот не брал. Ни разу меня не ударил. Ему бы быть миссионером. Я крутила романы с офицерами всех судов, которые заходили в нашу гавань, а Джордж Рейни ничего не замечал. Под конец мне стало невтерпеж, и я развелась с ним. Зачем нужен такой муж? Ужас, как некоторые мужчины обращаются с женщинами.

Я повздыхал вместе с Тиаре, прочувствованно заметил, что мужчины покоен веков были обманщиками, и попросил продолжать рассказ о Стрикленде.

— «Ладно,— сказала я ему,— спешить некуда. Обдумай все хорошенько. У Аты чудная комнатка во флигеле. Поживи с ней хотя бы месяц и проверь, понравится ли она тебе. Столоваться можешь у меня. А через месяц, если решишь жениться на ней, прямо переезжайте в ее дом и устраивайтесь». Он согласился. Ата продолжала работать по дому, а он ел у меня, как я и обещала. Кроме того, я научила Ату готовить несколько блюд, которые он любил. Писал он в то время мало, больше бродил по горам и купался. Часто сидел на берегу, не сводя глаз с лагуны, а под вечер ходил смотреть на остров Муреа или ловил рыбу. Любил он еще шататься в гавани и болтать с туземцами. Да, Стрикленд был славный, тихий малый. Каждый вечер после обеда они с Атой уходили во флигель. Я видела, что его уже тянет в лес, и в конце месяца спросила, на что он решился. Он отвечал, что, если Ата согласна, он готов уйти с ней. Я устроила им свадебный обед, своими руками приготовила гороховый суп, омара *à la portugaise*¹, карри и салат из кокосовых орехов — кстати, вы, кажется, еще не пробовали

¹ По-португальски (*фр.*).

у меня этого салата? Обязательно надо угостить вас, пока вы здесь. И на сладкое я подала им мороженое. А сколько мы выпили шампанского и потом еще ликеров! Я уж решила устроить пир на славу. После обеда мы танцевали в гостиной. Я еще так не разжирела тогда и до смерти любила танцевать.

Роль гостиной в «Отель де ля флёр» выполняла небольшая комната со старым пианино и аккуратно расставленной вдоль стен мебелью красного дерева, обитой тисненым бархатом. На круглых столиках лежали альбомы фотографий, а стены были украшены увеличенными фотографическими портретами Тиаре и ее первого мужа, капитана Джонсона. И хотя Тиаре была уже стара и толста, мы как-то раз скатали брюссельский ковер, позвали девушек, кое-кого из друзей Тиаре и устроили танцы, правда под визгливые звуки граммофона. На веранде воздух был пропитан приятным ароматом тиаре, и над нашими головами в безоблачном небе сиял Южный Крест.

Тиаре снисходительно улыбнулась, вспоминая былое веселье.

— Мы танцевали до трех часов,— продолжала она свой рассказ,— и спать пошли еще очень навеселе. Я сказала молодым, чтоб они, пока есть дорога, ехали на моей двуколке, дальше им надо было большой путь пройти пешком. Участок Аты находился далеко в горах, в ущелье. Они выехали на рассвете, и бой, которого я послала с ними, вернулся только на следующий день. Да, так вот женился Стрикленд.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Следующие три года были, наверно, самыми счастливыми в жизни Стрикленда. Домик Аты стоял в восьми километрах от большой дороги, опоясывавшей остров, и добираться к нему надо было по извилистой тропинке, осененной кронами пышных тропических деревьев. В этом бунгало из некрашеного дерева было всего две комнатки, рядом под навесом была устроена кухня. Все убранство дома состояло из нескольких циновок, служивших постелями, да качалки на веранде. Бананы с огромными растрепанными листьями, что похожи на изодранную одежду императрицы в изгнании, толпились вокруг. Была там еще и аллигаторова груша, и множество кокосовых пальм; кокосовые орехи — главный доход этих краев. Отец Аты насадил вокруг своего участка кротоновые кусты, и они росли теперь в буйном изобилии, словно ограда из веселых праздничных огней. Перед домом высилось манговое

дерево, а по краям рощи багряные цветы двух сросшихся тамариндов спорили с золотом кокосовых орехов.

Здесь жил Стрикленд, кормясь тем, что давала земля, и лишь изредка наведываясь в Папэте. Возле дома его и Аты протекала речка, в которой он купался. Случалось, что в нее заходили косяки морской рыбы. Тогда туземцы сбегались на берег, вооруженные острогами, и с шумом и криком вонзали их в огромных испуганных рыб, беспорядочно стремившихся назад, в море. Иногда Стрикленд ходил на мыс; он возвращался оттуда с омаром или с полной корзиной пестроперых рыбок, которых Ата жарила в кокосовом масле. Она стряпала еще и лакомое кушанье из крупных земляных крабов, то и дело попадающих под ноги в тех краях. В горах росли дикие апельсины, и Ата время от времени отправлялась туда с несколькими женщинами из соседней деревушки и приходила домой, сгибаясь под тяжестью зеленых, сладких, пахучих плодов. Когда поспевали кокосовые орехи, родичи Аты (у нее, как и у всех туземцев, была пропасть родни) взбирались на деревья и сбрасывали вниз огромные зрелые плоды. Они вскрывали их и раскладывали на солнце сушиться. Затем вырезали копру и набивали ею мешки, женщины вваливали их на себя и несли к скупщику, в деревню у лагуны; в обмен они получали рис, мыло, мясные консервы и немножко денег. В деревне по случаю праздника изредка закалывали свинью, тогда гости и хозяева наедались до тошноты, плясали и распевали религиозные песнопения.

Но дом Аты стоял на отшибе, а таитяне ленивы. Они любят кататься, любят судачить, но ходить пешком — это не для них; Стрикленд и Ата месяцами жили в полном одиночестве. Он писал картины, читал, а когда становилось темно, они сидели на веранде, курили и вглядывались в ночь. Потом у Аты родился ребенок, и бабушка, принимавшая его, осталась жить у них. Вскоре к бабушке явилась ее внучка, а вслед за ней какой-то юнец — никто толком не знал, чей он и откуда, — но он тоже, не чинясь, поселился в доме. И все они зажили вместе.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

— Tenez, voilà le Capitaine Brunot¹, — сказала однажды Тиаре, когда я пытался придать слитность тому, что она рассказала мне о Стрикленде. — Он хорошо знал Стрикленда и бывал у него в доме.

¹ А вот и капитан Брюно (*фр.*).

Передо мной стоял француз, уже в летах, с окладистой черной бородой, в которой виднелась просесть, с загорелым лицом и большими блестящими глазами. Одет он был в белоснежный полотняный костюм. Я обратил на него внимание еще за завтраком, и А Лин, китаец-бой, сказал мне, что он прибыл сегодня на пароходе с Паумоту. Тиаре познакомила нас, и он вручил мне визитную карточку, на которой стояло: «Рене Брюно» — и пониже: «Капитан дальнего плавания». Мы сидели на маленькой веранде возле кухни, и Тиаре занималась кройкой платья для одной из горничных девушек. Капитан подсел к нам.

— Да, я был хорошо знаком со Стриклендом, — сказал он, — я большой любитель шахмат, а Стрикленд всегда охотно играл. Я приезжал на Таити по делам раза три-четыре в год, и, если мне удавалось застать его в Папее, мы приходили играть в «Отель де ля флёр». Когда он женился, — капитан Брюно с улыбкой пожал плечами, — *en fin*¹, когда он стал жить с девушкой, которую ему подсунула Тиаре, он позвал меня к себе. — Капитан взглянул на Тиаре, и они оба рассмеялись. — Приблизительно через год, зачем и почему, уж не помню, я очутился в той части острова. Покончив с делами, я сказал себе: «*Voilà*, почему бы мне не навестить беднягу Стрикленда?» Я стал расспрашивать туземцев, не знают ли они чего о нем, и выяснил, что он живет в каких-нибудь пяти километрах от того места, где я был. Ну, я и отправился к нему. Никогда мне не забыть этого посещения. Я живу на атолле — это низкая полоска земли, которая окружает лагуну, и красота там значит — море и небо, изменчивые краски лагуны и стройность кокосовых пальм. Но место, где жил Стрикленд, — поистине то были райские кущи. Ах, если бы я мог описать всю прелесть этого уголка, спрятанного от мира, синее небо и пышно разросшиеся деревья! Это было какое-то пиршество красок. Воздух благоухающий и прохладный. Нет, словами нельзя описать этот рай. И там он жил, не думая о мире и миром забытый. На европейский глаз все это, наверно, выглядело убого. Дом полуразрушенный и не слишком чистый. Когда я пришел, на веранде валялось несколько туземцев. Вы же знаете, они народ общительный. Один малый лежал, вытянувшись во весь рост, и курил, на нем не было ничего, кроме парео. (Парео — это длинный лоскут красного или синего ситца с белым узором. Туземцы обвязывают его вокруг бедер так, что впереди он спускается до колен.) Девушка

¹ В общем, словом (*фр.*).

лет пятнадцати плела шляпу из листьев пандануса, — продолжал капитан Брюно, — какая-то старуха, сидя на корточках, курила трубку. Затем я увидел Ату. Она кормила грудью новорожденного, другой ребенок, совершенно голый, играл у ее ног. Увидев меня, она крикнула Стрикленда, и он появился в дверях. На нем тоже не было ничего, кроме парео. Право же, мне не забыть эту фигуру: всклокоченные волосы, рыжая борода, широкая волосатая грудь. Ноги у него были сбитые, все в мозолях и царапинах: я понял, что он всегда ходит босиком. Он стал настоящим туземцем. Мне он, по-видимому, обрадовался и тотчас же велел Ате зарезать к обеду цыпленка. Затем он потащил меня в дом показывать картину, над которой сейчас работал. В углу комнаты была навалена куча циновок, посередине стоял мольберт и на нем холст. Мне было жалко Стрикленда, и я купил у него по дешевке несколько картин для себя и для своих друзей во Франции. И хотя покупал я эти картины просто из сострадания, но постепенно полюбил их. Честное слово, мне в них виделась какая-то странная красота. Все считали меня сумасшедшим, а вот вышло-то, что я был прав. Я был первым его поклонником на островах.

Он бросил злорадный взгляд на Тиаре, которая снова, охая и ахая, принялась рассказывать о том, как на распродаже Стриклендова имущества она не обратила внимания на картины, а купила американскую печку за двадцать семь франков.

— И эти картины еще у вас? — любопытствовал я.

— Да, я держу их, покуда моя дочь не станет невестой. Тогда я их продам, а деньги пойдут ей в приданое.

Затем он продолжил рассказ о своем посещении Стрикленда.

— Никогда я не забуду этого вечера. Я думал пробыть у него не больше часа, но он настойчиво просил меня остаться ночевать. Я колебался, мне, признаться, не очень-то нравился вид циновок, на которых мне предлагалось спать, но в конце концов согласился. Когда я строил себе дом на Паумоту, я месяцами спал на худшей постели, и над головой у меня были только ветки тропического кустарника; что же касается насекомых, то кожа у меня толстая и укусов не боится. Мы пошли на реку купаться, покуда Ата стряпала обед, а пообедав, сидели на веранде. Курили и болтали. Туземный юнец играл на концертино песенки, певшиеся в мюзик-холлах лет десять назад. Странно они звучали среди тропической ночи, за тысячи миль от цивилизованного мира. Я спросил Стрикленда, не тяготит ли его жизнь

в глуши, среди всего этого народа. Нет, сказал он: ему удобно иметь модели под рукой. Вскоре туземцы, громко зевая, ушли спать, а мы с ним остались одни. Не знаю, как описать непроницаемую тишину этой ночи. На моем острове никогда не бывает такой полной тишины. У моря там стоит шорох мириад живых существ, и крабы, шурша, копошатся в песке. По временам слышно, как где-то в лагуне прыгнула рыба, или вдруг доносятся торопливые громкие всплески — это рыбы спасаются бегством от акулы. И надо всем этим — извечный глухой шум прибоя. Но здесь ничто, ничто не нарушало тишины, и воздух был напоен ароматом белых ночных цветов. Так дивно хороша была эта ночь, что душа, казалось, не могла больше оставаться в темнице тела. Вы ясно чувствовали: вот-вот она унесется в горные страны, и даже смерть принимала здесь обличье друга.

Тиаре вздохнула.

— Ах, если бы мне было пятнадцать лет!

Тут она увидела кошку, крадущуюся к блюду с креветками на кухонном столе, проворно запустила книжкой ей вдогонку да еще излила на негодницу целый поток брани.

— Я спросил его, счастлив ли он с Атой. «Ата не пристаёт ко мне, — отвечал Стрикленд. — Она готовит мне пищу и смотрит за своими детьми. Она делает все, что я ей веляю. И даёт мне то, что я спрашиваю с женщины». — «И вы никогда не жалеете о Европе? Не скучаете по огням парижских или лондонских улиц, по друзьям, по людям, вам равным, или... *que sais-je*¹ — по театрам, газетам? Не хотите снова услышать, как omnibusы грохочут по булыжной мостовой?» Он долго молчал, потом ответил: «Я останусь здесь до самой смерти». — «Но неужто вам не бывает тоскливо, одиноко?» Он фыркнул: «*Mon pauvre ami*², вы, видно, не понимаете, что такое художник».

Капитан Брюно мягко улыбнулся, и в его темных добрых глазах появилось странное выражение.

— Стрикленд был несправедлив ко мне: я знаю, что такое мечты. И мне являлись видения. По-своему и я художник.

Мы умолкли, а Тиаре вытащила из своего объемистого кармана пачку папирос, дала нам по одной, и мы все трое закурили. Наконец Тиаре прервала молчание:

¹ Да мало ли (*фр.*).

² Мой бедный друг (*фр.*).

— Раз уж monsieur так интересуется Стриклендом, почему бы вам не свести его к доктору Кутра? Доктор мог бы рассказать кое-что о его болезни и смерти.

— Volontiers¹,— отвечал капитан, глядя на меня.

Я поблагодарил. Он вынул часы.

— Уже седьмой. Мы застанем его дома, если пойдем сейчас же.

Я встал без дальнейших церемоний, и мы двинулись по дороге к докторскому дому. Он жил в предместье, но так как и «Отель де ля флёр» находился на окраине, то мы быстро вышли за город. Широкую дорогу осеняли перечные деревья, по обе ее стороны простирались плантации кокосовых пальм и ванили. Птицы-пираты переговаривались среди пальмовых листьев. Проходя по каменному мосту, переброшенному через мелководную реку, мы остановились посмотреть на купающихся мальчишек. Они гонялись друг за дружкой, пронзительно крича и смеясь, их мокрые коричневые тела блестели на солнце.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Покуда мы шли, я думал о том, что в последнее время, когда я столько слышал о Стрикленде, невольно привлекло мое внимание. На этом далеком острове к нему, видимо, относились не с озлоблением, как в Англии, но, напротив, сочувственно и охотно мирились со всеми его выходками. Эти люди — туземцы и европейцы — считали его чудачком, но чудачки были им не внове. Они считали вполне естественным, что мир полон странных людей, которые совершают странные поступки. Они понимали, что человек не то, чем он хочет быть, но то, чем не может не быть. В Англии и во Франции Стрикленд был не к месту, а здесь находилось место для самых различных людей, не подходящих ни под какую мерку. Не то чтобы он на Таити стал добр, менее эгоистичен и груб, но оказался в условиях более благоприятных. Если бы он прожил здесь всю жизнь, то и считался бы не хуже людей. Здесь он получил то, чего не хотел, да и не ждал от своих соотечественников,— доброжелательное отношение.

Я попытался объяснить капитану Брюно, почему все это удивляло меня, и он минуту-другую молчал.

— Ничего нет удивительного,— сказал он наконец,— что я доброжелательно относился к Стрикленду, ведь у нас,

¹ С удовольствием (*фр.*).

хотя мы, быть может, и не подозревали об этом, были общие стремления.

— Какое же, скажите на милость, могло быть общее стремление у столь различных людей, как вы и Стрикленд? — улыбаясь, спросил я.

— Красота.

— Понятие довольно широкое, — пробормотал я.

— Вы ведь знаете, что люди, одержимые любовью, становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей любви. Они так же не принадлежат себе, как рабы, прикованные к скамьям на галере. Стриклендом владела страсть, которая его тиранила не меньше, чем любовь.

— Как странно, что вы это говорите! — воскликнул я. — Я давно думал, что Стрикленд был одержим бесом.

— Его страсть была — создать красоту. Она не давала ему покоя. Гнала из страны в страну. Демон в нем был беспощаден — и Стрикленд стал вечным странником, его терзала божественная ностальгия. Есть люди, которые жаждут правды так страстно, что готовы расшатать устои мира, лишь бы добиться ее. Таков был и Стрикленд, только правду ему заменяла красота. Я чувствовал к нему лишь глубокое сострадание.

— И это тоже странно. Человек, которого Стрикленд жестоко оскорбил, однажды сказал мне, что чувствует к нему глубокую жалость. — Я немного помолчал. — Неужели вы впрямь нашли объяснение человеку, который всегда казался мне непостижимым? Как вам это пришло в голову?

Он с улыбкой повернулся ко мне.

— Разве я вам не говорил, что и я, на свой лад, был художником? Меня снесало то же желание, что и Стрикленда. Но для него средством выражения была живопись, а для меня сама жизнь.

И капитан Брюно рассказал мне историю, которую я должен повторить на этих страницах, ибо она, хотя бы по контрасту, кое-что добавляет к моему представлению о Стрикленде. Для меня лично она имеет еще и собственную прелесть.

Капитан Брюно, бретонец по рождению, служил во французском флоте. Женившись, он вышел в отставку и поселился в своем имении под Кемпером, чтобы в тиши и покое прожить остаток своих дней, но из-за внезапного банкротства нотариуса, который вел его дела, остался без гроша. Ни капитан Брюно, ни его жена не пожелали жить нищими там, где недавно занимали видное положение в об-

шестве. В свое время капитан плавал в Южных морях и теперь решил там искать счастья.

Несколько месяцев он прожил в Папеэте, чтобы оглядеться и набраться опыта; затем на деньги, взятые взаймы у одного друга во Франции, купил островок из группы Паумоту. Это была узкая полоска земли вокруг лагуны, необитаемая и заросшая кустарником да дикой гуавой. Вместе с бесстрашной молодой женщиной, своею женой, и несколькими туземцами он высадился на этот островок и принялся за постройку дома и расчистку земли под плантацию кокосовых пальм. Это было двадцать лет назад, а теперь бесплодный остров стал цветущим садом.

— Раньше это был адский труд, и мы с женой выбивались из сил. Я вставал на заре, корчевал, строил, сажал, а ночью бросался на постель и засыпал как убитый. Моя жена работала наравне со мной. Потом у нас родились дети, сын и дочь. Мы с женой обучали их всему, что знали сами. Я выписал пианино из Франции, и она стала учить их музыке и английскому языку, а я — латыни и математике. Мы все вместе читали книги по истории. Мои дети умеют управлять парусом. Плавают не хуже туземцев. Знают все о здешних краях. Деревья на моей плантации приносят щедрый урожай, и в лагуне есть перламутр. Сейчас я приехал на Таити покупать шхуну. Я могу добыть столько перламутра, что это не будет напрасным расходом, и кто знает, не удастся ли мне найти жемчуг. Там, где ничего не было, теперь все цветет. Я тоже создал красоту. Ах, вы не понимаете, что значит смотреть на высокие крепкие деревья и думать: каждое посажено моими руками!

— Позвольте мне задать вам вопрос, который вы некогда задали Стрикленду. Неужели вы никогда не жалуете о Франции и своем старом доме в Бретани?

— Со временем, когда наша дочь выйдет замуж, а сын женится и сможет заменить меня на острове, мы с женой вернемся на родину и кончим свои дни в старом доме, где я родился.

— Вспоминая о счастливо прожитой жизни, — заметил я.

— Evidemment¹, на моем острове нет развлечений. Мы живем вдали от мира: ведь нам нужно четыре дня, чтобы добраться даже до Таити, — но мы счастливы. Мало кому дано начать работу и завершить ее. Наша жизнь простая и чистая. Мы не знаем честолюбия и гордимся только

¹ Разумеется (*фр.*).

одним: тем, что пожинаем плоды своих трудов. Ни злоба, ни зависть не мучают нас. Ах, mon cher monsieur¹, я часто слышал разговоры о благодати труда, обычно это только пустые фразы, но для меня они полны глубочайшего смысла. Я счастливый человек.

— И вы, безусловно, это заслужили,— улыбаясь, заметил я.

— Я хотел бы так думать. Но я и сам не знаю, чем я заслужил такую жену — друга, помощницу, прекрасную возлюбленную и прекрасную мать моих детей.

Я задумался над тем, что рассказал мне капитан Брюно.

— Для того чтобы вести такую суровую жизнь и добиться такого большого успеха, вам обоим надо было обладать сильной волей и решительным характером.

— Возможно, но к этому добавилось еще и другое, иначе бы мы ничего не достигли.

— Что же именно?

Он остановился и несколько театральным жестом вытянул руку.

— Вера в бога. Без нее бы нам пропасть...

Мы как раз подошли к дому доктора Кутра.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ

Доктор Кутра был старый француз, огромного роста и очень толстый. Фигура его напоминала гигантское утиное яйцо, а глаза, пронзительные, голубые и добродушные, частенько с самодовольным выражением уставлялись на его громадное брюхо. Лицо у него было румяное, волосы седые. Такие люди, как он, с первого взгляда внушают симпатию. Доктор Кутра принял нас в комнате, какую можно увидеть в любом доме провинциального французского городка; две-три полинезийские редкости странно выглядели в ней. Он потряс мою руку обеими руками — кстати сказать, огромными — и посмотрел на меня дружелюбным, хотя и очень хитрым взглядом. Здороваясь с капитаном Брюно, он учтиво осведомился о супруге и детках. Несколько минут они обменивались любезностями, затем немного посплетничали, обсудили виды на урожай копры и ванили и наконец перешли к цели моего визита.

Я перескажу своими словами то, что узнал от доктора Кутра, так как мне все равно не воссоздать его живого,

¹ Сударь мой (*фр.*).

образного рассказа. У доктора был низкий, звучный голос, вполне соответствовавший его мощному облику, и безусловный актерский талант. Слушать его было интереснее, чем сидеть в театре.

Как-то раз доктору Кутра пришлось поехать в Таравао к захворавшей правительнице племени; он живо описал, как эта тучная старуха возлежала на огромной кровати, куря папиросы, а вокруг нее суетилась толпа темнокожих приближенных. После того как он ее осмотрел, его пригласили в другую комнату и стали потчевать обедом: сырой рыбой, жареными бананами, цыплятами — *que sais-je*¹, излюбленными кушаньями туземцев,— и за едой он заметил заплаканную молодую девушку, которую гнали прочь от двери. Он не обратил на это особого внимания, но, когда вышел садиться в свою двуколку, чтобы ехать домой, опять увидел ее; она стояла в сторонке, и слезы градом лились по ее щекам. Он спросил какого-то малого, почему она плачет, и в ответ услышал, что она пришла с гор звать его к белому человеку, который тяжело заболел. А ей сказали, что доктора нельзя беспокоить. Тогда он подозвал девушку и спросил, чего она хочет. Она ответила, что ее послала Ата, которая раньше служила в «Отель де ля флёр», и что Красный болен. Девушка сунула ему в руку измятый кусок газеты, в котором оказался стофранковый билет.

— Кто такой Красный? — спросил доктор у кого-то из туземцев.

Ему объяснили, что так называют англичанина, который живет с Атой в долине, километрах в семи отсюда. По описанию он узнал Стрикленда. Но в долину можно добраться только пешком, а доктору ходить пешком не подходит, поэтому-то они и отгоняли от него девушку.

— Признаюсь,— сказал доктор Кутра, обернувшись ко мне,— что меня взяло сомнение. Отмахать четырнадцать километров по горной тропинке — не слишком большое удовольствие, да и ночевать домой уж не попадешь. Вдобавок Стрикленд был мне не по нутру. Тунеядец, который предпочитал жить с туземкой, чем зарабатывать свой хлеб, как все мы, грешные. *Mon Dieu*², ну откуда мне было знать, что со временем весь мир признает его гением? Я спросил девушку, неужто он так болен, что не может сам прийти ко мне. И еще спросил, что с ним такое. Она молчала. Я настаивал, пожалуй, сердито; она опустила глаза и опять

¹ Одним словом (*фр.*).

² Господи (*фр.*).

расплакалась. Я пожал плечами: в конце концов, мой долг идти, и я пошел за ней в прескверном настроении.

Настроение доктора, конечно, не улучшилось, когда он наконец добрался до них, весь в поту и умирая от жажды. Ата дожидалась его и пошла по тропинке ему навстречу.

— Первым делом дайте мне пить,—закричал он,—не то я сдохну от жажды. Pour l'amour de Dieu¹, дайте кокосовый орех.

Она кликнула какого-то мальчишку, он примчался, влез на дерево и сбросил спелый орех. Ата проткнула дырку в скорлупе, и доктор жадно припал к освежающей струйке. Затем он свернул папиросу, и настроение его улучшилось.

— Ну, где же ваш Красный?

— Он в доме, рисует картину. Я не сказала ему, что вы придете. Пожалуйста, взгляните на него.

— А на что он жалуется? Если он в состоянии работать, то мог бы сам прийти в Таравао и избавить меня от этой проклятой беготни. Я полагаю, что мое время не менее дорого, чем его.

Ата промолчала и вместе с мальчишкой пошла за доктором к дому. Девушка, которая привела его, уже сидела на веранде; здесь же, у стены, лежала какая-то старуха и крутила папиросы на туземный манер.

Ата указала ему на дверь. Доктор, сердясь на то, что все они так странно себя ведут, вошел и увидел Стрикленда, занятого чисткой палитры. Стрикленд в одном парео стоял спиной к двери возле мольберта с картиной. Он обернулся на шум шагов и бросил на доктора неприязненный взгляд. Он был удивлен и рассержен этим вторжением. Но у доктора перехватило дыхание, ноги его приросли к полу: он во все глаза смотрел на Стрикленда. Нет, этого он не ждал. Мороз пробежал у него по коже.

— Вы входите довольно бесцеремонно,—сказал Стрикленд.— Чем могу служить?

Доктор уже справился с собой, но голос не сразу вернулся к нему. Всю его злость как рукой сняло, и он почувствовал — *eh bien, oui, je ne le nie pas*²,—как его захлестнула жалость.

— Я доктор Кутра. Я был в Таравао, у старой правительницы, и Ата послала туда за мной.

— Ата — дура. У меня, правда, были какие-то боли в суставах и небольшая лихорадка, но это пустяки и скоро

¹ Ради всего святого (*фр.*).

² Что ж, я этого не отрицаю (*фр.*).

пройдет. Когда кто-нибудь пойдет в Папеэте, я велю купить мне хины.

— Посмотрите на себя в зеркало.

Стрикленд взглянул на него, улыбнулся и подошел к дешевенькому зеркальцу в узкой деревянной рамке, висевшему на стене.

— Ну и что?

— Разве вы не замечаете перемены в вашем лице? Не замечаете, как утолстились ваши черты и стали походить... в книгах это называется львиный лик. Мон раувге ати, неужели мне надо говорить вам, какая у вас страшная болезнь?

— У меня?

— Посмотрите на себя еще раз, и вы увидите ее типичные признаки.

— Вы шутите,— сказал Стрикленд.

— Я был бы счастлив, если бы мог шутить.

— Вы хотите сказать, что у меня проказа?

— К несчастью, в этом нет сомнения.

Доктор Кутра многим объявлял смертный приговор, и все же не мог победить ужаса, который его при этом охватывал. Он всякий раз чувствовал, как яростно должен приговоренный ненавидеть его, доктора, цветущего, здорового, обладающего бесценным правом — жить. Стрикленд молча смотрел на него. Лицо его, уже обезображенное страшной болезнью, не выражало ни малейшего волнения.

— Они знают? — спросил он наконец, кивнув головою в сторону тех, что сидели на веранде в непривычном, странном молчании.

— Туземцы хорошо знают признаки этой болезни,— ответил доктор.— Они боялись сказать вам.

Стрикленд шагнул к двери и выглянул. Наверно, страшное у него было лицо, потому что на веранде все разом завопили и запричитали, а потом разразились плачем. Стрикленд молчал. Посмотрев на них несколько секунд, он вернулся в комнату.

— Как долго я, по-вашему, смогу протянуть?

— Кто знает? Иногда болезнь длится двадцать лет. Это счастье, если она протекает быстро.

Стрикленд подошел к мольберту и задумчиво посмотрел на картину.

— Вы проделали нелегкий путь. По справедливости тот, кто принес важные вести, должен быть вознагражден. Возьмите эту картину. Сейчас она ничего для вас не значит, но, возможно, когда-нибудь вы обрадуетесь, что она у вас есть.

Доктор Кутра протестовал. Ему не нужно никакой платы: стофранковый билет он уже успел вернуть Ате. Но Стрикленд настаивал. Затем они вместе вышли на веранду. Туземцы плакали в голос.

— Успокойся, женщина. Вытри слезы,— сказал Стрикленд Ате.— Тебе нечего бояться. Я очень скоро оставлю тебя.

— А тебя не отнимут у меня?

В те времена на островах еще не было закона об обязательной изоляции прокаженных; они могли оставаться на свободе.

— Я уйду в горы,— сказал Стрикленд.

Тогда Ата поднялась и посмотрела ему прямо в глаза.

— Пусть другие уходят, если хотят, я тебя не оставляю. Ты мой муж, а я твоя жена. Если ты уйдешь от меня, я повешусь вон на том дереве за домом. Богом клянусь тебе.

Она говорила грозно и властно. Это была уже не покорная робкая девушка-туземка, а женщина сильная и решительная. Она стала неузнаваемой.

— Зачем тебе оставаться со мной? Ты можешь вернуться в Папеэте, там ты скоро найдешь себе другого белого мужчину. Старуха присмотрит за твоими детьми, а Тиаре охотно возьмет тебя обратно.

— Ты мой муж, а я твоя жена. Где будешь ты, там буду и я.

На мгновение силы изменили Стрикленду: слезы выступили у него на глазах и медленно покатались по щекам. Затем он опять улыбнулся обычной своей сардонической улыбкой.

— Удивительные существа эти женщины,— сказал он доктору.— Можно обращаться с ними хуже, чем с собакой, можно бить их, пока руки не заболят, а они все-таки любят вас.— Он пожал плечами.— Одна из нелепейших выдумок христианства — будто у них есть душа.

— Что ты говоришь доктору? — подозрительно спросила Ата.— Ты не уйдешь от меня?

— Если ты хочешь, я останусь с тобой, девочка.

Ата бросилась перед ним на колени, обхватила руками его ноги и поцеловала. Стрикленд смотрел на доктора Кутра со слабой улыбкой.

— В конце концов они покоряют вас, и вы беспомощны в их руках. Белые или коричневые, все они одинаковы.

Доктор Кутра знал, что глупо говорить слова соболезнования по поводу такого страшного несчастья, и молча откланялся. Стрикленд велел Танэ, мальчику, проводить его до деревни.

Доктор помолчал и, обращаясь ко мне, прибавил:

— Я ведь вам уже говорил, что Стрикленд был мне не по нутру. Я его недолюбливал. Но, когда я медленно спускался в Таравао, я с невольным восхищением думал о мужестве этого человека: так стойчески перенести это страшнейшее несчастье! На прощание я сказал Танэ, что пришлю кое-какие лекарства, но я не очень надеялся, что Стрикленд будет принимать их, и еще меньше — что они принесут какую-нибудь пользу. Я также просил мальчика передать Ате, что приду, когда бы она за мной ни послала. Жизнь — жестокая штука, и природа иногда страшно глумится над своими детьми. С тяжелым сердцем вернулся я в свой уютный дом в Папеете.

Долгое время мы все молчали.

— Но Ата не присылала за мной, — снова начал доктор, — и как-то так получилось, что я долго не был в той части острова. О Стрикленде я ничего не знал. Раза два я, правда, слышал, что Ата приходила в Папеете покупать краски, но видеть ее мне не довелось. Прошло больше двух лет, прежде чем я снова попал в Таравао, все к той же старой правительнице. Там я спросил, не слышно ли чего о Стрикленде. Теперь все уже знали, что у него проказа. Первым из дому ушел Танэ, а вскоре старуха и ее внучка. Стрикленд с Атой и детьми остались совершенно одни. Никто даже близко не подходил к их плантации, вы не можете себе представить, какой ужас здешние люди испытывают перед этой болезнью; в старину, если у человека обнаруживалась проказа, они просто убивали его. Только мальчишки из ближней деревни, забравшись далеко в горы, видели иногда белого человека с косматой рыжей бородой. Тогда они в страхе удирали. Случалось еще, что Ата ночью спускалась в деревню и будила лавочника, чтобы купить у него самое необходимое. Она знала, что на нее смотрят с не меньшим испугом и отвращением, чем на Стрикленда, и всячески старалась избегать встреч с людьми. Однажды женщины, случайно оказавшиеся вблизи плантации, увидели, что она стирает белье в речке, и забросали ее камнями. После этого лавочнику велено было передать ей, что, если ее еще раз застанут на речке, мужчины из деревни подожгут ее дом.

— Звери, — сказал я.

— *Mais non, mon cher monsieur*¹, люди — всегда люди. Страх толкает их на жестокость... Я решил навестить Стрикленда, и после осмотра больной попросил, чтобы мне дали

¹ Вовсе нет, сударь мой (*фр.*).

кого-нибудь в проводники. Но никто не решился идти со мной, и я отправился один.

Когда доктор Кутра пришел на плантацию, щемящая тоска сдавила его сердце. Он дрожал, хотя и разгорячился от ходьбы. Что-то зловещее носилось в воздухе и мешало идти дальше. Словно таинственные силы преграждали ему путь. Чьи-то невидимые руки тянули его назад. Никто не приходил сюда собирать кокосовые орехи, и они гнили на земле. Запустение царило повсюду. Кустарник буйно разросся, и девственный лес, казалось, готов был вновь захватить эту полоску земли, отнятую у него ценой такого тяжелого труда. «Это обитель страдания», — подумалось доктору. Когда он подошел к дому, нездешняя тишина поразила его; он решил, что дом покинут. Затем он увидел Ату. Она сидела на корточках под навесом, служившим им кухней, и что-то варила в котелке. Ребенок молча возился в грязи, рядом с нею. Увидев доктора, она не улыбнулась.

— Я пришел взглянуть на Стрикленда, — сказал он.

— Пойду скажу ему.

Она направилась к дому, взошла по ступенькам на веранду и отворила дверь. Доктор Кутра шел за нею, но помедлил, повинувшись ее знаку. Когда дверь приоткрылась, на него пахнуло тошнотворно сладким запахом, который делает нестерпимой близость прокаженного. Доктор услышал, как что-то сказала Ата, затем услышал ответ Стрикленда, но не узнал его голоса. Он звучал хрипло, слов было не разобрать. Доктор Кутра поднял брови, он понял: болезнь уже бросилась на голосовые связки. Ата опять вышла на веранду.

— Он не хочет вас видеть. Вам надо уйти.

Доктор настаивал, но Ата не впускала его. Тогда он пожал плечами и повернул обратно. Ата пошла за ним. Он чувствовал, что ей тоже хочется поскорей его спровадить.

— Значит, я ничего не смогу сделать для вас? — спросил он.

— Вы можете прислать ему красок, больше он ничего не хочет.

— Он еще может работать?

— Он рисует на стенах дома.

— Какая страшная жизнь для вас, дитя мое.

Тогда она наконец улыбнулась, и сверхчеловеческая любовь засветилась в ее глазах. Доктор Кутра был потрясен. Благоговейное чувство охватило его. Он не нашелся что сказать.

— Он мой муж, — сказала Ата.

— Где ваш второй ребенок? — спросил он. — Прошлый раз я видел двоих.

— Он умер. Мы похоронили его под манговым деревом.

Ата прошла с ним еще немного и сказала, что ей пора возвращаться. Доктор Кутра понял, что она боится встретить кого-нибудь из деревни. Он повторил, что, если понадобится ей, пусть она придет за ним, он придет тотчас же.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ

Прошло еще года два, может быть, и три, ибо время на Таити течет незаметно, и нелегко вести ему счет, когда к доктору Кутра пришла весть, что Стрикленд умирает. Ата остановила почтовую повозку на дороге в Папеете и умолила возницу заехать к доктору. Но доктора не оказалось дома, и печальная весть дошла до него только вечером. Ехать в такой поздний час было немыслимо, и доктор пустился в дорогу следующим утром на рассвете. Он доехал до Таравао и в последний раз прошел пешком семь километров до дома Аты. Тропинка заросла, по ней явно никто не ходил в последние годы. Идти было трудно. Он то шел, спотыкаясь, по высохшему руслу ручья, то продирался сквозь заросли колючего кустарника; чтобы обойти осиные гнезда, свисавшие с деревьев над его головой, ему приходилось карабкаться на скалы. Вокруг стояла мертвая тишина.

У доктора вырвался вздох облегчения, когда он наконец увидел маленький некрашенный домишко, теперь совсем обветшавший и грязный; но и возле дома царила та же нестерпимая тишина. Он подошел поближе, и маленький мальчик, беспечно игравший на солнцепеке, испуганно шарахнулся от него — здесь любой незнакомец был враг. Доктору показалось, однако, что ребенок следит за ним из-за ствола пальмы. Дверь на веранду стояла настежь. Он крикнул — никто не отозвался. Он вошел. Постучался, но и на этот раз ответа не было. Он нажал ручку второй двери и открыл ее. От зловония, которым пахнуло на него, ему сделалось дурно. Он прижал платок к носу и заставил себя войти в комнату. Она тонула в полумраке, и после яркого солнечного света он в первую минуту ничего не видел. Потом он вздрогнул. Он не понимал, где находится. Какой-то сказочный мир окружал его. Ему смутно чудился девственный лес, в котором обнаженные люди расхаживали под деревьями. Потом он понял, что это так расписаны стены.

— Mon Dieu, неушто у меня солнечный удар, — пробормотал доктор.

Легкое движение в комнате привлекло его внимание, и он увидел Ату. Она лежала на полу и тихо плакала.

— Ата,— позвал он,— Ата!

Она не подняла головы. Его опять затошнило от омерзительного запаха, и он закурил сигару. Глаза его привыкли к темноте, и страшное волнение овладело им, когда он всмотрелся в расписанные стены. Он ничего не понимал в живописи, но здесь было что-то такое, что потрясло его. От пола до потолка стены покрывала странная и сложная по композиции живопись. Она была неописуемо чудесна и таинственна. У доктора захватило дух. Чувства, поднявшиеся в его сердце, не поддавались ни пониманию, ни анализу. Благоговейный восторг наполнил его душу, восторг человека, видящего сотворение мира. Это было нечто великое, чувственное и страстное; и в то же время это было страшно, он даже испугался. Казалось, это сделано руками человека, который проник в скрытые глубины природы и там открыл тайны — прекрасные и пугающие. Руками человека, познавшего то, что человеку познать не дозволено. Это было нечто первобытное и ужасное. Более того — нечеловеческое. Доктор невольно подумал о черной магии. Это было прекрасно и бесстыдно.

— Бог мой, он гений!

Эти слова вырвались у доктора помимо его воли.

Затем его взгляд упал на груды циновок в углу, он приблизился и увидел то страшное, изувеченное, безобразное, что когда-то было Стриклендом. Стрикленд был мертв. Доктор Кутра взял себя в руки и склонился над изуродованным трупом. Но тут же вздрогнул, сердце его на миг перестало биться от ужаса: кто-то стоял за ним! Это была Ата. Он не слышал, как она подошла. Она стояла рядом и смотрела на то же, на что смотрел он.

— Господи ты боже мой, мои нервы никуда не годятся. Вы меня до смерти напугали.

Он еще раз бросил взгляд на жалкие останки того, что было человеком, и вдруг отшатнулся.

— Он был слеп!

— Да, он ослеп уже год назад.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

Но тут наш разговор был прерван появлением мадам Кутра. Она делала визиты и теперь вернулась домой. Мадам Кутра вплыла, как корабль на всех парусах; весьма представительная дама, высокая, дородная, с пышным бюстом,

с телесами, скованными устрашающе тугим корсетом. У нее был крупный нос крючком и тройной подбородок. Держалась она очень прямо. Она ни на мгновение не поддавалась расслабляющему очарованию тропиков; напротив, была даже более деятельной, более светской и энергичной, чем можно представить себе даму в умеренном климате. Неистощимая говорунья, она тотчас же излила на нас поток новостей и сенсаций. С ее приходом разговор, который мы только что вели, стал казаться далеким и нереальным.

Наконец доктор Кутра прервал ее.

— У меня в кабинете все еще висит картина Стрикленда. Хотите взглянуть?

— С удовольствием.

Мы поднялись, и он повел меня на веранду, вернее, на галерею, окружавшую дом. Там мы постояли, любуясь буйной яркостью цветов в его саду.

— Я долго не мог отделаться от воспоминания о дивном мире на стенах Стриклендова дома,— задумчиво проговорил он.

Я думал о том же. Мне казалось, что Стрикленд наконец-то полностью выразил то, что бродило в нем. Работая в тиши, зная, что это последняя возможность, он, верно, сказал все, что думал о жизни, все, что разгадал в ней. И, кто знает, может быть, в этом он все-таки обрел умиротворение. Демон, владевший им, был наконец изгнан, и вместе с завершением работы, изнурительной подготовкой к которой была вся его жизнь, покой снизошел на его исстрадавшуюся мятежную душу. Он был готов к смерти, ибо выполнил свое предназначение.

— А что изображала эта роспись?

— Трудно сказать. Все было так странно и фантастично. Точно он видел начало света, райские кущи, Адама и Еву, *que sais-je?*¹ — это был гимн красоте человеческого тела, мужского и женского, славословие природе, величавой, равнодушной, прельстительной и жестокой. Дух захватывало от ощущения бесконечности пространства и нескончаемости времени. Стрикленд написал деревья, которые я видел каждый день: кокосовые пальмы, баньяны, тамаринды, аллигаторовы груши,— и с тех пор вижу совсем иными, словно есть в них живой дух и тайна, которую я всякую минуту готов постичь и которая все-таки от меня ускользает. Краски тоже были хорошо знакомые мне — и в то же время другие. В них было собственное, им одним

¹ Как вам объяснить? (*фр.*)

присущее значение. А эти нагие люди, мужчины и женщины! Земные и, однако, чуждые земному. В них словно бы чувствовалась глина, из которой они были сотворены, но была в них и искра божества. Перед вами был человек во всей наготе своих первобытных инстинктов, и мороз подирал вас по коже, потому что это были вы сами.

Доктор Кутра пожал плечами и усмехнулся.

— Вы будете смеяться надо мной. Я материалист и вдобавок грузный, толстый мужчина — Фальстаф, что ли? Лирика мне не к лицу. Я выставляю себя на посмешище. Но даю вам слово, никогда в жизни искусство не производило на меня такого впечатления. Tenez¹, то же самое чувство я испытал в Сикстинской капелле. Я благоговел перед человеком, расписавшим этот потолок. Это было гениально и грандиозно. Я чувствовал себя ничтожным червем. Но к величию Микеланджело мы подготовлены. Нельзя было быть подготовленным к тому чуду, которое явилось мне в туземной хижине, вдали от цивилизованного мира, в горном ущелье над Таравао. Микеланджело здоров и нормален. В его творениях — спокойствие величия, но здесь что-то смущало душу. Не знаю, что именно. Но мне было не по себе. Как вам объяснить это чувство? Точно сидишь у дверей комнаты, наверное зная, что в ней никого нет, и в то же время с ужасом сознаешь, что в ней все-таки кто-то есть. В таких случаях бранишь себя: ведь это пустое, нервы... и тем не менее... Минута-другая — и ты уже не можешь бороться со страхом, непостижимый ужас душит тебя. Да, скажу по правде, я не был особенно огорчен, когда узнал, что эти странные шедевры уничтожены.

— Уничтожены! — воскликнул я.

— Mais oui², разве вы не знали?

— Откуда мне знать? Я никогда раньше не слышал об этих вещах, но, слушая вас, надеялся, что они попали в руки какого-нибудь любителя-коллекционера. Ведь полного списка Стриклендовых работ еще и поныне не существует.

— Когда он ослеп, он часами сидел в этих двух расписанных им комнатках, незрячими глазами смотрел на свои творения и видел, может быть, больше, чем прежде, больше, чем за всю свою жизнь. Ата говорила мне, что он никогда не жаловался на судьбу, никогда не терял мужества. До самого конца дух его оставался ясным и добрым. Но он взял с нее слово, что когда она похоронит его — я, кажется, не сказал вам, что своими руками вырыл для него могилу, так как никто

¹ Право (*фр.*).

² Ну да (*фр.*).

из туземцев не решался подойти к зараженному дому, мы с ней завернули его тело в три парео, сшитых вместе, и похоронили под манговым деревом,— так вот, он взял с нее слово, что она подожжет дом и не уйдет, покуда он не сгорит дотла.

Я довольно долго молчал и думал, потом сказал:

— Значит, он до конца остался таким, как был.

— Вы полагаете? А я считал своим долгом отговорить Ату от этого безумия.

— Даже после того, что вы мне рассказали?

— Да, я ведь уже понял, что это создание гения, и думал, что мы не вправе отнять его у человечества. Но Ата меня и слушать не хотела. Она дала слово. Я ушел, не мог я, чтобы это варварское деяние совершилось на моих глазах, и уже позднее узнал, что она исполнила его волю. Облила керосином пол, панданусовые циновки и подожгла. Через полчаса от дома остались только тлеющие угольки, великого произведения искусства более не существовало.

— По-моему, Стрикленд знал, что это шедевр. Он достиг того, чего хотел. Его жизнь была завершена. Он сотворил мир и увидел, что он прекрасен. Затем из гордости и высокомерия он уничтожил его.

— Ну, да пора уже показать вам картину,— сказал доктор Кутра и пошел к двери.

— А что случилось с Атой и ее ребенком?

— Они уехали на Маркизские острова. У нее там родственники. Я слышал, что ее сын служит на какой-то шхуне. Говорят, он очень похож на отца.

У самой двери в кабинет доктор остановился.

— Это натюрморт с фруктами,— улыбаясь, сказал он.— Вы скажете, сюжет не слишком подходящий для кабинета врача, но моя жена не желает терпеть эту картину в гостиной. По ее мнению, она слишком непристойна.

— Непристойна! Но ведь это натюрморт!— в изумлении воскликнул я.

Мы вошли в кабинет, и картина сразу бросилась мне в глаза. Я долго смотрел на нее.

Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов; на первый взгляд вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посетитель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы; но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, он с удивлением думал бы: почему, собственно? Но запомнил бы ее уже навек.

Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие,

прозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпислазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскрешавшей в памяти смутные видения Римской империи времен Гелиогабала; тона красные, яркие, точно ягоды остролиста, так что воображению рисовалось рождество в Англии, снег, доброе веселье и радостные возгласы детей,—но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые; в противоестественной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды? Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое, казалось, что они возникли в ту темную пору истории земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны. Тяжелы от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды, отведать их—значило бы прикоснуться бог весть к каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли неожиданными опасностями, и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в бога. Все здоровое и естественное, все приверженное добру и простым радостям простых людей должно было в страхе отшатнуться от этих плодов—и все же была в них неодолимо притягательная сила: подобно плоду от древа познания добра и зла, они были чреваты всеми возможностями Неведомого.

Я не выдержал и отвел глаза. Теперь я знал, что Стрикленд унес свою тайну в могилу.

— *Voyons, René, mon ami*¹,— слышался громкий бодрый голос мадам Кутра.— Что вы там делаете так долго? Вас ждут аперитивы. Спроси мосье, не хочет ли он рюмочку дубоннэ.

— *Volontiers, мадам*,— ответил я, выходя на веранду. Чары были разрушены.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ

Пришло время моего отъезда с Таити. Согласно гостеприимному обычаю острова, все, с кем я здесь встречался, преподнесли мне подарки: корзиночки, сплетенные из ли-

¹ Послушай, Рене, друг мой (*фр.*).

ствев кокосовой пальмы, циновки из пандануса, веера. Тиаре подарила мне три маленькие жемчужины и три банки желе из гуавы, сваренного ее собственными пухлыми руками. Когда почтовый пароход, по пути из Веллингтона в Сан-Франциско на сутки заходивший на Таити, дал последний гудок, призывая пассажиров на борт, Тиаре прижала меня к своей могучей груди — я точно погрузился в зыблющиеся волны — и крепко поцеловала в губы. На глазах у нее блестели слезы. И когда мы медленно выбрались из лагуны, осторожно лавируя между рифами, и наконец вышли в открытое море, на душе у меня было печально. Бриз все еще доносил до нас чарующие ароматы острова. Таити — дальний край, и я знал, что больше никогда не увижу его. Еще одна глава моей жизни закончилась, и я почувствовал себя ближе к неизбежной смерти.

Через месяц я был уже в Лондоне; устроив свои наиболее неотложные дела, я написал миссис Стрикленд, полагая, что ей интересно будет послушать мой рассказ о последних годах ее мужа. В последний раз я виделся с нею задолго до войны, и теперь мне пришлось разыскивать ее адрес по телефонной книге. Она назначила мне день, и я пришел в ее новый нарядный домик на Кэмпден-Хилл. Ей, должно быть, было уже под шестьдесят, но она легко несла бремя своих лет, и больше пятидесяти никто бы ей не дал. Лицо ее, худое и не слишком морщинистое, принадлежало к тому типу лиц, что в старости становятся особенно благообразными. По теперешнему виду миссис Стрикленд можно было предположить, что в молодости она была очень хороша собой, чего на самом деле никогда не было. Волосы, не седые, но с проседью, она причесывала очень элегантно, и ее черное платье было сшито по последней моде. Кто-то мне говорил, и теперь я это вспомнил, что ее сестра, миссис Мак-Эндрю, пережившая мужа всего на два года, оставила ей свое состояние; судя по дому и нарядной горничной, которая открыла мне дверь, это была сумма, вполне достаточная для пристойного существования вдовы.

В гостиной я застал еще одного гостя и, узнав, кто он, понял, что меня не без умысла пригласили именно на этот час. Миссис Стрикленд представила меня мистеру ван Бюсе-Тэйлору с такой очаровательной улыбкой, что казалось, она извиняется за меня перед этим почтенным американцем.

— Мы, англичане, так ужасно невежественны. Вы уж простите меня за вынужденное объяснение. — С этими словами она обернулась ко мне. — Мистер ван Бюсе-Тэйлор —

выдающийся американский критик. Если вы не читали его книги, это большой пробел в вашем образовании, и вам следует немедленно его восполнить. Сейчас мистер Тэйлор пишет о нашем дорогом Чарли и приехал ко мне с просьбой кое в чем помочь ему.

Мистер ван Бюсе-Тэйлор был весьма сухопарый мужчина с большим лысым черепом, отчего его желтое лицо, изборожденное глубокими морщинами, казалось совсем маленьким. Он говорил с американским акцентом и был необыкновенно учтив и сдержан. Глядя на его ледяное спокойствие, я невольно спрашивал себя, какого черта он заинтересовался Чарлзом Стриклендом. Меня позабавила нежность, с которой миссис Стрикленд упомянула о своем муже, и, покуда они оба разговаривали, я рассмотрел комнату. Миссис Стрикленд не отстала от времени. Обои Морриса и строгий кретон исчезли бесследно, равно как и гравюры Эренделя, некогда украшавшие ее гостиную на Эшли-гарденз. Теперь здесь сверкали яркие краски, и я задавался вопросом, знает ли миссис Стрикленд, что эти фантастические тона, предписанные модой, обязаны своим возникновением мечтам бедного художника на далеком острове в Южных морях? Она сама ответила мне на этот вопрос.

— Какие у вас изумительные подушки,— сказал мистер ван Бюсе-Тэйлор.

— Вам они нравятся? — улыбаясь, спросила она.— Это Бакст.

А на стенах висели цветные репродукции с лучших картин Стрикленда, выпущенные в свет неким берлинским издателем.

— Вы смотрите на мои картины,— сказала миссис Стрикленд, проследив за моим взглядом.— Оригиналы, конечно, мне недоступны, но я рада и этим копиям. Мне прислал их издатель. Это большое утешение для меня.

— Должно быть, очень приятно жить среди этих картин,— заметил мистер ван Бюсе-Тэйлор.

— Да, они так декоративны.

— Мое глубочайшее убеждение,— сказал мистер ван Бюсе-Тэйлор,— что подлинное искусство всегда декоративно.

Глаза его и миссис Стрикленд остановились на обнаженной женщине, кормящей грудью ребенка. Рядом с ней молодая девушка, стоя на коленях, протягивала цветок не видящему ее младенцу. На них смотрела старая морщинистая ведьма. Это была Стриклендова версия святого семейства. Я подозревал, что моделями для этих фигур служили его

таитянские домочадцы, а женщина и ребенок были Ата и ее первенец. «Но знает ли что-нибудь об этом миссис Стрикленд?» — спрашивал я себя.

Разговор продолжался, и мне оставалось только дивиться такту, с которым мистер ван Бюсе-Тэйлор обходил все, что могло бы смутить хозяйку, и ловкости миссис Стрикленд: не говоря ни слова лжи, она давала ему понять, что с мужем у нее всегда были наилучшие отношения. Наконец мистер ван Бюсе-Тэйлор поднялся и стал прощаться. Держа руку миссис Стрикленд, он рассыпался в изыскнейших и изысканнейших благодарностях.

— Надеюсь, он не очень наскучил вам, — сказала она, едва только за ним закрылась дверь. — Конечно, это утомительное занятие, но я считаю себя обязанной рассказать людям о Чарли все, что могу рассказать. Быть женою гения — немалая ответственность.

Она посмотрела на меня открытым и ясным взглядом, таким же, как двадцать с лишним лет назад. «Уж не смеется ли она надо мною?» — подумал я.

— Вы, конечно, закрыли свое дело? — спросил я.

— О да, — небрежно отвечала миссис Стрикленд. — Я ведь тогда занялась этим больше от скуки, чем еще по каким-нибудь причинам, и дети уговорили меня продать контору. Они считали, что я переутомляюсь.

Миссис Стрикленд явно позабыла, что в свое время ей пришлось «унизиться» до того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Безошибочный инстинкт красивой женщины говорил ей, что жить прилично только на чужой счет.

— Мои дети сейчас здесь, — сказала она. — Я подумала, что им интересно будет послушать об отце. Вы помните Роберта? Могу похвалиться. Он представлен к Военному кресту.

Она открыла дверь и позвала детей. В комнату вошел высокий мужчина в хаки, но с пасторским воротником, несколько тяжеловатый, красивый, все с теми же правдивыми глазами, которые были у него в детстве. Следом шла его сестра. Ей, верно, было столько же лет, сколько ее матери, когда я с ней познакомился, и она очень на нее походила. По ее виду тоже казалось, что в детстве она была очень хорошенькой, хотя на самом деле это было не так.

— Вы их, конечно, не узнаете, — горделиво улыбаясь, заметила миссис Стрикленд. — Моя дочь теперь миссис Роналдсон. Ее муж майор артиллерии.

— Он у меня настоящий солдат, — весело сказала миссис Роналдсон. — Потому он и не пошел дальше майора.

Мне вспомнилось, как я почему-то был уверен, что она выйдет замуж за военного. Это было неизбежно. У нее все повадки «военной» дамы. Очень любезная и скромная, миссис Роналдсон не могла скрыть своего убеждения, что она не такая, как все. У Роберта манеры были непринужденные.

— Как это удачно, что я оказался в Лондоне к вашему возвращению,— сказал он.— У меня отпуск всего на три дня.

— Он всей душой рвется назад, в свою часть,— заметила его мать.

— Не скрою, что я там отлично провожу время. У меня завелось много приятелей. Это настоящая жизнь. Война, конечно, ужасная штука и так далее и тому подобное, но она выявляет в человеке все лучшее, это несомненно.

Я рассказал им все, что слышал о жизни Чарлза Стрикленда на Гаити. Говорить об Ате и ее сыне я счел излишним, но во всем остальном был по мере возможности точен. Кончил я рассказом о страшной его смерти. Минуту-другую в комнате царило молчание. Затем Роберт Стрикленд чиркнул спичкой и закурил.

— Жернова господни мелют хоть и медленно, но верно,— внушительно сказал он.

Миссис Стрикленд и миссис Роналдсон благочестиво опустили глаза долу, они явно сочли эти слова цитатой из Священного писания. Мне показалось, что и Роберт Стрикленд разделяет это заблуждение. Сам не знаю почему, я вдруг подумал о сыне Стрикленда и Аты. Мне говорили на Гаити, что он веселый, приветливый юноша. Я словно воочию увидел его на шхуне, полуголым, только в коротких штанах. День у него проходит в труде, а вечером, когда шхуна легко скользит по волнам, подгоняемая попутным ветерком, матросы собираются на верхней палубе; покуда капитан с помощниками отдыхают в шезлонгах, попыхивая трубками, он неистово пляшет с другим юношей под визгливые звуки концертино. Над ним густая синева небес, звезды и, сколько глаз хватает, пустыня Тихого океана.

Цитата из Библии вертелась у меня на языке, но я попридержал его, зная, что духовные лица считают кощунством, если простые смертные забираются в их владения. Мой дядя Генри, двадцать семь лет бывший викарием в Уитстебле, в таких случаях говаривал, что дьявол всегда сумеет подыскать и обернуть в свою пользу цитату из Библии. Он еще помнил те времена, когда за шиллинг можно было купить даже не дюжину лучших устриц, а целых тринадцать штук.

ПИРОГИ И ПИВО,
ИЛИ
СКЕЛЕТ В ШКАФУ

Перевод А. Иорданского

Cakes and Ale, or The Skeleton in the Cupboard

1930

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Этот роман я сначала задумал как рассказ, и к тому же не очень длинный. Вот какую запись я сделал, когда у меня появился его замысел: «Меня просят написать воспоминания о знаменитом романисте, друге моего детства, живущем в У. с женой, заурядной женщиной, отнюдь не сохраняющей ему верности. Там он пишет свои великие произведения. Позже он женится на своей секретарше, которая с ним нянчится и делает из него выдающуюся личность. Мои размышления о том, не вызывает ли у него даже в преклонном возрасте некоторого беспокойства то, что его превращают в монумент».

В то время я писал серию рассказов для журнала «Космополитен». Согласно контракту, каждый из них должен был иметь размер от 1200 до 1500 слов, чтобы вместе с картинкой занимать не больше полосы журнала. Иногда я давал себе волю — тогда картинка переходила на противоположную полосу, и мне освобождалось еще немного места. Я решил, что этот сюжет пригодится для такой цели, и держал его в запасе.

Но образ Розы я вынашивал уже давно. Многие годы я хотел о ней написать, но для этого все не представлялось удобным случаем. Я никак не мог изобрести такую ситуацию, в которой для нее нашлось бы подходящее место, и уже начал было думать, что из этого так ничего и не получится. Да и не очень я об этом жалел. Персонаж, живущий в голове автора, еще не написанный, остается в полной его власти; мысли автора постоянно к нему возвращаются, воображение понемногу его обогащает, и все это время автор испытывает своеобразное наслаждение от того, что там, у него в голове, живет разнообразной

и трепетной жизнью некто покорный капризам его фантазии и в то же время каким-то странным образом наделенный собственной, от него не зависящей волей. Но как только образ перенесен на бумагу, он больше не принадлежит писателю. Он забыт. Просто удивительно, насколько безвозвратно перестает после этого существовать личность, которая на протяжении, может быть, многих лет занимала ваши мысли.

И вдруг мне пришло в голову, что в моем наброске есть тот самый подходящий для этого персонажа фон, который я искал. Сделаю-ка я ее женой моего знаменитого романиста! Я понял, что такой сюжет мне никак не втиснуть и в две тысячи слов, и поэтому решил немного повременить и воспользоваться этим материалом для одного из рассказов подлиннее, на 14—15 тысяч слов, с которыми начиная с «Дождя» я не без успеха выступал. Но чем больше я размышлял, тем меньше мне хотелось потратить свою Розу даже на такой рассказ. На меня нахлынули старые воспоминания. Я понял, что сказал еще далеко не все, что хотел, о городке У. из своего наброска, который в «Бремени страстей человеческих» назвал Блэкстеблом. Почему бы теперь спустя столько лет не подойти ближе к подлинным фактам? Так дядя Уильям, священник из Блэкстебла, и его жена Изабелла превратились в приходского священника дядю Генри и его жену Софи. А Филип Кэри из той, ранней, книги в «Пирогох и пиве» стал «мною».

Когда книга вышла, она навлекла на меня с разных сторон обвинения в том, будто под именем Эдуарда Дриффилда я изобразил Томаса Гарди. Но я такого намерения не имел. Гарди подразумевался мной не в большей степени, чем Джордж Мередит или Анатоль Франс. Как видно из того первого наброска, моя мысль состояла в том, что преклонение, окружающее писателя, когда он находился на склоне лет и на вершине славы, должно быть, раздражает в нем ту живую искорку духа, которая все еще сохранила способность откликаться на полеты его фантазии. Я подумал, что ему, наверное, приходит в голову множество странных, беспокойных дум, хотя внешне он хранит то достоинство, какого требуют от него почитатели.

Когда я в восемнадцатилетнем возрасте прочитал «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», я пришел в такой восторг, что твердо решил жениться на молочнице; но другие книги Гарди не производили на меня такого сильного впечатления, как на большинство моих современников, и я не считал его таким уж блестящим стилистом. Он никогда не ин-

тересовал меня так, как одно время Джордж Мередит, а позже — Анатоль Франс. Биографию Гарди я знал плохо. Да и теперь я знаю ее лишь настолько, чтобы с уверенностью утверждать: совпадения между ней и жизнью Эдуарда Дриффилда очень незначительны. Они сводятся только к тому, что оба начинали в бедности и оба были женаты дважды.

Встречался с Томасом Гарди я всего один раз. Это было на обеде у леди Сент-Хельер, более известной в светском обществе того времени под именем леди Жен. Она, хотя и жила в гораздо более чопорном мире, чем нынешний, любила приглашать к себе каждого, кто так или иначе привлек внимание публики. А я был тогда популярным и модным драматургом. Это был один из тех пышных обедов, какие устраивались до войны, — с множеством блюд, с супом и бульоном, рыбой, несколькими горячими закусками, шербетом (чтобы гости могли перевести дух), жарким, дичью, десертом, мороженым и сладким. За столом сидело двадцать четыре человека, и каждый из них был персоне, чем-нибудь выдающаяся: или почетным титулом, или положением в обществе, или своим вкладом в искусство. Когда дамы удалились в гостиную, моим соседом оказался Томас Гарди. Помню, это был маленький человечек с грубыми чертами лица. Одетый во фрак и крахмальную рубашку со стоячим воротничком, он все равно чем-то странно напоминал о земле. Он был любезен и учтив. Меня тогда поразила в нем какая-то любопытная смесь застенчивости и самоуверенности. Не помню, о чем мы говорили, но знаю, что разговор продолжался три четверти часа. Под конец он удостоил меня большого комплимента — спросил (не слышав раньше моего имени), чем я занимаюсь.

Говорят, что в образе Элроя Кира два-три писателя нашли намек на себя. Но они ошиблись. Этот персонаж — собирательный: от одного писателя я взял внешность, от другого — тягу к хорошему обществу, от третьего — сердечность, от четвертого — гордость своей спортивной удалей, и вдобавок довольно много — от себя самого. Дело в том, что я обладаю незавидной способностью сознавать свою собственную нелепость и нахожу в себе много достойного осмеяния. Думаю, именно поэтому (если верить всему, что я часто о себе слышу и читаю) я вижу людей в не столь лестном свете, как многие авторы, таким злополучным свойством не обладающие. Ведь все образы, которые мы создаем, — это лишь копии с нас самих. Конечно, не исключено, что другие писатели и в самом деле благороднее,

бескорыстнее, добродетельнее и возвышеннее меня. В таком случае естественно, что они, будучи сами ангелами во плоти, создают своих героев по собственному образу и подобию.

Когда же я захотел нарисовать портрет писателя, который пользуется любимыми средствами, чтобы разрекламировать свои книги и обеспечить им сбег, мне не нужно было присматриваться к какому-то определенному человеку: это слишком обычное явление. К тому же оно не может не вызывать сочувствия. Каждый год остаются незамеченными сотни книг, многие из которых обладают большими достоинствами. Автор каждой такой книги писал ее много месяцев, а думал о ней, может быть, много лет; он вложил в нее какую-то часть самого себя, которой он после этого уже навсегда лишился. Сердце разрывается, когда думаешь, как велика вероятность, что эта книга потеряется в потоке произведений, загромождающих столы критиков и обременяющих полки книжных лавок. Ничего нет противоестественного в том, что автор пользуется для привлечения внимания публики любимыми доступными ему средствами. Что именно следует для этого делать, его учит опыт. Он должен превратиться в общественного деятеля; он должен постоянно находиться в поле зрения. Он должен давать интервью и добиваться, чтобы его фотографии печатали в газетах. Он должен писать письма в «Таймс», выступать на митингах и заниматься социальными проблемами, он должен произносить послеобеденные речи; он должен высказываться о книгах, которые рекламируют издатели: и он должен неукоснительно появляться там, где нужно, в те моменты, когда нужно. Он не должен допускать, чтобы о нем забыли. Это нелегкая и беспокойная работа, ибо ошибка может дорого ему обойтись. Было бы жестоко не сочувствовать автору, прилагающему такие усилия, чтобы уговорить мир прочесть книгу, которую он искренне считает этого достойной.

Есть лишь один вид рекламы, который я презираю,— это вечера, устраиваемые по выходе книги. Автор обеспечивает присутствие на таком вечере фотографа, приглашает светских хроникеров и всех выдающихся людей, с которыми знаком. Хроникеры, по крайней мере, хоть уделяют ему абзац в своих статьях, а фотографии печатаются в иллюстрированных журналах,—выдающиеся же люди приходят только за тем, чтобы получить даром экземпляр книги с автографом. Этот позорный обычай не становится менее предосудительным в тех случаях, когда предполагается

(иногда, несомненно, справедливо), что вечер устроен за счет издателя. Когда я писал «Пироги и пиво», такие вечера еще не вошли в моду, а они могли бы дать мне материал еще для одной яркой главы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я заметил, что, когда кто-нибудь звонит вам по телефону и, не застав вас дома, просит передать, чтобы вы немедленно, как только придете, позвонили ему по важному делу, дело это обычно оказывается важным не столько для вас, сколько для него. В тех случаях, когда речь идет о том, чтобы сделать вам подарок или оказать услугу, большинство людей способно взять себя в руки и не проявлять чрезмерного нетерпения. Поэтому, когда я пришел домой как раз вовремя, чтобы успеть выпить рюмочку, покурить, прочитать газету и одеться к обеду, и узнал от своей квартирной хозяйки мисс Феллоуз, что меня просил немедленно позвонить мистер Элрой Кир, то я решил, что вполне могу пренебречь его просьбой.

— Это не тот писатель? — спросила она.

— Он самый.

Она ласково взглянула на телефон.

— Соединить вас с ним?

— Нет, спасибо.

— А что сказать, если он опять будет звонить?

— Спросите его, что мне передать.

— Хорошо, сэр.

Мисс Феллоуз осталась недовольна. Она захватила пустой сифон, окинула взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и вышла. Мисс Феллоуз — большая любительница литературы. Я не сомневаюсь, что она прочла все книги, написанные Роем. И была от них в восторге — об этом свидетельствовало то, что она явно не одобрила мое пренебрежение к его звонку.

Вернувшись домой снова, я нашел на буфете записку, написанную ее крупным, разборчивым почерком: «Мистер Кир звонил два раза. Не можете ли вы завтра с ним пообедать? Если нет, то какой день был бы вам удобен?»

Я удивленно поднял брови. В последний раз я виделся с Роем три месяца назад, да и то всего каких-нибудь несколько минут на одном званом обеде. Он был, как всегда, очень дружелюбен и, когда мы расставались, выразил сожаление, что мы так редко видимся.

— Ужасное место этот Лондон,— сказал он.— Вечно не хватает времени повидать тех, кого хочется. Давайте на будущей неделе как-нибудь вместе пообедаем, а?

— С удовольствием,— ответил я.

— Я загляну в свою записную книжку, как приеду домой, и позвоню вам.

— Ладно.

Я знаком с Роем уже двадцать лет и знаю, что маленькая записная книжка, куда он записывает все назначенные свидания, всегда у него с собой, в верхнем левом кармане жилета. Поэтому я не удивился, так и не дождавшись его звонка. И теперь я никак не мог заставить себя поверить, что он бескорыстно стремится проявить гостеприимство. Куря трубку перед сном, я перебирал возможные причины, по которым Рою могло понадобиться, чтобы я с ним пообедал. Может быть, какая-нибудь его поклонница пристала к нему с просьбой познакомить ее со мной; может быть, эту встречу просил организовать приехавший на несколько дней в Лондон американский издатель. Но я был бы несправедлив к своему старому приятелю, если бы подумал, что у него не хватит изобретательности выкрутиться. Кроме того, он просил назначить день по моему выбору, а значит, вряд ли собирался с кем-то меня свести.

Никто не может лучше Роя проявить самую искреннюю сердечность по отношению к собрату писателю, чье имя у всех на устах; и никто не может столь же добродушно отвернуться от него, когда бездеятельность, неудача или чужой успех затмевают его славу. У всякого писателя бывают взлеты и падения, и я прекрасно сознавал, что в тот момент не находился в центре внимания публики. Очевидно, я мог бы найти повод вежливо отклонить приглашение Роя, хотя он человек решительный, и если бы ему для каких-то своих целей понадобилось встретиться со мной, то остановить его можно было бы, только недвусмысленно послав к черту. Но меня одолело любопытство. Кроме того, я питаю к Рою самые теплые чувства.

Я с восхищением следил за его успехами в литературном мире. Его карьера могла бы служить образцом для любого начинающего писателя. Не припомню ни одного из своих современников, кто добился бы такого значительного положения с таким небольшим талантом. Талант Роя, как умеренная доза лекарства, мог бы уместиться в одной столовой ложке. Он прекрасно это понимал, и временами ему, должно быть, казалось почти чудом, что он ухитрился сочинить уже около тридцати книг. Я не могу не предположить, что

он впервые прозрел, прочитав, что гениальность, как сказал однажды в послеобеденной речи Томас Карлайл,— не что иное, как бесконечная работоспособность. Это запало ему в голову. «Если все дело в этом,— сказал, вероятно, он себе,— то и я могу быть гением не хуже других». И когда один экзальтированный критик на страницах дамского журнала впервые назвал его гением (а в последнее время критики делают это все чаще), он, наверное, удовлетворенно вздохнул, как человек, после многочасовых стараний решивший кроссворд. Ни один из тех, кто многие годы был свидетелем его неустанного труда, не может отрицать, что право на гениальность он, во всяком случае, заработал.

Свой жизненный путь Рой начал при довольно благоприятных обстоятельствах. Он был единственный сын государственного деятеля, который, прослужив много лет в колониальной администрации Гонконга, закончил свою карьеру губернатором Ямайки. Отыскав Элроя Кира на убогих страницах справочника «Кто есть кто», вы могли бы прочесть: «Един. с. сэра Реймонда Кира (см.), КОМГ¹, КОВ², и Эмили, мл. доч. покойного генерал-майора Перси Кэмпердауна (Индийская армия)».

Образование Рой получил в Винчестере и в Новом колледже Оксфорда. Он был президентом студенческого общества и, если бы, к несчастью, не заболел корью, то вполне мог бы войти в университетскую команду на ежегодных лодочных гонках. Годы учения он провел без особого блеска, но зато вполне добропорядочно и долгов к окончанию университета не имел. Даже тогда он отличался бережливостью, не проявлял склонности сорить деньгами и был примерным сыном. Он знал, что его родители многим пожертвовали, чтобы дать ему такое дорогостоящее образование. Отец его, выйдя в отставку, жил в скромном, но вполне приличном доме близ Струда, в Глостершире, и время от времени приезжал в Лондон, чтобы присутствовать на парадных обедах, имевших отношение к колониям, которыми он когда-то управлял. В таких случаях он обычно заходил в клуб «Атенеум», где состоял членом. Через старого приятеля по клубу он сумел добиться, чтобы Роя по окончании Оксфорда взяли в наставники к сыну одного очень знатного лорда, отличавшемуся слабым здоровьем. Это позволило Рою смолodu познакомиться с высшим светом. Такой возможности он не упустил. В его

¹ КОМГ — командир ордена св. Михаила и св. Георгия.

² КОВ — командир ордена Виктории.

книгах не найти тех ляпсусов, какие попадаются в произведениях писателей, изучавших жизнь светского общества лишь по иллюстрированным журналам. Он знал, как разговаривают между собой герцоги и как к ним адресуются члены парламента, адвокаты, букмекеры и камердинеры. Есть что-то пленительное в том изяществе, с каким он в своих первых повестях обращается с вице-королями, посланниками, премьер-министрами, членами королевской семьи и высокопоставленными дамами. Он дружелюбен без покровительственности и фамильярен без дерзости. Он не дает вам забыть об их положении, но вместе с вами с удовлетворением сознает, что они созданы из той же плоти, как и каждый из нас. Я всегда жалел, что по приговору моды жизнь аристократии перестала быть подходящей темой для серьезной литературы, и Рой, всегда чуткий к веяниям времени, вынужден в поздних повестях ограничиваться духовным миром присяжных поверенных, бухгалтеров и маклеров. В этих кругах он чувствует себя далеко не так свободно.

Я впервые познакомился с ним вскоре после того, как он перестал быть наставником и целиком посвятил себя литературе. Это был тогда видный, статный молодой человек шести футов роста, атлетического сложения, с широкими плечами и уверенными движениями. Он был некрасив, но по-мужски приятен на вид, с большими, честными голубыми глазами и волнистыми светло-каштановыми волосами; у него был довольно короткий, широкий нос и квадратный подбородок. Сразу видно — честный, чистый, здоровый человек.

Он много занимался спортом. Прочитав в его ранних книгах такие точные и яркие описания охоты с гончими, нельзя было усомниться в том, что он писал по собственному опыту; до самого последнего времени он, бывало, покидал свой письменный стол, чтобы денек поохотиться. Его первый роман вышел в те времена, когда литераторы, чтобы показать свою мужественность, пили пиво и играли в крикет; и в течение нескольких лет трудно было найти такую литературную команду, где не фигурировало бы его имя. Не знаю почему, но эта литературная школа сейчас утратила былое великолепие, на ее книги не обращают внимания, и, хотя их авторы остались крикетистами, им все труднее печатать свои произведения. Рой уже много лет назад бросил крикет и выработал у себя тонкий вкус к красным сухим винам.

Когда вышла первая повесть Роя, он держался очень скромно. Повесть была невелика, написана добротнo и, как

и все, что он писал с тех пор, без единой погрешности против хорошего вкуса. Он послал ее с любезным письмом всем тогдашним ведущим писателям и каждому написал, как он восхищается его произведениями, как много почерпнул, изучая их, и как искренне стремится следовать, пусть на подобающем расстоянии, по пути, проложенному адресатом. Он приносит свою книгу к ногам великого художника как дань уважения со стороны молодого, начинающего литератора к тому, кого он всегда будет считать своим учителем. Умоляя о снисхождении, сознавая, какая с его стороны дерзость — просить столь занятого человека тратить время на жалкие потуги новичка, он все-таки надеется услышать критическое слово и полезные указания.

Лишь немногие из авторов, к которым он брался, прислали в ответ вежливые отписки. Остальные были польщены и ответили подробно. Книгу они похвалили, а автора многие пригласили на обед. Их не могла не покориť такая искренность, не мог не согреть такой энтузиазм. Он просил их совета с трогательным смирением и обещал последовать ему с внушающей доверие непосредственностью. Вот человек, почувствовали они, на которого стоит потратить кое-какие усилия.

Повесть имела значительный успех. Она принесла ему обширные знакомства в литературных кругах, и вскоре ни одно парадное чаепитие в Блумсбери, Кэмден-Хилле или Вестминстере не обходилось без Роя, передающего бутерброды или поспешающего на помощь пожилой леди, чтобы взять у нее пустую чашку. Он был так молод, весел, прям, так заразительно смеялся чужим шуткам, что не мог не нравиться. Он вступил в обеденные клубы, члены которых — литераторы, молодые адвокаты и дамы в ярких платьях, увешанные бусами, — собирались в отелях Виктория-стрит или Холборна, чтобы съесть обед за три с половиной шиллинга и поговорить об искусстве и литературе. Скоро у него обнаружили немалые способности к произнесению послеобеденных речей. Он был так мил, что братья писателя, его современники и соперники, простили ему даже благородное происхождение. Он не скупился на похвалы их незрелым произведениям, а получая на отзыв рукопись, никогда не находил в ней недостатков. Все решили, что он не просто славный парень, но и хороший ценитель литературы.

Рой написал вторую повесть. Он очень старался и не пренебрег советами, полученными от старших братьев по ремеслу. Было лишь справедливо, что многие из них по его

просьбе написали рецензии для газет, с редакторами которых договорился Рой, и было лишь естественно, что рецензии оказались лестными. Повесть имела успех, но не такой, чтобы возбудить у его соперников ревнивые чувства. Наоборот, она подтвердила их подозрение, что он звезд с неба не хватает. Он был отличный парень, ничуть не чванился, и каждый с удовольствием помогал человеку, который никогда не поднимется так высоко, чтобы стать помехой ему самому. Я знаю, что кое-кто теперь горько улыбается, размышляя о своей ошибке.

Но, когда говорят, что слава вскружила Рою голову, это неправда. Рой не утратил той скромности, которая в молодости была самой привлекательной его чертой.

— Я знаю, что я не великий писатель,— говорит он.— В сравнении с гигантами я просто не существую. Я думал, что когда-нибудь напишу действительно великую вещь, но уже давно перестал об этом даже мечтать. Я только хочу, чтобы обо мне говорили: он делает все, на что способен. Я тружусь. Я не позволяю себе никакой небрежности. Помоему, я хорошо умею строить сюжет, могу создавать героев, похожих на живых людей. Ну и, в конце концов, все проверяется на практике: в Англии было продано тридцать пять тысяч экземпляров «Игольного ушка», а в Америке — восемьдесят тысяч, и за право печатать мою следующую вещь предлагают столько, сколько мне никогда еще не платили.

В конце концов, что, кроме скромности, побуждает его даже сейчас писать рецензентам, благодарить их за похвалу и приглашать на обед? Больше того, когда кто-нибудь резко его критикует,— а Рой, особенно с тех пор, как его репутация упрочилась, не раз подвергался очень злобным нападкам,— он, в отличие от большинства из нас, не может просто пожать плечами, обругать про себя негодяя, которому не понравилась книга, и забыть об этом. Рой посылает критику длинное письмо, рассказывает, как ему жаль, что книга показалась плохой, но что рецензия сама по себе так интересна и, он берет на себя смелость сказать, свидетельствует о таком критическом чутье и вкусе, что он чувствует себя обязанным написать это письмо. Никто более его не стремится совершенствоваться, и он надеется, что еще способен чему-то научиться. Он не хотел бы навязываться, но если у критика нет никаких дел в среду или четверг, то не может ли критик пообедать с ним в «Савое» и объяснить: почему же именно он счел книгу столь плохой?

Никто не может заказать обед лучше Роя, и обычно оказывается, что, проглотив полдюжины устриц и хороший

кусок седла молодого барашка, критик проглотил и свои претензии к Рою. Всего лишь справедливо, что, когда выходит следующая книга Роя, критик видит в ней большой шаг вперед.

Одна из трудностей, с которыми приходится сталкиваться в жизни, состоит в том, как быть с людьми, которые когда-то были вашими друзьями, но со временем перестали вас интересоваться. Если положение обеих сторон по-прежнему скромно, то разрыв происходит сам собой и не оставляет никакого следа. Но если один из двоих достиг известности, то дело осложняется. У него множество новых друзей, но старые неумолимы; он очень занят, но они считают, что имеют преимущественное право на его время; если он не бежит по первому их зову, они вздыхают и, пожав плечами, говорят: «Ну что ж, ты, наверное, не лучше других. Как стал теперь большим человеком, так со мной и видаться не пожелает».

Разумеется, именно так он и хотел бы поступить, если бы у него хватило мужества. Но в большинстве случаев мужества не хватает. Он поддается и принимает приглашение на воскресный ужин. Холодный ростбиф оказывается чересчур холодным, сделанным из мороженого австралийского мяса, да еще пережаренным; а уж бургундское... и почему только они называют это бургундским? Неужели они никогда не бывали в Боне и не жили в «Отель-де-ля-пост»? Конечно, приятно поболтать о добром старом времени, когда вы делили в мансарде корку хлеба; но вам становится немного не по себе при мысли о том, как недалеко ушла от мансарды комната, в которой вы сидите. Вы успокаиваетесь, когда друг начинает рассказывать про свои книги, которых не покупают, и про свои рассказы, которых не печатают; режиссеры даже не читают его пьес, а когда он сравнивает их с тем, что ставят теперь (тут он бросает на вас укоряющий взгляд), то это, знаешь ли, просто обидно. Вы смущенно отводите глаза и преувеличиваете собственные неудачи, чтобы он понял, что и вам нелегко живется. Вы как можно пренебрежительнее отзываясь о собственных произведениях, и вас слегка коробит, когда выясняется, что мнение о них хозяина совпадает с вашими словами. Вы говорите о непостоянстве публики, давая ему возможность утешиться мыслью, что и ваша популярность недолговечна. Он дружески, но строго критикует вас.

«Я не читал твоей последней книги,— говорит он,— но читал предпоследнюю. Забыл, как она называется».

Вы называете ее.

«Я ожидал от нее большего. По-моему, она не так хороша, как те, что ты писал раньше. Ты знаешь, конечно, какая мне больше всех нравится?»

Это не первый такой случай в вашей практике, и вы смело называете самую первую свою книгу. Вам тогда было двадцать лет, книга была бесхитростной и неумелой, и на каждой ее странице запечатлена ваша неопытность.

«Лучше тебе не написать,— говорит он от души, и вы чувствуете, что вся ваша карьера представляет собой долгий путь упадка по сравнению с той, первой удачей.— Мне все кажется, что ты не совсем оправдал те надежды, которые тогда подавал».

Газовое пламя в камине обжигает вам ноги, но ваши руки холодны как лед. Вы тайком поглядываете на часы и думаете, не обидится ли ваш друг, если вы уйдете в десять. Вы велели шоферу ждать за углом, чтобы машина не стояла у дверей и не оскорбляла своим великолепием бедности друга, но в дверях он говорит:

«Остановка автобуса в конце улицы. Я тебя провожу».

Вы в смущении сознаетесь, что у вас есть машина. Ему кажется очень странным, что она ждет за углом. Вы отвечаете, что это одна из причуд шофера. Когда вы садитесь в машину, друг смотрит на вас со снисходительным превосходством. Вы нервничаете и приглашаете его как-нибудь с вами отобедать. Пообещав прислать ему записку, вы уезжаете, размышляя, не подумает ли он, что вы хвастаете своей шикарной жизнью, если пригласите его в «Кларидж», или что вы скупердьяй, если предложите Сохо.

Рой Кир избавлен от подобных переживаний. Если сказать, что он бросал людей, получив от них все, что мог, это прозвучит грубовато; но чтобы выразить то же самое деликатнее, потребуется столько времени и нужно будет так тонко подбирать легкие, игривые намеки и полутона, что поскольку, в сущности, дело обстоит именно так, то этим можно и ограничиться. Большинство из нас, поступив с кем-нибудь нехорошо, сохраняет к нему злобное чувство. Однако ничем не смущаемая душа Роя чужда такой мелочности. Сделав кому-нибудь большую гадость, он способен не питать потом к этому человеку никакой злобы.

«Бедный старина Смит,— говорит он.— Я так его люблю, он просто прелесть. Жаль, что он на меня злится. Я хотел бы что-нибудь для него сделать. Нет, я его уже много лет не видел. Не стоит пытаться поддерживать старую дружбу. Это болезненно для обеих сторон. Ведь человек вырастает из своих старых привязанностей, и тут уж ничего не поделаешь».

Но если он сталкивается с тем же Смитом на каком-нибудь приеме вроде закрытого вернисажа в Королевской академии,—никто не может быть более сердечным. Он трясет Смита за руку и говорит, как восхищен встречей. Лицо его сияет. Он источает дружеские чувства, как благодатное солнце — свои лучи. Смит приходит в восторг от такой удивительной сердечности: со стороны Роя было чертовски мило сказать, что он не пожалел бы ничего, лишь бы написать такую книгу, как последняя книга Смита.

Если же Рою кажется, что Смит его не видит, он старается отвернуться и смотреть в другую сторону. Однако Смит его видел и остается недоволен тем, что Рой им пренебрег. Смит принимается язвить. Он говорит, что прежде Рой был рад разделить с ним бифштекс в скверном ресторанчике или провести с ним отпуск в рыбацкой хижине в Сент-Айвсе. Смит говорит, что Рой — предатель. Он говорит, что Рой — сноб. Он говорит, что Рой — лицемер.

Однако в этом Смит не прав. Самая яркая черта Элроя Кира — его искренность. Нельзя лицемерить на протяжении двадцати пяти лет. Лицемерие — самый трудный и утомительный порок из всех, которым человек может предаваться. Оно требует постоянной бдительности и редкой целеустремленности. В нем нельзя упражняться на досуге, как в прелюбодеянии или чревоугодии; оно занимает все ваше время. Лицемерие требует еще и циничного юмора, и, хотя Рой много смеется, я никогда не думал, что чувство юмора у него сильно развито; а уж циником он быть не способен — в этом я уверен. Хоть я дочитал до конца лишь некоторые его книги, но начинал читать многие из них. По-моему, печать искренности лежит на каждой из их многочисленных страниц. Именно это, очевидно, и было главной причиной их устойчивой популярности. Рой всегда искренне верил в то, во что в тот момент верили все остальные. Когда он писал повести об аристократии, он искренне верил, что ее представители развращены и аморальны, но все же им присуще известное благородство и врожденная способность управлять Британской империей. Позже, начав писать о средних классах, он искренне верил, что это хребет нации. Его негодяи всегда были гнусными, герои — возвышенными, а девы — чистыми.

Когда Рой приглашает на обед автора лестной рецензии, то делает это потому, что искренне ему благодарен за доброе мнение; а когда приглашает автора нелестной рецензии, то делает это потому, что искренне стремится исправиться. Когда в Лондон приезжают его неизвестные

поклонники из Техаса или Западной Австралии, он водит их по Национальной галерее не только из уважения к своим читателям; он делает это потому, что искренне интересуется впечатлением, которое производит на них искусство.

Чтобы убедиться в его искренности, достаточно послушать, как он читает лекции. Когда он стоит на кафедре, в великолепно сидящем фраке или, если это более уместно, в свободном, не очень новом, но безукоризненно сшитом пиджаке, и серьезно, открыто, но с подкупающей скромностью смотрит на слушателей, нельзя сомневаться, что он относится к своей задаче с полной ответственностью. Хотя время от времени он притворяется, будто не может найти нужное слово, это делается только для того, чтобы оно прозвучало более эффектно. Его голос глубок и мужествен. Он хороший рассказчик и никогда не бывает скучным. Он любит читать лекции о молодых писателях Англии и Америки и разъясняет аудитории их достоинства с жаром, свидетельствующим о его великодушии. Быть может, он говорит даже слишком много, потому что, прослушав его лекцию, вы чувствуете, что уже все о них знаете и что вам вовсе не обязательно читать их книги. Я полагаю, именно поэтому после того, как Рой читает лекцию в каком-нибудь провинциальном городке, никто не покупает ни единой книги тех авторов, о которых он рассказывал, но зато спрос на его собственные всегда повышается.

Его энергия неистощима. Он не только совершал успешные турне по Соединенным Штатам, но и изъездил с лекциями всю Великобританию. Нет такого крохотного клуба или ничтожного кружка самообразования, которым Рой не уделит бы хоть часа. Время от времени он обрабатывает свои лекции и издает их в виде маленьких, аккуратных томиков. Большинство людей, этим интересующихся, по крайней мере, листали его книги «Современные романисты», «Русская литература» и «Некоторые писатели»; и лишь немногие будут отрицать, что в них чувствуется глубокое понимание литературы и личное обаяние автора.

Но этим отнюдь не исчерпывается его деятельность. Он активный член организаций, призванных защищать интересы авторов или облегчать их участь, когда болезнь или старость доводят их до нищеты. Он всегда рад помочь, когда в законодательных органах рассматриваются вопросы авторского права, и всегда готов войти в состав делегаций, посылаемых за границу для установления дружественных отношений между писателями разных стран. На приемах можно рассчитывать на его ответное слово от имени литера-

туры, и он неизменно входит в комиссии для подобающей встречи какой-нибудь заморской литературной знаменитости. Ни один благотворительный базар не обходится без экземпляра хотя бы одной из его книг с автографом. Он никогда не отказывает в интервью. Он справедливо говорит, что никто лучше его не знает трудностей литературного ремесла, и что если он может, приятно поболтав с каким-нибудь скромным журналистом, помочь тому заработать несколько гиней, то у него не хватит жестокости ответить отказом. Обычно он приглашает интервьюера пообедать и редко производит на него невыгодное впечатление. Единственное условие, которое он ставит, заключается в том, чтобы просмотреть статью перед ее опубликованием. Его никогда не выводят из себя газетчики, которые в самые неподходящие моменты звонят знаменитому человеку и требуют сообщить читателям, верит ли он в бога или что ест на завтрак. Он принимает участие во всех публичных диспутах, и все знают, что он думает о сухом законе, вегетарианстве, джазе, чесноке, спорте, браке, политике и месте женщины в доме.

Его взгляды на брак остались абстрактными, ибо он успешно избежал этого состояния, которое столь многие деятели искусства с таким трудом пытались примирить со служением своему призванию. Всем известно, что в течение нескольких лет он питал безнадежную страсть к одной замужней даме из высшего света, и, хотя он говорил о ней не иначе как с рыцарственным преклонением, все догадывались, что она обошлась с ним жестоко. Об этом пережитом им испытании напоминает необычная горечь, которой проникнуты повести, написанные им в середине творческого пути.

Душевные муки, перенесенные им в то время, помогают ему вежливо уклоняться от авансов дам с сомнительной репутацией, которые когда-то были украшением веселых компаний, а теперь стремятся сменить непрочное настоящее на надежный брак с известным писателем. Как только он замечает в их ясных глазах тень брачной конторы, он говорит им, что память о его единственной большой любви не позволит ему принять на себя какие бы то ни было постоянные узы. Его донкихотство может их раздражать, но не может оскорбить. Он едва заметно вздыхает при мысли, что навсегда лишен радостей домашнего очага и отцовства, но он готов на эту жертву. Он заметил, что публика не желает иметь дела с женами писателей и художников. Художник, который повсюду, куда бы ни шел,

берет с собой жену, лишь всем надоедает и поэтому часто оказывается не приглашенным туда, куда бы ему хотелось. Если же он оставляет жену дома, то по возвращении его ждет сцена. Это лишает человека покоя, столь необходимого, чтобы добиться всего, на что он способен. Элрой Кир холост, и теперь, когда ему минуло пятьдесят лет, ему, вероятно, предстоит таковым и остаться.

Он являет собой пример того, что может сделать и до каких высот может подняться писатель благодаря трудолюбию, здравому смыслу, честности и умелому сочетанию разнообразных хитростей и уловок. Он неплохой человек, и лишь злостный критикан мог бы позавидовать его успеху. Я почувствовал, что, если засну с мыслями о нем, это обеспечит мне безмятежный сон. Я нацарапал записку мисс Феллоуз, выколотил пепел из трубки, погасил свет в гостиной и лег спать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда на следующее утро мне принесли газеты и письма, среди них был и ответ на записку, которую я оставил мисс Феллоуз. Он гласил, что мистер Элрой Кир ожидает меня в час пятнадцать в своем клубе на Сент-Джеймс-стрит. Около часа я заглянул в собственный клуб и выпил коктейль — на то, что меня угостит коктейлем Рой, я не особенно надеялся. Потом я не спеша прошелся по Сент-Джеймс-стрит, разглядывая витрины магазинов, и так как до назначенного времени оставалось еще несколько минут (я не хотел быть чересчур пунктуальным), то я зашел в аукционный зал Кристи посмотреть, не приглянется ли мне там что-нибудь. Аукцион уже начался, и стоявшие кучкой смуглые низкорослые люди передавали друг другу серебряные викторианские вещи, а аукционист, скучающим взглядом следя за их движениями, монотонно бормотал: «Предложено десять шиллингов, одиннадцать, одиннадцать с половиной...» Было начало июня, стояла прекрасная погода, воздух на улице был чист и прозрачен, и от этого картины на стенах аукционного зала казались очень тусклыми. Я вышел. Люди шли по улице весело и беззаботно, как будто им в душу проник покой этого дня, и среди своих дел они с удивлением ощутили внезапное желание остановиться и взглянуть в картину жизни.

Клуб Роя принадлежал к числу степенных. В вестибюле находились лишь швейцар преклонных лет и рассыльный, и мне неожиданно пришла в голову печальная мысль, что

все члены клуба отправились хоронить метрдотеля. Когда я произнес фамилию Роя, рассыльный повел меня в пустой коридор, где я оставил шляпу и трость, а потом в пустой холл, стены которого были увешаны портретами государственных мужей эпохи Виктории в натуральную величину. Рой встал с кожаного дивана и радостно поздоровался со мной.

— Пойдемте прямо наверх? — сказал он.

Я оказался прав, полагая, что он не угостит меня коктейлем, и похвалил себя за предусмотрительность. Он повел меня по величественной парадной лестнице, покрытой тяжелым ковром; ни единой души не попалось нам навстречу. Мы вошли в столовую для гостей, где тоже оказались единственными посетителями. Это была комната солидных размеров, очень чистая и белая, с большим окном, украшенным роскошными лепными гирляндами. Мы уселись около него, и сдержанный официант подал нам карточку. Говядина, баранина, холодная лососина, пирог с ревенем, пирог с крыжовником... Пробегая этот неизбежный список, я вздохнул при мысли о ресторанах за углом, где была французская кухня, кипела жизнь и сидели хорошенькие, накрашенные женщины в летних платьях.

— Рекомендую паштет из телятины с ветчиной, — сказал Рой.

— Ладно.

— Салат я смешаю сам, — сказал он официанту небрежно, но властно, а потом, еще раз взглянув в карточку, великодушно добавил:

— А как насчет спаржи?

— Очень хорошо.

Он сделался еще величественнее.

— Спаржу на двоих, и скажите шефу, чтоб выбрал сам. Ну, а что бы вы хотели выпить? Что вы скажете о бутылке рейнвейна? Мы здесь большие любители рейнвейна.

Когда я согласился, он велел официанту позвать управляющего винным погребом. Я не мог не восхищаться тем властным, но безукоризненно вежливым тоном, каким он отдавал приказания. Чувствовалось, что именно так должен хорошо воспитанный король посылать за каким-нибудь своим фельдмаршалом. Дородный управляющий в черном костюме с серебряной цепью на шее — знаком своей должности — поспешил явиться с картой вин в руках. Рой кивнул ему со сдержанной фамильярностью.

— Здравствуйте, Армстронг. Мы хотим «Либфраумильх» двадцать первого года.

— Хорошо, сэр.

— Много его еще осталось? Знаете, ведь больше его не достать.

— Боюсь, что нет, сэр.

— Ну, нечего тревожиться раньше времени. Верно, Армстронг?

Рой добродушно улыбнулся управляющему. Опыт многолетнего общения с членами клуба подсказал тому, что это замечание требовало ответа.

— Да, сэр.

Рой засмеялся и взглянул на меня. Занятный человек этот Армстронг.

— Так вот, заморозьте его, Армстронг. Не слишком, а в самую меру. Покажите моему гостю, что мы здесь понимаем в этом толк.

Он повернулся ко мне.

— Армстронг служит у нас уже сорок восемь лет.

Когда управляющий ушел, Рой сказал:

— Надеюсь, вы не пожалеете, что пришли сюда. Здесь тихо, и мы сможем как следует поговорить. Давненько нам это не удавалось. А вы как будто в прекрасной форме.

Это привлекло мое внимание к внешности Роя.

— Но до вас мне далеко, — ответил я.

— Плоды честной, трезвой и праведной жизни, — засмеялся он. — Много работы. Много спорта. Как ваши успехи в гольфе? Надо будет нам как-нибудь сыграть партию.

Я знал, что Рой прекрасно играет в гольф и что меньше всего он стремится к тому, чтобы потерять целый день с посредственным игроком вроде меня. Но я почувствовал, что мне ничего не грозит, если даже я и приму столь неопределенное приглашение.

Рой выглядел воплощением здоровья. В его вьющихся волосах появилась сильная проседь, но она ему шла и делала еще моложе его открытое, загорелое лицо. Глаза его, глядевшие на мир с таким неподдельным чистосердечием, были ясны и чисты. Он уже утратил былую стройность, и я не удивился, что, когда официант принес булочки, Рой попросил для себя диетических хлебцев. Легкая полнота лишь усугубляла его достоинство: она придавала больший вес его словам. Из-за того, что его движения стали более неторопливыми, чем раньше, вас охватывало приятное чувство доверия к нему; он так плотно заполнял свое кресло, что трудно было отделаться от впечатления, будто он сидит на постаменте.

Не знаю, удалось ли мне, излагая здесь разговор Роя с официантом, показать, что его беседа обычно не отлича-

лась ни остроумием, ни блеском, но он говорил непринужденно и так много смеялся, что иногда казалось, будто его слова и вправду остроумны. У него всегда находилось что сказать, и он мог обсуждать злободневные темы с такой легкостью, что его собеседники не чувствовали никакого напряжения мысли.

Писатели всю жизнь работают над словом, и многим из них свойственна дурная привычка слишком точно подбирать выражения в разговоре. Сами того не замечая, они правильно строят фразы, означающие именно то, что они хотят сказать, — ни больше и ни меньше. Этим они несколько отпугивают лиц из высших слоев общества, чей лексикон ограничен их нехитрыми духовными потребностями, и такие лица не без колебаний вступают с ними в беседу. С Роем никто никогда не чувствовал подобного стеснения. С танцором-гвардейцем он мог разговаривать, пользуясь совершенно понятными ему словами, с графиней — любительницей скачек — мог вести беседу на языке конюхов. О нем с восторгом и облегчением говорили, что он ничуть не похож на писателя. Не было комплимента, который доставлял бы ему большее удовольствие.

Благоразумные люди всегда употребляют множество ходячих фраз, общепринятых эпитетов, глаголов, смысл которых известен лишь тем, кто возвращается в определенном кругу; эти дешевые блески украшают светскую беседу и избавляют от необходимости думать. Американцы, самые изобретательные люди на земле, довели такой способ до столь высокого совершенства и выдумали столь широкий ассортимент многозначительных банальностей, что могут вести занимательный и оживленный разговор, ни на мгновение не задумываясь над тем, что говорят. Это освобождает их мозг для размышления о более важных вопросах — например, о большом бизнесе или о прелюбодеянии. У Роя тоже был обширный репертуар, а чутьем на модные словечки он обладал безошибочным; они в изобилии, но всегда к месту уснащали его речь, и он вставлял их каждый раз с радостной готовностью, как будто только сию минуту их породило его плодотворное воображение.

На этот раз он говорил о том о сем, о наших общих знакомых, о новых книгах, об опере. Он был очень весел. Он всегда отличался жизнерадостностью, но сегодня от его веселья просто захватывало дух. Он сетовал на то, что мы так редко видимся, и с той прямоотой, которая была одной из его приятнейших черт, говорил мне, как он меня любит и какого высокого

обо мне мнения. Я чувствовал, что должен ответить ему тем же дружелюбием. Он расспрашивал меня о книге, которую писал я, а я расспрашивал его о книге, которую писал он. Мы пожаловались друг другу, что ни один из нас не пользуется тем успехом, какого заслуживает. Мы съели паштет из телятины с ветчиной, и Рой рассказал мне, как он смешивает салат. Мы пили рейнвейн и одобрительно причмокивали губами.

А я все думал, когда же он доберется до сути дела. Я не мог заставить себя поверить, что в разгар лондонского сезона Элрой Кир способен потратить целый час на собрата по перу, который не ведет критического раздела и не пользуется никаким влиянием решительно нигде,— только для того, чтобы поговорить о Матиссе, русском балете и Марселе Прусте. Кроме того, за его весельем я смутно чувствовал, что он как будто чего-то ждет. Не знай я, что он процветает, я бы заподозрил его в намерении занять у меня сотню фунтов.

Дело шло к тому, что обед кончится, а ему так и не представится случай высказаться. Я знал, что он осторожен. Может быть, он решил, что лучше воспользоваться этой первой после столь долгой разлуки встречей лишь для восстановления дружеских отношений, и рассматривал нашу приятную, обильную трапезу лишь как приманку?

— Пойдемте пить кофе в соседнюю комнату? — предложил он.

— Пожалуйста.

— По-моему, там удобнее.

Я прошел за ним в другую комнату, гораздо более просторную, с огромными кожаными креслами и необозримыми диванами; на столах здесь лежали газеты и журналы. В углу вполголоса разговаривали два старых джентльмена. Они враждебно взглянули на нас, но это не помешало Рою дружески их приветствовать.

— Здравствуйте, генерал, — воскликнул он, весело кивнув головой.

Я постоял у окна, глядя на открывавшийся за ним радостный день, и пожалел, что плохо знаю исторические события, связанные с Сент-Джеймс-стрит. К моему стыду, я не знал даже названия клуба напротив, а спросить Роя боялся, чтобы он не начал презирать меня за незнание вещей, известных каждому приличному человеку. Он подождал меня, спросил, буду ли я пить с кофе коньяк, и, когда я отказался, продолжал настаивать. Клуб славился своим коньяком. Мы сели рядом на диван у элегантного камина и закурили сигары.

— Здесь со мной обедал Эдуард Дриффилд, когда в последний раз перед смертью был в Лондоне,— небрежно сказал Рой.— Я заставил старика попробовать наш коньяк, и он был в восторге. В прошлое воскресенье я побывал в гостях у его вдовы.

— В самом деле?

— Она передавала вам всяческие приветы.

— Очень мило с ее стороны. Я не думал, что она меня помнит.

— Ну как же, конечно, помнит. Вы обедали там лет шесть назад, верно? Она говорит, что старик был так рад вас видеть.

— Она-то, по-моему, была не очень рада.

— О нет, вы ошибаетесь. Ну, конечно, ей приходилось соблюдать большую осторожность. Старика просто осаждали люди, которые хотели с ним увидеться, и она должна была беречь его силы. Она всегда боялась, что он переутомится. Уж если на то пошло, вообще удивительно, как это он у нее продержался, да еще в здравом уме и твердой памяти, до восьмидесяти четырех лет. После его смерти я довольно-таки часто ее видел. Она очень одинока. В конце концов, она двадцать пять лет только и делала, что ухаживала за ним. А это, знаете, нелегко. Мне ее вправду жаль.

— Она сравнительно молода. Пожалуй, еще выйдет замуж.

— О нет, она не сможет этого сделать. Это было бы ужасно.

Мы пригубили коньяк и помолчали.

— Вы, кажется, один из тех немногих, кто знал Дриффилда, пока он еще не пользовался известностью. Вы когда-то часто с ним виделись, верно?

— Более или менее. Я был почти мальчишкой, а он уже был в летах. Так что закадычными приятелями мы не были.

— Может быть, и нет, но вы, наверное, знаете о нем много такого, чего другие не знают.

— Пожалуй, да.

— А вам никогда не приходило в голову написать о нем воспоминания?

— Что вы, конечно нет!

— А не кажется ли вам, что вы должны это сделать? Это же был один из великих романистов нашего времени. Последний из викторианцев. Исполин. Если каким-нибудь книгам, написанным за последние сто лет, суждено бессмертия, то это его романы.

— Сомневаюсь. Мне они всегда казались довольно скучными.

Рой поглядел на меня смеющимися глазами.

— Как это похоже на вас! Во всяком случае, вы должны признать, что находитесь в меньшинстве. Я, не стыдясь, сознаюсь, что читал его книги не раз и не два, а раз по пять, и с каждым разом они кажутся мне лучше и лучше. Вы читали, что писали о нем после его смерти?

— Кое-что.

— Единодушие было просто потрясающим. Я прочел все.

— Но если везде говорилось одно и то же, стоило ли все читать?

Рой добродушно пожал плечами, но не ответил.

— По-моему, великолепно выступил «Таймс литерари сапплмент». Старик был бы рад, если бы прочел. Я слышал, что «Куортерли» готовит о нем статью в следующем номере.

— А я все равно считаю, что романы у него довольно скучные.

Рой снисходительно улыбнулся.

— Вас не смущает то, что ваше мнение расходится со всеми авторитетами?

— Ничуть. Я пишу уже тридцать пять лет, и вы не можете себе представить, сколько писателей на моих глазах были провозглашены гениями, час-другой наслаждались славой и погружались в забвение. Любопытно, что потом с ними случилось. Умерли они, или попали в сумасшедший дом, или где-нибудь служат? Может быть, они живут в захолустных деревушках и украдкой дают почитать свои книги местному доктору и старым девам из благородных семей? А может, их все еще считают великими людьми в каком-нибудь итальянском пансионе?

— Да, это неудачники. Я знавал таких.

— Вы даже читали о них лекции.

— Приходится. Почему не помочь людям, если можешь и если знаешь, что из них все равно ничего не получится? Черт возьми, можем же мы себе позволить быть великодушными! И потом, у Дриффила нет с ними ничего общего. В полном собрании его сочинений тридцать семь томов, и последний экземпляр был продан на аукционе у Сотби за семьдесят восемь фунтов. Это говорит само за себя. Тиражи его книг росли из года в год и в прошлом году были больше, чем когда-либо раньше. Можете мне поверить, эти цифры показывала мне миссис Дриффила, когда я был там в последний раз. Дриффила останется навсегда.

— Кто знает?

— Ну, по-вашему, вы все знаете,— съязвил Рой в ответ, но я не смутился. Я знал, что мои слова раздражают его, и это доставляло мне удовольствие.

— По-моему, первые впечатления, оставшиеся у меня с детства, были правильными. Мне говорили, что Карлайл — великий писатель, и мне было очень стыдно, когда я убедился, что не могу прочесть «Французскую революцию» и «Сартор ресартус». А кто их читает теперь? Чужие мнения казались мне вернее моих собственных, и я заставлял себя считать великолепным писателем Джорджа Мередита. Но про себя я думал, что он пишет выспренне, неискренне и многословно. Сейчас многие так считают. Мне говорили, что культурный молодой человек должен восхищаться Уолтером Патером, и я им восхищался, но, боже мой, какая скучища его «Мариус»!

— Ну, конечно, Патера, по-моему, теперь в самом деле никто не читает, и от Мередита уже ничего не осталось, а что до Карлайла, то это попросту претенциозный болтун...

— Но вы не представляете, как уверены были все в их бессмертии тридцать лет назад.

— И вы никогда не делали ошибок?

— Одну или две. Я и наполовину так не ценил Ньюмена, как ценю сейчас, а звонкие четверостишия Фицджеральда нравились мне гораздо больше, чем теперь. Я не смог одолеть «Вильгельма Мейстера» Гете, а теперь считаю его шедевром.

— А что из того, что казалось вам хорошим тогда, все еще вам нравится?

— Ну, «Тристрам Шенди», и «Эмилия», и «Ярмарка тщеславия». «Мадам Бовари», «Пармская обитель» и «Анна Каренина». И Вордсворт, и Китс, и Верлен.

— Вы, конечно, извините, но я позволю себе заметить, что это не особенно оригинально.

— Пожалуйста. Я и не думаю, что это оригинально. Но вы спросили, почему я доверяю своему собственному суждению, и я попытался объяснить: что бы я ни утверждал из робости и из уважения к тогдашнему просвещенному мнению, на самом деле я не восхищался некоторыми авторами, которых тогда считали достойными восхищения. И время как будто показало, что я был прав. А то, что мне тогда откровенно и инстинктивно нравилось, выдержало испытание временем и для меня, и для критики вообще.

Рой помолчал. Он заглянул в свою чашку — не знаю, хотел ли он посмотреть, не осталось ли там еще кофе, или пытался найти что сказать. Я поднял глаза на часы над камином. Через минуту я смогу уйти, не нарушая приличий. Может быть, я все-таки ошибался и Рой пригласил меня лишь для того, чтобы поболтать о Шекспире и о музыкальных новинках? Я упрекнул себя за то, что так дурно о нем думал, и бросил на него сочувственный взгляд. Если такова была его единственная цель, это могло означать одно: он устал и разочарован. Такое бескорыстие могло свидетельствовать лишь о том, что, по крайней мере в данный момент, у него на душе скверно.

Но он заметил, что я посмотрел на часы, и заговорил:

— Не понимаю, как вы можете отрицать, что, если человек на протяжении шестидесяти лет пишет книгу за книгой и пользуется все растущей популярностью, — значит, в нем что-то есть? Ведь в Ферн-Корте целые шкафы забиты переводами книг Дриффилда на языки всех цивилизованных народов. Конечно, я согласен, многое из того, что он написал, в наше время кажется слегка старомодным. Он расцвел в неудачную эпоху, и у него осталась склонность к пустословию. Большая часть его сюжетов мелодраматична. Но вы должны согласиться, что одно достоинство у него есть — это чувство прекрасного.

— В самом деле? — сказал я.

— В конце концов, это самое главное, а у Дриффилда нет такой страницы, которая не была бы проникнута чувством прекрасного.

— Да? — сказал я.

— Жаль, что вас не было, когда мы поехали преподнести ему к восьмидесятилетнему юбилею его портрет. Это было действительно памятное событие.

— Я читал об этом в газетах.

— Знаете, там были не только писатели — это было очень представительное общество: наука, политика, деловой мир, искусство, высший свет. Не часто собирается такая коллекция знаменитостей, как та, что вышла тогда из поезда в Блэкстебле. Все были ужасно тронуты, когда премьер вручил старику орден «За заслуги». Он произнес прекрасную речь. Я не стыжусь сказать, что у многих в тот день навернулись слезы на глаза.

— А Дриффилд тоже плакал?

— Нет, он держался на удивление спокойно. Он был как всегда — такой, знаете, чуть застенчивый, скромный, с безупречными манерами. Он, конечно, был полон благо-

дарности, но немного суховат. Миссис Дриффилд боялась, чтобы он не переутомился, и, когда мы сели обедать, он остался в кабинете, а она велела отнести ему кое-что на подносе. Пока все пили кофе, я улизнул к нему. Он курил трубку и глядел на портрет. Я спросил, понравился ли ему портрет. Он ничего не ответил, только чуть улыбнулся. Потом он спросил, как я считаю, можно ли ему вынуть зубные протезы, а я сказал, что нет и что вся депутация сейчас придет прощаться. Потом я спросил, не думает ли он, что это удивительные минуты. «Занятно,— сказал он.— Очень занятно». По-моему, он был просто потрясен. В последние годы он очень неопрятно ел, да и курил тоже — весь обсыпался табаком, когда набивал трубку. Миссис Дриффилд не любила, чтобы он в таком виде показывался людям, но я-то, конечно, был не в счет. Я почистил его, а потом все пришли позвать ему руку, и мы возвратились в город.

Я встал.

— Ну, мне в самом деле пора. Я очень рад, что с вами повидался.

— Я сейчас собираюсь на закрытый вернисаж в Лестерскую галерею. Я там кое-кого знаю. Если хотите, я вас проведу.

— Это очень любезно с вашей стороны, но они прислали мне приглашение. Нет, я, пожалуй, не пойду.

Мы спустились по лестнице, и я взял шляпу. Когда мы вышли на улицу и я повернул в сторону Пикадилли, Рой сказал:

— Я провожу вас до угла.

Он зашагал со мной в ногу.

— Вы ведь знали его первую жену?

— Чью?

— Дриффилда.

— А! — Я уже забыл о нем. — Да.

— Хорошо знали?

— Достаточно хорошо.

— Кажется, она была просто ужасна.

— Этого я что-то не припомню.

— Как будто страшно вульгарная женщина. Ведь она была буфетчицей, да?

— Верно.

— Не понимаю, как его угораздило на ней жениться. Я везде слышал, что она изменяла ему на каждом шагу.

— Да, на каждом шагу.

— Вы вообще-то помните, какая она была?

— Прекрасно помню.— Я улыбнулся.— Она была прелесть.

Рой усмехнулся.

— Большинство о ней другого мнения.

Я промолчал. Мы дошли до Пикадилли, и я, остановившись, протянул ему руку. Он пожал ее, но, как мне показалось, без своей обычной сердечности. У меня осталось впечатление, будто он разочарован нашей встречей. Я не мог понять почему. Он не добился от меня, чего хотел, по той простой причине, что не дал мне ни малейшего намека на то, что бы это могло быть. Не спеша шагая мимо аркады отеля «Риц» и вдоль ограды парка до угла Хаф-Мун-стрит, я размышлял, не было ли мое поведение более обычного отпугивающим. Ясно, что Рой счел случай неподходящим, чтобы просить меня о каком-то одолжении.

Я свернул на Хаф-Мун-стрит. После веселой суматохи Пикадилли здесь царил приятная тишина. Это была почтенная, респектабельная улица. В большинстве домов здесь сдавались квартиры, но об этом не извещали вульгарные объявления: на некоторых об этом гласили начищенные до блеска медные таблички, какие вывешивают врачи, на окнах других было аккуратно выведено: «Квартиры». На одном-двух особенно благопристойных домах просто была обозначена фамилия владельца: не зная, в чем дело, можно было подумать, что здесь помещается портной или ростовщик. В отличие от Джермин-стрит, где тоже сдают комнаты, здесь не было такого напряженного уличного движения; только кое-где у дверей стояли пустые шикарные машины да иногда такси высаживало какую-нибудь пожилую леди. Чувствовалось, что здесь живут не веселые обитатели Джермин-стрит с их чуть сомнительной репутацией — любители скачек, встающие по утрам с головной болью и требующие рюмочку, чтобы прийти в себя, — а респектабельные дамы, приехавшие из провинции на шесть недель в разгар лондонского сезона, и пожилые джентльмены, принадлежащие к клубам, куда не всякого пускают. Чувствовалось, что они из года в год приезжают в один и тот же дом и, может быть, знавали его владельца, еще когда он был в услужении. Моя хозяйка мисс Феллоуз когда-то служила кухаркой в нескольких очень хороших домах, но вы бы никогда об этом не догадались, увидев ее идущей за покупками на рынок. Она не была ни толстой, ни краснолицей, ни неряшливой, какими мы обычно представляем себе кухарок: это была женщина средних лет, худая, с решительным выражением лица; держалась она очень прямо, одевалась

скромно, но по моде, красила губы и носила монокль. Она отличалась деловитостью, хладнокровием, спокойным цинизмом и брала очень дорого.

Я снимал у нее комнаты в первом этаже. Гостиная была обоевана старыми обоями под мрамор, а на стенах висели акварели, изображавшие всякие романтические сцены: кавалеров, расстающихся со своими дамами, и рыцарей былых времен, пирующих в роскошных залах. В комнате стояли высокие папоротники в горшках, а кресла были обиты выцветшей кожей. Комната чем-то странно напоминала о восьмидесятих годах, только за окном вместо собственных экипажей проезжали «крайслеры». Окна задерживались занавесями из тяжелого красного репса.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В этот день у меня было много дел, но разговор с Роем и то ощущение, которое, не знаю почему, сильнее обычного охватило меня, как только я вошел в свою комнату, — ощущение позавчерашнего дня, продолжающего жить в памяти еще не старых людей, — все это побуждало к тому, чтобы погрузиться в воспоминания. Как будто меня обступили все, кто когда-то жил в этой комнате, с их старомодными манерами, в странных одеждах: мужчины с подстриженными бачками и в сюртуках, женщины в юбках с турнюрами и в оборках. Отдаленный городской шум, который я не то слышал, не то воображал (дом стоял в самом конце Хаф-Мун-стрит), и прелесть солнечного июньского дня (*le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui*¹) придали моим грезам особую остроту, не лишенную приятности. Казалось, прошлое, в которое я вглядывался, потеряло свою реальность, и я как будто из заднего ряда темной галерки смотрел сцену из какой-то пьесы. Но возникавшие передо мной картины не смазывались, как в жизни, когда непрерывная толча впечатлений лишает их отчетливости, а были четкими, резкими и определенными, как пейзаж, тщательно выписанный художником середины викторианской эпохи.

По-моему, жизнь сейчас стала интереснее, чем сорок лет назад, и мне кажется, что люди стали общительнее. Конечно, может быть, тогда они были достойнее и добродетельнее или, как говорят, мудрее. Не знаю; знаю только, что они были сварливее, слишком много ели, частенько слишком

¹ Начало стихотворения Ст. Малларме «Лебедь».

много пили и вели слишком малоподвижную жизнь. У них вечно была не в порядке печень, а нередко — и пищеварение. Они были раздражительны. Я говорю не о Лондоне, которого совершенно не знал, пока не стал взрослым, и не о знати, увлекавшейся охотой; я имею в виду провинцию и людей помельче — джентльменов с небольшим доходом, священников, отставных офицеров и тому подобных, тех, кто составлял местное общество. Их жизнь была невероятно скучной. В гольф тогда не играли; кое-где были скверные теннисные корты, но играла в теннис лишь молодежь; раз в год в собрании устраивали танцы; в послеобеденное время те, у кого были экипажи, ездили кататься, а остальные «делали моцион»!

Конечно, они не сознавали, что лишены развлечений, о существовании которых и не подозревали, и увеселяли себя тем, что время от времени устраивали маленькие приемы (чай, на который приходили со своими музыкальными инструментами и исполняли песни Мод Валери Уайт и Тости); но дни тянулись долго, и люди скучали. Соседи, обреченные прожить до конца своих дней в миле друг от друга, ссорились не на жизнь, а на смерть и, ежедневно встречаясь в городе, не здоровались на протяжении двадцати лет. Они были тщеславны, упрямы и своенравны. Такая жизнь нередко порождала необычные типы: люди не были так похожи друг на друга, как сейчас, и создавали себе некоторую известность своими причудами, но поладить с ними было нелегко. Может быть, мы в самом деле легкомысленны и беззаботны, но мы не питаем друг к другу такой подозрительности. Мы грубоваты, но добродушны, более уживчивы и не так чванливы.

Я жил у дяди и тети на окраине маленького приморского городка в Кенте. Город назывался Блэкстебл, и дядя был в нем приходским священником. Тетя происходила из очень знатной, но обедневшей немецкой семьи и принесла с собой в приданое только письменный стол-маркетри, изготовленный по заказу одного из ее предков в семнадцатом веке, и набор бокалов. К тому времени, как я появился на сцене, из них осталось лишь несколько штук, служивших украшением гостиной. Мне очень нравился выгравированный на них большой герб. Там было не знаю сколько полей, значение которых тетя объясняла мне с полной серьезностью, прекрасные геральдические звери и невероятно романтичный шлем, возвышавшийся над короной. Тетя была простодушная, кроткая и благожелательная старая леди, но, хоть она и прожила тридцать лет замужем за скромным

священником с очень небольшим доходом сверх жалованья, она не забыла своего высокородного происхождения. Когда соседний дом снял на лето богатый лондонский банкир, сейчас хорошо известный в финансовых кругах, и мой дядя нанес ему визит (я полагаю, главным образом ради того, чтобы добиться от него пожертвования в фонд поощрения священнослужителей), она отказалась поехать к нему — ведь он был не дворянин. И никто не упрекнул ее в снобизме: все сочли это вполне естественным. У банкира был сын примерно моего возраста, и, уж не помню как, я с ним познакомился. Я до сих пор не забыл, какой последовал спор, когда я попросил разрешения пригласить его к нам. Разрешение было нехотя дано, но побывать в гостях у него мне не позволили. Тетя сказала, что так я, чего доброго, попрошусь в гости и к угольщику, а дядя добавил:

— Дурные знакомства портят хорошие манеры.

Каждое воскресенье банкир приходил в церковь на утреннюю службу и каждый раз оставлял на блюде для пожертвований полсоверена. Но если он думал, что его щедрость производит благоприятное впечатление, он сильно ошибался. Об этом знал весь Блэкстебл, но все считали, что он лишь кичится своим богатством.

Блэкстебл состоял из одной извилистой улицы, выходящей к морю, с маленькими двухэтажными домами. Часть их составляли особняки, но немало было и лавок. От этой улицы отходили короткие улочки, заканчивавшиеся с одной стороны в поле, а с другой — в болотах. Гавань была окружена лабиринтом узких кривых переулков. Уголь в Блэкстебл доставляли пароходами из Ньюкасла, и в гавани кипела жизнь. Когда я подрос настолько, что мне разрешили гулять одному, я часами бродил здесь, разглядывал грубоватых перемазанных моряков в шерстяных фуфайках и смотрел, как разгружают уголь.

В Блэкстебле я и встретился впервые с Эдуардом Дриффилдом. Мне тогда было пятнадцать лет, и я только что приехал на каникулы. В первое же утро я взял полотенце и купальные трусы и отправился на пляж. Небо было чистое, воздух горячий и прозрачный, а Северное море придавало ему особенный привкус, так что просто жить и дышать было наслаждением. Зимой жители Блэкстебла торопливо шагали по пустым улицам, съездившись и стараясь подставить жгучему восточному ветру как можно меньшую поверхность тела. Но теперь они никуда не спешили и стояли кучками между «Герцогом Кентским» и расположенным чуть дальше по улице «Медведем и ключом».

Слышался их протяжный восточноанглийский говор; может быть, он и некрасив, но я до сих пор по старой памяти нахожу в нем какое-то ленивое очарование. У них были розовые лица с голубыми глазами и высокими скулами и светлые волосы. Они производили впечатление чистых, честных и искренних людей. Не думаю, чтобы они отличались особенным умом, но были бесхитростны и простодушны. Выглядели они здоровыми и, несмотря на невысокий рост, были по большей части сильны и подвижны. В то время уличного движения в Блэкстебле почти не существовало, и кучкам людей, болтавших между собой там и сям на дороге, почти не приходилось уступать место экипажам — разве что проезжала двуколка доктора или фургон булочника.

Мимоходом я зашел в банк, чтобы поздороваться с управляющим, который состоял у моего дяди церковным старостой, и, выходя оттуда, встретил дядиного помощника. Он остановился, чтобы пожать мне руку. Его сопровождал какой-то незнакомец, которому он меня не представил. Это был невысокий бородатый человек, одетый довольно безвкусно: светло-коричневый костюм с бриджами, туго обтягивающими ноги ниже колен, темно-синие чулки, черные башмаки и шляпа с низкой тульей и широкими полями. Тогда бриджей почти не носили, и я по молодости лет тут же решил, что это человек дурного тона. Но пока я болтал с дядиным помощником, он дружелюбно смотрел на меня с улыбкой в светло-голубых глазах. Я чувствовал, что ему ничего не стоит присоединиться к нашему разговору, и принял надменный вид. Я не желал, чтобы со мной заговорил этот мужлан, одетый в бриджи, как лесничий, а фамильярно-добродушное выражение его лица меня возмущало. Сам я был одет безукоризненно: белые фланелевые брюки, голубая фланелевая куртка с гербом школы на нагрудном кармане и черно-белая шляпа с очень широкими полями.

Вскоре дядин помощник сказал, что ему пора идти (я был счастлив, потому что никогда не отличался умением закончить уличный разговор и вечно сгорал от застенчивости, тщетно поджидая удобного случая), но добавил, что после обеда зайдет к нам, и попросил передать это дяде. Незнакомец кивнул и улыбнулся мне на прощанье, но я смерил его ледяным взглядом. Я решил, что он дачник, а с дачниками мы в Блэкстебле дела не имели, считая лондонцев вульгарными. Мы говорили: ужасно, что каждый год сюда приезжает вся эта городская шваль, но, конечно,

это необходимо для блага торгового сословия. Впрочем, даже оно вздыхало с некоторым облегчением, когда сентябрь подходил к концу и Блэкстебл вновь погружался в свой обычный мир и покой.

Придя домой к обеду с еще мокрыми, прилипшими к голове волосами, я сказал, что встретил дядиного помощника и что он после обеда придет.

— Сегодня ночью умерла старая миссис Шеперл,— объяснил дядя.

Дядиного помощника звали Гэллоуэй; это был высокий, тощий, нескладный человек с растрепанными черными волосами и маленьким, болезненным смуглым лицом. Вероятно, он был еще совсем молод, но мне казался пожилым. Говорил он очень быстро и сильно жестикулировал. Из-за этого люди считали его немного странным, и мой дядя не взял бы его к себе в помощники, если бы не его огромная энергия: дядя был крайне ленив и очень обрадовался, что нашелся человек, готовый принять на себя столько работы.

Покончив с делами, мистер Гэллоуэй зашел попрощаться с тетей, и она пригласила его остаться пить чай.

— С кем это вы были сегодня утром? — спросил я его, как только он сел.

— О, это Эдуард Дрифилд. Я вас не познакомил, потому что не знал, будет ли ваш дядя доволен таким знакомством.

— Я думаю, это было бы крайне нежелательно,— сказал дядя.

— А почему? Кто он такой? Он не из Блэкстебла?

— Он родился в нашем приходе,— сказал дядя.— Его отец был управляющим у старой мисс Вульф в Ферн-Корте. Но они не принадлежали к нашей церкви.

— Он женился на девушке из Блэкстебла,— сказал мистер Гэллоуэй.

— И венчались, кажется, по нашему обряду,— сказала тетя.— Правда, что она была буфетчицей в «Железнодорожном гербе»?

— Судя по ее виду, вполне могла быть,— ответил мистер Гэллоуэй с улыбкой.

— Надолго они сюда?

— Да, как будто. Они сняли дом в том переулке, где церковь конгрегационалистов.

Хотя новые улицы Блэкстебла, несомненно, имели названия, никто в городе тогда их не знал и не употреблял.

— А он в церковь ходит? — спросил дядя.

— Еще не спрашивал,— ответил мистер Гэллоуэй.— Знаете, он вполне образованный человек.

— Трудно поверить.

— Насколько я знаю, он кончил хэвершемскую школу и получил массу всяких стипендий и призов. Его послали учиться в Уодхэм, но он сбежал и поступил в матросы.

— Я слышал, что он человек довольно легкомысленный,— сказал дядя.

— Но он не похож на моряка,— заметил я.

— О, он это занятие бросил много лет назад. С тех пор кем он только не перебивал.

— Всего понемногу, и ничего толком,— сказал дядя.

— А теперь, насколько мне известно, он писатель.

— Ну, это ненадолго.

Я никогда еще не видел писателя и заинтересовался.

— А что он пишет? — спросил я. — Книжки?

— Кажется,— ответил дядин помощник,— и еще статьи.

В прошлом году весной он напечатал повесть. Он обещал дать ее почитать.

— На вашем месте я не стал бы тратить время на всякую чушь,— сказал дядя, который никогда ничего не читал, кроме «Таймс» и «Гардиан».

— А как она называется? — спросил я.

— Он говорил мне название, но я забыл.

— Во всяком случае, тебе совершенно необязательно это знать,— сказал дядя мне.— Я категорически возражаю против того, чтобы ты читал эту дрянь. Самое лучшее для тебя — провести каникулы на воздухе. К тому же у тебя, кажется, есть задание на лето?

Задание действительно было — «Айвенго». Я читал его, когда мне было десять лет, и теперь перспектива перечитывать его и писать о нем сочинение приводила меня в отчаяние.

Думая о том величии, которого достиг впоследствии Эдуард Дриффилд, я не могу не улыбаться при воспоминании о том, как его персону обсуждали за столом моего дяди. Недавно, после смерти Дриффилда, когда его почитатели начали кампанию за то, чтобы он был погребен в Вестминстерском аббатстве, нынешний блэкстеблский священник, третий по счету после моего дяди, написал письмо в редакцию «Дейли мейл», в котором указал, что Дриффилд родился в этом приходе и не только провел здесь многие годы, особенно на протяжении последних двадцати пяти лет, но и сделал город местом действия нескольких самых знаменитых своих книг; поэтому было бы естественно, чтобы его

прах покоился на том кладбище, где под сенью кентских вязов почивают в мире его отец и мать. Блэкстебл был в восторге, когда вестминстерский настоятель довольно резко отказал в разрешении захоронить Дриффила в аббатстве и миссис Дриффила напечатала в газетах полное достоинства открытое письмо, где выражала уверенность, что исполняет заветное желание покойного мужа, хороня его среди простых людей, которых он так хорошо знал и любил. Если только почтенные горожане Блэкстебла не изменились в корне с тех пор, как я их знал, им должны были не очень понравиться эти слова насчет «простых людей», но, как я узнал впоследствии, они так или иначе всегда терпеть не могли вторую миссис Дриффила.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Два или три дня спустя после обеда с Элроем Кином я, к своему удивлению, получил письмо от вдовы Эдуарда Дриффила. Оно гласило:

«Дорогой друг,

я слышала, что Вы на прошлой неделе имели долгий разговор с Роем об Эдуарде Дриффилде, и была очень рада, узнав, что Вы так хорошо о нем отзывались. Он часто говорил мне о Вас. Он восхищался Вашим талантом и был так рад, когда Вы приехали к нам обедать. Я подумала — нет ли у Вас каких-нибудь писем от него; если есть, не предоставите ли Вы мне их копии? Я была бы очень рада, если бы смогла уговорить Вас приехать сюда ко мне на два-три дня. Я теперь живу очень уединенно, здесь никто не бывает, так что приезжайте, когда Вам будет угодно. Я с удовольствием снова повидаяюсь с Вами, и мы поболтаем о прежних временах. Я хочу попросить Вас об одном одолжении и уверена, что ради моего дорогого покойного мужа Вы мне не откажете.

Всегда искренне Ваша

Эми Дриффила».

Я встречался с миссис Дриффила лишь однажды, и она не вызывала у меня особого интереса. Я не люблю, когда ко мне обращаются «дорогой друг», — одного этого было бы достаточно, чтобы я не принял ее приглашения. Кроме того, меня вообще возмутил самый тон письма: оно было написано так, что какой бы повод для отказа я ни изобрел, все

равно было бы совершенно очевидно, что я просто не пожелал приехать. Писем от Дриффилда у меня не было. Кажется, много лет назад я несколько раз получал от него коротенькие записки, но тогда он был еще никому не известен, и, даже если бы я имел привычку хранить письма, мне никогда не пришло бы в голову сохранить эти. Откуда я мог знать, что его провозгласят величайшим романистом нашего времени? Я заколебался только потому, что, по словам миссис Дриффилд, она хотела о чем-то меня попросить. Это наверняка будет что-нибудь нудное, но отказать было бы невежливо и, в конце концов, ее муж был человек весьма достойный.

Письмо пришло рано утром, и после завтрака я позвонил Рою. Как только его секретарь услышал мое имя, он соединил нас. Если бы я писал детективный рассказ, я немедленно заподозрил бы, что моего звонка ждали, и мои подозрения подтвердил бы бодрый и мужественный голос Роя. Это неестественно, чтобы человек в столь ранний час проявлял такую жизнерадостность.

— Надеюсь, я не разбудил вас? — сказал я.

— Конечно же нет! — Он залился здоровым смехом. — Я на ногах с семи часов. Катался верхом в парке, а теперь как раз собираюсь завтракать. Приезжайте — позавтракаем вместе.

— Я очень люблю вас, Рой, — ответил я, — но вы — не тот человек, завтрак с которым мне доставил бы удовольствие. Кроме того, я уже завтракал. Послушайте, я только что получил письмо от миссис Дриффилд с просьбой приехать к ней в гости.

— Да, она говорила мне, что собирается вас пригласить. Мы можем поехать вместе. У нее вполне приличный корт, и принимает она очень хорошо. Думаю, вам понравится.

— А чего ей от меня нужно?

— Ну, вероятно, она хотела бы сказать вам это сама.

Голос Роя сделался настолько сладким, что мне пришло в голову: именно так он объявил бы будущему отцу семейства о том, что его жена намерена вскорости исполнить его заветное желание. Но на меня это не подействовало.

— Бросьте, Рой, — сказал я. — Старого воробья на мякине не проведешь. Выкладывайте.

Наступила секундная пауза. Я почувствовал, что Рою мой тон не понравился.

— Вы заняты сегодня утром? — спросил он вдруг. — Я хотел бы к вам заехать.

— Хорошо, приезжайте. Я буду дома до двух.

— Я приеду через час.

Я повесил трубку, закурил и еще раз просмотрел письмо от миссис Дриффилд.

Тот обед, о котором она писала, я прекрасно помнил. Как-то я несколько дней отдыхал недалеко от Теркенбери у некой леди Ходмарш — неглупой и хорошенькой американки, жены одного баронета, совершенно лишенного интеллекта, но обладавшего очаровательными манерами. Вероятно, чтобы скрасить монотонность семейной жизни, она часто принимала у себя людей, имевших отношение к искусству, собирая разнообразную и оживленную компанию. Представители знати и дворянства с изумлением и некоторой робостью встречались у нее с художниками, писателями и актерами. Леди Ходмарш не читала книг и не видела картин, написанных людьми, которым оказывала гостеприимство, но ей нравилось их общество, и она любила чувствовать свою причастность к миру искусства. Однажды разговор у нее коснулся Эдуарда Дриффилда — самого знаменитого из ее соседей. Я заметил, что когда-то очень хорошо его знал, и она предложила в понедельник, когда большинство гостей возвратится в Лондон, съездить к нему пообедать. Я заколебался: Дриффилда я не видел уже тридцать пять лет и не мог предположить, чтобы он меня вспомнил, а если и вспомнил бы (впрочем, об этом я умолчал), то, по всей вероятности, без особой радости. Но при этом случился один молодой пэр — некий лорд Скеллион, который проявлял такой бурный интерес к литературе, что, вместо того чтобы править Англией в соответствии со всеми законами божескими и человеческими, тратил всю свою энергию на сочинение детективных романов. Он выразил сильнейшее желание повидать Дриффилда и, как только леди Ходмарш высказала свое предложение, заявил, что это было бы восхитительно. Самой главной гостьей была одна толстая молодая герцогиня, чье преклонение перед знаменитым писателем оказалось настолько сильным, что она была готова отменить назначенные в Лондоне дела и остаться здесь до самого вечера.

— Вот нас уже четверо, — сказала леди Ходмарш. — Думаю, больше они принять и не смогут. Я сейчас же отправлю телеграмму миссис Дриффилд.

Мне ничуть не улыбалось явиться к Дриффилду в этой компании, и я попытался охладить их пыл.

— Мы надоедим ему до смерти, — сказал я. — Он терпеть не может, когда на него сваливается такая толпа незнакомых людей. Он же очень стар.

— Именно поэтому, если они хотят повидать его, пусть сделают это сейчас. Долго он не протянет. А миссис Дриффилд говорит, что он любит общество. У них бывают только доктор и священник, и наш визит будет для него все-таки развлечением. Миссис Дриффилд говорила, что я всегда могу привозить каких-нибудь интересных людей. Конечно, ей приходится быть очень осторожной: к нему навязываются всякие люди, которые мечтают на него поглазеть, и интервьюеры, и авторы, которые хотят, чтобы он прочел их книги, и глупые восторженные женщины. Но миссис Дриффилд просто удивительна. Она к нему никого не пускает, кроме тех, кого, как она считает, ему нужно повидать. То есть он бы не выдержал и недели, если бы принимал каждого, кто хочет с ним встретиться. Ей приходится беречь его силы. Но к нам, конечно, все это не относится.

Ко мне-то, подумал я, это и в самом деле не относится; но, поглядев на герцогиню и на лорда Скэллиона, я заметил, что про себя они тоже так думают, и решил промолчать.

Мы поехали в светло-желтом «роллс-ройсе». Ферн-Корт находился примерно в трех милях от Блэкстебла. Это был оштукатуренный дом, построенный, вероятно, около 1840 года, некрасивый и без всяких претензий, но основательный. И спереди и сзади по обе стороны двери выступали вперед по два широких эркера, и еще два таких же эркера были на втором этаже. Низкую крышу скрывал простой парапет. Дом был окружен садом, занимавшим около акра, где деревья стояли, пожалуй, слишком часто, но выглядели хорошо ухоженными, а из окна гостиной открывался красивый вид на леса и зеленую низину. Гостиная была обставлена в точности так, как полагается обставлять гостиную в скромном загородном доме, и от этого почему-то становилось немного не по себе. На удобных креслах и большом диване были чистые чехлы из яркого ситца, и занавески из того же ситца висели на окнах. На маленьких чиппендейловских столиках стояли большие восточные вазы с душистыми сухими лепестками. На кремовых стенах висели красивые акварели работы художников, пользовавшихся популярностью в начале столетия. Повсюду были изящно расположенные цветы, а на рояле стояли в серебряных рамках фотографии знаменитых актрис, покойных писателей и младших представителей царствующего дома.

Герцогиня, разумеется, воскликнула, что это чудная комната. Как раз такая комната, в какой знаменитый писатель должен проводить остаток своих дней.

Миссис Дриффилд приняла нас скромно, но уверенно. Это была женщина, по-моему, лет сорока пяти, с резкими чертами маленького смуглого лица, в черной шляпке, плотно облегающей голову, и сером костюме. Стройная, среднего роста, она выглядела оживленной, деловой и больше всего напоминала овдовевшую дочь помещика, наделенную незаурядными организаторскими способностями и заправляющую делами прихода.

Миссис Дриффилд познакомила нас с каким-то священником и дамой, которые встали, когда мы вошли. Это оказался приходский священник Блэкстебла с женой. Леди Ходмарш и герцогиня тут же принялись рассыпаться в любезностях, как делают все высокопоставленные особы в разговоре с низшими, чтобы показать, будто они не чувствуют никакой разницы в положении.

Тут вошел Эдуард Дриффилд. Время от времени в иллюстрированных журналах мне попадались на глаза его портреты, но, увидев его воочию, я испугался. Дриффилд оказался меньше ростом, чем я его помнил, и очень худ. Редкие серебристые волосы едва покрывали его голову, а чисто выбритое лицо выглядело как будто прозрачным. У него были выцветшие голубые глаза с красными веками. Казалось, душа еле держится в этом старом-старом человеке. Он носил очень белые зубные протезы, и из-за этого его улыбка производила впечатление натянутой и искусственной. Я в первый раз увидел его без бороды, и оказалось, что у него тонкие, бледные губы. На нем был новый, хорошо сшитый голубой шерстяной костюм, а из-за воротничка, на два-три номера больше, чем нужно, виднелась морщинистая, тощая шея. Аккуратный черный галстук был заколот жемчужной булавкой. Дриффилд напоминал переодетого в обычное платье настоятеля собора, отправившегося отдыхать в Швейцарию.

Миссис Дриффилд быстро окинула его взглядом и ободряюще улыбнулась: вероятно, его безукоризненная внешность ее удовлетворила. Он поздоровался с гостями, сказав каждому несколько вежливых слов. Когда очередь дошла до меня, он заметил:

— Как это мило со стороны такого занятого и пользующегося успехом человека — приехать в эту даль, чтобы повидаться со старым чудаком.

Я был немного огорошен: он говорил так, как будто никогда меня не видел, и я испугался, не подумают ли мои спутники, что я хвастал, говоря о нашем с ним прежнем близком знакомстве. Неужели он совершенно меня забыл?

— Сколько же лет прошло с тех пор, когда мы в последний раз виделись? — сказал я, стараясь говорить бодро.

Он пристально поглядел на меня — вероятно, это продолжалось всего несколько секунд, но мне они показались очень долгими, — и тут я вздрогнул от неожиданности: он мне подмигнул. Это произошло так быстро, что никто, кроме меня, не успел ничего заметить, и так не соответствовало достойному облику старого человека, что я не поверил своим глазам. Уже в следующий момент его лицо снова стало неподвижным, умным, благосклонным и спокойно-выжидательным. В этот момент объявили, что обед подан, и мы гурьбой пошли в столовую.

Столовая тоже представляла собой вершину изящного вкуса. Чиппендейловский буфет украшали серебряные подсвечники. Мы сидели на чиппендейловских стульях за чиппендейловским столом. Посередине в серебряной вазе стояли розы, а вокруг — серебряные блюда с шоколадом и мятными конфетами. Серебряные солонки были начищены до блеска и явно относились к эпохе Георгов. На кремовых стенах висели меццотинто работы сэра Питера Лели с изображением дам, а на камине стояли фигурки из дельфтского фаянса. Прислуживали нам две девушки в коричневой форме, за которыми миссис Дриффилд, не переставая оживленно болтать, внимательно приглядывала. Мне было непонятно, как это она ухитрилась так вышколить этих цветущих кентских девиц (их местное происхождение выдавали здоровый цвет лица и высокие скулы). Обед был как раз такой, какой нужно, приличный, но не парадный: рулет из рыбного филе под белым соусом, жареный цыпленок с молодым картофелем и горошком, спаржа, пюре из крыжовника со взбитыми сливками. И столовая, и обед, и обхождение — все в точности соответствовало положению литератора с большой славой, но умеренными средствами.

Как большинство жен литераторов, миссис Дриффилд любила поговорить и не давала беседе на своем конце стола утихнуть; поэтому как бы нам ни хотелось услышать, что говорит на другом конце ее муж, это оказалось невозможно. Она была весела и полна энергии. Хотя слабое здоровье и почтенный возраст Эдуарда Дриффилда вынуждал ее большую часть года жить за городом, она тем не менее ухитрялась достаточно часто навещать в Лондон, чтобы быть в курсе всех событий, и вскоре она уже оживленно обсуждала с лордом Скэллионом пьесы, идущие в лондонских театрах, и эти ужасные толпы в Королевской академии. Ей пришлось ходить туда два раза, чтобы посмотреть

все картины, и все-таки на акварели времени не хватило. Ей так нравятся акварели — они бесхитростны, а она так ненавидит претенциозность.

Чтобы хозяин и хозяйка могли сидеть напротив друг друга, священник сел рядом с лордом Скэллионом, а его жена — рядом с герцогиней. Герцогиня развлекала ее беседой о жилищах рабочего класса, о которых она явно была гораздо лучше осведомлена, чем жена священника, так что я мог беспрепятственно наблюдать за Эдуардом Дриффилдом. Он разговаривал с леди Ходмарш. По всей видимости, она рассказывала ему, как нужно писать романы, и рекомендовала ему книги, которые он обязательно должен прочесть. Он слушал ее, казалось, с вежливым интересом, время от времени вставляя какое-нибудь замечание — слишком тихо, чтобы я мог расслышать, а когда она отпускала шутку (она это делала часто, и нередко не без успеха), он усмехался и поглядывал на нее с таким видом, как будто хотел сказать: «А эта женщина вовсе не такая уж дура!» Мне вспомнилось прошлое, и я спросил себя — любопытно, что он думает об этом великолепном обществе, о своей прекрасно одетой супруге, такой деловой и уверенной в себе, и об изящной обстановке, в которой живет? Я размышлял о том, не вспоминает ли он с сожалением свою полную приключений молодость, нравится ли ему все это или под его дружеской вежливостью скрывается страшная скука? Вероятно, почувствовав, что я на него смотрю, он поднял на меня глаза. Его задумчивый взгляд, мягкий и в то же время испытывающий, остановился на мне, а потом — на этот раз ошибки быть не могло — он вдруг снова мне подмигнул. В сочетании со старым, морщинистым лицом это было не просто неожиданно — это ошарашивало: я не знал, что делать, и на всякий случай улыбнулся.

Но тут герцогиня вмешалась в разговор на другом конце стола, и жена священника повернулась ко мне.

— Вы знали его много лет назад, ведь верно? — спросила она тихо.

— Да.

Она оглянулась, не слушает ли нас кто-нибудь.

— Знаете, его жена боится, как бы вы не пробудили в нем старых воспоминаний, которые могли бы причинить ему вред. Он ведь очень слаб и может взволноваться от любой мелочи.

— Я буду очень осторожен.

— Просто удивительно, как она о нем заботится. Такая преданность — всем нам пример. Она понимает, какое

бесценное сокровище находится на ее попечении. Ее самоотверженность невозможно описать.

Она еще понизила голос.

— Конечно, он очень стар, а со стариками иногда бывает нелегко, но я ни разу не видела, чтобы она потеряла терпение. Она по-своему не меньше достойна восхищения, чем он.

На такие замечания трудно что-то ответить, но я чувствовал, что ответа от меня ждут.

— Я думаю, при данных обстоятельствах он выглядит прекрасно,— пробормотал я.

— И всем этим он обязан ей.

После обеда мы перешли в гостиную и продолжали разговор стоя. Через две-три минуты ко мне подошел Эдуард Дриффилд. Я в это время беседовал со священником и, не в состоянии придумать ничего лучшего, восхищался прелестным видом из окна. Обратившись к хозяину, я сказал:

— Я как раз говорил, как живописен этот ряд коттеджей там, внизу.

— Отсюда — да.— Дриффилд бросил взгляд на их неровный силуэт, и его тонкие губы изогнулись в иронической усмешке.— В одном из них я родился. Занятно, а?

Но тут к нам подошла миссис Дриффилд — воплощение веселья и общительности. Ее голос был оживлен и мелодичен:

— О Эдуард, герцогине очень хотелось бы посмотреть твой кабинет. Она вот-вот должна уезжать.

— Мне очень жаль, но я должна попасть на поезд в тринадцать из Теркенбери,— сказала герцогиня.

Мы один за другим потянулись в кабинет Дриффилда. Это была большая комната в другом конце дома, выходящая на ту же сторону, что и столовая, с большим выступающим наружу окном. Комната была обставлена в точности так, как преданная жена должна обставлять кабинет своего мужа-писателя. Все здесь было аккуратнейшим образом прибрано, и большие вазы с цветами напоминали о женской руке.

— Вот стол, за которым он написал все свои последние произведения,— сказала миссис Дриффилд, закрывая лежащую на нем переплетом вверх книгу.— Он изображен на фронтисписе третьего тома роскошного издания его сочинений. Это музейная вещь.

Мы восхищались столом, а леди Ходмарш, уловив минуту, когда никто на нее не смотрел, потрогала снизу его крышку, чтобы удостовериться, настоящий ли он. Миссис Дриффилд быстро и весело улыбнулась нам.

— Хотите посмотреть одну из его рукописей?

— С огромным удовольствием,— ответила герцогиня,— а потом я просто должна лететь.

Миссис Дриффилд достала с полки рукопись, переплетенную в голубой сафьян, и, пока все остальные гости благоговейно разглядывали ее, я занялся книгами, которыми были заставлены все стены комнаты. Сначала, как каждый автор, я окинул их взглядом, чтобы посмотреть, нет ли среди них моих, но ни одной не нашел; зато здесь были все книги Элроя Кира и множество романов в ярких обложках, которые выглядели подозрительно нетронутыми. Я сообразил, что это книги, которые авторы присылают Дриффилду в знак уважения к его таланту и, может быть, в надежде получить в ответ несколько похвальных слов, которые можно было бы использовать для рекламы. Но все книги были такие новенькие и так аккуратно расставлены, что, по моему, их читали очень редко. Стоял тут и оксфордский словарь, и полные собрания большинства английских классиков в пышных переплетах — Филдинг, Босуэлл, Хэзлитт и так далее, и еще много книг о море: я узнал разноцветные тома лодий, изданных адмиралтейством. Было еще довольно много книг по садоводству. Комната напоминала скорее не мастерскую писателя, а мемориальный кабинет великого человека; я легко представил себе одинокого туриста, случайно забредшего сюда от нечего делать, и ощутил затхло-ватый, спертый запах музея, который почти никто не посещает. У меня возникло подозрение, что если сейчас Дриффилд и читает что-нибудь, то это «Альманах садовода» и «Мореходная газета», пачку номеров которой я заметил на столе в углу.

Когда дамы посмотрели все, что хотели увидеть, мы попрощались с хозяевами. Но леди Ходмарш отличалась большим тактом, и ей, вероятно, пришло в голову, что хоть я и был главным поводом для визита, но почти не имел возможности поговорить с Дриффилдом. Во всяком случае, уже в дверях она сказала ему, одарив меня дружеской улыбкой:

— Мне было так интересно узнать, что вы с мистером Эшенденом знали друг друга много лет назад. Он был хорошим мальчиком?

Дриффилд бросил на меня свой спокойный иронический взгляд. Мне почудилось, что, если бы тут никого не было, он показал бы мне язык.

— Робок он был,— ответил он.— Я учил его ездить на велосипеде.

Мы снова сели в огромный желтый «роллс-ройс» и уехали.

— Он прелесть,— сказала герцогиня.— Я очень рада, что мы к нему съездили.

— У него такие приятные манеры, не правда ли? — сказала леди Ходмарш.

— Не думали же вы, что он ест горошек с ножа? — спросил я.

— Очень жаль, что нет,— сказал Скэллион.— Это было бы так живописно.

— По-моему, это очень трудно,— заметила герцогиня.— Я много раз пробовала, но горошины все время падают.

— А их нужно натывать на нож,— сказал Скэллион.

— Вовсе нет,— возразила герцогиня.— Их нужно удерживать на плоской стороне, а они катаются как черти.

— А как вам понравилась миссис Дрифилд? — спросила леди Ходмарш.

— По-моему, она на высоте,— ответила герцогиня.

— Он так стар, бедняжка, кто-то должен за ним присматривать. Вы знаете, что она была больничной сиделкой?

— Разве? — удивилась герцогиня.— Мне казалось, она была его секретаршей, или машинисткой, или чем-то в этом роде.

— Она очень мила,— вступилась леди Ходмарш за свою приятельницу.

— О да, вполне.

— Лет двадцать назад он долго болел, и она была у него сиделкой, а потом он поправился и женился на ней.

— Странно, что мужчины делают такие вещи. Она же на много лет моложе его. Ей ведь не больше — ну, сорока, сорока пяти.

— Нет, не думаю. Лет сорок семь. Мне говорили, что она очень много для него сделала. То есть сделала из него вполне приличного человека. Элрой Кир говорил мне, что до того он вел слишком богемную жизнь.

— Как правило, писательские жены просто ужасны.

— Такая тоска иметь с ними дело, верно?

— Невероятная. Удивительно, как они сами этого не понимают.

— Бедняжки, они часто уверены, что люди считают их интересными,— тихо сказал я.

Мы добрались до Теркенбери, высадили герцогиню на станции и поехали дальше.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Эдуард Дриффилд и в самом деле учил меня кататься на велосипеде. С этого и началось наше знакомство. Не знаю, задолго ли до этого времени велосипед был изобретен; знаю лишь, что в захолустном уголке Кента, где я тогда жил, он был в диковинку, и, завидев человека, несущегося на литых шинах, каждый оборачивался и провожал его глазами, пока тот не скрывался из виду. Велосипед все еще оставался предметом острот для пожилых джентльменов, которые говорили, что пока еще вполне могут передвигаться на своих двоих, и пугалом для пожилых дам, которые при виде его шарахались на обочину. Я долго завидовал мальчикам, приехавшим в школу на своих велосипедах. Они имели прекрасную возможность покрасоваться, когда въезжали в ворота, не держась за руль. Я выпросил у дяди позволение завести велосипед, как только начнутся летние каникулы, и хотя тетя была против и говорила, что я только шею на нем сломаю, но дядя поддался на мои уговоры, в особенности потому, что платил за велосипед, конечно, я сам из собственных денег. Я заказал велосипед еще до конца занятий, и через несколько дней посыльный доставил мне его из Теркенбери.

Я был полон решимости научиться ездить самостоятельно: ребята из школы говорили, что им понадобилось на это каких-нибудь полчаса. После многократных попыток я наконец пришел к выводу, что отличаюсь из ряда вон выходящей неуклюжестью. И даже унизившись до того, чтобы позволить садовнику меня поддерживать, я к концу первого дня все равно был так же далек от умения самостоятельно садиться на велосипед, как и в самом начале. Тем не менее на следующий день я решил, что дорожка для экипажей, которая вела к нашему дому, слишком извилиста, и выкатил велосипед на шоссе невдалеке от дома, которое было, как я знал, совершенно ровным, прямым и достаточно безлюдным, чтобы никто не видел, как я буду срамиться. Несколько раз я пытался сесть на велосипед, но каждый раз падал. Я ободрал щиколотки о педали, весь вспотел и обозлился. Примерно через час я пришел к выводу, что господа не угодно, чтобы я научился кататься, но твердо решил наперекор ему добиться своего, боясь и подумать о тех издевках, которые ждут меня со стороны его представителя в Блэкстебле — моего дяди. Тут я с неудовольствием увидел на пустынной дороге

двух велосипедистов. Я немедленно откатил свою машину на обочину и уселся на ступеньку перелаза под изгородью, беззаботно глядя на море, как будто я накатался и теперь просто сижу, погрузившись в созерцание океанских далей. Я старался не глядеть в сторону приближавшихся людей, но знал, что они все ближе и ближе, и уголком глаза мог разглядеть, что это мужчина и женщина. Когда они поравнялись со мной, женщина вдруг резко свернула вбок, врезалась в меня и упала.

— Ох, извините,— сказала она.— Я так и поняла, что упаду, как только вас увидела.

При таких обстоятельствах было совершенно невозможно притворяться, будто ничего не замечаешь, и я, покраснев до ушей, сказал, что это пустяки.

Увидев, что она упала, мужчина слез с велосипеда.

— Не ушиблась? — спросил он.

— О нет.

Тут я узнал его — это был Эдуард Дрифилд, тот писатель, которого я несколько дней назад встретил с дядиным помощником.

— Я только учусь ездить,— сказала его спутница.— И стоит мне что-нибудь увидеть на дороге, как я падаю.

— Вы не племянник священника? — спросил Дрифилд.— Я вас на днях видел. Гэллоуэй сказал мне, кто вы. Познакомьтесь — это моя жена.

Она как-то очень непосредственно протянула мне руку и, когда я взял ее, горячо и крепко пожала мою. Она улыбалась и губами, и глазами, и в этой улыбке я даже тогда почувствовал что-то странно привлекательное. Я смутился. С незнакомыми людьми я всегда впадал в ужасную застенчивость, и поэтому никаких подробностей ее внешности я не заметил. У меня осталось только общее впечатление — довольно крупная светловолосая женщина. Не знаю, заметил ли я тогда или только вспомнил потом, что на ней была широкая синяя шерстяная юбка, розовая блузка с крахмальным передом и воротничком, а на пышных золотистых волосах — соломенная шляпка, какие в те годы назывались «канотье».

— Мне очень нравится кататься на велосипеде, а вам? — спросила она, поглядев на мою великолепную новую машину, прислоненную к изгороди.— Это, должно быть, замечательно, когда хорошо умеешь.

Я почувствовал в ее словах нотку восхищения моей сноровкой.

— Это дело практики,— ответил я.

— У меня сегодня третий урок. Мистер Дриффилд говорит, что у меня прекрасно получается, но я чувствую себя такой неуклюжей, что просто досадно. Сколько вам понадобилось времени, чтобы научиться?

Я покраснел до корней волос и едва выдавил из себя позорное признание.

— Я не умею,— сказал я.— Я только что купил велосипед и пробую в первый раз.

Здесь я немного слукавил, но успокоил свою совесть, добавив про себя: «Если не считать вчерашнего, у себя в саду».

— Если хотите, я вас поучу,— добродушно предложил Дриффилд.— Поехали!

— Нет, что вы,— возразил я.— Разве я могу...

— А почему бы и нет? — сказала его жена, а ее голубые глаза все так же дружески мне улыбались.— Мистер Дриффилд с удовольствием это сделает, а я пока немного отдохну.

Дриффилд взял мой велосипед, а я хоть и стеснялся, но не мог противиться его дружескому настоянию и неловко взгромоздился в седло. Меня качало из стороны в сторону, но он поддерживал меня своей сильной рукой.

— Быстрее,— подгонял он.

Мотаясь от одной обочины к другой, я нажимал на педали, а он бежал рядом. Когда, несмотря на его усилия, я все-таки свалился, нам обоим было очень жарко. При таких обстоятельствах трудновато сохранять высокомерие, подобающее племяннику священника по отношению к сыну управляющего мисс Вулф, и когда я пустился в обратный путь и какие-нибудь тридцать или сорок метров проехал сам, а миссис Дриффилд, подбоченясь, выбежала на середину дороги и закричала: «Давай! Давай! Два против одного на фаворита!»— я так смеялся, что совершенно забыл о своем положении в обществе. Мне удалось слезть самостоятельно, и мое лицо, несомненно, выражало полное торжество, когда я без всякой застенчивости выслушивал поздравления Дриффилдов с тем, что в первый же день научился ездить.

— Попробую — может, и я смогу сама,— сказала миссис Дриффилд, я снова присел на ступеньку и вместе с Дриффилдом смотрел на ее безуспешные старания.

Потом, немного огорченная, но не унывающая, она уселась отдохнуть рядом со мной. Дриффилд закурил трубку, и мы принялись болтать. Тогда я еще, конечно, этого не понимал, но теперь знаю, что она держалась

с обезоруживающей простотой, так что каждый чувствовал себя с ней совершенно свободно. Говорила она оживленно, как ребенок, кипящий радостью жизни, а в ее глазах постоянно светилась обаятельная улыбка. Я не понимал тогда, почему эта улыбка мне так нравится. Я бы, пожалуй, назвал ее чуть-чуть лукавой, но лукавство — качество неприятное, а она улыбалась слишком невинно. Ее улыбка была скорее шаловливой, как у ребенка, который сделал что-то, что он считает смешным, но не сомневается, что вам это покажется озорством; и в то же время он знает, что вы на самом деле не очень рассердитесь, и если сами не догадаетесь сразу, он придет и все расскажет. Но тогда я, конечно, понимал только одно: когда она улыбалась, мне становилось хорошо.

Вскоре Дриффилд посмотрел на часы и сказал, что им пора. Он предложил нам всем вместе с шиком поехать обратно. Как раз в это время дядя и тетя должны были возвращаться домой после ежедневной прогулки по городу, и мне не хотелось рисковать, что меня увидят с людьми, которые им не нравились. Поэтому я попросил Дриффилдов ехать вперед: ведь они едут быстрее меня. Миссис Дриффилд не хотела об этом и слышать, а Дриффилд как-то странно на меня взглянул, и у него в глазах проскочила веселая искорка. Я подумал, что он понял мою уловку, и покраснел, а он сказал:

— Пусть едет один, Роза. В одиночку ему будет легче.

— Ну, ладно. Вы будете здесь завтра? Мы приедем.

— Постараюсь, — ответил я.

Они уехали, а я через несколько минут последовал за ними. Очень довольный собой, я доехал до самых ворот и ни разу не упал. Наверное, за обедом я немало хвастался, но о своей встрече с Дриффилдами умолчал.

На следующий день, около одиннадцати часов, я вывел свой велосипед из каретного сарая (так его называли, хотя там не было даже двуколки, — садовник держал в нем свою косилку для газонов и каток да Мэри-Энн — корм для цыплят). Я подвел велосипед к воротам, не без труда сел на него и поехал по дороге на Теркенбери до старого шлагбаума, а там свернул на проселок.

Небо было голубое, воздух теплый и в то же время свежий, как будто потрескивал от жары. Яркий, но не слепящий солнечный свет падал на дорогу и, казалось, отскакивал от нее, как резиновый мячик.

Я катался взад и вперед, поджидая Дриффилдов, и скоро они показались. Я помахал им, развернулся (для чего

мне пришлось слезть), и мы покатали вместе. Миссис Дриффилд и я поздравили друг друга с достигнутыми успехами. Мы ехали старательно, мертвой хваткой вцепившись в руль, но торжествовали, и Дриффилд сказал, что, как только мы освоимся, нужно будет объездить все окрестности.

— Я хочу снять оттиски с нескольких бронзовых надгробий здесь поблизости, — сказал он.

Я не знал, что это такое, но он не стал объяснять.

— Потерпите, я вам покажу, — пообещал он. — Как вы думаете, под силу вам будет завтра проехать четырнадцать миль — семь туда и семь обратно?

— Конечно.

— Я захвачу для вас бумаги и воску, и вы сами сможете снять оттиски. Только попросите разрешения у дяди.

— Это вовсе не обязательно.

— Все-таки лучше попросите.

Миссис Дриффилд бросила на меня этот свой особенный взгляд, озорной и в то же время дружеский, и я покраснел. Я знал, что если спрошусь у дяди, то он скажет «нет», лучше уж ничего ему не говорить. Но как только мы двинулись дальше, я увидел, что навстречу едет в двуколке доктор. Когда он проезжал мимо, я глядел прямо перед собой в тщетной надежде, что, если я на него не посмотрю, он меня не заметит. Мне было не по себе. Если он меня видел, об этом быстро станет известно дяде или тете, и я размышлял, не будет ли безопаснее самому раскрыть секрет, который все равно больше хранить не удастся. Прощаясь со мной у наших ворот (мне пришлось вместе с ними доехать до самого дома), Дриффилд сказал, что, если мне можно будет завтра кататься с ними, лучше всего зайти к ним как можно раньше.

— Вы знаете, где мы живем? Рядом с церковью конгрегационалистов. Дом называется Лайм-коттедж.

За обедом я только и ждал повода невзначай сообщить, что случайно повстречал Дриффилда; но в Блэкстебле слухи распространяются быстрее.

— С кем это ты катался утром? — спросила тетя. — Мы встретили в городе доктора Энсти, и он сказал, что видел тебя.

Дядя с недовольным видом жевал ростбиф, угрюмо глядя в тарелку.

— Это Дриффилды, — ответил я небрежно. — Знаете, тот писатель. Мистер Гэллоуэй их знает.

— Они очень дурные люди, — сказал дядя. — Я не желаю, чтобы ты с ними общался.

— А почему? — спросил я.

— Я не собираюсь тебе объяснять. Достаточно того, что я этого не желаю.

— Как тебя угораздило, с ними познакомиться? — спросила тетя.

— Просто я катался, и они катались, и предложили мне проехаться с ними, — приврал я.

— Какая навязчивость, — сказал дядя.

Я надулся. Тут подали сладкое, и, хотя это был мой любимый пирог с малиной, я, чтобы показать, как я обижен, отказался от своей порции. Тетя спросила, не заболел ли я.

— Нет, — ответил я как только мог надменно, — я чувствую себя хорошо.

— Ну съешь кусочек, — сказала тетя.

— Я не голоден.

— Ну, ради меня!

— Не хочет — не надо, — возразил дядя.

Я покосился на него.

— Ну, разве что маленький кусочек, — сказал я.

Тетя положила мне изрядный ломоть пирога, и я съел его с видом человека, который из чувства долга делает что-то крайне ему неприятное. Пирог был очень вкусный. Песочное тесто, которое делала Мэри-Энн, так и таяло во рту. Но когда тетя спросила меня, не осилю ли я еще кусочек, я с холодным достоинством отказался. Она не настаивала. Дядя произнес благодарственную молитву, и я, по-прежнему в оскорбленных чувствах, пошел в гостиную.

Но как только прислуга, по моим расчетам, кончила обедать, я пришел на кухню. Эмили чистила серебро, а Мэри-Энн мыла посуду.

— Послушай, чем плохи эти Дрифилды? — спросил я ее.

Мэри-Энн работала у нас с восемнадцати лет. Она купала меня еще маленького, давала мне порошки в сливовом джеме, когда это было нужно, собирала меня в школу, нянчила, когда я болел, читала мне, когда я скучал, и ругала, когда я шалил. Горничная Эмили была молода и легкомысленна, и, как говорила Мэри-Энн, неизвестно, что стало бы со мной, если бы ухаживать за мной поручили Эмили. Мэри-Энн родилась в Блэкстебле. За всю жизнь она ни разу не была в Лондоне, да и в Теркенбери, по-моему, бывала не больше трех-четырёх раз. Она никогда не болела. Она никогда не брала выходных. Платили ей двенадцать фунтов в год. Раз в неделю она уходила вечером в город повидаться с матерью, которая на нас стирала, да по воскресеньям

ходила в церковь. Тем не менее Мэри-Энн знала все, что происходит в Блэкстебле. Она знала всех: кто на ком женился, от чего умер чей отец, и сколько у кого детей, и как их зовут.

Когда я задал Мэри-Энн свой вопрос, она с плеском швырнула в раковину мокрую тряпку.

— Правильно сделал твой дядя,— сказала она.— На его месте я тоже не пустила бы тебя с ними, будь ты моим племянником. Подумать только— предложили тебе с ними кататься! Вот уж действительно есть такие люди, от которых всего можно ожидать.

Я догадался, что ей рассказали о нашем разговоре за обедом.

— Я не ребенок,— возразил я.

— Тем хуже. И как у них хватило наглости вообще сюда приехать! Сняли дом и делают вид, как будто они леди с джентльменом. Не тронь пирог.

Пирог с малиной стоял на кухонном столе; я отломил кусочек корки и сунул его в рот.

— Это на ужин. Если тебе хотелось добавки, почему не ел за обедом? Тед Дрифилд всегда был непоседой. А ведь хорошее образование получил. Кого мне жаль, так это его мать. Он доставлял ей хлопоты с самого рождения. А потом взял и женился на Розе Гэнн. Мне говорили, когда он сказал матери, что у него на уме, она слегла и лежала три недели и ни с кем не хотела разговаривать.

— Миссис Дрифилд была до замужества Розы Гэнн? Это какие же Гэнны?

Фамилия Гэнн была одной из самых распространенных в Блэкстебле. Могильные плиты на кладбище так и пестрели ею.

— О, ты их не знаешь. Ее отец был старый Джозия Гэнн. Тоже непутевый. Пошел в солдаты, вернулся с деревянной ногой. Он малярничал, но чаще сидел без работы. Рядом с нами они жили, в соседнем доме. Мы с Розой вместе ходили в воскресную школу.

— Но она же моложе тебя,— сказал я со всей прямоотой своего возраста.

— Ей уже давно стукнуло тридцать.

Мэри-Энн была небольшого роста, курносая и с плохими зубами, но прекрасным цветом лица; не думаю, чтобы ей тогда было больше тридцати пяти.

— Роза на четыре-пять лет моложе меня, не больше, как бы она там ни молодилась. Говорят, ее теперь не узнать— разодела в пух и прах, и все такое.

— А правда, что она была буфетчицей? — спросил я.

— Да, в «Железнодорожном гербе», а потом в «Перьях принца Уэльского» в Хэвершеме. В «Железнодорожный герб» взяла ее на работу миссис Ривз, только кончилось это плохо, и пришлось ей от нее избавиться.

«Железнодорожный герб» был очень скромный маленький трактир как раз напротив станции на линии Лондон — Чатам — Дувр. В нем всегда царило какое-то зловещее веселье. Зимними вечерами, проходя мимо, можно было увидеть через стеклянную дверь мужчин, коротавших время у стойки. Мой дядя очень не любил это заведение и на протяжении многих лет добивался, чтобы его хозяев лишили разрешения на торговлю. Завсегдатаями трактира были железнодорожные носильщики, матросы с угольщиками и ба-траки. Респектабельные жители Блэкстебла брезговали заходить туда и если хотели выпить стаканчик пива, то шли в «Медведь и ключ» или в «Герцога Кентского».

— Да ну? А что же она такого натворила? — спросил я, вытаращив глаза.

— А чего она только не вытворяла, — ответила Мэри-Энн. — Как ты думаешь, что сказал бы твой дядя, если бы узнал, что я тебе все это рассказываю? Не было такого человека из тех, кто заходил туда выпить, с кем бы она не путалась. Все равно, кто бы он ни был. И ни с кем не оставалась надолго — меняла их одного за другим. Просто стыд и срам — так все и говорили. Там и началась эта история с Лордом Джорджем. Он в такие места не ходил — слишком важный был — но, говорят, случайно забрел туда, когда его поезд опоздал, и увидел ее. А потом так оттуда и не вылезал и водился со всеми этими забуддыгами, и все, конечно, знали, почему он там сидит, и это при жене и трех детях! Да мне было просто ее жаль. А сколько было разговоров! Ну, и в конце концов миссис Ривз объявила, что больше ни единого дня не намерена этого терпеть, дала ей расчет и велела забрать вещи и сматываться. Туда ей и дорога — вот что я сказала.

Лорда Джорджа я прекрасно знал. Его звали Джордж Кемп, а это ироническое прозвище он получил за то, что очень важничал. Он торговал у нас углем, но, кроме того, подрабатывал продажей недвижимости и был в доле с владельцами нескольких угольщиков. Жил он в новом кирпичном доме на собственной земле и ездил в собственной двуколке. Это был дородный человек с остроконечной бородкой, красным лицом и нахальными голубыми глазами. Сейчас, припоминая его, я думаю, что он, наверное, был

похож на какого-нибудь веселого краснолицего купца с картин старых голландцев. Одевался он всегда очень криво, и когда он резвой рысдой проезжал по середине Хай-стрит в коротком пальто песочного цвета с большими пуговицами, надетом набекрень коричневом котелке и с красной розой в петлице, не поглядеть на него было просто невозможно. По воскресеньям он обычно являлся в церковь в гляцевом цилиндре и сюртуке. Все знали, что он хотел стать церковным старостой, и с его энергией он, конечно, принес бы много пользы, но дядя сказал, что только через его труп, и стоял на своем, хотя Лорд Джордж, обидевшись, целый год ходил в церковь конгрегационалистов. Встречая его на улице, дядя с ним не разговаривал. Потом их помирили, и Лорд Джордж снова стал ходить к нам в церковь, но дядя смягчился лишь настолько, что назначил его помощником старосты. Местные землевладельцы-дворяне считали его вульгарным, и я не сомневаюсь, что он был в самом деле тщеславен и хвастлив. Ему ставили в упрек громкий голос и резкий смех — когда он с кем-нибудь разговаривал, каждое слово было слышно на другой стороне улицы, — а его манеры считали ужасными. Он был слишком общителен и вел себя с ними так, как будто вовсе и не занимался торговлей, и они говорили, что он чересчур навязчив. Но если он надеялся, что его панибратство, участие в общественных мероприятиях, щедрые взносы на проведение ежегодной регаты или праздника урожая и готовность оказать всякому услугу могут пробить для него дорогу в Блэкстебле, то он ошибался. Его общительность вызывала к нему лишь враждебное отношение.

Помню, как-то у тети сидела в гостях жена доктора. Вошла Эмили и сказала дяде, что с ним хочет поговорить мистер Джордж Кемп.

— Но ведь звонили, по-моему, в парадную дверь, — сказала тетя.

— Да, он пришел с парадного хода.

Наступила неловкая пауза. Никто не знал, как себя вести при таких необычных обстоятельствах, и даже Эмили, прекрасно понимавшая, кто должен входить через парадную дверь, кто — через боковую, а кто — с черного хода, и та немного растерялась. Думаю, что добродушная тетя была просто поражена, как это кто-то может поставить себя в такое ложное положение; а жена доктора презрительно фыркнула. Наконец дядя собрался с мыслями.

— Проведите его в кабинет, Эмили, — сказал он. — Я приду туда, как только допью чай.

Но Лорд Джордж был по-прежнему полон кипучей энергии, весел и шумен. Он говорил, что наш город — как мертвый и что он его разбудит. Он добьется, чтобы сюда пустили экскурсионные поезда. Почему бы Блэкстеблу не стать вторым Маргетом? И потом, почему бы нам не иметь своего мэра? В Ферн-Бей есть мэр.

— Наверное, сам метит в мэры, — говорили в Блэкстебле, брезгливо морщась. — Не доведет его гордыня до добра. А дядя замечал, что насильно мил не будешь.

Я должен добавить, что относился к Лорду Джорджу с тем же высокомерным презрением, как и все вокруг. Меня возмущало, что он осмеливается останавливать меня на улице, называть по имени и говорить со мной так, будто у нас одинаковое положение в обществе. Он даже предлагал мне играть в крикет с его сыновьями — моими ровесниками. Но они ходили в среднюю школу в Хэвершеме, и я конечно же не желал иметь с ними никакого дела.

То, что рассказала Мэри-Энн, заинтриговало и поразило меня, но мне трудно было этому поверить. Слишком много романов я прочел и слишком многое усвоил в школе, чтобы не знать кое-что про любовь, — но я думал, что все это относится только к молодым людям. Я не мог представить себе, чтобы такие чувства испытывал бородатый человек, у которого есть сыновья, мои ровесники. Я думал, что после женитьбы все это кончается. То, что могут влюбляться люди, которым за тридцать, казалось мне отвратительным.

— Не хочешь же ты сказать, что они делали что-то нехорошее? — спросил я у Мэри-Энн.

— Судя по тому, что я слышала, чего только Розы Гэнн не делала. И Лорд Джордж был не единственным.

— Ну погоди, почему же у нее не было ребенка?

В романах я читал, что стоит красивой женщине не устоять перед искушением, как у нее появляется ребенок. Суть дела всегда излагалась с бесконечной осторожностью, иногда на нее просто намекало многоточие, но результат был неизбежным.

— Везеньем, думаю, взяла, а не умом, — сказала Мэри-Энн, но тут же опомнилась и перестала вытирать тарелки. — Сдается мне, уж очень много ты знаешь, — сказала она.

— Конечно, знаю, — важно ответил я. — Черт возьми, ведь я уже почти взрослый, верно?

— Одно могу сказать, — продолжала Мэри-Энн. — Когда миссис Ривз выгнала ее, Лорд Джордж устроил ее в «Перья принца Уэльского» в Хэвершеме и вечно таскался

туда в своей двуколке. Не говори мне только, будто пиво там лучше, чем здесь.

— А почему тогда Тед Дрифилд на ней женился? — спросил я.

— Спроси что-нибудь полегче, — ответила Мэри-Энн. — Там, в «Перьях», он ее и увидел. Должно быть, больше никто за него не хотел идти. Ни одна приличная девушка за него бы не вышла.

— А он знал про нее?

— Это уж у него спроси.

Я умолк. Все это очень озадачивало.

— А как она теперь выглядит? — спросила Мэри-Энн. — Я не видала ее с тех пор, как она вышла замуж. Я даже не разговаривала с ней, как услышала про все эти делишки в «Железнодорожном гербе».

— Она выглядит хорошо, — сказал я.

— Вот и спроси ее, помнит ли она меня, — посмотрим, что она скажет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я окончательно решил на следующее утро ехать вместе с Дрифилдами, но знал, что если спрошу разрешения у дяди, то ничего хорошего из этого не получится. Если он узнает об этом потом и будет ругаться, — тут уж ничего не поделаешь, а если Тед Дрифилд спросит, разрешил ли мне дядя ехать, то я был готов ответить, что разрешил. Но в конце концов врать мне не пришлось. После обеда, во время прилива, я собрался на пляж купаться, а дядя пошел со мной: у него были какие-то дела в городе. Не успели мы миновать «Медведь и ключ», как оттуда вышел Тед Дрифилд. Он заметил нас и прямо направился к дяде. Я был поражен его спокойствием.

— Добрый день, священник, — сказал он. — Вы меня помните? Я еще мальчишкой пел у вас в хоре. Я Тед Дрифилд. Мой папаша служил управляющим у мисс Вулф.

Мой дядя, человек очень робкий, был захвачен врасплох.

— Да, да, здравствуйте. Я был очень огорчен, когда узнал, что ваш отец умер.

— Я познакомился с вашим юным племянником. Вы не разрешите ему завтра со мной прокатиться? Одному ему кататься скучно, а я собираюсь снять оттиски с одной надгробной доски в Ферн-Черче.

— Это очень любезно с вашей стороны, но...

Дядя собирался было ответить отказом, но Дриффилд перебил его:

— Я присмотрю, чтобы он вел себя хорошо. Наверное, он тоже захочет сделать для себя оттиск — все-таки польза. Бумаги и воску я дам, так что ему это ничего не будет стоить.

Дядя не отличался последовательностью в рассуждениях, и предложение Дриффилда заплатить за мою бумагу и воск так его обидело, что он совсем забыл о своем намерении запретить мне ехать.

— Он вполне может и сам купить бумагу и воск, — сказал дядя. — У него хватает карманных денег, и уж лучше пусть тратит их на что-нибудь в этом роде, чем объедаться лакомствами.

— Ну ладно, пусть зайдет в писчебумажный магазин Хейурда и попросит такой же бумаги, какую я брал, и воску.

— Я пойду сейчас, — сказал я и, пока дядя не передумал, помчался через улицу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не знаю, почему Дриффилды так заботились обо мне, — разве что просто по доброте сердечной. Я не был ни умен, ни разговорчив, и если развлекал Теда Дриффилда, то без всякого намерения с моей стороны. Может быть, его забавляло мое высокомерие. Я оставался при своем убеждении, что снисхожу до общения с сыном управляющего мисс Вулф, да еще к тому же писакой, как его называл дядя; и когда я, вероятно с легким оттенком презрения, попросил у него почитать какую-нибудь его книжку, а он сказал, что мне будет неинтересно, я поверил ему на слово и настаивать не стал.

Мой дядя, однажды разрешив мне покататься с Дриффилдами, больше не возражал против нашего знакомства. Иногда мы вместе ходили под парусами, иногда ездили в какое-нибудь живописное место, где Дриффилд делал наброски акварелью. Не знаю, был ли тогда климат в Англии лучше или это просто юношеская иллюзия, но мне помнится, будто все это лето солнечные дни шли один за другим непрерывной чередой. Я начал чувствовать странную привязанность к этой холмистой, плодородной и уютной местности. Мы ездили на далекие прогулки то в одну, то в другую церковь, снимая оттиски с бронзовых надгробных досок, на которых были изображены рыцари в до-

спехах и дамы в пышных фижмах. Тед Дриффилд заразил меня своим увлечением, и я со страстью предавался этому нехитрому занятию. Плоды своего усердия я с гордостью показывал дяде, а он, по-моему, думал, что, находясь в церкви, я не могу натворить ничего плохого, в каком бы обществе ни был.

Пока мы работали, миссис Дриффилд обычно оставалась снаружи — не читала и не шила, а просто гуляла вокруг; по-видимому, она была способна сколько угодно времени ничего не делать, не испытывая скуки. Иногда я выходил к ней, и мы сидели на траве, болтая о моей школе, о моих тамошних приятелях, об учителях, о жителях Блэкстебла и просто так, ни о чем. Мне было приятно, что она называет меня «мистер Эшенден». Думаю, что она первая начала меня так называть, и из-за этого я чувствовал себя взрослым. Я терпеть не мог, когда меня называли «мастер Уилли», потому что это казалось мне смешным. Если на то пошло, мне вообще не нравились ни мое имя, ни моя фамилия, и я проводил много времени, придумывая новые, более подходящие. Больше всего мне нравилось имя Родрик Рэвенсуорт, и я исписывал целые листы бумаги, подписываясь этим именем с соответствующим лихим росчерком. Не стал бы я возражать и против того, чтобы меня звали Людовик Монтгомери.

Я никак не мог переварить то, что Мэри-Энн рассказала мне про миссис Дриффилд. Хотя в теории я знал, что делают люди, когда женятся, и вполне мог изложить фактическую сторону дела в самых прямых выражениях, но в действительности я этого не понимал. Подобные вещи казались мне довольно противными, и в конечном счете я всему этому не совсем верил. В конце концов, я же понимал, что земля круглая, но ведь я прекрасно знал, что она плоская! Миссис Дриффилд выглядела такой искренней, так открыто смеялась, во всем ее поведении было что-то такое молодое и ребячливое, что я не мог представить себе ее «путавшейся» с матросами, не говоря уж о таком ужасном и неприличном человеке, как Лорд Джордж. Она была совсем не похожа на тех «падших женщин», о которых я читал в романах. Конечно, я знал, что она — «не из хорошего общества», и говорила она с блэкстеблским акцентом и время от времени делала ошибки в произношении, а ее грамматика иногда меня просто шокировала, — но она мне нравилась, и я ничего не мог с этим поделать. Я пришел к выводу, что Мэри-Энн все наврала.

Как-то я сказал ей, что Мэри-Энн — наша кухарка.

— Она говорит, что была вашей соседкой на Райлейн,— добавил я, готовый услышать в ответ, что миссис Дриффилд никогда о ней не слыхала. Но она улыбнулась, и ее голубые глаза радостно засияли.

— Это верно. Она водила меня в воскресную школу. Ох, и билась она, чтобы заставить меня сидеть спокойно! Я слыхала, что она пошла служить к священнику. Надо же, что она все еще там! Я не видела ее не знаю сколько времени. Хорошо было бы как-нибудь ее повидать и поболтать о старине. Передайте ей привет от меня, ладно? И скажите, чтобы она заглянула, когда у нее будет свободный вечер. На чашку чаю.

Я был озадачен. В конце концов, Дриффилды снимали целый дом и поговаривали о том, чтобы его купить, и имели свою прислугу. Им вовсе не подобало принимать к чаю Мэри-Энн, а меня это поставило бы в очень неловкое положение. Они как будто не понимали, что можно делать, а чего просто нельзя. Меня всегда удивляло, как это они говорят о таких эпизодах из своего прошлого, о которых, по-моему, и заикаться не должны. Не знаю, в самом ли деле люди, среди которых я жил, были так претенциозны, так стремились выглядеть богаче или важнее, чем были на самом деле, но теперь мне кажется, что вся их жизнь была полна притворства. Они жили под непроницаемой маской респектабельности. Их никогда нельзя было застать без пиджака, с ногами на столе. Дамы не показывались на людях, не нарядившись в вечерние платья; в каждодневной жизни они соблюдали жестокую экономию, так что забежать к ним пообедать было нельзя, но уж если они принимали гостей, то столы ломились от яств. Какая бы катастрофа ни разражалась в семье, они высоко держали голову и не показывали виду. Пусть даже один из сыновей женился на актрисе — они никогда не упоминали об этом несчастье, и, хотя все соседи говорили, что это ужасно, в присутствии потерпевших они тщательно следили, чтобы разговор не зашел о театре. Все мы знали, что жена майора Гринкорта, который арендовал поместье «Три фронтона», была связана с торговлей, но ни она, ни майор никогда даже не намекали на эту позорную тайну; и хотя мы за глаза презрительно фыркали по их адресу, мы были слишком вежливы, чтобы даже упомянуть в их присутствии о посуде (источнике приличного дохода миссис Гринкорт). Не были диковинкой и такие случаи, когда разгневанный родитель лишал сына наследства или запрещал своей дочери, вышедшей замуж, как моя мать, за поверенного, переступать порог его дома.

Все это было для меня привычным и естественным. А вот рассказы Теда Дриффилда о том, как он работал официантом в холборнском ресторане, звучавшие так, будто тут нет ничего особенного, меня шокировали. Я знал, что когда-то он сбежал из дома и нанялся матросом: это было романтично — я знал, что мальчишки часто так поступают, во всяком случае в книгах, и сталкиваются с захватывающими приключениями, прежде чем жениться на дочке герцога с огромным состоянием. Но Тед Дриффилд был еще и кебменом в Мей-дстоне, и клерком в конторе букмекера в Бирмингеме.

Как-то мы проезжали мимо «Железнодорожного герба», и миссис Дриффилд небрежно сказала, что здесь она работала три года, как будто это самое обыкновенное дело.

— Здесь была моя первая работа, — сказала она. — Потом я перешла в «Перья» в Хэвершеме и работала там, пока не вышла замуж.

Она засмеялась, как будто это воспоминание доставило ей радость. Я не знал, что сказать и куда смотреть, и покраснел до ушей.

В другой раз, когда мы ехали через Ферн-Бей, возвращаясь после долгой прогулки по жару, и всем очень хотелось пить, она предложила зайти в «Дельфин» и выпить по стакану пива. Она разговорилась с девушкой, которая торговала за стойкой, и я с ужасом услышал, как она сказала, что сама пять лет этим занималась. К нам вышел хозяин, и Тед Дриффилд угостил его, а миссис Дриффилд заказала стакан портвейна для буфетчицы, и все дружески болтали о торговле, и о поставщиках, и о том, как растут цены. Меня бросало то в жар, то в холод, и я не знал, что делать. Когда мы вышли, миссис Дриффилд заметила:

— Мне понравилась эта девушка, Тед. Кажется, она неплохо устроилась. Я ей говорю: это жизнь трудная, но зато веселая. Видишь, что происходит кругом, а если будешь правильно себя вести, то неплохо выйдешь замуж. Я заметила у нее обручальное кольцо, но она сказала, что носит его просто так, потому что это дает повод парням с ней заигрывать.

Дриффилд засмеялся. Она повернулась ко мне:

— Веселое это было время, когда я работала буфетчицей. Но, конечно, всю жизнь так нельзя. Нужно подумать и о будущем.

Но меня ждало еще большее потрясение. Дело было в середине сентября, и мои каникулы близились к концу. Я был весь полон Дриффилдами, но дома дядя не давал мне о них говорить.

— Мы не желаем, чтобы ты совал повсюду своих друзей,— говорил он.— Есть более подходящие темы для разговора. Но я думаю, что раз Тед Дрифилд родился в этом приходе и видится с тобой почти каждый день, он мог бы и в церковь иногда заглядывать.

Однажды я сказал Дрифилду:

— Дядя хотел бы, чтобы вы ходили в церковь.

— Ладно. Пойдем в следующее воскресенье вечером, а, Роза?

— Пожалуйста,— ответила она.

Я сказал Мэри-Энн, что они придут. Я сидел на скамье, отведенной для семьи священника, сразу за лендлордом, и не мог оглянуться, но по тому, как вели себя соседи по другую сторону прохода, было видно, что они пришли, и как только мне на следующий день представился случай, я спросил Мэри-Энн, видела ли она их.

— Видела, будь покоен,— мрачно ответила Мэри-Энн.

— А ты говорила с ней потом?

— Я?— Она вдруг рассердилась.— А ну убирайся с кухни. Что ты тут целый день вертишься? Просто работать невозможно, когда ты все время попадаешься под ноги.

— Ладно,— сказал я,— нечего ругаться.

— Не знаю, что думает твой дядя, когда разрешает тебе шляться с такими людьми. Да еще вон какие цветы на шляпке. Как ей не стыдно на людях-то показываться? Уходи, мне некогда.

Почему Мэри-Энн так рассердилась, я не понял. Больше я с ней о миссис Дрифилд не заговаривал. Но два-три дня спустя я зашел за чем-то на кухню. У нас было две кухни: одна маленькая, в которой готовили всегда, и большая, построенная, наверное, в те времена, когда сельские священники имели большие семьи и давали роскошные обеды для окружающих помещиков; в ней Мэри-Энн обычно сидела и шила, закончив дневную работу. В восемь часов она подавала холодный ужин, так что после чаю ей было почти нечего делать.

Был седьмой час, смеркалось. Эмили отпустили на вечер, и я думал, что Мэри-Энн одна, но еще в коридоре услышал голоса и смех. Я догадался, что к Мэри-Энн кто-то зашел. В кухне горела лампа, но ее прикрывал плотный зеленый абажур, и было почти темно. Мэри-Энн пила чай с какой-то приятельницей. Когда я открыл дверь, разговор прекратился, а потом я услышал:

— Добрый вечер.

Вздрогнув от неожиданности, я увидел, что эта приятельница Мэри-Энн не кто иная, как миссис Дриффилд. Заметив мое изумление, Мэри-Энн рассмеялась.

— Розы Гэнн заглянула ко мне на чашку чаю,— сказала она.— Вот сидим и вспоминаем старину.

Мэри-Энн немного смутилась, когда я их застал, но я был смущен куда сильнее. Миссис Дриффилд улыбнулась мне своей ребячливой, озорной улыбкой: она чувствовала себя как дома. Почему-то я обратил внимание на ее платье — наверное, потому, что ни разу не видел ее такой важной. Платье было светло-голубое, очень узкое в талии, с короткими рукавами и длинной юбкой в оборках. На голове у нее красовалась большая черная соломенная шляпка с массой розочек, листочков и бантиков — очевидно, та самая, которую она надевала в воскресенье в церковь.

— Я подумала, что если ждать, пока Мэри-Энн придет ко мне, то придется прождать до второго пришествия, и решила зайти к ней сама.

Мэри-Энн смущенно усмехнулась, но видно было, что ей это приятно. Взяв что-то, за чем я приходил на кухню, я побыстрее убрался. Погулял в саду, потом оказался у ворот и стал глядеть поверх калитки на дорогу. Было уже темно. Скоро я заметил, что по дороге идет человек. Я не обратил на него внимания, но он ходил взад и вперед, как будто кого-то ждал. Сначала я подумал, что это, наверное, Тед Дриффилд, и уже собрался выйти к нему, когда он остановился и закурил трубку, и я увидел, что это Лорд Джордж. Я удивился, что он может здесь делать, и в этот самый момент мне пришло в голову, что он ждет миссис Дриффилд. У меня заколотилось сердце, и я отступил в тень от кустов, хотя и так стоял в темноте. Прошло еще несколько минут, потом я увидел, как боковая дверь открылась и вышла миссис Дриффилд, которую провожала Мэри-Энн. Я услышал ее шаги по гравии. Она подошла к калитке и отворила ее. Калитка открылась с легким щелчком.

При этом звуке Лорд Джордж перешел дорогу и, прежде чем она успела выйти, проскользнул внутрь. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Она тихо засмеялась.

— Осторожно, я в шляпе,— прошептала она.

Я стоял не больше чем в трех футах от них и окаменел от страха при мысли, что они могут меня обнаружить. Я сгорал от стыда за них и весь дрожал от волнения. Целую минуту он держал ее в объятиях.

— Пойдем в сад? — шепнул он.

— Нет, там мальчик. Пойдем в поле.

Они вышли в калитку — он обнимал ее за талию — и скрылись в темноте. Тут сердце у меня заколотилось так, что даже дыхание перехватило. Я был настолько потрясен, что потерял всякую способность соображать. Все на свете я бы отдал за то, чтобы рассказать кому-нибудь о том, что видел, но это была тайна, которую я должен был хранить. Это придавало мне особую важность в собственных глазах. Не спеша направившись к дому, я вошел через боковую дверь. Мэри-Энн услышала, как она открылась, и окликнула меня:

— Это ты, мастер Уилли?

— Да.

Я заглянул на кухню. Мэри-Энн ставила на поднос ужин, чтобы нести его в столовую.

— На твоем месте я бы не стала говорить дяде, что Розы Гэнн была тут, — сказала она.

— Ну конечно, нет.

— Я просто сил нет как удивилась. Услышала стук в дверь, открываю, а там Розы! У меня ноги так и подкосились. «Мэри-Энн», — говорит, и не успела я опомниться, как она принялась меня целовать. Пришлось ее пригласить, а уж раз она вошла, пришлось попить с ней чаю.

Мэри-Энн старалась оправдаться. После всего, что она говорила про миссис Дрифилд, мне должно было показаться странным, что они сидели тут, болтали и смеялись. Но я не стал пользоваться своей победой.

— Она не так уж плоха, верно? — сказал я.

Мэри-Энн улыбнулась. Несмотря на черные, испорченные зубы, ее улыбка была милой и трогательной.

— Не знаю уж почему, но есть в ней что-то такое, что нельзя ее не любить. Она сидела здесь чуть ли не час, и я смело скажу — ни разу не начала задаваться. А я собственными ушами слышала, как она сказала, что этот материал у нее на платье стоит тринадцать шиллингов и одиннадцать пенсов за ярд, и я верю — так оно и есть. Она все помнит — и как я ее причесывала, когда она была совсем крошка, и как заставляла ее мыть ручки перед чаем. Ее мать иногда присылала ее к нам пить чай. Красивая она была тогда, как картинка.

Мэри-Энн углубилась в воспоминания, и ее смешное морщинистое лицо стало задумчивым.

— Ну ладно, — сказала она, помолчав. — В общем, не хуже она многих других, если бы только мы про них знали всю правду. Просто соблазнов у нее было больше. И вот что я скажу — что бы там они про нее ни говорили, а представься им самим случай, и они были бы не лучше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Погода резко переменялась: похолодало, пошли проливные дожди. Нашим прогулкам пришел конец. Я не жалел об этом, я не представлял себе, как теперь буду смотреть в глаза миссис Дриффилд, зная, что она встречается с Джорджем Кемпом. Я был не столько шокирован, сколько поражен, и не мог понять, как ей может нравиться, когда ее целует этот пожилой человек. Мне, начитавшемуся романов, даже приходила в голову фантастическая мысль, будто Лорд Джордж каким-то образом держит ее в своей власти и, владея неким ужасным секретом, заставляет ее соглашаться на его отвратительные объятия. У меня рождались страшные предположения — о двоемужии, убийствах, подделке документов. В книгах почти каждый негодяй угрожал какой-нибудь незащитной женщине разоблачением одного из этих преступлений. Может быть, миссис Дриффилд за кого-нибудь поручилась — я никогда не мог понять, что именно это означает, но знал, что последствия бывают самые катастрофические. Я рисовал себе картины ее отчаяния (долгие бессонные ночи, которые она просиживает в одной рубашке у окна, распустив до колен свои светлые волосы, и без всякой надежды ждет рассвета) и видел себя (не пятнадцатилетнего мальчишку, получающего шесть пенсов в неделю карманных денег, а высокого мужчину с нафабранными усами и стальными мускулами, в безукоризненном фраке), спасающего ее благодаря своему героизму и находчивости из лап гнусного шантажиста. Но, с другой стороны, непохоже было, чтобы она так уж против своей воли принимала ухаживания Лорда Джорджа, и в ушах у меня продолжал звучать ее смех. В нем слышалась нотка, которой я еще никогда не слышал и от которой у меня почему-то захватило дух.

За весь остаток каникул я только один раз видел Дриффилдов. Мы случайно встретились в городе. Они остановились и заговорили со мной. Я опять очень смутился, а поглядев на миссис Дриффилд, не мог не покраснеть в замешательстве: по ее лицу ничуть не заметно было, что она чувствует свою тайную вину. Она смотрела на меня своими мягкими голубыми глазами, где таилось ребяческое игривое озорство. Ее полные розовые губы часто приоткрывались, как будто готовые улыбнуться. А честное лицо ее выражало ненависть и неподдельную откровенность — это я очень хорошо почувствовал, хотя тогда и не сумел бы выразить. Если бы я попробовал подобрать для этого слова, я, вероятно,

сказал бы: «С виду она честнее честного». Было просто невероятно, чтобы она могла «гулять» с Лордом Джорджем. Должно было существовать какое-то объяснение; я не верил в то, что видел своими глазами.

И вот настал день, когда мне нужно было возвращаться в школу. Возчик взял мой чемодан, и я налегке пошел на станцию. Предложение тети проводить меня я отверг: мне казалось, что идти одному более подобает мужчине, но, когда я шел по улице, я чувствовал себя несколько подавленным. В Теркенбери вела маленькая железнодорожная ветка, и станция была на другом конце города, недалеко от пляжа. Я взял билет и устроился в уголке вагона третьего класса. Вдруг я услышал голос: «Вот он!» — и в вагон весело ворвались Дриффилды.

— Мы решили прийти и проводить вас, — сказала Роза. — Вам, наверное, грустно?

— Нет, вовсе нет.

— Ну ничего, это ненадолго. У нас будет масса времени, когда вы вернетесь на рождество. Вы умеете кататься на коньках?

— Нет.

— А я умею. Я вас научу.

Ее веселье ободрило меня, и в то же самое время при мысли, что они приехали на станцию попрощаться со мной, у меня к горлу подкатил клубок. Я изо всех сил старался, чтобы на моем лице ничего нельзя было прочесть.

— В этом году я собираюсь много играть в регби, — сказал я. — Думаю, что попаду во вторую сборную.

Она посмотрела на меня сияющими добротой глазами с улыбкой на полных розовых губах. В ее улыбке было что-то такое, что всегда мне нравилось, а голос ее, казалось, чуть дрожит не то от смеха, не то от слез. На мгновение я с ужасом подумал, что сейчас она меня поцелует, и перепугался до полусмерти. Она продолжала разговор слегка шутливым тоном, как обычно взрослые говорят со школьниками, а Дриффилд стоял молча, смотрел на меня улыбающимися глазами и теребил бородку. Потом кондуктор дал резкий свисток и замахал красным флажком. Миссис Дриффилд пожала мне руку. Подошел и Дриффилд.

— До свидания, — сказал он. — Вот вам кое-что.

Он сунул мне в руку маленький сверток, и поезд тронулся. Развернув сверток, я нашел там две полкроны, обернутые в клочок бумаги. Я покраснел до ушей. Иметь лишние пять шиллингов было приятно, но мысль о том, что Тед

Дриффилд осмелился дать мне подачку, наполнила меня яростью и унижением. Взять что-нибудь от него было для меня невыносимо. Правда, я катался с ним на велосипеде и ходил в море, но он не принадлежал к числу «сагибов» (это я усвоил от майора Гринкорта), и дать мне пять шиллингов было с его стороны оскорблением. Сначала я было решил вернуть ему деньги без единого слова, показав своим молчанием, как я возмущен таким нарушением приличий; потом я сочинил в уме полное достоинства ледяное письмо, в котором благодарил его за великодушие, но указывал, что он должен понять, насколько невозможно для джентльмена принять подачку, по сути дела, от постороннего человека. Я размышлял об этих двух полукронах несколько дней, и с каждым днем мне казалось, что Дриффилд не имел в виду ничего плохого, и к тому же ведь он очень дурно воспитан и ничего не понимает в жизни; мне не хотелось огорчить его, отослав деньги обратно, и в конце концов я их истратил. Но я успокоил свое ущемленное самолюбие тем, что не стал писать Дриффилду письмо с благодарностью за подарок.

Но когда настало рождество и я вернулся в Блэкстебл на каникулы, больше всего я стремился повидать Дриффилдов. В этом унылом, затхлом городке они одни, казалось, как-то связаны с внешним миром, который уже начинал вызывать у меня тревожное любопытство. Я не мог преодолеть свою застенчивость настолько, чтобы зайти к ним, и надеялся, что встречу их в городе. Но стояла ужасная погода, со свистом налетал неистовый ветер, пронизывая до костей, и немногих женщин, выходявших из дому по своим делам, несло по улице с развевающимися широкими юбками, как рыболовные шхуны в шторм. Внезапными шквалами обрушивался холодный дождь, а небо, которое летом так уютно окутывало гостеприимную местность, теперь превратилось в полную угрозы, давящую плотную пелену. Случайно встретиться с Дриффилдами надежды было мало, и наконец я собрался с духом и однажды после чаю ускользнул из дома.

До самой станции дорога была окутана кромешной тьмой, а дальше редкие и тусклые фонари все-таки позволяли держаться тротуара. Дриффилды жили в переулке, в маленьком двухэтажном доме с закопченными стенами из желтого кирпича и эркером на фасаде. Я постучал, и скоро маленькая горничная открыла дверь. Я спросил, дома ли миссис Дриффилд. Она неуверенно посмотрела на меня, сказала, что сейчас узнает, и ушла, оставив меня в коридо-

ре. Я уже слышал голоса в следующей комнате, но они затихли, когда она открыла дверь и, войдя, закрыла ее за собой. Я ощутил какую-то таинственность; в домах друзей моего дяди, даже когда в камине не горел огонь и с вашим приходом приходилось зажигать газ, вас все равно сразу приглашали в гостиную. Но дверь открылась, и вышел Дриффилд. В коридоре было почти темно, и сначала он не мог разглядеть, кто пришел, но тут же узнал меня.

— А, это вы! А мы думали, когда с вами увидимся!

И он крикнул:

— Розы, это молодой Эшенден.

Миссис Дриффилд вскрикнула и, во мгновение ока появившись в коридоре, уже пожимала мне руку.

— Заходите, заходите. Раздевайтесь. Какая ужасная погода, да? Вы, наверное, заоченели.

Она помогла мне снять пальто и шарф, выхватила из рук шапку и потащила меня в теплую и душную маленькую комнату, заставленную мебелью. В камине горел огонь, а три газовые горелки с круглыми колпаками из матового стекла (у нас дома газа не было) заливали комнату ярким светом. В воздухе стояли клубы табачного дыма. Сначала, ошарашенный бурным приемом, я не разглядел, кто были два человека, которые встали, когда я вошел. Потом я увидел, что это дядин помощник мистер Гэллоуэй и Лорд Джордж Кемп. Мне показалось, что дядин помощник пожал мне руку с неохотой.

— Здравствуй. Я только зашел вернуть книги, которые брал у мистера Дриффилда, а миссис Дриффилд любезно предложила мне остаться и попить чаю.

Я не то что увидел, а почувствовал лукавый взгляд, который бросил на него Дриффилд. Он что-то сказал о богатстве несправедном — я понял, что это цитата, но не уловил ее смысла. Мистер Гэллоуэй рассмеялся.

— Ну, не знаю, — сказал он. — А как насчет мытарей и грешников?

Я подумал, что это замечание весьма дурного вкуса, но тут в меня вцепился Лорд Джордж. Он чувствовал себя вполне непринужденно.

— Ну, молодой человек, приехали домой на каникулы? Честное слово, вы необыкновенно выросли.

Я довольно холодно пожал ему руку. «Лучше бы я не приходил», — подумал я.

— Дайте-ка я вам налью чашку хорошего крепкого чая, — предложила миссис Дриффилд.

— Я уже пил.

— Ну, выпейте еще,— вмешался Лорд Джордж с таким видом, как будто хозяин здесь он, что было вполне в его духе.— У такого здорового парня всегда должно найтись место еще для одного бутерброда с джемом, а миссис Д. отрежет вам кусочек пирога своими собственными прелестными ручками.

Чайная посуда была еще на столе, за которым они сидели. Мне подставили стул, и миссис Дриффилд дала мне кусок пирога.

— А мы как раз уговаривали Теда спеть нам песню,— сказал Лорд Джордж.— Давайте, Тед.

— Спой «Все из-за того солдата», Тед,— сказала миссис Дриффилд.— Мне она очень нравится.

— Нет, спойте «Тут взялись мы за него».

— Смотрите, как бы я не спел обе,— пошутил Дриффилд.

Он взял с пианино банджо, подстроил его и запел. У него был прекрасный баритон. Я привык к пению: когда у нас устраивали званый чай или когда мы шли в гости к майору или доктору, гости всегда приносили с собой инструменты и оставляли их в передней, чтобы не казалось, будто они навязываются со своей музыкой и пением. Но после чая хозяйка спрашивала, принесли ли они инструменты, они робко признавались, что принесли, и если это происходило у нас, меня посылали за ними. Бывало и так: какая-нибудь молодая дама говорила, что она совсем уже забросила музыку и ничего с собой не взяла, и тогда вмешивалась ее мать и говорила, что инструмент захватила она. Но пели они не комические песенки, а «Напев Аравии», или «Доброй ночи, любовь моя», или «Королеву моей души». Однажды на ежегодном концерте в собрании мануфактурщик Смитсон спел комическую песенку, и, хотя в задних рядах бурно аплодировали, общество нашло, что в ней нет ничего смешного. Возможно, так оно и было. Во всяком случае, перед следующим концертом его попросили более тщательно выбирать, что петь («Не забудьте, мистер Смитсон, здесь присутствуют леди!»), и он исполнил «Смерть Нельсона».

Следующая песенка Дриффилда была с припевом, который рьяно подхватили дядин помощник и Лорд Джордж. С тех пор я слышал ее много раз, но могу вспомнить только четыре строчки:

Тут взялись мы за него —
Открывал он двери лбом,
И ступеньки все считал,
И валялся под столом.

Когда песенка кончилась, я, как хорошо воспитанный человек, обратился к миссис Дриффилд:

— А вы не поете?

— Петь-то пою, но так, что молоко прокисает, и Тед не очень это приветствует.

Дриффилд отложил банджо и закурил трубку.

— Ну, а как подвигается твоя книга, Тед? — дружески спросил Лорд Джордж.

— Да ничего, работаю.

— Чудак ты, Тед, со своими книгами, — засмеялся Лорд Джордж. — Почему бы тебе не остепениться и не заняться для разнообразия чем-нибудь приличным? Я бы взял тебя к себе на работу.

— Да мне и так хорошо.

— Оставь его в покое, Джордж, — сказала миссис Дриффилд. — Ему нравится писать, и я думаю так: пока это доставляет ему удовольствие, пусть его.

— Ну, конечно, я не говорю, что понимаю что-нибудь в книжках... — начал Джордж Кемп.

— Так и не рассуждай о них, — перебил с улыбкой Дриффилд.

— По-моему, человек, который написал «Тихую гавань», может этого не стыдиться, — сказал мистер Гэллоуэй, — что бы там ни писали критики.

— Слушай, Тед, я знаю тебя с детства и все-таки не смог ее прочитать, как ни старался.

— Нет, нет, не надо говорить о книгах, — вмешалась миссис Дриффилд. — Спой нам еще, Тед.

— Мне пора, — сказал дядин помощник и повернулся ко мне. — Мы можем пойти вместе. Дриффилд, вы дадите мне что-нибудь почитать?

Дриффилд указал на кучу новых книг, наваленных на столе в углу.

— Выбирайте.

— Боже, сколько их! — сказал я, жадно на них глядя.

— О, это все дрянь. Прислали на рецензию.

— А что вы с ними делаете?

— Отвожу в Теркенбери и продаю, за сколько могу. Все-таки подспорье.

Дядин помощник выбрал несколько книг и вышел вместе со мной, неся их под мышкой.

— Ты сказал дяде, что идешь к Дриффилдам? — спросил он.

— Нет. Я просто вышел погулять, и мне вдруг пришло в голову к ним заглянуть.

Это, конечно, не совсем соответствовало действительности, но мне не хотелось говорить мистеру Гэллоуэю, что, хоть я уже практически взрослый, дядя мало с этим считается и вполне может запретить мне видеться с людьми, которые ему не по душе.

— На твоём месте я бы не стал об этом рассказывать без особой нужды. Дриффилды — хорошие люди, но твой дядя их не очень одобряет.

— Знаю, — сказал я. — Все это чепуха.

— Конечно, они простоваты, но пишет он неплохо, и, если подумать, в какой обстановке он вырос, вообще удивительно, что он пишет.

Я понял, куда он клонит, и обрадовался. Мистер Гэллоуэй не хотел, чтобы дядя знал о его дружбе с Дриффилдами. В любом случае я мог быть уверен: он меня не выдаст.

Наверное, то, что дядин помощник так снисходительно отзывался о человеке, который уже давно признан одним из величайших поздневикторианских романистов, теперь может вызвать улыбку; но именно так о Дриффилде обычно говорили в Блэкстебле. Как-то нас пригласила к чаю миссис Гринкорт, у которой гостила ее двоюродная сестра, жена преподавателя из Оксфорда, слышавшая весьма образованной особой. Эта миссис Энкомб была маленького роста, с живым морщинистым лицом; она поразила нас тем, что коротко стригла свои седые волосы и носила черную шерстяную юбку, едва доходившую до верхнего края туфель с квадратными носами. Это была первая Современная Женщина, появившаяся в Блэкстебле. Мы были потрясены и сразу же заняли оборонительные позиции, потому что она выглядела умной, а мы от этого робели. (Потом все мы издевались над ней, и дядя говорил тете: «Нет, дорогая, я рад, что ты не так умна, по крайней мере, от этого я избавлен»; а когда тетя была в игривом настроении, она надевала поверх своих туфель дядины шлепанцы, согревавшиеся у огня, и говорила: «Смотрите — современная женщина». И потом мы все говорили: «Какая смешная эта миссис Гринкорт: никогда не знаешь, что она еще придумает. А все-таки она — не совсем то...») Мы никак не могли простить ей того, что ее отец был хозяином фарфоровой фабрики, а дед — рабочим.)

Но всем нам было очень интересно слушать, как миссис Энкомб рассказывает о людях, которых она знала. Дядя учился в Оксфорде, но оказалось, что все, о ком он спрашивал, уже умерли. Миссис Энкомб была знакома с миссис Хэмфри Уорд и восхищалась «Робертом Элсмиром». Дядя

считал его скандальной книгой и был удивлен, когда узнал, что мистер Гладстон, по крайней мере называвший себя христианином, сказал о ней несколько хороших слов. Дядя даже поспорил с миссис Энкомб. Он сказал, что, по его мнению, эта книга внесет в умы смуту и внушит людям такие мысли, которых им лучше бы не иметь. Миссис Энкомб отвечала, что он так не думал бы, если бы знал миссис Хэмфри Уорд. Это весьма достойная женщина, племянница мистера Мэтью Арнольда, и, что бы вы ни думали о самой книге (а она, миссис Энкомб, готова признать, что кое-что в ней лучше было бы убрать), совершенно очевидно, что она написала ее из наилучших побуждений. Миссис Энкомб знала и мисс Браутон. Она из очень хорошей семьи, и странно, что она пишет такие книги.

— Я не вижу в них ничего плохого,— сказала миссис Хэйфорт, жена доктора.— Мне они нравятся, особенно «Красна, как розочка».

— А вы хотели бы, чтобы их прочли ваши девочки?— спросила миссис Энкомб.

— Пока еще нет, вероятно,— ответила миссис Хэйфорт,— но, когда они выйдут замуж, я ничего не буду иметь против.

— Тогда вам, может быть, интересно будет узнать,— сказала миссис Энкомб,— что, когда на прошлую пасху я была во Флоренции, меня познакомили с Уйда.

— Это совсем другое дело,— возразила миссис Хэйфорт.— Я не представляю, чтобы хоть одна леди могла читать книги Уйда.

— Я прочла одну из любопытства,— сказала миссис Энкомб.— Должна сказать, что такого скорее можно было ждать от француза, чем от порядочной англичанки.

— Но, насколько я понимаю, она на самом деле — не англичанка. Я слышала, что ее настоящее имя — мадемуазель де ля Раме.

Тут-то мистер Гэллоуэй и завел речь об Эдуарде Дрифилде.

— Знаете, а у нас здесь тоже живет писатель,— вставил он.

— Мы не очень им гордимся,— сказал майор.— Это сын управляющего старой мисс Вулф, а женился он на буфетчице.

— А хорошо ли он пишет?— спросила миссис Энкомб.

— Сразу видно, что он — не джентльмен,— ответил дядин помощник,— но если принять во внимание, какие трудности ему пришлось преодолеть, это просто замечательно, что он так пишет.

— Он приятель нашего Уилли,— сказал дядя.

Все посмотрели на меня, и я очень смутился.

— Прошлым летом они вместе катались на велосипеде, и, когда Уилли вернулся в школу, я взял в библиотеке одну из книг Дриффила, чтобы посмотреть, на что они похожи. Я прочел первый том, отослал его обратно, написал довольно резкое письмо библиотекарю и был рад, когда узнал, что он больше эту книгу не выдает. Если бы она была моя, я бы тут же отправил ее в печь.

— Я сам пробежал одну его книгу,— признался доктор.— Мне было интересно, потому что действие происходит в наших местах, и я кое-кого в ней узнал. Но не могу сказать, чтобы она мне понравилась: по-моему, слишком груба.

— Я говорил ему об этом,— сказал мистер Гэллоуэй,— он ответил, что матросы с угольщикова, что ходят в Ньюкасл, и рыбаки, и работники на фермах ведут себя не так, как леди и джентльмены, и говорят совсем иначе.

— Так зачем о таких писать?— возразил дядя.

— Вот именно,— отозвалась миссис Хэйфорт.— Все мы знаем, что на свете есть грубые, и злые, и плохие люди, но я не понимаю, какой смысл о них писать.

— Я не защищаю его,— сказал мистер Гэллоуэй,— я просто рассказываю вам, как он сам это объясняет. Ну и, конечно, он вспомнил Диккенса.

— Диккенс — совсем другое дело,— заявил дядя.— Я не представляю, чтобы кто-нибудь мог что-то возразить против «Пиквикского клуба».

— По-моему, это дело вкуса,— сказала тетя.— Я всегда считала, что Диккенс очень груб. Я не желаю читать о людях, которые неправильно говорят. Очень хорошо, что стоит плохая погода и Уилли не может больше кататься с мистром Дриффилдом. По-моему, это не такой человек, с которым стоит общаться.

Я и мистер Гэллоуэй смущенно потупились.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Все время, какое мне оставляли скромные рождественские развлечения Блэкстебла, я проводил в домике Дриффилов рядом с конгрегационалистской церковью. Там я постоянно встречал Лорда Джорджа и часто — мистера Гэллоуэя. Общая тайна сблизила нас, и, встречаясь у нас дома или в ризнице после службы, мы лукаво

переглядывались. Мы не говорили о своем секрете, но наслаждались им; по-моему, мы оба были очень довольны, что водим дядю за нос. Но как-то мне пришло в голову, что Джордж Кемп, встретившись с дядей на улице, может между прочим заметить, что часто видит меня у Дриффилдов. Я сказал мистеру Гэллоуэю:

— А как насчет Лорда Джорджа?

— Ну, это я уладил.

Мы ухмыльнулись. Лорд Джордж начинал мне нравиться. Сначала я был с ним весьма холоден и изысканно вежлив, но он, казалось, совершенно не ощущал разницы в нашем социальном положении, и мне пришлось признать, что своей высокомерной вежливостью я не смог поставить его на место. Он был неизменно добродушен, весел, даже шумлив; он запросто подшучивал надо мной, а я отвечал ему школьными остротами; мы смешили всех остальных, и это располагало меня к нему. Он вечно распространялся о своих грандиозных планах, но не обижался на мои шутки по их поводу. Я с интересом слушал, как он высмеивал блэкстеблских знаменитостей, и, когда он подражал их повадкам, я покатывался со смеху. Он был криклив и вульгарен, и его манера одеваться всегда меня шокировала (я никогда не бывал на ипподроме в Ньюмаркете и не видел ни одного тренера с бегов, но именно так я представлял себе ньюмаркетского тренера), и за столом он держался ужасно, но мое отвращение к нему все больше и больше ослабевало. Каждую неделю он давал мне почитать «Розовый журнал». Я брал его с собой, тщательно пряча в карман пальто, и читал у себя в спальне.

Я ходил к Дриффилдам всегда только после чая и там пил чай во второй раз. Потом Тед Дриффилд пел комические песни, аккомпанируя себе иногда на банджо, а иногда на пианино. Он мог часами петь, улыбаясь и глядя в ноты своими немного близорукими глазами, и любил, когда мы подхватывали припев. Потом мы играли в вист. Я обучился этой игре еще в детстве: дядя, тетя и я коротали дома за картами долгие зимние вечера. Дядя всегда садился с болваном и, хотя никаких денежных ставок, конечно, не было, но когда мы с тетей проигрывали, я залезал под стол и плакал. Тед Дриффилд говорил, что ничего в картах не понимает, и когда мы садились играть, устраивался у камина и с карандашом в руке читал какую-нибудь книгу, присланную ему из Лондона на рецензию. Играть вчетвером мне до тех пор не приходилось, и игрок я был, конечно, плохой, зато миссис Дриффилд оказалась прирожденной картежницей. Обычно она двигалась спокойно и неторопливо, но, когда дело каса-

лось карт, действовала быстро, всегда была начеку и всех нас обыгрывала. Говорила она тоже, как правило, немного и медленно, но когда после каждой сдачи добродушно принималась растолковывать мне мои ошибки, что получалось у нее понятно и доступно, то становилась даже разговорчивой. Лорд Джордж подшучивал над ней, как и над всеми остальными. Она улыбалась его шуткам — смеялась она редко — и иногда удачно отшучивалась. Они вели себя не как любовники, а как старые приятели, и я бы совсем забыл, что о них говорили и что я видел сам, если бы время от времени она не смотрела на него так, что я приходил в замешательство. Ее взгляд спокойно останавливался на нем, как будто он был не человек, а стул или стол, и в глазах ее появлялась озорная, детская улыбка. Я заметил, что Лорд Джордж в таких случаях весь как будто надувался и начинал беспокойно ворочаться на стуле. Я посматривал на дядиного помощника, боясь, как бы он чего-нибудь не заметил, но он или был поглощен картами, или разжигал трубку.

Час-другой, который я проводил каждый день в этой душной, тесной, прокуренной комнате, проносились как одно мгновение. По мере того, как каникулы близились к концу, я начал приходить в отчаяние от мысли, что мне предстоит еще три месяца томиться в школе.

— Не знаю, что мы без вас будем делать, — говорила миссис Дрифилд. — Придется играть с болваном.

Я был рад, что мой отъезд испортит им игру. Мне не хотелось, делая уроки, думать о том, что они сидят в этой маленькой комнате и развлекаются, как будто меня нет на свете.

— Сколько времени у вас продолжаются пасхальные каникулы? — спросил мистер Гэллоуэй.

— Около трех недель.

— То-то весело мы проведем время, — сказала миссис Дрифилд. — Погода, наверное, будет хорошая. По утрам мы будем кататься, а после чая играть в вист. Вы стали играть гораздо лучше. Вот поиграем три-четыре раза в неделю во время ваших каникул, и можете смело садиться с кем угодно.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Но вот наконец занятия кончились. В прекрасном настроении я опять сошел с поезда в Блэкстебле. Я немного подрос, заказал себе в Теркенбери новый костюм — синий шерстяной, очень шикарный, и купил новый галстук.

Я собирался идти к Дриффилдам сразу же, как только попою чаю, и надеялся, что посыльный вовремя принесет костюм и я смогу его надеть. В нем я выглядел совсем взрослым. Я уже начал каждый вечер мазать себе вазелином верхнюю губу, чтобы быстрее росли усы. Проходя по городу, я с надеждой заглянул в переулок, где жили Дриффилды. Мне хотелось забежать к ним, чтобы поздороваться, но я знал, что мистер Дриффилд по утрам пишет, а миссис Дриффилд «не в форме». У меня было что им порассказать. Я выиграл забег на сто ярдов и занял второе место по барьерному бегу. Осенью я собирался претендовать на приз по истории и для этого предполагал на каникулах подзаняться. Хотя дул восточный ветер, небо было голубое, и в воздухе пахло весной. Хай-стрит играла свежими красками, как будто промытая ветром, а четкие очертания домов были похожи на рисунок пером Сэмюэла Скотта — спокойный, наивный и уютный. Мне так кажется сейчас, когда я вспоминаю тот день; тогда же это была для меня просто Хай-стрит в Блэкстебле. Проходя мимо железнодорожного моста, я заметил два или три строящихся дома. «Вот это да, — подумал я, — Лорд Джордж и в самом деле развернулся».

В поле за городом резвились белые ягнята. Вязы только начинали зеленеть. Я вошел в боковую дверь. Дядя сидел в своем кресле у огня и читал «Таймс». Я позвал тетю, она прибежала вниз, раскрасневшаяся от возбуждения, и обняла меня своими старыми худыми руками. При этом она сказала все, что полагалось: и «Как ты вырос!», и «Боже мой, у тебя скоро будут усы!».

Я поцеловал дядю в лысую макушку и встал спиной к камину, широко расставив ноги, чувствуя себя очень взрослым и важным. Потом я поднялся наверх поздороваться с Эмили, а потом — на кухню, к Мэри-Энн, и в сад — повидать садовника.

Когда я, голодный, уселся обедать и дядя резал мясо, я спросил тетю:

— Ну, что происходило в Блэкстебле, пока меня не было?

— Ничего особенного. Миссис Гринкорт уезжала на шесть недель в Ментону, но несколько дней назад вернулась. У майора был приступ подагры.

— А твои друзья Дриффилды сбежали, — добавил дядя.

— Что? — воскликнул я.

— Сбежали. Однажды ночью забрали свои вещи и смылись в Лондон. Остались должны всем и каждому. Ни за

квартиру не заплатили, ни за мебель. Мяснику Харрису задолжали чуть ли не тридцать фунтов.

— Ужасно,— сказал я.

— Это бы еще ничего,— вставила тетя,— но они как будто даже не заплатили горничной, которая у них работала три месяца.

— Надеюсь, впредь,— сказал дядя,— ты станешь умнее и не будешь якшаться с людьми, которых мы с тетей считаем неподходящими для тебя знакомыми.

— Остается только пожалеть тех торговцев, которых они обманули,— сказала тетя.

— Так им и надо,— возразил дядя.— Нечего было предоставлять кредит таким людям! По-моему, всякий мог видеть, что это просто авантюристы.

— Я всегда удивлялась, зачем вообще они сюда приехали.

— Просто хотели пустить пыль в глаза. И наверное, думали, что раз здесь люди их знают, то им будет легче получать все в кредит.

Мне это показалось не очень логичным, но я был слишком подавлен, чтобы спорить.

При первой же возможности я расспросил Мэри-Энн, что она знает об этом деле. К моему удивлению, она отнеслась к этому вовсе не так, как дядя и тетя.

— Здорово они всех надули,— хихикнула она.— Швырялись деньгами направо и налево, и все думали, что у них кошелек битком набит. Грудинку у мясника брали самую лучшую, а уж если на жаркое, то только вырезку. И спаржу, и виноград, и я не знаю что. У них были счета в каждой лавке по всему городу. Не знаю, как это можно быть такими дураками.

Но она явно имела в виду не Дрифилдов, а торговцев.

— А как же им удалось удрать, чтобы никто не знал? — спросил я.

— Вот этого никто и не может понять. Говорят, им Лорд Джордж помог. Скажи-ка, как же они могли бы дотащить вещи на станцию, если бы он не подвез их в своей тележке?

— А он что говорит?

— Говорит, что ничего не знает. Тут такое творилось, когда до всех дошло, что Дрифилды улизнули! Просто смех. Лорд Джордж говорит, он не подозревал, что у них ничего нет, и прикидывается, будто тоже удивлен, как и все. Но я-то ни слову его не верю. Все мы знаем, что у него было с Розой до того, как она вышла замуж, да, между нами, я и не

верю, что на этом все кончилось. Говорят, кто-то видел, как они прошлым летом прогуливались за городом, да и у них он бывал каждый божий день.

— А как все это стало известно?

— А вот как. У них там работала одна девушка, и они сказали ей, что она может идти к матери ночевать, но чтобы вернулась не позже восьми утра. Ну, пришла она и не может попасть в дом. Стучала, звонила — никто не отвечает. Она пошла к соседям и спросила там, что ей делать, и соседка говорит, что лучше всего пойти в полицию. Пришел сержант, он тоже звонил и стучал, и никакого ответа. Тогда он спросил ее, заплатили ли они ей, а она сказала — нет, за целых три месяца, и тогда он сказал: «Можешь мне поверить, они смылись, вот что». И когда вошли в дом, то увидели, что они взяли всю одежду, и все книги — говорят, у Теда Дриффила их было ужасно много, — и все до последнего, что у них там было.

— И с тех пор никто о них ничего не слышал?

— Да в общем нет, только когда их не было уже с неделю, эта девушка получила письмо из Лондона, и, когда его распечатала, там не было никакого письма и ничего, а только почтовый перевод на те деньги, что она заработала. И если ты спросишь меня, то, по-моему, они просто молодцы, что не обманули бедную девушку.

Я был гораздо сильнее шокирован, чем Мэри-Энн. Я был весьма уважаемым юнцом. Читатель не мог не заметить, что я разделял все предрассудки своего класса, считая их такими же незыблемыми, как законы природы, и хотя огромные долги, о которых я читал в книгах, казались мне романтическими, а кредиторы с ростовщиками были обычными персонажами в мире моих фантазий, — я не мог не счесть неуплату долга торговцам подлым поступком, достойным презрения. Я смущенно слушал, когда в моем присутствии говорили о Дриффилах, а как только речь заходила о моей дружбе с ними, я говорил: «Ну, знаете, я ведь едва был с ними знаком»; и когда меня спрашивали: «А правда, что они были ужасно вульгарны?», я отвечал: «Да, пожалуй, потомственной аристократией от них не пахло».

Бедный мистер Гэллоуэй был ужасно расстроен.

— Конечно, я не думал, что они богаты, — говорил он мне, — но полагал, что хоть концы с концами они сводят. Дом был очень прилично обставлен, и пианино новое. Мне и в голову не могло прийти, что они ни за что не платили. Они никогда себя не стесняли. Что меня больше всего

огорчает — это обман. Я много у них бывал и, мне казалось, нравился им. Они всегда были такие гостеприимные. Вы не поверите, но когда я последний раз с ними виделся, миссис Дриффилд на прощанье пригласила меня приходить на следующий день, а Дриффилд сказал: «Завтра к чаю горячие булочки». А в это время наверху у них все уже было упаковано, и в ту же ночь они уехали последним поездом в Лондон.

— А что говорит об этом Лорд Джордж?

— Сказать вам правду, я последнее время не очень стремился с ним повидаться. Это мне хороший урок. Есть такая поговорка о дурных знакомствах, которую я решил теперь твердо помнить.

Я относился к Лорду Джорджу примерно так же и тоже немного нервничал. Если бы ему пришло в голову рассказать кому-нибудь, что в рождественские каникулы я чуть ли не каждый день бывал у Дриффилдов, и если бы это дошло до дядиных ушей, мне грозило неприятное объяснение. Дядя обвинил бы меня в обмане, двуличии, непослушании и неджентльменском поведении, и мне было бы нечего ответить. Я достаточно хорошо его знал и мог быть уверен, что он дела так не оставит и будет напоминать мне об этом проступке многие годы. Я тоже был рад, что не встречался с Лордом Джорджем. Но однажды я столкнулся с ним лицом к лицу на Хай-стрит.

— Хэлло, юноша! — крикнул он, хотя такое обращение я особенно не любил. — Снова на каникулы?

— Вы совершенно правы, — ответил я, как мне показалось, с уничтожающим сарказмом. Увы, он только разразился хохотом.

— До чего же острый у вас язык — смотрите, не обрежьтесь, — добродушно ответил он. — Что ж, теперь нам с вами, похоже, в вист поиграть не придется? Видите, что получается, когда живешь не по средствам. Я так и говорю своим ребятам: если у тебя есть фунт и ты тратишь девятнадцать с половиной шиллингов, то ты богатый человек; а если тратишь двадцать с половиной, ты нищий. По мелочи, по мелочи большие деньги собираются!

Но хотя он это и говорил, в его голосе не слышалось никакого неодобрения, а только усмешка, как будто про себя он потешался над этими прописными истинами.

— Говорят, вы помогли им улизнуть, — заметил я.

— Я? — Его лицо выразило крайнее удивление, но в глазах поблескивала хитрая усмешка. — Что вы! Когда мне сказали, что Дриффилды удрали, у меня так ноги

и подкосились. Они мне были должны за уголь четыре фунта и семнадцать с половиной шиллингов. Всех нас надули, даже бедного Гэллоуэя — так он и не получил булочку к чаю.

Такого нахальства я не ожидал от Лорда Джорджа. Мне хотелось сказать ему напоследок что-нибудь сокрушительное, но я ничего не мог придумать, а просто сказал, что мне надо идти, и расстался с ним, холодно кивнув на прощанье.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Перебирая в памяти прошлое в ожидании Элроя Кира, я усмехнулся, когда сравнил этот недостойный эпизод из забытого периода жизни Эдуарда Дриффила с невероятной респектабельностью его последних лет. Мне пришло в голову: а не потому ли, что в годы моего отрочества окружающие нас люди так мало ценили его как писателя, — не потому ли я никогда не мог увидеть в нем те потрясающие достоинства, которые со временем стала приписывать ему критика?

Его язык долго считали очень плохим, и в самом деле ощущение было такое, будто он писал тупым огрызком карандаша; в его вымученном стиле смешались архаизмы и просторечие, а его персонажи разговаривали так, как не говорит ни один живой человек. Когда он в конце жизни диктовал свои книги, его стиль, приобретя разговорную легкость, стал плавным и водянистым; и тогда критики, вернувшись к произведениям поры его расцвета, нашли, что там язык был сильным, выразительным и колоритным. Расцвет Дриффила пришелся на ту пору, когда были в моде изящные отрывки, и некоторые описания из его книг попали во все хрестоматии английской прозы. Особенно прославились его картины моря, весны в кентских лесах и заката на Нижней Темзе. Мне следовало бы стыдиться, но, читая их, я всегда испытываю неловкость.

Во времена моей молодости его книги расходились плохо, а одна или две не были допущены в библиотеки; и все же восхищаться им считалось признаком культуры. Его считали смелым реалистом. Это была удобная дубинка для побиения филистеров. Кто-то в приступе вдохновения обнаружил, что его моряки и крестьяне — поистине шекспировские типы, а когда собирались вместе тонко понимающие натуры, их приводил в экстаз сдержанный соленый юмор его деревенских персонажей. На это Эдуард Дриф-

Филд не скупился. Когда он вводил меня в корабельный кубрик или в трактир, у меня падало сердце: я знал, что предстоит полдюжины страниц жаргона с остроумными высказываниями о жизни, этике и бессмертии. Правда, и шекспировские комические герои всегда наводят на меня скуку, а их бесчисленное потомство и вовсе невыносимо.

Сильной стороной Дриффила, вероятно, было изображение того круга людей, который он знал лучше всего: фермеров и батраков, лавочников и трактирщиков, шкиперов, помощников капитана, коков и матросов. Когда у него появляются персонажи более высокого общественного положения, надо полагать, даже его самым ярким почитателям становится немного не по себе. Его джентльмены так невероятно благородны, его знатные леди так безгрешны, так чисты и возвышенны — неудивительно, что выражаться они могут только очень длинно и с большим достоинством. Женщины в его книгах какие-то неживые. Но и здесь я должен добавить, что это только мое личное мнение; широкая публика и самые видные критики единодушно соглашались, что это обаятельные примеры английской женственности — жизненные, величавые, великодушные; их часто сравнивали с героинями Шекспира. Конечно, мы знаем, что женщины обычно страдают запором, но изображать их в литературе так, как будто они вовсе лишены заднего прохода, — по-моему, уж чрезмерная галантность. Удивительно, как это может нравиться им самим.

Критики способны заставить мир обратить внимание на очень посредственного писателя; мир может сходить с ума по писателю вовсе недостойному: но в обоих случаях это не может продолжаться долго. Сохранять же популярность столько времени, сколько это удалось Эдуарду Дриффилду, писатель может, надо думать, только если он наделен значительным талантом. Снобы презирают популярность; они даже склонны утверждать, будто это доказательство посредственности; но они забывают, что потомство делает свой выбор не среди неизвестных авторов данного периода, а среди тех, кто пользовался известностью. Может случиться, что появится некий великий шедевр, заслуживающий бессмертия, но, если он увидел свет мертворожденным, потомство о нем так ничего и не узнает. Не исключено, что потомки отправят в макулатуру все наши нынешние бестселлеры, но выбирать им придется все-таки из них. А слава Эдуарда Дриффила, во всяком случае, не меркнет. Мне его романы кажутся скучными; на мой взгляд, они затянуты; на меня не производят

впечатления мелодраматические события, которыми он пытается оживить гаснущий интерес читателя; но что у него есть — так это искренность. В его лучших книгах чувствуется биение жизни, и нет среди них такой, где бы вы не ощутили присутствия загадочной личности автора. Первое время его превозносили или ругали за реализм; критики в зависимости от своих взглядов либо хвалили его за правдивость, либо упрекали в грубости. Но с тех пор реализм перестал вызывать споры, и читатель сейчас легко преодолевает такие препятствия, которые уstraшили бы его всего лишь поколение назад.

Те, кто читает эти страницы, может быть, помнят передовую статью в «Таймс литерари сапплмент», появившуюся по случаю смерти Дриффилда. Воспользовавшись его романами в качестве повода, автор воспел настоящий гимн прекрасному. На всякого, кто читал статью, не могли не произвести впечатления ее высокопарные периоды, напоминающие возвышенную прозу Джереми Тейлора, ее благоговение и благочестие, короче, все эти высокие чувства, выраженные стилем, витиеватым без излишеств и нежным без слащавости. Статья была сама по себе исполнена прекрасного. Если же кто-нибудь скажет, что Эдуард Дриффилд был некоторым образом юморист и что в этой хвалебной статье не помешала бы острота-другая, то на это нужно будет возразить, что она представляла собой как-никак надгробное слово. К тому же хорошо известно, что Прекрасное не очень благосклонно к робким авансам Юмора. Когда Рой Кир говорил со мной о Дриффилде, он заявил, что, каковы бы ни были его недостатки, их искупает чувство прекрасного, которым проникнуты его книги. Сейчас, вспоминая наш разговор, я думаю, что именно это замечание меня больше всего возмутило.

Тридцать лет назад в литературных кругах была мода на бога. Вера в него считалась хорошим вкусом, а журналисты пользовались им для украшения слога. Потом мода на бога прошла (как ни странно, вместе с модой на крикет и пиво), и начался культ Пана. В сотнях книг его раздвоенное копытище оставляло след на траве; поэты видели его в сумерках лондонских улиц, а литературные дамы Серрея — эти нимфы индустриального века — загадочным образом лишались невинности в его грубых объятиях и духовно уже не могли стать прежними. Но прошла мода и на Пана, и теперь его место заняло Прекрасное. Его находят в отдельной фразе, в рыбном блюде, в собаке, в погоде, в картине, в поступке, в платье. Когорты молодых женщин,

написавших по одной добротной многообещающей повести каждая, щебечут о нем всякая на свой манер — иносказательно или игриво, пылко или очаровательно. А окончившие Оксфорд, но все еще окутанные ореолом его славы молодые люди, которые учат нас на страницах еженедельников, что мы должны думать об искусстве, о жизни и о вселенной, небрежно расшвыривают это слово по убористым страницам своих статей. Оно уже безнадежно изношено — боже мой, как безжалостно его затрепали! Идеал можно называть по-разному, и прекрасное — лишь одно из его имен. Может быть, этот шум вокруг прекрасного — всего лишь крик отчаяния тех, кому не по себе в нашем героическом мире машин, а их тяга к прекрасному, к этой крошке Нелл нынешнего века, стыдящегося своих чувств, не что иное, как сентиментальность? Может быть, следующее поколение, которое лучше приспособится к напряженной современной жизни, будет искать вдохновения не в бегстве от действительности, а в приятии ее?

Не знаю, как другие, но про себя могу сказать, что долго заниматься созерцанием прекрасного не могу. По-моему, ни один поэт не ошибался больше, чем Китс в первой строчке «Эндимиона». Насладившись волшебным ощущением, которое доставило мне нечто прекрасное, я быстро отвлекаюсь; я не верю людям, которые говорят, что могут часами как зачарованные смотреть на какую-нибудь картину. Прекрасное — это экстаз: оно так же просто, как голод. О нем, в сущности, ничего не расскажешь. Оно — как аромат розы: его можно понюхать, и все. Вот почему так утомительны все критические рассуждения об искусстве — если не считать тех, которые не касаются прекрасного и поэтому не имеют отношения к искусству. Все, что может сказать критик по поводу «Положения во гроб» Тициана — картины, которая, может быть, больше всех в мире исполнена чистой красоты, — это посоветовать вам пойти на нее посмотреть. Все остальное, что он скажет, будет или историей, или биографией, или чем-нибудь еще. Но люди связывают с прекрасным другие качества — возвышенность, человечность, нежность, любовь, потому что само прекрасное не может их надолго удовлетворить. Прекрасное — это совершенство, а совершенство (такова уж природа человека) лишь ненадолго задерживает наше внимание. Математик, который, посмотрев «Федру», спросил: «*Qu'est ce que ça prouve?*»¹ — был не таким уж дураком, как обычно считают. Никто еще

¹ А что это доказывает? (*фр.*)

смог объяснить, почему дорический храм в Пестуме более прекрасен, чем стакан холодного пива, если только не привлекать соображений, не имеющих к прекрасному никакого отношения. Прекрасное — это тупик. Это горная вершина, достигнув которой дальше идти некуда. Вот почему нас, в конце концов, больше очаровывает Эль Греко, чем Тициан, несовершенство Шекспира нам ближе, чем безупречность Расина. О прекрасном написано слишком много. Вот почему я написал немного еще. Прекрасное — это то, что удовлетворяет эстетический инстинкт. Но кому нужно полное удовлетворение? Только тупицы считают, что от добра добра не ищут. Будем откровенны: прекрасное немного скучно.

Но все, что писали критики про Эдуарда Дриффилда, было, конечно, сплошной чепухой. Не реализм, придававший жизненность его произведениям, составлял его выдающееся достоинство, не красота, которой они исполнены, не четко очерченные образы мореплавателей, не поэтические описания болот, шторма и штиля или уютных деревушек, — этим достоинством была его долговечность. Уважение к возрасту — одна из самых замечательных человеческих черт, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни в одной стране она не проявляется так заметно, как у нас. Другие нации нередко относятся к старости с платоническим почтением и любовью; у нас же это проявляется на практике. Кто, кроме англичан, способен заполнять зал Ковент-Гардена, чтобы послушать престарелую безголосую примадонну? Кто, кроме англичан, готов платить за удовольствие смотреть на таких дряхлых танцоров, что они еле передвигают ноги, да еще говорить друг другу в антракте: «Вот это да; а вы знаете, что ему уже под шестьдесят?» Но в сравнении с политическими деятелями и писателями это просто мальчишки, и мне часто кажется, что *jeune-premier*¹, если он не наделен из ряда вон выходящим добродушием, должен с горечью подумывать, что ему в семьдесят лет придется закончить свою карьеру, а общественный деятель и писатель в этом возрасте только входят в самую пору. Сорокалетний политик становится к семидесяти государственным деятелем. Именно в этом возрасте, когда он слишком стар, чтобы быть клерком, или садовником, или полицейским судьей, он созревает для руководства государством. Это не так уж удивительно, если вспомнить, что с самой глубокой древности старики внушают молодым, что они умнее, — а к тому

¹ Герой-любовник (*фр.*).

времени, как молодые начинают понимать, какая это чушь, они сами превращаются в стариков, и им выгодно поддерживать это заблуждение. Кроме того, каждый, кто вращался в политических кругах, не мог не заметить, что если судить по результатам, то для управления страной не требуется особых умственных способностей. Но вот почему писатели заслуживают тем большего почета, чем старше они становятся,— это давно приводит меня в недоумение. Одно время я думал, что похвалы, расточаемые им тогда, когда они уже двадцать лет как не написали ничего интересного, объясняются в основном тем, что более молодые люди, уже не боясь их конкуренции, без опаски превозносят их достоинства: хорошо известно, что хвалить человека, соперничество которого вам не грозит,— часто очень хороший способ ставить палки в колеса тому, чьей конкуренции вы опасаетесь. Но это слишком низкое мнение о человеческой природе, а я ни за что на свете не хотел бы навлечь на себя обвинения в дешевом цинизме. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что причина всеобщих рукоплесканий, скрашивающих последние годы писателя, который превысил обычную продолжительность человеческой жизни, на самом деле в том, что интеллигентные люди после тридцати лет вовсе ничего не читают. И по мере того, как они стареют, книги, прочитанные ими в молодости, окрашиваются радужными воспоминаниями того времени, и с каждым годом их автору приписываются все большие достоинства. Он, конечно, должен продолжать писать, чтобы не быть забытым публикой. Он не должен думать, что достаточно написать один-два шедевра; он должен подвести под них пьедестал из сорока — пятидесяти книг, не представляющих особого интереса. На это нужно время. Производительность писателя должна быть такой, чтобы оглушить читателя массой, если уж нельзя удержать его интерес качеством.

И если, как я полагаю, долговечность — это тоже гениальность, то мало кто в наше время оказался наделенным ею в такой степени, как Эдуард Дриффилд. Когда он был всего лишь шестидесятилетним юнцом (и просвещенная публика уже с ним покончила), его положение в литературном мире было всего лишь respectable; лучшие судьи хвалили его, но умеренно, а молодежь была склонна над ним подтрунивать. Все соглашались, что он не лишен таланта, но никому не приходило в голову, что он — слава английской литературы. Потом он отпраздновал свой семидесятилетний юбилей; литературный мир слегка заволновался — как гладь Индийского океана, когда где-то вдалеке назревает тайфун.

Стало очевидно, что все эти годы среди нас жил великий романист, о чем мы и не подозревали. В библиотеках начали хватать его книги, и сотни писак из Блумсбери, Челси и других мест, где собираются литераторы, принялись строчить одобрительные рецензии, исследования, очерки, труды — краткие и легкомысленные или длинные и серьезные — о его романах. Они переиздавались — полными собраниями, избранными произведениями, дешевыми и роскошными изданиями. Его стиль анализировали, его философию изучали, его технику разбирали. В семьдесят пять все единодушно признали Эдуарда Дриффилда гением. К восьмидесяти же он стал Великим Корифеем английской литературы и это положение сохранял до самой смерти.

Теперь мы с грустью видим, что занять его место некому. Есть несколько писателей, которым за семьдесят, — они, очевидно, полагают, что могли бы с удобством расположиться на пустующем троне. Но им явно чего-то не хватает.

Эти воспоминания, которые я так долго излагал, пронеслись передо мной очень быстро. Они шли вперемежку — то какой-нибудь случай, то обрывок предшествовавшего ему разговора, а я расположил их последовательно для удобства читателя и еще потому, что не терплю беспорядка. При этом меня удивило, что я даже в таком отдалении явственно помню, как выглядели люди и даже что они говорили, но очень смутно — как они были одеты. Я, конечно, знаю, что сорок лет назад одежда, особенно женская, сильно отличалась от нынешней, но если я и помню ее, то не по собственным впечатлениям, а по картинам и фотографиям, которые видел много позже.

Я все еще был погружен в эти праздные мысли, когда услышал, как у дверей остановилось такси, раздался звонок, и через секунду послышался раскатистый голос Элроя Кира, который говорил швейцару, что у него со мной назначена встреча. Он вошел — большой, толстый и добродушный, и его энергия в ту же минуту сокрушила хрупкое здание, выстроенное мной из давно ушедшего прошлого. Как неистовый мартовский ветер, он принес с собой агрессивное и неизбежное настоящее.

— Я как раз думал, — сказал я, — кто мог бы сменить Дриффилда в качестве Великого Корифея английской литературы, — и вот вы приехали, чтобы разрешить мое недоумение.

Он весело рассмеялся, но в его глазах мелькнуло подозрение.

— Не думаю, чтобы кому-нибудь это было по плечу, — ответил он.

— А вы сами?

— О мой милый, но мне ведь еще нет пятидесяти. Давайте подождем еще лет двадцать пять.

Он засмеялся снова, но при этом все время смотрел мне в глаза.

— Никогда не могу угадать, разыгрываете вы меня или нет.

Вдруг он опустил взгляд.

— Конечно, иногда думаешь о будущем. Все, кто сейчас на самом вершине, лет на пятнадцать — двадцать старше меня. Они не вечны, а кто их заменит? Конечно, есть Олдос; он намного моложе меня, но не очень крепок здоровьем и, по-моему, не очень следит за собой. Если не считать случайностей — то есть если вдруг не объявится какой-нибудь гений, который смешает все карты, то я, пожалуй, лет через двадцать — двадцать пять неизбежно останусь без всяких соперников. Нужно только продолжать работать и пережить всех остальных.

Рой опустился своим могучим телом в кресло моей хозяйки, и я предложил ему виски с содовой.

— Нет, я никогда не пью спиртного раньше шести, — сказал он и оглянулся вокруг. — Занятое у вас жилье.

— Это верно. Так о чем вы хотели со мной поговорить?

— Я думал поболтать с вами об этом приглашении миссис Дрифилд. По телефону довольно трудно все объяснить. Дело в том, что я взялся писать биографию Дрифилда.

— О! Почему вы не сказали сразу?

Я преисполнился к Рою самых дружеских чувств. Было приятно, что я не ошибся в нем, когда заподозрил, что он пригласил меня на обед не просто ради моего общества.

— Я тогда еще не решил. Миссис Дрифилд очень на этом настаивает. Она будет помогать мне чем может. Она предоставляет мне все материалы, какие у нее есть. Она собирала их много лет. Это нелегкое дело, и сделать его кое-как я просто не могу себе позволить. Но если я справлюсь, это принесет мне большую пользу. Люди очень уважают писателя, который время от времени создает что-нибудь серьезное. На свои критические работы я ухлопал много сил, а денег они не принесли никаких, но я ни минуты об этом не жалею. Без них я бы не имел такого положения, какое имею сейчас.

— По-моему, это очень хороший замысел. Последние двадцать лет вы знали Дрифилда ближе, чем кто бы то ни было.

— Да, пожалуй. Но когда мы познакомились, ему было уже за шестьдесят. Я написал ему, как восхищен его книгами, и он пригласил меня к себе. А о раннем периоде его жизни я ничего не знаю. Миссис Дриффилд часто навела его на разговор об этих временах и подробно записывала, что он говорил. Потом есть дневники, которые он несколько раз принимался вести, и, конечно, многое в его романах явно автобиографично. Но есть огромные пробелы. Я скажу вам, какую книгу я хочу написать; нечто о личной жизни, с множеством тех мелких подробностей, которые, знаете, согревают человека, и все это будет переплетено с исчерпывающим разбором его литературных работ — конечно, не тяжеловесным, но доброжелательным, тщательным и... тонким. Над этим, конечно, придется поработать, но миссис Дриффилд, кажется, думает, что я справлюсь.

— Я уверен, что справитесь, — вставил я.

— А почему бы и нет? — сказал Рой. — Я критик, я писатель. У меня явно есть для этого кое-какие литературные данные. Но у меня ничего не выйдет, если мне не будут помогать все, кто может.

Я начал понимать, зачем я здесь понадобился, но постарался, чтобы на моем лице ничего не отразилось. Рой наклонился ко мне.

— Я тогда спросил вас, не собираетесь ли вы написать сами что-нибудь про Дриффилда, и вы сказали, что нет. Это определено?

— Конечно.

— Тогда вы не возражаете против того, чтобы предоставить мне свои материалы?

— Но у меня нет никаких материалов!

— Ну, бросьте, — добродушно сказал Рой тоном врача, который уговаривает ребенка открыть ротик. — Когда он жил в Блэкстебле, вы, наверное, много виделись.

— Я был тогда еще мальчишкой.

— Но вы, наверное, чувствовали в нем что-то необычное. В конце концов, каждый, кто общался с Дриффилдом хотя бы полчаса, не мог не видеть, что имеет дело с необыкновенной личностью. Это должен был понять даже шестнадцатилетний мальчик — а вы, вероятно, были более наблюдательны и восприимчивы, чем обычно бывают люди в этом возрасте.

— Не знаю, показалась бы его личность необыкновенной, если бы за ней не стояла его репутация. Как вы думаете, если вы появитесь на морском курорте под видом мистера Аткинса, бухгалтера, приехавшего лечить больную

печень, вы произведете на людей впечатление необыкновенной личности?

— Думаю, они скоро поняли бы, что я не просто обычный бухгалтер,— ответил Рой с улыбкой, которая лишила его слова всякого оттенка самодовольства.

— Так вот, я могу сказать вам одно: больше всего меня тогда поразил в Дриффилде ужасно кричащий костюм, который он носил. Мы часто катались на велосипеде, и мне всегда было немного не по себе, когда меня с ним видели.

— Теперь это звучит комично. А о чем он говорил?

— Не знаю. Ни о чем в особенности. Он очень интересовался архитектурой и о сельском хозяйстве говорил, а если попадался какой-нибудь уютный на вид трактир, он обычно предлагал остановиться на пять минут и выпить по стакану пива, а потом болтал с хозяином про урожай, про цены на уголь и все такое.

Я продолжал в том же духе, хотя по лицу Роя было заметно, что он разочарован. Он слушал, но ему было неинтересно; а я обратил внимание, что, когда ему неинтересно, у него становится сердитый вид. Но хоть я и не помнил, чтобы Дриффилд когда-нибудь сказал что-нибудь значительное во время этих наших долгих прогулок, в моей памяти прекрасно сохранились связанные с ними незабываемые ощущения. У Блэкстебла была одна особенность: хотя он стоял на морском берегу между длинным галечным пляжем и прибрежным болотом, но стоило пройти всего с полмили от моря, как вы попадали в самую сельскую местность во всем Кенте. Дороги извивались между обширными плодородными зелеными полями и рощами огромных коренастых вязов, скромно-величавых, как старые добрые кентские фермерши, краснощекие и дюжие, растолстевшие на хорошем масле, домашнем хлебе, сливках и свежих яйцах. А иногда дорога превращалась просто в тропинку между густыми живыми изгородями из боярышника, а с обеих сторон над ней свешивались зеленые вязы, так, что, если посмотреть вверх, видна только узкая полоска голубого неба. Воздух был теплым и свежим, и когда вы ехали по такой тропинке, то казалось, что весь мир застыл неподвижно и что жизнь будет продолжаться вечно. Несмотря на то, что вы энергично работали ногами, вас охватывало восхитительное чувство лени. Лучше всего было, когда все молчали, а если кто-то от полноты чувств вдруг прибавлял ходу и уносился вперед, это всех смешило, и следующие несколько минут мы изо всех сил налегали на педали. Добродушно подтрунивая друг над другом, мы от души

смеялись собственным шуткам. Время от времени нам попадались коттеджи с маленькими палисадниками, где росли шток-розы и лилии, а в стороне от дороги стояли фермы с просторными амбарами и сушилками для хмеля; попадались и хмелевые плантации, где гирляндами свисали созревающие шишки. В трактирах было весело и уютно, они почти не отличались с виду от коттеджей, и на крыльце у них часто росла жимолость. Они носили привычные названия: «Веселый матрос», «Веселый пахарь», «Корона и якорь», «Красный лев».

Но все это, конечно, было неинтересно Рою, и он преврал меня.

— А он никогда не говорил о литературе?

— По-моему, нет. Он был не из тех писателей. Вероятно, он думал о своей работе, но никогда о ней не говорил. Он обычно давал нашему помощнику приходского священника почитать книги. Той зимой, во время каникул, я почти каждый день пил у него чай, и иногда они говорили о книгах, но мы всегда это прекращали.

— И вы не помните, что он говорил?

— Только одно. Помню потому, что не читал тех вещей, о которых он говорил, а после этого я их прочел. Он сказал, что если Шекспир когда-нибудь и думал о своих пьесах после того, как вернулся в Стрэтфорд-на-Эйвоне и стал уважаемым, то с самым большим интересом он, вероятно, вспоминал две: «Мера за меру» и «Троила и Крессиду».

— Ну, в этом смысле немного. А он ничего не говорил о более современных писателях, чем Шекспир?

— Нет, тогда — не помню; но, когда я несколько лет назад обедал у Дрифилдов, я слышал, как он сказал, что Генри Джеймс повернулся спиной к одному из величайших событий мировой истории — возникновению Соединенных Штатов, чтобы писать о застольной болтовне в английских поместьях. Дрифилд назвал это «il gran rifiuto». Я удивился, что старик сказал это по-итальянски, и меня позабавило, что, кроме одной чванливой герцогини, никто и не понял, о чем это он. Он сказал: «Бедный Генри, он целую вечность бродит вокруг величественного парка, слишком далеко, так что ему не слышно, что говорит графиня».

Рой внимательно выслушал этот анекдот и задумчиво покачал головой.

— Не думаю, чтобы я смог это использовать. Вся банда поклонников Генри Джеймса кинулась бы на меня, как свора собак... А что вы тогда делали вечерами?

— Ну, играли в вист, пока Дриффилд читал книги, которые присылали на рецензию, а потом он пел.

— Это интересно,— сказал Рой, встрепенувшись.— Вы не помните, что он пел?

— Прекрасно помню. Его любимыми песнями были «И все из-за солдата» и «Заходи, здесь пиво лучше».

— О!

Я видел, что Рой разочарован.

— А вы ожидали, что он будет петь Шумана? — спросил я.

— Почему бы и нет? Это было бы неплохо. Но я скорее думал, что он пел морские песенки или старые английские народные баллады — знаете, в таком роде, как певали на ярмарках слепые скрипачи и деревенские красавцы, пляшущие с девушками на току, и все в таком роде. Из этого я сделал бы что-нибудь изящное. Но я не могу представить себе Эдуарда Дриффилда, расппевающего куплеты из оперетт. В конце концов, когда рисуешь портрет человека, нужно иметь определенную точку зрения; если вставлять то, что совершенно выпадает из общего тона, обязательно испортишь все впечатление.

— А вы знаете, что вскоре после этого он смылся, не заплатив долгов?

Рой молчал целую минуту, задумчиво глядя на ковер.

— Да, я знаю, там были кое-какие неприятности. Миссис Дриффилд говорила. Насколько я понимаю, все было выплачено потом, еще до того, как он купил Ферн-Корт и поселился в тех местах. По-моему, нет никакой необходимости напирать на этот случай — ведь он, в сущности, не имел никакого влияния на его творческий путь. В конце концов, это произошло почти сорок лет назад. Знаете, у старика был очень любопытный характер. Кто бы мог подумать, что после такой скандальной истории он, когда прославится, выберет именно окрестности Блэкстебла, чтобы провести остаток своих дней,— особенно если иметь в виду, что здесь он в самых скромных условиях начинал свою жизнь? Но это его ничуть не смущало. Он как будто считал все это занятной шуткой. Он не стеснялся рассказывать об этом гостям за обедом, и миссис Дриффилд чувствовала себя очень неловко. Вам бы надо поближе познакомиться с Эми. Это замечательная женщина. Конечно, старик написал все свои великие книги еще до того, как с ней повстречался, но, по-моему, нельзя отрицать, что тот внушительный и достойный образ, который весь мир знал последние двадцать пять лет, создала она. Она мне

откровенно рассказывала, как нелегко это ей далось. У старого Дриффилда были разные странные привычки, и от нее требовался большой такт, чтобы заставить его вести себя прилично. В некоторых вещах он был очень упрям, и я думаю, что менее настойчивая женщина потерпела бы здесь поражение. Эми, например, стоило большого труда отучить его от привычки, доев свое жаркое с подливкой, вытирать тарелку хлебом и съедать его.

— А знаете, что это значит? — спросил я. — Это значит, что долгое время он недоедал и дорожил каждой крошкой.

— Ну, возможно, но ведь такая привычка не очень украшает знаменитого писателя. И потом, он хоть и не был пьяницей, но очень любил заглядывать в «Медведь и ключ» в Блэкстебле и выпивать там по несколько кружек пива за общей стойкой. Конечно, ничего плохого тут нет, но это привлекало к нему всеобщее внимание, особенно летом, когда в Блэкстебле полно приезжих. Ему было все равно, с кем он разговаривает. Он как будто не понимал, что должен оставаться на высоте своего положения. Согласитесь — было очень неловко, когда он, пообедав с разными интересными людьми — вроде Эдмунда Госса или лорда Керзона, — шел в трактир и рассказывал слесарям, булочникам и санитарным инспекторам, что он об этих людях думает. Ну, это еще, конечно, можно объяснить. Можно сказать, что он искал местный колорит и интересовался человеческими типами. Но были у него и такие привычки, с которыми неизвестно что делать. Знаете ли вы, с каким трудом Эми заставляла его принимать ванну?

— Но он родился в такое время, когда считалось, что слишком часто мыться вредно. Я думаю, до пятидесяти лет он и не жил никогда в таком доме, где была бы ванна.

— Ну да, он говорил, что никогда не мылся чаще, чем раз в неделю, и не собирается в этом возрасте менять свои привычки. Потом Эми настаивала, чтобы он каждый день менял белье, но он и против этого возражал. Говорил, что привык носить рубашку и кальсоны целую неделю и что все это ерунда — от частой стирки они только быстрее изнашиваются. Миссис Дриффилд делала все, что могла, чтобы заставить его принимать ванну каждый день — пробовала заманивать его всевозможными экстрактами и ароматами, но ничто не помогало, а еще позже он не мылся даже и раз в неделю. Она говорила мне, что за последние три года жизни он вообще ни разу не принимал ванну. Все это, конечно, между нами; я просто хочу сказать, что нужен очень большой такт, чтобы писать о его жизни. Приходится

признать, что он не был чересчур щепетилен в денежных делах, и он почему-то находил большое удовольствие в обществе людей ниже себя, и некоторые его привычки были довольно непривлекательны,— но я не думаю, чтобы именно эта сторона была в нем главной. Я не хочу писать неправду, но думаю, что кое о чем лучше не упоминать.

— А не думаете ли вы, что было бы гораздо интереснее не останавливаться на полпути и нарисовать его таким, каким он был?

— О, это невозможно. Эми Дриффилд потом со мной всю жизнь не будет разговаривать. Она попросила меня написать о нем только потому, что уверена в моем благоразумии. Я должен вести себя как джентльмен.

— Очень трудно быть одновременно джентльменом и писателем.

— Нет, почему? И потом вы ведь знаете критиков. Если напишешь правду, они назовут тебя циником, а такая репутация не идет на пользу писателю. Конечно, я не отрицаю, что, если бы отбросить все условности, я мог бы произвести сенсацию. Было бы очень заманчиво показать этого человека с его тягой к прекрасному и с его легкомысленным отношением к своим обязательствам, с его великолепным стилем и острой ненавистью к мылу и воде, с его идеализмом и выпивками в подозрительных заведениях. Но, если говорить честно, разве это окупится? Все скажут только, что я подражаю Литтону Стрэчи. Нет, я думаю, будет лучше написать об этом обиняками, приятно и тонко, знаете, полегче. По-моему, начиная писать книгу, нужно ее сначала увидеть. Так вот, я это вижу, пожалуй, как портрет работы Ван-Дейка— знаете, с таким настроением, и серьезностью, и такой аристократической утонченностью. Понимаете, что я хочу сказать? Тысяч на восемьдесят слов.

Некоторое время он сидел, погруженный в эстетический экстаз. Он уже видел перед собой эту книгу ин-октаво, изящную и нетяжелую, напечатанную с большими полями, на хорошей бумаге, ясным и красивым шрифтом; наверное, он видел и переплет из гладкой черной ткани с золотыми украшениями и буквами. Но Элрой Кир был всего лишь человек, и поэтому он, как я отмечал несколькими страницами ранее, не мог долго предаваться созерцанию прекрасного. Он чистосердечно улыбнулся мне.

— Но как мне ухитриться обойти первую миссис Дриффилд?

— Скелет в шкафу,— пробормотал я.

— Чертовски трудная фигура. Она была замужем за Дриффилдом много лет. У Эми на это очень определенная точка зрения, но я не вижу, как бы я мог ее удовлетворить. Видите ли, она считает, что Роза Дриффилд оказывала на мужа самое вредное влияние и сделала все возможное, чтобы разорить его и погубить морально и физически. Что она была ниже его во всех отношениях, во всяком случае в интеллектуальном и духовном, и он спасся только благодаря огромной силе духа и жизнеспособности. Это, конечно, была очень неудачная пара. Правда, Роза уже много лет как умерла, и не хочется ворошить старые сплетни и стирать у всех на виду грязное белье, но факт остается фактом: самые великие произведения Дриффилд написал, когда жил с ней. Как бы я ни ценил его поздние вещи — а я, как никто, сознаю их подлинные достоинства, в них есть восхитительная сдержанность и какая-то классическая умеренность — и все-таки я признаю, что в них не хватает огонька, живости, аромата и шума жизни, какие есть в ранних книгах. Мне кажется, что нельзя совсем отрицать влияния первой жены на его творчество.

— Ну и что вы собираетесь с этим делать? — спросил я.

— Что ж, я не вижу, почему нельзя было бы рассказать об этой стороне его жизни как можно сдержаннее и деликатнее, чтобы не оскорбить самый щепетильный вкус, и в то же время с этакой мужественной откровенностью — вы меня понимаете? Получилось бы даже трогательно.

— Легко сказать...

— На мой взгляд, вовсе ни к чему ставить все точки над «и». Важно только взять нужный тон. Я бы попробовал писать об этом как можно меньше, но намеками передать все самое существенное, что важно знать читателю. Знаете, самую непристойную тему можно смягчить, если подойти к ней с достоинством. Но я ничего не могу сделать, пока не знаю всех фактов.

— Разумеется, чтобы подать их, нужно их знать.

Рой говорил легко и свободно, как опытный и пользующийся успехом оратор. Мне пришло в голову, что, во-первых, хорошо бы и мне научиться выражать свои мысли так точно и гладко, никогда не подыскивая нужного слова, чтобы фразы катились без малейшей задержки, и что, во-вторых, я был бы очень рад, если бы не чувствовал себя столь плачевно недостойным представлять в своем ничтожном лице обширную и сочувствующую аудиторию, к которой Рой инстинктивно обращался. Но тут он умолк. На его лице, раскрасневшемся от энтузиазма и покрытом испари-

ной от полуденной жары, появилось добродушное выражение, а повелительно сверкавшие глаза смягчились и заулыбались.

— Вот тут вы мне и нужны,— продолжал он дружелюбно.

Я давно уже убедился: если нечего сказать или не знаешь, что ответить, лучше всего промолчать. Не говоря ни слова, я с тем же дружелюбием смотрел на Роя.

— Вы больше всех знаете о его жизни в Блэкстебле.

— Ну, вряд ли. В Блэкстебле, наверное, немало людей, которые виделись с ним тогда не меньше моего.

— Возможно, но ведь это люди незначительные, и вряд ли их мнение так уж существенно.

— А, понимаю. Вы хотите сказать, что только я могу проболтаться?

— Грубо говоря, я имел в виду примерно это, если уж вам так угодно шутить.

Я видел, что моя шутка не позабавила Роя. Я не огорчился: я давно привык к людям, которых мои шутки не смешат. Нередко мне приходит в голову, что самый чистый тип художника — это юморист, который один смеется собственным шуткам.

— И насколько я знаю, потом в Лондоне вы тоже часто его видели.

— Да.

— Это когда он снимал квартиру где-то в Нижней Белгрэвии?

— Ну, не совсем так. Всего лишь комнатку в Пимлико.

Рой сухо улыбнулся.

— Не будем спорить из-за точного адреса. Вы тогда были с ним очень близки.

— Более или менее.

— Сколько времени это продолжалось?

— Год-два.

— Сколько вам тогда было лет?

— Двадцать.

— Так вот, слушайте. Я прошу вас оказать мне большую услугу. Это не займет у вас много времени, а для меня это будет просто неоценимая помощь. Я хотел бы, чтобы вы набросали свои воспоминания о Дриффилде как можно полнее,— все, что вы помните о его жене и их отношениях, и так далее, и про Блэкстебл, и про Лондон.

— Ну, знаете ли, вы просите не так уж мало. У меня сейчас хватает работы.

— Не надо тратить много времени. Вы можете набросать это в самом черновом виде. Не надо думать о стиле

и прочем. Стилль я возьму на себя. Мне нужны только факты. В конце концов, вы один их знаете. Я не хочу, чтобы это прозвучало напыщенно, но Дриффилд был великий человек, и ради его памяти и ради английской литературы вы обязаны рассказать все, что вам известно. Я не просил бы вас об этом, но вы тогда говорили, что не хотите ничего о нем писать сами. Не будьте собакой на сене и не держите про себя материал, который вам не нужен.

Так Рой одним махом воззвал к моему чувству долга, к моей лени, к моему великодушию и к моей честности.

— А зачем миссис Дриффилд хочет, чтобы я приехал в гости в Ферн-Корт? — спросил я.

— Мы с ней это обсудили. Там очень хорошо. Она прекрасно принимает гостей, а в это время года за городом божественно. Она подумала, что, если вы согласитесь писать там свои воспоминания, вам будет очень уютно и спокойно; конечно, я сказал, что не могу ей этого обещать, но, естественно, когда вы будете так близко от Блэкстебла, вам будут вспоминаться всякие вещи, которые иначе вы бы забыли. И потом, если вы будете жить в его доме, среди его книг и вещей, прошлое будет казаться гораздо реальнее. Мы могли бы беседовать о нем — знаете, как в разговоре вспоминается то одно, то другое. Эми очень сообразительна и умна. Она в течение многих лет привыкла записывать разговоры Дриффилда, и ведь, очень возможно, вы скажете что-то такое, о чем не стали бы писать, а она потом это запишет. И мы с вами можем играть в теннис и купаться.

— Я не очень люблю жить в гостях, — сказал я. — Терпеть не могу вставать к девятичасовому завтраку и есть, что дадут, даже если не хочу. Не люблю ходить на прогулки и не интересуюсь чужими цыплятами.

— Она сейчас очень одинока. Это была бы большая любезность по отношению к ней и ко мне тоже.

Я задумался.

— Вот что я сделаю. Я поеду в Блэкстебл, но поеду сам по себе. Я поселюсь в «Медведе и ключе», а к миссис Дриффилд буду приходить в гости, пока вы там. Вы можете сколько угодно разговаривать о Дриффилде, а когда мне станет с вами невмоготу, я смогу удрать.

Рой добродушно засмеялся.

— Ладно, годится. И вы будете записывать все, что вспомните и что, по-вашему, может мне пригодиться?

— Попробую.

— Когда вы приедете? Я отправлюсь в пятницу.

— Я поеду с вами, если вы пообещаете не разговаривать со мной по дороге.

— Ладно. Самый удобный поезд — пять десять. Заехать за вами?

— Я способен добраться до вокзала Виктория сам. Встретимся на платформе.

Не знаю — может быть, Рой боялся, что я передумаю, но он тут же встал, сердечно пожал мне руку и ушел. На прощанье он напомнил мне, чтобы я ни в коем случае не забыл теннисную ракетку и купальный костюм.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Обещание, которое я дал Рою, напомнило мне о первых годах, проведенных мной в Лондоне. Особых дел у меня в тот день не было, и мне пришлось в голову пройтись и выпить чаю у своей старой квартирной хозяйки. Миссис Хадсон мне порекомендовал секретарь медицинского училища при больнице св. Луки, когда я, еще зеленым юнцом, только что приехал в город и искал себе квартиру. Ее дом стоял на Винсент-сквер. Я прожил там, в двух комнатах первого этажа, пять лет, а надо мной, в бельэтаже, жил преподаватель вестминстерской школы. Я платил за свои комнаты фунт в неделю, а он — двадцать пять шиллингов. Миссис Хадсон была живая, суетливая женщина маленького роста, с худым лицом, крупным орлиным носом и самыми яркими, самыми жизнерадостными черными глазами, какие я в жизни видел. Свои пышные, очень темные волосы она каждый вечер и каждое воскресенье собирала в пучок на затылке, оставляя на лбу маленькую челку, как можно сейчас видеть на старых фотографиях Джерсейской Лилии¹. У нее было золотое сердце (хотя тогда я об этом не догадывался, потому что в молодости мы принимаем доброту к себе как должное), а готовила она превосходно. Никто не мог лучше ее сделать *omelette soufflée*². Каждое утро она вставала спозаранку, чтобы затопить камин в гостиных у своих джентльменов: «Не завтракать же им в этом холодильнике — уж так сегодня морозит!»; и если она не слышала, как вы берете ванну (в плоском жестяном тазу, который задвигался под кровать, а воду в него наливали

¹ Прозвище знаменитой актрисы Лили Лэнгтри (1852—1929), слышавшей одной из первых красавиц Англии.

² Воздушный омлет (*фр.*).

с вечера, чтобы немного согрелась), то говорила: «Ну, вот, мой второй этаж еще не встал, опять он на лекцию опоздает», поднималась наверх, колотила в дверь и кричала: «Если сейчас же не встанете, не успеете позавтракать, а у меня для вас чудная треска». Работая весь день напролет, она пела за работой и всегда оставалась веселой, счастливой и улыбающейся. Муж ее был гораздо старше. Он был когда-то дворецким в очень хороших домах, носил бакенбарды и имел безупречные манеры; он прислуживал в соседней церкви, где пользовался большим уважением, а дома подавал на стол, чистил обувь и помогал мыть посуду. Передохнуть миссис Хадсон могла только тогда, когда, подав обед (я обедал в половине седьмого, а жилец бельэтажа — в семь), поднималась наверх, чтобы немного поболтать со своими джентльменами. Я очень жалею, что у меня тогда не хватало ума записывать ее разговоры (как Эми Дрифилд записывала разговоры своего знаменитого мужа), потому что миссис Хадсон была наделена великолепным лондонским народным юмором. За словом в карман она не лезла, выражалась живо, словарь ее был обширен, и в нем всегда находилась какая-нибудь смешная метафора или меткое замечание. Она была образцом добропорядочности, никогда не потерпела бы в своем доме женщин («Никогда не знаешь, что у них на уме, вечно мужчины, мужчины, мужчины, и чай всякие, и дверь открывать приходится, и воду им носи, и не знаю что»), но в разговоре, не моргнув глазом, пользовалась довольно рискованными для того времени выражениями. Про нее можно было сказать то же самое, что она говорила про Мэри Ллойд: «Что мне нравится — с ней не соскучишься. Случается, ходит по самому краешку, ан не соскользнет». От своих шуток миссис Хадсон сама получала большое удовольствие и, по-моему, охотнее разговаривала со своими квартирантами, чем с мужем, потому что он был человек серьезный («Так и должно быть,— говорила она,— он и в процессиях ходит, и на свадьбах бывает, и на похоронах, и все такое») и не питал большой склонности к шуткам. «Я ему что говорю: смейся, пока можно, а то помрешь, похоронят, тогда уж не посмеешься».

Юмор никогда не покидал миссис Хадсон, и история ее вражды с мисс Бьючер, которая сдавала комнаты в доме четырнадцать, была настоящей комической эпопеей, продолжавшейся из года в год. «Она старая сварливая кошка, но, поверьте мне, жаль будет, если господь как-нибудь ее приберет. Хотя что он с ней будет делать, ума не приложу. Немало она меня посмешила в свое время».

У миссис Хадсон были очень плохие зубы, и в течение двух или трех лет она с невероятной комической изобретательностью обсуждала вопрос о том, не стоит ли ей их вырвать и вставить искусственные.

— Я что сказала Хадсону вчера? Он мне: «Да пойдя ты вырви их, и дело с концом», а я ему: «А о чем же мне тогда говорить?»

Я не видел миссис Хадсон уже два или три года. В последний раз я заходил к ней, получив записку, в которой она приглашала меня заглянуть на чашку доброго чая и сообщала: «Хадсон умер, вот уже три месяца в субботу будет, и было ему семьдесят девять лет, а Джордж и Эстер Вам с почтением кланяются». Джордж был ее сын — теперь уже взрослый мужчина, рабочий Вуличского арсенала; мать в течение двадцати лет твердила, что он вот-вот приведет в дом жену. А Эстер была прислуга за все, которую миссис Хадсон наняла незадолго до того, как я с ней расстался, и все еще говорила о ней — «эта моя паршивая девчонка».

Когда я только поселился у миссис Хадсон, ей было порядочно за тридцать, а с тех пор прошло тридцать пять лет — и все равно сейчас, проходя не спеша по Грин-парку, я не допускал и мысли, что ее вдруг не окажется в живых: настолько она стала неотъемлемой частью воспоминаний моей юности. Я спустился по ступенькам, и мне открыла дверь Эстер — теперь уже женщина под пятьдесят и изрядно пополнившаяся, но в ее застенчиво улыбающемся лице все еще оставалось что-то от легкомыслия той «паршивой девчонки». Когда я вошел в гостиную, миссис Хадсон штопала Джорджу носки и сняла очки, чтобы взглянуть на меня.

— Никак, это мистер Эшенден! И кто бы мог подумать? Эстер, кипит там чайник? Ведь вы выпьете со мной чашечку чаю?

Миссис Хадсон немного отяжелела с тех пор, как я впервые с ней познакомился, и ее движения стали помедленнее, но в волосах ее почти не было седины, а глаза, черные и блестящие, как пуговицы, сверкали весельем. Я сел в ветхое маленькое кресло, обитое коричневой кожей.

— Ну, как дела, миссис Хадсон? — спросил я.

— Да жаловаться не на что — разве что не такая уж я теперь молодая, как была, — отвечала она. — Уж не могу столько делать, как в то время, когда вы тут жили. Теперь я джентльменам не готовлю обед — только завтрак.

— Вы все комнаты сдаете?

— Слава богу, все.

Благодаря возросшим ценам миссис Хадсон теперь получала за комнаты больше, чем в мое время, и, я думаю, жила хотя и скромно, но вполне обеспеченно. Но, конечно, теперь у людей и потребности побольше.

— Вы не поверите, сначала пришлось устроить ванную, потом электричество, а потом вынь да положь им телефон. Не знаю уж, что им еще понадобится.

— Мистер Джордж говорит, не пора ли миссис Хадсон подумать об отдыхе, — сказала Эстер, накрывавшая на стол.

— Не лезь не в свое дело, девчонка, — резко ответила миссис Хадсон. — На кладбище отдохну. Подумайте только — чтобы я жила совсем одна, с Джорджем и Эстер; ведь и поболтать будет не с кем.

— Мистер Джордж говорит, ей надо бы снять домик за городом и жить там одной, — продолжала Эстер, ничуть не смутившись.

— Нечего ко мне приставать с этим загородом. Прошлым летом доктор велел мне поехать за город на шесть недель. Я чуть не померла, поверьте. Этот вечный шум — и птицы все время поют, и петухи кричат, и коровы мычат, просто сил нет. Проживите с мое в тишине и спокойствии — и вы тоже не сможете привыкнуть к такому шуму и крику.

В нескольких домах отсюда проходила Воксхолл-Бридж-роуд, по которой с грохотом и звоном мчались трамваи, ревели грузовики, гудели такси. Но если миссис Хадсон и слышала эти звуки, они были голосом Лондона, который убаюкивал ее, как мать баюкает колыбельной песенкой беспокойного ребенка.

Я оглядел уютную, скромную, небогатую гостиную, где так долго прожила миссис Хадсон, и подумал, нельзя ли что-нибудь для нее сделать. Единственное, что пришло мне в голову, — это граммофон, но я заметил, что он у нее уже есть.

— Что бы вам хотелось иметь, миссис Хадсон? — спросил я.

Она задумчиво поглядела на меня своими блестящими глазами, похожими на бусины.

— Да уж не знаю; разве что, пожалуй, здоровья и сил еще лет на двадцать, чтобы я могла и дальше работать...

Я как будто не сентиментален, но, услышав этот неожиданный, хотя и такой характерный для нее ответ, я почувствовал, что у меня к горлу подступил комок.

Когда пришло время уходить, я спросил, нельзя ли посмотреть комнаты, где я прожил пять лет.

— Эстер, сбегай наверх, посмотри, дома ли мистер Грэхем. Если его нет, конечно, можно их посмотреть.

Эстер поспешила наверх, тут же, слегка запыхавшись, вернулась и сказала, что мистера Грэхема дома нет. Миссис Хадсон пошла со мной. В спальне стояла та же самая узкая железная кровать, на которой я спал и предавался грезам, и тот же комод, и тот же умывальник. Но в гостиной царил мрачно-мужественный спортивный дух: на стенах висели фотографии крикетных команд и гребцов в шортах, в углу стояли клюшки для гольфа, а на каминной полке были разбросаны трубки и кисеты, украшенные гербом колледжа. В мое время мы верили в искусство ради искусства, и это воплотилось в том, что я задрапировал каминную полку мавританским ковром, повесил саржевые занавески ядовито-зеленого цвета и увешал стены автотипиями картин Перуджино, Ван-Дейка и Гоббеми.

— Была у вас склонность к искусству, а? — заметила миссис Хадсон не без иронии.

— Да, изрядная, — пробормотал я.

Я не мог не почувствовать горечь, подумав о годах, прошедших с тех пор, как я жил в этой комнате, и обо всем, что было со мной за это время. Вот за этим столом я съедал свой обильный завтрак и скудный обед, читал свои медицинские книги и писал свой первый роман. Вот в этом кресле я впервые прочел Вордсворта и Стендаля, елизаветинских драматургов и русских романистов, Гиббона, Босуэлла, Вольтера и Руссо. «Кто сиживал здесь после меня? — подумал я. — Студенты-медики, клерки, молодежь, проби- вающая себе дорогу в Сити, и пожилые люди, вернувшиеся из колоний или неожиданно выброшенные в мир крахом старого дома?» Что-то в этой комнате было такое, от чего у меня, как сказала бы миссис Хадсон, мурашки по спине забегали. Все надежды, которые здесь рождались, все светлые видения будущего, страсти молодости, сожаления, разочарования, усталость, смирение — так много было пере- чувствовано здесь столь многими людьми, что этот обширный мир человеческих эмоций, казалось, придавал комнате какую-то загадочную индивидуальность. Не знаю почему, но мне представилась некая женщина, которая стоит на распутье, оглядываясь назад и держа палец на губах, а другой рукой манит вперед. Эти смутные чувства передались и миссис Хадсон, потому что она усмехнулась и характерным жестом потеряла свой длинный нос.

— Ну и занятные же люди, — сказала она. — Вспомнить только всех джентльменов, что тут у меня жили, — вы бы не

поверили, если бы я вам о них кое-что рассказала. Один чуднее другого. Иногда лежу в кровати, думаю о них и смеюсь. Конечно, совсем никуда не годился бы этот мир, если бы не над чем было посмеяться, но, боже мой, жильцы — это уж чересчур!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Я прожил у миссис Хадсон года два, прежде чем снова повстречался с Дриффилами. Жизнь я вел очень размеренную, весь день проводил в больнице, а около шести возвращался пешком на Винсент-сквер. У Ламбетского моста я покупал «Стар» и читал, пока мне не подавали обед. Потом я час или два занимался серьезным чтением, потому что был старательным, вдумчивым и трудолюбивым молодым человеком, а потом писал романы и пьесы, пока не приходило время ложиться спать. Не знаю, почему в тот день, в конце июня, рано освободившись в больнице, я решил пройтись по Воксхолл-Бридж-роуд. Я любил шумную суматоху этой улицы. Ее грязноватая жизнерадостность приятно возбуждала — возникало чувство, что вот-вот, в любую минуту, с вами может произойти какое-нибудь приключение. Я шагал, погруженный в раздумье, и вдруг услышал, как кто-то меня окликнул. Я остановился — и, к своему изумлению, увидел перед собой улыбающуюся миссис Дриффилад.

— Не узнаете? — вскричала она.

— Ну что вы, конечно, миссис Дриффилад!

И хотя я был уже взрослый, я почувствовал, что краснею, как будто мне шестнадцать лет. Я растерялся. С моими — увы! — вполне викторианскими представлениями о честности я был очень шокирован поведением Дриффиладов, сбжавших из Блэкстебла, не заплатив долгов. Это казалось мне весьма непорядочным. Я глубоко переживал тот стыд, который, по моему мнению, должны были испытывать они, и был поражен, что миссис Дриффилад способна разговаривать с человеком, который знает об этом позорном случае. Если бы я заметил ее приближение, я бы отвернулся, предполагая, что она захочет избежать унижительной встречи со мной; но она протянула мне руку с явной радостью.

— Как я рада видеть живую душу из Блэкстебла, — сказала она. — Вы же знаете, мы уезжали оттуда в такой спешке.

Она засмеялась, и я тоже; но ее смех был веселым и детски радостным, а мой, я это чувствовал, — несколько напряженным.

— Я слышала, там был большой шум, когда узнали, что мы смылись. Тед чуть не помер со смеху, когда ему об этом рассказывали. Что говорил ваш дядюшка?

Я быстро взял нужный тон. Мне не хотелось, чтобы она приняла меня за человека, лишенного чувства юмора.

— Ну, вы же знаете, он так старомоден.

— Да, вот этим и плох Блэкстебл. Нужно было их расшевелить.— Она дружелюбно взглянула на меня.— А вы здорово выросли с тех пор, как я вас видела. И даже усы отрасли!

— Да,— ответил я, закрутив их, насколько позволяла длина.— Уже давным-давно.

— Как летит время, правда? Четыре года назад вы были совсем мальчик, а теперь — настоящий мужчина.

— Ну, конечно,— ответил я с некоторым высокомерием.— Мне ведь почти двадцать один.

Я посмотрел на миссис Дриффилд. На ней была очень маленькая шляпка с перьями и светло-серое платье с пышными рукавами и длинным треном. На мой взгляд, выглядела она шикарно. Я всегда думал, что у нее очень милое лицо, но тут впервые заметил, что она просто красавица. Ее глаза были еще синее, чем мне помнилось, а кожа — как слоновая кость.

— Знаете, мы живем тут за углом,— сказала она.

— И я тоже.

— Мы живем на Лимпус-роуд. Мы тут почти с самого отъезда из Блэкстебла.

— Ну, а я живу на Винсент-сквер уже почти два года.

— Я знала, что вы в Лондоне. Мне сказал Джордж Кемп, и я часто думала, где же вы. Вы не проводите меня домой? Тед будет очень рад вас видеть.

— С удовольствием,— ответил я.

По дороге она рассказала, что Дриффилд теперь стал редактором литературного отдела одного еженедельника; его последняя книга прошла гораздо лучше всех остальных, и он надеялся получить изрядный аванс под следующую. Казалось, она знает почти все блэкстеблские новости, и я вспомнил, что в содействии их бегству подозревали Лорда Джорджа. Я догадался, что он время от времени им пишет. Я заметил, что встречные мужчины иногда заглядываются на миссис Дриффилд, и мне пришло в голову, что они, наверное, тоже считают ее красавицей. Я шел очень важный.

Лимпус-роуд, длинная, широкая, прямая улица, идет параллельно Воксхолл-Бридж-роуд. Дома на ней все

одинаковые — оштукатуренные, выкрашенные в блеклые цвета, солидные, с внушительными портиками. Вероятно, когда-то они строились для людей с положением в лондонском Сити, но улица или потеряла свою респектабельность, или же так и не привлекла нужных жильцов, и теперь какая-то потертая на вид, выглядит так, будто робко прячется от посторонних взглядов и в то же время втихомолку предается разгулу, — как человек, который видел лучшие времена и теперь любит слегка под хмельком разглагольствовать о том, какое высокое положение прежде занимал.

Дом, где жили Дриффилды, был выкрашен в тускло-красный цвет. Миссис Дриффилд ввела меня в узкий темный коридор, отворила дверь и сказала:

— Входите. Я скажу Теду, что вы здесь.

Она пошла дальше по коридору, а я вошел в гостиную. Дриффилды занимали полуподвальный и первый этажи дома, которые снимали у дамы, жившей наверху. Комната, куда я вошел, выглядела так, будто ее обставили всякой всячиной, купленной на распродажах. Тут были тяжелые бархатные занавеси с длинной бахромой, все в сборках и фестонах, и позолоченный гарнитур, обитый желтым шелком, с множеством пуговиц, а посередине комнаты — огромный пуф. В позолоченных шкафчиках со стеклянными дверцами стояло множество мелочей — фарфор, фигурки из слоновой кости, деревянные резные украшения, индийская бронза; на стенах висели большие картины маслом, изображавшие шотландские долины, оленей и охотников.

Через минуту миссис Дриффилд привела мужа, и он радостно со мной поздоровался. На нем был поношенный альпаковый сюртук и серые брюки; бороду он сбрил, оставив только эспаньолку и усы. Я впервые заметил, как он мал ростом; но выглядел он достойнее, чем раньше. Что-то в нем напоминало иностранца — я подумал, что для писателя он выглядит очень солидно.

— Ну, что вы думаете о нашем новом пристанище? — спросил он. — Богато выглядит, правда? По-моему, это внушает доверие.

Он с довольным видом огляделся.

— А там, дальше, у Теда есть кабинет, где он может писать, а внизу у нас столовая, — сказала миссис Дриффилд. — Мисс Каул много лет была компаньонкой одной титулованной дамы и когда та умерла, то оставила ей свою мебель. Видите, какое здесь все добротное, правда? Сразу видно, что это из дома джентльмена.

— Роза влюбилась в эту квартирку, как только ее увидела,— сказал Дриффилд.

— Да, и ты тоже, Тед.

— Мы так долго жили в стесненных обстоятельствах; для разнообразия приятно пожить в роскоши. Мадам Помпадур, и все такое.

Когда я уходил, меня радушно пригласили приходить еще, сказав, что они принимают каждую субботу после обеда и к ним заглядывают всякие люди, с которыми мне будет интересно встретиться.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я пришел. Мне понравилось. Я опять пришел. Осенью, вернувшись в Лондон на занятия, я стал заходить сюда каждую субботу. Здесь я знакомился с миром литературы и искусства. Я держал в строгом секрете то, что дома сам много писал; мне было очень интересно встречаться с людьми, которые тоже пишут, и я слушал их разговоры как зачарованный. Всякие люди приходили сюда: в те времена редко кто ездил по выходным за город, над гольфом еще смеялись, и в субботу после обеда почти всем было нечего делать. Не думаю, чтобы к Дриффилдам ходили по-настоящему крупные фигуры; во всяком случае, из всех художников, писателей и музыкантов, которых я здесь встречал, не могу припомнить ни одного, чья репутация выдержала бы испытание временем; но общество собиралось образованное и живое. Здесь можно было встретить молодых актеров, мечтавших получить роль, и пожилых певцов, жалующихся на немзыкальность англичан; композиторов, которые исполняли свои произведения на маленьком пианино Дриффилдов, шепотом приговаривая, что по-настоящему это звучит только на большом концертном рояле; поэтов, которые после больших уговоров соглашались прочесть одну только что написанную вещичку, и художников, которые сидели без заказов. Время от времени обществу придавала некоторый блеск какая-нибудь титулованная персона; правда, это бывало редко: в те дни аристократия еще не увлекалась богемной жизнью, и если какая-нибудь высокопоставленная особа и появлялась в обществе художников, то обычно потому, что из-за скандального развода или карточных осложнений жизнь в собственной среде становилась для нее (или для него) не совсем приятной. Теперь мы все это изменили. Одним из самых больших благодетелей, какие

принесло с собой обязательное образование, стало широкое распространение занятий литературой среди высших кругов и дворянства. Когда-то Хорэс Уолпол составил «Каталог писателей королевской и благородной крови»; в наши дни такой труд оказался бы размером с энциклопедию. Титул, даже благоприобретенный, может прославить чуть ли не любого писателя, и можно смело утверждать, что нет лучшего пропуска в мир литературы, чем благородное происхождение.

Иногда мне даже приходило в голову, что теперь, когда палата лордов неизбежно будет вскоре распущена, было бы неплохо законом закрепить литературные занятия за ее членами, их женами и детьми. Это будет щедрая компенсация пэрам со стороны британского народа за их отказ от наследственных привилегий. Она станет средством к жизни для тех (слишком многих), кого разорила приверженность к общественной деятельности, то есть к содержанию хористок, скаковых лошадей и к игре в железку, и приятным занятием для остальных, кто в ходе естественного отбора стал не годным ни на что иное, кроме управления Британской империей. Но наш век — век специализации, и если мой проект будет принят, то ясно, что к еще большей славе английской литературы послужит закрепление различных жанров за определенными кругами высшего общества. Поэтому я предложил бы, чтобы более скромными видами литературы занималась знать помельче, а бароны и виконты посвятили себя исключительно журналистике и драме. Художественная проза могла бы стать привилегией графов. Они уже доказали свои способности к тому нелегкому искусству, а число их столь велико, что им вполне по плечу удовлетворить спрос. Маркизам можно смело оставить ту часть литературы, которая известна (я так и не знаю почему) под названием *belle lettres*¹. Она, может быть, и не столь прибыльна с денежной точки зрения, но ей свойственна некоторая возвышенность, вполне соответствующая этому романтическому титулу.

Вершина литературы — поэзия. Это ее цель и завершение, это самое возвышенное занятие человеческого разума, это олицетворение прекрасного. Прозаик может лишь посторониться, когда мимо него идет поэт: рядом с ним лучшие из нас превращаются в ничто. Ясно, что писание стихов должно быть предоставлено герцогам, и их права хорошо бы защитить самыми суровыми законами: нельзя

¹ Беллетристика (*фр.*).

допускать, чтобы этим благороднейшим из искусств занимался кто бы то ни было, кроме благороднейших из людей. А так как и здесь должна одержать верх специализация, то я предвижу, что герцоги (как преемники Александра Македонского) разделят царство поэзии между собой, и при этом каждый ограничится тем аспектом, в котором он сильнее всего благодаря влиянию наследственности и естественным склонностям. Например, я вижу герцогов Манчестерских, пишущих морально-дидактические поэмы; герцогов Вестминстерских, сочиняющих вдохновенные оды Долгу и Ответственности Империи; в то время как герцоги Девонширские, скорее всего, будут писать любовную лирику и элегии в духе Проперция, а герцоги Мальборо почти неизбежно в идиллических тонах воспоют такие темы, как семейное счастье, воинскую повинность и довольство своим скромным положением.

Но если вам покажется, что все это чересчур серьезно, и вы напомните мне, что муза не всегда ступает только величественной поступью, но иногда изящно и легко пританцовывает; если, вспомнив мудреца, сказавшего, что не важно, кто предписывает нации законы, а важно, кто пишет для нее песни, вы спросите меня (справедливо полагая, что это не подобает герцогам), кто же будет играть на тех струнах лиры, которых иногда жаждет разносторонняя и непостоянная душа человеческая, — то я отвечу (по-моему, это очевидно): герцогиня! Я считаю, что прошли те дни, когда влюбленные пейзажи Романы пели своим возлюбленным строфы Торквато Тассо, а миссис Хамфри Уорд напевала над кроватью маленького Арнольда отрывки из «Эдипа в Колоне». Наш век требует чего-то более современного. Поэтому я предлагаю, чтобы наиболее положительные герцогини-домоседки слагали нам гимны и колыбельные, а те, кто порезвее, кто склонен смешивать виноградную лозу с клубникой, должны писать тексты для музыкальных комедий, юмористические стишки для газет и стихотворные пожелания для рождественских открыток и хлопушек. Этим они сохранят в сердцах британской публики то место, которое до сих пор удерживали лишь благодаря своему высокому положению.

На этих субботних вечерах я, к своему большому удивлению, обнаружил, что Эдуард Дриффилд пользуется известностью. Он написал около двадцати книг и хотя получил за них всего лишь жалкие гроши, но приобрел довольно прочную репутацию. Его книгами восхищались лучшие ценители, а друзья, приходившие к нему в гости, единогласно

утверждали, что его вот-вот ждет признание. Они ругали публику, неспособную заметить великого писателя, и поскольку для человека самый легкий способ возвыситься — это давать пинки ближнему, то они поносили всех романистов, чья слава в тот момент затмевала Дриффилда. Если бы я знал тогда о литературных кругах столько, сколько знаю сейчас, я по нередким визитам миссис Бартон Траффорд должен был бы догадаться, что близится час, когда Эдуард Дриффилд ринется вперед, как бегун на длинной дистанции, который внезапно отрывается от кучки остальных спортсменов.

Признаюсь, что, когда меня впервые познакомили с этой дамой, ее имя для меня ничего не значило. Дриффилд сказал ей, что я его молодой деревенский сосед, студент-медик. Она удостоила меня медоточивой улыбки, пробормотала что-то про Тома Сойера и, взяв предложенный мной бутерброд, продолжала говорить с хозяином. Но я заметил, что ее прибытие произвело большое впечатление и что разговоры, до того шумные и веселые, поутихли. Спросив вполголоса, кто она такая, я убедился, что мое невежество поразительно: как мне сказали, она «создала» такого-то и такого-то. Через полчаса она встала, весьма благосклонно пожала руки тем, с кем была знакома, и с нежным изяществом выпорхнула из комнаты. Дриффилд проводил ее до двери и посадил в экипаж.

Миссис Бартон Траффорд тогда было лет пятьдесят. Она была небольшого роста, хрупкая, но с довольно крупными чертами лица, из-за которых ее голова казалась непомерно большой по сравнению с телом. Курчавые светлые волосы она причесывала, как Венера Милосская, и, вероятно, в молодости была очень красива. Одета она была скромно, в черный шелк, а на шее носила бренчащие бусы из бисера и раковин. Говорили, что в молодости она неудачно вышла замуж, но теперь уже много лет живет в счастливом супружестве с Бартоном Траффордом, чиновником министерства внутренних дел и известным авторитетом по первобытному человеку. Она производила странное впечатление, как будто ее тело лишено костей; казалось, что если ущипнуть ее за ногу (что сделать, разумеется, никогда мне не позволило бы уважение к ее полу и какое-то спокойное достоинство ее поведения), то пальцы сомкнутся. Здороваясь с ней, вы как будто брали в руку кусок рыбного филе. И даже ее лицо, несмотря на крупные черты, было какое-то бесформенное. Когда она сидела, можно было подумать, что у нее нет хребта, а вместо этого она, как дорогая подушка, набита лебяжьим пухом.

Вся она была какая-то мягкая: и голос, и улыбка, и смех; ее глаза, маленькие и светлые, отличались нежностью цветка; ее манеры были приятны, как летний дождь. Это необыкновенное и очаровательное свойство и делало ее такой замечательной подругой. Именно этим она завоевала свою славу, которой теперь наслаждалась. Все знали о ее дружбе с великим романистом, чья смерть несколько лет назад так потрясла англоязычную публику. Каждый читал бесчисленные письма, которые он ей писал и которые ее уговорили опубликовать вскоре после его кончины. На каждой странице сквозило восхищение ее красотой и уважение к ее мнению; у него не хватало слов, чтобы отблагодарить ее за поддержку, за сочувствие, за такт, за вкус; и если кое-какие из его страстных выражений, по мнению отдельных лиц, могли вызвать у мистера Бартона Траффорда совершенно недвусмысленные чувства, то это только увеличивало интерес к книге. Но мистер Бартон Траффорд был выше вульгарных предрассудков (подобное несчастье — если это можно назвать несчастьем — величайшие исторические персонажи переносят с философским спокойствием) и, оставив свои исследования ориньякских кремней и неолитических топоров, согласился написать «Биографию» покойного романиста, где вполне определенно показал, какой существенной частью своего таланта тот был обязан благотворному влиянию его жены.

Но интерес к литературе, страсть к искусству не могли покинуть миссис Бартон Траффорд лишь потому, что ее друг, для которого она так много сделала, стал при ее немалом содействии частью истории. Она была большая любительница чтения. От нее не ускользало почти ничто из заслуживающего внимания, и она быстро устраивала себе знакомство с каждым молодым писателем, подававшим надежды. Теперь, особенно после появления «Биографии», ее слава была такова, что она могла быть уверена: никто не может отвергнуть ее симпатии. Конечно же ее талант к дружбе неизбежно должен был рано или поздно найти себе какое-нибудь применение. Когда что-то из прочитанного ей нравилось, мистер Бартон Траффорд, сам неплохой критик, посылал автору теплое письмо и приглашал его на обед, а после обеда, спеша в министерство внутренних дел, оставлял автора поболтать с миссис Бартон Траффорд. Такие приглашения получали многие. У каждого из них было что-то, но этого «чего-то» было недостаточно. Миссис Бартон Траффорд обладала чутьем, которому она доверяла; и это чутье велело ей повременить.

Она была настолько осторожна, что даже чуть не прохлопала Джаспера Гиббонса. Из истории мы знаем о писателях, которые прославились за одну ночь, но в наши более рассудительные дни об этом что-то не слышно. Критики норовят подождать, пока не убедятся, куда подует ветер, а публику столько раз обводили вокруг пальца, что теперь она предпочитает не рисковать. Но как раз Джаспер Гиббонс совершил восхождение на вершину славы с необыкновенной быстротой. Теперь, когда он совершенно забыт, а критики, превозносившие его, рады были бы проглотить свои слова, если бы они не были запечатлены в подшивках бесчисленных газет,—трудно поверить, какую сенсацию произвел первый том его стихотворений. Самые важные газеты отвели рецензиям на него не меньше места, чем репортажу о боксерском матче; самые влиятельные критики, толпясь и толкаясь, спешили его приветствовать. Они уподобляли его Мильтону (за звучность его белого стиха), Китсу (за сочность его чувственных образов) и Шелли (за легкость фантазии); и, пользуясь им как палкой для побивения наскучивших идиолов, они отвесили во имя его немало звучных шлепков по тощим ягодицам лорда Теннисона и несколько увесистых плюх по лысой макушке Роберта Браунинга. Публика пала, как стены Иерихона. Выпускалось издание за изданием; изящные томики Гиббонса можно было увидеть в будуаре графини в Мэйфере, в гостиной священника от Уэльса до Шотландии и в салонах многих честных, но образованных торговцев Глазго, Эбердина и Белфаста. Когда стало известно, что сама королева Виктория приняла преподнесенный ей верноподданным издателем экземпляр книги в специальном переплете и в обмен подарила ему (издателю, не поэту) экземпляр «Страниц из шотландского дневника», восторгу нации не было предела.

Все это произошло как будто во мгновение ока. В Греции семь городов оспаривали честь быть родиной Гомера, и хотя место рождения Джаспера Гиббонса (Уолсолл) было хорошо известно, но семью семь критиков претендовали на честь открытия его таланта; видные ценители литературы, вот уже двадцать лет певшие друг другу панегирики в еженедельниках, затеяли из-за него такую ссору, что один даже перестал здороваться с другим, встречая его в «Атенеуме». Гиббонса поспешило признать и высшее общество. Его приглашали на обеды и чаепития вдовствующие герцогини, супруги членов кабинета и вдовы епископов. Говорят, что первым литератором, допущенным в английское общество

на правах равного, был Гаррисон Эйнсуорт (и меня время от времени удивляет, почему ни один предприимчивый издатель не воспользуется этим, чтобы выпустить полное собрание его сочинений); но Джаспер Гиббонс был, по моему, первым поэтом, чье имя в списке приглашенных звучало так же заманчиво, как имя оперного солиста или чревовещателя.

В результате миссис Бартон Траффорд опоздала поднять целину — об этом не могло быть и речи. Ей пришлось вступить в открытую борьбу. Не знаю уж, к какой гениальной стратегии она была вынуждена прибегнуть, какие пришлось ей проявить чудеса такта, нежности, утонченной симпатии и скрытой лести: могу лишь теряться в догадках и восхищаться. Но она заполучила Джаспера Гиббонса, и очень скоро он уже повиновался каждому движению ее нежной ручки. Она была восхитительна. Она устраивала обеды, на которых он мог встретиться с нужными людьми; она давала приемы, где он читал свои стихи в присутствии первых знаменитостей Англии; она знакомила его с прославленными артистами, которые заказывали ему пьесы; она следила за тем, чтобы его произведения печатались только в достойных журналах; она договаривалась с издателями и устраивала для него такие контракты, которые ошеломили бы и министра; она заботилась о том, чтобы он принимал только те приглашения, которые она одобряла; она даже не поленилась развести его с женой, с которой он счастливо прожил десять лет, потому что поэт, по ее убеждению, должен быть свободен, а его талант не обременен семейными узами. И когда случилась катастрофа, миссис Бартон Траффорд могла бы, если бы пожелала, сказать, что сделала для него все возможное.

Но катастрофа пришла. Джаспер Гиббонс издал второй томик стихов. Он был ничуть не лучше и не хуже первого, он был очень похож на первый. К нему отнеслись уважительно, но не без оговорок; некоторые критики даже позволили себе кое-какие придирки. Книга не принесла ни успеха, ни денег. И к несчастью, Джаспер Гиббонс оказался склонен попивать. Он не привык иметь столько денег, не привык к такому обилию развлечений и увеселений, а может быть, ему недоставало его простой, скромной женушки. Раз-другой он появился на обеде у миссис Бартон Траффорд в таком состоянии, какое человек, не наделенный ее светскостью и простодушием, мог бы назвать «пьяным до бесчувствия». Она же кротко говорила гостям, что наш бард сегодня не в ударе.

Третья его книга потерпела провал. Критики растерзали его на части, топтали ногами и, если можно процитировать здесь одну из любимых песенок Эдуарда Дриффилда, «швыряли по углам и валяли по столам». Они испытывали вполне понятную досаду от того, что приняли бойкого стихоплета за бессмертного поэта, и решили наказать его за свою ошибку. Потом Джаспера Гиббонса арестовали на Пикадилли за появление в пьяном виде и нарушение общественного порядка, и мистеру Бартону Траффорд пришло в полночь отправиться на Вайн-стрит, чтобы взять его на поруки.

При таком положении вещей миссис Бартон Траффорд вела себя великолепно. Она не роптала. Ни одно резкое слово не слетело с ее уст. Можно было бы простить, если бы она была немного обижена на человека, для которого столько сделала и который так ее подвел. Но она оставалась нежной, ласковой и чуткой. Она все понимала. Она бросила его, но не так, как бросают раскаленный кирпич или горячую картофелину. Это было сделано с бесконечной мягкостью, столь же тихо, как катились по ее щекам слезы, которые она, без сомнения, пролила, когда приняла решение поступить столь противно своему характеру. Она бросила его с таким тактом, с таким благородием, что Джаспер Гиббонс, возможно, даже и не понял, что его бросили. Но в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Ничего плохого она про него не говорила, даже вообще не хотела о нем говорить и, когда о нем заходил разговор, просто улыбалась чуть грустной улыбкой и вздыхала. Но ее улыбка была для него *сoup de grâces*¹, а ее вздох — камнем на его могилу.

Миссис Бартон Траффорд слишком искренне любила литературу, чтобы позволить себе долго огорчаться из-за такой неудачи; и каким бы сильным ни было ее разочарование, она была слишком бескорыстна, чтобы те сокровища такта, симпатии и понимания, которыми ее наделило небо, могли пропадать втуне. Она продолжала возвращаться в литературных кругах, посещать чаепития, приемы и вечера, всегда очаровательная, нежная, внимательная, но при этом осторожная, бдительная и преисполненная решимости в следующий раз, если можно так грубо выразиться, поставить на победителя. Вот тогда-то она и встретила Эдуарда Дриффилда и составила себе благоприятное мнение о его способностях. Правда, он был немолод, но тем меньше

¹ Смертельный удар, наносимый умирающему из сострадания (*фр.*).

было шансов, что он, как Джаспер Гиббонс, не выдержит бремени славы. Она предложила ему свою дружбу. Он не мог не растрогаться, когда она со свойственной ей мягкостью сказала ему, что это просто безобразие, когда столь замечательные произведения остаются достоянием лишь узкого круга. Он был польщен. Каждому приятно услышать, что он гений. Она сказала ему, что Бартон Траффорд подумывает, не написать ли о нем серьезную статью для «Куортерли ревью». Она пригласила его на обед, чтобы он встретился с людьми, которые ему могут пригодиться. Она хотела, чтобы он познакомился с равными себе по уму. Время от времени она прогуливалась с ним по набережной, беседуя о поэтах прошлого, о любви и дружбе, и пила с ним чай в кафе-кондитерской. Когда миссис Бартон Траффорд появилась в субботу днем на Лимпус-стрит, она выглядела как царица пчелиного улья, готовящаяся в свой свадебный полет.

С миссис Дриффилд она вела себя безупречно, была любезна, но не снисходительна, всегда очень мило благодарила за разрешение зайти в гости и говорила комплименты. Расхваливая ей Эдуарда Дриффилда и объясняя с оттенком зависти в голосе, какая честь — наслаждаться обществом столь великого человека, она делала это исключительно по доброте сердечной, а не потому, что прекрасно знала: ничто сильнее не раздражает жену литератора, чем лестные отзывы о нем, исходящие от другой женщины. Разговаривая с миссис Дриффилд, она выбирала темы попроще, которые могли быть для нее интересны: говорила о хозяйстве, о слугах, о здоровье Эдуарда, о том, какая ему нужна забота. Миссис Бартон Траффорд вела себя с ней в точности так, как следовало женщине из очень хорошей шотландской семьи (каковой она и была) вести себя с бывшей буфетчицей, на которой угораздило жениться видного писателя: она была сердечна, игрива и старалась, чтобы миссис Дриффилд чувствовала себя с ней свободно.

И все-таки Рози почему-то терпеть ее не могла; миссис Бартон Траффорд была, насколько я знаю, единственным человеком, которого она не любила. В те годы даже буфетчицы не злоупотребляли «чертями» и «проклятьями», которые сейчас составляют неотъемлемую часть словаря самых благовоспитанных молодых дам, и я никогда не слышал от Розы ничего такого, что могло бы шокировать мою тетю Софи. Когда кто-нибудь рассказывал при ней сомнительный анекдот, она краснела до ушей. Но миссис Бартон Траффорд она называла не иначе, как «эта проклятая

старая кошка». Ближайшим друзьям Розы стоило величайших трудов уговорить ее вести себя с ней вежливо. «Не дури, Розы,— говорили они. Все звали ее «Розы», и скоро я тоже, хоть и очень робко, начал так ее звать.— Она может сделать ему карьеру, если захочет. Он должен к ней подлизываться. Она все может».

Хотя большинство субботних гостей появлялось у Дрифилдов раз в две-три недели, небольшая компания, в которую входил и я, бывала у них почти еженедельно. Мы составляли костяк собиравшегося здесь общества, приходили рано и оставались допоздна. И самыми верными из всех были Квентин Форд, Гарри Ретфорд и Лайонел Хильер.

Квентин Форд был коренастый человек с прекрасной головой того типа, который впоследствии одно время вошел в моду в кино: прямой нос, красивые глаза, коротко стриженные седые волосы и черные усы; будь он на четыре-пять дюймов выше, он выглядел бы классическим злодеем из мелодрамы. Мы знали, что у него «очень хорошие связи» и он богат; единственное его занятие составляло поощрение искусств. Он посещал все премьеры и все закрытые вернисажи, отличался требовательностью знатока и питал к произведениям своих современников вежливое, но огульное презрение. Как я обнаружил, к Дриффидам он ходил не потому, что Эдуард гений, а потому, что Розы — красавица.

Теперь, вспоминая об этом, я не перестаю удивляться, что не видел столь очевидных вещей, пока меня не тыкали в них носом. Когда я впервые с ней познакомился, мне и в голову не пришло подумать о том, хороша она собой или дурна, а когда пять лет спустя, снова увидев ее, я впервые заметил, что она очень красива, я почувствовал некоторый интерес, но особенно об этом не задумывался. Я воспринял это как обычный порядок вещей — как солнце, садящееся над Северным морем, или как башни собора в Теркенбери. Я был поражен, когда услышал разговоры о красоте Розы, и, когда Эдуарду говорили, как она хороша, а он на мгновение взглядывал на нее, я следовал его примеру. Лайонел Хильер был художник и просил Розы позировать ему. Когда он рассказывал о картине, которую собирался писать с Розы, и объяснял мне, что он в ней видит, я слушал его с глупым видом, озадаченный и смущенный. Гарри Ретфорд знал одного из модных фотографов того времени и, договорившись о каких-то особых условиях, повел Розы сниматься. Спустя неделю-другую мы получили отпечатки и долго их разглядывали. Я еще никогда не видел Розы в вечернем платье. Оно было из белого атласа, с длинным

треном, пышными рукавами и низким вырезом; причесана она была тщательнее обычного и совсем не походила на ту крепкую молодую женщину в соломенной шляпке и крахмальной блузке, которую я впервые встретил на Джой-лейн. Но Лайонел Хильер нетерпеливо отшвырнул фотографии.

— Дрянь,— сказал он.— Разве может быть Розы на фотографиях похожа на себя? В ней самое главное — краски.— Он повернулся к ней.— Розы, вы знаете, что ваши краски — это чудо из чудес?

Она молча взглянула на него, но ее полные красные губы сложились в ту самую детскую, озорную улыбку.

— Если я смогу передать хотя бы намек на это, я прославлюсь на всю жизнь,— сказал он.— Все жены богатых биржевиков приползут ко мне на коленях и будут умолять меня нарисовать их так же.

Вскоре я узнал, что Розы ему позирует. Я еще никогда не был в мастерской художника и считал ее вратами в мир романтики. Но когда я спросил, нельзя ли мне зайти взглянуть, как продвигается картина, Хильер сказал, что пока не хочет никому ее показывать. Это был тридцатипятилетний человек с цветущей внешностью, похожей на портрет Ван-Дейка, если бы изысканность в нем заменить добродушием. Он был чуть выше среднего роста, строен, носил пышную гриву черных волос, длинные усы и эспаньолку. Ходил он в испанских плащах и широкополых сомбреро. Он долго жил в Париже и с восхищением рассказывал о художниках, про которых мы и не слыхивали: о Моне, Сислее, Ренуаре; а о сэре Фредерике Лейтоне, мистере Алма-Тадема и мистере Дж.-Ф. Уоттсе, которыми в глубине души восхищались мы, отзывался с презрением. Я часто подумываю, что с ним случилось потом. Несколько лет он провел в Лондоне, пытаясь пробить себе дорогу, но, по-видимому, потерпел неудачу и уехал во Флоренцию. Мне говорили, что у него там художественная школа, но, когда много лет спустя я туда попал и начал о нем расспрашивать, я так и не нашел никого, кто бы о нем слышал. По-моему, у него был кое-какой талант, потому что я до сих пор явственно помню написанный им портрет Розы Дрифилд. Интересно, что случилось с этим портретом. Погиб ли он или затерялся, прислоненный лицом к стене, на чердаке лавки старьевщика в Челси? Мне хотелось бы верить, что он нашел себе место хотя бы в какой-нибудь провинциальной художественной галерее.

Когда я наконец получил разрешение зайти посмотреть на портрет, я совсем осрамился. Мастерская Хильера нахо-

дилась на Фулхэм-роуд, позади ряда лавок, и в нее вел темный, вонючий коридор. Дело было в воскресенье днем, в марте, погода стояла прекрасная, и я шел туда пешком с Винсент-сквер по пустынным улицам. Хильер жил в мастерской; там стоял большой диван, где он спал, а сзади была крохотная комната, где он готовил завтрак, мыл кисти и, я полагаю, мылся сам.

Когда я вошел, Роза была все еще в том же платье, в котором позировала, и они пили чай. Хильер открыл мне дверь и, не выпуская моей руки, подвел меня к большому полотну.

— Вот она,— сказал он.

Он написал Роза во весь рост, чуть меньше натуральной величины, в белом шелковом вечернем платье. Картина была совсем не похожа на привычные мне академические портреты. Я не знал, что сказать, и ляпнул первое, что пришло мне в голову:

— А когда она будет готова?

— Она готова,— ответил он.

Я покраснел до ушей, чувствуя себя полным идиотом. Тогда я еще не принаоровился со знанием дела судить о работах современных художников, как, льщу себя мыслью, умею сейчас. Если бы это было здесь уместно, я бы мог написать отличное маленькое руководство, которое позволило бы любителю искусства, к полному удовлетворению художников, высказаться о самых разнообразных проявлениях творческого инстинкта. Например, произнесенное от всего сердца «Вот это да!» — показывает, что вы признаете мощь безжалостного реалиста; «Это так искренне!» — скрывает ваше замешательство при виде раскрашенной фотографии вдовы олдермена; тихий свист свидетельствует о вашем восхищении работой постимпрессиониста; «Очень, очень занятно» — выражает ваши чувства по поводу кубиста; «О!» — означает, что вы потрясены, а «А!» — что у вас захватило дух.

— Очень похоже.— Это было все, на что я был способен тогда.

— Вы слишком привыкли к бонбоньеркам,— сказал Хильер.

— По-моему, это замечательно,— быстро возразил я, защищаясь.— Вы пошлете ее в Академию?

— Что вы! Я мог бы еще послать ее в Гровнор.

Я перевел взгляд с картины на Роза, потом снова на картину.

— Встаньте в позу, Роза,— сказал Хильер,— пусть он на вас посмотрит.

Она поднялась на подставку. Я глядел то на нее, то на картину. В сердце у меня что-то странно шевельнулось, будто кто-то мягко погрузил в него острый нож, но это вовсе не было неприятно: я ощутил легкую, но какую-то сладкую боль, а потом у меня вдруг ослабели ноги. Не могу понять, помню ли я сейчас живую Розы или Розы с той картины, потому что, когда я думаю о ней, она представляется мне не в блузке и шляпке, как я ее увидел впервые, и не в каком-нибудь другом костюме, что я на ней потом видел, а в белом шелке, который написал Хильер, с черным бархатным бантом в волосах и в той позе, какую он ей велел принять.

Я никогда не знал точно, сколько Розы лет; по моим примерным подсчетам получается, что тогда ей было тридцать пять. Но выглядела она куда моложе. На ее лице не было ни единой морщины, и кожа оставалась гладкой, как у ребенка. Не думаю, чтобы ее черты лица отличались особой правильностью. Во всяком случае, в них не было аристократической утонченности знатных леди, чьи фотографии в то время продавались во всех лавках; они были скорее грубоваты. Короткий, чуть толстоватый нос, небольшие глаза, крупный рот; но глаза ее были васильковой голубизны, и они улыбались вместе с губами, очень яркими и чувственными, и я никогда не видел улыбки более веселой, дружеской и милой. Держалась Розы от природы немного угрюмо и замкнуто, но, когда она улыбалась, эта замкнутость вдруг становилась бесконечно привлекательной. В лице ее не играли краски; оно было только чуть смугловатое, а под глазами лежала легкая синева. Светло-золотистые волосы она причесывала по тогдашней моде, вверх от лба с замысловатой челкой.

— Чертовски трудно ее писать,— сказал Хильер, глядя то на нее, то на свою картину.— Видите ли, она вся золотая, и лицо и волосы, а общий колорит все равно вовсе не золотистый, а серебристый.

Я понимал, что он хочет сказать. Она вся светилась, но не ярким солнечным, а скорее бледным лунным сиянием, и если все же сравнивать ее с солнцем, то с солнцем в белом утреннем тумане. Хильер поместил ее в середине полотна, и она стояла, опустив руки с повернутыми к зрителю ладонями, слегка откинув голову, что особенно подчеркивало жемчужную прелесть ее груди и шеи. Она стояла, как актриса, вышедшая кланяться и смущенная неожиданными аплодисментами, но в ней было что-то столь девственное, столь неуловимо весеннее, что такое сравнение теряло всякий смысл. Это бесхитрое существо никогда не знало

ни грима, ни света рампы. Она стояла, как дева, созревшая для любви, простодушно предлагающая себя возлюбленному, выполняя предназначение Природы. Поколение, к которому принадлежала Роза, не боялось некоторой пышности линий; она была стройна, но груди ее были полными, а бедра — хорошо обрисованными. Когда позже картину увидела миссис Бартон Траффорд, она сказала, что Роза напоминает ей жертвенную телку.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Вечерами Эдуард Дрифилд работал, а Роза делать было нечего, и она с удовольствием ходила куда-нибудь то с одним, то с другим из своих друзей. Она любила роскошь. Квентин Форд, располагавший средствами, заезжал за ней на извозчике и возил ее обедать к Кеттнеру или в «Савой», для чего она наряжалась в самые шикарные свои платья. Гарри Ретфорд, хоть у него никогда не было и шиллинга, тоже вел себя так, как будто был при деньгах, и тоже возил ее в экипаже и угощал обедами у Романо или в каком-нибудь из ресторанчиков Сохо, входивших в моду. Он был актер, и неплохой, но очень привередливый, и часто сидел без работы. Ему было лет тридцать. Это был человек с некрасивым, но симпатичным лицом и отрывистой манерой говорить, благодаря которой все его слова казались остроумными. Роза нравилось, как легко он относится к жизни, как лихо носит свои костюмы, сшитые у лучшего портного Лондона и неоплаченные, как безрассудно может поставить на какую-нибудь лошадь пять фунтов, которых у него нет, и как щедро швыряет деньги направо и налево, если выигрывает. Он был весел, обаятелен, тщеславен, хвастлив и не слишком щепетилен. Роза рассказывала мне, что однажды он заложил часы, чтобы пригласить ее на обед, а потом занял пару фунтов у возглавлявшего труппу премьеры, который предоставил им место в театре, и пригласил его же с ними поужинать.

Но она с таким же удовольствием ходила и в мастерскую Лайонела Хильера, где они вместе жарили себе отбивные, а потом проводили вечер за разговорами. И только очень редко она обедала со мной. Обычно я заходил за ней, уже пообедав на Винсент-сквер, а она обедала с Дрифилдом. Потом мы садились на автобус и ехали в мюзик-холл. Мы ходили то в один, то в другой, то в «Павильон», то в «Тиволи», иногда — в «Метрополитен», если хотели посмотреть

какой-нибудь определенный номер, но больше всего любили «Кентербери». Места там были недорогие, а программа хорошая. Мы заказывали пару пива, я курил трубку, а Роза восхищенно разглядывала огромный, темный, прокуренный зал, битком набитый обитателями южного Лондона.

— Мне нравится «Кентербери»,— говорила она.— Там так уютно.

Я обнаружил, что она — большая любительница чтения. Ей нравилась история, но не всякая, а только определенного рода — биографии королей и королевских любовниц, и она с детским удивлением рассказывала мне необыкновенные вещи, о которых читала. Она была прекрасно знакома со всеми шестью супругами короля Генриха VIII, знала всю подноготную миссис Фицджерберт и леди Гамильтон. Ее неутолимая любознательность простиралась от Лукреции Борджиа до жен Филиппа Испанского и включала длинный список любовниц французских королей. Она знала всех, и про каждую из них, от Агнес Сорель до мадам Дюбарри, знала все.

— Люблю читать про настоящую жизнь,— говорила она.— А романы мне не нравятся.

Любила она и посплетничать про Блэкстебл, и мне казалось, что и ходить-то со мной ей нравится потому, что я сам оттуда. Она, похоже, знала все, что там происходит.

— Я езжу туда раз в две-три недели повидаться с матерью,— как-то сказала она.— Всего на один вечер.

— В Блэкстебл? — удивился я.

— Нет, не в Блэкстебл,— улыбнулась она.— Туда меня пока что не тянет. В Хэвершем. Мать приезжает туда повидаться со мной. Я останавливаюсь в гостинице, где раньше работала.

Она никогда не отличалась разговорчивостью. Часто, погожими вечерами, когда мы решали пройти из мюзик-холла пешком, она всю дорогу молчала. Но молчание ее было душевным и уютным. Оно не исключало вас из круга занимавших ее мыслей; наоборот, вы становились частью всеохватывающего довольства жизнью.

Однажды я говорил о ней с Лайонелом Хильером и сказал, что не могу понять, как она превратилась из свежей молодой женщины крестьянского вида, которую я знал в Блэкстебле, в это очаровательное существо, чью красоту теперь признавали практически все. (Были люди, которые соглашались с этим не без оговорок. «Конечно, у нее прекрасная фигура,— говорили они,— но я не очень люблю такие лица». А другие говорили: «О да, очень красива; хорошо бы еще, если бы она была более утонченной».)

— Могу объяснить это вам в двух словах,— сказал Лайонел Хильер.— Когда вы впервые ее встретили, она была всего лишь свежей, миловидной девицей. Красавицей сделал ее я.

Не помню, что я ответил,— знаю только, что какую-то непристойность.

— Ну вот! Это говорит только о том, что вы ничего не понимаете в красоте. Никто не обращал особого внимания на Розу, пока я не увидел ее в образе серебристого солнца. Пока я ее не написал, никто не догадывался, что у нее красивейшие в мире волосы.

— А ее шея, грудь, осанка, телосложение — все это тоже вы сделали?

— Ну да, черт возьми, именно я!

Когда Хильер говорил о Розе при ней, она слушала с улыбочивой серьезностью, и на ее бледных щеках появлялся слабый румянец. По-моему, сначала, когда он заговаривал с ней о ее красоте, она думала, что он просто ее разыгрывает; но и потом, когда она убедилась, что это не так, и когда он написал ее в серебристо-золотых тонах, особенного впечатления на нее это не произвело. Ей было немного забавно, она, конечно, испытывала удовольствие и отчасти удивление, но голову ей это не вскружило. Она считала его немного сумасшедшим. Я нередко задумывался над тем, было ли между ними что-нибудь. Я не мог забыть всего, что слышал о Розе в Блэкстебле, и того, что видел в нашем саду; я подумывал и о Квентине Форде, и о Гарри Ретфорде. Я следил за тем, как они с ней себя ведут. Она обращалась с ними не то чтобы фамильярно — скорее по-приятельски: совершенно открыто, при всех, договаривалась о встречах и поглядывала на них с той озорной детской улыбкой, которая, как я теперь обнаружил, таила в себе такую необъяснимую прелесть. Иногда, сидя с ней рядом в мюзик-холле, я заглядывал ей в лицо; не думаю, чтобы я был влюблен в нее, мне просто было приятно-спокойно сидеть с ней и глядеть на бледное золото ее волос и кожи. Конечно, Лайонел Хильер был прав: самое удивительное было то, что это золото каким-то странным образом напоминало о лунном свете. В ней чувствовалась безмятежность летнего вечера, когда свет медленно меркнет на безоблачном небе. Ее безбрежное спокойствие было не монотонным, а таким же полным жизни, как море у берегов Кента, гладкое и сверкающее под августовским солнцем. Она напоминала мне сонатину какого-нибудь старинного итальянского композитора, задумчивую, но изысканно-игривую, проникнутую журчащим весельем, в котором легким, трепе-

щущим эхом все еще звучит недавний вздох. Иногда, ощутив на себе мой взгляд, она поворачивалась и несколько мгновений смотрела мне прямо в лицо. При этом она не говорила ни слова. О чем она думала, я не знал.

Помню, однажды я зашел за Розы на Лимпус-роуд, и горничная, сказав, что хозяйка еще не готова, попросила меня подождать в гостиной. Розы вошла вся в черном бархате, в модной шляпе, увенчанной страусовыми перьями (мы собирались в «Павильон», и она по этому случаю приделась). Выглядела она такой красивой, что у меня перехватило дыхание. Я был потрясен. Платья, которые тогда носили, придавали женщине достоинство, и было что-то удивительно привлекательное в том, как ее девственная красота (иногда она была похожа на замечательную статую Психеи в неаполитанском музее) оттенялась величавостью ее наряда. Ее отличала одна особенность, которая, по-моему, встречается очень редко,—кожа у нее под глазами, слегка голубоватая, всегда была влажной. Временами я не верил, что это естественная влага, и как-то спросил ее, не втирает ли она под глазами вазелин: это выглядело именно так. Она улыбнулась, вынула платок и протянула мне.

— Вытрите и посмотрите,—сказала она.

Однажды вечером, когда мы возвращались из «Кентербери» и я, прощаясь с ней у дверей, протянул ей руку, она негромко засмеялась и прильнула ко мне.

— Дурачок,—сказала она.

И поцеловала меня в губы. Этот поцелуй не был ни поспешным, ни страстным. Ее губы, ее полные яркие губы были прижаты к моим как раз столько времени, чтобы я мог ощутить их форму, их тепло, их мягкость. Потом, по-прежнему не спеша, она отстранилась, молча открыла дверь, скользнула в дом и исчезла. Я так удивился, что не мог произнести ни слова. Я просто, как дурак, принял ее поцелуй, не почувствовав никакого возбуждения. Потом я повернулся и пошел домой, а в ушах у меня продолжал звучать ее смешок. Он был не презрительным и не обидным, а откровенным и дружеским, как будто она засмеялась потому, что я ей нравлюсь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

После этого я целую неделю никуда не ходил с Розы. Она ездила в Хэвершем провести вечер с матерью, потом была занята в Лондоне. А потом она попросила меня пойти с ней в Хеймаркетский театр. Там шла очень модная пьеса

и билетов не было, поэтому мы решили пойти на нумерованные места в партер. Мы закусили бифштексом и стаканом пива в кафе «Монико», а потом стали ждать вместе с толпой. В те времена правильных очередей не бывало, и, когда открывали двери, начиналась страшная толкотня и давка. Изрядно вспотевшие, запыхавшиеся и несколько помятые, мы наконец пробились и заняли места.

Обратно мы шли пешком через Сент-Джеймс-парк. Ночь была так хороша, что мы присели на скамейку. При свете звезд лицо и волосы Розы как будто слегка светились. Вся она излучала дружелюбие, одновременно искреннее и нежное (я не очень удачно это выразил, но я не знаю, как передать это ощущение). Она была как серебристый ночной цветок, благоухающий только под лучами луны. Я обнял ее за талию, она повернулась ко мне, и на этот раз поцеловал ее я. Она не двинулась; ее мягкие алые губы подались с тихой, страстной покорностью, как вода озера принимает лунный свет.

Не знаю, сколько времени мы там сидели. Вдруг она сказала:

— Я ужасно проголодалась.

— Я тоже, — засмеялся я.

— Не подкрепиться ли нам где-нибудь жареной рыбой?

— Пожалуй.

В те времена я хорошо знал Вестминстер — тогда еще не модный квартал парламентариев и прочих важных персон, а захолустный, бедный уголок. Когда мы, выйдя из парка, перешли Виктория-стрит, я повел Розы в лавку на Хорсфери-роу, где торговали жареной рыбой. Было уже поздно, и единственным человеком, которого мы встретили, был кучер экипажа, ожидавший кого-то на улице. Мы заказали рыбу с картошкой и бутылку пива. Зашла какая-то бедная женщина, которая купила на два пенса рыбы и унесла ее, завернув в клочок бумаги. Мы ели с аппетитом.

Наш обратный путь лежал через Винсент-сквер, и, когда мы проходили мимо моего дома, я сказал ей:

— Может быть, зайдете на минуту? Вы еще не видели, как я живу.

— А ваша хозяйка? Я не хочу, чтобы у вас были неприятности.

— О, она спит как убитая.

— Ну, зайдём ненадолго.

Я тихо открыл ключом дверь и провел Розы за руку по темному коридору. Войдя в свою гостиную, я зажег газ. Розы сняла шляпку и крепко почесала в голове. Потом она

поискала глазами зеркало, но я старался следовать самому изысканному вкусу и в свое время снял зеркало, висевшее над камином, так что в этой комнате никто не мог посмотреть, как он выглядит.

— Зайдите в спальню, — сказал я. — Там есть зеркало.

Я отворил дверь и зажег свечу. Розы вошла вслед за мной, и я высоко поднял свечу, чтобы ей было видно. Я смотрел в зеркало, как она поправляет волосы. Она вынула две или три шпильки, сунула их в рот и, взяв мою головную щетку, взбила вверх волосы с затылка. Потом она скрутила их, пришепнула и опять воткнула шпильки. При этом она поймала в зеркале мой взгляд и улыбнулась. Воткнув последнюю шпильку, она повернулась ко мне, не говоря ни слова и спокойно глядя на меня все с той же едва заметной дружеской улыбкой в голубых глазах. Я поставил свечу. Комната была очень маленькая, и туалетный столик стоял рядом с кроватью. Она подняла руку и нежно погладила меня по щеке.

Сейчас я очень жалею, что начал писать эту книгу от первого лица. Это очень хорошо, когда есть возможность выставить самого себя в благожелательном или трогательном свете, и нет ничего более эффектного, чем скромно-героический или грустно-юмористический тон, которые широко применяются в этом грамматическом варианте. Очень приятно писать о себе, предвидя слезу, которая блеснет на глазах у читателя, и нежную улыбку на его губах; но это не доставляет вовсе никакого удовольствия, если приходится выставлять себя попросту последним дураком.

Некоторое время назад я прочел в «Ивнинг стандарт» статью мистера Ивлина Во, где он, между прочим, заметил, что писать романы от первого лица — прием недостойный. Очень жаль, что он не объяснил почему, а просто бросил это замечание походя: хотите — верьте, хотите — нет, наподобие Евклида с его знаменитым наблюдением о параллельных прямых. Я очень заинтересовался этим и тотчас попросил Элроя Кира (он читает все, в том числе даже книги, к которым пишет предисловия) порекомендовать мне какие-нибудь труды по литературному мастерству. По его совету я прочел «Искусство беллетриста» м-ра Перси Лаббока, откуда узнал, что единственный способ писать романы — писать, как Генри Джеймс; потом я прочел «Некоторые аспекты романа» м-ра Э.-М. Форстера, откуда узнал, что писать романы нужно только так, как писал Э.-М. Форстер; потом я прочел «Композицию романа» м-ра Эдвина Мьюра, откуда вообще ничего не узнал. Но ни в одной из этих

книг я не нашел ничего о том, что мне было нужно. Тем не менее я могу указать одну причину, по которой некоторые романисты — такие, как Дефо, Стерн, Теккерей, Диккенс, Эмили Бронте и Пруст, хорошо известные в свое время, но теперь, несомненно, позабытые, прибегали к методу, который осудил м-р Ивлин Во. Становясь старше, мы все в большей степени осознаем людскую сложность, непоследовательность и неразумие, и это служит единственным оправданием для писателя, который в пожилом или преклонном возрасте вместо того, чтобы размышлять о вещах посерьезнее, интересуется мелкими побуждениями воображаемых персонажей. Ибо если для постижения рода человеческого следует изучать человека, то явно разумнее взять в качестве предмета для изучения непротиворечивые, осязаемые и содержательные вымышленные образы, чем иррациональные и смутные фигуры из реальной жизни. Иногда романист, как всеведущий бог, готов рассказать вам все о своих персонажах; но иногда бывает и иначе, и тогда он рассказывает вам не все, что можно о них знать, а лишь то немного, что знает сам; и поскольку, становясь старше, мы все в меньшей степени ощущаем себя богоподобными, то не следует удивляться, что с возрастом романист все более утрачивает склонность описывать что бы то ни было сверх того, что он познал из собственного опыта. А для этой ограниченной цели первое лицо единственного числа очень удобно.

Рози подняла руку и нежно погладила меня по щеке. Не знаю, почему я сделал то, что сделал вслед за этим; обычно я представлял себе свое поведение в подобном случае совершенно иным. Рыдание перехватило мне горло; не знаю, от того ли, что я был робок и одинок (не телом, потому что я целый день проводил в больнице с разнообразными людьми, но душой), или от того, что слишком велико было мое желание, но я заплакал. Мне было ужасно стыдно; я пытался взять себя в руки, но не мог — слезы хлынули у меня из глаз и потекли по щекам. Рози заметила их и тихо ахнула.

— Милый, что с тобой? В чем дело? Не надо, ну не надо!

Она обняла меня за шею и тоже заплакала, целуя мои губы, глаза и мокрые щеки. Она расстегнула корсаж, положила мою голову себе на грудь, гладила мое лицо и укачивала меня, как малого ребенка, а я целовал ее груди и беломраморную шею. Потом она сбросила корсаж и юбку, и я обнял ее за талию, затянутую в корсет; потом она расстегнула его, на мгновение задержав дыхание, и встала передо мной в одной сорочке. Когда я положил руки ей на бедра, я почувствовал складки на коже от корсета.

— Задуй свечу,— прошептала она.

Она разбудила меня, когда рассвет заглянул за занавески и вырвал из темноты уходящей ночи кровать и шкаф. Я проснулся от того, что она поцеловала меня в губы, щекоча мне лицо рассыпавшимися волосами.

— Мне надо вставать,— сказала она.— Не хочу, чтобы меня видела твоя хозяйка.

— Еще есть время.

Она склонилась надо мной, и ее груди тяжело легли мне на грудь. Вскоре она встала. Я зажег свечу. Она повернулась к зеркалу, поправила волосы, а потом оглядела свое нагое тело. У нее от природы была тонкая талия, и, несмотря на хорошо развитую фигуру, она отличалась стройностью. Ее крепкие, высокие груди выступали вперед, как будто изваянные из мрамора. В свете свечи, уже боровшемся с крепнущим днем, все ее тело, как будто предназначенное для любви, казалось серебристо-золотым, и единственным цветным пятном были ало-розовые крепкие соски.

Мы молча оделись. Корсет она надевать не стала, а просто сложила, и я завернул его в газету. На цыпочках мы прошли по коридору, и, когда я отворил дверь и мы шагнули наружу, рассвет бросился нам навстречу, как кошка по ступенькам. Площадь была пуста; солнце уже освещало окна, выходящие на восток. Я чувствовал себя таким же юным, как этот начинающийся день. Держась за руки, мы дошли до угла Липнус-роуд.

— Теперь я пойду одна,— сказала она.— На всякий случай.

Я поцеловал ее и долго глядел ей вслед. Она шла медленно, держась прямо, твердой поступью деревенской женщины, которая привыкла, что под ногами у нее прочная земля. Я не мог возвратиться в постель и бродил по улицам, пока не вышел на набережную. Раннее утро ярко окрашивало реку. Под Воксхоллским мостом плыла вниз по течению коричневая баржа, а у берега в маленькой лодке гребли двое мужчин. Я почувствовал, что голоден.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Это продолжалось больше года. Каждый раз, когда мы с Розы куда-нибудь ходили, по пути домой она заходила ко мне — иногда на часок, иногда до тех пор, пока рассвет не предупреждал нас, что служанки скоро примутся за мытье крылечек. Я помню теплые солнечные утра, когда усталый

лондонский воздух наполнялся желанной свежестью; помню звуки наших шагов, казавшиеся такими громкими на пустынных улицах; помню, как мы молча, но весело спешили под зонтиком, когда зима принесла с собой холода и дожди. Полисмены, стоявшие на посту, поглядывали на нас, когда мы проходили мимо,—иногда подозрительно, а иногда с понимающим блеском в глазах. Время от времени нам попадался бездомный бродяга, прикорнувший где-нибудь под колоннадой. Роза дружески сжимала мою руку, когда я клал серебряную монету ему на колени или в костлявую ладонь (главным образом напоказ, чтобы произвести впечатление на Розу, потому что денег у меня было немного). Роза сделала меня счастливым. Я очень к ней привязался. С ней было легко и уютно. Ее безмятежность передавалась всем вокруг, так что каждый мог разделить с ней наслаждение переживаемой минутой.

До того, как я стал ее любовником, я часто думал, была ли она любовницей других—Форда, Гарри Ретфорда и Хильера, а после этого как-то ее спросил. Она поцеловала меня.

— Не говори глупости. Они мне нравятся, ты это знаешь. Мне приятно с ними ходить, вот и все.

Я хотел еще спросить ее, была ли она любовницей Джорджа Кемпа, но так и не решился. Правда, я ни разу не видел, чтобы она сердилась, но подозревал, что она вполне на это способна, и смутно чувствовал, что именно этот вопрос может вывести ее из себя. Я не хотел, чтобы ей представился случай сказать мне что-нибудь обидное, чего я не смог бы ей простить. Я был молод, мне только что исполнился двадцать один год. Квентин Форд и все остальные казались мне стариками, и мне представлялось вполне естественным, что для Розы они—просто приятели. Я гордился тем, что я ее любовник. Глядя, как она во время субботних чаепитий смеется и болтает со всеми и каждым, я прямо светился самодовольством. Я думал о тех ночах, которые мы проводили вместе, и мне становилось смешно при мысли, что никто не догадывается о моей великой тайне. Но время от времени мне казалось, что Лайонел Хильер посматривает на меня лукаво, как будто подсмеиваясь, и я с беспокойством спрашивал себя, не сказала ли ему Роза, что у нас роман. «Не выдает ли нас мое поведение?»—думал я. Как-то я сказал Розе, что боюсь, как бы Хильер чего-нибудь не заподозрил, но она поглядела на меня своими голубыми глазами, которые, казалось, постоянно были готовы улыбнуться.

— Не беспокойся,— ответила она.— У него всегда всякие гадости на уме.

С Квентином Фордом я никогда не был близок. Он считал меня нудным и неинтересным молодым человеком (каким я, конечно, и был) и хотя держался всегда вежливо, но особого внимания на меня не обращал. Я решил, что мне скорее всего только кажется, будто он теперь стал со мной еще более холоден, чем раньше. А Гарри Ретфорд однажды, к моему удивлению, пригласил меня пообедать с ним и пойти в театр. Я сказал об этом Розе.

— О, конечно, сходи. Ты прекрасно проведешь время. Гарри — мой старый приятель, с ним всегда весело.

Я с ним пообедал. Он был очень любезен, и на меня произвели впечатление его рассказы об актерах и актрисах. Он отличался саркастическим юмором и много острил по адресу Квентина Форда, которого недолюбливал; я пытался перевести разговор на Розе, но о ней он говорить не стал. Он был большой весельчак. Подмигивая, он смешными намеками дал мне понять, каким успехом пользуется у девушек. Я не мог не задуматься о том, не потому ли он угощает меня этим обедом, что знает о моих отношениях с Розе и поэтому дружески ко мне расположен. Но если знает он, то знают, конечно, и все остальные. В душе я, разумеется, относился к ним несколько покровительственно, хотя надеюсь, что по мне этого не видно было.

А потом, зимой, в конце января, на Лимпус-роуд появилось новое лицо. Это был голландский еврей по имени Джек Кейпер, торговец бриллиантами из Амстердама, приехавший в Лондон на несколько недель по делам. Не знаю, как он познакомился с Дриффилами и привело ли его к ним преклонение перед литературным талантом хозяина, но, во всяком случае, не оно заставило его прийти вновь. Это был высокий, плотный, темноволосый человек с лысой головой и большим крючковатым носом. Ему было лет пятьдесят, но выглядел он сильным, чувственным, решительным и веселым. Он не скрывал своего восхищения Розе. Очевидно, он был богат, потому что каждый день посылал ей цветы; она корила его за такое расточительство, но это ей льстило. Я его терпеть не мог. Он был развязен и криклив. Я ненавидел его бесконечные разговоры на правильном, но каком-то ненастоящем английском языке, ненавидел экстравагантные комплименты, которые он отпускал Розе, ненавидел добродушие, которое он проявлял к ее друзьям. Я обнаружил, что Квентину Форду Кейпер так же не нравился, как и мне, и мы с ним почти подружились.

— К счастью, он скоро уедет.— Квентин Форд поджимал губы и поднимал черные брови; со своими белыми волосами и длинным, худым лицом он выглядел невероятно аристократично.— Женщины все одинаковы: они обожают нахалов.

— Он так ужасно вульгарен,— жаловался я.

— Этим и берет,— говорил Квентин Форд.

Следующие две-три недели я Розе почти не видел. Джек Кейпер вечер за вечером приглашал ее с собой то в один, то в другой ресторанчик, то на один, то на другой спектакль. Я был встревожен и обижен.

— Он же никого в Лондоне не знает,— говорила Роза, стараясь меня утешить.— Он хочет, пока здесь, повидать все, что можно. Было бы неудобно, если бы ему пришлось ходить все время одному. Он пробудет здесь еще всего две недели.

Я не видел в таком самопожертвовании с ее стороны никакого смысла.

— Но неужели ты не видишь, что он отвратителен?— спросил я.

— Нет. По-моему, с ним весело. Он меня смешит.

— А ты знаешь, что он от тебя без ума?

— Ну что ж, ему это доставляет удовольствие, а меня от этого не убудет.

— Он старый, толстый и противный. У меня мурашки по спине бегают, когда я его вижу.

— Не так уж он плох, по-моему,— ответила Роза.

— Как ты можешь иметь с ним дело?— возразил я.— Он же такой хам!

Роза почесала в голове— была у нее такая скверная привычка.

— Чудно, что иностранцы совсем не такие, как англичане,— сказала она.

Я был рад, когда Джек Кейпер отправился к себе в Амстердам. Роза обещала на следующий день пообедать со мной, и на радостях мы договорились пообедать в Сохо. Она заехала за мной на извозчике, и мы отправились.

— Ну как, уехал твой ужасный старик?— спросил я.

— Да,— засмеялась она.

Я обнял ее за талию (где-то я уже замечал, насколько для этого приятного и почти необходимого момента человеческих отношений извозничий экипаж удобнее нынешнего такси, и здесь приходится воздержаться от дальнейшей разработки этой темы). Я обнял ее за талию и поцеловал. Ее губы были как весенние цветы.

Мы приехали в ресторан. Я повесил на крючок свою шляпу и пальто (очень длинное, в талию, с бархатным воротником и бархатными обшлагами—все по моде) и предложил Розе взять ее накидку.

— Я останусь в ней,— сказала она.

— Тебе будет страшно жарко. А когда выйдем на улицу, ты простудишься.

— Не важно... Я в первый раз ее надела. Красивая, правда? И смотри, такая же муфта.

Я взглянул на накидку. Она была меховая. Я тогда не знал, что это соболь.

— Выглядит очень роскошно. Откуда она у тебя?

— Джек Кейпер подарил. Мы вчера пошли и купили ее, перед самым его отъездом.— Она погладила гладкий мех, счастливая, как ребенок с новой игрушкой.— Как ты думаешь, сколько она стоит?

— Не представляю.

— Двести шестьдесят фунтов. Знаешь, у меня в жизни еще не было такой дорогой вещи. Я говорила ему, что это слишком, но он слушать не хотел и заставил меня ее взять.

Она радостно засмеялась. Глаза ее блестели. Но у меня сжались губы, а по спине пробежал холодок.

— А Дрифилду не покажется странным, что Кейпер подарил тебе такую дорогую меховую накидку?— спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал естественно. Роза ответила озорным взглядом.

— Ты же знаешь Теда — он ничего никогда не замечает. Если он что-нибудь спросит, я скажу, что дала за нее двадцать фунтов в ломбарде. Он ни о чем не догадается.— Роза потерлась лицом о воротник.— Она такая мягкая. И всякому видно, что стоила больших денег.

Я пытался есть и, чтобы скрыть охватившую мое сердце горечь, всячески старался поддержать разговор. Роза не очень меня слушала. Она думала только о своей новой накидке, и каждую минуту взгляд ее возвращался к муфте, которую она все-таки взяла с собой. В нежности, с которой она посматривала на муфту, было что-то ленивое, чувственное и самодовольное. Я злился на нее, она казалась мне глупой и вульгарной. Я не мог удержаться, чтобы не связать:

— Ты — как кошка, которая полакомилась птичкой.

Она только хихикнула.

— Я так себя и чувствую.

Двести шестьдесят фунтов были для меня огромной суммой. Я даже не знал, что накидка может столько стоить.

Я жил на четырнадцать фунтов в месяц, и жил вовсе неплохо; а на случай, если читатель не силен в арифметике, добавлю, что это означает сто шестьдесят восемь фунтов в год. Я не верил, чтобы кто-нибудь мог сделать такой дорогой подарок просто из дружбы; что это могло означать, кроме того, что Джек Кейпер спал с Розы каждую ночь, все время, пока был в Лондоне, а перед отъездом расплатился с ней? Как могла она на это согласиться? Неужели она не понимает, как это для нее унижительно? Неужели не видит, как вульгарно с его стороны подарить ей такую дорогую вещь? Очевидно, она этого не видела, потому что сказала мне:

— Очень мило с его стороны, правда? Но евреи все щедрые.

— Вероятно, он мог себе это позволить,— сказал я.

— О да, у него куча денег. Он сказал, что хочет мне перед отъездом что-нибудь подарить, и спросил, чего бы мне хотелось. Ладно, говорю, неплохо было бы иметь накидку и к ней муфту. Но я никак не думала, что он купит такую. Когда мы пришли в магазин, я попросила показать что-нибудь из каракуля, но он сказал: «Нет, соболя, и самого лучшего». И когда увидел эту, просто заставил меня ее взять.

Я представил себе ее белое тело с такой молочной кожей в объятьях этого старого, толстого, грубого человека и его толстые, оттопыренные губы на ее губах. И тут я понял, что все подозрения, которым я отказывался верить, были правдой. Я понял, что, когда она обедала с Квентином Фордом, и с Гарри Рэтфордом, и с Лайонелом Хильером, она спала с ними, точно так же, как спала и со мной. Я не мог произнести ни слова: я знал, что стоит мне раскрыть рот, как я скажу что-нибудь оскорбительное. По-моему, я был не столько охвачен ревностью, сколько подавлен. Я понял, что она провела меня, как последнего дурака. Я напрягал все силы, чтобы сдержать горькие насмешки, готовые слететь с моих губ.

Мы пошли в театр. Я не слушал актеров. Я только чувствовал на своей руке прикосновение гладкого соболинного меха и видел, как ее пальцы непрерывно поглаживают муфту. С мыслью об остальных я мог примириться, но Джек Кейпер меня потряс. Как она могла? Ужасно быть бедным. Были бы у меня деньги, я бы сказал ей — отошли обратно этому типу его гнусные меха, я куплю другие, гораздо лучше! Наконец она заметила мое молчание.

— Ты сегодня что-то очень тихий.

— Разве?

— Ты себя плохо чувствуешь?

— Я чувствую себя прекрасно.

Она искоса поглядела на меня. Я отвел взгляд, но знал, что ее глаза улыбаются той самой озорной и в то же время детской улыбкой, которую я так хорошо знал. Больше она ничего не сказала. Когда спектакль кончился, шел дождь, и мы взяли извозчика. Я дал кучеру ее адрес на Лимпс-роуд. Она молчала, пока мы не доехали до Виктория-стрит, потом спросила:

— Разве ты не хочешь, чтобы я зашла к тебе?

— Что ж, если угодно.

Она приоткрыла окошечко и сказала кучеру мой адрес. Потом взяла меня за руку и не отпускала ее, но я остался холоден. С чувством уязвленного достоинства я глядел прямо в окно. Когда мы приехали на Винсент-сквер, я помог ей выйти и впустил ее в дом, не говоря ни слова. Я снял шляпу и пальто, она швырнула на диван накидку и муфту.

— Почему ты дуешься? — спросила она, подходя ко мне.

— Я не дуюсь, — отвечал я, глядя в сторону.

Она обеими руками схватила мое лицо.

— Ну почему ты такой глупый? Стоит ли злиться из-за того, что Джек Кейпер подарил мне меховую накидку? Ведь ты же не можешь такую купить, верно?

— Конечно нет.

— И Тед не может. Не отказываться же мне от меховой накидки, которая стоит двести шестьдесят фунтов! Я всю жизнь о такой мечтала. А для Джека это ничего не стоит.

— Не думаешь же ты, что я поверю, будто он сделал это просто по дружбе?

— А почему бы и нет? Во всяком случае, он уехал в Амстердам, и кто знает, когда он приедет снова?

— Да он и не единственный.

Я смотрел на Розы с гневом, обидой, возмущением, а она улыбалась мне — как жаль, что я не умею описать милую доброту ее чудесной улыбки! Голос ее звучал удивительно мягко.

— Милый, ну зачем тебе думать о каких-то других? Разве тебе это мешает? Разве тебе со мной плохо? Разве ты со мной не счастлив?

— Очень.

— Ну и хорошо. Глупо злиться и ревновать. Почему не радоваться тому, что у тебя есть? Я всегда говорю — наслаждайся жизнью, пока можешь; через сотню лет мы все будем

в могиле, и тогда уж ничего не будет. А пока можно, надо проводить время с удовольствием.

Она обняла меня за шею и прижалась губами к моим губам. Я забыл свой гнев — я мог думать только о ее прелести, о ее всепоглощающей доброте.

— Придется уж тебе принимать меня такой, какая я есть, — прошептала она.

— Придется, — ответил я.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

За все время я очень мало виделся с Дриффилдом. Большую часть дня он занимался своими редакторскими делами, а по вечерам писал. Конечно, субботние вечера он проводил с нами, дружелюбно болтая и забавляя нас своими ироническими замечаниями. Казалось, он всегда был рад меня видеть и разговаривать со мной на всякие общие темы, хотя и не подолгу, потому что больше внимания, естественно, уделял гостям постарше и поважнее. И все-таки у меня было ощущение, что между ним и нами растет какое-то отчуждение; он уже не был тем веселым, чуть вульгарным собеседником, которого я знал в Блэкстебле. Может быть, дело было просто в моей обострившейся чувствительности, которая и позволила мне ощутить невидимый барьер между ним и теми, с кем он болтал и шутил. Похоже было, что он живет какой-то воображаемой жизнью, рядом с которой повседневность кажется чуть призрачной. Время от времени его приглашали говорить речи на публичных обедах; он вступил в литературный клуб, познакомился с множеством людей за пределами того узкого кружка, с которым его связывала литературная работа, и все чаще получал приглашения на обеды и чаепития от дам, стремившихся собирать вокруг себя известных писателей. Розы тоже приглашали, но она ходила в гости редко, говоря, что не любит приемов, и потом ведь не она же им нужна — им нужен только Тед. Я думаю, в таких случаях она робела и чувствовала себя не в своей тарелке. Может быть, хозяйки не раз давали ей понять, как им неприятно, что приходится принимать и ее, а уж пригласив ее приличия ради, они ее игнорировали, потому что их раздражала необходимость обходиться с ней вежливо.

Как раз тогда Эдуард Дриффилд напечатал «Чашу жизни». Разбирать его произведения — не мое дело, и к тому же за последнее время о них написано столько, что этого

вполне хватит для любого обычного читателя. Но я позволю себе сказать, что «Чаша жизни» хоть и не самая знаменитая и не самая популярная из его книг, но, на мой взгляд, самая интересная. В ней есть какая-то хладнокровная беспощадность, которая резко выделяет ее на фоне сентиментальности, присущей английской литературе. В ней есть свежесть и терпкость. Она как кислое яблоко — от нее сводит скулы, но в то же время в ней чувствуется какой-то едва заметный и очень приятный горьковато-сладкий привкус. Из всех книг Дриффилда это единственная, которую я был бы рад написать сам. Каждому, кто ее читал, надолго запомнится страшная, душераздирающая, но описанная без всякой слюнявости и ложной чувствительности сцена смерти ребенка и следующий за ней странный эпизод.

Именно эта часть книги и вызвала внезапный шквал, обрушившийся на голову бедного Дриффилда. Первые несколько дней после выхода книги казалось, что все пойдет так же, как и с прежними его романами: что она будет удостоена обстоятельных рецензий, в целом похвальных, хотя и не без оговорок, и будет раскупаться понемногу, но в общем неплохо. Розы рассказывала мне, что он надеялся заработать фунтов триста, и поговаривала о том, как бы на лето снять дачу у реки. Первые два или три отзыва были ни к чему не обязывающими; а потом одна из утренних газет разразилась целым столбцом резких нападок. Книга была объявлена намеренно оскорбительной и непристойной; попало и выпустившим ее издателем. Газета рисовала ужасные картины того разлагающего влияния, которое возымеет книга на английскую молодежь, и называла ее вопиющим оскорблением женственности. Рецензент возмущался тем, что книга может попасть в руки юношей и невинных девушек. Другие газеты последовали примеру первой. Те, что поглупее, требовали запретить книгу, и кое-кто с серьезным видом задавал вопрос, не следует ли тут вмешаться прокурору. Осуждение было единодушным; если время от времени какой-нибудь отважный писатель, привычный к более реалистической континентальной литературе, и утверждал, что Эдуард Дриффилд не написал ничего лучше этой книги, то на него не обращали внимания, приписывая его искреннее мнение неизменному желанию угодить галерке. Библиотеки прекратили выдачу книги, а хозяева книжных киосков на железнодорожных станциях отказывались ее брать.

Все это, естественно, было Эдуарду Дриффилду очень неприятно, но он держался с философским спокойствием и только пожимал плечами.

— Они говорят, что это неправда,— улыбался он.— Пусть катятся к черту — там все истинная правда.

Немалую поддержку в то трудное время он черпал в верности своих друзей. Восхищаться «Чашей жизни» стало признаком эстетической проницательности; возмущаться ею — значило сознаться в своем филистерстве. Миссис Бартон Траффорд без колебаний объявила книгу шедевром, и, хотя для появления статьи Бартон в «Куортерли» момент был сочтен неподходящим, ее вера в будущее Эдуарда Дриффилда осталась незабываемой. Сейчас странно (и поучительно) читать эту книгу, вызвавшую такую сенсацию: в ней нет ни одного слова, способного заставить покраснеть даже самого невинного читателя, ни одного эпизода, который мог бы хоть чуточку смутить человека, привыкшего к нынешним романам.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Месяцев через шесть шум, поднятый вокруг «Чаши жизни», пошел на убыль, и Дриффилд начал писать роман, позднее опубликованный под названием «По плодам их». Я в то время учился на четвертом курсе и работал в перевязочной. Однажды на дежурстве я вышел в вестибюль больницы, где должен был подождать хирурга, чтобы идти с ним на обход. Я взглянул на стойку для писем, потому что иногда люди, не знавшие моего домашнего адреса, писали мне в больницу. С большим удивлением я обнаружил телеграмму на свое имя. В ней говорилось:

«Пожалуйста, непременно зайдите ко мне сегодня в пять часов. Это важно. Изабел Траффорд».

Зачем я ей понадобился? За последние два года я видел ее, может быть, раз десять, но она никогда не обращала на меня внимания, и у нее я ни разу не был. Я знал, какой большой спрос в это время дня на мужчин; может быть, хозяйка в последнюю минуту обнаружила, что среди гостей их окажется меньше, чем женщин, и решила, что студент-медик все же лучше, чем ничего? Но, судя по тексту телеграммы, речь шла не о приеме.

Хирург, которому я ассистировал, был нуден и болтлив. Я освободился только в шестом часу, и мне понадобилось добрых двадцать минут, чтобы добраться до Челси. Миссис Бартон Траффорд занимала квартиру в большом доме на набережной. Было уже почти шесть, когда я позвонил у ее дверей и спросил, дома ли она. Но когда меня провели

в гостиную и я начал объяснять, почему опоздал, она перебила меня:

— Мы так и думали, что вы задержались. Это пустяки. Ее муж был тут же.

— Наверное, он не откажется от чашки чаю,— сказал он.

— По-моему, для чая уже поздно, не правда ли?— Она нежно взглянула на меня своими мягкими, прекрасными, полными доброты глазами.— Ведь вы не хотите чая?

Я был голоден и хотел пить, потому что мой обед состоял из чашки кофе и булочки с маслом, но я об этом умолчал и от чая отказался.

— Вы знакомы с Олгудом Ньютоном?— спросила миссис Бартон Траффорд, сделав движение в сторону человека, который, когда я вошел, сидел в большом кресле, а теперь встал.— Я думаю, вы встречали его у Эдуарда.

Я его встречал. Он приходил не часто, но его имя было мне знакомо, и я его помнил. Я всегда очень волновался в его присутствии и, кажется, ни разу с ним не разговаривал. Хотя сейчас он совершенно забыт, но в те дни он был самым известным в Англии критиком. Это был крупный, толстый блондин с мясистым бледным лицом, светло-голубыми глазами и седеющими волосами. Галстук он обычно носил тоже светло-голубой, под цвет глаз. Он очень дружелюбно обращался с авторами, которых встречал у Дриффилдов, говорил им приятные и лестные слова, но, когда они уходили, отпускал по их адресу очень смешные шутки. Он разговаривал тихим, ровным голосом, умело подбирая слова; никто не мог с большим ехидством рассказать про своего приятеля злую сплетню.

Олгуд Ньютон обменялся со мной рукопожатием, а миссис Бартон Траффорд, стараясь со своей всегдашней заботливостью, чтобы я чувствовал себя свободно, взяла меня за руку и усадила на диван рядом с собой. Чай еще стоял на столе, и она, взяв сандвич с джемом, изящно откусила кусочек.

— Вы бывали у Дриффилдов в последнее время?— спросила она, как будто занимая меня разговором.

— Был, в прошлую субботу.

— А с тех пор вы никого из них не видели?

— Нет.

Миссис Бартон Траффорд взглянула на Олгуда Ньютона, потом на мужа, потом снова на Ньютона, как будто молча призывая их на помощь.

— Обиняками мы ничего не добьемся, Изабел,— сказал Ньютон своим масляным отчетливым голосом, и в глазах у него едва заметно блеснуло ехидство.

Миссис Бартон Трафффорд повернулась ко мне.

— Значит, вы не знаете, что миссис Дриффилд сбежала от мужа?

— Что?!

Я был ошарашен и не мог поверить своим ушам.

— Может быть, вы лучше изложите ему все факты, Олгуд? — предложила миссис Трафффорд.

Критик откинулся назад в своем кресле, сложил руки перед собой, соединив кончики пальцев, и со вкусом заговорил:

— Вчера вечером я должен был встретиться с Эдуардом Дриффилдом по поводу одной статьи, которую я для него пишу, и после обеда, поскольку погода была хорошая, я решил пройтись до его дома пешком. Он ждал меня; кроме того, я знал, что он никогда никуда не ходит по вечерам, если не считать особенно важных случаев — скажем, банкета у лорд-мэра или обеда в Академии. И представьте себе мое удивление, нет, мое полное и абсолютное изумление, когда я, приблизившись, увидел, как открывается дверь его дома и появляется Эдуард Дриффилд собственной персоной! Вы, конечно, знаете, что Иммануил Кант ежедневно выходил на прогулку в определенное время с такой точностью, что жители Кенигсберга привыкли проверять по этому событию свои часы, и, когда однажды он вышел из дома на час раньше обычного, они пришли в ужас, поняв, что случилось нечто страшное. Они не ошиблись. Иммануил Кант только что получил сообщение о падении Бастилии.

Олгуд Ньютон на мгновение остановился, чтобы насладиться произведенным впечатлением. Миссис Бартон Трафффорд удостоила его понимающей улыбки.

— Правда, когда я увидел, как Эдуард спешит мне навстречу, у меня не возникло предчувствия какой-нибудь столь же потрясающей мировой катастрофы, но я тут же понял, что произошло какое-то несчастье. При нем не было ни трости, ни перчаток. Он был одет в свою рабочую куртку — почтенное одеяние из черной альпаки, и широкополую шляпу. В лице у него я заметил что-то дикое, а в поведении — что-то безумное. Зная превратности супружеской жизни, я спросил себя, не семейный ли разлад заставил его сломя голову выбежать из дома или же он просто спешит к почтовому ящику, чтобы отправить письмо. Он бежал, как Гектор в погоне за благороднейшими из ахейцев. Меня он, казалось, не заметил, и у меня блеснуло подозрение, что он сделал это намеренно. Я остано-

вил его. «Эдуард»,— сказал я. Он вздрогнул. Готов поклясться, что в первое мгновение он меня не узнал. «Какие мстительные фурии гонят вас с такой поспешностью по темным закоулкам Пимлико?»— спросил я. «Ах, это вы»,— сказал он. «Куда вы идете?»— спросил я. «Никуда»,— ответил он.

Я понял, что при таком темпе Олгуд Ньютон никогда не кончит свой рассказ, и миссис Хадсон будет сердиться на меня за получасовое опоздание к обеду.

— Я сообщил ему, по какому делу направляюсь к нему, и предложил ему вернуться домой, где мы могли бы более спокойно обсудить вопрос, который меня волновал. «Не могу я идти домой, мне не сидится на месте»,— сказал он.— Давайте пройдемся. Мы можем поговорить по дороге». Согласившись, я повернул назад. Но он шел слишком быстро, и я был вынужден просить его умерить шаги. Даже доктор Джонсон не смог бы поддерживать разговор, несясь по Флит-стрит со скоростью экспресса. Эдуард выглядел так странно и вел себя так возбужденно, что я счел разумным повести его по менее людным улицам. Я начал говорить о своей статье. Предмет, который меня занимал, оказался значительно обширнее, чем выглядел с первого взгляда, и я пребывал в сомнении, смогу ли я вообще отдать ему должное на страницах еженедельника. Я обстоятельно и беспристрастно изложил дело и спросил его мнение. «Рози ушла от меня»,— ответил он. В первое мгновение я не понял, о чем он говорит, но тут же мне пришло в голову, что он имеет в виду ту свежую и не лишнюю привлекательности особу, из рук которой я иногда принимал чашку чая. По его тону я предположил, что он ждет от меня скорее соболезнования, чем поздравления.

Олгуд Ньютон снова сделал паузу, и его голубые глаза блеснули.

— Вы великолепны, Олгуд!— сказала миссис Бартон Траффорд.

— Неповторимы,— сказал ее муж.

— Поняв, что в данном случае от меня требуется сочувствие, я начал: «Мой дорогой друг!» Он прервал меня. «Я только что получил письмо,— сказал он.— Она сбежала с Лордом Джорджем Кемпом».

У меня захватило дух, но я промолчал. Миссис Траффорд бросила на меня быстрый взгляд.

— «Кто такой Лорд Джордж Кемп?»— «Один человек из Блэкстебла»,— ответил он. Я не имел времени на размышления и решил быть откровенным. «Ну и скатертью дорога»,— сказал я. «Олгуд!»— вскричал он. Я остановился

и положил ему руку на плечо. «Вы должны знать, что она изменяла вам со всеми вашими друзьями. Она вела себя просто скандално. Дорогой Эдуард, давайте посмотрим фактам в глаза: ваша жена была не кто иная, как самая обыкновенная потаскуха». Он стряхнул с плеча мою руку и издал нечто вроде рычания, как орангутанг из лесов Борнео, у которого силой отняли кокосовый орех. И прежде чем я успел остановить его, он вырвался и побежал прочь. Я был так потрясен, что не мог ничего сделать, а только стоял и слушал, как вдали затихают его вопли и поспешные шаги.

— Вы не должны были его отпускать,— сказала миссис Бартон Траффорд.— В этом состоянии он может броситься в Темзу.

— Эта мысль приходила мне в голову, но я заметил, что он побежал не в сторону реки, а скрылся в убогих переулках той части города, где мы находились. Кроме того, я подумал, что история литературы не знает случая, чтобы писатель совершил самоубийство, не закончив своего произведения. Как бы велико ни было его горе, он не захочет оставить потомкам незавершенный опус.

То, что я услышал, поразило меня и привело в ужас; тревожило меня и то, что я не мог понять, зачем миссис Траффорд послала за мной. Она слишком мало меня знала, чтобы полагать, что эта история может представить для меня особый интерес; не стала бы она и трудиться только ради того, чтобы поскорее сообщить мне такую новость.

— Бедный Эдуард,— сказала она.— Конечно, никто не может отрицать, что в конечном счете все получилось к лучшему, но я боюсь, не принял бы он это слишком близко к сердцу. К счастью, он не совершил никаких опрометчивых поступков.— Она повернулась ко мне.— Как только мистер Ньютон рассказал нам, что произошло, я отправилась на Лимпус-роуд. Эдуарда не было, но горничная сказала, что он только что ушел; значит, он побывал дома после того, как убежал от Олгуда. Вы, наверное, удивляетесь, зачем я пригласила вас к себе.

Я молча ждал, что она скажет дальше.

— Вы впервые познакомились с Дриффилдами в Блэкстебле, верно? Вы можете рассказать нам, что за человек этот Лорд Джордж Кемп. Эдуард сказал, что он из Блэкстебла.

— Он средних лет, у него жена и двое детей. Мои ровесники.

— Но я не могу понять, кто он такой. Я не нашла его в справочнике Дебретта.

Я чуть не рассмеялся.

— О, на самом деле он не лорд. Он местный торговец углем. В Блэкстебле его зовут Лорд Джордж потому, что он очень важный. Это просто шутка.

— Причуды буколического юмора нередко с трудом доступны непосвященным,— заметил Олгуд Ньютон.

— Мы все должны помочь дорогому Эдуарду, чем можем,— сказала миссис Бартон Траффорд. Ее глаза задумчиво остановились на мне.— Если Кемп сбежал с Розы Дриффилд, он, вероятно, ушел от своей жены.

— Вероятно,— ответил я.

— Вы не можете оказать одну услугу?

— Конечно, если это в моих силах.

— Не съездите ли вы в Блэкстебл и не выясните ли, что на самом деле произошло? Мне кажется, нам надо было бы связаться с его женой.

Я никогда не любил совать нос в чужие дела.

— Не знаю, смогу ли я это сделать,— отвечал я.

— Разве вы не можете с ней встретиться?

— Нет.

Если миссис Бартон Траффорд сочла мой ответ резким, она этого не показала и только слегка улыбнулась.

— В конце концов, это можно отложить. Самое срочное сейчас — узнать все про Кемпа. Сегодня вечером я попытаюсь увидеться с Эдуардом. Я не могу и подумать о том, чтобы он оставался в этом ужасном доме один. Мы с Бартоном решили привезти его сюда. У нас есть свободная комната, и я устрою так, чтобы он мог здесь работать. Олгуд, вы согласны, что это для него было бы самое лучшее?

— Абсолютно.

— Я не вижу, почему бы ему не остаться здесь на неопределенное время, и уж во всяком случае на несколько недель, а на лето он может уехать вместе с нами. Мы собираемся в Бретань. Я уверена, что ему там понравится. Это будет для него полная перемена обстановки.

— Вопрос, который нас интересует сейчас,— сказал Бартон Траффорд, устремив на меня свой взгляд, почти столь же добрый, как и у его жены,— состоит в том, поедет ли этот молодой костоправ в Блэкстебл, чтобы выяснить все, что сможет. Мы должны знать, что произошло. Это самое главное.

Бартон Траффорд искупал свой интерес к археологии добродушием и шутливой, даже жаргонной манерой выражаться.

— Он не может отказаться,— сказала его супруга, бросив на меня нежный, умоляющий взгляд.— Вы ведь не откажетесь? Это так важно, и только вы можете нам помочь.

Она, конечно, не подозревала, что мне так же, как и ей, не терпится узнать, что случилось; ей и в голову не могло прийти, какая горькая, ревнивая боль пронзила мое сердце.

— Я не могу оставить больницу раньше субботы,— сказал я.

— Это годится. Очень мило с вашей стороны. Все друзья Эдуарда будут вам благодарны. Когда вы вернетесь?

— Я должен быть в Лондоне в понедельник рано утром.

— Тогда приходите вечером ко мне на чашку чаю. Я буду ждать вас с нетерпением. Слава богу, это улажено. Теперь я должна попытаться разыскать Эдуарда.

Я догадался, что мне пора уходить. Олгуд Ньютон тоже распрощался и вместе со мной спустился вниз.

— Сегодня в нашей Изабел было что-то от Екатерины Арагонской. Это ей необыкновенно идет,— прошептал он, когда дверь за нами закрылась.— Ей представился блестящий случай, и я думаю, что мы можем быть уверены— она его не упустит. Очаровательная женщина, золотое сердце. *Vénus toute entière à sa proie attachée*¹.

Я не понял, что он имел в виду; то, что я уже рассказал читателям про миссис Бартон Трафффорд, я узнал много позже. Но я сообразил, что он сказал о ней что-то довольно злое и, вероятно, смешное, так что я усмехнулся.

— Полагаю, ваша молодость располагает вас к пользованию тем, что наш добрый Дизраэли неудачно назвал лондонской гондолой?

— Я поеду на автобусе,— ответил я.

— Да? Если бы вы хотели поехать на извозчике, то я собирался попросить вас подвезти меня до дому, но раз вы намерены воспользоваться этим скромным средством передвижения, которое я по своей старомодности все еще предпочитаю называть омнибусом, то я все же взгромозжу свое неуклюжее тело в экипаж.

Он помахал извозчику и протянул мне два мягких пальца.

— Я зайду в понедельник— узнать результаты вашей утонченно-щекотливой миссии, как назвал бы это старина Генри.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Но прошло много лет, прежде чем я снова увиделся с Олгудом Ньютоном. Приехав в Блэкстебл, я нашел там письмо от миссис Бартон Трафффорд (которая позаботилась

¹ Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче (Р а с и н Ж. Федра).

записать мой адрес) с просьбой — по причинам, которые она объяснит при встрече, не приходите к ней домой, а встретиться с ней в шесть часов в зале ожидания первого класса на вокзале Виктория. Поэтому, как только я в понедельник смог освободиться из больницы, я направился туда и после недолгого ожидания увидел ее. Она приближалась ко мне легкими быстрыми шажками.

— Ну, можете ли вы мне что-нибудь рассказать? Давайте найдем тихий уголок и присядем.

Мы отыскиали себе место.

— Я должна объяснить, почему пригласила вас сюда, — сказала она. — У меня живет Эдуард. Сначала он не хотел, я его едва уговорила. Но он нервничает, болен и раздражителен. Мне не хотелось бы, чтобы он вас видел, и я решила не рисковать.

Я вкратце рассказал миссис Траффорд то, что узнал; она внимательно слушала, время от времени кивая головой. Но я при всем желании не сумел бы дать ей почувствовать то смятение, какое застал в Блэкстебле. Город был вне себя от возбуждения. Много лет здесь не случалось ничего столь захватывающего, и никто больше ни о чем и говорить не мог. Шалтай-Болтай упал со стены! Лорд Джордж Кемп сбежал! С неделю назад он объявил, что собирается в Лондон по делу, а два дня спустя против него было возбуждено дело о банкротстве. Оказалось, что его строительная деятельность была неудачной, его попытки превратить Блэкстебл в модный морской курорт не встретили поддержки, и ему пришлось добывать деньги всеми доступными способами. По городку ходили всевозможные слухи. Множество людей скромного достатка, доверивших ему свои сбережения, теперь потеряли все, что у них было. Подробности были довольно туманными, потому что ни мой дядя, ни тетя ничего не понимали в делах, а я тоже не разбирался в них достаточно, чтобы понять, о чем они рассказывали. Но дом Джорджа Кемпа был заложен, а его имущество должны были продать с молотка. Жена его осталась без гроша. Двое сыновей, один двадцати, другой двадцати одного года, были партнерами его углеторговой фирмы, но и ее коснулось общее разорение. Джордж Кемп скрылся со всеми наличными деньгами, какие только мог собрать, — примерно с полутора тысячами фунтов, как мне сказали, хотя я и не мог понять, откуда это стало известно; говорили также, что есть приказ о его аресте. Предполагали, что он уехал за границу: одни называли Канаду, другие — Австралию.

— Надеюсь, что его поймают,— сказал дядя.— Его надо бы отправить на пожизненную каторгу.

Все были возмущены. Прощения ему не было — потому что он всегда был таким шумным и жизнерадостным, потому что он подшучивал над ними, угощал их и устраивал для них приемы, потому что ездил в такой шикарной тележке и так лихо заламывал свою коричневую мягкую шляпу. Но самое ужасное рассказал моему дяде воскресным вечером после богослужения в ризнице церковный староста. Последние два года Лорд Джордж почти каждую неделю встречался в Хэвершеме с Розой Дрифилд, и они вместе проводили ночь в гостинице. Хозяин ее вложил деньги в одно из сумасшедших предприятий Лорда и разболтал все, обнаружив, что деньги пропали. Он бы еще смирился, если бы Лорд Джордж надул других, но тот надул и его, хоть и прибегал к его помощи и считал его своим приятелем,— это было уж слишком.

— Я думаю, они сбежали вместе,— сказал дядя.

— Я бы не удивился,— сказал староста.

После ужина, пока горничная убирала со стола, я зашел на кухню поболтать с Мэри-Энн. Она тоже была в церкви и слышала эту историю. Не думаю, чтобы прихожане с большим вниманием слушали проповедь моего дяди.

— Дядя говорит, они сбежали вместе,— сообщил я. О том, что было мне известно, я не проронил ни слова.

— Ну конечно же!— ответила Мэри-Энн.— Он один только ей и нравился. Стоило ему только пальцем поманить, и она бросила бы кого угодно.

Я опустил глаза. Меня мучила горькая обида; я был зол на Розу и считал, что она поступила со мной очень плохо.

— Мы уж, наверное, ее больше не увидим,— сказал я, почувствовав при этих словах внезапную боль в сердце.

— Да уж наверное,— весело ответила Мэри-Энн.

Когда я рассказал миссис Бартон Траффорд ту часть всей этой истории, которую ей, по моему мнению, следовало знать, она вздохнула — но я не понял, с грустью или с удовлетворением.

— Ну что ж, во всяком случае, с Розой на этом покончено,— сказала она, встала и протянула мне руку.— И почему все эти литераторы так неудачно женятся? Очень, очень жаль. Большое спасибо за то, что вы сделали. Теперь мы знаем, как обстоит дело. Самое главное — чтобы это не помешало Эдуарду работать.

Ее замечания показались мне несколько бессвязными. Не сомневаюсь, что на меня она не обращала ни малейшего внимания. Мы вышли на улицу, и я посадил ее в автобус, шедший по Кингз-роуд, а потом пешком направился домой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Я потерял связь с Дрифилдом. Разыскивать его я стеснялся; кроме того, я был занят экзаменами, а когда сдал их, уехал за границу. Смутно припоминаю, что как-то видел в газете сообщение о его разводе с Рози. Больше ничего о ней слышно не было. Ее мать время от времени получала небольшие суммы денег — по десять, двадцать фунтов. Они приходили в конвертах с нью-йоркским штемпелем, но обратный адрес указан не был, никаких писем не было тоже, и считалось, что они приходят от Рози, только потому, что больше некому было посылать деньги миссис Гэнн. Потом мать Рози в преклонном возрасте умерла, и можно предположить, что известие об этом как-то дошло до Рози, потому что деньги приходили перестали.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Мы встретились с Элроем Киром, как и договорились, в пятницу на вокзале Виктория незадолго до отправления поезда 5.10 на Блэкстебл. Мы с удобством расположились друг против друга в купе для курящих. Теперь я наконец узнал от него в общих чертах, что произошло с Дрифилдом после того, как сбежала его жена. Со временем Рой очень близко сошелся с миссис Бартон Траффорд. Зная его и помня ее, я понял, что это было неизбежно. Я не удивился, услышав, что он вместе с ней и с Бартоном путешествовал по континенту, целиком разделяя их страстное восхищение Вагнером, картинами постимпрессионистов и архитектурой барокко. Он аккуратно обедал у них в Челси, а когда преклонные годы и слабеющее здоровье не позволили миссис Траффорд покидать свою гостиную, он, несмотря на крайнюю занятость, регулярно раз в неделю приходил посидеть с ней. У Роя было доброе сердце. После ее смерти он написал о ней очень прочувствованную статью, в которой отдал должное ее чуткости и прозорливости.

Я с удовлетворением подумал, что за свою доброту он неожиданно оказался вознагражден по справедливости:

миссис Бартон Трафффорд много рассказала ему об Эдуарде Дриффилде, и это не могло не пригодиться ему в работе над книгой, которой он был сейчас занят. Когда после бегства жены Эдуард Дриффилд находился в таком состоянии, какое Рой мог описать только французским словом *desemparé*¹, — миссис Бартон Трафффорд не только мягко настояла на том, чтобы он пересел к ним, но и убедила его прожить у них почти год. Она проявила к нему любовную заботливость, неисчерпаемую доброту и мудрую чуткость подруги, сочетающей женский такт с мужской энергией и золотое сердце с безошибочной оценкой ситуации. Здесь, у нее, он окончил свой роман «По плодам их». Она с полным правом считала этот роман своей книгой, а то, что он был ей посвящен, показывает, что Дриффилд сознавал, насколько он ей обязан. Она возила Дриффилда в Италию (конечно, с Бартоном: миссис Трафффорд слишком хорошо знала злокозненность человеческой природы, чтобы дать пищу для сплетен) и там с томиком Рескина в руке раскрывала перед ним бессмертную красоту этой страны. Потом она подыскала ему комнаты в Темпле и там, очень мило выступая в качестве хозяйки, устраивала небольшие обеды, на которые он мог приглашать людей, привлеченных его растущей известностью.

Нужно признать, что этой растущей известностью он был во многом обязан ей. Слава пришла к нему только в последние годы его жизни, когда он уже давно перестал писать, но основы ее были, несомненно, заложены неустанными усилиями миссис Трафффорд. Она не только вдохновила (а может быть, отчасти и написала: у нее было бойкое перо) статью, которую Бартон в конце концов представил в «Куортерли» и в которой впервые говорилось, что Дриффилда следует поставить в один ряд с мастерами английской литературы — она еще и организовывала хороший прием каждой выходящей его книге. Она везде бывала, встречалась с редакторами и, что еще важнее, с владельцами влиятельных изданий; она давала вечера, на которые приглашала каждого, кто мог оказаться полезным. Она заставляла Эдуарда Дриффилда читать отрывки из своих произведений на благотворительных собраниях в домах самых высокопоставленных персон; она следила за тем, чтобы его фотография появлялась в иллюстрированных еженедельниках; она лично просматривала каждое интервью, которое он давал. В течение десяти лет она была неутоми-

¹ Покинутый (*фр.*).

мым литературным агентом. Она упорно держала его в центре внимания публики.

Миссис Бартон Трафффорд наслаждалась вовсю. Но она оставалась верна себе. Приглашать его в гости одного, без нее, было бесполезно: он отказывался. А когда на какой-нибудь обед приглашали ее, Бартона и Дриффилда, они и приезжали вместе, и уезжали вместе. Она ни на минуту не спускала с него глаз. Хозяйки могли приходить в ярость, но им предоставлялось только мириться с этим. Как правило, они мирились. Если миссис Бартон Трафффорд случалось быть немного не в духе, это проявлялось только через него: сама она оставалась очаровательной, а Эдуард Дриффилд становился необычно резок. Но она прекрасно знала, как его расшевелить, и, когда общество было достаточно изысканным, умела заставить его блистать. С ним она вела себя безукоризненно. Она не скрывала от него своего убеждения, что он — величайший писатель современности; она не только за глаза неизменно называла его мастером, но и в глаза всегда так к нему обращалась, и это звучало, может быть, отчасти шутливо, но лестно. Некоторую игривость она сохранила до самого конца.

А потом произошло нечто ужасное. Дриффилд схватил воспаление легких и был серьезно болен; некоторое время его даже считали безнадежным. Миссис Бартон Трафффорд делала все, что могла сделать такая женщина, и с радостью ухаживала бы за ним сама, но ей было уже за шестьдесят и здоровье не позволяло — пришлось нанять профессиональных сиделок. Когда в конце концов он поправился, доктора рекомендовали ему пожить за городом и, поскольку он был все еще очень слаб, настояли на том, чтобы с ним поехала сиделка. Миссис Трафффорд хотела, чтобы он отправился в Борнмут, куда она могла бы каждую неделю приезжать к нему и присматривать, чтобы все было в порядке, но Дриффилду нравился Корнуолл, и доктора согласились, что мягкий климат Пензанса будет ему полезен. Можно было бы ожидать, что женщина, наделенная тонкой интуицией Изабел Трафффорд, почувствует приближающееся несчастье; но нет — она его отпустила. Она внушила сиделке, что возлагает на нее серьезную ответственность, что ее заботам поручается если не будущее английской литературы, то, по крайней мере, жизнь и благополучие самого выдающегося из ее живых представителей — сокровище, не имеющее цены.

Три недели спустя Эдуард Дриффилд сообщил ей в письме, что женился на своей сиделке.

Я думаю, еще никогда миссис Бартон Трафффорд не проявляла столь выдающимся образом величие своей души. Кричала ли она «Иуда! Иуда!»? Рвала ли на себе волосы, катаясь по полу и колотя ногами в истерике? Кидалась ли на кроткого ученого Бартона, называя его презренным старым идиотом? Поносила ли неверность мужчин и распущенность женщин или изливала свои оскорбленные чувства, выкрикивая во весь голос те непристойности, с которыми, как уверяют нас психиатры, ко всеобщему удивлению, оказываются знакомы чистейшие из женщин? Нет, нет и нет. Она написала Дриффилду очаровательное поздравление, а его новоиспеченной супруге — письмо, где выражала свою радость при мысли, что у нее теперь будет два любимых друга, а не один. Она умоляла их обоих после возвращения в Лондон пожить у нее. Она рассказывала каждому встречному и поперечному, что эта женитьба сделала ее очень-очень счастливой, потому что Эдуард скоро уже будет стар, и нужно, чтобы кто-нибудь за ним ухаживал — а кто может делать это лучше больничной сиделки? Она ни разу не произнесла худого слова о новой миссис Дриффилд, а только хвалила ее. «Она не очень красива, — говорила миссис Бартон Трафффорд, — но лицо у нее очень приятное. Конечно, она не то чтобы настоящая леди, но Эдуарду было бы только не по себе с какой-нибудь очень знатной дамой. Это как раз такая жена, какая ему нужна». По-моему, будет вполне справедливо сказать, что миссис Бартон Трафффорд просто источала бальзам доброты и благоволения; и тем не менее сдается, что если когда-либо в бальзам доброты и благоволения была подмешана изрядная доза яда, то это как раз такой случай.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Когда мы с Роем прибыли в Блэкстебл, его ждал автомобиль — ни нарочито великолепный, ни явно дешевый, а для меня у шофера была записка от миссис Дриффилд с приглашением к завтрашнему обеду. Я сел в такси и поехал в «Медведь и ключ». От Роя я узнал, что на набережной есть новый отель, но я не хотел променять прибежище моей молодости на роскошь цивилизации. Перемены начались еще на станции, которая оказалась не на своем прежнем месте, а дальше по новой дороге; и, конечно, ехать по Хай-стрит на автомобиле было немного странно. Но «Медведь и ключ» не изменился. Он встретил меня с тем же грубоватым равнодушием: у входа никого не было, шофер

поставил мой чемодан и уехал: я позвонил, никто не ответил. Я вошел в бар и обнаружил там стриженую девушку, которая читала книгу м-ра Комптона Маккензи. Я спросил ее, нельзя ли мне здесь остановиться. Она бросила на меня слегка обиженный взгляд и сказала, что, наверное, можно, но так как этим всякий ее интерес ко мне был, по-видимому, исчерпан, я вежливо спросил, не покажет ли кто-нибудь комнату. Она встала и, открыв дверь, пронзительно крикнула:

— Кэти!

— Чего? — услышал я.

— Тут одному нужна комната.

Через некоторое время показалась древняя и изможденная женщина в замызганном ситцевом платье, с неряшливой седой прической и провела меня на третий этаж, в очень маленькую грязную комнату.

— Нельзя ли найти что-нибудь получше? — спросил я.

— Коммерсанты всегда здесь останавливаются, — ответила она презрительно.

— А других у вас нет?

— Одиночных нет.

— Тогда дайте двухместную.

— Пойду спрошу у миссис Brentford.

Я спустился за ней на второй этаж. Она постучала, ей разрешили войти, и, когда дверь открылась, я увидел плотную женщину с тщательно завитыми седыми волосами. Она читала книгу. Очевидно, все население «Медведя и ключа» интересовалось литературой. Когда Кэти сказала, что номер седьмой меня не устраивает, она равнодушно взглянула на меня.

— Покажи ему номер пятый, — сказала она.

Я начал чувствовать, что несколько поторопился, так высокомерно отклонив приглашение миссис Дриффилд пожить у нее, а потом в приливе сентиментальности отвергнув мудрый совет Роя остановиться в отеле. Кэти снова повела меня наверх и показала мне довольно большую комнату, выходившую на Хай-стрит. Немалую часть ее занимала двуспальная кровать. Окна за последний месяц наверняка ни разу не открывались.

Я сказал, что это подойдет, и спросил, как насчет обеда.

— Можете заказать, что хотите, — сказала Кэти. — У нас здесь ничего нет, но я сбегаю и принесу.

Зная английские харчевни, я заказал жареную рыбу и отбивную. Потом я пошел прогуляться. Дойдя до пляжа, я обнаружил, что там построили эспланаду, а в том месте, где на моей памяти были только продуваемые ветром поля,

стоял ряд бунгало и вилл. Но они выглядели грязными и запущенными, и я подумал, что даже столько лет спустя мечта Лорда Джорджа о превращении Блэкстебла в популярный морской курорт не сбылась. По потрескавшемуся асфальту шли какой-то отставной военный и две пожилые дамы. Было невероятно уныло. Резкий ветер нес с моря морозящий мелкий дождь.

Я вернулся в город. Там, между «Медведем и ключом» и «Герцогом Кентским», несмотря на холодную погоду, кучками стояли люди. Глаза у них были такие же бледно-голубые, а выступающие скулы — такие же багровые, как у их отцов. Странно было видеть, что некоторые моряки в синих фуфайках все еще носят в ухе маленькую золотую серьгу, и не только старики, но и парни, которым едва минуло двадцать. Я побрел по улице. Банк отремонтировали, но писчебумажный магазин, где я когда-то покупал бумагу и воск, чтобы снимать оттиски вместе со случайно мною встреченным никому не известным писателем, не изменился. Рядом появилось два или три кинематографа, и их кричащие афиши неожиданно придали чинной улице разгульный вид, сделав ее похожей на респектабельную пожилую даму, хлебнущую лишнего.

В столовой, где я в одиночестве съел свой обед за обширным столом, накрытым на шестерых, было холодно и безрадостно. Прислуживала грязнуха Кэти. Я спросил, нельзя ли зажечь камин.

— В июне? Нет, — ответила она. — Мы кончаем топить в апреле.

— Я заплачу, — возразил я.

— В июне? Нет. В октябре — пожалуйста, а в июне — нет.

Кончив обедать, я пошел в бар выпить стакан портвейна.

— Очень тихо здесь, — сказал я стриженной буфетчице.

— Да, очень тихо, — ответила она.

— Я думал, в пятницу вечером у вас могло бы быть много народу.

— Да, могло бы быть, верно.

Из задней комнаты вышел плотный, краснощекий человек с короткими седыми волосами, и я догадался, что это хозяин.

— Не вы ли будете мистер Brentford? — спросил я.

— Да, я.

— Я знал вашего отца. Не хотите ли стаканчик портвейна?

Я сказал ему свое имя, которое в дни его детства было в Блэкстебле известно лучше любого другого, но, к некоторому моему смущению, увидел, что оно ничего ему не говорит. Правда, он согласился принять предложенный мною стакан портвейна.

— По делу сюда? — спросил он. — Тут у нас частенько бывают деловые люди. Мы всегда стараемся сделать для них, что можем.

Я сказал ему, что приехал повидаться с миссис Дриффилд, и предоставил ему гадать зачем.

— Я старика часто видел, — сказал мистер Brentford. — Он очень любил заглянуть сюда и выпить свой стаканчик пива. Заметьте, я не говорю, что он когда-нибудь напивался, — просто любил посидеть в баре и поговорить. Можете мне поверить, он был готов разговаривать часами, все равно с кем. Миссис Дриффилд очень не нравилось, что он сюда ходит. Он никому дома не говорил, куда идет, просто уходил и ковылял сюда. Это, знаете, не маленькая прогулка для человека в таком возрасте. Конечно, когда там спохватывались, миссис Дриффилд знала, куда он пошел, и звонила сюда, не здесь ли он. Потом она приезжала на автомобиле и шла к моей жене. «Приведите его, миссис Brentford, — говорила она, — я не хочу сама показываться в баре, там столько этих мужчин». Миссис Brentford приходила и говорила: «Ну-ка, мистер Дриффилд, за вами приехала миссис Дриффилд на машине, так что вы лучше допивайте свое пиво и поезжайте с ней домой». Он просил миссис Brentford не говорить, что он здесь, когда миссис Дриффилд звонит, но мы, конечно, не могли так делать. Все-таки он был старик, и все такое, и мы не хотели брать на себя ответственность. Он, знаете, родился в этом приходе, и его первая жена была из Блэкстебла. Она уж много лет как умерла. Я никогда ее не знал. Чудной он был старикан. Я не хочу ничего сказать — говорят, в Лондоне его превозносили до небес, и, когда он умер, газеты только о нем и писали; но по его разговорам вы бы никогда об этом не догадались. Как будто он просто никто, ну как мы с вами. Конечно, мы всегда старались, чтобы ему было хорошо; усаживали его вон туда, в кресла, но нет, он хотел сидеть у стойки: говорил, что ему нравится чувствовать под ногами перекладину. По-моему, здесь ему было лучше, чем где-нибудь еще. Он всегда говорил, что любит сидеть в барах. Он говорил, что в них можно видеть настоящую жизнь, а жизнь он всегда любил, говорил он. Чудной был человек. Напоминал мне моего отца — только папаша за всю жизнь

ни одной книги не прочел, и выпивал в день по бутылке французского коньяка, и умер в семьдесят восемь лет, а до того ни разу не болел. Очень жалко было старого Дриффилда, когда он помер. Я только вчера говорю миссис Brentford — надо бы как-нибудь прочесть какую-нибудь его книгу. Говорят, он о здешних местах несколько книг написал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Следующее утро было холодное и ветреное, но дождя не было, и я направился по Хай-стрит к дому священника. Я узнавал имена на вывесках — кентские имена, переходившие из поколения в поколение веками, все эти Гэнны, Кемпы, Коббзы, Иггалдены, — но ни одного знакомого человека не встретил. Шагая по этой улице, где я когда-то был знаком почти с каждым — а если с кем и не был, то уж в лицо знал всех, — я почувствовал себя каким-то призраком. Вдруг мимо меня проехал очень старый маленький автомобиль, затормозил, дал задний ход, и я увидел, что кто-то с любопытством на меня смотрит. Из машины вышел высокий, толстый пожилой человек и направился ко мне.

— Вы не Уилли Эшенден? — спросил он.

И тут я вспомнил его. Это был сын доктора, я с ним учился в школе. Мы вместе переходили из класса в класс, и я слышал, что он унаследовал у отца его практику.

— Ну, как дела? — спросил он. — Я только что был в доме священника, навещал своего внука. Там теперь начальная школа, я его отдал туда в этом году.

Он выглядел потрепанным и неухоженным, но у него было прекрасное лицо, и я видел, что в молодости он, наверное, отличался необыкновенной красотой. Странно, что я этого никогда не замечал.

— Ты уже дедушка? — спросил я.

— Уже трижды, — засмеялся он.

Мне стало не по себе. Он родился, научился ходить, потом стал взрослым, женился, имел детей, и они, в свою очередь, имели детей; судя по его виду, он жил в непрестанной работе, в нужде. У него была особая манера поведения, свойственная сельским врачам, — грубоватая, добродушная и покровительственная. Он свою жизнь уже прожил. Я обдумывал планы новых книг и пьес, был полон надежд на будущее и чувствовал, что впереди у меня еще много трудов

и радостей,— и все равно другим я, наверное, казался таким же пожилым человеком, каким он показался мне. Я был так потрясен, что у меня не хватило духу спросить о его братьях, с которыми я играл мальчишкой, или о своих старых друзьях и после нескольких глупых замечаний с ним распрощался. Потом я пошел дальше к дому священника — просторному, широко раскинувшемуся, слишком уединенно расположенному для его нынешнего хозяина, который относился к своим обязанностям серьезнее, чем мой дядя, и слишком большому по нынешней стоимости жизни. Дом стоял в большом саду среди зеленых полей. Большая квадратная вывеска у входа гласила, что здесь помещается начальная школа для сыновей джентльменов, и на ней стояли имя и ученые степени директора. Я взглянул через изгородь; сад был запущен и грязен, а пруд, где я когда-то ловил плотву, весь зарос. Церковная земля была поделена на участки для застройки, на ней появились шеренги маленьких кирпичных домиков и неровные, плохо замощенные дороги. Я пошел до Джой-лейн, и там тоже стояли дома — бунгало, обращенные к морю; а в старой сторожке у заставы помещалась нарядная кондитерская.

Я побродил вокруг. Бесчисленные улицы были застроены маленькими домиками из желтого кирпича, но кто там жил, я не знаю, потому что никого не было видно. Я спустился в гавань. Она была пуста. Неподалеку от пирса стоял только один грузовой пароход. У пакгауза сидели два-три моряка, и, когда я проходил мимо, они уставились на меня. Торговля углем пришла в упадок, и угольщики больше не заходили в Блэкстебл.

Мне было уже пора отправляться в Ферн-Корт, и я вернулся в гостиницу. Хозяин говорил мне, что отдает напрокат «даймлер», и мы тогда же условились, что я поеду на нем. Теперь, когда я подошел, машина стояла у дверей. Это был двухместный лимузин, но такой старый и разбитый, что я еще никогда не видел ничего подобного. По дороге он пыхтел, кашлял, дребезжал и задыхался, время от времени сердито дергаясь, и я сильно сомневался, что доеду до цели. Но что удивительнее всего — в нем стоял точно такой же запах, как и в старом ландо, которое нанимал каждое воскресное утро мой дядя, чтобы ехать в церковь. Это был кислый запах конюшни и гнилой соломы, лежавшей на дне экипажа; я никак не мог понять, откуда спустя столько лет этот запах мог появиться в автомобиле. Но ничто так не пробуждает воспоминания, как запах, и, забыв обо всем

вокруг, я снова почувствовал себя маленьким мальчиком, сидящим на переднем сиденье рядом с блюдом для причастия, напротив тети, слегка пахнувшей чистым бельем и одеколоном, в черном шелковом плаще и маленьком капоре с пером, и дяди в сутане, с широкой шелковой лентой вокруг обширной талии и с золотым крестом на золотой цепи, болтавшимся у него на животе.

— Не забудь, Уилли, ты должен вести себя хорошо. Не вертись и сиди как следует. В доме господнем не подобает разваливаться на скамье. Тебе следует помнить, что нужно подавать пример другим мальчикам, которые не получили такого воспитания.

Когда я приехал в Ферн-Корт, миссис Дриффилд и Рой гуляли в саду и, как только я вышел из машины, подошли ко мне.

— Я показывала Рою свои цветы,— сказала миссис Дриффилд, подавая мне руку, а потом добавила со вздохом: — Это единственное, что у меня теперь осталось.

Она выглядела не старше, чем в последний раз, когда я ее видел, лет шесть назад. Свой траур она носила со спокойным достоинством. На шее у нее был белый шелковый воротничок, а на запястьях — такие же манжеты. Я заметил, что Рой надел к своему аккуратному синему костюму черный галстук — вероятно, в знак уважения к знаменитому покойнику.

— Я только покажу вам свои цветочные бордюры,— сказала миссис Дриффилд,— а потом мы пойдем обедать.

Пока мы ходили по саду, Рой демонстрировал свои познания. Он с первого взгляда узнавал любой цветок, и латинские названия слетали у него с языка, как сигареты вылетают из заветочной машины. Он высказывал свое восхищение одними сортами и сообщал миссис Дриффилд, где она может достать другие, которые обязательно должна у себя завести.

— Пройдем через кабинет Эдуарда? — предложила миссис Дриффилд. — Я сохраняю его в точности таким, как при его жизни. Я ничего не меняла. Просто удивительно, сколько людей приезжает сюда посмотреть дом, и, конечно, все хотят видеть комнату, где он работал.

Мы вошли через открытую стеклянную дверь. На письменном столе красовалась ваза с розами, а на маленьком круглом столике у кресла — комплект «Спектэйтора». Трубки хозяина лежали в пепельницах, а чернильница была полна чернил. Вся обстановка была воспроизведена безоуко-

ризенно. Не знаю, почему комната казалась какой-то мертвой — в ней уже стояла музейная затхлость. Миссис Дриффилд подошла к книжным полкам и с полушутливой, полугрустной улыбкой быстро провела рукой по темно-синим корешкам нескольких томиков.

— Вы знаете, как высоко ценил Эдуард ваше творчество, — сказала миссис Дриффилд. — Он часто перечитывал ваши книги.

— Очень приятно об этом слышать, — ответил я вежливо.

Я прекрасно знал, что в последний мой приезд их тут не было, и, небрежно взяв одну из них, провел пальцами по верхнему обрезу, чтобы посмотреть, есть ли на нем пыль. Пыли не было. Потом я взял еще одну книгу — Шарлотту Бронте — и, продолжая разговор, проделал тот же эксперимент. Нет, пыли не было и здесь. Мне удалось узнать только то, что миссис Дриффилд — прекрасная хозяйка и что у нее добросовестная горничная.

Мы пошли обедать — эта была добрая английская трапеза, ростбиф и йоркширский пудинг, — и за столом говорили о работе, которой был занят Рой.

— Я хочу избавить дорогого Роя от лишнего труда, — сказала миссис Дриффилд, — и сама собираю весь материал, какой могу. Конечно, это не очень радостно, но зато интересно. Я разыскала множество старых фотографий, которые должна вам показать.

После обеда мы перешли в гостиную, и я опять обратил внимание на то, с каким удивительным тактом миссис Дриффилд ее обставила. Для вдовы видного писателя эта комната подходила чуть ли не лучше, чем для его жены. Дорогие ситцы, вазы с ароматными сухими лепестками, фигурки из дрезденского фарфора — все создавало какую-то неуловимую атмосферу печали; казалось, эти вещи погружены в раздумья о великом прошлом. День был холодный, и я с удовольствием погрелся бы у камина, но англичане не только привержены к традициям, но и выносливы, а придерживаться своих принципов за счет чужих удобств не так уж трудно. Вряд ли миссис Дриффилд могло бы прийти в голову растопить камин раньше первого октября.

Она спросила меня, видел ли я в последнее время ту даму, которая привела меня к Дриффилдам на обед, и по едва заметной резкости в ее тоне я сделал вывод, что после смерти ее знаменитого мужа высшее общество проявило явное нежелание иметь с ней дело.

Мы приступили к беседе о покойном; Рой и миссис Дриффилд искусно задавали вопросы, чтобы побудить меня выложить все, что я помню, а я держался настороже, чтобы по неосторожности не сболтнуть что-нибудь такое, что решил держать при себе,— как вдруг аккуратная горничная принесла на небольшом подносе две визитные карточки.

— Два джентльмена на машине, мэм, спрашивают, нельзя ли им посмотреть дом и сад.

— Какая тоска! — воскликнула миссис Дриффилд, но в голосе ее прозвучала необыкновенная готовность. — Забавно, правда? Я ведь только что говорила вам о людях, которые хотят посмотреть дом. У меня нет ни минуты покоя.

— Так почему бы не сказать, что вы просите прощения, но не можете их принять? — спросил Рой, как мне показалось, не без ехидства.

— О, это невозможно. Эдуард этого бы не одобрил.

Она взглянула на карточки.

— У меня нет при себе очков.

Она протянула карточки мне. На одной я прочел: «Генри Бэрд Мак-Дугал, Университет штата Виргиния», и карандашом было приписано: «Преподаватель кафедры английской литературы». На другой стояло: «Жан-Поль Андерхилл», и внизу нью-йоркский адрес.

— Американцы, — сказала миссис Дриффилд. — Скажите, что я буду очень рада, если они зайдут.

Вскоре горничная ввела незнакомцев. Это были высокие широкоплечие молодые люди с тяжелыми, бритыми, смуглыми лицами и приятными глазами; оба носили роговые очки и зачесывали назад густые черные волосы. На обоих были английские костюмы — явно с иголки; оба несколько стеснялись, но оказались разговорчивыми и крайне вежливыми. Они объяснили, что совершают литературную поездку по Англии, и, будучи почитателями Эдуарда Дриффилда, взяли на себя смелость по пути в Рай, где собирались посетить дом Генри Джеймса, остановиться здесь в надежде, что им будет позволено увидеть место, с которым связано так много ассоциаций. Это упоминание о Рае не очень понравилось миссис Дриффилд.

— Кажется, там очень хорошие площадки для гольфа, — сказала она.

Она познакомила американцев с Роем и со мной. Рой меня просто восхитил: он проявил себя с самой лучшей стороны. Оказалось, что он читал лекции в Университете

штата Виргиния и жил у одного видного тамошнего ученого, о чем навсегда сохранил приятнейшие воспоминания. Он не знает, что произвело на него большее впечатление: щедрое гостеприимство, которое оказали ему эти очаровательные виргинцы, или же их глубокий интерес к искусству и литературе. Он спросил, как поживают такой-то и такой-то; он завел там несколько друзей на всю жизнь и встречался, похоже, только с хорошими, умными и добрыми людьми. Вскоре молодой преподаватель уже рассказывал, как ему нравятся книги Роя, а Рой скромно объяснял ему, какие цели ставил перед собой в той или другой из них и как хорошо видит, насколько далек оказался от их осуществления. Миссис Дриффилд слушала, сочувственно улыбаясь, но мне показалось, что ее улыбка стала чуточку натянутой. Может быть, так показалось и Рою, потому что он внезапно прервал свою речь.

— Но я не хочу надоедать вам со своей писаниной,— сказал он, как всегда, громко и добродушно.— Я здесь только потому, что миссис Дриффилд доверила мне великую честь создания биографии Эдуарда Дриффилда.

Это, разумеется, очень заинтересовало гостей.

— Поверьте, это прорва работы,— сказал Рой, шутливо свернув чисто американское словцо.— К счастью, мне помогает миссис Дриффилд, которая была не только идеальной женой, но и великолепным личным секретарем; материалы, которые она предоставила в мое распоряжение, так удивительно полны, что мне на самом деле почти ничего не остается, кроме как воспользоваться ее трудолюбием и ее... ее искренним рвением.

Миссис Дриффилд скромно потупилась, а оба молодых американца обратили к ней свои большие темные глаза, в которых можно было прочесть сочувствие, интерес и уважение. Поговорив еще немного — отчасти о литературе, а отчасти все-таки о гольфе (гости признались, что в Рае надеются разок-другой сыграть, и тут Рой снова оказался на высоте, посоветовал им не зевать на такой-то и такой-то лунке и выразил надежду, что, вернувшись в Лондон, они сыграют с ним в Санингдейле), — миссис Дриффилд встала и предложила показать им кабинет и спальню Эдуарда и, конечно, сад. Рой поднялся, очевидно, собираясь сопровождать их, но миссис Дриффилд слегка улыбнулась ему — ласково, но решительно.

— Не трудитесь, Рой,— сказала она.— Я проведу их. А вы останьтесь и поговорите с мистером Эшенденем.

— О, хорошо. Конечно.

Гости попрощались с нами, и мы с Роем опять уселись в ситцевые кресла.

— Приятная комната,— сказал Рой.

— Очень.

— Эми это нелегко досталось. Вы знаете, старик купил этот дом за два-три года до того, как они поженились. Она пыталась уговорить его продать дом, но он не хотел. Он иногда бывал очень упрям. Видите ли, дом когда-то принадлежал некой мисс Вулф, у которой его отец служил управляющим, и он говорил, что еще мальчишкой только и мечтал сам владеть этим домом, и теперь, когда его приобрел, с ним не расстанется. Можно было бы ожидать, что ему меньше всего захочется жить в таком месте, где все знали о его скромном происхождении и обо всем прочем. Как-то бедняжка Эми чуть было не наняла одну горничную, и вдруг оказалось, что это внучатая племянница Эдуарда. Когда Эми сюда приехала, дом был от подвала до чердака обставлен в наилучших традициях Тоттенхэм-Корт-роуд: вы себе представляете — турецкие ковры, шкафы красного дерева, плюшевый гарнитур в гостиной и современные инкрустации. Он был убежден, что дом джентльмена должен выглядеть именно так. Эми говорит, что это было просто ужасно. Он не давал ей ничего менять, и ей пришлось браться за дело с чрезвычайной осторожностью; она говорит, что просто не могла бы жить в таком доме и твердо решила привести его в приличный вид, но заменять вещи ей пришлось по одной, чтобы Дрифилд ничего не заметил. Она говорила, что труднее всего было с его письменным столом. Не знаю, обратили ли вы внимание на тот, который сейчас стоит у него в кабинете. Очень хороший старинный стол, я бы сам от такого не отказался. Так вот, прежде у него было ужасное американское бюро с задвижной крышкой. Он пользовался им уже много лет, написал за ним десяток книг и слышать не хотел о том, чтобы с ним расстаться. В мебели он ничего не понимал, а к бюро был привязан просто потому, что оно у него так долго стояло. Обязательно попросите Эми рассказать, как она в конце концов от этого бюро избавилась. Великолепная история. Знаете, это удивительная женщина — она почти всегда добивается своего.

— Я уже заметил,— сказал я. Она очень быстро отделалась от Роя, когда тот проявил желание сопровождать гостей по дому. Рой взглянул на меня и рассмеялся. Он всегда был неглуп.

— Вы не знаете американцев так, как я,— сказал он.— Они всегда предпочитают живую мышь мертвому льву. Это одна из причин, почему я люблю Америку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Когда миссис Дриффилд, спровадив пилигримов, вернулась, у нее под мышкой был портфель.

— Какие милые молодые люди! — сказала она. — Вот бы английской молодежи так интересоваться литературой. Я подарила им тот снимок Эдуарда, где он в гробу, а они попросили мою фотографию, и я им ее надписала.

Потом она очень любезно заметила:

— Вы, Рой, произвели на них большое впечатление. Они сказали, что были очень рады познакомиться с вами.

— Я прочел в Америке много лекций, — скромно сказал Рой.

— Да, но они знают ваши книги. Они говорят, больше всего им нравится то, что ваши книги такие мужественные.

В портфеле хранилось множество старых фотографий: группы школьников, среди которых я узнал в растрепанном мальчишке Дриффилда только после того, как на него указала вдова; команды регбистов, где Дриффилд был уже немного постарше, и одна фотография молодого матроса в фуфайке и бушлате — это был Дриффилд, когда он убежал из дома.

— Вот это он снимался, когда в первый раз женился, — сказала миссис Дриффилд.

Его украшали борода и брюки в белую и черную клетку; в петлице у него была большая белая роза на фоне листьев папоротника, а рядом на столе лежал цилиндр.

— А вот и новобрачная, — сказала миссис Дриффилд, стараясь сдержать улыбку.

Бедняжка Розы, запечатленная деревенским фотографом больше сорока лет назад, выглядела нелепо. Она стояла в неловкой позе на фоне какого-то замка, держа в руках большой букет; складки на ее платье с перехватом в талии были тщательно расправлены, а сзади был турнюр. Челка спускалась до самых глаз. На голове у нее поверх высокой прически был приколот веночек из флердоранжа, от него спускалась назад длинная фата. Только я знал, как она, наверное, была прелестна.

— На вид она страшно вульгарна, — сказал Рой.

— Такой она и была, — подтвердила миссис Дриффилд.

Мы увидели еще много портретов Эдуарда: фотографии, снятые, когда он начал пользоваться известностью, снимки с усами и более поздние, без усов и бороды. Его лицо понемногу худело, на нем появлялись морщины. Упрямая банальность ранних портретов постепенно переходила

в усталую утонченность. Было видно, как изменяют его жизненный опыт, раздумья и успех. Я снова взглянул на фотографию молодого матроса, и мне показалось, что я уже вижу в ней намек на ту отчужденность, которая так бросилась мне в глаза на более поздних фотографиях и которую я смутно ощутил в нем самом много лет назад. Его лицо было просто маской, а поступки не имели никакого значения. Мне подумалось, что подлинная его душа, до самой смерти не распознанная и одинокая, безмолвной тенью сопровождала видимые всем фигуры — автора, написавшего его книги, и человека, прожившего его жизнь, — посмеиваясь с ироническим безразличием над этими двумя марионетками, которые мир принимал за Эдуарда Дриффилда. Я понимаю, что мне не удалось показать его живым человеком из плоти и крови, цельным, с понятными побуждениями и логически оправданными действиями; да я и не пытаюсь — с радостью предоставляю это более ловкому перу Элроя Кира.

Мне попались фотографии Розы, снятые тем актером — Гарри Ретфордом, а потом снимок с его портрета, который написал Лайонел Хильер. У меня сжалось сердце. Вот такой я ее помнил лучше всего. Несмотря на старомодное платье, она казалась живой, трепетала от наполнявшей ее страсти и как будто была готова уступить любовному натиску.

— Похоже, что она была девица в теле, — заметил Рой.

— Да, если такие молочницы в вашем вкусе, — ответила миссис Дриффилд. — Мне она всегда напоминала белую негритянку.

Именно так ее любила называть миссис Бартон Траффорд — толстые губы и широкий нос Розы, к сожалению, придавали этой характеристике некоторое правдоподобие. Но они не знали, какие серебристо-золотые были у нее волосы и какая золотисто-серебряная кожа; они не знали и ее чарующей улыбки.

— Ничуть она не была похожа на белую негритянку, — возразил я. — Она была непорочна, как заря. Она была похожа на Гебу. Она была как чайная роза.

Миссис Дриффилд улыбнулась и многозначительно переглянулась с Роем.

— Миссис Бартон Траффорд мне много о ней рассказывала. Я не хочу злословить, но боюсь, что мне она представляется не такой уж хорошей женщиной.

— Вот тут вы и ошибаетесь, — ответил я. — Она была очень хорошей женщиной. Я никогда не видел ее в плохом

настроении. Достаточно было сказать ей, что вы чего-то хотите, как она готова была вам это отдать. Я никогда не слышал, чтобы она о ком-нибудь плохо отзывалась. У нее было золотое сердце.

— Она была ужасная неряха: дома всегда беспорядок, стулья такие пыльные, что страшно садиться, а в углы лучше не заглядывать. И сама она была такая же. Никогда не могла аккуратно надеть платье, вечно сбоку на два дюйма выглядывала нижняя юбка.

— Она не придавала таким вещам большого значения. Они не делали ее менее красивой. И она была столь же добра, как и красива.

Рой расхохотался, а миссис Дриффилд поднесла руку ко рту, чтобы скрыть улыбку.

— О, мистер Эшенден, вы уж слишком. В конце концов, будем называть вещи своими именами — ведь она была нимфоманкой.

— По-моему, это очень глупое слово, — сказал я.

— Ну хорошо, скажем иначе — вряд ли она была такая уж хорошая женщина, если могла так поступать с бедным Эдуардом. Конечно, все вышло к лучшему: если бы она не сбежала от него, ему пришлось бы нести крест до конца своих дней, и с этим бременем он никогда не достиг бы такого положения. Но факт остается фактом: она изменяла ему на каждом шагу. Я слышала, что это было совершенно распутное создание.

— Вы не понимаете, — сказал я. — Она была очень простая женщина. У нее были здоровые и непосредственные инстинкты. Она любила делать людей счастливыми. Она любила любовь.

— Вы называете это любовью?

— Ну хорошо, акт любви. Она была страстной по натуре. Если ей кто-то нравился, для нее было вполне естественно спать с ним. Она об этом даже не задумывалась. Это был не порок и не распущенность — это была ее природа. Она отдавалась так же естественно, как солнце излучает тепло, а цветы — аромат. Это не сказывалось на ее характере: она оставалась искренней, неиспорченной и бесхитростной.

У миссис Дриффилд был такой вид, будто она проглотила ложку касторки и теперь, пытаясь избавиться от ее вкуса, сосет лимон.

— Я этого не понимаю, — сказала она. — Но должна признаться, я никогда не понимала, что Эдуард в ней находил.

— А он знал, что она путается с кем попало? — спросил Рой.

— Уверена, что не знал, — быстро ответила она.

— Вы считаете его бóльшим дураком, чем я, миссис Дриффилд, — сказал я.

— Тогда почему он с этим мирился?

— Думаю, что это я могу объяснить. Видите ли, она была не из таких женщин, которые внушают к себе любовь. Только привязанность. Ее было глупо ревновать. Она была как чистый глубокий родник на лесной поляне — в него божественно приятно окунуться, но он не становится менее прохладным и прозрачным от того, что до вас в нем купались и бродяга, и цыган, и лесник.

Рой снова засмеялся, и на этот раз миссис Дриффилд не скрывала натянутой улыбки.

— Вы очень комичны в таком лирическом настроении, — сказал Рой.

Я подавил вздох. Я заметил, что люди обычно смеются надо мной как раз тогда, когда я серьезнее всего, и в самом деле, перечитывая через некоторое время отрывки, написанные мной от всего сердца, я сам испытываю побуждение смеяться над собой. Наверное, в откровенном чувстве есть что-то нелепое, хотя я не могу себе представить, почему это так, если только сам человек, эфемерный обитатель крохотной планетки, со всеми его горестями и стремлениями, не есть всего лишь шутка вечного разума.

Я видел, что миссис Дриффилд хочет меня о чем-то спросить, и это повергает ее в некоторое замешательство.

— А как вы думаете, принял бы он ее, если бы она захотела вернуться?

— Вы знали его лучше, чем я. По-моему, нет. Я думаю, что, испытав какое-то чувство, он терял интерес к человеку, это чувство вызвавшему. Я бы сказал, что бурные порывы эмоций странно сочетались у него с крайней бессердечностью.

— Не понимаю, как вы можете так говорить, — вскричал Рой. — Это был добрейший человек из всех, кого я знал!

Миссис Дриффилд посмотрела мне в глаза и потупила взгляд.

— А интересно, что случилось с ней после того, как она уехала в Америку, — сказал Рой.

— По-моему, она вышла замуж за Кемпа, — сказала миссис Дриффилд. — Я слышала, что они жили под другой фамилией. Конечно, здесь они больше не показывались.

— Когда она умерла?

— О, лет десять назад.

— Откуда вы знаете? — спросил я.

— От Гарольда Кемпа, его сына; у него какое-то дело в Мейдстоне. Эдуарду я ничего не говорила. Для него она умерла уже много лет назад, и я не видела никакого смысла напоминать ему о прошлом. Всегда полезно поставить себя на место другого, и я сказала себе, что, будь я на его месте, я не хотела бы, чтобы мне напоминали о печальном эпизоде моей юности. Ведь я была права?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Миссис Дрифилд очень любезно предложила отправить меня назад в Блэкстебл на ее машине, но я предпочел идти пешком. Я обещал на следующий день пообедать в Ферн-Корте, а до тех пор набросать все, что смогу припомнить о тех двух периодах, когда часто виделся с Эдуардом Дрифилдом. Шагая по безлюдной извилистой дороге, я размышлял, что же мне написать. Разве не считается, что стиль — это искусство умолчания? Если это так, то я наверняка напишу прелестную вещицу — просто жаль, что Рой использует ее лишь как сырой материал. Я усмехнулся при мысли, как мог бы их ошарашить, если бы захотел. Я знал, что есть один человек, который мог бы рассказать все, что им было нужно, про Эдуарда Дрифилда и его первую женитьбу, — но я твердо решил ничего им об этом не говорить. Они думали, что Розы нет в живых. Но они ошибались: Розы была жива — живет некуда.

Как-то я поехал в Нью-Йорк, где ставили одну мою пьесу. Мой приезд был широко разрекламирован усилиями энергичного пресс-секретаря моего импресарио. Однажды я получил письмо. Адрес был написан знакомым почерком, но я не мог припомнить, кому он принадлежит. Крупные и округленные буквы, рука твердая, но непривычная много писать — я прекрасно знал этот почерк и очень досадовал, что не могу вспомнить, чей он. Разумнее всего было бы сразу распечатать письмо, но вместо этого я глядел на конверт и мучительно копался в памяти. Бывают почерки, которые я не могу видеть без тревожного содрогания, а некоторые письма выглядят такими нудными, что я по целым неделям не могу заставить себя их распечатать. Когда я наконец разорвал конверт, — то, что я прочел, вызвало у меня какое-то странное чувство. Письмо начиналось без всякого вступления:

«Я только что узнала, что вы в Нью-Йорке, и хотела бы с вами повидаться. Я теперь живу не в Нью-Йорке, но Йонкерс не так уж далеко, и на машине сюда вполне можно добраться за полчаса. Наверное, вы очень заняты, поэтому можете сами назначить время. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло много лет, но я надеюсь, что вы не забыли свою старую знакомую

Роз Иггалден (бывшую Дрифилд)».

Я взглянул на адрес. Там стояло «Албемарль» — очевидно, отель или доходный дом, потом была указана улица и город — Йонкерс. Озноб пробегал у меня по спине, как будто кто-то прошел над моей будущей могилой. За все эти годы я иногда думал о Розе, но в последнее время уверил себя, что она наверняка умерла. Некоторое время я размышлял над ее фамилией. Почему Иггалден, а не Кемп? Потом мне пришло в голову, что они взяли эту фамилию — тоже кентскую — когда бежали из Англии. Моим первым побуждением было изобрести какой-нибудь предлог и не встречаться с ней: я всегда стесняюсь встречаться с людьми, которых долгое время не видел. Но потом меня разобрало любопытство. Мне захотелось узнать, какая она сейчас, и услышать, как она жила. В конце недели я собирался в Доббз-Ферри и должен был проехать через Йонкерс, так что я написал в ответ, что найду часа в четыре в субботу.

«Албемарль» оказался огромным доходным домом, сравнительно новым и, судя по его виду, населенным состоятельными людьми. Негр-привратник доложил обо мне по телефону, другой повез меня на лифте наверх. Я необыкновенно нервничал. Дверь мне открыла негритянка-горничная.

— Пройдите, — сказала она. — Миссис Иггалден ждет вас.

Меня провели в гостиную, которая служила и столовой: в одном углу стоял квадратный дубовый стол, покрытый обильной резьбой, буфет и четыре стула того стиля, который мебельные фабриканты из Грэнд-Рэпидз наверняка называли эпохой Якова I. Зато в другом углу красовался гарнитур в стиле Людовика XV, с позолотой и светло-голубой камчатной обивкой; там было множество маленьких столиков с богатой резьбой и позолотой, на них стояли севрские вазы с украшениями из золоченой бронзы и полуобнаженные бронзовые женщины в одеждах, развевающихся, как на сильном ветру, и искусно прикрывающих те части тела,

которые не принято показывать; каждая из них держала в кокетливо простертой руке электрическую лампочку. Граммофон был великолепен — такие я видел только в витринах: весь позолоченный, в виде портшеза, разрисованный кавалерами и дамами на манер Ватто.

Я подождал минут пять, дверь отворилась, и быстро вошла Роза. Она протянула мне обе руки.

— Вот это сюрприз, — сказала она. — Ужас, сколько лет мы не виделись. Извините меня. — Она пошла к двери и крикнула: — Джесси, можешь принести чай. Смотри, чтобы вода как следует кипела.

Потом снова обратилась ко мне:

— Вы не представляете, сколько я мучилась с этой девицей, пока не научила ее как следует заваривать чай.

Роза было по меньшей мере семьдесят. На ней было очень шикарное, очень короткое зеленое шелковое платье без рукавов, обильно украшенное бриллиантами, с квадратным вырезом; оно обтягивало ее туго-натуго. Судя по ее фигуре, она носила резиновый корсет. У нее были кроваво-красные ногти и выщипанные брови. Она расплнела, подбородок у нее стал двойной; кожа на груди, несмотря на обильный слой пудры, была красноватая, как и лицо. Но она выглядела здоровой, крепкой и полной энергии. Ее волосы, такие же пышные, как и раньше, но совершенно седые, были коротко острижены и завиты. В молодости они у нее ложились мягкими, естественными волнами, и эти жесткие завитки, как будто только что из парикмахерской, больше всего изменили ее внешность. Единственное, что осталось прежним — улыбка: в ней сохранилась все та же детская, озорная прелесть. Зубы у Розы были когда-то неправильные и некрасивые; но теперь их заменили искусственные — абсолютно ровные и снежно-белые: они явно стоили больших денег.

Негритянка-горничная изящно накрыла стол к чаю, подав сэндвичи, домашнее печенье, конфеты, маленькие ножи и вилки, крохотные салфеточки. Все было очень аккуратно и шикарно.

— Никогда не могла обойтись без чая, — сказала Роза, беря горячую булочку с маслом. — А вот это я люблю больше всего, хоть и знаю, что нельзя. Мой доктор всегда говорит: «Миссис Иггалден, вы никогда не похудеете, если будете съедать за чаем по полдюжины булочек».

Она улыбнулась мне, и я вдруг почувствовал, что, несмотря на стриженные волосы, пудру и полноту, передо мной все та же прежняя Роза.

— Но я считаю так: чуточка лакомства не повредит.

Мне всегда было легко с ней говорить. Скоро мы уже болтали, как будто с нашей последней встречи прошло всего несколько недель.

— Вы удивились, когда получили мое письмо? Я подписалась «Дриффилд», чтобы вы знали, от кого оно. Мы взяли фамилию Иггалден, когда переехали в Америку. У Джорджа были кое-какие неприятности, когда он уезжал из Блэкстебла — вы, наверное, слышали, — и он решил, что на новом месте лучше начать под новым именем, понимаете?

Я кивнул.

— Бедный Джордж! Знаете, он умер десять лет назад.

— Очень печально.

— Ну, ведь он был уже старый. Ему перевалило за семьдесят, хоть по нему вы бы этого никак не сказали. Это был для меня большой удар. О таком муже женщина может только мечтать. Ни одного худого слова с самой свадьбы до того дня, когда он умер. И к тому же оставил меня вполне обеспеченной.

— Очень приятно слышать.

— Да, у него здесь дела пошли хорошо. Он занялся строительством — у него всегда была к этому склонность, — и связался с Таммани. Он всегда говорил: самой большой ошибкой в его жизни было то, что он не приехал сюда на двадцать лет раньше. Здесь ему понравилось с самого первого дня. Он всегда был полон энергии — а тут это и нужно. Как раз такие люди тут и процветают.

— А в Англии вы больше не были?

— Нет, никогда не стремилась. Джордж время от времени поговаривал, чтобы проехаться туда ненадолго, но мы так и не собрались, а теперь, когда его уже нет, мне и не хочется. Я думаю, Лондон показался бы мне скучноват после Нью-Йорка. Мы ведь жили в Нью-Йорке — сюда я переехала только после его смерти.

— А почему вы выбрали Йонкерс?

— Ну, мне он всегда нравился. Я говорила Джорджу: когда удалимся от дел, будем жить в Йонкерсе. Он для меня — как кусочек Англии. Мейдстон, или Гилфорд, или что-то в этом роде.

Я улыбнулся, но понял, что она имела в виду. Несмотря на трамваи и автомобильные гудки, несмотря на кинотеатры и электрические рекламы, Йонкерс с его извилистой главной улицей слегка напоминал свихнувшийся английский провинциальный город.

— Конечно, я иногда думала, что там подельвают в Блэкстебле. Скорее всего, сейчас их почти никого и в живых нет, да и они, наверное, тоже считают, что я умерла.

— Я не был там тридцать лет.

Я не знал тогда, что слух о смерти Розы дошел до Блэкстебла. Наверное, кто-нибудь привез известие о смерти Джорджа Кемпа, и вышла путаница.

— Здесь, наверное, никто не знает, что вы были первой женой Эдуарда Дриффилда?

— О нет! Что вы, если бы они знали, тут бы вокруг меня репортеры жужжали, как пчелы. Знаете, я еле удерживаюсь от смеха, когда где-нибудь играю в бридж и начинают говорить о книгах Теда. В Америке его обожают. Я сама никогда не была о нем такого высокого мнения.

— Но вы ведь не очень жаловали романы?

— Мне больше нравилась история, а теперь у меня на книги и времени не остается. Самый лучший день для меня — воскресенье: здесь замечательные воскресные газеты. В Англии нет ничего подобного. И потом я много играю в бридж — просто без ума от него.

Я вспомнил, что, когда мальчишкой впервые познакомился с Розой, меня поразило ее необыкновенное мастерство в висте. Я мог себе представить, как она играет в бридж, — быстро, смело и точно: хороший партнер и опасный противник.

— Вы бы удивились, если бы знали, какой тут поднялся шум, когда Тед умер. Я знала, что они его очень ценят, но никогда не думала, что он такая большая шишка. Газеты только о нем и писали и печатали его портреты и снимки Ферн-Корта: он всегда говорил, что когда-нибудь будет там жить. И что это он женился на той сиделке? Я всегда думала, что он женится на миссис Бартон Траффорд. У них так и не было детей?

— Нет.

— Тед хотел бы иметь детей. Для него был большой удар, что у меня после первых родов детей больше не будет.

— А я и не знал, что у вас был ребенок, — сказал я удивленно.

— Был. Потому Тед на мне и женился. Но мне пришлось очень тяжело, когда я рожала, и врачи сказали, что больше у меня ребенка не будет. Бедняжка, если бы она осталась жива, я бы, наверное, никогда не убежала с Джорджем. Ей было шесть лет, когда она умерла. Она была такая милая и красивая, как на картинке.

— Вы никогда о ней не говорили.

— Да, я о ней не могла говорить. Она заболела менингитом, и мы отвезли ее в больницу. Ее положили в отдельную палату, и нам разрешили оставаться с ней. Никогда не забуду, как она мучилась — кричала, кричала, кричала, и никто не мог ничего сделать.

Голос Розы прервался.

— Это ее смерть описал Дрифилд в «Чаше жизни»?

— Да. Я всегда этому удивлялась. Он тоже не мог об этом говорить, как я, а потом взял и все описал. Не забыл ни одну мелочь, даже те, что я тогда и не заметила, а вспомнила только потом. Можно подумать, что он был совсем бессердечный, но он не такой, ему было так же тяжело, как и мне. Когда мы ночью приходили домой, он плакал, как ребенок. Чудной человек, правда?

Это была та самая «Чаша жизни», которая вызвала такую бурю протеста, и именно смерть ребенка и следовавший за ней эпизод навлекли на Дрифилда особенно злобные нападки. Я очень хорошо помнил это описание. Оно было душераздирающим. В нем не было ничего сентиментального; оно вызывало у читателя не слезы, а скорее гнев при мысли, что такие жестокие страдания вынужден испытывать маленький ребенок. Невольно приходило в голову, что в Судный день господа богу придется держать ответ за такие вещи. Это был очень сильно написанный отрывок. Но если этот эпизод был взят из жизни, то не так ли было и с последующим? Он-то и шокировал больше всего публику девяностых годов, и его-то критики осуждали как не только непристойный, но и неправдоподобный. В «Чаше жизни» муж с женой (не помню теперь, как их звали) возвращаются из больницы после смерти ребенка — они бедные люди и живут в меблированных комнатах, едва сводя концы с концами. Они садятся пить чай. Уже поздно — около семи часов. Они измучены после целой недели непрерывной тревоги и потрясены своим несчастьем. Им нечего сказать друг другу. Они сидят молча, погруженные в горе. Проходят часы. Потом жена вдруг встает, идет в спальню и надевает шляпку.

«Пойду пройдуся», — говорит она.

«Ладно».

Они живут около вокзала Виктория. Она проходит по Бекингем-Палас-роуд, через парк, выходит на Пикадилли и медленно идет к площади. Какой-то мужчина перехватывает ее взгляд, останавливается и поворачивается к ней.

«Добрый вечер», — говорит он.

«Добрый вечер».

Она останавливается и улыбается.

«Не хотите ли зайти выпить?» — спрашивает он.

«Ничего не имею против».

Они заходят в кабачок в одном из переулков Пикадилли, где собираются продажные женщины и куда за ними приходят мужчины, и выпивают по стакану пива. Она болтает и смеется с незнакомцем, рассказывает ему о себе вымышленную историю. Вскоре он спрашивает, нельзя ли им пойти к ней. Нет, отвечает она, нельзя, но она может пойти с ним в гостиницу. Они садятся на извозчика и едут в Блумсбери, где снимают на ночь комнату. А на следующее утро она на автобусе доезжает до Трафальгар-сквер и идет через парк. Когда она приходит домой, муж как раз садится завтракать. После завтрака они снова идут в больницу, чтобы заняться устройством похорон.

— Скажите мне вот что, Роза, — начал я. — То, что случилось в книге после смерти ребенка, — и это произошло на самом деле?

Мгновение она нерешительно смотрела на меня; потом на ее губах появилась та же, все еще прелестная улыбка.

— Ну, это было столько лет назад, так что какая разница? Так и быть, скажу. Он немного напутал. Ведь это были только его догадки. Я удивилась, что он и это-то знал: я никогда ничего ему не говорила.

Роза взяла сигарету и задумчиво постучала кончиком по столу, но не закурила.

— Мы пришли из больницы точно, как он написал. Мы шли пешком: я чувствовала, что не смогу усидеть на извозчике, и у меня все внутри было как мертвое. Я столько плакала, что уже больше не могла, и очень устала. Тед пробовал меня утешать, но я сказала: «Ради бога, замолчи». После этого он не промолвил ни слова. Мы тогда жили в комнатах на Воксхолл-Бридж-роуд, на третьем этаже — всего только гостиная и спальня, вот почему нам пришлось отдать бедную малышку в больницу: мы не могли там за ней ухаживать. И потом хозяйка была против, да и Тед сказал, что в больнице девочке будет лучше. В общем неплохая была женщина эта хозяйка; когда-то она была проституткой, и Тед часами с ней болтал. Она услышала, что мы вернулись, и поднялась к нам. «Ну, как сегодня девочка?» — спросила она. «Умерла», — ответил Тед, а я и слова не могла сказать. Тогда она принесла нам чаю. Я ничего не хотела, но Тед заставил меня съесть немного ветчины. Потом я села у окошка. Я не оглянулась, когда хозяйка пришла убрать со стола: мне не хотелось ни с кем говорить.

Тед читал книгу; по крайней мере, делал вид, что читает, но ни разу не перевернул страницу, и я видела, как на нее капали слезы. Я все смотрела в окно. Был конец июня, двадцать восьмое число, и дни стояли долгие. Мы жили недалеко от угла, и я смотрела, как люди входят в закусную и выходят и как взад-вперед ездят трамваи. Я думала, этот день никогда не кончится, а потом вдруг заметила, что уже вечер. Все фонари горели, на улице было множество людей. Я чувствовала такую усталость, и ноги у меня как свинцом налились. «Почему ты не зажжешь газ?» — спросила я Теда. «Зажечь?» — спросил он. «Что толку сидеть в темноте?» — сказала я. Он зажег газ и закурил трубку. Я знала, что это ему помогает. А я просто сидела и смотрела на улицу. Не могу понять, что на меня тогда нашло. Я почувствовала, что сойду с ума, если буду сидеть в этой комнате. Я захотела пойти куда-нибудь, где светло и много народу. Я хотела уйти от всего, что Тед думал и чувствовал. У нас было только две комнаты. Я пошла в спальню; там все еще стояла девочкина кроватка, но я не могла на нее смотреть. Я надела шляпку и вуаль и переоделась, а потом вернулась к Теду. «Пойду пройдуся», — сказала я. Тед посмотрел на меня. По-моему, он заметил, что я надела свое новое платье, и, может быть, по тому, как я это сказала, он понял, что без него мне будет лучше. «Ладно», — сказал он. В книге он заставил меня идти через парк, но на самом деле было не так. Я дошла до вокзала Виктория и на извозчике доехала до Черинг-Кросс. Это стоило всего шиллинг. Потом я пошла по Стрэнду. Что я буду делать — это я придумала еще до того, как вышла на улицу. Вы помните Гарри Ретфорда? Так вот, он тогда играл в театре «Эделфи», он был там второй комик. Ну, я подошла к служебному входу и передала ему, что я здесь. Гарри Ретфорд мне всегда нравился. По-моему, он был не очень щепетилен и всегда довольно-таки свободно относился ко всяким денежным делам, но он всегда умел рассмешить и при всех его недостатках был на редкость хороший человек. Вы знали, что его убили на бурской войне?

— Нет, не знал; знал только, что он исчез, и никто не видел больше его имени на афишах. Я думал, может быть, он занялся каким-нибудь бизнесом или чем-то в этом роде.

— Нет, он сразу пошел на войну. Его убили под Ледисмитом. Я подождала немного, потом он спустился, и я сказала: «Гарри, давай сегодня гульнем. Как насчет ужина у Романо?» — «Хорошая идея», — сказал он. — Подожди

здесь, как только спектакль кончится, я разгримируюсь и спущусь». Мне стало легче уже от того, что я его увидела; он играл бегового жучка, и мне было смешно даже просто смотреть на него в этом клетчатом костюме и шляпе набекрень, с красным носом. Ну, я подождала до конца спектакля, потом он вышел, и мы отправились в «Романо». «Хочешь есть?» — спросил он меня. «Умираю с голоду», — ответила я, да так оно и было. «Закажем все самое лучшее, — сказал он, — и наплевать на расходы. Я сказал Биллу Террису, что иду ужинать со своей любимой девушкой, и стрельнул у него пару фунтов». — «Давай выпьем шампанского», — говорю я. «Да здравствует вдовушка!» — говорит он. Не знаю, бывали ли вы в старину у Романо. Там было замечательно. Все актеры туда ходили, и публика со скачек, и девушки из «Гэйти». Хорошее было место. И потом сам Романо — Гарри знал его, и он подошел к нашему столику. Обычно он говорил на смешном ломаном английском, я думаю, притворялся, потому что знал, что это смешно. А если кто-нибудь из его знакомых оказывался на мели, всегда давал пятерку взаймы. «Как малышка?» — спросил Гарри. «Лучше», — сказала я. Я не хотела говорить ему правду. Вы знаете, какие странные эти мужчины: есть такие вещи, которых они не понимают. Я уверена, Гарри подумал бы, что это ужасно: что я пошла с ним ужинать, когда бедная девочка лежит в больнице мертвая. Он очень сочувствовал бы и все такое, но мне не это нужно было: я хотела смеяться.

Рози закурила сигарету, которую вертела в руках.

— Знаете, иногда, когда женщина рождает, муж не выдерживает, идет и берет какую-нибудь другую женщину. Потом, когда она об этом узнает, а она узнает до странности часто, она устраивает ужасные сцены, говорит, как это можно, чтобы человек сделал такую вещь, когда ей так плохо, и что это невозможно стерпеть. А я всегда говорю, что нечего быть дурочкой. Это не значит, что он ее не любит и за нее не переживает: ничего это не значит — просто нервы. Если бы он не переживал, ему ничего такого и в голову бы не пришло. Я знаю, потому что именно так я тогда себя чувствовала. Когда мы кончили ужинать, Гарри сказал: «Ну, что дальше?» — «А что дальше?» — спросила я. В те времена никаких танцулек не было, и пойти было некуда. «А что, если зайти ко мне посмотреть фотографии?» — говорит Гарри. «Почему бы и нет», — говорю я. У него была крохотная квартирка на Чэринг-Кросс-роуд — две комнаты, ванная и маленькая кухонька, мы поехали туда, и я осталась

там на ночь. Когда я утром вернулась домой, завтрак был уже готов и Тед только что сел за стол. Я решила про себя, что, если он скажет хоть слово, я ему устрою скандал. Мне было все равно, что будет дальше. Я и раньше зарабатывала на жизнь и была готова делать это снова. Я бы в два счета собрала вещи и тут же от него бы ушла. Но он только взглянул на меня. «Как раз вовремя,— говорит.— Я только что собирался съесть твою сосиску». Я села и налила ему чаю, а он продолжал читать газету. Позавтракали мы и пошли в больницу. Он так и не спросил, где я была. Не знаю, что он об этом думал. Он все то время был ко мне ужасно добр. Я чувствовала себя совершенно несчастной, и мне казалось, что я не смогу это пережить, а он делал все, что мог, чтобы мне было легче.

— И что вы подумали, когда прочитали книгу? — спросил я.

— Ну, когда я увидела, что он почти все знает про ту ночь, мне стало не по себе. Но что меня больше всего удивило — это то, что он вообще об этом написал. Я думала — чего-чего, а уж этого он в книгу не вставит. Странные вы люди, писатели.

Тут зазвонил телефон. Розы сняла трубку.

— О, мистер Вануцци, как мило с вашей стороны, что вы позвонили! Дела идут хорошо, спасибо. Ну, и сама хороша, если вам так угодно. В моем возрасте лишним комплиментом не брезгуют.

Она углубилась в разговор, который, судя по ее тону, носил шуточный и отчасти игривый характер. Я не очень вслушивался и, так как разговор оказался долгий, погрузился в размышления о жизни писателя. Она полна испытаний. Сначала ему приходится терпеть нужду и равнодушие; потом, достигнув кое-какого успеха, он должен безропотно принимать все капризы судьбы, которые с этим связаны. Он целиком зависит от ветреной публики. Он отдан на милость журналистов, которые хотят брать у него интервью, и фотографов, которые хотят его фотографировать; на милость редакторов, которые выколачивают из него рукописи, и сборщиков налогов, которые выколачивают из него подходящий налог; на милость высокопоставленных персон, которые приглашают его на обед, и секретарей всяких обществ, которые приглашают его читать лекции; на милость женщин, которые хотят выйти за него замуж, и женщин, которые хотят с ним развестись; на милость юнцов, которые норовят получить у него роль, и незнакомцев, которые норовят получить у него денег взаймы; на милость слово-

обильных леди, которые просят совета в своих семейных делах, и серьезных молодых людей, которые просят ответа в своих литературных поисках; на милость агентов, издателей, антрепренеров, зануд, читателей, критиков и своей собственной совести. Но есть у него одно возмещение. Что бы ни лежало у него на сердце — тревожные мысли, скорбь о смерти друга, безответная любовь, уязвленное самолюбие, гнев на измену человека, к которому он был добр, короче — какое бы чувство или какая бы мысль его ни смущали — ему достаточно лишь записать это чувство или эту мысль черным по белому, использовать как тему рассказа или как украшение очерка, чтобы о них забыть. Писатель — единственный на свете свободный человек.

Рози положила трубку и повернулась ко мне.

— Это один из моих кавалеров. Я вечером иду играть в бридж, и он позвонил сказать, что заедет за мной на своей машине. Он, конечно, итальяшка, но очень мил. У него была большая бакалейная лавка в Нью-Йорке, но сейчас он отошел от дел.

— А вы никогда не думали еще раз выйти замуж?

— Нет.

Она улыбнулась.

— Не то чтобы мне не делали предложений. Мне просто и так хорошо. Я на это вот как смотрю: за старика я выходить не хочу, а выйти за молодого в мои годы было бы глупо. Я славно пожила в свое время, и хватит с меня.

— А почему вы бежали с Джорджем Кемпом?

— Ну, он мне всегда нравился. Я ведь знала его задолго до того, как познакомилась с Тедом. Конечно, я никогда не думала, что мне удастся выйти за него замуж. Во-первых, он уже был женат, а потом ему нужно было думать о своем положении. А когда он в один прекрасный день пришел и сказал, что все пропало, что он разорен и вот-вот будет приказ о его аресте, и что он едет в Америку, и не поеду ли я с ним, — что ж я могла поделать? Не могла же я его отпустить в такую даль одного, может быть, без денег, — ведь он всегда был такой важный, жил в собственном доме и ездил в собственной тележке. Работать-то я не боялась.

— Я иногда думаю, что только его одного вы и любили, — предположил я.

— Пожалуй, отчасти так и есть.

— Не могу понять, что вы в нем такого нашли?

Взгляд Рози упал на портрет на стене, которого я почему-то до сих пор не заметил. Это была увеличенная

фотография Лорда Джорджа в резной позолоченной рамке. Судя по внешности, он снялся вскоре после переезда в Америку — возможно, когда они поженились. Он был изображен по колено, в длинном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и цилиндре, лихо сдвинутом набекрень. В петлице у него красовалась крупная роза, под мышкой он держал трость с серебряным набалдашником, а в правой руке — большую дымящуюся сигару. У него были густые усы с нафабранными концами, нахальный взгляд, и выглядел он высокомерным и важным. Его галстук был заколот булавкой в виде подковы, усыпанной бриллиантами. Он походил на трактирщика, который вырядился в свой лучший костюм, чтобы пойти на дерби.

— Я вам скажу, — ответила мне Роза. — Он всегда был такой образцовый джентльмен.

TEATR

Перевод Г. Островской

Theatre

1937

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дверь отворилась. Майкл Госселин поднял глаза. В комнату вошла Джулия.

— Это ты? Я тебя не задержу. Всего одну минутку. Только покончу с письмами.

— Я не спешу. Просто зашла посмотреть, какие билеты послали Деннорантам. Что тут делает этот молодой человек?

С безошибочным чутьем опытной актрисы приурочивая жест к слову, она указала движением изящной головки на комнату, через которую только что прошла.

— Это бухгалтер. Из конторы Лоренса и Хэмфри. Он здесь уже три дня.

— Выглядит очень юным.

— Он у них в учениках по контракту. Похоже, что дело свое знает. Поражен тем, как ведутся у нас бухгалтерские книги. Он не представлял себе, что можно поставить театр на деловые рельсы. Говорит, в некоторых фирмах счетные книги в таком состоянии, что поседеть можно.

Джулия улыбнулась, глядя на красивое лицо мужа, излучающее самодовольство.

— Тактичный юноша.

— Он сегодня кончает. Не взять ли его с собой перекусить на скорую руку? Он вполне хорошо воспитан.

— По-твоему, этого достаточно, чтобы приглашать его к ленчу?

Майкл не заметил легкой иронии, прозвучавшей в ее голосе.

— Если ты возражаешь, я не стану его звать. Я просто подумал, что это доставит ему большое удовольствие. Он

страшно тобой восхищается. Три раза ходил на последнюю пьесу. Ему до смерти хочется познакомиться с тобой.

Майкл нажал кнопку, и через секунду на пороге появилась его секретарша.

— Письма готовы, Марджори. Какие на сегодня у меня назначены встречи?

Джулия вполуха слушала список, который читала Марджори, и от нечего делать оглядывала комнату, хотя помнила ее до мелочей. Как раз такой кабинет и должен быть у антрепренера первоклассного театра. Стены были обшиты панелями (по себестоимости) хорошим декоратором, на них висели гравюры на театральные сюжеты, выполненные Зоффани и де Уайльдом. Кресла удобные, большие. Майкл сидел в чиппендейле¹ — подделка, но куплена в известной мебельной фирме, — его стол, с тяжелыми пузатыми ножками, тоже чиппендейл, выглядел необыкновенно солидно. На столе стояли ее фотография в массивной серебряной рамке и, для симметрии, фотография Роджера, их сына. Между ними помещался великолепный серебряный чернильный прибор, который она подарила как-то Майклу в день рождения, а впереди бювар из красного сафьяна с богатым золотым узором, где Майкл держал бумагу, на случай, если ему вздумается написать письмо от руки. На бумаге был адрес: «Сиддонс-театр», на конвертах эмблема Майкла: кабанья голова, а под ней девиз: «Nemo me impune lacessit»². Желтые тюльпаны в серебряной вазе, выигранной Майклом на состязаниях по гольфу среди актеров, свидетельствовали о заботливости Марджори. Джулия бросила на нее задумчивый взгляд. Несмотря на коротко стриженные, обесцвеченные перекисью волосы и густо покрашенные губы, у нее был бесполой вид, отличающий идеальную секретаршу. Она проработала с Майклом пять лет, должна была вдоль и поперек изучить его за это время. Интересно, хватило у нее ума не влюбиться в него?

Майкл поднялся с кресла.

— Ну, дорогая, я готов.

Марджори подала ему черную фетровую шляпу и распахнула дверь. Когда они вышли в контору, юноша, которого заметила, проходя, Джулия, обернулся и встал.

— Разрешите познакомить вас с мисс Лэмберт, — сказал Майкл. Затем добавил с видом посла, представляющего атташе царственной особе, при дворе которой он аккреди-

¹ Стиль английской мебели XVIII века.

² Никто не тронет меня безнаказанно (*лат.*).

тован: — Это тот джентльмен, который любезно согласился привести в порядок наши бухгалтерские книги.

Юноша залился ярким румянцем. На теплую улыбку Джулии, всегда бывшую у нее наготове, он ответил деревянной улыбкой. А сердечно пожав ему руку, она отметила, что ладонь его стала влажной от пота. Его смущение было трогательно. Так, верно, чувствовали себя те, кого представляли Саре Сиддонс¹. Джулия подумала, что не очень-то любезно ответила Майклу, когда он предложил позвать мальчика на ленч. Она посмотрела ему прямо в глаза своими огромными темно-кариими лучистыми глазами. Без всякого усилия, так же инстинктивно, как отмахнулась бы от докучавшей ей мухи, она вложила в голос чуть ироничное, ласковое радушие:

— Может быть, вы не откажетесь поехать с нами перекусить? Майкл привезет вас обратно после ленча.

Юноша опять покраснел, кадык на его тонкой шее судорожно дернулся.

— Это очень любезно с вашей стороны.— Он встревоженно осмотрел свой костюм.— Но я невероятно грязен.

— Вы сможете умыться и почиститься, когда приедете к нам.

Машина ждала у служебного входа: длинный черный автомобиль с хромированными деталями, сиденья обтянуты посеребренной кожей, эмблема Майкла скромно украшает дверцы. Джулия села сзади.

— Садитесь со мной. Майкл поведет машину.

Они жили на Стэнхоуп-плейс. Когда они приехали, Джулия велела дворецкому показать юноше, где он может помыть руки. Сама она поднялась в гостиную. В то время как она красила губы, появился Майкл.

— Я сказала ему, чтобы он шел сюда, как только будет готов.

— Между прочим, как его зовут?

— Понятия не имею.

— Милый, надо же нам знать. Я попрошу его расписаться в книге для посетителей.

— Слишком много чести.— Майкл просил расписываться только самых почетных гостей.— Мы видим его здесь в первый и последний раз.

В этот момент молодой человек появился в дверях. В машине Джулия приложила все старания, чтобы успокоить его, но он, видно, все еще робел. Их уже ждал коктейль,

¹ Сиддонс Сара (1755—1831) — знаменитая английская актриса.

Майкл разлил его по бокалам. Джулия вынула сигарету, и молодой человек зажег спичку, но рука его так сильно дрожала, что ей ни за что бы не удалось прикурить, поэтому она сжала ее своими пальцами.

«Бедный ягненок,— подумала Джулия,— верно, сегодня самый знаменательный день в его жизни. Будет на седьмом небе от счастья, когда начнет рассказывать об этом. Он станет героем в своей конторе, и все от зависти лопнут».

Язык Джулии сильно разнился, когда она говорила сама с собой и с другими людьми. С собой она не стеснялась в выражениях. Джулия с наслаждением сделала первую затяжку. Право же, если подумать, разве не удивительно, что ленч с ней и получасовой разговор придаст человеку столько важности, сделает его крупной персоной в его жалком кружке.

Юноша выдал из себя фразу:

— Какая потрясающая комната.

Джулия одарила его очаровательной улыбкой, слегка приподняв свои прекрасные брови, что он, наверное, не раз видел на сцене.

— Я очень рада, что она вам нравится.— Голос у нее был низкий и чуть хриловатый. По тону Джулии можно было подумать, что его слова сняли огромную тяжесть с ее души.— Мы в семье считаем, что у Майкла превосходный вкус.

Майкл самодовольно оглядел комнату.

— У меня такой богатый опыт. Я всегда сам придумываю интерьеры для наших пьес. Конечно, у нас есть человек для черновой работы, но идеи мои.

Они переехали в этот дом два года назад, и Майкл так же, как и Джулия, знал, что они отдали его в руки опытного декоратора, когда отправились в турне по провинции, и тот взялся полностью его подготовить к их приезду, причем бесплатно, за то, что они предоставят ему работу в театре, когда вернутся. Но к чему было сообщать эти скучные подробности человеку, даже имя которого было им неизвестно. Дом был отлично обставлен, в нем удачно сочетались антиквариат и модерн, и Майкл мог с полным правом сказать, что это, вне сомнения, дом джентльмена. Однако Джулия настояла на том, чтобы спальня была такой, как она хочет, и, поскольку ее абсолютно устраивала спальня в их старом доме в Ридженс-парк, где они жили с конца войны, она перевезла ее сюда всю целиком. Кровать и туалетный столик были обтянуты розовым шелком, кушетка и кресло — светло-голубым, который так

любил Натье;¹ над кроватью порхали пухлые позолоченные херувимы, держащие лампу под розовым абажуром, такие же пухлые позолоченные херувимы окружали гирляндой трюмо. На столе атласного дерева стояли в богатых рамках фотографии с автографами: актеры, актрисы и члены королевской фамилии. Декоратор презрительно поднял брови, но это была единственная комната в доме, где Джулия чувствовала себя по-настоящему уютно. Она писала письма за бюро из атласного дерева, сидя на позолоченном стуле.

Дворецкий объявил, что ленч подан, и они пошли вниз. — Надеюсь, вы не останетесь голодными, — сказала Джулия. — У нас с Майклом очень плохой аппетит.

И действительно: на столе их ждали жареная камбала, котлеты со шпинатом и компот. Эта еда могла утолить законный голод, но не давала потолстеть. Кухарка, предупрежденная Марджори, что к ленчу будет еще один человек, приготовила на скорую руку жареный картофель. Он выглядел хрустящим и аппетитно пахнул. Но ел его только гость. Майкл уставился на блюдо с таким видом, словно не совсем понимал, что там лежит, затем, чуть заметно вздрогнув, очнулся от мрачной задумчивости и сказал: нет, благодарю. Они сидели за длинным и узким обеденным столом, Джулия и Майкл на торцовых концах, друг против друга, в величественных итальянских креслах, молодой человек — посредине, на не очень удобном, но гармонирующем с прочей мебелью стуле. Джулия заметила, что он посматривает на буфет, и наклонилась к нему с обаятельной улыбкой.

— Вам что-нибудь нужно?

Он покраснел.

— Нельзя ли мне ломтик хлеба?

— Конечно.

Джулия бросила на дворецкого выразительный взгляд — он в этот момент как раз наливал белое сухое вино в бокал Майкла, — и тот вышел из комнаты.

— Мы с Майклом не едим хлеба. Джевонс сглупил, не подумав, что вам он может понадобиться.

— Разумеется, есть хлеб — это только привычка, — сказал Майкл. — Поразительно, как легко от нее отучаешься, если твердо решишь.

— Бедный ягненок, худой, как щепка, Майкл.

— Я отказался от хлеба не потому, что боюсь потолстеть. Я не ем его, так как не вижу в этом смысла. При моем моционе я могу есть все, что хочу.

¹ Натье Жан Марк (1685—1766) — французский портретист.

Для пятидесяти двух лет у Майкла была еще очень хорошая фигура. В молодости его густые каштановые волосы, чудесная кожа, большие синие глаза, прямой нос и маленькие уши завоевали ему славу первого красавца английской сцены. Только тонкие губы несколько портили его. Высокий — шести футов роста, — он отличался к тому же прекрасной осанкой. Столь поразительная внешность и побудила Майкла пойти на сцену, а не в армию — по стопам отца. Сейчас его каштановые волосы почти совсем поседели, и он стриг их куда короче, лицо стало шире, на нем появились морщины, кожа перестала напоминать персик, по щекам зазмеились красные жилки. Но благодаря великолепным глазам и стройной фигуре он все еще был достаточно красив. Проведя пять лет на войне, Майкл усвоил военную выправку, и, если бы вы не знали, кто он (что вряд ли было возможно, так как фотографии его по тому или другому поводу вечно появлялись в иллюстрированных газетах), вы бы приняли его за офицера высокого ранга. Он хвастал, что его вес сохранился таким, каким был в двадцать лет, и многие годы вставал в любую погоду в восемь часов утра, надевал шорты и свитер и бегал по Риджентс-парку.

— Секретарша сказала мне, что вы были на репетиции сегодня утром, мисс Лэмберт, — заметил юноша. — Вы собираетесь ставить новую пьесу?

— Отнюдь, — ответил Майкл. — Мы делаем полные сборы.

— Майкл решил, что мы немного разболтались, и назначил репетицию.

— И очень этому рад. Я обнаружил, что кое-где вкрались трюки, которых я не давал при постановке, и во многих местах актеры позволяют себе вольничать с текстом. Я очень педантичен в этих вопросах и считаю, что надо строго придерживаться авторского слова, хотя, видит бог, то, что пишут авторы в наши дни, немногого стоит.

— Если вы хотите посмотреть эту пьесу, — любезно сказала Джулия, — я уверена, Майкл даст вам билет.

— Мне бы очень хотелось пойти еще раз, — горячо сказал юноша. — Я видел спектакль уже три раза.

— Неужели? — изумленно воскликнула Джулия, хотя она прекрасно помнила, что Майкл ей об этом говорил. — Конечно, пьеска эта не так плоха, она вполне отвечает своему назначению, но я не представляю, чтобы кому-нибудь захотелось трижды смотреть ее.

— Я не столько ради пьесы, сколько ради вашей игры.

«Все-таки я вытянула из него это»,— подумала Джулия и добавила вслух:

— Когда мы читали пьесу, Майкл еще сомневался. Ему не очень понравилась моя роль. Вы знаете, по сути, это — не для ведущей актрисы. Но я решила, что сумею кое-что из нее сделать. Понятно, на репетициях вторую женскую роль пришлось сильно сократить.

— Я не хочу сказать, что мы заново переписали пьесу,— добавил Майкл,— но, поверьте, то, что вы видите сейчас на сцене, сильно отличается от того, что предложил нам автор.

— Вы играете просто изумительно,— сказал юноша. («А в нем есть свой шарм».)

— Рада, что я вам понравилась,— ответила Джулия.

— Если вы будете очень любезны с Джулией, она, возможно, подарит вам на прощанье свою фотографию.

— Правда? Подарите?

Он снова вспыхнул, его голубые глаза засияли. («А он и впрямь очень-очень мил».) Красивым юношу, пожалуй, назвать было нельзя, но у него было открытое прямодушное лицо, а застенчивость казалась даже привлекательной. Волнистые светло-каштановые волосы были тщательно приглажены, и Джулия подумала, насколько больше бы ему пошло, если бы он не пользовался бриллиантом. У него был свежий цвет лица, хорошая кожа и мелкие красивые зубы. Джулия заметила с одобрением, что костюм сидит на нем хорошо и он умеет его носить. Юноша выглядел чистеньким и славным.

— Вам, верно, раньше не приходилось бывать за кулисами? — спросила она.

— Никогда. Вот почему мне до смерти хотелось получить эту работу. Вы даже не представляете, что это для меня значит!

Майкл и Джулия благожелательно ему улыбнулись. Под его восхищенными взорами они росли в собственных глазах.

— Я никогда не разрешаю посторонним присутствовать на репетиции, но, поскольку вы теперь наш бухгалтер, вы вроде бы входите в труппу, и я не прочь сделать для вас исключение, если вам захочется прийти,— сказал Майкл.

— Это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Я еще ни разу в жизни не был на репетиции. А вы будете играть в новой пьесе, мистер Госселин?

— Нет, не думаю. Я теперь не очень-то стремлюсь играть. Почти невозможно найти роль на мое амплуа. Понимаете, в моем возрасте уже не станешь играть любовников, а авторы перестали писать роли, которые в моей юности

были в каждой пьесе. То, что французы называют «резонер». Ну, вы знаете, что я имею в виду — герцог, или министр, или известный королевский адвокат, которые говорят остроумные вещи и обводят всех вокруг пальца. Не понимаю, что случилось с авторами. Похоже, они вообще разучились писать. От нас ожидают, что мы построим здание, но где кирпичи? И вы думаете, они нам благодарны? Авторы, я хочу сказать. Вы бы поразились, если бы услышали, какие условия у них хватает наглости ставить!

— Однако факт остается фактом: нам без них не обойтись, — улыбнулась Джулия. — Если пьеса плоха, ее никакая игра не спасет.

— Все дело в том, что и публика перестала по-настоящему интересоваться театром. В великие дни расцвета английской сцены люди не ходили смотреть пьесы, они ходили смотреть актеров. Не важно, что играли Кембл или миссис Сиддонс. Публика шла, чтобы смотреть на их игру. И хотя я не отрицаю, если пьеса плоха, мы горим, все же, когда она хороша, даже теперь зрители приходят смотреть актеров, а не пьесу.

— Я думаю, никто с этим не станет спорить, — сказала Джулия.

— Такой актрисе, как Джулия, нужно одно — произведение, где она может себя показать. Дайте ей его, и она сделает все остальное.

Джулия улыбнулась юноше очаровательной, но чуть-чуть извиняющейся улыбкой.

— Не надо принимать моего мужа слишком всерьез. Боюсь, там, где дело касается меня, он немного пристрастен.

— Если молодой человек что-нибудь в этом смыслит, он должен знать, что в области актерского искусства ты можешь все.

— Я просто остерегаюсь делать то, чего не могу. Отсюда и моя репутация.

Но тут Майкл взглянул на часы.

— Ну, юноша, нам следует ехать.

Молодой человек проглотил залпом то, что еще оставалось у него в чашке. Джулия поднялась из-за стола.

— Вы не забыли, что обещали мне фотографию?

— Думаю, у Майкла в кабинете найдется что-нибудь подходящее. Пойдемте, вместе выберем.

Джулия провела его в большую комнату позади столовой. Хотя предполагалось, что это будет кабинет Майкла — «надо же человеку иметь место, где он может посидеть без помех и выкурить трубку», — использовали ее главным обра-

зом как гардеробную, когда у них бывали гости. Там стояло прекрасное бюро красного дерева, на нем фотографии Георга V и королевы Марии с их личными подписями. Над камином висела старая копия портрета Кембла в роли Гамлета кисти Лоренса. На столике лежала груда напечатанных на машинке пьес. По стенам шли книжные полки, закрытые снизу дверцами. Открыв дверцу, Джулия вынула пачку своих последних фотографий. Протянула одну из них юноше.

— Эта, кажется, не так плоха.

— Очаровательна.

— Значит, я здесь не настолько похожа, как думала.

— Очень похожи. В точности, как в жизни.

На этот раз улыбка ее была иной, чуть лукавой; Джулия опустила на миг ресницы, затем, подняв их, поглядела на юношу с тем мягким выражением глаз, которое поклонники называли ее бархатным взглядом. Она не преследовала этим никакой цели, сделала это просто механически, из инстинктивного желания нравиться. Мальчик был так молод, так робок, казалось, у него такой милый характер, и она никогда больше его не увидит, ей не хотелось, так сказать, остаться в долгу, хотелось, чтобы он вспоминал об этой встрече, как об одном из великих моментов своей жизни. Джулия снова взглянула на фотографию. Неплохо бы на самом деле выглядеть так. Фотограф посадил ее, не без ее помощи, самым выгодным образом. Нос у нее был слегка толстоват, но, благодаря искусному освещению, это совсем не заметно; ни одна морщинка не портила гладкой кожи, от взгляда ее прекрасных глаз невольно таяло сердце.

— Хорошо. Получайте эту. Вы сами видите, я не красивая и даже не хорошенькая. Коклен¹ всегда говорил, что у меня *beauté du diable*². Вы ведь понимаете по-французски?

— Для этого — достаточно.

— Я надпишу ее вам.

Джулия села за бюро и своим четким плавным почерком написала: «Искренне Ваша, Джулия Лэмберт».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда мужчины ушли, Джулия снова пересмотрела фотографии перед тем, как положить их на место.

«Неплохо для сорока шести лет, — улыбнулась она. — Я тут похожа, не приходится спорить. — Она оглянулась

¹ Коклен Бенуа Констан (1841—1909) — французский актер.

² Бесовская красота (*фр.*).

в поисках зеркала, но не нашла.—Чертовы декораторы. Бедный Майкл. Чего удивляться, что он редко здесь сидит. Конечно, я никогда не была особенно фотогенична».

У Джулии вдруг возникло желание взглянуть на старые снимки. Майкл был человек деловой и аккуратный. Все ее фотографии хранились в больших картонных коробках, в хронологическом порядке. Его собственные, также датированные, были в других коробках в том же шкафу.

— Когда кто-нибудь захочет написать историю нашей карьеры, весь материал будет под рукой,—говорил он.

С тем же похвальным намерением он с самого первого дня на сцене наклеивал все газетные вырезки в большие конторские книги, и их накопилась уже целая полка.

Там были детские карточки Джулии и снимки, сделанные в ранней юности; Джулия в первых своих ролях, Джулия—молодая замужняя женщина с Майклом, а затем с Роджером, тогда еще младенцем. Одна их фотография—Майкл, мужественный и неправдоподобно красивый, она сама, воплощенная нежность, и Роджер, маленький кудрявый мальчик,—имела колоссальный успех. Все иллюстрированные газеты отдали ей по целой странице; ее печатали на программках. Уменьшенная до размеров художественной открытки, она в течение многих лет продавалась в провинции. Так досадно, что, поступив в Итон, Роджер наотрез отказался фотографироваться вместе с матерью. Удивительно—не хотеть попасть в газеты!

— Люди подумают, что ты—урод или еще что-нибудь,—сказала она.—В этом нет ничего зазорного. Пойди на премьеру, посмотри, как все эти дамы и господа из общества толпятся вокруг фотографов, все эти министры, судьи и прочие. Они делают вид, будто им это ни к чему, но надо видеть, какие позы они принимают, когда им кажется, что фотограф нацелил на них объектив.

Однако Роджер стоял на своем.

На глаза Джулии попала ее фотография в роли Беатриче. Единственная шекспировская роль в ее жизни. Джулия знала, что плохо выглядит в костюмах той эпохи, хотя никогда не могла понять почему: никто лучше нее не умел носить современное платье. Она все шила себе в Париже—и для сцены, и для личного обихода; портнихи говорили, что ни от кого не получают столько заказов. Фигура у нее прелестная, все это признают: длинные ноги и, для женщины, довольно высокий рост. Жаль, что ей не выпало

случая сыграть Розалинду, ей бы очень пошел мужской костюм. Разумеется, теперь уже поздно, а может, и хорошо, что она не стала рисковать. Хотя при ее блеске, ее лукавом кокетстве и чувстве юмора она, наверное, была бы идеальна в этой роли. Критикам не очень понравилась ее Беатриче. Все дело в этом проклятом белом стихе. Ее голос, низкий, глубокий, грудной голос с такой эффектной хрипотцой, от которой в чувствительном пассаже у вас сжималось сердце, а смешные строки казались еще смешнее, совершенно не годился для белого стиха. Опять же, ее артикуляция: она всегда была настолько четка, что Джулии не приходилось нажимать, и так каждое слово слышно в последних рядах галерки; говорили, что из-за этого стихи звучат у нее как проза. Все дело в том, думала Джулия, что она слишком современна.

Майкл начал с Шекспира. Это было еще до их знакомства. Он играл Ромео в Кембридже, и после того, как, закончив университет, провел год в драматической школе, его ангажировал Бенсон¹. Майкл гастролировал по провинции и играл самые разные роли. Он скоро понял, что с Шекспиром далеко не уедешь и, если он хочет стать ведущим актером, ему надо научиться играть в современных пьесах. В Миддлпуле был театр с постоянной труппой и постоянным репертуаром, привлекавший к себе большое внимание; им заведовал некий Джеймс Лэнгтон. Проработав в труппе Бенсона три года, Майкл написал Лэнгтону, когда они собирались в очередную поездку в Миддлпул, и спросил, нельзя ли с ним повидаться. Джимми Лэнгтон, толстый, лысый, краснощекий мужчина сорока пяти лет, похожий на одного из зажиточных бургеров Рубенса, обожал театр. Он был эксцентричен, самонадеян, полон кипучей энергии, тщеславен и неотразим. Он любил играть, но его внешние данные годились для очень немногих ролей, и слава богу, так как актер он был плохой. Он не мог умерить присущую ему экспансивность, и, хотя внимательно изучал и обдумывал свою роль, все они превращались в гротеск. Он утрировал каждый жест, чрезмерно подчеркивал каждое слово. Но когда он вел репетицию с труппой — иное дело, тогда он не переносил никакой наигранности. Ухо у Джимми было идеальное, и хотя сам он и слова не мог произнести в нужной тональности, сразу замечал, если фальшивил кто-то другой.

¹ Бенсон Франк Роберт (1858—1939) — английский актер и режиссер, посвятивший себя постановке шекспировских пьес.

— Не *будьте* естественны,—говорил он актерам.— На сцене не место этому. Здесь все — притворство. Но извольте *казаться* естественными.

Джимми выжимал из актеров все соки. Утром, с десяти до двух, шли репетиции, затем он отпускал их домой учить роли и отдохнуть перед вечерним спектаклем. Он распекал их, он кричал на них, он насмехался над ними. Он недостаточно им платил. Но если они хорошо исполняли трогательную сцену, он плакал, как ребенок, и, когда смешную фразу произносили так, как ему хотелось, он хватался за бока. Если он был доволен, он прыгал по сцене на одной ножке, а когда сердился, кидал пьесу на пол и топтал ее, а по его щекам катились гневные слезы. Труппа смеялась над Джимми, ругала его и делала все, чтобы ему угодить. Он возбуждал в них покровительственный инстинкт, все они, до одного, чувствовали, что просто не могут его подвести. Они говорили, что он дерет с них три шкуры, у них и минутки нет свободной, такой жизни даже скотина не выдержит, и при этом им доставляло какое-то особое удовольствие выполнять его непомерные требования. Когда он с чувством пожимал руку старого актера, получающего семь фунтов в неделю, и говорил: «Клянусь богом, старина, ты был просто сногшибателен»,—старик чувствовал себя Чарлзом Кином.

Случилось так, что когда Майкл приехал в Миддлпул на встречу, о которой просил в письме, Джимми Лэнгтону как раз требовался актер на ампула первого любовника. Он догадался, по какому поводу Майкл хочет его видеть, и пошел накануне в театр посмотреть на его игру. Майкл выступал в роли Меркуцио и не очень ему понравился, но, когда тот вошел к нему в кабинет, Джимми был поражен его красотой. В коричневом сюртуке и серых брюках из легкой шерсти он, даже без грима, был так хорош, что прямо дух захватывало. У него были непринужденные манеры, и говорил он как джентльмен. Пока Майкл излагал цель своего визита, Джимми внимательно за ним наблюдал. Если он хоть как-то может играть, с такой внешностью этот молодой человек далеко пойдет.

— Я видел вашего Меркуцио вчера,—сказал он.— Что вы сами о нем думаете?

— Отвратительный.

— Согласен. Сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— Вам, наверное, говорили, что вы красивы?

— Потому-то я и пошел на сцену, а не в армию, как отец.

— Черт побери, мне бы вашу внешность, какой бы я был актер!

Кончилась встреча тем, что Майкл подписал контракт. Он пробыл у Джимми Лэнгтона два года. Вскоре он сделался любимцем труппы. Он был добродушен и отзывчив, не жалел труда, чтобы оказать услугу. Его красота произвела сенсацию в Миддлпуле, и у служебного входа вечно торчала толпа девиц, поджидавших, когда он выйдет. Они писали ему любовные письма и посылали цветы. Майкл принимал их поклонение как должное, но не позволял вскружить себе голову. Он стремился к успеху и твердо решил, что не свяжет себя ничем, что может этому помешать. Джимми Лэнгтон скоро пришел к заключению, что, несмотря на настойчивость Майкла и горячее желание преуспеть, из него никогда не получится хороший актер. Спасала Майкла только красота. Голос у него был тонковат и в особо патетические моменты звучал чуть пронзительно. Это скорее было похоже на истерику, чем на бурную страсть. Но самым большим его недостатком в качестве героя-любовника было то, что он не умел изображать любовь. Он свободно вел обычный диалог, умел донести «соль» произносимых им строк, но когда доходило до признания в любви, что-то его сковывало. Он смущался, и это было видно.

— Черт вас подери, не держите девушку так, словно это мешок с картофелем! — кричал на него Джимми Лэнгтон. — Вы целуете ее с таким видом, будто боитесь заразиться простудой! Вы влюблены в нее. Вам должно казаться, будто вы таете, как воск, и если через секунду будет землетрясение и земля вас поглотит, черт с ним, с этим землетрясением!

Но все было напрасно. Несмотря на свою красоту, изящество и непринужденные манеры, Майкл оставался холодным любовником. Это не помешало Джулии страстно им увлечься. Произошло это сразу же, как только Майкл присоединился к их труппе.

У самой Джулии все шло без сучка без задоринки. Родилась Джулия на Джерси, где ее отец, уроженец этого острова, практиковал в качестве ветеринара. Сестра ее матери вышла замуж за француза, торговца углем, который жил в Сен-Мало, и Джулию отправили к ней учиться в местном лицее. По-французски она говорила как настоящая француженка. Она была прирожденная актриса, и, сколько себя помнила, ни у кого не вызывало сомнений, что

она пойдет на сцену. Ее тетушка, мадам Фаллу, была «en relations»¹ со старой актрисой, бывшей в молодости *sociétaire*² в *Comédie Française*³. Уйдя из театра, та переселилась в Сен-Мало и жила там на небольшую пенсию, которую назначил ей один из ее любовников, когда они наконец расстались после многих лет верного внебрачного сожительства. К тому времени, когда Джулии исполнилось двенадцать, эта актриса превратилась в толстую, громогласную и деятельную старуху шестидесяти лет с лишком, больше всего на свете любившую вкусно поесть. У нее был звонкий, раскатистый смех и зычный, низкий, как у мужчины, голос. Она-то и давала Джулии первые уроки драматического искусства и научила всем приемам, которые сама в свое время узнала в *Conservatoire*⁴. Она же рассказывала ей о Рейхенберг, выступавшей в амплуа инженеру до семидесяти лет, о Саре Бернар и ее золотом горле, о величественном Муне-Сюлли и великом Коклене. Она читала Джулии длинные отрывки из трагедий Корнеля и Расина так, как привыкла произносить их в *Comédie Française*, и следила, чтобы та разучивала их подобным же образом. Девочка прелестно декламировала полные истомы и страсти монологи Федры, подчеркивая ритм александрийского стиха и выговаривая слова так аффективно и вместе с тем так драматично. В свое время Жанна Тэбу, должно быть, играла в очень нарочитой манере, но она научила Джулию превосходной артикуляции, научила ходить и держаться на сцене, научила ее не бояться собственного голоса и отшлифовала ее интуитивное умение установить нужный ритм, которое впоследствии стало одним из самых больших ее достоинств.

— Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости,— гремела старая актриса, колотя кулаком по столу,— но уж если сделала, тяни ее, сколько сможешь.

Когда Джулии исполнилось шестнадцать и она поступила в Королевскую академию театрального искусства на Говер-стрит, она уже знала многое из того, чему там учили. Ей пришлось избавиться от некоторых приемов, которые выглядели старомодно, и приучиться к более разговорной манере исполнения. Но она занимала первые места на всех конкурсах, в которых участвовала, и как только окончила

¹ «В добрых отношениях» (*фр.*).

² Постоянный член труппы «Комеди Франсез»; здесь: актриса (*фр.*).

³ «Комеди Франсез» (*фр.*).

⁴ Высшее музыкальное и театральное училище (*фр.*).

курс, почти сразу получила благодаря своему превосходному французскому небольшую роль горничной в одном из лондонских театров. Какое-то время казалось, что ее знание французского языка обречет ее только на такие роли, где требуется иностранный акцент, так как следом за французской горничной она играла австрийскую официантку. Прошло два года, прежде чем ее открыл Джимми Лэнгтон. Джулия гастролировала по провинции с мелодрамой, хорошо принятой в Лондоне, в роли итальянки-авантюристки, чьи интриги в конце концов оказываются раскрытыми; она старалась, без особого успеха, изобразить сорокалетнюю женщину. Поскольку ведущая актриса, блондинка зрелого возраста, играла молодую девушку, все представление было лишено правдоподобия. Джимми дал сам себе короткий отпуск, который он проводил, посещая театр за театром, в разных городах. После окончания спектакля он пошел за кулисы познакомиться с Джулией. Джимми был достаточно известен в театральных кругах для того, чтобы его комплименты польстили ей, и когда он пригласил ее назавтра к ленчу, Джулия согласилась.

Не успели они сесть за столик, как он без обиняков приступил к делу.

— Я этой ночью и глаз не сомкнул, все думал о вас.

— Вот это сюрприз! И какие же у вас были мысли — честные или бесчестные?

Джимми пропустил мимо ушей легкомысленный ответ.

— Я участвую в этой игре уже двадцать пять лет. Я был мальчиком, вызывающим актеров на сцену, рабочим сцены, актером, режиссером, рекламным агентом, был даже критиком, черт побери. Я живу среди кулис с самого детства, с тех пор, как вышел из школы, и то, чего я не знаю о театре, и знать не стоит. Я думаю, что вы — огромный талант.

— Очень мило с вашей стороны.

— Заткнитесь. Говорить предоставьте мне. У вас идеальные данные. Подходящий рост, подходящая фигура, каучуковое лицо...

— Очень лестно.

— Еще как. Такое лицо и нужно актрисе. Лицо, которое может быть любимым, даже прекрасным, лицо, на котором отражается каждая мысль, проносющаяся в уме. Такое лицо было у Дузе¹. Вчера вечером, хотя вы по-настоящему и не думали о том, что делали, время от времени слова, которые вы произносили, были просто написаны у вас на лице.

¹ Дузе Элеонора (1858—1924) — итальянская актриса.

— Это ужасная роль. Там и думать-то не о чем. Вы слышали, какую ерунду я должна пороть?

— Ужасными бывают только актеры, а не роли. У вас необыкновенный голос, голос, который может перевернуть всю душу. Как вы в комических ролях — я не знаю, но готов рискнуть.

— Что вы этим хотите сказать?

— Ваше чувство ритма почти безупречно. Этому нельзя научить, должно быть, оно у вас от природы. И это куда лучше. Перехожу к сути дела. Я навел о вас справки. Вы в совершенстве говорите по-французски, поэтому вам дают роли, где нужен ломаный английский язык. На этом, знаете, далеко не уедешь.

— Это все, что я могу получить.

— Вас удовлетворит всю жизнь изображать такие персонажи? Вы застрянете на них, и публика не станет принимать вас ни в каком другом амплуа. Вы всегда будете на второстепенных ролях. Самое большое — двадцать фунтов в неделю и гибель большого таланта.

— Я всегда думала, что наступит день, и я получу настоящую роль.

— Когда? Вы можете прождать десять лет. Сколько вам сейчас?

— Двадцать.

— Сколько вы получаете?

— Пятнадцать фунтов в неделю.

— Неправда. Вы получаете двенадцать, и это куда больше того, что вы сейчас стоите. Вам еще всему надо учиться. Ваши жесты банальны. Вы даже не догадываетесь, что каждый жест должен что-то означать. Вы не умеете заставить публику смотреть на вас до того, как вы заговорите. Вы слишком грубо накладываете грим. С таким лицом, как у вас, чем меньше грима, тем лучше. Вы хотите стать звездой?

— Кто же не хочет?

— Переходите ко мне, и я сделаю вас величайшей актрисой Англии. Вы быстро запоминаете текст? Наверное, да, в вашем возрасте...

— Думаю, могу слово в слово запомнить любую роль через двое суток.

— Вам нужен опыт и я — для того, чтобы вас сделать. Переходите ко мне, и вы будете иметь двадцать ролей в год. Ибсен, Шоу, Баркер, Зудерман, Хэнкин, Голсуорси. В вас есть огромное обаяние, но, судя по всему, вы еще не имеете ни малейшего представления, как им пользоваться. — Джими засмеялся коротким смешком. — А если бы имели, эта

старая карга в два счета выжила бы вас из труппы. Вы должны брать публику за горло и говорить: «Эй вы, собаки, глядите-ка на меня». Вы должны властвовать над ней. Если у человека нет таланта, никто ему его не даст, но если талант есть, можно научить им пользоваться. Говорю вам, у вас есть все задатки великой актрисы. Я еще никогда в жизни ни в чем не был так уверен.

— Я знаю, что мне не хватает опыта. Конечно, мне надо подумать о вашем предложении. Я бы не прочь перейти к вам на один сезон.

— Идите к черту. Вы воображаете, я смогу за один сезон сделать из вас актрису? Стану тянуть из себя жилы, чтобы вы дали несколько приличных представлений, а потом уехали в Лондон играть какую-нибудь ничтожную роль в коммерческой пьесе? За какого же кретина вы меня принимаете! Я подпишу с вами контракт на три года, я буду платить вам восемь фунтов в неделю, и работать вам придется, как лошади.

— О восьми фунтах в неделю не может быть и речи. Это смешно. Такого предложения я принять не могу.

— Прекрасно можете. Это все, чего вы сейчас стоите, и все, что вы будете получать.

Джулия пробыла в театре три года и успела к этому времени многое узнать. К тому же Жанна Тэбу, не отличавшаяся строгой моралью, поделилась с ней массой полезных сведений.

— А не рассчитываете ли вы случайно, что за эти же деньги я стану спать с вами?

— О господи, неужели вы думаете, у меня есть время крутить романы с актрисами моей труппы? У меня куча куда более важных дел, детка. И вы увидите, что после четырех часов репетиций, не говоря уж об утренних представлениях, да после того, как вы сыграете вечером в спектакле так, что я буду вами доволен, у вас тоже не будет ни времени, ни желания заниматься любовью. Когда вы ляжете наконец в постель, вам одного захочется — спать.

Но тут Джимми Лэнгтон ошибся.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Джулия, захваченная энтузиазмом и фантастической энергией Лэнгтона, приняла предложение. Джимми начал с ней со скромных ролей, которые под его руководством она играла так, как никогда раньше. Он заинтересовал ее

критиков, польстил им, сделав вид, будто это они открыли новый необыкновенный талант, и, незаметно для них самих, выудил предложение показать ее публике в роли Магды¹. Джулия имела колоссальный успех, и тогда Джимми дал ей одну за другой Нору в «Кукольном доме»², Энн в «Человек и сверхчеловек»³ и Гедду Габлер⁴. Миддлпульцы были в восторге, обнаружив в своем театре актрису, которая могла затмить любую лондонскую звезду, и, чтобы увидеть ее, ломались на такие спектакли, на которые раньше ходили только из местного патриотизма. О Джулии стали упоминать в столичных газетах, и многие восторженные ценители драмы специально приезжали в Миддлпул на нее посмотреть. Они возвращались, превознося ее до небес, и два или три лондонских антрепренера послали своих представителей, чтобы они дали о ней свой отзыв. Те колебались. В драмах Шоу и Ибсена она была хороша, а какой она окажется в обычной пьесе? У антрепренеров уже был печальный опыт. Прельстившись выдающейся игрой какого-нибудь актера в одной из этих чудных пьес, они подчас заключали с ним контракт, а потом обнаруживалось, что во всех остальных пьесах он играет ничуть не лучше других.

Когда Майкл присоединился к их труппе, Джулия играла в Миддлпуле уже целый год. Джимми выпустил его в роли Марчбенкса в «Кандиде»⁵. Это оказался правильный выбор, как того и следовало ожидать, ибо в этой роли красота Майкла была большим преимуществом, а отсутствие темперамента не являлось недостатком.

...Джулия протянула руку и взяла первую из картонных коробок, в которых лежали фотографии Майкла. С удобством расположившись на полу, она быстро просматривала его ранние фотографии в поисках той, которая была сделана, когда он впервые приехал в Миддлпул. Когда она наконец нашла снимок, сердце ее вдруг сжалось от острой боли. Несколько секунд Джулия боролась со слезами. Такой он тогда и был. Кандиду играла немолодая актриса, обычно выступавшая в характерных ролях или в ролях матерей и старых тетушек, и Джулия, которая была занята только по вечерам, посещала все репетиции. Она влюбилась

¹ Героиня драмы Германа Зудермана (1857—1928) «Родина».

² Драма Г. Ибсена.

³ Пьеса Б. Шоу.

⁴ Героиня одноименной драмы Г. Ибсена.

⁵ Пьеса Б. Шоу.

в Майкла с первого взгляда. Джулия никогда в жизни не видела такого красавца и стала упорно добиваться его. Выждав время, Джимми поставил «Привидения»¹, с риском навлечь на себя гнев уважаемого Миддлпула. Майкл играл в нем юношу, Джулия — Регину. Они читали друг другу свои роли, а после репетиции вместе закусывали — очень скромно, — чтобы их обсудить. Вскоре они стали неразлучны. Джулия не могла совладать с собой и безудержно льстила Майклу. Он не был тщеславен: зная, что красив, он выслушивал комплименты по этому поводу не то чтобы безразлично, но так, словно речь шла о прекрасном старом доме, который переходил в их семье из поколения в поколение. Было известно, что это один из лучших образчиков архитектуры своей эпохи, им гордились, о нем заботились, но в том, что он существовал, не было ничего особенного, владеть им казалось так же естественно, как дышать. Майкл был неглуп и честолюбив; он знал, что красота — пока его главный козырь, но знал также, что она недолговечна, и твердо решил стать хорошим актером, чтобы в дальнейшем опираться на кое-что еще, кроме внешних данных. Он намеревался научиться у Джимми Лэнгтона всему, чему можно, а затем уехать в Лондон.

— Если я хорошо использую обстоятельства, может быть, я найду какую-нибудь старуху, которая субсидирует меня и поможет открыть собственный театр. Это единственный способ сколотить состояние.

Джулия скоро обнаружила, что Майкл не очень-то любит тратиться, и, когда они завтракали или отправлялись по воскресеньям на небольшую прогулку, не забывала вносить свою долю в их расходы. Джулия ничего не имела против этого. Ей нравилось, что он считает пени, и, будучи сама склонна сорить деньгами, вечно запаздывая на неделю, а то и на две с квартирной платой, она восхищалась тем, что он терпеть не может влезать в долги и даже при своем скудном жалованье умудряется регулярно кое-что откладывать. Майкл хотел скопить достаточную сумму к тому времени, как переберется в Лондон, чтобы иметь возможность не хвататься за первую предложенную роль, а подождать, пока подвернется что-нибудь стоящее. Родители его жили на небольшую пенсию и должны были лишить себя самого необходимого, чтобы послать его в Кембридж. Однако отец, которому не очень-то нравилось намерение Майкла идти на сцену, был тверд.

¹ Драма Г. Ибсена.

— Если ты решил стать актером, я, по-видимому, не смогу тебе помешать,— сказал он,— но, черт подери, я настаиваю, чтобы ты получил образование, причисляющее джентльмену.

Джулия с удовлетворением узнала, что отец Майкла был полковник в отставке, на нее произвел большое впечатление рассказ об их предке, проигравшем при регентстве в карты все свое состояние, ей нравилось кольцо с печаткой, которое носил Майкл, где была выгравирована кабанья голова и девиз: «Nemo me impune lacessit».

— Мне кажется, ты больше гордишься своей семьей, чем тем, что похож на греческого бога,— нежно говорила она ему.

— Кто угодно может быть красив,— отвечал он со своей привлекательной улыбкой,— но не всякий может похвалиться добропорядочной семьей. Сказать по правде, я рад, что мой отец — джентльмен.

Джулия собралась с духом и сказала:

— А мой — ветеринар.

На секунду лицо Майкла окаменело, но он тут же справился с собой и рассмеялся.

— Конечно, это не имеет особого значения, кто у тебя отец. Я часто слышал, как мой отец вспоминал о полковом ветеринаре. Он был у них на равных с офицерами. Отец всегда говорил, что он был один из лучших людей в полку.

Джулия была рада, что Майкл окончил Кембридж. Он был в гребной команде своего колледжа, и одно время поговаривали о том, чтобы включить его в университетскую сборную.

— Я, понятно, очень этого хотел. Это бы так пригодилось в дальнейшем. Можно было бы прекрасно использовать для рекламы.

Джулия не могла сказать, знает он, что она в него влюблена, или нет. Сам он никогда никаких авансов не делал. Ему нравилось ее общество, и, когда они оказывались в компании, он почти не отходил от нее. Иногда их приглашали в воскресенье в гости, на обед или на роскошный холодный ужин, и ему казалось вполне естественным, что они идут туда вместе и вместе уходят. Он целовал ее, прощаясь у двери, но так, как мог бы целовать пожилую актрису, с которой играл в «Кандиде». Майкл был сердечен, добродушен, ласков, но, как ей это ни было больно, Джулия не могла не видеть, что она для него всего лишь товарищ. Однако знала она и то, что ни в кого другого он тоже не влюблен. Любовные письма, которые ему писали,

он со смехом читал ей вслух, а когда женщины присылали ему цветы, тут же отдавал их Джулии.

— Вот идиотки,— говорил он.— Какого черта они хотят этим достичь?

— Мне кажется, об этом не трудно догадаться,— сухо отвечала Джулия. Хотя ей было известно, что он ни во что не ставит эти знаки внимания, она все равно злилась и ревновала.

— Я был бы последним дураком, если бы связался с кем-нибудь здесь, в Миддлпуле. В большинстве это все желторотые девчонки. Не успею я и глазом моргнуть, как на меня накинется разгневанный родитель и скажет: а не хотите ли вы под венец?

Джулия пыталась узнать, не было ли у него интрижки, когда он играл в труппе Бенсона. Она постепенно выяснила, что некоторые из молодых актрис были склонны ему докучать, но он считал, что связываться с женщинами из своей труппы — страшная ошибка. Это никогда не доводит до добра.

— Ты же знаешь, какие актеры сплетники! Всем все будет известно через двадцать четыре часа. И когда начнешь что-нибудь в этом роде, никогда не скажешь заранее, чем все кончится. Нет, я не собирался рисковать.

Когда Майклу хотелось поразвлечься, он ждал, пока они не окажутся неподалеку от Лондона, мчался туда и подцеплял девчонку в ресторане «Глобус». Конечно, это было дорого и, по сути дела, не стоило затраченных денег; к тому же у Бенсона он много играл в крикет и, если представлялась возможность, в гольф, а всякие такие вещи вредны для глаз.

Джулия выдала ему наглую ложь.

— Джимми говорит, я куда лучше играла бы, если бы завела роман.

— Не верь ему. Он просто грязный старикашка. С кем? Наверное, с ним? Все равно что сказать, будто я лучше сыграл бы Марчбенкса, если бы писал стихи.

Они столько разговаривали друг с другом, что рано или поздно она должна была выяснить его взгляды на брак.

— Я думаю, актер — просто дурак, если он женится молодым. Я знаю кучу примеров, когда это совершенно загубило человеку карьеру. Особенно если он женится на актрисе. Он делается звездой, и тогда она камнем висит у него на шее. Она хочет играть с ним, и, если у него своя труппа, он вынужден отдавать ей первые роли, а пригласи он кого-нибудь другого, она станет устраивать ему ужасные

сцены. Всегда есть опасность, что у нее родится ребенок и ей придется отказаться от превосходной роли. Она на много месяцев исчезнет с глаз публики, а ты сама знаешь, что такое публика — с глаз долой, из сердца вон. Если она не видит тебя каждый день, она вообще забывает о твоём существовании.

Замужество! Что ей было замужество? Сердце таяло у нее в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза, она трепетала от мучительного восторга, когда любовалась его блестящими каштановыми кудрями. Что бы она ему не отдала, если бы он попросил? Но мысль об этом ни разу не закралась в его красивую голову.

«Конечно, я ему нравлюсь,— сказала себе Джулия.— Нравлюсь больше, чем кто-либо другой, он даже восхищается мной, но я не привлекаю его как женщина».

Джулия сделала все, чтобы его соблазнить, разве что не легла к нему в постель, и то лишь по одной причине — не представлялось удобного случая. Она стала опасаться, что они чересчур хорошо узнали друг друга, вряд ли их отношения смогут теперь принять другой характер, и горько упрекала себя за то, что не довела дела до конца, когда они только познакомились. Майкл слишком искренне сейчас к ней привязан, чтобы стать ее любовником. Джулия разузнала, когда у него день рождения, и подарила ему золотой портсигар — вещь, которую ему хотелось иметь больше всего на свете. Он стоял куда дороже, чем она могла себе позволить. Майкл с улыбкой попенял ей за мотовство. Он и не догадывался, с каким экстагическим наслаждением тратила она на него деньги. Когда настал ее день рождения, Майкл преподнес ей полдюжины шелковых чулок. Джулия сразу увидела, что они неважного качества. Бедный ягненочек, ему трудно было заставить себя войти в большой расход, но она была очень тронута тем, что он вообще сделал ей подарок, и чуть не расплакалась.

— Ну и чувствительная ты, крошка,— сказал Майкл, однако он был умилен — ему польстили ее слезы.

Его бережливость казалась Джулии привлекательной чертой. Майкл просто не мог сорить деньгами. Он был не то чтобы скуп, просто расчетлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту, но когда она отважилась запротестовать, он и ухом не повел. Он давал ровно десять процентов и, если у него не было мелочи и он не мог дать точной суммы, спрашивал сдачу.

— «В долг не бери и займы не давай»,— цитировал он Полония.

Когда кто-либо из членов труппы, оказавшись временно на мели, пытался занять у Майкла деньги, это было пустой затеей. Но отказывал он так бесхитростно, с такой сердечностью, что на него не обижались.

— Дружище, я был бы счастлив одолжить тебе пару монет, но я и сам в кулак свищу. Не представляю, как заплачу за жильё в конце недели.

В течение первых месяцев Майкл так был занят собственными ролями, что не имел возможности заметить, какая Джулия прекрасная актриса. Он, конечно, читал отзывы в газетах, где полно было похвал по ее адресу, но читал бегло, пока не доходил до строк, посвященных лично ему. Он бывал доволен, когда его одобряли, и не расстраивался, когда его бранили. Майкл был слишком скромнен, чтобы возмущаться нелестными отзывами.

— Наверное, я и вправду был ужасен,— говорил он.

Самой приятной чертой в характере Майкла было его добродушие. Он переносил все громы и молнии Джимми Лэнгтона с полной невозмутимостью. Когда после долгой репетиции у остальных актеров начинали сдавать нервы, он оставался безмятежен. С ним было просто невозможно поссориться. Однажды Майкл сидел в зрительном зале и смотрел репетицию того акта, где сам он не играл. В конце была очень сильная и трогательная сцена, в которой Джулия имела возможность показать свой талант. Пока готовили декорации для следующего акта, Джулия прошла в зал и села рядом с Майклом. Он продолжал сидеть молча, сурово глядя прямо перед собой.

Джулия удивилась: не улыбнуться ей, не бросить дружеского слова — это было на него непохоже. И тут она увидела, что он стискивает зубы, чтобы они не стучали, и что глаза его полны слез.

— Что случилось, милый?

— Не заговаривай со мной. Маленькая чертовка, ты заставила меня плакать.

— Ангел!

На глаза Джулии тоже навернулись слезы и потекли по щекам. Она была так счастлива, так польщена!

— А, пропади оно все пропадом,— всхлипнул Майкл.— Ничего не могу с собой поделать.

Он вынул из кармана платок и вытер глаза.

(«Я люблю его, люблю, люблю!»)

Майкл высморкался.

— Стало немного лучше, но, клянусь богом, ты меня потрясла.

— Неплохая сцена, правда?

— При чем тут сцена? Все дело в тебе. Ты перевернула мне всю душу. Критики правы, черт побери, ты — настоящая актриса, ничего не скажешь.

— И ты только сейчас это увидел?

— Я знал, что ты хорошо играешь, но и понятия не имел, что так хорошо. Мы все рядом с тобой ничто. Ты будешь звездой. Что бы ни стояло у тебя на пути.

— Тогда ты будешь моим партнером.

— Черта лысого это мне удастся у лондонских антрепренеров.

Джулию осенило:

— Значит, ты сам должен стать антрепренером и сделать меня исполнительницей главных ролей.

Майкл помолчал. Он был немного тугодум, и ему требовалось время, чтобы оценить по достоинству новую мысль.

— Знаешь, а это совсем неплохая идея.

За ленчем они обсудили ее поподробнее. Говорила в основном Джулия, Майкл слушал с глубоким интересом.

— Конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли — это самому быть антрепренером труппы, — сказал он.

Все упиралось в деньги. Они прикинули, с чего можно начать. Майкл считал, что им надо минимум пять тысяч фунтов. Но как, скажите на милость, им раздобыть такую сумму? Конечно, некоторые из миддлпульских фабрикантов просто купаются в золоте, однако вряд ли можно ожидать, что они раскошелятся на пять тысяч фунтов, чтобы помочь двум молодым актерам, заслужившим только местную славу. К тому же они ревниво относились к Лондону.

— Придется тебе поискать богатую старуху, — весело сказала Джулия.

Она лишь наполовину верила всему, что говорила, но ей было приятно обсуждать проект, который еще больше сблизил бы ее с Майклом. Однако Майкл был вполне серьезен.

— Я не думаю, что в Лондоне можно добиться успеха, пока тебя как следует не узнают. Самое верное — года три-четыре поиграть в чужих труппах; нужно разведать все ходы и выходы. Это имеет еще одно преимущество — у нас будет время познакомиться с пьесами. Безумие открывать свой театр, не имея в запасе, по крайней мере, трех пьес. Одна из них должна стать гвоздем сезона.

— Конечно, и нам надо непременно играть вместе, чтобы публика привыкла видеть наши имена на одной и той же афише.

— Не думаю, чтобы это имело особое значение. Главное — завоевать в Лондоне хорошую репутацию, тогда нам куда легче будет найти людей, которые финансируют наше предприятие.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дело шло к пасхе, а Джимми Лэнгтон всегда закрывал театр на страстную неделю. Джулия не представляла, куда ей себя девать; вряд ли стоило ехать в Джерси на такое короткое время. Однажды утром она неожиданно получила письмо от миссис Госселин, матери Майкла, где говорилось, что она доставит им с полковником большое удовольствие, если приедет на недельку вместе с Майклом к ним в Челтнем. Когда она показала письмо Майклу, он просиял.

— Я попросил ее тебя пригласить. Я думал, это будет приличнее, чем просто взять тебя с собой.

— Ты — душа. Конечно, я буду очень рада поехать.

Сердце Джулии трепетало от счастья. Что могло быть восхитительней, чем провести целую неделю вместе с Майклом! И это так на него похоже: прийти на выручку, когда ему стало известно, что она не знает, что бы ей предпринять. Но тут она увидела, что он чем-то обеспокоен.

— В чем дело?

Майкл смущенно рассмеялся.

— Понимаешь, дорогая, мой отец немного старомоден, есть вещи, которые ему уже трудно постигнуть. Конечно, я не хочу, чтобы ты глала, но боюсь, ему покажется странным, что твой отец был ветеринар. Когда я спросил их в письме, могу ли я тебя привезти, я написал, что он был врач.

— Ну, это не имеет значения.

Джулия сразу увидела, что полковник далеко не так страшен, как она ожидала. Он был худой, невысокого роста, с морщинистым лицом и коротко подстриженными седыми волосами. В его чертах сквозило несколько подержанное благородство. Он вызывал в памяти профиль на монете, которая слишком долго находилась в обращении. Держался он любезно, но сдержанно. Он не был ни раздражителен, ни деспотичен, как боялась Джулия, знакомая с полковниками только по сцене. Она не представляла себе, как этим учтивым, довольно холодным голосом можно выкрикивать слова команды. По правде говоря, полковник Госселин вышел в отставку с почетным званием шефа полка

после ничем не выдающейся службы и уже много лет довольствовался тем, что копался у себя в саду и играл в бридж в клубе. Он читал «Таймс», по воскресеньям ходил в церковь и сопровождал жену на чаепития в гости. Миссис Госселин была высокая полная пожилая женщина, куда выше мужа; при взгляде на нее чудилось, будто она все время старается съежиться. В ее лице еще сохранились следы былой привлекательности, и можно было поверить, что в молодости она была настоящая красавица. Она носила волосы на прямой пробор и закручивала их узлом на затылке. Благодаря росту и классическим чертам лица миссис Госселин показалась Джулии при первой встрече весьма внушительной, но вскоре она обнаружила, что та на редкость застенчива. Движения ее были неловки и скованны, одета она была безвкусно, со старомодной роскошью, которая совсем ей не шла. Джулия, не смущавшаяся ни при каких обстоятельствах, нашла конфузливость этой немолодой уже женщины трогательной. Миссис Госселин никогда не приходилось встречаться с актрисой, и она не знала, как себя держать в этом затруднительном положении. Дом отнюдь не был великолепным — небольшой оштукатуренный особнячок в саду с живой изгородью из лавровых кустов. Поскольку Госселины несколько лет провели в Индии, в комнатах стояли большие медные подносы и вазы, на замысловатых резных столиках лежали индийские вышивки. Все это была дешевка, которую там продают на базарах, и приходилось только удивляться, что кто-то счел нужным везти все это домой, в Англию.

Джулия была далеко не глупа. Ей не понадобилось много времени, чтобы увидеть, что полковник, при всей его сдержанности, и миссис Госселин, при всей ее робости, критически изучают и оценивают ее. У нее мелькнула мысль, что Майкл привез ее родителям на смотрины. Зачем? Ответ мог быть только один, и, когда он пришел Джулии в голову, сердце подскочило у нее в груди. Она видела: ему очень хочется, чтобы она произвела хорошее впечатление. Джулия интуитивно поняла, что должна скрыть в себе актрису и, без всякого усилия, без сознательного намерения, просто потому, что чувствовала — это должно понравиться, стала играть роль простой, скромной, простодушной девушки, всю жизнь спокойно жившей на лоне природы. Она гуляла с полковником по саду и, затаив дыхание, слушала разглагольствования о горохе и спарже; она помогала миссис Госселин поливать цветы и стирала пыль с бесчисленных безделушек, которыми была забита гостиная. Она гово-

рила с ней о Майкле. Рассказывала, как талантливо он играет, какой пользуется популярностью, восхищалась его красотой. Джулия видела: миссис Госселин очень им гордится, и внутренний голос ей подсказал, что той понравится, если она покажет, конечно, чрезвычайно тактично, словно предпочла бы держать это в тайне и лишь нечаянно выдала себя, как она, Джулия, прямо по уши влюблена в ее сына.

— Разумеется, мы надеемся, что он добьется успеха,— сказала миссис Госселин.— Мы не очень-то были рады, когда он задумал идти на сцену; мы по обеим линиям потомственные военные, но он ни о чем другом и слышать не хотел.

— Да, конечно, я понимаю, о чем вы говорите.

— Я знаю, сейчас все иначе, чем в дни моей молодости, но ведь он все же настоящий джентльмен.

— О, теперь, знаете, на сцену идут самые порядочные люди. Теперь не то, что в старые времена.

— Вероятно, да. Я так рада, что он привез вас к нам. Я немного волновалась. Я думала, вы будете накрашены и... возможно, несколько вульгарны. Ни одна живая душа не догадалась бы, что вы — актриса.

(«Еще бы, черт побери. Никто бы так не сыграл сельскую барышню, как я это делаю вот уже два дня».)

Полковник начал отпускать по ее адресу шуточки и даже иногда игриво дергал ее за ухо.

— Право, полковник, вы не должны со мной флиртовать! — восклицала она, кидая на него очаровательный плутовской взгляд.— Только потому, что я — актриса, вы думаете, можно позволить себе со мной вольности!

— Джордж, Джордж,— улыбалась миссис Госселин. Затем, обращаясь к Джулии, добавляла: — Он всегда был любитель поухаживать.

(«Черт возьми, все идет как по маслу!»)

Миссис Госселин рассказывала ей об Индии, о том, как странно было, что все слуги — темнокожие, но общество там было очень приличное, только правительственные чиновники и военные, однако дома все же лучше, и она была очень рада, когда приехала обратно в Англию.

Возвращаться они должны были в понедельник, на второй день пасхи, потому что уже был назначен спектакль, и накануне вечером после ужина полковник сказал, что ему надо пойти в кабинет написать несколько писем; через несколько минут миссис Госселин тоже поднялась с места — пошла поговорить с кухаркой. Когда они остались одни, Майкл закурил, стоя у камина.

— Боюсь, здесь было не очень-то весело. Надеюсь, ты не слишком скучала?

— Здесь было божественно.

— Ты имела колоссальный успех у родителей. Ты им страшно понравилась.

«Господи, я достаточно потрудилась для этого»,— подумала Джулия, но вслух она сказала:

— Откуда ты знаешь?

— Вижу. Отец говорит, ты — настоящая леди, ни капли не похожа на актрису, а мать утверждает, что ты очень благоразумна.

Джулия опустила глаза, словно похвалы эти были слишком преувеличены. Майкл пересек комнату и стал перед ней. У нее вдруг мелькнула мысль, что он сейчас похож на красивого молодого лакея, который просит взять его на службу. Он был непривычно взволнован. Сердце чуть не выскакивало у нее из груди.

— Джулия, дорогая, ты выйдешь за меня замуж?

Всю эту неделю она спрашивала себя, сделает ли он ей предложение, но теперь, когда это наконец свершилось, она почувствовала себя странно смущенной.

— Майкл!

— Я не хочу сказать: немедленно. Когда мы станем на ноги, продвинемся хотя бы на один шаг по пути к успеху. Я знаю, на сцене мне с тобой не тягаться, но вместе мы легче добьемся победы, а когда откроем собственный театр, из нас выйдет неплохая упряжка. Ты ведь знаешь, что ты мне ужасно нравишься. Я хочу сказать, ни одна девушка и в подметки тебе не годится.

(«Дурак несчастный! Ну чего он городит всю эту чепуху?! Неужели не понимает, что я до смерти хочу за него выйти? Почему он не целует меня? Ну почему? Почему? Хватит у меня духу сказать, что я просто больна от любви к нему?»)»

— Майкл, ты так красив. Кто может тебе отказать?

— Дорогая!

(«Я лучше встану. Он не догадается сесть. Господи, сколько раз Джимми заставлял его репетировать эту сцену!»)»

Джулия встала на ноги и подняла к нему лицо. Он заключил ее в объятия и поцеловал.

— Я должен сказать матери.

Он отстранился от Джулии и пошел к двери.

— Мама, мама!

Через секунду полковник и миссис Госселин вошли в комнату. На лицах было счастливое ожидание.

(«Черт подери, это все было подстроено!»)

— Мама, отец, мы обручились.

Миссис Госселин заплакала. Своей неловкой тяжелой поступью подошла к Джулии, обняла ее и поцеловала сквозь слезы. Полковник горячо пожал сыну руку и, высвободив Джулию из объятий жены, тоже ее поцеловал. Он был глубоко растроган. Все эти изъявления чувств действовали на Джулию, и, хотя она счастливо улыбалась, у нее по щекам заструились слезы. Майкл сочувственно наблюдал эту умилительную сцену.

— Как вы смотрите, не открыть ли нам бутылочку шампанского, чтобы отметить это событие? — спросил он. — Похоже, что мама и Джулия совсем расстроились.

— За дам, благослови их господь, — сказал полковник, когда бокалы были наполнены.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Теперь Джулия держала в руках фотографию, где она была снята в подвенечном платье.

«Господи, ну и пугало!»

Они решили сохранить помолвку в тайне, и Джулия сказала о ней только Джимми Лэнгтону, двум или трем девушкам в труппе и своей костюмерше. Она брала с них слово молчать и удивлялась, каким образом через двое суток все в театре обо всем знали. Джулия была на седьмом небе от счастья. Она любила Майкла еще более страстно, чем раньше, и с радостью выскочила бы за него немедля, но его благоразумие оказалось сильнее. Что они такое? Двое провинциальных актеров. Начинать завоевание Лондона в качестве соединенной узами брака пары — значило ставить на карту возможность достичь успеха. Джулия намекнула так прозрачно, как смогла, яснее некуда, что вполне готова стать его любовницей, но на это он не пошел. Он был слишком порядочен, чтобы воспользоваться ее любовью.

— «Ты б не была мне так мила, не будь мне честь милее!»¹ — процитировал он.

Майкл был уверен, что, когда они поженятся, они будут горько сожалеть, что стали жить как муж и жена еще до свадьбы. Джулия гордилась его принципами. Он был внимателен, ласков, нежен, но довольно скоро стал смотреть на

¹ Из стихотворения Ричарда Лавлейса (1618—1658) «Лукасте, уходя на войну».

нее как на что-то привычное, само собой разумеющееся; по его манере, дружеской, но немного небрежной, можно было подумать, будто они женаты уже много лет. Однако с присущей ему добротой он снисходительно и даже благосклонно принимал все знаки ее любви. Джулия обожала сидеть прижавшись к Майклу — его рука обнимает ее за талию, ее щека прижата к его щеке, — а уж если она могла прикинуть алчным ртом к его довольно-таки тонким губам, это было поистине райским блаженством. И хотя Майкл, когда они сидели вот так, предпочитал обсуждать роли, которые они играли, или планы на будущее, она все равно была счастлива. Ей никогда не надоедало восхищаться его красотой. Было сладостно чувствовать, когда она говорила ему, какой точеный у него нос, как прекрасны его кудрявые каштановые волосы, что рука Майкла чуть крепче сжимает ей талию, видеть нежность в его глазах.

— Любимая, я стану тщеславен, как павлин.

— Но ведь просто глупо отрицать, что ты божественно хорош.

Джулия на самом деле так думала и говорила об этом, потому что это доставляло ей удовольствие, но не только потому — она знала, что и он с удовольствием слушает ее комплименты. Майкл относился к ней с нежностью и восхищением, ему было легко с ней, он ей доверял, но Джулия прекрасно знала, что он в нее не влюблен. Она утешала себя тем, что он любит ее так, как может, и думала, что, когда они поженятся, ее страсть пробудит в нем ответную страсть. А пока она призвала на помощь весь свой такт и проявляла максимальную сдержанность. Она знала, что не может позволить себе ему докучать. Знала, что не должна быть ему в тягость, что он никогда не должен чувствовать, будто обязан чем-то поступаться ради нее. Майкл мог оставить ее ради игры в гольф или завтрака со случайным знакомым — она никогда не показывала ему даже намеком, что ей это неприятно. И, подозревая, что ее сценический успех усиливает его чувство, Джулия трудилась, как каторжная, чтобы хорошо играть.

На второй год их помолвки в Миддлпул приехал американский антрепренер, выискивавший новые таланты и прослышавший про труппу Джимми Лэнгтона. Он был очарован Майклом. Он послал ему за кулисы записку с приглашением зайти к нему в гостиницу на следующий день. Майкл, еле живой от волнения, показал записку Джулии; означать это могло только одно: ему хотят предложить ангажемент. У Джулии упало сердце, но она сделала вид,

что она в таком же восторге, как он, и на следующий день пошла вместе с ним. Она осталась в холле, а Майкл отправился беседовать с великим человеком.

— Пожелай мне удачи,— шепнул он, подходя к кабине лифта.— Это слишком хорошо, чтобы можно было поверить.

Джулия сидела в кожаном кресле и всем сердцем желала, чтобы антрепренер предложил Майклу такую роль, которую он отвергнет, или жалованье, принять которое Майкл сочтет ниже своего достоинства. Или, наоборот, попросит Майкла почитать роль, на которую хочет его пригласить, и увидит, что она ему не по зубам. Но когда полчаса спустя Майкл спустился в холл, Джулия поняла по его сияющим глазам и легкой походке, что контракт заключен. На какой-то миг Джулии показалось, будто ей сейчас станет дурно, и, пытаясь выдать на губах счастливую улыбку, она почувствовала, что мышцы не повинуются ей.

— Все в порядке. Он говорит, это чертовски хорошая роль — молодого парнишки, девятнадцати лет. Восемь или девять недель в Нью-Йорке, затем гастролы по стране. Сорок недель, как одна, в труппе Джона Дру. Двести пятьдесят долларов в неделю.

— Любимый, я так за тебя рада.

Было ясно, что он ухватился за предложение обеими руками. Мысль о том, чтобы отказаться, даже не пришла ему в голову.

«А я... я,— думала она,— если бы мне посулили тысячу долларов в неделю, я бы не поехала, чтобы не разлучаться с ним»:

Джулия была в отчаянии. Она ничем не сможет ему помешать. Надо притворяться, будто она на седьмом небе от счастья. Майкл был слишком возбужден, чтобы сидеть на месте, и они вышли на людную улицу.

— Это редкая удача. Конечно, в Америке все дорого, но я постараюсь тратить от силы пятьдесят долларов в неделю; говорят, американцы очень гостеприимны, и я смогу угощаться на даровщинку. Не вижу, почему бы мне не скопить за сорок недель восемь тысяч долларов, а это тысяча шестьсот фунтов.

(«Он не любит меня. Ему на меня плевать. Я его ненавижу. Я готова его убить. Черт побери этого американца!»)

— А если он оставит меня на второй год, я буду получать триста долларов в неделю. Это значит, что за два года я скоплю большую часть нужных нам четырех тысяч фунтов. Почти достаточно, чтобы начать дело.

— На второй год?! — На какой-то миг Джулия перестала владеть собой, и в голосе ее послышались слезы. — Ты хочешь сказать, что уедешь на два года?

— Ну, летом я, понятно, вернусь. Они оплачивают мне обратный проезд, и я поеду домой, чтобы поменьше тратиться.

— Не знаю, как я тут буду без тебя!

Она произнесла эти слова весело, даже небрежно, словно из одной вежливости.

— Мы с тобой великолепно проведем время летом, и знаешь, год, даже два пролетят в мгновение ока.

Майкл шел куда глаза глядят, но Джулия все время незаметно направляла его к известной ей цели, и как раз в этот момент они оказались перед дверьми театра. Джулия остановилась.

— Пока. Мне надо заскочить повидать Джимми.

Лицо Майкла омрачилось.

— Неужели ты хочешь меня бросить? Мне же не с кем поговорить. Я думал, мы зайдем куда-нибудь, перекусим перед спектаклем.

— Мне ужасно жаль. Джимми меня ждет, а ты сам знаешь, какой он.

Майкл улыбнулся ей своей милой, добродушной улыбкой.

— Ну, тогда иди. Я не буду таить на тебя зла за то, что ты подвела меня раз в жизни.

Он направился дальше, а Джулия вошла в театр через служебный вход. Джимми Лэнгтон устроил себе в мансарде крошечную квартирку, попасть в которую можно было через балкон первого яруса. Джулия позвонила у двери. Открыл ей сам Джимми. Он был удивлен, но рад.

— Хелло, Джулия, входи.

Она прошла мимо него, не говоря ни слова, и лишь когда оказалась в его захлавленной, усеянной листьями рукописей, книгами и просто мусором гостиной, обернулась и посмотрела ему в лицо. Зубы ее были стиснуты, брови нахмурены, глаза метали молнии.

— Дьявол!

Одним движением она подскочила к нему, схватила обеими руками за расстегнутый ворот рубахи и встряхнула. Джимми попытался высвободиться, но она была сильная, к тому же разъярена.

— Прекрати!

— Дьявол, свинья, грязная, подлая скотина!

Джимми размахнулся и отпустил ей пощечину. Джулия инстинктивно выпустила его и прижала руку к лицу, так как ударил он больно. Джулия заплакала.

— Негодяй! Шелудивый пес! Бить женщину!

— Это ты говори кому-нибудь другому, милочка. Ты разве не знаешь, что, если меня ударят, пусть даже и женщина, я ударю в ответ?

— Я вас не трогала.

— Ты чуть не задушила меня.

— Вы это заслужили. О господи, да я готова вас убить.

— Ну-ка, сядь, цыпочка, и я дам тебе капельку виски, чтобы ты пришла в себя. А потом все мне расскажешь.

Джулия оглянулась в поисках кресла, куда бы она могла сесть.

— Господи, настоящий свинушник. Почему вы не пригласите поденщицу, чтобы она здесь убрала?

Сердитым жестом она скинула на пол книги с кресла, бросилась в него и расплакалась, теперь уже всерьез. Джимми налил ей порядочную дозу виски, добавил каплю содовой и заставил выпить.

— Ну, а теперь объясни, по какому поводу вся эта сцена из «Тоски»?

— Майкл уезжает в Америку.

— Да?

Она вывернулась из-под руки, обнимавшей ее за плечи.

— Как вы могли? Как вы могли?

— Я тут совершенно ни при чем.

— Ложь. Вы, верно, не знаете даже, что этот мерзкий антрепренер в Миддлпуле? Это ваша работа, нечего и сомневаться. Вы сделали это нарочно, чтобы нас разлучить.

— Душечка, ты несправедлива ко мне. По правде говоря, я сказал, что он может забрать у меня любого члена труппы, кроме Майкла Госселина.

Джулия не видела выражения его глаз при этих словах, иначе она спросила бы себя, почему у него такой довольный вид, словно ему удалось сыграть с кем-то очень хорошую шутку.

— Даже меня? — спросила она.

— Я знал, что актрисы ему не нужны. У них и своих хватает. Им нужны актеры, которые умеют носить костюмы и не плюют в гостиную на пол.

— О, Джимми, не отпускайте Майкла. Я этого не переживу.

— Как я могу ему помешать? Его контракт со мной истекает в конце нынешнего сезона. Это приглашение — большая удача для него.

— Но я его люблю. Я хочу его. А вдруг он в Америке кого-нибудь встретит? Вдруг какая-нибудь богатая наследница увлечется им?

— Если любовь к тебе его не остановит, что ж, скатертью дорожка, сказал бы я.

Его слова вновь привели Джулию в ярость.

— Поганый евнух, что вы знаете о любви?!

— Ох уж эти мне женщины, — вздохнул Джимми. — Если пытаешься лечь с ними в постель, они называют тебя грязным старикашкой, если нет — поганым евнухом...

— Ах, вы не понимаете! Он так потрясающе красив, они станут влюбляться в него одна за другой, а он так легко поддается лести. За два года многое может случиться.

— За два года?

— Если его хорошо примут, он останется еще на год.

— Ну, насчет этого можешь не волноваться. Он вернется в конце первого же сезона, и вернется навсегда. Этот антрепренер видел его только в «Кандиде». Единственная роль, в которой он более или менее сносен. Помяни мое слово, не пройдет и месяца, как они обнаружат, что совершили невыгодную сделку. Его ждет провал.

— Что вы понимаете в актерах!

— Все.

— Я бы с радостью выцарапала вам глаза.

— Предупреждаю, если ты попробуешь меня тронуть, на этот раз не отделаешься легким шлепком, такую получишь затрещину, что неделю есть не сможешь.

— О господи, и не сомневаюсь. И вы называете себя джентльменом?

— Только когда я пьян.

Джулия хихикнула, и Джимми понял, что худшее осталось позади.

— Ты знаешь не хуже меня, что на сцене ему до тебя далеко. Говорю тебе: ты будешь величайшей актрисой после миссис Кендел. Зачем тебе связывать себя с человеком, который всегда будет камнем у тебя на шее. Вы хотите иметь собственный театр, он будет претендовать на роль твоего партнера. Майкл никогда не станет хорошим актером.

— У него есть внешность. Я могу выгадать его.

— От скромности ты не умрешь. Но тут ты ошибаешься. Если ты хочешь добиться успеха, ты не можешь позволить себе иметь партнера, который не дотягивает до тебя.

— Мне наплевать. Я скорее выйду замуж за него и потерплю провал, чем за кого-нибудь другого, чтобы добиться успеха.

— Ты девственница?

Джулия снова хихикнула.

— Это вас не касается, но, представьте, да.

— Так я и думал. Ну, если это тебе не так важно, почему бы вам с ним не отправиться на пару недель в Париж, когда мы закроемся? Он не отплывет в Америку раньше августа. Может, тогда утихомиришься!

— Он не хочет. Он не такой человек. Он джентльмен.

— Даже высшие классы производят себе подсобных.

— Ах, вы не понимаете! — надменно проговорила Джулия.

— Спорю, что и ты — тоже.

Джулия не снизилась до ответа. Она действительно была очень несчастна.

— Я не могу без него жить, говорю вам. Что мне с собой делать, когда он уедет?

— Оставаться у меня. Я ангажирую тебя еще на год. У меня есть для тебя куча новых ролей, и я пригласил актера на амплуа первого любовника. Не актер, а находка. Ты не поверишь, насколько легче играть с партнером, когда есть отдача. Я буду платить тебе двенадцать фунтов в неделю.

Джулия подошла к нему и испытующе посмотрела в глаза.

— И вы все это подстроили, чтобы заставить меня пробыть у вас еще сезон? Разбили мне сердце, разрушили всю мою жизнь только ради того, чтобы удержать в своем паршивом театре?!

— Клянусь, что нет. Ты мне нравишься, я восхищаюсь тобой. И за последние два года дела у нас идут как никогда. Но, черт подери, такой подлости я бы не совершил.

— Лгун, грязный лгун!

— Клянусь, это чистая правда.

— Тогда докажите это! — горячо сказала она.

— Как я могу доказать? Ты сама знаешь, я действительно порядочный человек.

— Дайте мне пятнадцать фунтов в неделю, и я вам поверю.

— Пятнадцать фунтов в неделю! Тебе известно, какие у нас сборы. Я не могу. А, ладно... Но мне придется добавлять три фунта из собственного кармана.

— Не моя печаль!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После двух недель репетиций Майкла сняли с роли, на которую его ангажировали, и три или четыре недели он ждал, пока ему подыщут что-нибудь еще. Начал он в пьесе, которая не продержалась в Нью-Йорке и месяца. Труппу

послали в турне, но спектакль принимали все хуже и хуже, и его пришлось изъять из репертуара. После очередного перерыва Майклу предложили роль в исторической пьесе, где его красота предстала в таком выгодном свете, что никто не заметил, какой он посредственный актер; в этой роли он и закончил сезон. О возобновлении контракта не было и речи. Пригласивший его антрепренер говорил весьма язвительно:

— Я бы много отдал, чтобы сквитаться с этим типом, Лэнгтоном, сукин сын! Он знал, что делает, когда подсовывал мне этого истукана.

Джулия регулярно писала Майклу толстые письма, полные любви и сплетен, а он отвечал раз в неделю четким, аккуратным почерком, каждый раз четыре страницы, ни больше ни меньше. Он неизменно подписывался «любящий тебя...», но в остальном его послания носили скорее информационный характер. При всем том Джулия ожидала каждого письма со страстным нетерпением и без конца его перечитывала. Тон у Майкла был бодрый, но хотя он почти ничего не говорил о театре, упоминал только, что роли ему предложили дрянные, а пьесы, в которых пришлось играть, ниже всякой критики, в театральном мире быстро все узнают, и Джулия слышала, что успеха он не имел.

«Конечно, это с моей стороны свинство,— думала она,— но я так рада!»

Когда Майкл сообщил день приезда, Джулия не помнила себя от счастья. Она заставила Джимми так построить программу, чтобы она смогла поехать в Ливерпуль встретить Майкла.

— Если корабль придет поздно, я, возможно, останусь на ночь,— сказала она Джимми.

Он иронически улыбнулся.

— Ты, видно, думаешь, что в суматохе возвращения домой тебе удастся его совратить?

— Ну и свинья же вы!

— Брось, душенька. Мой тебе совет: подпой его, запришь с ним в комнате и скажи, что не выпустишь, пока он тебя не обесчестит.

Но когда Джулия собралась ехать, Джимми проводил ее до станции. Подсаживая в вагон, похлопал по руке:

— Волнуешься, дорогая?

— Ах, Джимми, милый, я безумно счастлива и до смерти боюсь.

— Ну, желаю тебе удачи. И не забывай: он тебя не стоит. Ты молода, хороша собой, и ты — лучшая актриса Англии.

После отхода поезда Джимми направился в стационарный буфет и заказал виски с содовой. «Как безумен род людской»¹,— вздохнул он. А Джулия в это время стояла в пустом купе и гляделась в зеркало.

«Рот слишком велик, лицо слишком тяжелое, нос слишком толстый. Слава богу, у меня красивые глаза и красивые ноги. Не чересчур ли я украшена? Майкл не любит грима вне сцены. Но я жутко выгляжу без румян и помады. Ресницы у меня что надо. А, черт побери, не такая уж я уродина».

Не зная до последнего момента, отпустит ли ее Джимми, Джулия не предупредила Майкла, что встретит его. Он был удивлен и откровенно рад. Его прекрасные глаза сияли.

— Ты стал еще красивее,— сказала Джулия.

— Ах, не болтай глупостей,— засмеялся он, обнимая ее.— Ты ведь можешь задержаться до вечера?

— Я могу задержаться до завтрашнего утра. Я заказала две комнаты в «Адельфи», чтобы мы могли вволю поболтать.

— А не слишком «Адельфи» роскошно для нас?

— Ну, не каждый же день ты возвращаешься из Америки. Плевать на расходы.

— Мотовочка, вот ты кто. Я не знал, когда мы войдем в док, поэтому написал домой, что сообщу телеграммой время приезда. Телеграфирую, что приеду завтра.

Когда они оказались в отеле, Майкл по приглашению Джулии пришел в ее комнату, чтобы поговорить без помех. Она села к нему на колени, обвила его шею рукой, прижалась щекой к щеке.

— Ах, как приятно снова быть дома,— вздохнула она.

— Можешь мне этого не говорить,— отозвался он, не догадавшись, что она имеет в виду его объятия, а не Англию.

— Я тебе все еще нравлюсь?

— Еще как!

Она горячо поцеловала его.

— Ты не представляешь, как я по тебе скучала!

— Я полностью провалился в Америке,— сказал Майкл.— Не хотел тебе об этом писать, чтобы зря не расстраивать. Они считали, что я никуда не гожусь.

— Майкл!— вскричала она, словно не могла этому поверить.

— Думаю, я для них слишком типичный англичанин. Я им больше не нужен. Я так и предполагал, но все же для

¹ Шекспир. Сон в летнюю ночь.

проформы спросил, собираются ли они продлить контракт, и они ответили: нет, ни за какие деньги.

Джулия молчала. Вид у нее был озабоченный, но сердце громко билось от радости.

— Но мне все равно, честно. Мне не понравилась Америка. Конечно, спорить не приходится, это удар по самолюбию, но что мне остается? Улыбнуться, и все. Как-нибудь переживем. Если бы ты знала, с какими типами там приходилось якшаться! Да по сравнению с некоторыми из них Джимми Лэнгтон — настоящий джентльмен. Даже если бы они попросили меня остаться, я бы отказался.

Хотя Майкл делал хорошую мину при плохой игре, Джулия видела, что он глубоко уязвлен. С чем только, должно быть, ему не приходилось мириться! Ей было ужасно его жаль, но, ах, какое она испытывала колоссальное облегчение.

— Какие у тебя теперь планы? — спокойно спросила она.

— Ну, побуду какое-то время дома и все как следует обдумаю. А потом поеду в Лондон, посмотрю, не удастся ли получить роль.

Она знала, что предлагать ему вернуться в Миддлпул было бесполезно. Джимми Лэнгтон его не возьмет.

— Ты, вероятно, не захочешь поехать со мной?

Джулия не верила собственным ушам.

— Я? Любимый, ты же знаешь, что я с тобой — хоть на край света.

— Твой контракт кончается в конце этого сезона, и, если ты намерена чего-то достичь, пора уже завоевывать Лондон. Я сэкономил в Америке каждый шиллинг. Они называли меня скупердяем, но я и ухом не вел. Привез домой около полутора тысяч фунтов.

— Как это тебе удалось, ради всего святого?

— Ну, я не очень-то раскошелывался, — радостно улыбнулся он. — Конечно, театр на это не откроешь, но на то, чтобы жениться, хватит; я хочу сказать, нам будет на что опереться, если мы не получим сразу ангажемента или потом окажемся временно без работы.

Джулии понадобилось несколько секунд, чтобы осознать его слова.

— Ты хочешь сказать — пожениться сейчас?

— Конечно, это рискованно, когда у нас нет ничего в перспективе, но иногда стоит пойти и на риск.

Джулия взяла его лицо в ладони и прижалась губами к его губам. Затем от всего сердца вздохнула.

— Любимый, ты замечательный, и ты красив, как греческий бог, но ты — самый большой глупец, какого я знала в жизни.

Вечером они пошли в театр, а за ужином заказали бутылку шампанского, чтобы отпраздновать их воссоединение и поднять тост за счастливое будущее. Когда Майкл проводил Джулию до дверей ее комнаты, она подставила ему щеку.

— Ты хочешь, чтобы я пожелал тебе доброй ночи в коридоре? Может, я зайду к тебе на минуту?

— Лучше нет, любимый, — ответила она со спокойным достоинством.

Джулия ощущала себя высокородной девицей, которая должна блюсти все традиции своей знатной и древней фамилии; ее чистота была бесценной жемчужиной. Она также видела, что производит на редкость хорошее впечатление. Майкл был настоящий джентльмен, и, черт подери, ей приличествовало вести себя настоящей леди. Джулия была так довольна разыгранной ею мизансценой, что, войдя в комнату и, пожалуй, излишне громко защелкнув дверь, она гордо прошлась взад-вперед, милостиво кивая направо и налево своим раболепным вассалам. Она протянула лилейную руку для поцелуя трепещущему старому мажордому (в детстве он часто качал ее на колене), и, когда он прижался к ней бледными губами, она почувствовала, как на нее что-то капнуло. Слеза.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Первый год их брака был бы очень бурным, если бы не ровный характер Майкла. Лишь радость, когда он получал хорошую роль, лихорадка во время премьеры или возбуждение после вечеринки, на которой он выпил несколько бокалов шампанского, были способны обратить практический ум Майкла к любви. Никакая лесть, никакие соблазны не могли его совратить, если на следующий день его ждала деловая встреча, для которой требовалась свежая голова, или предстоял раунд в гольф, для которого был нужен верный глаз. Джулия закатывала ему безумные сцены. Она ревновала его к приятелям по артистическому клубу, к играм, которые уводили его от нее, к официальным завтракам, которые он не пропускал под тем предлогом, что необходимо заводить знакомства среди людей, которые могут им пригодиться. Ее приводило в ярость, что, когда

она доходила до истерического припадка, он сидел совершенно спокойно, скрестив на коленях руки, с добродушной улыбкой на красивом лице, словно все это просто забавно.

— Ты же не думаешь, что я бегаю за другими женщинами? — спрашивал он.

— Почему я знаю? Слепому видно, что на меня тебе наплевать.

— Тебе прекрасно известно, что ты для меня единственная женщина на свете.

— О боже!

— Я не понимаю, чего ты хочешь.

— Я хочу любви. Я думала, что вышла за самого красивого мужчину в Англии, а я вышла за портновский манекен.

— Не говори глупостей. Я — обыкновенный нормальный англичанин, а не итальянский шарманщик.

Джулия величаво расхаживала взад-вперед по комнате. У них была небольшая квартирка на Бэкингем-гейт, и развернуться там было негде, но Джулия старалась как могла. Она вздымала руки к небесам.

— Я могла бы быть кривой и горбатой. Мне могло бы быть пятьдесят. Неужели я настолько непривлекательна? Так унижительно вымалывать твою любовь. Ах, как я несчастна!

— А это был удачный жест, дорогая. Словно ты посылаешь вперед крикетный мяч. Запомни его.

Она бросала на него презрительный взгляд.

— Единственное, о чем ты способен думать. У меня разрывается сердце, а ты говоришь о каком-то случайном жесте.

Но он видел по выражению ее лица, что она откладывала его в памяти, и знал: когда представится случай, она воспользуется им.

— В конце концов, любовь еще не все. Она хороша в положенное время и в положенном месте. Мы неплохо развлекались во время медового месяца, на то он и предназначен, а теперь пора браться за работу.

Им повезло. Оба они умудрились получить вполне приличные роли в пьесе, которая имела успех. У Джулии была одна сильная сцена, всегда вызывавшая бурные аплодисменты; удивительная красота Майкла произвела своего рода сенсацию. Майкл, с его корректной предприимчивостью, с его веселым добродушием, создал им прекрасную рекламу, фотографии их обоих стали появляться в иллюстрированных газетах. Их часто приглашали на званые вече-

ра, и Майкл, несмотря на свою бережливость, не колеблясь, тратил деньги на прием людей, которые могли оказаться им полезны. Джулию прямо поражала его щедрость в этих случаях. Антрепренер театра, в котором они играли, предложил Джулии главную роль в следующей пьесе, и, хотя там не было ничего подходящего для Майкла и ей очень хотелось отказаться, он ей этого не разрешил. Он сказал, что они не могут позволить чувствам мешать делу. А вскоре и Майкл получил роль в исторической пьесе.

Они оба играли, когда разразилась война. К гордости и отчаянию Джулии, Майкл тут же записался в добровольцы, но с помощью одного из старых отцовских сослуживцев, который был важной персоной в военном министерстве, ему очень скоро присвоили офицерское звание. Когда Майкл отправился во Францию, Джулия горько сожалела о всех тех упреках, которыми она так часто осыпала его, и решила, если он будет убит, покончить с собой. Она хотела стать сестрой милосердия и тоже поехать на фронт — по крайней мере, станет ходить по одной земле с ним; но Майкл объяснил, что ее патриотический долг — продолжать выступления, и она была не в силах отказать ему в просьбе, которая могла оказаться последней. Майкл от души наслаждался войной. Он пользовался большой популярностью в полковом клубе, и старые кадровые офицеры приняли его как своего, несмотря на то, что он был актером. Казалось, будто семья потомственных военных, из которой он вышел, поставила на нем свою печать, так что он инстинктивно стал держаться и даже думать как профессиональный офицер. Майкл был тактичен, умел себя вести и искусно пускал в ход свои связи, он просто неминуемо должен был попасть в свиту какого-нибудь генерала. Он проявил себя хорошим организатором и последние три года войны провел в ставке главнокомандующего. Вернулся Майкл майором с крестом и орденом Почетного легиона.

Тем временем Джулия сыграла ряд крупных ролей и была признана лучшей актрисой младшего поколения. Театр во время войны процветал, и Джулия немало выгадывала тем, что играла в спектаклях, которые долго не сходили со сцены. Жалованье возросло, и с помощью разумных советов Майкла она умудрялась, хотя и с трудом, выжимать из антрепренеров по восемьдесят фунтов в неделю. Майкл приезжал в Англию в отпуск, и Джулия бывала безумно счастлива. Хотя он не был бы в большей безопасности, занимайся он разведением овец в Новой Зеландии, Джулия вела себя так, будто те коротенькие периоды, что он с ней

проводил,— последние дни, которыми ему суждено наслаждаться в этом мире, будто он только что вырвался из кошмара окопной жизни. Она была с ним нежна, заботлива и нетребовательна.

А незадолго до конца войны Джулия его разлюбила.

Она была в то время беременна. По мнению Майкла, заводить тогда ребенка было довольно опрометчиво, но Джулии было уже под тридцать, и она решила, что если они вообще хотят иметь детей, то откладывать больше нельзя. Ее положение в театре настолько упрочилось, что она могла позволить себе исчезнуть со сцены на несколько месяцев, и при том, что Майкла могли в любой момент убить,— конечно, он говорил, что ему абсолютно ничего не грозит, но он просто успокаивал ее, даже генералов и тех убивали,— удержать ее в жизни мог только его ребенок. Роды предстояли в конце года. Джулия ждала следующего отпуска Майкла как никогда раньше. Чувствовала она себя прекрасно, но немного растерянна и беспомощно, страшно тосковала по его объятиям, ей так нужны были его защита и покровительство. Майкл приехал. Он был удивительно красив в своей хорошо скроенной форме с нашивками штабиста и короной на погонах. Он загорел и в результате лишений, которые испытывал в ставке, довольно сильно пополнел. Коротко стриженный, с бравой выправкой и беспечным видом, он выглядел военным до кончиков ногтей. Настроение у него было великолепное, и не только потому, что он выбрался на несколько дней домой,— уже был виден конец войны. Майкл намеревался уйти из армии как можно скорее. Что толку иметь хоть какие-то связи, если не использовать их? Так много молодых актеров покинули сцену— кто из патриотизма, кто потому, что оставшиеся дома патриоты сделали их жизнь невыносимой, кто по призыву,— что главные роли попали в руки людей, или непригодных для военной службы, или уволенных из армии по ранению. Обстановка была на редкость благоприятная, и Майкл понимал, что, если не будет терять времени, он сможет выбирать роли по своему усмотрению. А когда он вновь напомним о себе публике, они начнут присматривать театр и при той репутации, которой добилась Джулия, без риска начнут собственное дело.

Они проговорили обо всем этом за полночь, а потом легли в постель. Джулия страстно прильнула к нему, он ее обнял. После трех месяцев воздержания Майкл был настроен на любовный лад.

— Ты моя милая женушка,— прошептал он.

Он прижался губами к ее губам. И вдруг Джулию охватило смутное отвращение. Она еле удержалась, чтобы его не оттолкнуть. Раньше ей казалось, что его тело, его юное прекрасное тело, пахнет цветами и медом, она жадно вдыхала этот сладостный аромат, такие вот ощущения и приковывали ее к Майклу, но теперь каким-то таинственным образом Майкл утратил свое очарование. Джулия осознала, что он потерял аромат юности и стал просто мужчиной. Она почувствовала легкую тошноту. Она не могла ответить на его пыл, больше всего ей хотелось, чтобы он поскорее удовлетворил желание, перевернулся на другой бок и уснул. Джулия долго лежала без сна. Она была в смятении. Сердце ее щемило, она знала, что лишилась чего-то очень дорогого, ей было себя жаль, она готова была заплакать, но в то же время ее переполняло торжество; казалось, она мстит ему за свои прошлые, такие горькие муки. Она была свободна от уз, которые привязывали ее к Майклу, и ликовала. Теперь она будет с ним на равных. Джулия вытянула ноги и облегченно вздохнула: «Господи, как прекрасно быть самой себе хозяйкой».

Они позавтракали в спальне, Джулия — в постели, Майкл — за маленьким столиком рядом. Она всматривалась в него, в то время как он читал газету, острым, оценивающим взглядом. Неужели каких-то три месяца могли так его изменить? А может быть, все годы она смотрела на Майкла глазами, которые впервые увидели его, когда он вышел в Миддлпуле на сцену во всем великолепии юности и красоты и поразил ее любовью, как смертельной болезнью? Майкл все еще был удивительно хорош собой. В конце концов, ему всего тридцать шесть, но юность осталась позади; с коротко стриженной головой, обветренной кожей, легкими морщинками, уже начинающими бороздить его гладкий лоб и появляться у уголков глаз, он был — решительно и бесповоротно — мужчиной. Он утратил свою щенячью грацию, жесты его стали однообразны. Взятые в отдельности, это были мелочи, но собранные вместе, они абсолютно все меняли. Майкл постарел.

Они по-прежнему жили в квартирке, снятой, когда они только приехали в Лондон. Хотя последнее время Джулия очень неплохо зарабатывала, казалось, нет смысла переезжать, пока Майкл находится в действующей армии. Однако теперь, когда они ожидали ребенка, квартира, безусловно, была слишком мала. Джулия присмотрела дом в Риджентс-парк, который очень ей понравился. Она хотела заблаговременно там обосноваться и ждать родов.

Дом выходил окнами в сад. Над бельэтажем, где помещались гостиная и столовая, были две спальни, а на втором этаже еще две комнаты, которые можно было использовать как дневную и ночную детские. Майклу все очень понравилось, даже цена показалась ему умеренной. Джулия за последние четыре года зарабатывала настолько больше него, что предложила меблировать дом за свой счет. Они стояли в одной из двух спален.

— Я могу перевезти для своей спальни то, что у нас есть,— сказала она.— А для тебя куплю хороший гарнитур у Мейпла.

— Я бы не стал входить в большие расходы на мою комнату,— улыбнулся он,— вряд ли я часто стану ею пользоваться.

Майкл любил спать с ней в одной постели. Не будучи страстным, он был нежен, и ему доставляло животное наслаждение чувствовать ее рядом с собой. Много лет это было ее величайшей радостью. Сейчас мысль об этом привела ее в раздражение.

— О, я не уверена, что мы сможем позволить себе эти глупости, пока не родится ребенок. До тех пор тебе придется спать одному.

— Я об этом не подумал. Если ты считаешь, что для малыша так лучше...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Майкл демобилизовался буквально в тот же день, как кончилась война, и сразу получил ангажемент. Он вернулся на сцену куда лучшим актером, чем раньше. Беспечные замашки, приобретенные им в армии, были на сцене весьма эффектны. Непринужденный, спортивный, всегда веселый малый, с легкой улыбкой и сердечным смехом, он хорошо подходил для салонных пьес. Его высокий голос придавал особую пикантность фривольной реплике, и, хотя серьезная страсть по-прежнему выглядела у него неубедительно, он мог предложить руку и сердце словно в шутку, объясниться с таким видом, будто сам над собой смеется, и так провести задорную любовную сцену, что публика была в восторге. Майкл никогда и не пытался играть никого, кроме самого себя. Он специализировался на ролях жуиров, богатых повес, джентльменов-игроков, гвардейцев и славных молодых бездельников. Антрепренеры любили его. Майкл усердно работал и подчинялся указаниям. Главное для него было получить роль, а какую — не имело особого значения. Он

упорно добивался жалованья, которого, по его мнению, заслуживал, но, если ему это не удавалось, предпочитал согласиться на меньшее, чем сидеть без работы.

Майкл тщательно продумал свои планы. Зимой, сразу после конца войны, разразилась эпидемия инфлюэнцы. Родители Майкла умерли. Он получил в наследство около четырех тысяч фунтов, что вместе с его сбережениями и деньгами Джулии составило почти семь тысяч. Однако плата за театральное помещение чудовищно подскочила, жалованье актерам и рабочим сцены также возросло, и для того, чтобы открыть собственный театр, требовалось теперь куда больше денег. Суммы, которой до войны с избытком могло хватить, теперь было далеко не достаточно. Оставалось одно — заинтересовать богатого человека, который вошел бы с ними в пай, чтобы один или два неудачных спектакля не выбили их из седла. Говорили, что всегда можно найти простофилю, который выпишет чек на кругленькую сумму для постановки новой пьесы, но, когда вы переходили от слов к делу, обнаруживалось, что главную роль в этой пьесе должна играть какая-нибудь красотка, которой он покровительствует, и деньги будут даны только при этом условии. Много лет назад Майкл и Джулия часто шутили насчет того, что какая-нибудь богатая старуха влюбится в Майкла и поможет ему открыть свой театр, но они уже давно поняли, что молодому актеру, у которого жена — актриса и он ей верен, никакой такой богатой старухи не отыскать. И все же они нашли женщину с деньгами, причем отнюдь не старуху, но интересовалась она не Майклом, а Джулией.

Долли де Фриз была вдова. Эта низенькая, тучная, несколько мужеподобная женщина с красивым орлиным носом, красивыми темными глазами, неуемной энергией, экспансивная и вместе с тем неуверенная в себе обожала театр. Когда Джулия и Майкл решили попытаться счастья в Лондоне, Джимми Лэнгтон, к которому она порой приходила на выручку, когда казалось, что ему придется закрыть театр, дал к ней рекомендательное письмо с просьбой по возможности им помочь. Миссис де Фриз уже видела Джулию в Миддлпуле. Она устроила несколько званных вечеров, чтобы познакомить молодых актеров с антрепренерами, и пригласила их в свой великолепный дом возле Гилдфорда, где они окунулись в роскошь, которая никогда им не снилась. Майкл ей совсем не понравился. Джулия восхищалась цветами, которые Долли де Фриз присылала к ней на квартиру и в уборную театра, была в восторге

от ее подарков: сумочек, несессеров, бус из полудрагоценных камней, брошей, но никак не показывала, что догадывается, чем вызвана щедрость Долли, и принимала ее исключительно как дань своему таланту. Когда Майкл ушел на войну, Долли настаивала на том, чтобы Джулия переехала к ней, в ее дом на Монтегью-сквер, но Джулия, пылко поблагодарив, отказалась, причем в такой тактичной форме, что Долли, вздохнув и уронив слезу, не могла не восхищаться ею еще сильнее. Когда родился Роджер, Джулия пригласила Долли быть его крестной матерью.

Некоторое время Майкл подумывал, не обратиться ли к Долли. Но он был достаточно проникновен и понимал, что, даже если бы она и сделала что-то для Джулии, она ничего не сделает для него. А Джулия наотрез отказалась прибегать к ее помощи.

— Она и так была к нам очень добра, право, я не могу еще что-то у нее кланчить, и будет так неприятно, если она откажет.

— Игра стоит свеч, а она, если и потеряет на этом кое-что, даже не почувствует. Я уверен, что ты могла бы ее уломать, если бы захотела.

Джулия ничуть в этом не сомневалась. Майкл так наивен в некоторых вещах; она не считала нужным указывать ему на очевидные факты.

Но Майкл был не из тех, кто легко отступает от того, что задумал. Госселины ехали в Гилдфорд, чтобы провести субботу и воскресенье у Долли, в новой машине, которую Джулия подарила Майклу ко дню рождения. Был прекрасный, теплый вечер, Майкл только недавно купил преимущественное право на постановку трех пьес, которые им обоим понравились, и слышал о здании театра, которое можно было снять на приемлемых условиях. Все было готово, чтобы начать дело, не хватало одного — денег. Майкл уговаривал Джулию воспользоваться предстоящим визитом.

— Сам попроси, если тебе так хочется, — нетерпеливо сказала Джулия. — Говорю тебе: я просить не стану.

— Мне она не даст. А ты можешь из нее веревки вить.

— Мы с тобой уже хорошо знаем, при каких условиях финансируют пьесы. Или человек хочет получить славу, пусть даже плохую, или он в кого-нибудь влюблен. Куча людей болтает об искусстве, но редко увидишь, чтобы они платили за него чистоганом, если не надеются извлечь из этого что-нибудь для самих себя.

— Что ж, предоставим Долли всю славу, какую она захочет.

— Ей нужно совсем другое.

— Что ты имеешь в виду?

— А ты не догадываешься?

Только тут его осенило. Майкл был так изумлен, что сбавил скорость. Неужели Джулия права? Он всегда считал, что не нравится Долли, а уж предполагать, что она в него влюблена,—это ему и в голову не могло прийти. Конечно, Джулия—женщина проницательная, ничего не пропустит, но она так ревнива, крошка, ей вечно кажется, будто женщины вешаются ему на шею. Спору нет, Долли подарила ему к рождеству запонки, но он-то полагал, она просто не хочет, чтобы он был в обиде,—ведь Джулии она подарила брошь, которая стоит не меньше двухсот фунтов. Должно быть, это было сделано для отвода глаз. Ну, он может, положила руку на сердце, сказать, что никогда не подавал ей надежд. Джулия хихикнула:

— Нет, милый, она влюблена, но не в тебя.

Майкл смутился. И как это Джулия всегда угадывает, о чем он думает? Да, от нее ничего не скроешь.

— Тогда зачем ты навела меня на эту мысль? Выражайся, ради всего святого, так, чтобы тебя можно было понять.

Это Джулия и сделала.

— В жизни не слышал такой чепухи!—воскликнул Майкл.—У тебя просто грязное воображение, Джулия.

— Брось, милый.

— Нет, я не верю ни единому твоему слову. В конце концов, у меня тоже есть глаза. Неужели я бы ничего не заметил?

Джулия еще никогда не видела его таким рассерженным.

— И даже если это правда, я думаю, ты сумеешь за себя постоять. Это один шанс на тысячу, просто безумие его пропустить.

— Клавдио и Изабелла в «Мера за меру»¹.

— Подло так говорить, Джулия. Я все же джентльмен. «*Neto me impune lacessit*».

Остаток пути прошел в грозном молчании.

Миссис де Фриз не спала и поджидала их.

— Я не хотела ложиться, пока не увижу вас,—сказала она, заключая Джулию в объятия и целуя в обе щеки. Майклу она едва пожала руку.

Джулия с удовольствием провалялась все утро в постели, просматривая воскресные газеты. Она начинала с театральных

¹ Комедия В. Шекспира.

новостей, затем переходила к светской хронике, затем к женской странице и, наконец, скользила взглядом по заголовкам остальных статей. Рецензии на книги она не удостоивала вниманием, ей было вообще непонятно, зачем на них тратят так много места. Майкл, спавший в соседней комнате, заглянул пожелать ей доброго утра и вышел в сад. Вскоре раздался негромкий стук в дверь, вошла Долли. Ее большие черные глаза сияли. Она села на край кровати и взяла Джулию за руку.

— Дорогая, я разговаривала с Майклом. Я хочу финансировать ваш театр.

У Джулии громко забилося сердце.

— О, Майкл не должен был вас просить. Я не хочу. Вы и так уже столько для нас сделали.

Долли наклонилась и поцеловала Джулию в губы. Голос ее был ниже, чем обычно, и слегка дрожал.

— Ах, моя любовь, разве вы не знаете, что я сделала бы для вас все на свете! Это будет так замечательно, это так сблизит нас, и я буду так вами горда!

Они услышали, что по коридору, насвистывая, идет Майкл; когда он вошел в комнату и Долли обернулась к нему, ее глаза были полны слез.

— Я ей рассказала.

Майкл не мог сдержать радости.

— Вот это женщина! — Он присел на кровать с другой стороны и взял Джулию за руку, которую только что отпустила Долли. — Ну, что скажешь, Джулия?

Она задумчиво взглянула на него.

— «Vous l'avez voulu, Georges Dandin»¹.

— Что это?

— Мольер.

Как только был подписан договор товарищества и Майкл снял помещение на осенний сезон, он нанял агента по рекламе. В газеты были посланы краткие извещения об открытии нового театра. Майкл вместе с агентом приготовил интервью для Джулии и для себя самого, которые они дадут прессе. В еженедельных газетах появились их фотографии — поодиночке, вдвоем и вместе с Роджером, — они взяли семейный тон и старались выжать из него все что можно. Они еще не решили, которой из трех пьес лучше начать. И вот как-то днем, когда Джулия сидела у себя в спальне и читала роман, вошел Майкл с рукописью в руке.

¹ «Ты этого хотел, Жорж Данден» (фр.).

— Послушай, я хочу, чтобы ты просмотрела эту пьесу. Агент только что прислал ее. По-моему, ее ждет сногшибательный успех. Но ответ надо дать сразу.

Джулия отложила роман.

— Я сейчас за нее возьмусь.

— Я буду внизу. Передай, когда кончишь, я приду, и мы с тобой ее обсудим. Там для тебя изумительная роль.

Джулия читала быстро, лишь проглядывая те сцены, которые ее не интересовали, уделяя все внимание роли героини, — ведь ее, естественно, будет играть она. Окончив, она дернула колокольчик и попросила служанку (которая была также ее костюмершей) сказать Майклу, что она его ждет.

— Ну, что ты думаешь?

— Пьеса хорошая. Она должна иметь успех.

Он услышал в ее голосе некоторое сомнение.

— В чем же тогда вопрос? Твоя роль замечательная. Такие вещи ты умеешь делать лучше всех. Много комедийных сцен, и чувств хоть отбавляй.

— Роль чудесная, я не спорю; меня смущает мужская роль.

— Она тоже совсем неплоха.

— Да, но ему пятьдесят, и если ты сыграешь его молодежь, пропадет самая соль. А роль пожилого человека тебе ни к чему.

— Да я и не собирался его играть. На нее годится только один актер, Монт Вернон. И мы заполучим его. А я буду играть Джорджа.

— Но это такая крошечная роль. Зачем она тебе?

— А почему нет?

— Я думала, мы откроем собственный театр для того, чтобы оба могли выступить в главных ролях.

— Ну, мне на это наплевать. Если в пьесе есть стоящая роль для тебя, меня нечего принимать в расчет. Может быть, в следующей пьесе больше повезет.

Джулия откинулась в кресле, и слезы потекли у нее по щекам.

— Ах, какая я свинья!

Майкл улыбнулся. Его улыбка была так же обаятельна, как прежде. Он подошел, опустился рядом с ней на колени и обнял ее.

— Что с тобой сегодня, старушка?

Глядя на него теперь, Джулия никак не могла понять, что вызывало в ней раньше такую безумную страсть. Теперь мысль об интимных отношениях с ним возбуждала в ней

тошногу. К счастью, Майклу очень понравилась спальня, которую она для него обставила. Постель никогда не была для него на первом месте, и он испытал даже облегчение, увидев, что Джулия больше не предъявляет к нему никаких претензий. Он удовлетворенно думал, что рождение ребенка успокоило ее, он на это и надеялся и лишь сожалел, что они не завели его гораздо раньше. Раза два он пытался, больше из любезности, чем по иной причине, возобновить их супружеские отношения, но Джулия выдвигала тот или иной предлог: она устала, не очень хорошо себя чувствует, у нее завтра два выступления, не считая утренней примерки костюмов. Майкл принял это с полнейшим спокойствием. С Джулией теперь было куда легче ладить, она не устраивала больше сцен, и он чувствовал себя счастливее, чем прежде. У него на редкость удачный брак; когда он глядел на другие пары, он не мог не видеть, как ему повезло. «Джулия славная женщина и умна, как сто чертей, с ней можно поговорить обо всем на свете. Лучший товарищ, какой у меня был, клянусь вам. Да, я не стыжусь признаться, что скорее проведу с ней день наедине, чем сыграю раунд в гольф».

Джулия с удивлением обнаружила, что стала жалеть Майкла с тех пор, как разлюбила его. Она была добрая женщина и понимала, каким это будет для него жестоким ударом по самолюбию, если он хотя бы заподозрит, как мало сейчас значит для нее. Она продолжала ему льстить. Джулия заметила, что он уже вполне спокойно выслушивает дифирамбы своему точенному носу и прекрасным глазам. Она посмеивалась про себя, видя, как он глотает самую грубую лесть. Больше она не боялась хватить через край. Взгляд ее все чаще останавливался на его тонких губах. Они делались все тоньше — к тому времени, когда он состарится, рот его превратится в узкую холодную щель. Бережливость Майкла, которая в молодости казалась забавной, даже трогательной чертой, теперь внушала ей отвращение. Когда люди попадали в беду, а с актерами это бывает нередко, они могли надеяться на сочувствие и хорошие слова, но никак не на звонкую монету. Он считал себя чертовски щедрым, когда расставался с гинеей, а пятифунтовый билет был для него пределом мотовства. Скоро он обнаружил, что Джулия тратит на хозяйство много денег, и, сказав, что хочет избавить ее от хлопот, взял бразды правления в свои руки. После этого ничто не пропадало зря. Каждый пенни был на учете. Джулия не понимала, почему прислуга их не бросает. Видимо, потому, что Майкл был с ними мил.

Своим сердечным, приветливым, дружеским обращением он добивался того, что все они стремились ему угодить, и кухарка разделяла его удовлетворение, когда находила мясника, который продавал на пенс с фунта дешевле, чем все остальные. Джулия не могла удержаться от смеха, думая, какая пропасть лежит между ним, с его страстью к экономии в жизни, и теми бесшабашными мотами, которых он так хорошо изображает на сцене. Она была уверена, что Майкл не способен на широкий жест, и вот вам, пожалуйста, словно ничего не может быть естественней, он готов отойти в сторону, чтобы дать ей хороший шанс. Джулия была так глубоко растрогана, что не могла говорить. Она горько упрекала себя за те дурные мысли, которые все последнее время возникали у нее в голове.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Они поставили эту пьесу, и она имела успех. После того они ставили новые пьесы год за годом. Майкл вел театр тем же методом и с той же бережливостью, что и дом, извлекая каждое пенни из тех спектаклей, которые имели успех, когда же спектакль проваливался, что, естественно, порой случалось, потери их бывали сравнительно невелики. Майкл льстил себя мыслью, что во всем Лондоне не найдется театра, где бы так мало тратили на постановки. Он проявлял великую изобретательность, преображая старые декорации в новые, а используя на все лады мебель, которую он постепенно собрал на складе, не должен был тратиться на прокат. Они завоевали репутацию смелого и инициативного театра, так как Майкл был готов пойти на риск и поставить пьесу неизвестного автора, чтобы иметь возможность платить высокие отчисления известным. Он выискивал актеров, которые не имели случая создать себе имя и не претендовали поэтому на высокую оплату. И сделал несколько очень удачных находок.

Когда прошло три года, положение их настолько упрочилось, что Майкл смог взять в банке ссуду, чтобы арендовать только что построенное театральное помещение. После длительных дебатов они решили назвать его «Сиддонс-театр». Пьеса, которой они открыли тот сезон, потерпела фиаско, то же произошло и со следующей. Джулия испугалась и пришла в уныние. Она решила, что новый театр неудачливый, что она надоела публике. Вот тогда-то Майкл оказался на высоте. Он был невозмутим.

— В нашем деле всякое бывает, сегодня хорошо, а завтра плохо. Ты — лучшая актриса в Англии. В труппе есть всего три человека, которые приносят деньги в кассу независимо от пьесы, и ты — одна из них. Ну, было у нас два провала. А следующая пьеса пройдет на ура, и мы с лихвой возместим все убытки.

Как только Майкл твердо почувствовал себя на ногах, он попробовал откупиться от Долли де Фриз, но она и слушать его не хотела, а его холодность ничуть не трогала ее. Наконец-то Майкл встретил достойного противника. Долли не видела никаких оснований изымать свой вклад из предприятия, которое, судя по всему, процветает и участие в котором позволяет ей быть в тесном контакте с Джулией. И вот теперь, набравшись мужества, он снова попытался избавиться от нее. Долли с негодованием отказалась покинуть их в беде, и Майкл в результате махнул рукой. Он утешался тем, что Долли, наверное, оставит своему крестнику Роджеру кругленькую сумму. У нее не было никого, кроме племянников в Южной Африке, а при взгляде на Долли сразу было видно, что у нее высокое кровяное давление. А пока что Майкла вполне устраивало иметь загородный дом возле Гилдфорда, куда можно было приехать в любое время. Это избавляло от расходов на собственную дачу. Третья пьеса имела большой успех, и Майкл, естественно, напомнил Джулии свои слова — теперь она видит, что он был прав. Майкл говорил так, будто вся заслуга принадлежит ему одному. Джулия чуть было не пожелала, чтобы эта пьеса тоже провалилась, как и две предыдущие, — так ей хотелось хоть немного сбить с него спесь. Майкл чересчур высокого мнения о себе. Конечно, нельзя отрицать, что он в своем роде умен, нет, скорее, хитер и практичен, но далеко не так умен, как он воображает. Не было такой вещи на свете, в которой бы он не разбирался лучше других — по его собственному мнению.

Мало-помалу Майкл все реже стал появляться на сцене. Его куда больше привлекала административная деятельность.

— Я хочу поставить наш театр на такие же деловые рельсы, на каких стоит любая фирма в Сити, — говорил он.

Майкл считал, что с большей пользой потратит вечер, если, в то время как Джулия выступает, будет посещать периферийные театры в поисках талантов. У него была записная книжка, куда он вносил имена всех актеров, которые, как ему казалось, подавали надежды. Затем Майкл взялся за режиссуру. Его всегда возмущало, что режиссеры

требуют такие большие деньги за постановку спектакля, а в последнее время кое-кто из них даже претендовал на долю со сборов. Наконец выпал случай, когда два режиссера, которые больше всего нравились Джулии, были заняты, а единственный оставшийся из тех, кому она доверяла, не мог уделить им все свое время.

— Я бы не прочь сам попытаться счастья,— сказал Майкл.

Джулия колебалась. Майкл не отличался фантазией, идеи его были банальны. Она не была уверена, что актеры станут слушать его указания. Но режиссер, которого они могли заполучить, потребовал такой несусветный гонорар, что им оставалось одно — дать Майклу попробовать свои силы. Он справился куда лучше, чем она ожидала. Он был добросовестен, внимателен, скрупулезен. Он не жалел труда. И к своему изумлению, Джулия увидела, что он извлекает из нее больше, чем любой другой режиссер. Он знал, на что она способна, и, знакомый с каждой ее интонацией, каждым выражением ее чудесных глаз, каждым движением ее грациозного тела, мог преподать ей советы, которые помогли ей создать одну из своих лучших ролей. С актерами труппы он был взыскателен, но дружелюбен. Когда у них начинали сдавать нервы, его добродушие, его искренняя доброжелательность сглаживали все острые углы. После этого спектакля у них уже не возникал вопрос о том, кто будет ставить их пьесы. Авторы любили Майкла, так как, не обладая творческим воображением, он был вынужден предоставлять пьесам говорить самим за себя, и часто, не вполне уверенный в том, что именно хотел сказать автор, он должен был выслушивать их указания.

Джулия стала богатой женщиной. Она не могла не признать, что Майкл так же осмотрителен с ее деньгами, как со своими собственными. Он следил за ее вложениями и, когда ему удавалось выгодно продать ее акции, был доволен не меньше, чем если бы они принадлежали ему самому. Он положил ей очень большой оклад и с гордостью заявлял, что она — самая высокооплачиваемая актриса в Лондоне, но когда играл сам, никогда не назначал себе больше того, что, по его мнению, стоила его роль, а ставя пьесу, записывал в статью расхода гонорар, который они дали бы второразрядному режиссеру. За дом и образование Роджера они платили пополам. Роджера записали в Итон через неделю после рождения. Нельзя было отрицать, что Майкл щепетильно честен и справедлив. Когда Джулия осознала, насколько она богаче его, она захотела взять все издержки на себя.

— Не вижу для этого никаких оснований,— сказал Майкл.— До тех пор, пока я смогу вносить свою долю, я буду это делать. Ты получаешь больше меня потому, что стоишь дороже. Я назначаю тебе такую плату потому, что ты зарабатываешь ее.

Можно было только восхищаться его самоотречением, тем, как он жертвовал собой ради нее. Если у него и были раньше честолюбивые планы относительно себя самого, он отказался от них, чтобы способствовать ее карьере. Даже Долли, не любившая его, признавала его бескорыстие. Какая-то непонятная стыдливость мешала Джулии худо говорить о нем с Долли, но Долли, при ее проницательном уме, уже давно разглядела, как невероятно Майкл раздражает свою жену, и считала долгом время от времени напоминать, насколько он ей полезен. Все его хвалили. Идеальный муж. Джулии казалось, что никто, кроме нее, не представляет, какво жить с мужем, который так чудовищно тщеславен. Его самодовольный вид, когда он выигрывал у своего противника в гольф или брал над кем-нибудь верх при сделке, совершенно выводил ее из себя. Майкл упивался своей ловкостью. Он был зануда, жуткий зануда! Он всегда все рассказывал Джулии, делился замыслами, возникавшими у него. Это было очень приятно в те времена, когда находиться рядом с ним доставляло ей наслаждение, но уже многие годы его прозаичность была ей невыносима. Что бы Майкл ни описывал, он входил в мельчайшие подробности. И он кичился не только своей деловой хваткой, с возрастом он стал невероятно кичиться своей внешностью. В молодости его красота казалась Майклу чем-то само собой разумеющимся, теперь же он начал обращать на нее большое внимание и не жалел никаких трудов, чтобы уберечь то, что от нее осталось. Это превратилось у него в навязчивую идею. Он чрезвычайно заботился о своей фигуре; не брал в рот ничего, что грозило бы ему прибавкой веса, и не забывал про моцион. Когда ему показалось, что он начинает лысеть, он тут же обратился к врачу-специалисту, и Джулия не сомневалась, что если бы он мог сохранить это в тайне, он пошел бы на пластическую операцию и подтянул кожу лица. Он взял обыкновение сидеть немного задрав вверх подбородок, чтобы не так были видны морщины на шее, и держался неестественно прямо, чтобы не отвисал живот. Он не мог пройти мимо зеркала, не взглянув в него. Он всячески напрашивался на комплименты и сиял от удовольствия, когда ему удавалось добиться их. Хлебом его не корми — только скажи, как он хорош. Джулия горько

усмехалась, думая, что сама приучила к этому Майкла. В течение многих лет она твердила ему, как он прекрасен, и теперь он просто не может жить без лести. Это была его ахиллесова пята. Безработной актрисе достаточно было сказать ему в глаза, что он неправдоподобно красив, как ему начинало казаться, будто она подходит для той роли, на которую ему нужен человек. В течение многих лет, насколько Джулии было известно, Майкл не имел дела с женщинами, но, перевалив за сорок пять, он стал заводить легкие интрижки. Джулия подозревала, что ни к чему серьезному они не приводили. Он был осторожен, и нужно ему было по-настоящему только одно — чтобы им восхищались. Джулия слышала, что когда его дамы становились слишком настойчивы, он использовал жену как предлог, чтобы от них избавиться. Или он не мог рисковать тем, что она будет оскорблена в своих чувствах, или она подозревала что-то, или устраивала сцены ревности — не одно, так другое, — но, «пожалуй, будет лучше, если их дружба кончится».

— И что они находят в нем? — воскликнула Джулия, обращаясь к пустой комнате.

Она взяла наугад десяток его последних фотографий и пересмотрела их одну за другой. Пожала плечами.

— Что ж, не мне их винить. Я тоже влюбилась в него. Конечно, тогда он был красивее.

Джулии взгрустнулось при мысли, как сильно она любила его. Ей казалось, что жизнь обманула ее, потому что ее любовь умерла. Она вздохнула.

— И у меня так болит спина, — сказала она.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В дверь постучали.

— Войдите, — сказала Джулия.

Вошла Эви.

— Вы не собираетесь лечь отдохнуть, мисс Лэмберт? — Она увидела, что Джулия сидит на полу, окруженная кучей фотографий. — Что это вы такое делаете?

— Смотрю сны. — Джулия подняла две фотографии. — «Взгляни сюда — вот два изображенья»¹.

На одной Майкл был снят в роли Меркуцио, во всей сияющей красе своей юности, на другой — в своей

¹ Шекспир. Гамлет.

последней роли: белый цилиндр, визитка, полевой бинокль через плечо. У него был невероятно самодовольный вид.

Эви шмыгнула носом.

— Потерянного не воротишь.

— Я думала о прошлом, и у меня теперь страшная хандра.

— Нечего удивляться. Коли начинаешь думать о прошлом, значит, у тебя уже нет будущего.

— Заткнись, старая корова,— сказала Джулия; она могла быть очень вульгарной.

— Ну хватит, пошли, не то вечером вы ни на что не будете годны. Я приберу весь этот разгром.

Эви была горничная и костюмерша Джулии. Она появилась у нее в Миддлпуле и приехала вместе с ней в родной Лондон — она была кокни. Тощая, угловатая, немолодая, с испитым лицом и рыжими, вечно растрепанными волосами, которые не мешало помыть; у нее не хватало спереди двух зубов, но, несмотря на неоднократное предложение Джулии дать ей деньги на новые зубы, Эви не желала их вставлять.

— Сколько я ем, для того и моих зубов много. Только мешать будет, коли напихашь себе полон рот слоновьих клыков.

Майкл уже давно хотел, чтобы Джулия завела себе горничную, чья внешность больше соответствовала бы их положению, и пытался убедить Эви, что две должности слишком трудны для нее, но Эви и слышать ничего не желала.

— Говорите что хотите, мистер Госселин, а только пока у меня есть здоровье да силы, никто другой не будет прислуживать мисс Лэмберт.

— Мы все стареем, Эви, мы все уже немолоды.

Эви, шмыгнув носом, утерла его пальцем.

— Пока мисс Лэмберт достаточно молода, чтобы играть женщин двадцати пяти лет, я тоже достаточно молода, чтобы одевать ее в театре и прислуживать ей дома.— Эви кинула на него пронизательный взгляд.— И зачем это вам надо платить два жалованья — такую кучу денег! — когда вы имеете всю работу за одно?

Майкл добродушно рассмеялся:

— В этом что-то есть, Эви, милочка.

...Эви выпроводила Джулию из комнаты и погнала ее наверх. Когда не было дневного спектакля, Джулия обычно ложилась поспать часа на два перед вечерним, а затем делала легкий массаж. Она разделась и скользнула в постель.

— Черт подери, грелка совершенно остыла.

Джулия взглянула на стоявшие на камине часы. Ничего удивительного, грелка прождала ее чуть не час. Вот уж не думала, что так долго пробыла в комнате Майкла, разглядывая фотографии и перебирая в памяти прошлое.

«Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Я уйду со сцены в шестьдесят. В пятьдесят восемь — турне по Южной Африке и Австралии. Майкл говорит, там можно изрядно набить карман. Сыграю все свои старые роли. Конечно, даже в шестьдесят я смогу играть сорокапятилетних. Но откуда их взять? Проклятые драматурги!»

Стараясь припомнить пьесу, в которой была бы хорошая роль для женщины сорока пяти лет, Джулия уснула. Спала она крепко и проснулась только, когда пришла массажистка. Эви принесла вечернюю газету, и, пока Джулии массируют длинные стройные ноги и плоский живот, она, надев очки, читала те же самые театральные новости, что и утром, ту же светскую хронику и страничку для женщин. Вскоре в комнату вошел Майкл и присел к ней на кровать.

— Ну, как его зовут? — спросила Джулия.

— Кого?

— Мальчика, которого мы пригласили к ленчу.

— Понятия не имею. Я отвез его в театр и думать о нем забыл.

Мисс Филиппс, массажистке, нравился Майкл. С ним тебя не ждут никакие неожиданности. Он всегда говорит одно и то же, и знаешь, что отвечать. И нисколько не задается. А красив!.. Даже трудно поверить!

— Ну, мисс Филиппс, сгоняем жирок?

— Ах, мистер Госселин, да на мисс Лэмберт нет и унции жира. Просто чудо, как она сохраняет фигуру.

— Жаль, что вы не можете массировать меня, мисс Филиппс. Может быть, согнали бы и с меня лишек.

— Что вы такое говорите, мистер Госселин! Да у вас фигура двадцатилетнего юноши. Не представляю, как вы этого добиваетесь, честное слово, не представляю.

— «Скромный образ жизни, высокий образ мыслей»¹.

Джулия не обращала внимания на их болтовню, но ответ мисс Филиппс достиг ее слуха:

— Конечно, нет ничего лучше массажа, я всегда это говорю, но нужно следить и за диетой, с этим не приходится спорить.

«Диета,— подумала Джулия.— Когда мне стукнет шестьдесят, я дам себе волю. Буду есть столько хлеба с маслом,

¹ Цицерон. Из «Писем к близким».

сколько захочу. Буду есть горячие булочки на завтрак, картофель на ленч и картофель на обед. И пиво. Господи, как я люблю пиво! Гороховый суп, суп с томатом, пудинг с патокой и вишневый пирог. Сливки, сливки, сливки. И, да поможет мне бог, никогда в жизни больше не прикоснусь к шпинату».

Когда массаж был окончен, Эви принесла Джулии чашку чаю, ломтик ветчины, с которого было срезано сало, и кусочек поджаренного хлеба. Джулия встала с постели, оделась и поехала с Майклом в театр. Она любила приезжать туда за час до начала спектакля. Майкл пошел обедать в клуб. Эви еще раньше приехала в кебе, и, когда Джулия вошла в свою уборную, там уже все было готово. Джулия снова разделась и надела халат. Садясь перед туалетным столиком, чтобы наложить грим, Джулия заметила в вазе свежие цветы.

— Цветы? От кого? От миссис де Фриз?

Долли всегда присылала ей огромные букеты к премьере, к сотому спектаклю и к двухсотому, если он бывал, а в промежутках всякий раз, когда заказывала цветы для своего дома, отправляла часть их Джулии.

— Нет, мисс.

— Лорд Чарлз?

Лорд Чарлз Тэмерли был самый давний и самый верный поклонник Джулии; проходя мимо цветочного магазина, он обычно заходил туда и выбирал для Джулии розы.

— Там есть карточка,— сказала Эви.

Джулия взглянула на нее. Мистер Томас Феннел. Тэвисток-сквер.

— Ну и название. Кто бы это мог быть, как ты думаешь, Эви?

— Верно, какой-нибудь бедняга, которого ваша роковая красота стукнула обухом по голове.

— Стоят не меньше фунта. Тэвисток-сквер звучит не очень-то роскошно. Чего доброго, неделю сидел без обеда, чтобы их купить.

— Вот уж не думаю.

Джулия наложила на лицо грим.

— Ты чертовски не романтична, Эви. Раз я не хористка, ты не понимаешь, почему мне присылают цветы. А ноги у меня, видит бог, получше, чем у большинства этих дев.

— Идите вы со своими ногами,— сказала Эви.

— А я тебе скажу, очень даже недурно, когда мне в мои годы присылают цветы. Значит, я еще ничего.

— Ну, посмотрел бы он на вас сейчас, ни в жисть бы не прислал, я их брата знаю,— сказала Эви.

— Иди к черту!

Но когда Джулия кончила гримироваться и Эви надела ей чулки и туфли, Джулия воспользовалась теми несколькими минутами, что у нее оставались, чтобы присесть к бюро и написать своим четким почерком благодарственную записку мистеру Томасу Феннелу за его великолепные цветы. Джулия была вежлива от природы, а кроме того, взяла себе за правило отвечать на все письма поклонников ее таланта. Таким образом она поддерживала контакт со зрителями. Надписав конверт, Джулия кинула карточку в мусорную корзину и стала надевать костюм, который требовался для первого акта. Мальчик, вызывающий актеров на сцену, постучал в дверь уборной:

— На выход, пожалуйста.

Эти слова все еще вызывали у Джулии глубокое волнение, хотя один бог знает, сколько раз она их слышала. Они подбадривали ее, как тонизирующий напиток. Жизнь получала смысл. Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На следующий день Джулию пригласил к ленчу Чарлз Тэмерли. Его отец, маркиз Деннорант, женился на богатой наследнице, и Чарлзу досталось от родителей значительное состояние. Джулия часто бывала у него на приемах, которые он любил устраивать в своем особняке на Хилл-стрит. В глубине души она питала глубочайшее презрение к важным дамам и благородным господам, с которыми встречалась у него, ведь сама она зарабатывала хлеб собственным трудом и была художником в своем деле, но она понимала, что может завести там полезные связи. Благодаря им газеты писали о великолепных премьерах в «Сиддонс-театре», и когда Джулия фотографировалась на загородных приемах в окружении аристократов, она знала, что это хорошая реклама. Были одна-две первые актрисы моложе ее, которым не очень-то нравилось, что она зовет, по крайней мере, трех герцогинь по имени. Это не огорчало Джулию. Джулия не была блестящей собеседницей, но глаза ее так сияли, слушала она с таким внимательным видом, что, как только она научилась жаргону светского общества, с ней никому не было скучно. У Джулии был большой подражательный дар, который она обычно сдерживала, считая, что это может повредить игре на сцене, но в этих кругах она обратила его

в свою пользу и приобрела репутацию остроумной женщины. Ей было приятно нравиться им, этим праздным, элегантным дамам, но она смеялась про себя над тем, что их ослепляет ее романтический ореол. Интересно, что бы они подумали, если бы узнали, как в действительности прозаична жизнь преуспевающей актрисы, какого она требует неустанного труда, какой постоянной заботы о себе, насколько необходимо вести при этом монотонный, размеренный образ жизни! Но Джулия давала им благожелательные советы, как лучше употреблять косметику, и позволяла копировать фасоны своих платьев. Одевалась она всегда великолепно. Майкл, наивно полагавший, что она покупает свои туалеты за бесценок, даже не представлял, сколько она в действительности тратит на них.

Джулия имела репутацию добропорядочной женщины в обоих своих мирах. Никто не сомневался, что ее брак с Майклом — примерный брак. Она считалась образцом супружеской верности. В то же время многие люди в кругу Чарлза Тэмерли были убеждены, что она — его любовница. Но эта связь, полагали они, тянется так долго, что стала вполне респектабельной, и, когда их обоих приглашали на конец недели в один и тот же загородный дом, многие снисходительные хозяйки помещали их в соседних комнатах. Слухи об их связи распустила в свое время леди Чарлз Тэмерли, с которой Чарлз Тэмерли давно уже не жил, но в действительности в этом не было ни слова правды. Единственным основанием для этого служило то, что Чарлз вот уже двадцать лет был безумно влюблен в Джулию и, бесспорно, разошлись супруги Тэмерли, и так не очень между собой ладившие, из-за нее. Забавно, что свела Джулию и Чарлза сама леди Чарлз. Они трое случайно оказались на вилле Долли де Фриз, когда Джулия, в то время молоденькая актриса, имела в Лондоне свой первый успех. Был большой прием, и ей все уделяли усиленное внимание. Леди Чарлз, тогда женщина лет за тридцать, с репутацией красавицы, хотя, кроме глаз, у нее не было ни одной красивой черты и она умудрялась производить эффектное впечатление лишь благодаря дерзкой оригинальной своей внешности, перегнулась через стол с милостивой улыбкой:

— О, мисс Лэмберт, я, кажется, знала вашего батюшку, я тоже с Джерси. Он был врач, не правда ли? Он часто приходил в наш дом.

У Джулии засосало под ложечкой. Теперь она вспомнила, кто была леди Чарлз до замужества, и увидела приготовленную ей ловушку. Она залилась смехом.

— Вовсе нет,— ответила она.— Он был ветеринар. Он ходил к вам принимать роды у сук. В доме ими кишмя кишело.

Леди Чарлз не нашлась сразу, что сказать.

— Моя мать очень любила собак,— ответила она наконец.

Джулия радовалась, что на приеме не было Майкла. Бедный ягненок, это страшно задело бы его гордость. Он всегда называл ее отца «доктор Ламбёр», произнося имя на французский лад, и когда, вскоре после войны, он умер и мать Джулии переехала к сестре на Сен-Мало, стал называть тещу «мадам де Ламбер». В начале ее карьеры все это еще как-то трогало Джулию, но теперь, когда она прочно стала на ноги и утвердила свою репутацию большой актрисы, она по-иному смотрела на вещи. Она была склонна, особенно среди «сильных мира сего», подчеркивать, что ее отец — всего-навсего ветеринар. Она сама не могла бы объяснить почему, но чувствовала, что ставит их этим на место.

Чарлз Тэмерли догадался, что его жена хотела намеренно унижить молодую актрису, и, рассердившись, лез из кожи вон, чтобы быть с ней любезным. Он попросил разрешения нанести ей визит и преподнес чудесные цветы.

Ему было тогда около сорока. Изящное тело венчала маленькая головка, с не очень красивыми, но весьма аристократическими чертами лица. Он казался чрезвычайно хорошо воспитанным, что соответствовало действительности, и отличался утонченными манерами. Лорд Чарлз был ценителем всех видов искусства. Он покупал современную живопись и собирал старинную мебель. Он очень любил музыку и был на редкость хорошо начитан. Сперва ему было просто забавно приходиться в крошечную квартирку на Бэкингем-плейс-роуд, где жили двое молодых актеров. Он видел, что они бедны, и ему приятно щекотало нервы знакомство с — как он наивно полагал — настоящей богемой. Он приходил к ним несколько раз, и для него было настоящим приключением, когда его пригласили на ленч, который им подавало форменное пугало по имени Эви, служившее у них горничной. Лорд Чарлз не обращал особого внимания на Майкла, который, несмотря на свою бьющую в глаза красоту, казался ему довольно заурядным молодым человеком, но Джулия покорила его. У нее были темперамент, характер и кипучая энергия, с которыми ему еще не приходилось сталкиваться. Несколько раз лорд Чарлз ходил в театр смотреть Джулию и сравнивал ее

исполнение с игрой великих актрис мира, которых он видел в свое время. Ему казалось, что у нее очень яркая индивидуальность. Ее обаяние было бесспорно. Его сердце затрепетало от восторга, когда он внезапно понял, как она талантлива.

«Вторая Сиддонс, возможно, больше, чем Эллен Терри»¹.

В те дни Джулия не считала нужным ложиться днем в постель, она была сильна, как лошадь, и никогда не уставала, и они часто гуляли вместе с лордом Чарлзом в парке. Она чувствовала, что ему хочется видеть в ней дитя природы. Джулии это вполне подходило. Ей не надо было прилагать усилий, чтобы казаться искренней, открытой и девически восторженной. Чарлз водил ее в Национальную галерею, в галерею Тейта и Британский музей, и она испытывала от этого почти такое удовольствие, какое выказывала. Лорд Тэмерли любил делиться сведениями, Джулия была рада их получать. У нее была цепкая память, и она очень много от него узнала. Если впоследствии она могла рассуждать о Прусте и Сезанне в самом избранном обществе так, что все поражались ее высокой культуре, обязана этим она была лорду Чарлзу. Джулия поняла, что он влюбился в нее, еще до того, как он сам это осознал. Ей казалось это довольно забавным. С ее точки зрения, лорд Чарлз был пожилой мужчина, и она думала о нем как о добром старом дядюшке. В то время Джулия еще была без ума от Майкла. Когда Чарлз догадался, что любит ее, его манера обращения с ней немного изменилась, он стал стеснительным и часто, оставаясь с ней наедине, молчал.

«Бедный ягненок,— сказала она себе,— он такой большой джентльмен, что просто не знает, как ему себя вести».

Сама-то она уже давно решила, какой ей держаться линии поведения, когда он откроется ей в любви, что рано или поздно обязательно должно было произойти. Одно она даст ему понять без обиняков: пусть не воображает, раз он лорд, а она — актриса, что ему стоит только поманить и она прыгнет к нему в постель. Если он попробует с ней такие штучки, она разыграет оскорбленную добродетель и, вытянув вперед руку — роскошный жест, которому ее научила Жанна Тэбу,— укажет ему на дверь. С другой стороны, если он будет скован, не сможет выдать из себя путного слова от смущения и расстройства чувств, она и сама будет робка и трепетна, слезы в голосе и все в этом духе; она

¹ Терри Эллен Алисия (1847—1928) — английская актриса.

скажет, что ей и в голову не приходило, какие он испытывает к ней чувства, и — нет, нет, это невозможно, это разобьет Майклу сердце. Они хорошо выплачутся вместе, и потом все будет как надо. Чарлз прекрасно воспитан и не станет ей надоедать, если она раз и навсегда вобьет ему в голову, что дело не выгорит.

Но когда объяснение наконец произошло, все было совсем не так, как ожидала Джулия. Они с Чарлзом гуляли в Сент-Джеймс-парке, любовались пеликанами и обсуждали — по ассоциации, — будет ли она в воскресенье вечером играть Милламант¹. Затем они вернулись домой к Джулии выпить по чашечке чая. Съели пополам сдобную лепешку. Вскоре лорд Чарлз поднялся, чтобы уйти. Он вынул из кармана миниатюру и протянул Джулии.

— Портрет Клэрон. Это актриса восемнадцатого века, у нее было много ваших достоинств.

Джулия взглянула на хорошенькое умное личико, окаймленное пудренными буклями, и подумала, настоящие ли бриллианты на рамке или стразы.

— О, Чарлз, это слишком дорогая вещь. Как мило с вашей стороны!

— Я так и думал, что она вам понравится. Это — нечто вроде прощального подарка.

— Вы уезжаете?

Джулия была удивлена, он ничего ей об этом не говорил. Лорд Чарлз взглянул на нее с легкой улыбкой.

— Нет. Но я намерен больше не встречаться с вами.

— Почему?

— Я думаю, вы сами это знаете не хуже меня.

И тут Джулия совершила позорный поступок. Она села и с минуту молча смотрела на миниатюру. Выдержав идеальную паузу, она подняла глаза, пока они не встретились с глазами Чарлза. Она могла вызвать слезы по собственному желанию, это был один из ее самых эффектных трюков, и теперь, хотя она не издала ни звука, ни всхлипа, слезы заструились у нее по лицу. Рот чуть-чуть приоткрыт, глаза как у обиженного ребенка, — все вместе создавало на редкость трогательную картину. Лорд Чарлз не мог этого вынести; его черты исказила гримаса боли. Когда он заговорил, голос его был хриплым от обуревавших его чувств:

— Вы любите Майкла, так ведь?

¹ Героиня комедии «Пути светской жизни» английского комедиографа У. Конгрива (1670—1729).

Джулия чуть заметно кивнула. Сжала губы, словно пытаясь овладеть собой, но слезы по-прежнему катились у нее по щекам.

— У меня нет никаких шансов?

Он подождал ответа, но она лишь подняла руку ко рту и стала кусать ногти, по-прежнему глядя на него полными слез глазами.

— Вы не представляете, какая для меня мука видеть вас. Вы хотите, чтобы я продолжал с вами встречаться?

Она снова чуть заметно кивнула.

— Клара устраивает мне сцены. Она догадалась, что я в вас влюблен. Простой здравый смысл требует, чтобы мы расстались.

На этот раз Джулия слегка покачала головой. Всклипнула. Откинулась в кресле и отвернулась. Вся ее поза говорила о том, сколь глубока ее скорбь. Кто бы мог устоять? Чарлз сделал шаг вперед и, опустившись на колени, заключил сломленное горем, безутешное существо в свои объятия.

— Улыбнитесь, ради всего святого. Я не могу этого вынести. О Джулия, Джулия!.. Я так вас люблю, я не могу допустить, чтобы из-за меня вы страдали. Я на все согласен. Я не буду ни на что претендовать.

Джулия повернула к нему залитое слезами лицо («Господи, ну и видок сейчас у меня!») и протянула ему губы. Он нежно ее поцеловал. Поцеловал в первый и единственный раз.

— Я не хочу терять вас,— глухим от слез голосом произнесла она.

— Любимая! Любимая!

— И все будет как раньше?

— В точности.

Она глубоко и удовлетворенно вздохнула и минуты две оставалась в его объятиях. Когда лорд Чарлз ушел, Джулия встала с кресла и посмотрелась в зеркало. «Сукина ты дочь»,— сказала она самой себе. Но тут же засмеялась, словно ей вовсе не стыдно, и пошла в ванную комнату вымыть лицо и глаза. Она была в приподнятом настроении. Услышав, что пришел Майкл, она его позвала:

— Майкл, посмотри, какую миниатюру подарил мне только что Чарлз. Она на каминной полочке. Это настоящие драгоценные камни или подделка?

Когда леди Чарлз оставила мужа, Джулия несколько встревожилась: та грозила подать в суд на развод, и Джулии не очень-то улыбалась мысль появиться в роли соответ-

чицы. Недели две-три она сильно нервничала. Она решила ничего не рассказывать Майклу без крайней необходимости, и слава богу, так как впоследствии выяснилось, что угрозы леди Чарлз преследовали единственную цель: заставить ни в чем не повинного супруга назначить ей как можно более солидное содержание. Джулия удивительно ловко управлялась с Чарлзом. И было ясно без слов, что при ее любви к Майклу ни о каких интимных отношениях не может быть и речи, но в остальном он был для нее всем: ее другом, ее советчиком, ее наперсником, человеком, к помощи которого она всегда могла обратиться в случае необходимости, который утешит ее при любой неприятности. Джулии стало немного трудней, когда Чарлз, с присущей ему чуткостью, увидел, что она больше не любит Майкла; пришлось призвать на помощь весь свой такт. Конечно, она, не задумываясь, без особых угрызений совести сделала бы его любовницей. Будь он, скажем, актером и люби ее так давно и сильно, она бы легла с ним в постель просто из дружеских чувств; но с Чарлзом это было невозможно. Джулия относилась к нему с большой нежностью, но он был так элегантен, так воспитан, так культурен, она просто не могла представить его в роли любовника. Все равно что лечь в постель с *object d'art*¹. Даже его любовь к театру вызывала в ней легкое презрение. В конце концов, она была творцом, а он — всего-навсего зрителем. Чарлз хотел, чтобы она ушла к нему от Майкла. Они купят в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива, виллу с огромным садом, заведут шхуну и будут проводить долгие дни на прекрасном темно-фиолетовом море. Любовь, красота и искусство вдали от мира.

«Чертов дурак,— думала Джулия.— Как будто я откажусь от своей карьеры, чтобы похоронить себя в какой-то дыре».

Джулия сумела убедить Чарлза, что она слишком многим обязана Майклу, к тому же у нее ребенок; не может же она допустить, чтобы его юная жизнь омрачилась сознанием того, что его мать — дурная женщина. Апельсиновые деревья — это, конечно, прекрасно, но на его великолепной вилле у нее не будет и минуты душевного покоя от мысли, что Майкл несчастен, а за ее ребенком присматривают чужие люди. Нельзя думать только о себе, ведь правда? О других тоже надо подумать. Джулия была так прелестна, так женственна! Иногда она спрашивала Чарлза, почему он

¹ Предметом искусства (*фр.*).

не разведется и не женится на какой-нибудь милой девушке. Ей невыносима мысль, что из-за нее он зря тратит свою жизнь. Чарлз отвечал, что она единственная, кого он любит и будет любить до конца своих дней.

— Ах, это так печально,— говорила Джулия.

Тем не менее она всегда была начеку, и, если ей чудилось, что какая-то женщина собирается подцепить Чарлза на крючок, Джулия делала все, чтобы испортить ей игру. Если опасность казалась особенно велика, Джулия не оставалась перед сценой ревности. Они уже давно пришли к соглашению, конечно, не прямо, а при помощи осторожных намеков и отдаленных иносказаний, со всем тактом, которого можно было ждать от лорда Чарлза при его воспитанности, и от Джулии, при ее добром сердце, что если с Майклом что-нибудь случится, они так или иначе избавятся от леди Чарлз и соединятся узами брака. Но у Майкла было идеальное здоровье.

В этот день Джулия получила огромное удовольствие от ленча на Хилл-стрит. Был большой прием. Джулия никогда не потворствовала Чарлзу в его стремлении приглашать к себе актеров и драматургов, с которыми он где-нибудь случайно встретился, и сегодня она была единственной из гостей, кто когда-либо сам зарабатывал себе на жизнь. Она сидела между старым, толстым, лысым и словоохотливым членом кабинета министров, который лез из кожи вон, чтобы ее занять, и молодым герцогом Уэстри, который был похож на младшего конюха и гордился тем, что знает французское арго лучше любого француза. Услышав, что Джулия говорит по-французски, он потребовал, чтобы она беседовала с ним только на этом языке. После ленча ее уговорили продеklamировать отрывок из «Федры» так, как это делают в «Комеди Франсез», и так, как его произнес бы английский студент, занимающийся в Королевской академии театрального искусства. Джулия заставила общество сильно смеяться и ушла с приема упоенная успехом. Был прекрасный погожий день, и Джулия решила пройтись пешком от Хилл-стрит до Стэнхоуп-плейс. Когда она пробиралась сквозь толпу на Оксфорд-стрит, многие ее узнавали, и, хотя она смотрела прямо перед собой, она ощущала на себе их взгляды.

«Черт знает что. Никуда нельзя пойти, чтобы на тебя не пялили глаза».

Джулия замедлила шаг. День действительно был прекрасный.

Она открыла дверь дома своим ключом и, войдя в холл, услышала телефонный звонок. Машинально сняла трубку.

— Да?

Обычно она меняла голос, отвечая на звонки, но сегодня забыла.

— Мисс Лэмберт?

— Я не знаю, дома ли она. Кто говорит? — спросила она на этот раз так, как говорят кокни. Но первое односложное словечко выдало ее. В трубке послышался смешок.

— Я только хотел поблагодарить вас за записку. Вы зря беспокоились. С вашей стороны было так любезно пригласить меня к ленчу, и мне захотелось послать вам несколько цветков.

Звук его голоса, не говоря о словах, объяснил ей, кто ее собеседник. Это был тот краснеющий юноша, имени которого она так и не узнала. Даже теперь, хотя она видела его карточку, она не могла вспомнить. Она запомнила только то, что он живет на Тэвисток-сквер.

— Очень мило с вашей стороны, — ответила она своим голосом.

— Вы, наверное, не захотите выпить со мной чашечку чаю как-нибудь на днях?

Ну и наглость! Да она не пойдет пить чай и с герцогиней! Он разговаривает с ней, как с какой-нибудь хористочкой. Смех, да и только.

— Почему бы и нет?

— Правда? — В голосе зазвучало волнение. («А у него приятный голос».) — Когда?

Ей совсем не хотелось сейчас лечь спать.

— Сегодня.

— О'кей. Я отпрошусь из конторы пораньше. В половине пятого вас устроит? Тэвисток-сквер, 138.

С его стороны было очень мило пригласить ее к себе. Он мог назвать какое-нибудь модное место, где все бы на нее тарацились. Значит, дело не в том, что ему просто хочется показаться рядом с ней.

На Тэвисток-сквер Джулия поехала в такси. Она была довольна собой. Всегда приятно сделать доброе дело. С каким удовольствием он будет потом рассказывать жене и детям, что сама Джулия Лэмберт приезжала к нему на чай, когда он еще был мелким клерком в бухгалтерской конторе. Она была так проста, так естественна. Слушая ее болтовню, никто бы не догадался, что она — величайшая актриса Англии. А если они ему не поверят, он покажет им ее фотографию, подписанную: «Искренне Ваша, Джулия Лэмберт». Он скажет со смехом, что, конечно, если бы он не был таким желторотым мальчишкой, он бы никогда не осмелился ее пригласить.

Когда Джулия подъехала к дому и отпустила такси, она вдруг подумала, что так и не вспомнила его имени и, когда ей откроют дверь, не будет знать, кого попросить. Но, подойдя к двери, увидела, что там не один звонок, а целых восемь, четыре ряда по два звонка, и под каждым приколотая карточка или клочок бумаги с именем. Это был старый особняк, разделенный на квартиры. Джулия без особой надежды стала читать имена — вдруг какое-нибудь из них покажется ей знакомым, — как тут дверь распахнулась, и он собственной персоной возник перед ней.

— Я видел, как вы подъехали, и побежал вниз. Простите, я живу на четвертом этаже. Надеюсь, вас это не затрудит?

— Конечно нет.

Джулия стала подниматься по голой лестнице. Она немного запыхалась, когда добралась до последней площадки. Юноша легко прыгал со ступеньки на ступеньку — как козленок, подумала она, — и Джулии не хотелось просить его идти помедленнее. Комната, в которую он ее провел, была довольно большая, но бедно обставленная — выцветшие обои, старая мебель с вытертой обшивкой. На столе стояла тарелка с кексами, две чайные чашки, сахарница и молочник. Фаянсовая посуда была из самых дешевых.

— Присядьте, пожалуйста, — сказал он. — Вода уже кипит. Одну минутку. Газовая горелка в ванной комнате.

Он вышел, и она осмотрелась кругом.

«Ах ты, ягненок! Видно, беден как церковная мышь».

Комната напомнила Джулии многие меблированные комнаты, в которых ей приходилось жить, когда она впервые попала на сцену. Она заметила трогательные попытки скрыть тот факт, что жилище это было и гостиной, и столовой, и спальней одновременно. Диван у стены, очевидно, ночью служил ему ложем. Джулия точно скинула с плеч два десятка лет. В воображении она вернулась к дням своей молодости. Как весело жилось в таких комнатах, с каким удовольствием они поглощали самые фантастические блюда, снедь, принесенную в бумажных кульках, или зажаренную на газовой горелке яичницу с беконом!.. Вошел хозяин, неся коричневый чайник с кипятком. Джулия съела квадратное бисквитное пирожное, облитое розовой глазурью. Она не позволяла себе такой роскоши уже много лет. Цейлонский чай, очень крепкий, с сахаром и молоком, вернул ее к тем дням, о которых она, казалось, давно забыла. Она снова была молодой, малоизвестной, стремя-

щейся к успеху актрисой. Восхитительное чувство. Оно требовало какого-то жеста, но Джулии пришел на ум лишь один: она сняла шляпу и встряхнула головой.

Они завели разговор. Юноша казался робким, куда более робким, чем по телефону; что ж, нечему удивляться, теперь, когда она здесь, он, естественно, смущен, очень волнуется, и Джулия решила, что ей надо его ободрить. Он рассказал ей, что родители его живут в Хайгейте, его отец — поверенный в делах, раньше он жил вместе с ними, но захотел быть сам себе хозяином и сейчас, в последний год учения, отделился от семьи и снял эту крошечную квартиру. Он готовится к последнему экзамену. Они заговорили о театре. Он смотрел Джулию во всех ее ролях, с тех пор как ему исполнилось двенадцать лет. Он рассказал, что стоял однажды после дневного спектакля у служебного входа и, когда она вышла, попросил ее расписаться в его книге автографов. Да, юноша очень мил: эти голубые глаза и светло-каштановые волосы! Как жаль, что он их прилизывает. И такая белая кожа и яркий румянец на скулах; интересно, нет ли у него чахотки? Дешевый костюм сидит хорошо, он умеет носить вещи, ей это нравится; и он выглядит неправдоподобным чистюлей.

Джулия спросила, почему он поселился на Тэвисток-сквер. Это недалеко от центра, объяснил он, и тут есть деревья. Так приятно глядеть в окно. Джулия поднялась взглянуть; это хороший предлог, чтобы встать, а потом она наденет шляпу и попрощается с ним.

— Да, очаровательно. Добрый старый Лондон; сразу делается весело на душе.

Юноша стоял рядом с ней, и при этих словах Джулия обернулась. Он обнял ее за талию и поцеловал в губы. Ни одна женщина на свете не удивилась бы так. Джулия не верила сама себе и стояла как вкопанная. У него были мягкие губы, и вокруг него витал аромат юности — довольно приятный аромат. Но то, что он делал, не лезло ни в какие ворота. Он раздвигал ей губы кончиком языка и обнимал ее теперь уже двумя руками. Джулия не рассердилась, но и не чувствовала желания рассмеяться, она сама не знала, что чувствует. Она видела, что он нежно тянет ее куда-то — его губы все еще прижаты к ее губам, — ощущала явственно жар его тела, словно там, внутри, была печка — вот удивительно! — а затем обнаружила, что лежит на диване, а он рядом с ней и целует ее рот, шею, щеки, глаза. У Джулии непонятно почему сжалось сердце, она взяла его голову обеими руками и поцеловала в губы.

Через некоторое время она стояла у камина перед зеркалом и приводила себя в порядок.

— Погляди на мои волосы!

Он протянул ей гребень, и она провела им по волосам. Затем надела шляпу. Он стоял позади нее, и она увидела над своим плечом его нетерпеливые голубые глаза, в которых сейчас мерцала легкая усмешка.

— А я-то думала, ты такой застенчивый мальчик, — сказала она его отражению.

Он коротко засмеялся.

— Когда я снова тебя увижу? — спросил он.

— А ты хочешь меня снова видеть?

— Еще как!

Мысли быстро проносились в ее голове. Это все было слишком нелепо; конечно, она не собиралась больше с ним встречаться, достаточно глупо было сегодня позволить ему вести себя таким образом, но, пожалуй, лучше спустить все на тормозах. Он может стать назойливым, если сказать, что этот эпизод не будет иметь продолжения.

— Я на днях позвоню.

— Поклянись.

— Честное слово.

— Не откладывай надолго.

Он настоял на том, чтобы проводить ее вниз и посадить в такси. Джулия хотела спуститься одна, взглянуть на карточки у звонков. «Должна же я, по крайней мере, знать его имя».

Но он не дал ей этой возможности. Когда такси отъехало, Джулия втиснулась в угол сиденья и чуть не захлебнулась от смеха.

«Изнасилована, голубушка. Самым натуральным образом. В мои-то годы! И даже без всяких там «с вашего позволения». Слово я — обыкновенная потаскушка. Комедия восемнадцатого века, вот что это такое. Я могла быть горничной. В кринолине с этими смешными пышными штуками — как они называются, черт побери? — которые они носили, чтобы подчеркнуть бедра, в передничке и косынке на шее». И, припомнив с пятого на десятое Фаркера¹ и Голдсмита², она начала воображаемый диалог: «Фи, сэр, как не стыдно воспользоваться неопытностью простой сельской девушки! Что скажет миссис Эбигейл, камеристка ее светлости, когда узнает, что брат ее светлости похитил

¹ Фаркер Джордж (1678—1707) — англо-ирландский драматург.

² Голдсмит Оливер (1728—1774) — английский писатель.

у меня самое дорогое сокровище, каким владеет девушка моего положения,— лишил меня невинности».

Когда Джулия вернулась домой, массажистка уже ждала ее. Мисс Филиппс болтала с Эви.

— Куда это вас носило, мисс Лэмберт? — спросила Эви.— И когда вы теперь отдохнете, хотела бы я знать!

— К черту отдых!

Джулия сбросила платье и белье, с размаху расшвыряла его по комнате. Затем, абсолютно голая, вскочила на кровать, постояла на ней минуту, как Венера, рожденная из пены, затем кинулась на постель и вытянулась в струнку.

— Что на вас нашло? — спросила Эви.

— Мне хорошо.

— Ну, кабы я вела себя так, люди сказали бы, что яхватила лишку.

Мисс Филиппс начала массировать Джулии ноги. Она терла ее несильно, чтобы дать отдых телу, а не утомить его.

— Когда вы сейчас, как вихрь, ворвались в комнату,— сказала она,— я подумала, что вы помолодели на двадцать лет.

— Ах, оставьте эти разговоры для мистера Госселина, мисс Филиппс! — сказала Джулия, затем добавила, словно сама тому удивляясь: — Я чувствую себя как годовалый младенец.

То же самое было позднее в театре. Ее партнер Арчи Декстер зашел к ней в уборную о чем-то спросить. Джулия только кончила гримироваться. На его лице отразилось изумление.

— Привет, Джулия. Что это с тобой сегодня? Ты выглядишь грандиозно. Да тебе ни за что не дать больше двадцати пяти!

— Когда сыну шестнадцать, бесполезно притворяться, будто ты так уж молода. Мне сорок, и пусть хоть весь свет знает об этом.

— Что ты сделала с глазами? Я еще не видел, чтобы они так у тебя сияли.

Джулия давно не чувствовала себя в таком ударе. Комедия под названием «Пуховка», которая шла в тот вечер, не сходила со сцены уже много недель, но сегодня Джулия играла так, словно была премьеры. Ее исполнение было блестящим. Публика смеялась как никогда. В Джулии всегда было большое актерское обаяние, но сегодня казалось, что его лучи осязаемо пронизывают весь зрительный зал. Майкл случайно оказался в театре на последних двух актах и после спектакля пришел к ней в уборную.

— Ты знаешь, суфлер говорит, мы кончили на девять минут позже обычного — так много смеялась публика, — сказал он.

— Семь вызовов. Я думала, они никогда не разойдутся.

— Ну, вини в этом только себя, дорогая. Во всем мире нет актрисы, которая смогла бы сыграть так, как ты сегодня.

— Сказать по правде, я и сама получала удовольствие. Господи, я такая голодная! Что у нас на ужин?

— Рубец с луком.

— Великолепно! — Джулия обвила Майкла руками и поцеловала. — Обожаю рубец с луком. Ах, Майкл, если ты меня любишь, если в твоём твердокаменном сердце есть хоть искорка нежности ко мне, ты разрешишь мне выпить бутылку пива.

— Джулия!

— Только сегодня. Я не так часто прошу тебя что-нибудь для меня сделать.

— Ну что ж, после того, как ты провела этот спектакль, я, наверное, не смогу сказать «нет», но, клянусь богом, уж я прослежу, чтобы мисс Филиппс не оставила на тебе завтра живого места.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда Джулия легла в постель и вытянула ноги, чтобы ощутить приятное тепло грелки, она с удовольствием окинула взглядом свою розово-голубую спальню с позолоченными херувимчиками на туалете и удовлетворенно вздохнула. Настоящий будуар мадам де Помпадур. Она погасила свет, но спать ей не хотелось. С какой радостью она отправилась бы сейчас к Квэгу потанцевать, но не с Майклом, а с Людовиком XV, или Людвигом Баварским, или Альфредом де Мюссе. Клэрон и Val de l'Orèga¹. Она вспомнила миниатюру, которую когда-то подарил ей Чарлз. Вот как она сегодня себя чувствовала. У нее уже целую вечность не было такого приключения. Последний раз нечто подобное случилось восемь лет назад. Ей бы, конечно, следовало стыдиться этого эпизода, и как она потом была напугана! Все так, но, что греха таить, она не могла вспоминать о нем без смеха.

Произошло все тоже случайно. Джулия играла много недель без перерыва, и ей необходимо было отдохнуть.

¹ Бал в Оперном театре (фр.).

Пьеса переставала привлекать публику, и они уже собирались начать репетиции новой, как Майклу удалось сдать помещение театра на шесть недель французской труппе. Это позволяло Джулии уехать. Долли сняла в Канне дом на весь сезон, и Джулия могла погостить у нее. Выхала она как раз накануне пасхи. Поезда были так переполнены, что она не смогла достать купе в спальном вагоне, но в железнодорожном бюро компании Кука ей сказали, чтоб она не беспокоилась — при пересадке в Париже ее будет ждать спальное место. К ее крайнему смятению, на вокзале в Париже, судя по всему, ничего об этом не знали, и *chef de train*¹ сказал ей, что спальные места заняты все до одного, разве что ей повезет и кто-нибудь в последний момент опоздает. Джулии совсем не улыбалась мысль просидеть всю ночь в углу купе вагона первого класса, и она пошла в вокзальный ресторан обедать, весьма всем этим взволнованная. Ей дали столик на двоих, и вскоре какой-то мужчина занял свободное кресло. Джулия не обратила на него никакого внимания. Через некоторое время к ней подошел *chef de train* и сказал, что, к величайшему сожалению, ничем не может ей помочь. Джулия устроила ему сцену, но все было напрасно. Когда тот ушел, сосед Джулии обратился к ней. Хотя он бегло говорил по-французски, она поняла по акценту, что он не француз. В ответ на его вежливые расспросы она поведала ему всю историю и поделилась с ним своим мнением о компании Кука, французской железнодорожной компании и всем человеческом роде. Он выслушал ее очень сочувственно и сказал, что после обеда сам пройдет по составу и посмотрит, нельзя ли что-нибудь организовать. Чего только не сделает проводник за хорошие чаевые!

— Я страшно устала,— вздохнула Джулия,— и с радостью отдам пятьсот франков за спальное купе.

Между ними завязался разговор. Собеседник сказал ей, что он — атташе испанского посольства в Париже и едет в Канн на пасху. Хотя Джулия проговорила с ним уже с четверть часа, она не потрудилась как следует его рассмотреть. Теперь она заметила, что у него черная курчавая бородка и черные курчавые усы. Бородка росла очень странно: пониже уголков губ были два голые пятна, что придавало ему курьезный вид. Эта бородка, черные волосы, тяжелые полуопущенные веки и довольно длинный нос напоминали ей кого-то, но кого? Вдруг она вспомнила и так удивилась, что, не удержавшись, воскликнула:

¹ Начальник поезда; главный кондуктор (*фр.*).

— Знаете, я никак не могла понять, кого вы мне напоминаете. Вы удивительно похожи на тициановский портрет Франциска Первого, который я видела в Лувре.

— С этими его поросычьими глазками?

— Нет, глаза у вас большие. Я думаю, тут все дело в бороде.

Джулия внимательно всмотрелась в него: кожа под глазами гладкая, без морщин, сиреневатого оттенка. Он еще совсем молод, просто борода старит его; вряд ли ему больше тридцати. Интересно, вдруг он какой-нибудь испанский гранд? Одет он не очень элегантно, но с иностранцами никогда ничего не поймешь, и не очень хорошо скроенный костюм может стоить кучу денег. Галстук, хотя и довольно кричащий, был явно куплен у Шарвье. Когда им подали кофе, он попросил разрешения угостить ее ликером.

— Очень любезно с вашей стороны. Может быть, я тогда лучше буду спать.

Он предложил ей сигарету. Портсигар у него был серебряный, что несколько обескуражило Джулию, но, когда он его закрыл, она увидела на уголке крышки золотую коронку. Верно, какой-нибудь граф или почище того. Серебряный портсигар с золотой короной — в этом есть свой шик. Жаль, что ему приходится носить современное платье. Если бы его одеть как Франциска I, он выглядел бы весьма аристократично. Джулия решила быть с ним как можно любезней.

— Я, пожалуй, лучше признаюсь вам,— сказал он немного погодя,— я знаю, кто вы. И разрешите добавить, что я очень восхищаюсь вами.

Джулия одарила его долгим взглядом своих чудесных глаз.

— Вы видели меня на сцене?

— Да. Я был в Лондоне в прошлом месяце.

— Занятная пьеска, не правда ли?

— Только благодаря вам.

Когда к ним подошел официант со счетом, ей пришлось настоять на том, чтобы расплатиться за свой обед. Испанец проводил ее до купе и сказал, что пойдет по вагонам, может быть, ему удастся найти для нее спальное место. Через четверть часа он вернулся с проводником и сказал, что нашел купе, пусть она даст проводнику свои вещи, и он проводит ее туда. Джулия была в восторге. Испанец кинул шляпу на сиденье, с которого она встала, и она пошла следом за ним по проходу. Когда они добрались до купе, испанец велел проводнику отнести чемодан и сумку, лежавшие в сетке, в тот вагон, где была мадам.

— Неужели вы отдали мне собственное место? — вскричала Джулия.

— Единственное, которое я мог найти во всем составе.

— Нет, я и слышать об этом не хочу.

— Allez ¹, — сказал испанец проводнику.

— Нет, нет...

Незнакомец кивнул проводнику, и тот забрал вещи.

— Это не имеет значения. Я могу спать где угодно, но я бы и глаз не сомкнул от мысли, что такая великая актриса будет вынуждена провести ночь с тремя чужими людьми.

Джулия продолжала протестовать, но не слишком рьяно. Это так мило, так любезно с его стороны! Она не знает, как его и благодарить. Испанец не позволил ей даже отдать разницу за билет. Он умолял ее, чуть не со слезами на глазах, оказать ему честь, приняв от него этот пустяковый подарок. У нее был с собой только дорожный несессер с кремами для лица, ночной сорочкой и принадлежностями для вечернего туалета, и испанец положил его на столик. Его единственная просьба — разрешить у нее посидеть, пока ей не захочется лечь, и выкурить одну-две сигареты. Джулии трудно было ему отказать. Постель уже была приготовлена, и они сели поверх одеяла. Через несколько минут появился проводник с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Недурное приключенье! Джулия искренне наслаждалась. Удивительно любезно с его стороны. Да, эти иностранцы знают, как надо вести себя с большой актрисой! С Сарой Бернар такие вещи, верно, случались каждый день. А Сиддонс! Когда она входила в гостиную, все вставали, словно вошла сама королева.

Испанец отпустил ей комплимент по поводу того, как прекрасно она говорит по-французски. Родилась на острове Джерси, а образование получила во Франции? Тогда понятно. Но почему она решила играть на английской сцене, а не на французской? Она завоевала бы не меньшую славу, чем Дузе. Она и в самом деле напоминает ему Дузе: те же великолепные глаза и белая кожа, та же эмоциональность и потрясающая естественность в игре.

Когда они наполовину опорожнили бутылку с шампанским, Джулия сказала, что уже очень поздно.

— Право, я думаю, мне пора ложиться.

— Ухожу.

Он встал и поцеловал ей руку. Когда он вышел, Джулия заперла дверь в купе и разделась. Погасив все лампы, кроме

¹ Идите (*фр.*).

той, что была у нее над головой, она принялась читать. Через несколько минут раздался стук в дверь.

— Да?

— Мне страшно неловко вас беспокоить. Я оставил в туалете зубную щетку. Можно мне войти?

— Я уже легла.

— Я не могу спать, пока не вычищу зубы.

«А он, по крайней мере, чистоплотен».

Пожав плечами, Джулия протянула руку к двери и открыла задвижку. При создавшихся обстоятельствах просто глупо изображать из себя слишком большую скромницу. Испанец вошел в купе, заглянул в туалет и через секунду вышел, размахивая зубной щеткой. Джулия заметила ее, когда сама чистила зубы, но решила, что ее оставил человек из соседнего купе. В те времена на два купе был один туалет. Джулия перехватила взгляд испанца, брошенный на бутылку с шампанским.

— Меня ужасно мучит жажда, вы не возражаете, если я выпью бокал?

На какую-то долю секунды Джулия задержалась с ответом. Шампанское было его, купе — тоже. Что ж, назвался груздем — полезай в кузов.

— Конечно нет.

Он налил себе шампанского, закурил сигарету и присел на край постели. Она чуть посторонилась, чтобы ему было свободнее. Он держался абсолютно естественно.

— Вы не смогли бы заснуть в том купе, — сказал он, — один из попугачиков ужасно сопит. Уж лучше бы храпел. Тогда можно было бы его разбудить.

— Мне очень неловко.

— О, не важно. На худой конец свернусь калачиком в проходе у вашей двери.

«Не ожидает же он, что я приглашу его спать здесь, со мной, — сказала себе Джулия. — Уж не подстроил ли он все это специально? Ничего не выйдет, голубчик». Затем произнесла вслух:

— Очень романтично, конечно, но не очень удобно.

— Вы очаровательная женщина!

А все же хорошо, что у нее нарядная ночная сорочка и она еще не успела намазать лицо кремом. По правде говоря, она даже не потрудилась стереть косметику. Губы у нее были пунцовые, и она знала, что, освещенная лишь лампочкой для чтения над головой, она выглядит очень даже неплохо. Но ответила она иронически:

— Если вы решили, что я соглашусь с вами переспать за то, что уступили мне свое купе, вы ошибаетесь.

— Воля ваша. Но почему бы и нет?

— Я не из тех «очаровательных» женщин, за которую вы меня приняли.

— А какая вы женщина?

— Верная жена и нежная мать.

Он вздохнул.

— Ну что ж, тогда спокойной ночи.

Он раздавил в пепельнице окурочек и поднес к губам ее руку. Поцеловал ладонь. Медленно провел губами от запястья до плеча. Джулию охватило странное чувство. Борода слегка щекотала ей кожу. Затем он наклонился и поцеловал ее в губы. От его бороды исходил какой-то своеобразный душный запах. Джулия не могла понять, противен он ей или приятен. Удивительно, если подумать, ее еще ни разу в жизни не целовал бородатый мужчина. В этом есть что-то не совсем пристойное. Щелкнул выключатель, свет погас.

Он ушел лишь тогда, когда узкая полоска между неплотно закрытыми занавесками возвестила, что настало утро. Джулия была совершенно разбита, морально и физически.

«Я буду выглядеть форменной развалиной, когда приеду в Канн».

И так рисковать! Он мог ее убить или украсть ее жемчужное ожерелье. Джулию бросало то в жар, то в холод от мысли, какой опасности она подвергалась. И он тоже едет в Канн. А вдруг он станет претендовать там на ее знакомство! Как она объяснит, кто он, своим друзьям? Она была уверена, что Долли он не понравится. Еще попробует ее шантажировать... А что ей делать, если ему вздумается повторить сегодняшний опыт? Он страстен, в этом сомневаться не приходится. Он спросил, где она остановится, и, хотя она не сказала ему, выяснить это при желании не составит труда. В таком месте, как Канн, вряд ли удастся избежать встречи. Вдруг он окажется назойлив? Если он так влюблен в нее, как говорит, он от нее не отвяжется, это ясно. И с этими иностранцами ничего нельзя сказать заранее, еще станет устраивать ей публичные сцены. Утешало ее одно: он сказал, что едет только на пасху; она притворится, будто очень устала и хочет первое время спокойно побыть на вилле.

«Как я могла так сглупить!»

Долли, конечно, приедет ее встречать, и если испанец будет настолько бестактен и подойдет к ней прощаться, она скажет Долли, что он уступил ей свое купе. В этом нет

ничего такого. Всегда лучше придерживаться правды... насколько это возможно. Но в Канне на платформе была куча народу, и Джулия вышла со станции и села в машину Долли, даже не увидев испанца.

— Я никого не приглашала на сегодня,— сказала Долли.— Я думала, вы устали, и хотела побыть наедине с вами хотя бы один день.

Джулия нежно стиснула ей плечо.

— Чудеснее и быть не может. Будем сидеть на вилле, мазать лицо кремами и сплетничать, сколько душе угодно.

Но на следующий день они были приглашены к ленчу, а до этого должны были встретиться с пригласившими их в баре на рю Круазет и выпить вместе коктейли. Когда они вышли из машины, Долли задержалась, чтобы дать шоферу указания, куда за ними заехать, и Джулия поджидала ее. Вдруг сердце подскочило у нее в груди: прямо к ним направлялся вчерашний испанец; с одной стороны, держа его под руку, шла молодая женщина, с другой он вел девочку. Отворачиваться было поздно. Долли присоединилась к ней, надо было перейти на другую сторону улицы. Испанец подошел вплотную, кинул на нее безразличный взгляд и, оживленно беседуя со своей спутницей, проследовал дальше. Джулия поняла, что он так же мало жаждет видеть ее, как она — его. Женщина и девочка были, очевидно, его жена и дочь, с которыми он хотел провести в Канне пасху. Какое облегчение! Теперь она может безбоязненно наслаждаться жизнью. Но, идя за Долли к бару, Джулия подумала: какие все же скоты эти мужчины! С них просто нельзя спускать глаз. Стыд и срам, имея такую очаровательную жену и прелестную дочурку, заводить в поезде случайное знакомство! Должно же у них быть хоть какое-то чувство пристойности!

Однако с течением времени негодование Джулии остыло, и она даже с удовольствием думала об этом приключении. В конце концов, они неплохо позабавились. Иногда она позволяла себе предаваться мечтам и перебирать в памяти все подробности этой единственной в своем роде ночи. Любовник он был великолепный, ничего не скажешь. Будет о чем вспомнить, когда она постареет. Все дело в бороде — она так странно щекотала ей лицо — и в этом душном запахе, который отталкивал и одновременно привлекал ее. Еще несколько лет Джулия высматривала мужчин с бородами; у нее было чувство, что, если бы один из них приволокнулся за ней, она была бы просто не в силах ему отказать. Но бороды вышли из моды, и слава богу, потому

что при виде бородатого мужчины у Джулии подгибались колени; к тому же ни один из бородачей, которых она изредка встречала, не делал ей никаких авансов. Интересно все же, кто он, этот испанец. Джулия видела его через несколько дней после приезда в казино — он играл в *chemin de fer*¹ — и спросила о нем двух-трех знакомых. Но никто из них не был с ним знаком, и он так и остался в ее памяти и в ее крови безымянным. Забавное совпадение — как зовут юношу, столь удивившего ее сегодня днем, Джулия тоже не знала.

«Если бы я представляла, что они намерены позволить себе со мной вольности, я бы, по крайней мере, заранее попросила у них визитные карточки».

С этой мыслью она благополучно уснула.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прошло несколько дней, и однажды утром, когда Джулия лежала в постели и читала новую пьесу, ей позвонили по внутреннему телефону из цокольного этажа и спросили, не поговорит ли она с мистером Феннелом. Имя ей было незнакомо, и она уже было сказала «нет», как ей пришло в голову, не тот ли это юноша из ее приключения. Любопытство побудило ее сказать, чтобы их соединили. Джулия сразу узнала его голос.

— Ты обещала позвонить, — сказал он. — Мне надоело ждать, и я звоню сам.

— Я была ужасно занята все это время.

— Когда я тебя увижу?

— Когда у меня будет свободная минутка.

— Как насчет сегодня?

— У меня дневной спектакль.

— Приходи после него выпить чаю.

Она улыбнулась. («Нет, малыш, второй раз ты меня на ту же удочку не поймашь».)

— Не получится, — сказала она. — Я всегда остаюсь в театре, отдыхаю у себя в уборной до вечернего представления.

— А мне нельзя зайти в то время, как ты отдыхаешь?

Какую-то секунду она колебалась. Пожалуй, это будет лучше всего. При Эви, которая без конца входит в уборную, в ожидании мисс Филиппс ни о каких глупостях не может

¹ «Шмэн-де-фер» — азартная карточная игра (*фр.*).

быть и речи. Удобный случай дружески — мальчик так мил! — но твердо сказать ему, что продолжения не будет. В нескольких удачно подобранных словах она объяснит ему, что это безрассудство и он весьма ее обяжет, если вычеркнет из памяти весь этот эпизод.

— Хорошо. Приходи в полшестого, я угощу тебя чашкой чаю.

Три часа, которые она проводила у себя в уборной между дневным и вечерним спектаклем, были самым любимым временем в ее загруженном дне: Остальные члены труппы уходили из театра, оставались лишь Эви, готовая удовлетворить все ее желания, и швейцар, следивший, чтобы никто не нарушил ее покоя. Уборная казалась Джулии каютой корабля. Весь остальной мир оставался где-то далеко-далеко, и Джулия наслаждалась своим уединением. Она словно попадала в магический круг, который делал ее еще свободней. Она дремала, читала или, улегшись на мягкий удобный диван, позволяла мыслям блуждать без определенной цели. Думала о роли, которую ей предстояло играть, и о своих прошлых ролях. Думала о своем сыне Роджере. Приятные полумечты-полувоспоминания неторопливо проходили у нее в уме, как влюбленные в зеленом лесу. Джулия любила французскую поэзию и иногда читала вслух Верлена.

Ровно в половине шестого Эви подала ей карточку. «Мистер Томас Феннел», — прочитала она.

— Проводи его сюда и принеси чай.

Джулия еще утром решила, как она будет с ним держаться. Любезно, но сухо. Проявит дружеский интерес к его работе, спросит насчет экзамена. Затем расскажет о Роджере. Роджеру было семнадцать, через год он поступит в Кембридж. Она постарается исподволь внушить юноше, что по своему возрасту годится ему в матери. Она будет вести себя так, словно между ними никогда ничего не было, и он уйдет, чтобы никогда больше ее не видеть иначе, как при свете ramпы, почти поверив, что все это было плодом его фантазии. Но когда Джулия взглянула на него, такого хрупкого, с чахоточным румянцем и голубыми глазами, такого юного и прелестного, сердце ее пронзила внезапная боль. Эви вышла и закрыла дверь. Джулия лежала на диване; она протянула ему руку с милостивой улыбкой мадам Рекамье¹, но он кинулся рядом с ней на колени

¹ Рекамье Жюли (1777—1849) — знаменитая французская красавица, хозяйка блестящего парижского салона во времена Директории и Консульства, где собирались известные писатели тех дней.

и страстно приник к ее губам. Джулия ничего не могла с собой поделать, она обвила его шею руками и так же страстно вернула ему поцелуй.

(«Господи, где мои благие намерения? Неужели я в него влюбилась?»)

— Сядь, ради бога. Эви сейчас принесет чай.

— Скажи, чтобы она нам не мешала.

— Что ты имеешь в виду?

Но что он имел в виду, было более чем очевидно. Сердце ее учащенно забилося.

— Это смешно. Я не могу. Может зайти Майкл.

— Я тебя хочу.

— И что подумает Эви? Просто идиотизм так рисковать. Нет, нет, нет.

В дверь постучали, вошла Эви с чаем. Джулия велела ей придвинуть столик к дивану и поставить кресло для молодого человека с другой стороны. Она задерживала Эви ненужным разговором и чувствовала на себе его взгляд. Его глаза быстро следовали за ее жестами, следили за выражением ее лица, она избегала их, но все равно ощущала ностерпение, горящее в них, и пыл его желания. Джулия была взволнована. Ей казалось, что голос ее звучит неестественно. («Какого черта! Что это со мной? Я еле дышу!»)

Когда Эви подошла к дверям, юноша сделал движение, которое было так безотчетно, что Джулия уловила его не столько зрением, сколько чувствами, и, не удержавшись, взглянула на него. Его лицо совсем побелело.

— О, Эви,— сказала Джулия,— этот джентльмен хочет поговорить со мной о пьесе. Последи, чтобы нам не мешали. Я позвоню, когда ты мне понадобишься.

— Хорошо, мисс.

Эви вышла и закрыла за собой дверь.

(«Я просто дура. Последняя дура».)

Но он уже отодвинул столик и стоял возле нее на коленях, она уже была в его объятиях.

...Джулия отослала его незадолго до прихода мисс Филлипс и, когда он ушел, позвонила Эви.

— Хорошая пьеса? — спросила Эви.

— Какая пьеса?

— О которой он говорил с вами.

— Он неглуп. Конечно, еще очень молод...

Эви смотрела на туалетный столик. Джулия любила, чтобы ее вещи всегда были на своем месте, и если вдруг не находила баночки с кремом или краски для ресниц, устраивала скандал.

— Где ваш гребень?

Он причесывался ее гребнем и нечаянно положил его на чайный столик. Увидев его там, Эви с минуту задумчиво на него глядела.

— Как, ради всего святого, он сюда попал? — беззаботно вскричала Джулия.

— Вот и я об этом думаю.

У Джулии душа ушла в пятки. Конечно, заниматься такими вещами в театре, в своей уборной, просто безумие. Да тут даже нет ключа в двери. Эви держит его у себя. А все же риск придает всему этому особую пикантность. Приятно было думать, что она способна до такой степени потерять голову. Так или иначе, теперь они назначили свидание. Том — она спросила, как его зовут дома, и он сказал «Томас», но у нее не поворачивался язык так его называть, — Том хотел пригласить ее куда-нибудь на ужин, чтобы они могли потанцевать, а Майкл уезжал на днях в Кембридж на репетицию нескольких одноактных пьес, написанных студентами, так что у них будет куча времени.

— Ты сможешь вернуться рано утром, когда станут развозить молоко.

— А как насчет спектакля, на следующий день?

— Какое это имеет значение?

Джулия не разрешила ему зайти за ней в театр, и, когда она вошла в выбранный ими ресторан, Том ждал ее в холле. При виде Джулии лицо его засветилось.

— Уже так поздно. Я испугался, что ты совсем не придешь.

— Мне очень жаль. Ко мне зашли после спектакля разные скучные люди, и я никак не могла отделаться от них.

Это была неправда. Весь вечер Джулия волновалась, как девушка, идущая на первый бал. Она тысячу раз повторяла себе, что это просто нелепо. Но когда она сняла сценический грим и снова накрутила волосы, чтобы идти на ужин, результаты не удовлетворили ее. Она наложила голубые тени на веки и снова их стерла, накрутила щеки и вымыла их, затем попробовала другой оттенок.

— Что это вы такое делаете? — спросила Эви.

— Пытаюсь выглядеть на двадцать, дурочка.

— Ну, коли вы сейчас не перестанете, будете выглядеть на все свои сорок шесть.

Джулия еще не видела Тома в смокинге. Мальчик сиял, как медная пуговица. Среднего роста, он выглядел высоким из-за своей худобы. Джулию тронуло, что хотя ему хотелось казаться человеком бывалым и светским,

когда дошло до заказа, он оробел перед официантом. Они пошли танцевать. Танцевал он неважно, но и в неловкости его ей чудилось своеобразное очарование. Джулию узнавали, и она чувствовала, что он купается в отраженных лучах ее славы. Молодая пара, закончив танец, подошла к их столику поздороваться. Когда они отошли, Том спросил:

— Это не леди и лорд Деннорант?

— Да, я знаю Джорджа еще с тех пор, как он учился в Итоне.

Он следил за ними взглядом.

— Ее девичье имя — леди Сесили Лоустон, да?

— Не помню. Разве?

Для нее это не представляло интереса. Через несколько минут мимо них прошла другая пара.

— Посмотри, леди Лепар.

— Кто это?

— Разве ты не помнишь, у них был большой прием в их загородном доме в Чешире несколько недель назад; присутствовал сам принц Уэльский. Об этом еще писали в «Наблюдателе».

А-а, вот откуда он черпает все свои сведения! Бедный крошка! Он читал об этих титулованных господах в газетах и изредка, в ресторане или театре, видел их во плоти. Конечно, он трепетал от восторга. Романтика. Если бы он только знал, какие они все зануды. Это невинное увлечение людьми, чьи фотографии помещают в иллюстрированных газетах, делало его невероятно простодушным в ее глазах, и она нежно посмотрела на него через стол.

— Ты приглашал когда-нибудь актрису в ресторан?

Он пунцово покраснел.

— Никогда.

Джулии было очень неприятно, что он платит по счету, она подозревала, что сумма равняется его недельному заработку, но не хотела ранить его гордость, предложив заплатить самой. Она спросила мимоходом, который час, и он привычно взглянул на запястье.

— Ой, я забыл надеть часы.

Она испытующе посмотрела на него.

— А ты случайно не заложил их?

Он снова покраснел.

— Нет. Я очень спешил, когда одевался.

Достаточно было взглянуть на его галстук, чтобы увидеть, что это не так. Он ей лгал. Он отнес в заклад часы, чтобы пригласить ее на ужин. В горле у Джулии застрял

комок. Она была готова, не сходя с места, сжать Тома в объятиях и целовать его голубые глаза. Она обожала его.

— Давай уйдем,— сказала Джулия.

Они взяли такси и отправились в его квартиру на Тэвисток-сквер.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На следующий день Джулия пошла к Картье и купила часы, чтобы послать их Тому вместо тех, которые он заложил, а две или три недели спустя, узнав, что у него день рождения, купила ему золотой портсигар.

— Ты знаешь, это вещь, о которой я мечтал всю свою жизнь.

Джулии показалось, что у него в глазах слезы. Он страстно ее поцеловал.

Затем, то под одним предлогом, то под другим, Джулия подарила ему булавку для галстука, жемчужные запонки и пуговицы для жилета. Ей доставляло острую радость делать ему подарки.

— Так ужасно, что я ничего не могу тебе подарить,— сказал он.

— Подари мне часы, которые ты заложил, чтобы пригласить меня на ужин,— попросила она.

Это были небольшие золотые часы, не дороже десяти фунтов, но ей нравилось иногда их надевать.

После ночи, которую они провели вместе вслед за ужином в ресторане, Джулия наконец призналась себе, что влюблена. Это открытие ее потрясло. И все равно она была на седьмом небе от счастья.

«А ведь я думала, что уже никогда не влюблюсь. Конечно, долго это не протянется. Но почему бы мне не порадоваться, пока можно?»

Джулия решила, что постарается снова пригласить его на Стэнхоуп-плейс. Вскоре ей представилась такая возможность.

— Ты помнишь этого своего молодого бухгалтера? — сказала она Майклу.— Его зовут Том Феннел. Я встретила его на днях на званом ужине и предложила прийти к нам в следующее воскресенье. Нам не хватает одного мужчины.

— Ты думаешь, он подойдет?

У них ожидался грандиозный прием. Потому она и позвала Тома. Ему доставит удовольствие познакомиться с людьми, которых он знал только по фотографиям в газетах.

Джулия уже увидела, что он немного сноб. Что ж, тем лучше, все фешенебельное общество будет к его услугам. Джулия была проницательна, она прекрасно понимала, что Том не влюблен в нее. Роман с ней льстил его тщеславию. Он был чрезвычайно пылок и наслаждался любовной игрой. Из отдельных намеков, из рассказов, которые она постепенно вытягивала из него, Джулия узнала, что с семнадцати лет у него уже было очень много женщин. Главным для него был сам акт, с кем — не имело особого значения. Он считал это самым большим удовольствием на свете. И Джулия понимала, почему он пользуется таким успехом. Была своя привлекательность в его худобе — буквально кожа да кости, вот почему на нем так хорошо сидит костюм, — свое очарование в его чистоте и свежести. Он казался таким трогательным. А его застенчивость в сочетании с бесстыдством была просто неотразима. Как ни странно, женщинам льстит, когда на них смотрят с одной мыслью — повалить поскорей на кровать.

«Да, «секс эпил» — вот чем он берет».

Джулия понимала, что своей миловидностью он обязан лишь молодости. С возрастом он высохнет, станет костлявым, изможденным и морщинистым; его прелестный румянец сделается багровым, нежная кожа — дряблой и пожелтелой, но чувство, что его прелесть так недолговечна, лишь усиливало нежность Джулии. Том вызывал в ней непонятное сострадание. Он всегда, как это свойственно юности, был в приподнятом настроении, и Джулия впитывала его веселость с такой же жадностью, как котенок лакает молоко. Но развлекать он не умел. Когда Джулия рассказывала что-нибудь забавное, он смеялся, но сам ничего забавного рассказать не мог. Ее не смущало то, что он скучноват. Напротив, действовало успокаивающе на нервы. У нее еще никогда не было так легко на сердце, как в его обществе, а блеска и остроумия у нее с избытком хватало на двоих.

Все окружающие продолжали твердить Джулии, что она выглядит на десять лет моложе и никогда еще она не играла так хорошо. Джулия знала, что это правда, и знала — почему. Но ей следует быть осмотрительной. Нельзя терять головы. Чарлз Тэмерли всегда говорил, что актрисе не так нужен ум, как благоразумие, наверное, он прав. Быть может, она и неумна, но чувства ее начеку, и она доверяет им. Чувства подсказывали Джулии, что она не должна признаваться Тому в своей любви. Она постаралась дать ему понять, что не имеет никаких притязаний, он сам себе хозяин. Она держалась так, словно

все происходящее между ними — пустяк, которому ни он, ни она не придают особого значения. Но она делала все, чтобы привязать его к себе. Том любил приемы, и Джулия брала его с собой на приемы. Она заставила Долли и Чарлза Тэмерли звать его к ленчу. Том любил танцевать, и Джулия доставала ему приглашения на балы. Ради него она тоже шла туда на часок и видела, какое ему доставляет удовольствие то, что она пользуется таким огромным успехом. Джулия знала, что у него кружится голова в присутствии важных персон, — и знакомила его со всякими именитыми людьми. К счастью, Майклу он очень нравился. Майкл любил поговорить, а Том был прекрасным слушателем. Он превосходно знал свое дело. Однажды Майкл сказал ей:

— Толковый парень Том. Съел собаку на подоходном налоге. Научил меня, как сэкономить две-три сотни фунтов с годового дохода, когда буду платить налог в следующий раз.

Майкл, посещавший в поисках новых талантов чужие театры в самом Лондоне или пригородах, часто брал Тома по вечерам с собой; после спектакля они заезжали за Джулией и ужинали втроем. Время от времени Майкл звал Тома в воскресенье на партию гольфа и, если они не были никуда приглашены, привозил к ним обедать.

— Приятно, когда в доме молодежь, — говорил он, — не дает самому тебе заржаветь.

Том всячески старался быть полезным. Играл с Майклом в трик-трак, раскладывал с Джулией пасьянсы и, когда они заводили граммофон, был тут как тут, чтобы менять пластинки.

— Он будет хорошим товарищем Роджеру, — сказал Майкл. — У Тома есть голова на плечах, к тому же он старше Роджера. Окажет на него хорошее влияние. Почему бы тебе не пригласить его пожить у нас во время отпуска? («К счастью, я хорошая актриса».)

Но Джулии понадобилось значительное усилие, чтобы голос звучал не слишком радостно, а лицо не выдавало восторга, от которого неистово билось сердце.

— Неплохая идея, — ответила она. — Я приглашу его, если хочешь.

Театр не закрывался до конца августа, и Майкл снял дом в Тэплоу, чтобы они могли провести там самые жаркие дни лета. Джулия ездила в город на спектакли, Майкл — когда его призывали дела, но будни до вечера, а воскресенье целый день они оставались за городом. Тому пола-

галось две недели отпуска, и он с готовностью принял их приглашение.

Как-то раз Джулия заметила, что Том непривычно молчалив. Он казался бледен, всегдашняя жизнерадостность покинула его. Она поняла, что у него что-то случилось, но он не пожелал говорить ей, в чем дело, сказал только, что у него неприятности. Наконец Джулия вынудила его признаться, что он влез в долги и кредиторы настойчиво требуют, чтобы он расплатился. Жизнь, в которую Джулия втянула Тома, была ему не по карману; стыдясь своего дешевого костюма на великосветских приемах, куда она его брала, он заказал себе новые у дорогого портного. Он поставил деньги на лошадь, в надежде выиграть и рассчитаться с долгами, а лошадь пришла последней. Для Джулии его долг — сто двадцать пять фунтов — был чепуховой суммой, и ей казалось нелепым, чтобы такой пустяк мог кого-нибудь расстроить. Она тут же сказала, что даст ему эти деньги.

— Нет, я не могу. Я не могу брать деньги у женщины.

Том покраснел до корней волос; ему стало стыдно от одной только мысли. Джулия приложила все свое искусство, применила все уловки, чтобы уговорить его. Она приводила ему разумные доводы, притворялась, будто обижена, даже пустила в ход слезы, и, наконец, Том согласился, так и быть, взять у нее эти деньги взаймы. На следующий день Джулия послала ему в письме два банковских билета по сто фунтов. Том позвонил и сказал, что она прислала гораздо больше, чем нужно.

— О, я знаю, люди никогда не признаются, сколько они задолжали,— сказала она со смехом.— Я уверена, что ты должен больше, чем мне сказал.

— Честное слово, нет. Я бы не стал тебе лгать ни за что на свете.

— Тогда держи остаток у себя, на всякий случай. Мне неприятно, что тебе приходится расплачиваться в ресторане. И за такси, и за прочее.

— О нет, право, не могу. Это так унижительно.

— Какая ерунда! Ты же знаешь, у меня столько денег, что мне девать их некуда. Неужели тебе трудно доставить мне удовольствие и позволить вызволить тебя из беды?

— Это ужасно мило с твоей стороны. Ты не представляешь, как ты меня выручила. Не знаю, как тебя и благодарить.

Однако голос у него был встревоженный. Бедный ягненок, не может выйти из плена условностей. Но Джулия

говорила правду, она еще никогда не испытывала такого наслаждения, как сейчас, давая ему деньги; это вызывало в ней неожиданный взрыв чувств. И у нее был в уме еще один проект, который она надеялась привести в исполнение за те две недели, что Том проведет у них в Тэплоу. Прошло то время, когда убогость его комнаты на Тэвисток-сквер казалась ей очаровательной, а скромная меблировка умиляла. Раз или два Джулия встречала на лестнице людей, и ей показалось, что они как-то странно на нее смотрят. К Тому приходила убирать и готовить завтрак грязная, неряшливая поденщица, и у Джулии было чувство, что та догадывается об их отношениях и шпионит за ней. Однажды, когда Джулия была у Тома, кто-то повернул ручку двери, а когда она вышла, поденщица протирала перила лестницы и бросила на Джулию хмурый взгляд. Джулии был противен затхлый запах прокисшей пищи, стоявший на лестнице, и ее острый глаз скоро увидел, что комната Тома отнюдь не блещет чистотой. Выцветшие пыльные занавеси, вытертый ковер, дешевая мебель — все это внушало ей отвращение. Случилось так, что Майкл, все время выискивающий способ выгодно вложить деньги, купил несколько гаражей неподалеку от Стэнхоуп-плейс — раньше там были конюшни. Он решил, что, сдавая часть из них, он окупит те, которые были нужны им самим. Над гаражами был ряд комнат. Майкл сделал из них две квартирki, одну — для их шофера, другую — для сдачи внаем. Она все еще стояла пустая, и Джулия предложила Тому ее снять. Это будет замечательно. Она сможет забегать к нему на часок, когда он будет возвращаться из конторы, иногда ей удастся заходить после спектакля, и никто ничего не узнает. Никто им не будет мешать. Они будут совершенно свободны. Джулия говорила Тому, как интересно будет обставлять комнаты; у них на Стэнхоуп-плейс куча ненужных вещей, он просто обяжет ее, взяв их «на хранение». Чего не хватает, они купят с ним вместе. Тома очень соблазняла мысль иметь собственную квартиру, но о чем было мечтать — плата, пусть и невысокая, была ему не по средствам. Джулия об этом знала. Знала она и то, что, предложи она платить из своего кармана, он с негодованием откажется. Но ей казалось, что в течение праздных двух недель на берегу реки в их роскошном загородном доме она сумеет превозмочь его колебания. Она видела, как прельщает Тома ее предложение, и не сомневалась, что найдет какой-нибудь способ убедить его, что, согласившись, он на самом деле окажет ей услугу.

«Людам не нужен резон, чтобы сделать то, что они хотят,— рассуждала Джулия,— им нужно оправдание».

Джулия с волнением ждала Тома в Тэплоу. Как приятно будет гулять с ним утром у реки, а днем вместе сидеть в саду! Приедет Роджер, и Джулия твердо решила, что между нею и Томом не будет никаких глупостей, этого требует простое приличие. Но как божественно быть рядом с ним чуть не весь день! Когда у нее будут дневные спектакли, Том сможет развлекаться чем-нибудь с Роджером.

Однако все вышло совсем не так, как она ожидала. Джулии и в голову не могло прийти, что Роджер и Том так подружатся. Между ними было пять лет разницы, и Джулия полагала — хотя, по правде говоря, она вообще об этом не задумывалась, — что Том будет смотреть на Роджера как на ребенка, очень милого, конечно, но с которым обращаются соответственно его возрасту — он у всех на побегушках, и его можно отослать поиграть, когда он надоест. Роджеру только исполнилось семнадцать. Это был миловидный юноша с рыжеватыми волосами и синими глазами, но на этом и кончались его привлекательные черты. Он не унаследовал ни живости и выразительности лица матери, ни классической красоты отца. Джулия была несколько разочарована, он не оправдал ее надежд. В детстве, когда она постоянно фотографировалась с ним вместе, он был прелестен. Теперь он сделался слишком флегматичным, и у него всегда был серьезный вид. Пожалуй, единственное, чем он мог теперь похвастать, это волосы и зубы. Джулия, само собой, очень любила его, но считала скучноватым. Когда она оставалась с ним вдвоем, время тянулось необыкновенно долго. Джулия проявляла живой интерес к вещам, которые, по ее мнению, должны были его занимать — крикету и тому подобному, но у ее сына не находилось, что сказать по этому поводу. Джулия опасалась, что он не очень умен.

— Конечно, он еще мальчик,— оптимистически говорила она,— возможно, с возрастом он разовьется.

С того времени, как Роджер пошел в подготовительную школу, Джулия мало его видела. Во время каникул она все вечера бывала занята в театре, и он уходил куда-нибудь с отцом или с друзьями, по воскресеньям они с Майклом играли в гольф. Случалось, если Джулию приглашали к ленчу, она не виделась с ним несколько дней подряд, не считая двух-трех минут утром, когда он заходил к ней в комнату пожелать доброго утра. Жаль, что он не мог навсегда остаться прелестным маленьким мальчиком, который тихо, не мешая, играл в ее комнате и, обвив мать

ручонкой за шею, улыбался на фотографиях прямо в объектив. Время от времени Джулия ездила повидать его в Итон и пила с ним чай. Ей польстило, когда она увидела в его комнате несколько своих фотографий. Она прекрасно знавала, что ее приезд в Итон вызывал всеобщее волнение, и мистер Брэкенбридж, старший надзиратель того пансиона, где жил Роджер, считал своим долгом быть с нею чрезвычайно любезным. Когда кончилось полугодие, Джулия и Майкл уже переехали в Тэплоу, и Роджер явился прямо туда. Джулия пылко расцеловала его. Роджер не проявил восторга оттого, что он наконец дома, как она ожидала. Держался он довольно небрежно. Казалось, он вдруг повзрослел не по летам.

Роджер сразу же объявил Джулии, что желает покинуть Итон на рождество. Он получил там все, что мог, и теперь намерен поехать в Вену на несколько месяцев поучить немецкий, перед тем как поступить в Кембридж. Майкл хотел, чтобы он стал военным, но против этого Роджер решительно воспротивился. Он еще не решил, кем быть. И Майкла и Джулию чуть не с самого рождения сына мучил страх, что вдруг он вздумает пойти на сцену, но, по-видимому, Роджер не имел ни малейшей склонности к театру.

— Так или иначе, толку бы из него все равно не вышло,— сказала Джулия.

Роджер жил в Тэплоу сам по себе. С утра уходил на реку, валялся с книгой в саду. На день рождения Джулия подарила ему быстроходный дорожный велосипед, и теперь он разъезжал на нем по проселочным дорогам с головокружительной скоростью.

— Одно утешение,— говорила Джулия,— что с ним никаких хлопот. Он вполне способен сам себя занять.

По воскресеньям из города к ним съезжалось множество людей — актеры, актрисы, какой-нибудь случайный писатель и кое-кто из их более именитых друзей. Джулию это развлекало, и она знала, что люди любят ездить к ним в гости. В первое воскресенье после приезда Роджера к ним нахлынула целая толпа. Роджер был очень вежлив с гостями. Выполнял обязанности сына хозяина дома как настоящий светский человек. Но Джулии показалось, что внутренне он отчужден, словно играет роль, которой не может целиком отдаться. У нее было неуютное чувство, что он не принимает всех этих людей такими, какие они есть, но хладнокровно судит их со стороны. У Джулии создалось впечатление, что сын не смотрит на них всерьез.

Они договорились с Томом, что он придет в следующую субботу, и Джулия привезла его в своей машине после спектакля. Стояла лунная ночь, и в такой час дороги были пусты. Это была волшебная поездка. Джулия хотела бы, чтобы она длилась вечно. Она прильнула к нему, время от времени он целовал ее в темноте.

— Ты счастлив? — спросила она.

— Абсолютно.

Майкл и Роджер уже легли, но в столовой их ждал ужин. Безмолвный дом вызывал в них ощущение, будто они забрались туда без разрешения хозяев. Словно они — два странника, которые проникли из ночного мрака в чужое жилище и нашли там приготовленную для них роскошную трапезу. Было в этом что-то от сказок «Тысяча и одной ночи». Джулия показала Тому его комнату, рядом с комнатой Роджера, и пошла спать. На следующее утро она проснулась поздно. Был прекрасный день. Джулия никого не пригласила из города, чтобы весь день провести вместе с Томом. Когда она оденется, они пойдут с ним на реку. Джулия позавтракала, приняла ванну. Надела легкое белое платье, которое подходило для прогулки и очень ей шло, и широкополую шляпу из красной соломы, бросившую теплый отсвет на лицо. Почти совсем не накрасилась. Джулия поглядела в зеркало и довольно улыбнулась. Она и правда выглядела очень хорошенькой и молодой. Беспечной походкой Джулия направилась в сад. На лужайке, спускавшейся к самой воде, она увидела Майкла в окружении воскресных газет. Он был один.

— Я думала, ты пошел поиграть в гольф.

— Нет, пошли мальчики. Я решил, им будет приятней, если я отпущу их одних.— Он улыбнулся своей дружелюбной улыбкой.— Они для меня чересчур активны. В восемь утра они уже купались и, как только проглотили завтрак, унеслись в машине Роджера играть в гольф.

— Я рада, что они подружились.

Джулия сказала это искренне. Она была немного разочарована, что не смогла погулять с Томом у реки, но ей очень хотелось, чтобы он понравился Роджеру, у нее было подозрение, что Роджер весьма разборчив в своих симпатиях и антипатиях. В конце концов, Том пробудет у них еще целых две недели.

— Не скрою от тебя, рядом с ними я чувствую себя настоящим стариком,— заметил Майкл.

— Какая ерунда! Ты куда красивее, чем любой из них, и прекрасно это знаешь, мой любимый.

Майкл выдвинул подбородок и втянул живот.

Мальчики вернулись к самому ленчу.

— Простите за опоздание,— сказал Роджер.— Была чертова уйма народу, приходилось ждать у каждой метки для мяча. Мы загнали шары в лунки, сделав равное число ударов.

Они были «чертовски» голодны, возбуждены и очень довольны собой.

— Как здорово, что сегодня нет гостей,— сказал Роджер.— Я боялся, что пожалует вся шайка-лейка и нам придется вести себя пай-мальчиками.

— Я решила, что не мешает отдохнуть,— сказала Джулия.

Роджер взглянул на нее.

— Тебе это не повредит, мамочка. У тебя очень утомленный вид.

(«Ну и глаз, черт побери. Нет, нельзя показывать, что меня это трогает. Слава богу, я умею играть».)

Она весело засмеялась.

— Я не спала всю ночь, ломала себе голову, как тебе избавиться от прыщей.

— Да, ужасная гадость. Том говорит, у него тоже были.

Джулия перевела глаза на Тома. В открытой на груди тенниске, с растрепанными волосами, уже немного подзагоревший, он казался невероятно юным. Не старше Роджера, по правде говоря.

— А у него облезает нос,— продолжал со смехом Роджер.— Вот будет пугало!

Джулия ощутила легкое беспокойство. Казалось, Том скинул несколько лет и стал ровесником Роджеру не только по годам. Они болтали чепуху. Уплетали за обе щеки и осушили по нескольку кружек пива, и Майкл, который, как всегда, пил и ел очень умеренно, смотрел на них с улыбкой. Он радовался их юности и хорошему настроению. Он напоминал Джулии старого пса, который, чуть помахивая хвостом, лежит на солнце и наблюдает за возней двух щенят. Кофе пили на лужайке. Было так приятно сидеть в тени, любуясь рекой. Том выглядел очень стройным и грациозным в длинных белых брюках. Джулия никогда раньше не видела, что он курит трубку. Ее это почему-то умилило. Но Роджер стал подсмеиваться над ним.

— Ты почему куришь — потому что это тебе нравится или чтобы тебя считали взрослым?

— Заткнись,— сказал Том.

— Ты кончил кофе?

— Да.

— Тогда пошли на реку.

Том нерешительно взглянул на Джулию. Роджер это заметил.

— О, все в порядке, о моих почтенных родителях можешь не беспокоиться. У них есть воскресные газеты. Мама подарила мне недавно гоночный ялик.

(«Спокойно, спокойно... Держи себя в руках. Ну и дура я была, что подарила ему гоночный ялик!»)

— Хорошо,— сказала она со снисходительной улыбкой,— идите на реку, только не свалитесь в воду.

— Ничего не случится, если и свалимся. К чаю вернемся. Папа, теннисный корт размечен? Мы хотели поиграть после чаю.

— Пожалуй, твой отец сможет кого-нибудь найти, сыграете два против двух.

— А, не беспокойтесь, одиночная игра еще интереснее, да и лучше разомнемся,— и, обращаясь к Тому: — Кто первый добежит до сарая для лодок?

Том вскочил на ноги и бросился бежать, Роджер — вдогонку. Майкл взял одну из газет и принялся искать очки.

— Они хорошо поладили, правда?

— По-видимому.

— Я боялся, Роджеру будет скучно с нами. Хорошо, что теперь у него есть компания.

— Тебе не кажется, что Роджер ни с кем, кроме себя, не считается?

— Это ты насчет тенниса? Да мне, по правде говоря, все равно, играть или нет. Вполне естественно, что мальчикам хочется поиграть вдвоем. С их точки зрения, я старик и только испорчу им игру. В конце концов, главное — чтобы им было хорошо.

Джулия почувствовала угрызения совести. Майкл прозаичен, прижимист, самодоволен, но он необычайно добр и уж совсем не эгоист! Он не знает зависти. Ему доставляет удовольствие — если это только не стоит денег — делать других счастливыми. Майкл был для Джулии раскрытой книгой. Спору нет, все его мысли банальны; с другой стороны, ни одна из них не бывает постыдна. Ее выводило из себя, что, при всех его достоинствах, вместо того чтобы вызывать в ней любовь, Майкл вызывал такую мучительную скуку.

— Насколько ты лучше меня, моя лапушка,— сказала она.

Майкл улыбнулся своей милой дружелюбной улыбкой и покачал головой.

— Нет, дорогая, у меня был замечательный профиль, но у тебя есть огромный талант.

Джулия засмеялась. Это даже забавно — разговаривать с человеком, который никогда не догадывается, о чем идет речь. Но что имеют в виду, когда говорят об актерском таланте?

Джулия часто спрашивала себя, что именно поставило ее на голову выше других современных актеров. В первые годы ее карьеры у нее были недоброжелатели. Ее сравнивали — и не в ее пользу — с той или иной актрисой, пользовавшейся благосклонностью публики. Но уже давно никто не оспаривал у нее пальмы первенства. Конечно, известность ее была не так велика, как у кинозвезд. Джулия попыталась удачи в кино, но не имела успеха; ее лицо, такое подвижное и выразительное на сцене, на экране почему-то проигрывало, и после первой же пробы она, с одобрения Майкла, отвергала все предложения, которые получала время от времени. Играть в кино? Это ниже ее достоинства. Ее позиция сделала Джулии прекрасную рекламу. Джулия не завидовала кинозвездам: они появлялись и исчезали, она оставалась. Когда выпадал случай, она ходила смотреть игру других ведущих актрис Лондона. Джулия не скупилась на похвалы и хвалила от чистого сердца. Иногда чужая игра казалась ей настолько хорошей, что она искренне не понимала, почему люди поднимают такой шум вокруг нее, Джулии. Она прекрасно знала, какой высокой репутацией пользуется у публики, но сама была о себе достаточно скромного мнения. Джулию всегда удивляло, что люди восторгаются какой-нибудь ее интонацией или жестом, которые приходят к ней так естественно, что ей кажется просто невозможным сыграть иначе. Критики восхищались ее разносторонностью. Особенно хвалили способность Джулии войти в образ. Не то чтобы она сознательно кого-нибудь наблюдала и копировала, просто когда она бралась за новую роль, на нее неизвестно откуда мощной волной набегали смутные воспоминания, и она обнаруживала, что знает о своей новой героине множество вещей, о которых раньше и не подозревала. У Джулии часто возникал в памяти кто-нибудь из знакомых или даже случайный человек, которого она видела на улице или на приеме. Она сочетала эти воспоминания с собственной индивидуальностью, и так создавался характер, основанный на реальной жизни, но обогащенный ее опытом, ее владением актерской техникой и личным обаянием. Люди думали, что она играет только те два-три часа, что находится на сцене; они не знали, что

олицетворяемый ею персонаж подспудно жил в ней весь день; и когда она, казалось бы, увлеченно с кем-нибудь беседовала, и когда занималась каким-нибудь делом. Джулии часто казалось, что в ней сочетаются два лица: популярная актриса, всеобщая любимица, женщина, которая одевается лучше всех в Лондоне, но это — лишь иллюзия, и героиня, которую она изображает каждый вечер, и это — ее истинная субстанция.

«Будь я проклята, если я знаю, что такое актерский талант, — говорила она себе, — но зато я знаю другое: я бы отдала все, что имею, за восемнадцать лет».

Однако это была неправда. Если бы ей представилась возможность вернуться назад в юность, еще не известно, пожелала бы она это сделать. Скорее нет. И не популярность, даже если хотите — слава, была ей дорога, не ее власть над зрителями и не та искренняя любовь, которую они к ней питали, и уж конечно не деньги, которые принес ей талант; нет, ее опьяняло другое — та неведомая сила, которую она ощущала в себе, ее власть над материалом. Она могла получить роль, и даже не очень хорошую роль, с глупым текстом, и благодаря своим личным качествам, благодаря своему искусству, благодаря владению актерским ремеслом, на котором она собаку съела, вдохнуть в нее жизнь. Тут ей не было равных. Иногда Джулия чувствовала себя божеством.

«И к тому же, — засмеялась она, — Тома не было бы еще на свете».

В конце концов, только естественно, что ему нравится возиться с Роджером. Ведь они почти ровесники. Они принадлежат к одному поколению. Сегодня первый день его отпуска, пусть повеселятся, впереди еще целых две недели. Тому скоро надоеет проводить время с семнадцатилетним мальчишкой. Роджер очень мил, но скучен, материнская любовь не ослепляет ее. Нужно следить за собой и ни в коем случае не показывать, что она сердится. Джулия с самого начала решила, что не будет предъявлять к Тому никаких требований; если он почувствует, что чем-либо ей обязан, это может оказаться для нее роковым.

— Майкл, почему бы тебе не предложить вторую квартиру над гаражом Тому? Теперь, когда он сдал последний экзамен и получил звание бухгалтера-эксперта, ему просто неприлично жить в той его меблированной комнате.

— Неплохая мысль. Я у него спрошу.

— Сэкономим на плате агенту по сдаче внаем. Поможет ему обставиться. У нас стоит без дела куча старой

мебели. Пусть лучше Том ею пользуется, чем она будет просто гнить на чердаке.

Том и Роджер вернулись к чаю, проглотили множество бутербродов и дотемна играли в теннис. После обеда они засели за домино. Джулия разыграла блестящую сцену — молодая мать с нежностью следит за сыном и его юным другом. Спать она легла рано. Вскоре мальчики тоже поднялись наверх. Их комнаты были расположены прямо над ее спальней. Она слышала, как Роджер зашел к Тому. Они принялись болтать; окна и у нее и у них были открыты, до нее доносились их оживленные голоса. О чем, ради всего святого, они могли столько говорить?! Она ни разу не видела ни одного из них таким разговорчивым. Через некоторое время раздался голос Майкла:

— А ну, марш в постель, мальчики! Болтать будете завтра.

Они засмеялись.

— Хорошо, папочка! — закричал Роджер.

— Ну и болтуны вы!

Снова послышался голос Роджера:

— Спокойной ночи, старина.

И сердечный ответ Тома:

— Спокойной ночи, дружище.

«Идиоты!» — гневно вскричала про себя Джулия.

На следующее утро, в то время как она завтракала в постели, к ней зашел Майкл.

— Мальчики уехали в Хантерком играть в гольф. Они намерены сыграть два раунда и спросили, обязательно ли им возвращаться к ленчу. Я ответил, что нет.

— Не скажу, чтобы я была в восторге от того, что Том смотрит на наш дом как на гостиницу, — заметила Джулия.

— Милая, они же мальчишки. Право, пусть развлекаются как хотят.

Значит, сегодня она вообще не увидит Тома — между пятью и шестью ей надо выезжать, если она хочет попасть в театр вовремя. Майклу хорошо, отчего ему не быть добрым... Джулия была обижена. Ей хотелось плакать. Он, должно быть, совершенно к ней равнодушен — теперь она думала о Томе, — а она-то решила, что сегодня будет иначе, чем вчера. Она проснулась с твердым намерением быть терпимой и принимать вещи такими, каковы они есть, но ей и в голову не приходило, что ее ждет такое разочарование.

— Газеты уже принесли? — хмуро спросила Джулия.

В город она уехала разъяренная.

Следующий день был немногим лучше. Мальчики решили не играть в гольф, зато с утра до вечера сражались в теннис. Их неумная энергия страшно раздражала Джулию. В шортах, с голыми ногами, в спортивной рубашке Том казался не старше шестнадцати лет. Так как они купались по три-четыре раза в день, он не мог прилизывать волосы, и, стоило им высохнуть, они закручивались непослушными кольцами. От этого он казался еще моложе и, увы, еще прелестней. Сердце Джулии терзала мука. Ей казалось, что его манера вести себя странно изменилась; постоянно находясь в обществе Роджера, он потерял облик светского человека, который так следит за своей внешностью, так разборчив в том, что ему надеть, и снова стал неряшливым подростком. Ни намеком, ни взглядом он не выдавал, что он — ее любовник; он относился к ней так, как приличествует относиться к матери своего приятеля. Каждым замечанием, проказами, даже самой своей вежливостью он заставлял ее чувствовать, что она принадлежит к другому поколению. В его обращении к ней не было и следа рыцарственной галантности, которую молодой человек должен проявлять по отношению к обворожительной женщине; такую снисходительную доброжелательность скорее пристало выказывать незамужней старой тетушке.

Джулию возмущало, что Том послушно идет на поводу у мальчишки моложе себя. Это говорило о бесхарактерности. Но она не винила его; она винила Роджера. Его эгоизм вызывал в ней отвращение. Все это прекрасно — толковать, что он еще молод. Его безразличие ко всему, кроме собственного удовольствия, говорит о безудержном себялюбии. Он бестактен и невнимателен. Он ведет себя так, словно и дом, и прислуга, и мать, и отец существуют лишь для его удобства. У Джулии уже не раз сорвалось бы резкое слово, но она не осмеливалась при Томе читать Роджеру нотации. Незавидная роль. К тому же стоило побранить Роджера, у него сразу делался глубоко обиженный вид, глаза — как у раненого олененка, и вы чувствовали, что были жестоки и несправедливы к нему. Это доводило Джулию до испуга. Джулия и сама так умела, это выражение глаз Роджер унаследовал от нее, она тысячу раз пользовалась им на сцене с соответствующим эффектом и знала, что оно ровно ничего не значит, но когда оно появлялось в глазах сына, это страшно расстраивало ее. Даже мысль об этом вызвала в ней нежность. Столь внезапная перемена чувств открыла Джулии правду — она ревновала Тома к Роджеру, безумно ревновала.

Это открытие ее потрясло; она не знала, смеяться ей или сгорать со стыда. Несколько минут она размышляла.

«Ну, я тебе обедню испорчу».

Уж теперь воскресенье пройдет совсем иначе, чем в прошлый раз. К счастью, Том — сноб. «Женщина привлекает к себе мужчин, играя на своем очаровании, и удерживает их возле себя, играя на их пороках», — пробормотала Джулия и подумала: интересно, сама она придумала этот афоризм или припомнила его из какой-нибудь пьесы.

Джулия позвонила кое-кому. Пригласила на конец недели Деннорантов, Чарлза Тэмерли — тот гостил в Хенли у сэра Мейхью Брсйнстона, министра финансов. Он принял приглашение приехать и пообещал привезти сэра Мейхью с собой. Чтобы их развлечь — Джулия знала, что аристократы вовсе не интересуются друг другом, когда окунаются, как они воображают, в богему, — она позвала своего партнера по сцене Арчи Декстера и его хорошенькую жену, игравшую под своим девичьим именем — Грейс Хардуил. Джулия не сомневалась, что, если на горизонте появятся маркиза и маркиз, в обществе которых он сможет вращаться, и член кабинета, на которого ему захочется произвести впечатление, Том не пойдет кататься на ялике или играть в гольф. На таком приеме Роджер займет подобающее ему место школьника, на которого никто не обращает внимания, а Том увидит, какой она может быть блестящей, если пожелает. Предвкушая свое торжество, Джулия смогла стойко перенести оставшиеся дни. Она почти не видела Тома и Роджера, а когда у нее бывали утренние спектакли, не видела их совсем. Если они не играли в теннис или гольф, то носились по окрестностям в машине Роджера.

Джулия привезла Деннорантов после спектакля. Роджер лег спать, но Майкл и Том ждали их к ужину. Это был чудесный ужин. Слуги тоже уже легли, и они сами себя обслуживали. Джулия заметила, как Том старается, чтобы у Деннорантов было все, что им нужно, с какой готовностью вскакивает, чтобы им услужить. Его вежливость казалась чуть ли не назойливой. Денноранты были скромной молодой парой, им и в голову не приходило, что их титул может иметь хоть какое-то значение, и Джордж Деннорант порядком смутился, когда Том забрал у него грязную тарелку и протянул ему чистую для следующего блюда.

«Думаю, завтра Роджеру не с кем будет играть в гольф», — сказала себе Джулия.

Они просидели за разговорами до трех часов, и Джулия заметила, что, когда Том желал ей спокойной ночи, глаза

его сияли, но от любви или шампанского — этого она не могла сказать. Он сжал ей руку.

— Чудесный вечер! — воскликнул он.

Было уже позднее утро, когда Джулия в платье из органди вышла в сад во всем блеске своей красоты. Роджер сидел в шезлонге с книгой в руках.

— Читаешь? — спросила Джулия, поднимая действительно прекрасные брови. — Почему вы не играете в гольф?

У Роджера был надутый вид.

— Том говорит, что слишком жарко.

— Да? — отозвалась она с очаровательной улыбкой. — А я испугалась, что ты счел своим долгом остаться, чтобы занять моих гостей. Будет куча народу, мы вполне сможем без тебя обойтись. Где все остальные?

— Не знаю. Том ухлестывает за Сесили Деннорант.

— Она очень хорошенькая.

— Похоже, сегодня будет жуткая скука.

— Надеюсь, Том этого не скажет, — проговорила Джулия с таким видом, словно это ее сильно беспокоит.

Роджер ничего не ответил.

День прошел в точности так, как ожидала Джулия. Правда, она мало видела Тома, но Роджер видел его еще меньше. Том очень понравился Деннорантам; он объяснил им, каким образом избежать огромного подоходного налога, который им приходилось платить. Он почтительно слушал министра финансов, в то время как тот рассуждал о театре, и Арчи Декстера, когда тот излагал свои взгляды на политическую ситуацию. Джулия еще никогда не была в таком ударе. Арчи Декстер обладал живым умом, неисчерпаемым запасом театральных историй и удивительным даром их рассказывать, и во время ленча они с Джулией на пару заставили весь стол хохотать, а после чая, когда игроки в теннис устали, Джулию уговорили (нельзя сказать, чтобы она сильно сопротивлялась) доставить всем удовольствие своей пародией на Глэдис Купер, Констанс Колье и Герти Лоренс. Однако Джулия не забыла, что Чарлз Тэмерли — ее преданный и бескорыстный воздыхатель, и улучила минутку в сумерки, чтобы погулять с ним вдвоем. С Чарлзом она не старалась быть ни веселой, ни остроумной, с ним она была мечтательна и нежна. На сердце у Джулии было тоскливо, несмотря на блестящий спектакль, который она играла весь день; когда вздохами, печальными взглядами и недомолвками она дала Чарлзу понять, что жизнь ее пуста и, несмотря на свою успешную карьеру, она не может не чувствовать, что упустила нечто очень важное, она была

почти искренна. Как часто она вспоминает о вилле в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива... Прекрасная мечта. Возможно, там ее ждало настоящее счастье, стоило лишь руку протянуть. Она сделала глупость. Что все ее сценические триумфы? Иллюзия. *Pagliariacci*¹. Люди не понимают, насколько это верно. *Vesti la giubba*² и прочее. Она так одинока. Естественно, не было необходимости говорить Чарлзу, что сердце ее тоскует не из-за утерянных возможностей, а из-за того, что некий молодой человек предпочитает играть в гольф с ее сыном, а не заниматься любовью с ней.

А потом Джулия и Арчи Декстер сговорились и после обеда, когда все собрались в гостиной, без предупреждения, начав с нескольких ничего не значащих слов, устроили друг другу ужасную сцену ревности, словно были любовниками. В первый момент остальные не догадались, что это шутка, но вскоре их взаимные обвинения стали столь чудовищны и непристойны, что потонули во всеобщем хохоте. Затем они разыграли экспромтом, как подвыпивший джентльмен подбирает уличную девку-француженку на Джермин-стрит. После этого с невозмутимой серьезностью изобразили, как миссис Элвинг из «Привидений» пытается соблазнить пастора Мэндерса. Их небольшая аудитория покатывалась со смеху. Закончили они «номером», который часто показывали на театральных приемах и отшлифовали его до блеска. Это был кусок из чеховской пьесы; весь текст шел по-английски, но в особо патетических местах они переходили на тарабарщину, звучащую совсем как русский язык. Джулия призвала на помощь весь свой трагедийный талант, но произносила реплики с таким шутовским пафосом, что это производило неотразимо комический эффект. Джулия вложила в исполнение искреннюю душевную муку, но с присутствием ей живым чувством юмора сама же над ней подсмеивалась. Зрители хохотали до упаду, держались за бока, стонали от неудержимого смеха. Быть может, это было ее лучшее представление, Джулия играла для Тома, и только для него.

— Я видел Сару Бернар и Режан³, — сказал министр финансов. — Я видел Дузе и Эллен Терри, видел миссис Кендел. «*Nunc Dimittis*»⁴. Сподобился.

¹ Комедиантство (*ит.*).

² Здесь: маскарад (*ит.*).

³ Режан Габриэль (1857—1920) — французская актриса.

⁴ «Ныне отпускаеши» (*лат.*).

Джулия, сияющая, кинулась в кресло и одним глотком осушила бокал шампанского.

«Черт меня побери, если я не испортила Роджеру обедню»,— подумала она.

Но несмотря на все это, когда она спустилась на следующее утро к завтраку, мальчики уже ушли играть в гольф. Майкл успел отвезти Деннорантов в город. Джулия чувствовала себя усталой. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы весело болтать, когда Роджер и Том пришли к ленчу. Днем они втроем отправились на реку, но у Джулии было чувство, что они взяли ее с собой не потому, что им хотелось, а потому, что не сумели этого избежать. Она подавила вздох, когда подумала, как ждала отпуска Тома. Теперь она считала дни, оставшиеся до его конца. Она испытала облегчение, когда села наконец в машину, чтобы ехать в Лондон. Джулия не сердилась на Тома, но была глубоко уязвлена; сердилась она на себя за то, что потеряла над собой власть. Однако, когда Джулия вошла в театр, она почувствовала, что стряхнула это наваждение, как дурной сон, от которого пробуждаешься утром. Здесь, в своей уборной, она вновь стала себе хозяйкой, и все события повседневной жизни утратили важность. Ей ничто не страшно, пока в ее власти есть такая возможность обрести свободу.

Так прошла вторая неделя. Майкл, Роджер и Том наслаждались жизнью. Они купались, играли в теннис и гольф, слонялись у реки. Осталось четыре дня. Осталось три дня.

(«Ну, теперь уж я дотерплю до конца. Все изменится, когда мы вернемся в Лондон. Нельзя показывать, как я несчастна. Нужно делать вид, что все в порядке».)

— Повезло нам, отхватили такой кусок хорошей погоды,— сказал Майкл.— А Том пользовался успехом, правда? Жаль, что он не может остаться еще на недельку.

— Да, ужасно жаль.

— Я думаю, Роджеру хорошо иметь такого товарища. Абсолютно нормальный, чистый английский юноша.

— О да, абсолютно. («Ну и дурак! Ну и дурак!»)

— Прямо удовольствие глядеть, как они едят.

— О да, аппетит у них завидный. («Господи, хоть бы они подавились!»)

Том должен был возвращаться в Лондон с ранним поездом в понедельник утром. Декстеры, у которых был загородный дом в Борн-энде, пригласили их всех в воскресенье на ленч. Ехать туда собирались на моторной лодке. Теперь,

когда отпуск Тома закончился, Джулия была рада, что ни разу ничем не выдала своего раздражения. Она была уверена, что Том даже не догадывается, какую боль он ей причинил. Надо быть снисходительной; в конце концов, он — всего только мальчик, и если уж ставить точки над «i», она годится ему в матери. Конечно, печально, что она потеряла из-за него голову, но что поделаешь, слезами горю не поможешь, она с самого начала сказала себе, что он не должен чувствовать, будто она как-то на него притязает. В воскресенье они никого не ждали к ужину. Джулии хотелось побыть вдвоем с Томом в этот последний вечер. Конечно, это невозможно, но, во всяком случае, они смогут погулять вместе в саду.

«Интересно, он заметил, что ни разу меня не поцеловал с тех пор, как сюда приехал?»

Можно было бы покататься на ялике. Как божественно будет хоть несколько мгновений побыть в его объятиях, это вознаградило бы ее за все.

У Декстеров собрались в основном актеры. Грейс Хардуил, жена Арчи, играла в музыкальной комедии, и там была целая куча хорошеньких девушек, танцевавших в оперетте, в которой Грейс тогда пела. Джулия с большой естественностью изображала примадонну, которая ничего из себя не строит. Она очаровательно улыбалась девицам с обесцвеченным перекистью перманентом, зарабатывающим в хоре три фунта в неделю. У многих гостей были с собой фотоаппараты, и она любезно позволяла себя снимать. Она восторженно аплодировала, когда Грейс исполнила свою знаменитую арию под аккомпанемент самого композитора. Она громче всех смеялась, когда комедийная «старуха» изобразила ее, Джулию, в одной из самых известных ролей. Было очень весело, шумно и беззаботно. Джулия искренне наслаждалась, но когда пробило семь, без сожаления собралась уезжать. В то время как она горячо благодарила хозяев дома за приятный вечер, к ней подошел Роджер.

— Послушай, мам, тут собралась компания, едут в Мейднхед ужинать и потанцевать и зовут нас с Томом. Ты ведь не возражаешь?

Кровь прихлынула к щекам Джулии. Она не могла совладать с собой, и голос ее прозвучал довольно резко:

— А как вы вернетесь?

— Не беспокойся, все будет в порядке. Кто-нибудь нас подкинет.

Джулия беспомощно взглянула на сына. Ей нечего было возразить.

— Будет страшно весело, мама. Том безумно хочет поехать.

Ее сердце упало. Лишь с величайшим трудом ей удалось овладеть собой и не закатить ему сцену.

— Хорошо, милый. Только не возвращайтесь слишком поздно. Помни, что Тому вставать чуть свет.

В это время Том сам к ним подошел и услышал ее последние слова.

— Вы действительно ничего не имеете против? — спросил он.

— Конечно нет. Надеюсь, вы хорошо проведете там время.

Она весело улыбнулась, но глаза ее сверкали холодным блеском.

— А я рад, что мальчишки уехали, — сказал Майкл, садясь в лодку. — Мы уже целую вечность не были с тобой вдвоем.

Джулия стиснула зубы, чтобы не взорваться и не попросить его попридержать свой дурацкий язык. Ее душила черная ярость. Это было последней каплей. Том не замечал ее все две недели, он даже не был элементарно вежлив, а она — она вела себя как ангел. Какая женщина проявила бы столько терпения? Любая другая на ее месте велела бы ему убираться вон, если он не знает, что такое простое приличие. Эгоист, дурак, грубиян — вот что он такое. Жаль, что он уезжает завтра сам. С каким удовольствием она выставила бы его за дверь со всеми его пожитками! Как он осмелился так с ней обращаться, этот ничтожный маленький клерк?! Поэты, члены кабинета министров, пэры Англии с радостью отменили бы самую важную встречу, лишь бы поужинать с ней, а он бросил ее и отправился танцевать с крашеными блондинками, которые совершенно не умеют играть. Ясно, что он глуп как пробка. Что уж тут говорить о благодарности. За последнюю тряпку, которая надета на нем, плачено ее деньгами. А этот портсигар, которым он так гордится, разве не она подарила его? А кольцо? Ну, нет, это ему даром не пройдет, она с ним сквитается. И она даже знает как. Она знает его самое уязвимое место, знает, как ранить его всего больней. Уж она сумеет задеть его за живое. Джулии стало немного полегче, когда она принялась в подробностях придумывать план мести. Ей не терпелось поскорее привести его в исполнение, и не успели они вернуться домой, как она поднялась к себе в спальню. Вынула из сумочки четыре купюры по фунту стерлингов и одну — на десять шиллингов.

Написала короткую записку:

«Дорогой Том

Вкладываю деньги, которые надо оставить слугам, так как не увижу тебя утром. Три фунта дай дворецкому, фунт — горничной, которая чистила и отглаживала тебе костюмы, десять шиллингов — шоферу.

Джулия».

Она позвала Эви и велела, чтобы горничная, которая разбудит Тома завтра утром, передала ему конверт. Когда Джулия спустилась к ужину, она чувствовала себя гораздо лучше. Пока они ели, вела с Майклом оживленный разговор, потом они сели играть в безик. Даже если бы она целую неделю ломала себе голову, как сильнее уколоть Тома, она не придумала бы ничего лучшего.

Но уснуть Джулия не смогла. Она лежала в постели и ждала возвращения Роджера и Тома. Ей пришла в голову мысль, прогнавшая весь ее сон. Возможно, Том поймет, как он мерзко себя вел. Если он хоть на секунду об этом задумается, он увидит, как он ее огорчил; быть может, он пожалеет об этом, и, когда они вернутся и Роджер пошлет ему доброй ночи, он прокрадется к ней в комнату. Если Том это сделает, она ему все простит. Письмо, наверное, лежит в буфетной, ей будет нетрудно спуститься тихонько вниз и забрать его. Наконец подъехала машина. Джулия включила свет, чтобы взглянуть на часы. Три часа. Она слышала, как юноши поднялись наверх и разошлись по своим комнатам. Джулия ждала. Зажгла ночник у кровати, чтобы Тому было видно, когда он откроет дверь. Она притворится, что спит, а когда он подойдет к ней на цыпочках, медленно откроет глаза и улыбнется ему. Джулия ждала. В тишине ночи она услышала, как он лег в постель; щелкнул выключатель. С минуту она глядела прямо перед собой, затем, пожав плечами, открыла ящичек в тумбочке возле кровати и взяла из пузырька две таблетки снотворного.

«Если я не усну, я сойду с ума».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Когда Джулия проснулась, был двенадцатый час. Среди писем она нашла одно, которое не пришло по почте. Она узнала аккуратный, четкий почерк Тома и вскрыла конверт. Там не было ничего, кроме четырех фунтов и десяти шиллингов. Джулия почувствовала легкую дурноту. Она и сама не

знала, какого ждала ответа на свое снисходительное письмо и оскорбительный подарок. Ей не пришло в голову, что он может просто его вернуть. Джулия была вчера встревожена и расстроена, она хотела его унижить, сделать ему больно, но теперь испугалась, что зашла слишком далеко.

«Надеюсь все же, что он дал прислуге на чай», — пробормотала она, чтобы себя подбодрить. Джулия пожалала плечами. «Ничего, опомнится, ему не вредно узнать, что я тоже не всегда сахар».

Но весь день она оставалась в задумчивости. Когда Джулия приехала вечером в театр, ее ждал там пакет. Как только она взглянула на обратный адрес, она поняла, что в нем. Эви спросила, вскрыть ли пакет.

— Не надо.

Но не успела Джулия остаться одна, как сама его вскрыла. Там лежала булавка для галстука, и пуговицы для жилета, и жемчужные запонки, и часы, и золотой портсигар — гордость Тома. Все до одной вещи, которые она ему подарила. И никакого письма. Ни слова объяснения. Сердце ее упало, она заметила, что вся дрожит.

«Какая я была идиотка! Почему не сдержалась?!»

Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Она не в состоянии выйти на сцену, когда ее терзает такая адская мука. Она будет ужасно играть. Чего бы ей это ни стоило, она должна с ним поговорить. В его доме был телефон с отводом к нему в комнату. Джулия набрала номер. К счастью, Том был дома.

— Том!

— Да?

Он немного помолчал перед тем, как ответить, и голос его звучал раздраженно.

— Что все это значит? Почему ты прислал мне все эти вещи?

— Ты получила утром деньги?

— Да. Я абсолютно ничего не понимаю. Я тебя обидела?

— О нет, — ответил он. — Мне, конечно, очень приятно, чтобы со мной обращались, как с содержанкой. Мне, конечно, приятно, когда мне бросают в лицо упрек, что даже чаевые и те я не могу сам заплатить. Удивительно еще, что ты не вложила в конверт деньги на билет третьего класса до Лондона.

Хотя Джулия чуть не плакала от боли и тревоги и с трудом могла говорить, она невольно улыбнулась. Ну и глупыш!

— Неужели ты думаешь, что я хотела тебя оскорбить? Ты достаточно хорошо меня знаешь и должен понимать, что это мне и в голову не могло прийти.

— Тем хуже. («Будь я проклята»,— подумала Джулия.) Мне не надо было брать у тебя эти подарки, мне не надо было занимать у тебя деньги.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Все это — какое-то ужасное недоразумение. Зайди за мной после спектакля, и мы во всем разберемся. Я все тебе объясню.

— Я иду обедать к родителям и останусь у них ночевать.

— Тогда завтра.

— Завтра я занят.

— Я должна увидеться с тобой, Том. Мы слишком много значили друг для друга, чтобы вот так расстаться. Как ты можешь осуждать меня, не выслушав? Это несправедливо — наказывать человека, когда он ни в чем не виноват.

— Я думаю, будет гораздо лучше, если мы перестанем встречаться.

Джулия совсем потеряла голову.

— Но я люблю тебя, Том. Я тебя люблю. Разреши мне еще раз увидеть тебя, и если ты по-прежнему будешь сердиться на меня, что ж, будем считать, что дело кончено.

Его молчание тянулось до бесконечности. Наконец он ответил:

— Хорошо, я зайду во вторник после дневного спектакля.

— Не думай обо мне слишком плохо, Том.

Что бы там ни было, он придет. Джулия снова завернула присланные им вещи и спрятала их туда, где их не увидит Эви. Она разделась, накинула старый розовый халат и начала гримироваться. Настроение у нее было ужасное: она впервые призналась Тому в своей любви. Ее грызло, что пришлось унижительно умолять его, чтобы он к ней пришел. До сих пор он искал ее общества. Было невыносимо думать, что их роли переменились.

Джулия очень плохо играла на дневном представлении во вторник. Стояла страшная жара, публика принимала спектакль вяло. Джулии было все равно. Ее сердце терзали дурные предчувствия. Что ей до того, как идет пьеса! («И какого черта им вообще надо в театре в такой день?») Она была рада, когда представление окончилось.

— Я жду мистера Феннела,— сказала она Эви.— Я не хочу, чтобы меня беспокоили, пока он будет у меня.

Эви не ответила. Джулия взглянула на нее: у Эви был очень хмурый вид.

(«Ну ее к черту. Плевать мне, что она там думает!»)

Том уже должен был к этому времени прийти: шел шестой час. Он не мог не прийти, ведь он же обещал. Джулия надела халат, не тот старый халат, в котором обычно гримировалась, а мужской, из темно-вишневого шелка. Эви все еще возилась, прибирая ее вещи.

— Ради бога, Эви, перестань суетиться. Я хочу побыть одна.

Эви не отвечала. Она продолжала методично расставлять на туалетном столике предметы в том порядке, в каком Джулия всегда желала их там видеть.

— Черт подери, ты почему не отвечаешь, когда я с тобой говорю?

Эви обернулась и посмотрела на Джулию. Задумчиво подтерла пальцем нос. «Может, вы и великая актриса, но...»

— Убирайся к черту!

Сняв сценический грим, Джулия совсем не стала краситься, лишь чуть-чуть подсинила под глазами. У нее была гладкая, белая кожа, и без губной помады и румян она выглядела бледной и изнуренной. В мужском халате она казалась беспомощной, хрупкой и вместе с тем элегантной. На сердце у нее было тяжело, ее снедала тревога, но, взглянув в зеркало, она пробормотала: «Мими в последнем акте «Богемы». Сама не замечая того, она раза два кашлянула, словно у нее чахотка. Джулия погасила яркий свет у туалетного столика и прилегла на диван. Вскоре в дверь постучали, и Эви доложила о мистере Феннеле. Джулия протянула ему белую худую руку.

— Прости, я лежу, мне что-то нездоровится. Возьми себе стул. Очень мило, что ты пришел.

— Нездоровится? Что с тобой?

— О, ничего страшного.— Бескровные губы шевельнулись в вымученной улыбке.— Просто не очень хорошо спала последние две-три ночи.

Джулия обратила к Тому свои прекрасные глаза и несколько минут пристально смотрела на него в молчании. Вид у него был хмурый, но ей показалось, что он испуган.

— Я жду, что ты объяснишь мне, в чем моя вина. Что ты имеешь против меня? — сказала Джулия наконец тихим голосом.

Она заметила, что голос ее чуть дрожал, но вполне естественно. («Господи, да я, кажется, испугана».)

— Нет смысла к этому возвращаться. Я хотел сказать тебе единственную вещь: боюсь, я не смогу сразу выплатить тебе те двести фунтов, что я должен, у меня их просто нет,

но постепенно я все отдам. Мне очень неприятно просить у тебя отсрочку, но нет другого выхода.

Джулия приподнялась и приложила обе руки к своему разбитому сердцу.

— Я не понимаю. Я две ночи пролежала без сна, все думала, в чем дело. Я боялась, что сойду с ума. Я пыталась понять. И не могу. Не могу. («В какой пьесе я это говорила?»)

— Не можешь? Ты все прекрасно понимаешь. Ты рассердилась на меня и решила меня наказать. И сделала это. Ты расквиталась со мной как надо! Ты не могла придумать лучшего способа выразить свое презрение.

— Но почему бы мне было тебя наказывать? За что? Почему я должна была на тебя сердиться?

— За то, что я поехал в Мейднхед с Роджером на эту вечеринку, а тебе хотелось, чтобы я вернулся домой.

— Но я же сама сказала, чтобы вы ехали. Я пожелала вам хорошо провести время.

— Да, конечно, но твои глаза сверкали от ярости. У меня не было особой охоты туда ехать, но Роджеру уж так загорелось. Я говорил ему, что нам лучше вернуться и поужинать с тобой и Майклом, но он сказал — вы будете только рады сбить нас с рук, и я решил не поднимать из-за этого шума. А когда я увидел, что ты разозлилась, уже было поздно идти на попятную.

— Я вовсе не разозлилась. Не представляю, как это могло прийти тебе в голову. Вполне естественно, что вам хотелось пойти на вечеринку. Неужели ты думаешь, я такая свинья, чтобы быть недовольной, если ты поразвлечешься в свой отпуск? Мой бедный ягненочек, я боялась только одного — что тебе будет там скучно. Я так мечтала, чтобы ты весело провел время!

— Тогда почему ты написала мне эту записку и вложила эти деньги? Это было так оскорбительно.

Голос Джулии сорвался. Губы задрожали, она не могла совладать со своим лицом. Том смущенно отвернулся — сам того не желая, он был тронут.

— Мне было невыносимо думать, что ты выкинешь свои деньги на мою прислугу. Я знаю, что ты не так уж богат и потратил кучу денег на чаевые, когда играл в гольф. Я презираю женщин, которые идут куда-нибудь с молодым человеком и позволяют ему за себя платить. Форменные эгоистки. Я поступила с тобой так, как поступила бы с Роджером. Я никак не думала, что задену твое самолюбие.

— Поклянись!

— Честное слово. Господи, неужели после всех этих месяцев ты так плохо меня знаешь! Если бы то, что ты подумал, было правдой, какой я тогда должна быть подлой, жестокой, жалкой женщиной, какой хамкой, какой бессердечной вульгарной бабой! Ты такой меня считаешь, да?

Трудный вопрос.

— Ну, да не важно. Все равно, мне не следовало принимать от тебя дорогие подарки и брать взаймы деньги. Это поставило меня в ужасное положение. Почему я думал, что ты меня презираешь? Да потому, что сам чувствую — ты имеешь на это право. Я действительно не могу позволить себе водиться с людьми, которые настолько меня богаче. Я был дурак, думая, что могу. Мне было очень весело и интересно, я великолепно проводил время, но теперь с этим покончено. Больше мы видеться не будем.

Джулия глубоко вздохнула.

— Тебе просто на меня наплевать. Вот что все это означает.

— Это несправедливо.

— Ты для меня — все на свете. Ты сам это знаешь. Я так одинока. Твоя дружба так много значит для меня. Я окружена паразитами и прихлебателями, а тебе от меня ничего не надо. Я чувствовала, что могу на тебя положиться. Мне было так с тобой хорошо. Ты — единственный, с кем я могла быть сама собой. Разве ты не понимаешь, какое для меня удовольствие хоть немного тебе помочь? Я не ради тебя дарила эти мелочи, а ради себя; я была так счастлива, видя, что ты пользуешься вещами, которые я купила. Если бы я что-нибудь для тебя значила, тебя бы это не унижало, ты был бы тронут.

Джулия снова посмотрела на него долгим взглядом. Ей и всегда нетрудно было заплакать, а сейчас она чувствовала себя такой несчастной, что для этого не требовалось даже малейшего усилия. Том еще ни разу не видел ее плачущей. Она умела плакать не всхлипывая, — прекрасные глаза широко открыты, лицо почти неподвижно, и по нему катятся большие тяжелые слезы. Ее оцепенение, почти полная неподвижность трагической позы производили удивительно волнующий эффект. Джулия не плакала так с тех пор, как играла в «Раненом сердце». Господи, как эта пьеса выматывала ее! Джулия не глядела на Тома, она глядела прямо перед собой; она обезумела от боли. Но что это? Другое, внутреннее ее «я» прекрасно понимало, что она делает. Это «я» разделяло ее боль и одновременно наблюдало, как она ее выражает. Уголком глаза Джулия увидела, как Том

побледнел, ощутила, как внезапная мука пронзила его до глубины души, почувствовала, что его плоть и кровь просто не в состоянии выдержать ее страдания.

— Джулия!

Голос изменил ему. Она медленно перевела на него подернутые влагой глаза. Перед ним была не плачущая женщина, перед ним была вся скорбь человеческого рода, неизмеримое, безутешное горе — вечный удел людей. Том кинулся на колени и привлек ее в свои объятия. Он был потрясен.

— Любимая! Любимая!

Джулия не двигалась. Казалось, она не осознает, что он тут, рядом. Том целовал ее плачущие глаза, искал губами ее губы. Она отдала их Тому, словно была беспомощна перед ним, словно она не понимает, что с ней, и утратила всю свою волю. Почти незаметным движением Джулия прижалась к нему всем телом, руки ее словно ненароком обвили вокруг его шеи. Она лежала в объятиях Тома не то чтобы совсем мертвая, но так, будто все ее силы, вся энергия оставили ее. Он чувствовал во рту соленый вкус ее слез. Наконец, утомленная, все еще обвивая его мягкими руками, Джулия откинулась на диван. Том прильнул к ее губам.

Глядя на нее четверть часа спустя, такую спокойную и веселую, лишь немного покрасневшую, никто бы не догадался, что совсем недавно она так горько плакала. Они выпили оба по бокалу виски с содовой, выкурили по сигарете и с нежностью смотрели сейчас друг на друга.

«Он — душка», — подумала Джулия.

Ей пришло в голову, что она может доставить Тому удовольствие.

— Сегодня на спектакле будут герцог и герцогиня Рикби, потом мы пойдем вместе ужинать в «Савой». Ты, наверное, не пожелаешь разделить с нами компанию? Я без кавалера.

— Если ты этого хочешь, пойду с удовольствием.

Румянец, сгустившийся у него на щеках, явственно сказал ей о том, как он взволнован возможностью встретиться с такими высокопоставленными особами. Джулия не стала говорить ему, что чета Рикби готова отправиться куда угодно, лишь бы угоститься за чужой счет. Том взял обратно ее подарки; смущенно, правда, но взял. Когда он ушел, Джулия присела к туалетному столику и посмотрела на себя в зеркало.

«Как удачно, что у меня не распухают от слез глаза, — сказала она. Она немного помассировала веки. — И все равно, до чего мужчины глупы!»

Джулия была счастлива. Теперь все будет хорошо. Она заполучила Тома обратно.

Но где-то, в самых тайниках души, она чувствовала к Тому хоть и слабое, но презрение за то, что ей удалось так легко его провести.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ссора, каким-то непонятым образом сломав разделявший их барьер, сблизила Джулию и Тома еще больше. Том не так сильно сопротивлялся, как она ожидала, когда она снова подняла вопрос о квартире. Казалось, после их примирения, взяв обратно ее подарки и согласившись забыть о долге, он сделался глух к угрызням совести. Как увлекательно было обставлять квартиру! Жена шофера убирала ее и готовила Тому завтрак. У Джулии были свои ключи, и иногда она заходила туда и сидела в гостиной, поджидая Тома из конторы. Раза три в неделю они ужинали где-нибудь вместе, танцевали и возвращались на такси к нему. Эта осень была для Джулии очень счастливой. Пьеса, которая тогда шла, имела успех. Джулия чувствовала себя энергичной и молодой. Роджер должен был приехать к рождеству, но дома он собирался провести всего две недели, а затем поехать в Вену. Джулия понимала, что он опять завладеет Томом, и решила не расстраиваться по этому поводу. Юность естественно тяготеет к юности, и нет никаких причин волноваться, если в течение нескольких дней мальчики будут так поглощены друг другом, что Том и думать забудет о ней. Теперь она крепко держала его. Он гордился тем, что он ее любовник, это придавало ему уверенности в себе. Ему льстило быть так близко знакомым со многими более или менее высокопоставленными особами, а это было для него возможно только через нее. Тому страшно хотелось вступить в хороший клуб, и Джулия подготавливала для этого почву. Чарлз никогда ни в чем ей не отказывал, и она не сомневалась, что если взяться за дело тактично, она уговорит его, и он предложит Тома в члены одного из своих клубов. Тратить свободно деньги также было для Тома новым и восхитительным ощущением; Джулия потворствовала его расточительности. Она вбила себе в голову, что он привыкнет к такому образу жизни и поймет, что без нее ему просто не обойтись.

«Понятно, это не может длиться вечно,—убеждала она себя,—но когда все кончится, ему будет о чем вспомнить.

И это так много ему даст! Это сделает из него настоящего мужчину».

Но хотя Джулия говорила себе, что их связь не может длиться вечно, на самом деле она не понимала, почему бы и нет. Со временем Том повзрослеет и постареет, и разница между ними не будет такой уж большой. Через десять — пятнадцать лет он не будет так молод, а она стареть не собирается. Им было очень хорошо вместе. Мужчины — рабы привычек, это помогает женщинам их удерживать. Джулия не чувствовала себя старше его и на день, и конечно же сам он и не вспоминает о разнице их лет. Правда, был один момент, когда ее охватило по этому поводу некоторое беспокойство. Том причесывался у туалетного столика. Джулия, в чем мать родила, лежала на его постели в позе тициановской Венеры, которую как-то видела в одном загородном доме. Она чувствовала, что представляет собой прелестную картину, и, абсолютно убежденная в этом, не меняла положения. Она была счастлива и удовлетворена.

«Как в настоящем любовном романе», — думала она, и быстрая легкая улыбка порхала на ее губах.

Том заметил ее отражение в зеркале, повернулся и, не говоря ни слова, быстрым движением натянул на нее простыню. Хотя она одарила его нежной улыбкой, внутри у нее все перевернулось. В чем дело — он боится, что она простудится, или, по присущей всем англичанам стыдливости, шокирован ее наготой? А вдруг теперь, когда его юношеское вожделение удовлетворено, ему просто противно глядеть на ее стареющее тело? Вернувшись домой, Джулия вновь разделась догола перед трюмо и подвергла себя внимательному осмотру. Она решила не щадить себя. Она посмотрела на шею — никаких следов ее возраста, особенно если держать повыше подбородок. Грудь у нее маленькая и упругая, совсем девичья. Живот плоский, бедра неширокие, жира на них самая малость, да и у кого его нет; можно приказать мисс Филиппс, чтобы она согнала его совсем. Никто не скажет, что у нее нехороши ноги: длинные, стройные, прекрасной формы. Джулия провела руками по всему телу; кожа как атлас, ни пятнышка, ни шрама. Конечно, под глазами уже прорезались несколько морщинок, но нужно очень пристально вглядываться, чтобы их заметить; говорят, существует пластическая операция, при помощи которой можно от них избавиться, надо будет разузнать. К счастью, она совсем не седеет, как хорошо ни покрасишь волосы, от крашенных волос грубеет лицо; у нее они до сих пор сохранили свой сочный темно-каштановый цвет. Зубы тоже в полном порядке.

«Излишняя скромность, вот что это было, только и всего».

Однако с того дня Джулия старалась держать себя соответственно понятиям Тома о благопристойности.

У Джулии была такая прочная репутация, что она считала: ей нечего бояться показываться с Томом в публичных местах. Для нее было внове посещать ночные клубы, она наслаждалась этими вылазками, и хотя никто лучше нее не знал, что, где бы она ни появилась, она привлекает к себе внимание, Джулии и в голову не приходило, что такая перемена в ее привычках может вызвать в городе толки. Имея за спиной двадцать лет супружеской верности — Джулия, естественно, не принимала в расчет испанца, такой инцидент мог произойти с кем угодно, — она была убеждена, что никто и на миг не вообразит, будто у нее роман с мальчиком, который годится ей в сыновья. Она не подумала, что сам Том не всегда ведет себя достаточно осмотрительно. Она не подумала также, что ее собственные глаза, когда они с Томом танцуют, выдают ее с головой. Джулия считала, что она — выше подозрений, ей было невдомек, что о ней уже начинают судачить.

Когда сплетни достигли ушей Долли де Фриз, та только расхохоталась. По просьбе Джулии она приглашала Тома к себе на приемы и раза два звала в свой загородный дом на уик-энд, но она никогда не обращала на него внимания. Славный мальчик, удобный телохранитель для Джулии, когда Майкл занят, но абсолютный нуль. Один из тех людей, которых никто не замечает, чьего лица не можешь вспомнить на следующий день. Человек, которого зовут в последний момент на обед, если не хватает кавалера. Джулия со смехом называла его «мой поклонник» или «мой воздыхатель»; вряд ли она говорила бы о нем так спокойно, так откровенно, если бы между ними что-нибудь было. К тому же Долли знала, что для Джулии существуют только двое мужчин — Майкл и Чарлз Тэмерли. Но, конечно, странно — всю жизнь заботиться о своей репутации и вдруг зачастить в ночные клубы. Три-четыре раза в неделю, не реже. Долли редко видела Джулию в последнее время и, сказать по правде, была несколько задета ее невниманием. У Долли было много друзей в театральном мире, и она стала осторожно их расспрашивать. Ей крайне не понравилось то, что она услышала. Она не знала, что и думать. Одно было очевидно: Джулия не подозревает, какие вещи о ней говорят. Кто-то должен ей об этом сказать. У самой Долли не хватало на это смелости. Даже

после стольких лет знакомства Долли ее немного побаивалась. Джулия была женщина уравновешенная, и, хотя язык ее частенько бывал резким и даже грубым, мало что могло вывести ее из себя. Однако было в ней что-то, пресекающее всякую фамильярность; казалось, если зайдешь с ней слишком далеко, горько потом раскаешься. Но надо же что-то сделать! Целых две недели Долли тревожно обдумывала этот вопрос. Она постаралась забыть о своей уязвленной гордости и рассматривать его только с точки зрения того, что полезно или вредно для репутации самой Джулии. Наконец она пришла к заключению, что поговорить с Джулией должен Майкл. Долли он никогда не нравился, но, в конце концов, он муж, ее долг рассказать ему, чтобы он пресек то, что происходит, не важно даже — что.

Долли позвонила Майклу и условилась встретиться с ним в театре. Майкл любил Долли не больше, чем она его, хотя и по другой причине, и, услышав, что она хочет его видеть, чертыхнулся. Его бесило, что ему так и не удалось убедить ее продать свой пай, и любое ее предложение он считал недопустимым вмешательством. Но когда Долли провели к нему в кабинет, он встретил ее с распростертыми объятиями и поцеловал в обе щеки.

— Располагайтесь поудобнее, будьте как дома. Заглянули посмотреть, продолжает ли фирма загребать для вас дивиденды?

Долли де Фриз уже стукнуло шестьдесят. Она сильно растолстела, и ее лицо с крупным носом и полными красными губами казалось больше натуральной величины. Было что-то неуловимо мужское в покрое ее черного атласного платья, но на шее у нее висела двойная нитка жемчуга, на поясе сверкала бриллиантовая пряжка, другая красовалась на шляпе. Коротко стриженные волосы были выкрашены в густой рыжий цвет. Губы и ногти были пунцовые. Говорила она громко, низким гортанным голосом; когда приходила в возбуждение, слова обгоняли друг друга и обнаруживался еле заметный акцент кокни.

— Майкл, меня очень расстраивает Джулия.

Майкл — как всегда, безупречный джентльмен — слегка поднял брови и сжал тонкие губы. Он не собирался обсуждать свою жену даже с Долли.

— Мне кажется, она заходит слишком далеко. Не понимаю, что на нее нашло. Все эти вечеринки, на которые она зачастила... ночные клубы и всякое такое... В конце концов, она уже не так молода, она может переутомиться.

— Ерунда. Она здорова, как лошадь, и прекрасно себя чувствует. Она уже давно не выглядела так молодо. Неужели вам жалко, если она немного повеселится, когда закончит свою работу? Роль, которую она сейчас играет, не забирает ее всю целиком, я очень рад, что ее еще хватает на развлечения, это показывает, сколько в ней жизненной силы.

— Она никогда раньше не увлекалась такими вещами. Странно, право, что она вдруг полюбила танцевать допоздна, да еще в ужасной духоте.

— Для нее это единственная физическая разрядка. Нельзя же ожидать, что она наденет шорты и побежит вместе со мной по парку.

— Я думаю, вам следует знать, что о ней уже начинают чесать языки. Это сильно вредит ее репутации.

— Что вы хотите этим сказать, черт подери?

— Ну, что просто нелепо в ее годы ходить повсюду с молоденьким мальчиком. Это, естественно, бросается всем в глаза.

С минуту Майкл глядел на Долли недоуменным взглядом, когда же до него дошел наконец смысл ее слов, он разразился громким смехом.

— С Томом? Не говорите глупостей, Долли.

— Это не глупости. Я знаю, о чем говорю. Когда женщина пользуется такой известностью, как Джулия, и ее все время видят с одним и тем же мужчиной, люди начинают болтать.

— Но Том такой же друг мне, как и ей. Вы прекрасно знаете, что я не могу водить Джулию на танцы. Мне нужно вставать каждое утро ровно в восемь, чтобы успеть перед работой сделать свой моцион. Полагаю, я как-никак научился разбираться в людях, пробыв в театре тридцать лет. Том — типичный английский юноша, чистый, честный, даже можно сказать — в своем роде джентльмен. Я не спорю, он обожает Джулию, мальчики его возраста часто думают, что они влюблены в женщину старше себя; вряд ли это причинит ему вред, напротив, только пойдет на пользу. Но вообразить, что Джулия способна смотреть на него всерьез... Бедная моя Долли, не смешите меня!

— Он надоедлив, скучен, вульгарен, и он сноб.

— Ну, если он таков, не кажется ли вам тем более странным, чтобы Джулия могла им увлечься?

— Только женщина знает, на что способна другая женщина.

— Неплохая реплика, Долли. Мы закажем вам следующую пьесу. Давайте выясним все до конца. Вы можете

положа руку на сердце утверждать, что у Джулии роман с Томом?

Долли взглянула Майклу в лицо. В ее глазах была мука. Хотя сперва она только смеялась, слушая, что ей рассказывают о Джулии, она была не в состоянии полностью подавить сомнения, все больше обуревавшие ее. Ей вспоминались десятки мелких подробностей, на которые она в свое время не обращала внимания, но которые, если хладнокровно на них посмотреть, выглядели очень и очень подозрительно. Она не думала, что можно так терзаться. Доказательства? У нее не было никаких доказательств, лишь интуиция, которая никогда не обманывала ее. Долли хотелось ответить «да», это желание казалось неудержимым, но Долли пересилила себя. Она не могла предать Джулию. Вдруг этот дурак Майкл пойдет и все ей выложит? Джулия больше никогда в жизни не станет с ней разговаривать. Вдруг установит за Джулией слежку и поймает ее на месте преступления?! Кто знает, что может случиться, если она, Долли, скажет ему правду.

— Нет, не могу.

Слезы переполнили глаза Долли и покатались по массивным щекам. Майкл видел, что она страдает. Он считал ее комичной, но понимал, что горе ее неподдельно, и, будучи по натуре добрым, принялся ее утешать:

— Ну, вот видите. Вы же знаете, как хорошо Джулия к вам относится, право, не надо ревновать ее к другим друзьям.

— Бог свидетель, мне ничего для нее не жалко,— всхлипнула Долли.— Она так изменилась ко мне за последнее время. Стала так холодна. Я всегда была ей верным другом, Майкл.

— Да, дорогая, я в этом не сомневаюсь.

— «Служи я небесам хоть вполовину с таким усердием, как служил монарху...»¹

— Ну, полно, полно, не так уж все плохо, как кажется. Вы знаете, я не из тех людей, что обсуждают свою жену с другими. Я всегда считал это ужасно дурным тоном. Но, честно говоря, вам не известно о Джулии самого главного. Физическая любовь для нее ничто. Когда мы только поженились — другое дело. И могу вам признаться — ведь все это было так давно,— что мне тогда нелегко пришлось. Я не хочу сказать, что она была нимфоманкой или что-нибудь в этом роде, но порой она бывала немного утомительной.

¹ Шекспир. Генрих VIII.

Постель, конечно, вещь по-своему неплохая, но в жизни существует еще многое другое. К счастью, после рождения Роджера она совершенно переменялась. Стала куда более уравновешенной. Все ее инстинкты ушли в игру. Вы читали Фрейда, Долли, как он это называет, когда так происходит?

— Ах, Майкл, что мне до Фрейда!

— Сублимация, вот как. Я часто думаю: потому-то она и стала такой великолепной актрисой. Актёрская игра — такое дело, которое требует всего твоего времени, и если хочешь чего-нибудь достичь, надо отдавать себя целиком. Меня просто возмущает наша публика: думают, что актеры и актрисы черт знает чем занимаются. Да у нас для этого просто нет времени.

Слова Майкла так рассердили Долли, что помогли взять себя в руки.

— Но, Майкл, пусть мы с вами и знаем, что Джулия не совершает ничего дурного, то, что она повсюду разгуливает с этим жалким мальчишкой, очень вредит ее репутации. В конце концов, примерная супружеская жизнь была одним из ваших самых верных козырей. Все вас уважали. Зрителям было приятно думать о том, какая вы преданная и дружная пара.

— Но мы такие и есть, черт побери!

Долли начала терять терпение.

— Говорю вам, по городу ходят сплетни. Вы же не глупы. Неужели вы не понимаете, что иначе и быть не может. Я хочу сказать, если бы она заводила один скандальный роман за другим, никто бы теперь и внимания не обратил, но после примерного поведения в течение стольких лет вдруг так сорваться... Естественно, начались пересуды. Это может повредить театру.

Майкл кинул на нее быстрый взгляд.

— Я понимаю, о чем вы толкуете, Долли. В ваших словах, пожалуй, что-то есть, и при создавшихся обстоятельствах вы имеете полное право так говорить. Вы так нам помогли, когда мы начинали, мне крайне неприятно теперь вас подводить. Знаете, что я предлагаю? Я откуплю у вас пай.

— Откупите у меня пай?

Долли выпрямилась. Ее лицо, еще минуту назад искаженное горем и тревогой, окаменело. Она была объята негодованием. А Майкл вкрадчиво продолжал:

— Я вижу, куда вы клоните. Если Джулия будет болтаться черт знает где целыми ночами, это скажется на ее исполнении. С этим не приходится спорить. У Джулии есть

забавные поклонницы. На дневные спектакли приходит куча старых дам, потому что они считают ее такой милой добропорядочной женщиной. Не могу отрицать — если ей начнут перебивать косточки, это может отразиться на сборах. Я знаю Джулию достаточно хорошо; она не допустит никакого вмешательства в свою жизнь. Я ее муж и должен с этим мириться. Вы — нет. Я не стану вас порицать, если вы захотите выйти из предприятия, пока оно еще на мази.

Долли насторожилась. Она была далеко не глупа и в деловых вопросах вполне могла потягаться с Майклом. Гнев вернул ей самообладание.

— Я думала, что после стольких лет знакомства, Майкл, вы знаете меня лучше. Я считала своим долгом вас предупредить, но меня не испугаешь превратностями судьбы. Я не из тех, кто бежит с тонущего корабля. Осмелюсь сказать, я скорее могу позволить себе потерять деньги, чем вы.

Долли с большим удовольствием наблюдала, как у Майкла вытянулось лицо. Она знала, как много значат для него деньги, и надеялась, что ее слова крепко засядут у него в голове. Майкл быстро овладел собой.

— Что ж, подумайте еще, Долли.

Она взяла сумочку, и они расстались со взаимными заверениями в любви и пожеланиями удачи.

— Старая ведьма, — произнес Майкл, когда за Долли закрылась дверь.

— Старый осел, — произнесла Долли, спускаясь в лифте.

Но когда она села в свой великолепный и очень дорогой лимузин и вернулась к себе на Монтегью-сквер, она не смогла сдержать горьких и жгучих слез. Долли чувствовала себя старой, одинокой, несчастной. Она отчаянно ревновала.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Майкл гордился своим чувством юмора. Вечером в воскресенье, на следующий день после разговора с Долли, он вошел в комнату Джулии в то время, как она одевалась. Они собирались в кино после раннего ужина.

— Кто идет, кроме Чарлза? — спросил он.

— Я не смогла никого найти и позвала Тома.

— Прекрасно. Я хотел его видеть.

Майкл засмеялся при мысли о шутке, которую он для них припас. Джулия с удовольствием предвкушала ожида-

ющий их вечер. В кино она сядет между Чарлзом и Томом, и тот не выпустит ее руки, в то время как она будет вполголоса болтать с Чарлзом. Дорогой Чарлз, как мило с его стороны столько лет так преданно ее любить; она в лепешку расшибется, чтобы быть ему приятной. Чарлз и Том приехали вместе. Том в первый раз надел новый смокинг, и они с Джулией обменялись украдкой взглядом; в его глазах было удовольствие, в ее — восхищение.

— Ага, попался, молодой человек, — весело сказал Майкл, потирая руки, — а знаешь, что я о тебе слышал? Я слышал, что ты компрометируешь мою жену.

Том испуганно взглянул на него и залился краской. Привычка краснеть страшно его угнетала, но отучиться от нее он не мог.

— О господи! — воскликнула весело Джулия. — Как чудесно! Всю жизнь мечтала, чтобы кто-нибудь меня скомпрометировал! Кто тебе рассказал, Майкл?

— Сорока на хвосте принесла, — лукаво ответил он.

— Что ж, Том, если Майкл со мной разведется, знаешь, тебе придется жениться на мне.

Чарлз улыбнулся добрыми грустными глазами.

— Что вы такое натворили, Том? — спросил он.

Чарлз держался нарочито серьезно; Майкл, которого забавляло явное смущение Тома, шуточно; Джулия, хотя внешне разделяла их веселье, была настороже.

— Оказывается, юный распутник водит Джулию по ночным клубам, в то время как ей давно пора «бай-бай».

Джулия завопила от восторга:

— Ну как, Том, признаемся или будем начисто все отрицать?

— И знаете, что я сказал этой сороке, — прервал ее Майкл, — я сказал: до тех пор, пока Джулия не тащит *меня* в ночные клубы...

Джулия перестала прислушиваться к его словам. Долли, подумала она и, как ни странно, употребила те же самые два слова, что и Майкл. Объявили, что ужин подан, и их веселая болтовня обратилась к другим предметам. Но хотя Джулия принимала в ней живейшее участие, хотя, судя по ее виду, она уделяла гостям все свое внимание и даже с величайшим интересом выслушала одну из театральных историй Майкла, которую слышала по меньшей мере раз двадцать, все это время она вела про себя оживленную беседу с Долли. Долли все больше и больше съезживалась от страха, пока Джулия говорила ей, что именно она о ней думает.

«Вы, старая корова,— сказала она Долли.— Кто вам позволил совать нос в мои дела? Молчите. Не пытайтесь оправдываться. Я знаю слово в слово, что вы сказали Майклу. Этому нет оправдания. Я думала, вы мне друг. Думала — я могу на вас положиться. Ну, теперь конец. Больше я вас знать не хочу. Ни за что. Думаете, мне очень нужны ваши вонючие деньги? И не пытайтесь говорить, что не имели в виду ничего дурного. Да что бы вы были, если бы не я, хотела бы я знать? Если вы хоть кому-нибудь известны, если что-то и представляете собой, так только потому, что случайно знакомы со мной. Благодаря кому все эти годы ваши приемы имели такой успех? Думаете, люди приходили любоваться на вас? Они приходили посмотреть на меня. Всё. Конец».

По правде сказать, это был скорее монолог, чем диалог.

Позже, в кино, она сидела рядом с Томом, как и собиравалась, и держала его за руку, но рука казалась на редкость безжизненной. Как рыбий плавник. Видно, его встревожили слова Майкла, и теперь он сидит и думает о них. Как бы улучшить минутку и остаться с ним наедине? Она сумела бы его успокоить. В конце концов, никто, кроме нее, не выпутался бы из положения с таким блеском. Апломб — вот точное слово. Интересно все-таки, что именно Долли сказала Майклу. Надо будет узнать. Майкла спрашивать не годится, еще подумает, что она придала какое-то значение его словам; надо узнать у самой Долли. Пожалуй, не стоит ссориться с ней. Джулия улыбнулась при мысли, какую сцену она разыграет с Долли. Она будет со старой королевой сама нежность, она подластится к ней и выпросит все, та и не догадается, как она, Джулия, на нее сердита. Любопытно все-таки... Ее прямо мороз по коже пробрал при мысли, что о ней болтают. В конце концов, если она не может поступать как хочет, кто тогда может? Ее личная жизнь никого не касается. Однако, если люди начнут над ней смеяться, хорошего будет мало. Интересно, что выкинет Майкл, если узнает правду? Не очень-то ему удобно будет с ней развестись и оставаться ее антрепренером. Самое умное с его стороны было бы закрыть глаза, но в некоторых отношениях Майкл — человек странный: нет-нет да и вспоминает, что его родитель — полковник, и начинает изображать из себя бог весть что. Он вполне может вдруг сказать: пропади оно все пропадом, я должен поступить как джентльмен. Мужчины такие дураки, они способны наплевать в собственный колодезь. Конечно, она не очень-то и расстроится. Поедет на гастроли в Америку на год или два, пока скандал не затихнет, а потом найдет себе нового

антрепренера. Но это такая доука! И потом, у них есть Роджер, об этом тоже нельзя забывать; он так станет переживать, бедный ягненок, все это будет для него так унижительно. Нечего закрывать глаза: она будет крайне глупо выглядеть, разводясь в ее возрасте из-за мальчишки двадцати трех лет. Конечно, замуж за Тома не выйдет, на это у нее достанет ума. А Чарлз женится на ней? Джулия обернулась и посмотрела в полумраке на его аристократический профиль. Он безумно любит ее уже много лет, он — один из тех великодушных галантных идиотов, которых женщины запросто обводят вокруг пальца; возможно, он не откажется выступить в суде в роли соответчика при расторжении брака вместо Тома. Это был бы прекрасный выход. Леди Чарлз Тэмерли. Звучит неплохо. Возможно, она и правда была несколько безрассудна. Она всегда следила, чтобы ее никто не заметил, когда шла к Тому, но ее мог увидеть кто-нибудь из шоферов по пути туда или обратно и вообразить невесть что. У таких людей всегда только непристойности на уме. Что до ночных клубов, она с радостью ходила бы с Томом в тихие местечки, где бы их никто не увидел, но он не хотел. Он любил, чтобы было много народу, ему нравилось вращаться среди элегантных людей, на них посмотреть и себя показать. Он хотел, чтобы их видели вместе.

«Черт подери! — сказала себе Джулия. — Черт подери! Черт подери!»

Да, вечер в кино оказался далеко не таким приятным, как она ожидала.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На следующий день Джулия позвонила Долли по ее личному аппарату.

— Милочка, я не видела вас тысячу лет. Что вы подделывали все это время?

— Да ничего особенного.

Голос Долли был холоден.

— Послушайте, завтра возвращается Роджер. Вы знаете, он совсем бросает Итон. Я пошлю утром за ним машину и хочу, чтобы вы приехали к ленчу. Я никого не зову. Только вы и я, Майкл и Роджер.

— Я уже приглашена на завтра к ленчу.

За двадцать лет Долли ни разу не была занята, если Джулия хотела ее видеть. Голос на другом конце провода казался враждебным.

— Долли, как вы можете быть такой злючкой? Роджер будет ужасно разочарован. Его первый день дома; к тому же—я сама хочу вас видеть. Я уже целую вечность не видела вас и страшно соскучилась. Вы не можете отложить вашу встречу? Один только раз, милочка, и мы с вами влесту поболтаем после ленча вдвоем, лишь вы да я.

Когда Джулия чего-нибудь хотела, ей просто невысказимо было отказать; никто не мог вложить столько нежности в голос, быть такой обаятельной, такой неотразимой. Наступило молчание, и Джулия поняла, что Долли борется со своими оскорбленными чувствами.

— Хорошо, дорогая, я как-нибудь ухитрюсь это уладить.

— Милочка!—но, дав отбой, Джулия процедила сквозь зубы: «Старая корова!»

Долли приехала. Роджер вежливо выслушал, что он сильно вырос, и со своей серьезной улыбкой отвечал как положено на все то, что она считала уместным сказать мальчику его лет. Роджер ставил Джулию в тупик. Хотя сам он говорил мало, он, казалось, внимательно слушал все, что говорили другие, и все же ее не оставляло странное чувство, будто голова его занята собственными мыслями. Казалось, он наблюдает за ними со стороны с тем же любопытством, с каким мог бы наблюдать за зверьми в зоопарке. Это вызывало в ней легкую тревогу. При первом удобном случае Джулия произнесла реплику, которую заранее приготовила ради Долли:

— Роджер, милый, твой несчастный отец занят сегодня вечером. У меня есть два билета в «Палладиум» на второе представление, и Том звал тебя обедать в Кафе-Ройял.

— Да?—Секундное молчание.—Ладно.

Джулия повернулась к Долли.

— Так хорошо, что у нас есть Том. Можно всюду пускать с ним Роджера. Они большие друзья.

Майкл бросил на Долли многозначительный взгляд. В глазах у него заплясали чертики.

— Том—очень приличный молодой человек. Он не даст Роджеру набедакурить,—сказал он.

— Мне кажется, Роджеру интереснее общаться со своими друзьями по Итону,—отозвалась Долли.

«Старая корова,—думала Джулия,—старая корова!»

После ленча она позвала Долли к себе в комнату.

— Мне надо отдохнуть. Я лягу, а вы мне расскажете все новости. Хорошенько посплетничать, вот чего я хочу.

Она нежно обвила рукой массивную талию Долли и повела ее наверх. Какое-то время они болтали о том о сем: о нарядах, прислуге, косметике; позлословили об общих

знакомых; затем Джулия, облокотившись на руку, доверительно посмотрела Долли в глаза.

— Долли, мне надо с вами кое о чем поговорить. Мне нужен совет, а вы — единственный человек на свете, к кому я обращаюсь за советом. Я знаю, что вам я могу доверять.

— Ну, конечно, дорогая.

— Оказывается, обо мне пошли гадкие сплетни. Кто-то сказал Майклу, что в городе болтают обо мне и бедном Томе Феннеле.

Хотя глаза ее хранили все то же обворожительное и трогательное выражение, перед которым — она это знала — Долли не могла устоять, Джулия внимательно следила за ней. Напрасно: Долли не вздрогнула, на лице ее не шевельнулся ни один мускул.

— Кто рассказал Майклу?

— Понятия не имею. Он не говорит. Сами знаете, какой он, когда ему вздумается изображать из себя джентльмена.

Ей только показалось или лицо Долли действительно стало менее напряженным?

— Мне нужна правда, Долли.

— Я так рада, что вы обратились ко мне, дорогая. Я терпеть не могу вмешиваться, куда меня не просят, если бы вы сами не затеяли этот разговор, ничто не заставило бы меня его начать.

— Милочка, кому, как не мне, знать, какой вы верный друг.

Долли скинула туфли и уселась поудобнее в кресле, затрепавшем под ее тяжестью. Джулия не спускала с нее глаз.

— Люди злы, для вас это не тайна. Вы всегда вели такой спокойный образ жизни. Так редко выезжали, и то лишь с Майклом или Чарлзом Тэмерли. Чарлз — другая статья: всем известно, что он вздыхает по вас тысячу лет. Естественно, все удивились, что вы вдруг, ни с того ни с сего, начали разгуливать по развеселым местам с клерком фирмы, которая ведет ваши бухгалтерские книги.

— Ну, это не совсем так. Том не клерк. Отец купил ему пай в деле. Он — младший компаньон.

— Да, и получает четыреста фунтов в год.

— Откуда вы знаете? — быстро спросила Джулия.

На этот раз Джулия была уверена в том, что Долли смутилась.

— Вы уговорили меня обратиться к его фирме по поводу подоходного налога. Один из главных компаньонов мне и сказал. Немного странно, что на такие деньги

он в состоянии платить за квартиру, одеваться так, как он одевается, и водить вас в ночные клубы.

— Возможно, он получает денежную помощь от отца.

— Его отец — стряпчий в северной части Лондона. Вы прекрасно понимаете, что, если он купил ему пай в фирме, он не станет помогать ему наличными деньгами.

— Может быть, вы вообразили, будто я его содержу? — сказала Джулия со звонким смехом.

— Я ничего не воображаю, дорогая. Но люди — да.

Джулии не понравились ни слова, произнесенные Долли, ни то, как она их произнесла. Но она никак не выдала своей тревоги.

— Какая нелепость! Том — друг Роджера. Конечно, я с ним выезжаю. Я почувствовала, что мне надо встряхнуться. Я устала от однообразия, только и знаешь — театр и забота о самой себе. Это не жизнь. В конце концов, когда мне и повеселиться, как не сейчас? Я старею, Долли, что уж отрицать. Вы знаете, что такое Майкл. Конечно, он душка, но такая зануда!

— Не больше, чем был все эти годы, — сказала Долли ледяным тоном.

— Мне кажется, я — последняя, кого можно обвинить в шашнях с мальчиком на двадцать лет моложе меня.

— На двадцать пять, — поправила Долли. — Мне бы тоже так казалось. К сожалению, ваш Том не очень-то осторожен.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ну, он обещал Эвис Крайтон, что получит для нее роль в вашей новой пьесе.

— Что еще за Эвис Крайтон?

— О, одна моя знакомая молодая актриса. Хорошенькая, как картинка.

— Он просто глупый мальчишка. Верно, надеется уломать Майкла. Вы же знаете, как Майкл любит молодежь.

— Он говорит, что может вас заставить сделать все, что хочет. Он говорит — вы пляшете под его дудку.

К счастью, Джулия была хорошая актриса. На миг сердце ее остановилось. Как он мог так сказать? Дурак. Несчастный дурак! Но она тут же овладела собой и весело рассмеялась:

— Какая чепуха! Да я не верю ни единому слову.

— Он очень заурядный вульгарный молодой человек. Вы так с ним носитесь, ничего удивительного, если это вскружило ему голову.

Джулия, добродушно улыбаясь, посмотрела на Долли невинным взглядом.

— Но, милочка, надеюсь, вы не думаете, что Том — мой любовник?

— Если и нет, я — единственная, кто так не думает.

— Но вы думаете или нет?

Долли молчала. С минуту они, не отводя глаз, смотрели друг на друга; в сердце каждой из них горела черная ненависть, но Джулия по-прежнему улыбалась.

— Если вы поклянетесь, что это не так, конечно, я вам поверю.

Голос Джулии сделался тихим, торжественным, в нем звучала неподдельная искренность.

— Я еще ни разу вам не солгала, Долли, и уже слишком стара, чтобы начинать. Я даю вам честное слово, что Том никогда не был мне никем, кроме друга.

— Вы снимаете тяжесть с моей души.

Джулия знала, что Долли ей не верит, и Долли это было известно. Долли продолжала:

— Но в таком случае, Джулия, дорогая, ради самой себя будьте благоразумны. Не разгуливайте повсюду с этим молодым человеком. Бросьте его.

— Не могу. Это будет равносильно признанию, что люди были правы, когда злословили о нас. Моя совесть чиста. Я могу позволить себе высоко держать голову. Я стала бы презирать себя, если бы руководствовалась в своих поступках тем, что кто-то что-то обо мне думает.

Долли сунула ноги обратно в туфли и, достав из сумочки помаду, накрасила губы.

— Что ж, дорогая, вы не ребенок и знаете, что делаете.

Расстались они холодно.

Однако две или три оброненных Долли фразы явились для Джулии очень неприятной неожиданностью. Они не выходили у нее из головы. Хоть кого приведет в замешательство, если слухи о нем так близки к истине. Но какое все это имеет значение? У миллиона женщин есть любовники, и это никого не волнует. Она же актриса. Никто не ожидает от актрисы, чтобы она была образцом добропорядочности.

«Это все моя проклятая благопристойность. Она всему причина».

Джулия приобрела репутацию исключительно добродетельной женщины, которой не грозит злословие, а теперь было похоже, что ее репутация — тюремная стена, которую она сама вокруг себя воздвигла. Но это бы еще полбеды. Что имел в виду Том, когда говорил, что она пляшет под его дудку? Это глубоко уязвило Джулию. Дурачок. Как он осмелился?! С этим она тоже не знала, что предпринять. Ей бы

хотелось отругать его, но что толку? Он все равно не сознается. Джулии оставалось одно — молчать. Она слишком далеко зашла: снявши голову, по волосам не плачут; приходится принимать все таким, как оно есть. Ни к чему закрывать глаза на правду: Том ее не любит, он стал ее любовником потому, что это льстит его тщеславию, что это открывает ему доступ ко многим приятным вещам и потому, что, по крайней мере в его собственных глазах, это дает ему своего рода положение.

«Если бы я не была дурой, я бы бросила его. — Джулия сердито засмеялась. — Легко сказать! Я его люблю».

И вот что самое странное: заглянув в свое сердце, она увидела, что возмущается нанесенной ей обидой не Джулия Лэмберт — женщина; той было все равно. Ее уязвила обида, нанесенная Джулии Лэмберт — актрисе. Она часто чувствовала, что ее талант — критики называли его «гений», но это было слишком громкое слово, лучше сказать, ее дар — не она сама и не часть ее, а что-то вне ее, что пользовалось ею, Джулией Лэмберт, для самовыражения. Это была неведомая ей духовная субстанция, озарение, которое, казалось, нисходило на нее свыше и посредством нее, Джулии, свершало то, на что сама Джулия была неспособна. Она была обыкновенная, довольно привлекательная стареющая женщина. У ее дара не было ни внешней формы, ни возраста. Это был дух, который играл на ней, как скрипач на скрипке. Пренебрежение к нему, к этому духу, вот что больше всего ее оскорбило.

Джулия попыталась уснуть. Она так привыкла спать днем, что стоило ей лечь, сразу же засыпала, но сегодня она беспокойно ворочалась с боку на бок, а сон все не шел. Наконец Джулия взглянула на часы. Том часто возвращался с работы после пяти. Она страстно томилась по нему, в его объятиях был покой, когда она была рядом с ним, все остальное не имело значения. Джулия набрала его номер.

— Алло! Да! Кто говорит?

Джулия в панике прижала трубку к уху. Это был голос Роджера. Она дала отбой.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ночью Джулия тоже почти не спала. Она все еще лежала без сна, когда услышала, что вернулся Роджер, и, повернув выключатель, увидела, что было четыре часа. Она нахмурилась. Утром он с грохотом сбежал по ступеням, в то время как она еще только собиралась встать.

— Можно войти, мамочка?

— Входи.

Он все еще был в пижаме и халате. Она улыбнулась ему: он выглядел таким свежим, таким юным.

— Ты очень поздно вернулся вчера.

— Не очень. Около часа.

— Врунишка! Я поглядела на часы. Было четыре утра.

— Ну, четыре так четыре,— весело согласился он.

— Что вы делали до такого времени, ради всего святого?

— Поехали после спектакля в одно место ужинать.

Танцевали.

— С кем?

— С двумя девушками, которых мы там встретили. Том знал их раньше.

— Как их зовут?

— Одну Джил, другую Джун. Фамилий их я не знаю. Джун — актриса. Она спросила, не смогу ли я устроить ее дублершей в твоей следующей пьесе.

Во всяком случае, ни одна из них не была Эвис Крайтон. Это имя не покидало мыслей Джулии с той минуты, как Долли упомянула его.

— Но ведь такие места закрываются не в четыре утра.

— Да. Мы вернулись к Тому. Том взял с меня слово, что я тебе не скажу. Он думал, ты страшно рассердишься.

— Ну, чтобы я рассердилась, нужна причина поважней. Обещаю, что и словом ему не обмолвлюсь.

— Если кто и виноват, так только я. Я зашел к нему вчера днем, и мы обо всем сговорились. Вся эта ерунда насчет любви, которую слышишь на спектаклях и читаешь в книгах... Мне скоро восемнадцать. Я решил, надо самому попробовать, что это такое.

Джулия села в постели и, широко раскрыв глаза, посмотрела на Роджера вопросительным взглядом.

— Роджер, ради всего святого, о чем ты толкуешь?

Он был, как всегда, сдержан и серьезен.

— Том сказал, что он знает двух девчонок, с которыми можно поладить. Он сам с ними обеими уже переспал. Они живут вместе. Ну, мы позвонили им и предложили встретиться после спектакля. Том сказал им, что я — девственник, пусть кидают жребий, кому я достанусь. Когда мы вернулись к нему в квартиру, он пошел в спальню с Джил, а мне оставил гостиную и Джун.

На какой-то миг мысль о Томе была вытеснена ее тревогой за Роджера.

— И знаешь, мам, ничего в этом нет особенного. Не понимаю, чего вокруг этого поднимают такой шум.

У Джулии сжало горло. Глаза наполнились слезами, они потоком хлынули по щекам.

— Мамочка, что с тобой? Почему ты плачешь?

— Но ты же еще совсем мальчик!

Роджер подошел к ней и, присев на край постели, крепко обнял.

— Ну что ты, мамочка! Ну, не плачь. Если бы я знал, что ты расстроишься, я бы не стал ничего тебе рассказывать. В конце концов, рано или поздно это должно было случиться.

— Но так скоро... Так скоро! Я чувствую себя теперь совсем старухой.

— Ты — старуха?! Только не ты, мамочка. «Над ней не властны годы. Не прискучит ее разнообразие вовек»¹.

Джулия засмеялась сквозь слезы.

— Глупыш ты, Роджер. Думаешь, Клеопатре понравилось бы то, что сказал о ней этот старый осел? Ты бы мог еще немного подождать.

— И хорошо, что этого не сделал. Теперь я все знаю. По правде говоря, все это довольно противно.

Джулия глубоко вздохнула. Ее обрадовало, что он так нежно ее обнимает, но было ужасно жалко себя.

— Ты не сердись на меня, дорогая? — спросил он.

— Сержусь? Нет. Но уж если это должно было случиться, я бы предпочла, чтобы не так прозаично. Ты говоришь об этом, точно о любопытном научном эксперименте, и только.

— Так оно и было, в своем роде.

Джулия слегка улыбнулась сыну.

— И ты на самом деле думаешь, что это и есть любовь?

— Ну, большинство так считает, разве нет?

— Нет, вовсе нет. Любовь — это боль и мука, стыд, восторг, рай и ад, чувство, что ты живешь в сто раз напряженной, чем обычно, и невыразимая тоска, свобода и рабство, умиротворение и тревога.

В неподвижности, с которой он ее слушал, было что-то, заставившее Джулию украдкой взглянуть на сына. В глазах Роджера было странное выражение. Она не могла его прочесть. Казалось, он прислушивается к звукам, долетающим до него издали.

— Звучит не особенно весело, — пробормотал Роджер.

Джулия сжала его лицо, с такой нежной кожей, обеими ладонями и поцеловала в губы.

¹ Шекспир. Цезарь и Клеопатра.

— Глупая я, да? Я все еще вижу в тебе того малыша, которого когда-то держала на руках.

В его глазах зажегся лукавый огонек.

— Чему ты смеешься, мартышка?

— Чертовски хорошая была фотография, да?

Джулия не могла удержаться от смеха.

— Поросяенок. Грязный поросенок.

— Послушай, как насчет Джун? Есть для нее надежда получить роль дублерши?

— Скажи, пусть как-нибудь зайдет ко мне.

Но когда Роджер ушел, Джулия вздохнула. Она была подавлена. Она чувствовала себя очень одиноко. Жизнь ее всегда была так заполнена и так интересна, что у нее просто не хватало времени заниматься сыном. Она, конечно, страшно волновалась, когда он подхватывал коклюш или свинку, но вообще-то ребенок он был здоровый и обычно не особенно занимал ее мысли. Однако сын всегда был к ее услугам, если на нее находила охота с ним повозиться. Джулия часто думала, как будет приятно, когда он вырастет и сможет разделять ее интересы. Мысль о том, что она потеряла его, никогда по-настоящему не обладая им, была для Джулии ударом. Когда она подумала о девице, укравшей у нее сына, губы Джулии сжались.

«Дублерша! Подумать только! Ну и ну!»

Джулия так была поглощена своей болью, что почти не чувствовала горя из-за измены Тома. Джулия и раньше не сомневалась, что он ей неверен. В его возрасте, с его темпераментом, при том, что сама она была связана выступлениями и всевозможными встречами, к которым ее обязывало положение, он, несомненно, не упускал возможности удовлетворять свои желания. Джулия на все закрывала глаза. Она хотела немногого — оставаться в неведении. Сейчас впервые ей пришлось столкнуться лицом к лицу с реальным фактом.

«Придется примириться с этим,— вздохнула она. В ее уме одна мысль обгоняла другую.— Все равно что лгать и не подозревать, что лжешь, вот что самое фатальное. Все же лучше знать, что ты дурак, чем быть дураком и не знать этого».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

На рождество Том уехал к родителям в Истбурн. У Джулии было два выступления в «день подарков»¹, поэтому они остались в городе и пошли в «Савой» на

¹ Второй день рождества, когда слуги, посыльные и т. п. получают подарки.

грандиозную встречу Нового года, устроенную Долли де Фриз. Через несколько дней Роджер отправлялся в Вену. Пока он был в Лондоне, Джулия почти не видела Тома. Она не расспрашивала Роджера, что они делают, когда носят вместе по городу, — не хотела знать; она старалась не думать и отвлекала свои мысли, отправляясь на одну вечеринку за другой. И с ней всегда была ее работа. Стоило Джулии войти в театр, как ее боль, ее унижение, ее ревность утихали. Словно на дне баночки с гримом она находила другое существо, которое не задевали никакие мирские тревоги. Это давало Джулии ощущение силы, чувство торжества. Имея под рукой такое прибежище, она может выдержать все что угодно.

В день отъезда Роджера Том позвонил ей из конторы.

— Ты что-нибудь делаешь сегодня вечером? Не пойдешь ли нам кутнуть?

— Не могу. Занята.

Это была неправда, но губы сами за нее ответили.

— Да? А как насчет завтра?

Если бы Том выразил разочарование, если бы попросил отменить назначенную встречу, у Джулии достало бы сил порвать с ним без лишних слов. Его безразличие сразило ее.

— Завтра? Хорошо.

— О'кей. Захватю тебя из театра после спектакля. Пока.

Джулия была уже готова и ждала его, когда Том вошел к ней в уборную. Она была в страшной тревоге. Когда Том увидел ее, лицо его озарилось, и не успела Эви выйти из комнаты, как он привлек Джулию к себе и пылко поцеловал.

— Вот так-то лучше, — засмеялся он.

Глядя на него, такого юного, свежего, жизнерадостного, душа нараспашку, нельзя было поверить, что он причиняет ей жестокие муки. Нельзя было поверить, что он обманывает ее. Том даже не заметил, что они не виделись почти две недели. Это было совершенно ясно.

(«О боже, если бы я могла послать его ко всем чертям!»)

Но Джулия взглянула на него с веселой улыбкой в своих прекрасных глазах.

— Куда мы идем?

— Я заказал столик у Квэга. У них в программе новый номер. Какой-то американский фокусник. Говорят — первый класс.

Весь ужин Джулия оживленно болтала. Рассказывала Тому о приемах, на которых она была, и о театральных вечеринках, на которые не могла не пойти. Создавалось

впечатление, будто они не виделись так долго только потому, что она, Джулия, была занята. Ее обескураживало то, что он воспринимал это как должное. Том был рад ей, это не вызывало сомнений; он с интересом слушал ее рассказы о ее делах и людях, с которыми она встречалась, но не вызывало сомнения и то, что он нисколько по ней не скучал. Чтобы увидеть, как Том это примет, Джулия сказала ему, что получила приглашение поехать с их пьесой на гастроли в Нью-Йорк. Сообщила, какие ей предлагают условия.

— Но это же чудесно! — воскликнул Том, и глаза его заблестели. — Это же верняк. Ты ничего не теряешь и можешь заработать кучу денег.

— Да, все так, но мне не очень-то хочется покидать Лондон.

— Почему, ради всего святого? Да я бы на твоём месте ухватился за их предложение обеими руками. Пьеса уже давно не сходит со сцены, чего доброго, к пасхе театр совсем перестанут посещать, и если ты хочешь завоевать Америку, лучшего случая не найдешь.

— Не вижу, почему бы ей не идти все лето. К тому же я не люблю новых людей. Предпочитаю оставаться с друзьями.

— По-моему, это глупо. Твои друзья прекрасно без тебя проживут. И ты здорово проведешь время в Нью-Йорке.

Ее звонкий смех звучал вполне убедительно.

— Можно подумать, ты просто мечтаешь от меня избавиться.

— Конечно же я буду чертовски по тебе скучать. Но ведь мы расстанемся всего на несколько месяцев. Если бы мне предоставилась такая возможность, уж я бы ее не упустил.

Когда они кончили ужинать и швейцар вызвал им такси, Том дал адрес своей квартиры, словно это разумелось само собой. В такси он обвил рукой ее талию и поцеловал, и позднее, когда она лежала в его объятиях на небольшой односпальной кровати, Джулия почувствовала, что вся та боль, которая терзала ее последние две недели, — недорогая цена за счастливый покой, наполнивший теперь ее сердце.

Джулия продолжала ходить с Томом в модные рестораны и ночные кабаре. Если людям нравится думать, что Том ее любовник, пускай, ей это безразлично. Но все чаще, когда Джулии хотелось куда-нибудь с ним пойти, Том оказывался занят. Среди ее аристократических друзей распространился слух, что Том Феннел может дать толковый совет, как сократить подоходный налог. Денноранты пригласили его на уик-энд в свой загородный дом, и он

встретил там кучу их приятелей, которые были рады воспользоваться его профессиональными познаниями. Том начал получать приглашения от неизвестных Джулии персон. Общие знакомые могли сказать ей:

— Вы ведь знаете Тома Феннела? Очень неглуп, правда? Я слышал, он помог Джиллианам сэкономить на подоходном налоге несколько сот фунтов.

Джулии все это сильно не нравилось. Раньше попасть к кому-нибудь в гости Том мог только через нее. Похоже, что теперь он вполне способен обойтись без ее помощи. Том был любезен и скромен, очень хорошо одевался и всегда имел свежий и аккуратный вид, располагающий к нему людей; к тому же мог помочь им сберечь деньги. Джулия достаточно хорошо изучила тот мирок, куда он стремился проникнуть, и понимала, что он скоро создаст себе там прочное положение. Джулия была не очень высокого мнения о нравственности женщин, которых он там встретит, и могла назвать не одну титулованную особу, которая будет рада его подцепить. Единственное, что ее утешало: все они были скупы — снега зимой не выпросишь. Долли сказала, что он получает четыреста фунтов в год; на такие деньги в этих кругах не проживешь.

Джулия решительно отказалась от поездки в Америку еще до того, как говорила об этом с Томом; зрительный зал каждый день был переполнен. Но вот неожиданно во всех театрах Лондона начался необъяснимый застой — публика почти совсем перестала их посещать, что немедленно сказалось на сборах. Похоже, спектакль действительно не продержится дольше пасхи. У них была в запасе новая пьеса, на которую они возлагали большие надежды. Называлась она «Нынешние времена», и они намеревались открыть ею осенний сезон. В ней была великолепная роль для Джулии, и она обладала тем преимуществом, что и Майклу тоже нашлась в ней подходящая роль. Такие пьесы не выходят из репертуара по году. Майклу не очень-то улыбалась мысль ставить ее в мае, когда впереди лето, но иного выхода, видимо, не было, и он начал подбирать для нее актерский состав.

Как-то днем во время антракта Эви принесла Джулии записку. Она с удивлением узнала почерк Роджера.

«Дорогая мама.

Разреши представить тебе мисс Джун Денвер, о которой я тебе говорил. Ей страшно хочется попасть в «Сиддонс-театр», и она будет счастлива, если ты возьмешь ее в дублерши даже на самую маленькую роль».

Джулия улыбнулась официальному тону записки; ее позабавило, что ее сын уже такой взрослый, даже пытается составить протекцию своим подружкам. И тут она вдруг вспомнила, кто такая эта Джун Денвер. Джун и Джил. Та самая девица, которая совратила бедного Роджера. Джулия нахмурилась. Любопытно все же взглянуть на нее.

— Джордж еще не ушел?

Джордж был их привратник. Эви кивнула и открыла дверь.

— Джордж!

Он вошел.

— Та дама, что принесла письмо, сейчас здесь?

— Да, мисс.

— Скажите ей, что я приму ее после спектакля.

В последнем действии Джулия появлялась в вечернем платье с тренем; платье было очень роскошное и выгодно подчеркивало ее прекрасную фигуру. В темных волосах сверкала бриллиантовая диадема, на руках — бриллиантовые браслеты. Как и требовалось по роли, поистине величественный вид. Джулия приняла Джун Денвер сразу же как закончились вызовы. Она умела в мгновение ока переходить с подмостков в обычную жизнь, но сейчас без всякого усилия со своей стороны Джулия продолжала изображать надменную, холодную, величавую, хотя и учтивую героиню пьесы.

— Я и так заставила вас долго ждать и подумала, что не буду откладывать нашу встречу, потом переоденусь.

Карминные губы Джулии улыбались улыбкой королевы, ее снисходительный тон держал на почтительном расстоянии. Она с первого взгляда поняла, что представляет собой девушка, которая вошла в ее уборную. Молоденькая, с кукольным личиком и курносый носиком, сильно и не очень-то искусно накрашенная.

«Ноги слишком коротки, — подумала Джулия, — весьма заурядная девица».

На ней, видимо, было ее парадное платье, и тот же взгляд рассказал о нем Джулии все.

(«Шафтсбери-авеню. Распродажа по сниженным ценам».)

Бедняжка страшно нервничала. Джулия указала ей на стул и предложила сигарету.

— Спички рядом с вами.

Когда девушка попыталась зажечь спичку, Джулия увидела, что руки у нее дрожат. Первая сломалась, второй пришлось три раза чиркнуть по коробку, прежде чем она вспыхнула.

(«Если бы Роджер видел ее сейчас! Дешевые румяна, дешёвая помада, и до смерти напугана. Веселая девчушка, так он о ней думал».)

— Вы давно на сцене, мисс... Простите, я забыла ваше имя.

— Джун Денвер.— В горле девушки пересохло, она с трудом могла говорить. Сигарета ее погасла, и она беспомощно держала ее в руке.— Два года,— ответила она на вопрос Джулии.

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать.

(«Врешь. Добрых двадцать два».)

— Вы знакомы с моим сыном?

— Да.

— Он только что окончил Итон. Уехал в Вену изучать немецкий язык. Конечно, он еще очень молод, но мы с его отцом решили, что ему будет полезно провести несколько месяцев за границей, прежде чем поступать в Кембридж. А в каких ампула вы выступали? Ваша сигарета погасла. Возьмите другую.

— О, не важно, спасибо. Я играла в провинции. Но мне страшно хочется играть в Лондоне.

Отчаяние придало ей храбрости, и она произнесла небольшую речь, явно заготовленную заранее:

— Я невероятно восхищаюсь вами, мисс Лэмберт. Я всегда говорила, что вы — величайшая актриса английской сцены. Я научилась у вас больше, чем за все годы, что провела в Королевской академии театрального искусства. Мечта моей жизни — играть в вашем театре, мисс Лэмберт. Если бы вы смогли дать мне хоть самую маленькую роль! Это величайший шанс, о котором только можно мечтать.

— Снимите, пожалуйста, шляпу.

Джун Денвер сняла дешёвенькую шляпку и быстрым движением трянула своими коротко стриженными кудряшками.

— Красивые волосы,— сказала Джулия.

Все с той же чуть надменной, но беспредельно приветливой улыбкой, улыбкой королевы, которую та дарует подданным во время торжественных процессий, Джулия пристально глядела на Джун. Она ничего не говорила. Она помнила афоризм Жанны Тэбу: «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, но уж если сделала, тяни ее сколько сможешь». Джулия, казалось, слышала, как громко бьется сердце девушки, видела, как та съеживается

в своей купленной на распродаже одежде, съезживается в собственной коже.

— Что навело вас на мысль попросить у моего сына рекомендательное письмо?

Джун так покраснела, что это было видно даже под рюмьями, и, прежде чем ответить, проглотила комок в горле:

— Я встретила его у одного своего приятеля и сказала ему, как я вами восхищаюсь, а он сказал, что, возможно, у вас найдется что-нибудь для меня в следующей пьесе.

— Я сейчас перебираю в уме все роли.

— Я и не мечтаю о роли. Если бы я могла быть дублершей... Я хочу сказать, это дало бы мне возможность посещать репетиции и изучить вашу технику. Это уже само по себе школа. Все так говорят.

(«Дурочка, пытается мне польстить. Словно я сама этого не знаю. А какого черта я буду ее учить?»)

— Очень мило с вашей стороны так на это смотреть. Я самая обыкновенная женщина, поверьте. Публика так ко мне добра, так добра... Вы — хорошенькая девушка. И молоденькая. Юность прекрасна. Мы всегда старались предоставить молодежи возможность себя показать. В конце концов, мы не вечны, и мы считаем своим долгом перед публикой готовить смену, которая займет наше место, когда придет срок.

Джулия произнесла эти слова своим прекрасно поставленным голосом так просто, что Джун Денвер воспрянула духом. Ей удалось обвести старуху, место дублерши у нее в кармане! Том Феннел сказал, если она не будет дурой, то знакомство с Роджером вполне может к чему-нибудь привести.

— Ну, это случится еще не скоро, мисс Лэмберт,— сказала она, и ее глазки, хорошенькие темные глазки, засверкали.

(«Тут ты права, голубушка, еще как права. Поспорю, сыграю лучше тебя даже в семьдесят».)

— Я должна подумать. Я еще не знаю, какие дублеры понадобятся нам для следующей пьесы.

— Поговаривают, что Эвис Крайтон будет играть девушку. Я могла бы дублировать ее.

Эвис Крайтон. На лице Джулии не дрогнул ни один мускул; никто бы не догадался, что это имя для нее что-нибудь значит.

— Мой муж упоминал о ней, но еще ничего не решено. Я ее совсем не знаю. Она талантлива?

— Думаю, что да. Я была вместе с ней в театральной школе.

— И говорят, хорошенькая, как картинка.— Поднявшись, чтобы показать, что аудиенция окончена, Джулия сбросила с себя королевский вид. Она изменила тон и в одну секунду стала славной, добродушной актрисой, которая с радостью окажет дружескую услугу, если это в ее силах.— Ну, милочка, оставьте мне ваше имя и адрес, и, если что-нибудь появится, я вам сообщу.

— Вы не забудете про меня, мисс Лэмберт?

— Нет, милочка, обещаю, что нет. Было так приятно с вами познакомиться. Вы славная девочка. Найдете сами выход? До свиданья.

«Черта лысого она получит что-нибудь в моем театре,— подумала Джулия, когда та ушла.— Грязная шлюха, со-вратить моего сыночка! Бедный ягненок. Стыд и срам, да и только; таких надо карать по всей строгости закона».

Снимая свое великолепное платье, Джулия посмотрела в зеркало. Взгляд у нее был жесткий, губы кривила ироническая усмешка. Она обратилась к своему отражению:

— И могу сказать тебе, подруга, есть еще один человек, который не будет у нас играть ни в «Нынешних временах», ни вообще. Это Эвис Крайтон.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Но неделю спустя Майкл упомянул ее имя.

— Послушай, ты слышала о девушке, которую зовут Эвис Крайтон?

— Никогда.

— Говорят, она очень неплоха. Леди и все такое прочее. Ее отец из военных. Я подумал, не подойдет ли она на роль Онор.

— Как ты о ней узнал?

— От Тома. Он знаком с ней. Говорит, у нее есть талант. Через неделю будет выступать в воскресном театре. Том считает, что стоит на нее посмотреть.

— Что ж, пойди и посмотри.

— Я собирался поехать на уик-энд в Сэндуич поиграть в гольф. Тебе очень не хочется идти? Пьеса наверняка дрянь, но ты сможешь сказать, стоит ли давать ей читать роль. Том составит тебе компанию.

Сердце Джулии неистово билось.

— Разумеется, я пойду.

В воскресенье она позвонила Тому и пригласила его

зайти к ним перекусить перед театром. Том появился раньше, чем Джулия была готова.

— Я задержалась или ты поспешил? — спросила она, входя в гостиную.

Джулия увидела, что Том с трудом сдерживает нетерпение. Он нервничал и сидел как на иголках.

— Третий звонок ровно в восемь, — ответил он. — Терпеть не могу приходить в театр после начала спектакля.

Его возбуждение сказало Джулии все, что она хотела знать. Она не стала торопиться, когда пила свой коктейль.

— Как зовут актрису, которую мы идем смотреть? — спросила она.

— Эвис Крайтон. Мне страшно хочется услышать о ней твое мнение. Я думаю, что она — находка. Она знает, что ты сегодня придешь, и страшно волнуется, но я сказал ей, что для этого нет оснований. Ты сама знаешь, что такое воскресные спектакли: репетиции наспех и все такое; я сказал ей, что ты это понимаешь и примешь все в расчет.

В течение обеда Том беспрестанно поглядывал на часы. Джулия занимала его великосветской беседой. Она говорила то на одну тему, то на другую, хотя Том еле слушал. Как только ему удалось, он опять перевел разговор на Эвис Крайтон.

— Конечно, я ей об этом и не заикнулся, но, по-моему, она подойдет для Онор. — Он уже прочел «Нынешние времена», как читал все пьесы, которые ставились у них в театре, еще до постановки. — Она просто создана для этой роли. Ей пришлось побороться, чтобы встать на ноги, и, конечно, это для нее замечательный шанс. Она невероятно тобой восхищается и страшно хочет сыграть вместе с тобой.

— Ничего удивительного. Это значит — пробыть на сцене не меньше года и показаться куче антрепренеров.

— Она — очень светлая блондинка; как раз то, что нужно: будет хорошо оттенять тебя.

— Ну, при помощи перекиси водорода блондинок на сцене хоть пруд пруди.

— Но она — натуральная блондинка.

— Да? Я сегодня получила от Роджера большое письмо. Похоже, он прекрасно проводит время.

Том сразу потерял интерес к разговору. Поглядел на часы. Когда подали кофе, Джулия сказала, что его нельзя пить. Она велела сварить другой, свежий.

— О, Джулия, право, не стоит. Мы опоздаем.

— Какое это имеет значение, даже если мы пропустим несколько минут?

В голосе Тома зазвучало страдание:

— Я обещал, что мы придем вовремя. У нее очень хорошая сцена почти в самом начале.

— Мне очень жаль, но, не выпив кофе, я идти не могу.

Пока они его ждали, Джулия поддерживала оживленный разговор. Том едва отвечал и нетерпеливо поглядывал на дверь. Когда наконец принесли кофе, Джулия пила его со сводящей с ума медлительностью. К тому времени как они сели в машину, Том был в состоянии холодного бешенства и просидел всю дорогу с надутым физиономией, не глядя на нее. Джулия была вполне довольна собой. Они подъехали к театру за две минуты до поднятия занавеса, и когда Джулия появилась в зале, раздались аплодисменты. Прося извинить ее за беспокойство, Джулия пробралась на свое место в середине партера. Слабая улыбка выражала признательность за аплодисменты, которыми публика приветствовала ее на редкость своевременное появление, а опущенные глаза скромно отрицали, что они имеют к ней хоть какое-то отношение.

Поднялся занавес, и после короткой вступительной сценки появились две девушки, одна — очень хорошенькая и молоденькая, другая — не такая молоденькая и некрасивая. Через минуту Джулия повернулась к Тому.

— Которая из них Эвис Крайтон — молодая или та, что постарше?

— Молодая.

— Да, конечно же, ты ведь говорил, что она блондинка.

Джулия взглянула на него. Лицо Тома больше не хмурилось, на губах играла счастливая улыбка. Джулия обратила все внимание на сцену. Эвис Крайтон была очень хороша собой, с этим не приходилось спорить, с прелестными золотистыми волосами, выразительными голубыми глазами и маленьким прямым носиком, но Джулии не нравился такой тип женщин.

«Преснятина, — сказала она себе. — Так, хористочка».

Несколько минут она очень внимательно следила за ее игрой, затем с легким вздохом откинулась в кресле.

«Абсолютно не умеет играть», — таков был ее приговор.

Когда опустился занавес, Том с жадным интересом повернулся к ней. Плохого настроения как не бывало.

— Что ты о ней думаешь?

— Хорошенькая, как картинка.

— Это я и сам знаю. Я спрашиваю об ее игре. Ты согласна со мной — она талантлива?

— Да, у нее есть способности.

— Ты не можешь пойти за кулисы и сказать ей это? Это очень ее подбодрит.

— Я?

Он просто не понимает, о чем просит. Неслыханно! Она, Джулия Лэмберт, пойдет за кулисы поздравлять какую-то третьеразрядную актрисочку!

— Я обещаю, что приведу тебя после второго акта. Ну же, Джулия, будь человеком! Это доставит ей такую радость.

(«Дурак! Чертов дурак! Хорошо, я и через это пройду».)

— Конечно, если ты думаешь, что это что-нибудь для нее значит, я — с удовольствием.

После второго акта они прошли через сцену за кулисы, и Том провел Джулию в уборную Эвис Крайтон. Она делала ее с той некрасивой девушкой, с которой появилась в первом акте. Том представил их друг другу. Эвис несколько аффектированно протянула Джулии вялую руку.

— Я так рада познакомиться с вами, мисс Лэмберт. Простите за беспорядок. Что толку было убирать здесь на какой-то один вечер.

Она отнюдь не нервничала. Напротив, казалась достаточно уверенной в себе.

«Прошла огонь и воду. Корыстная. Изображает передо мной полковничью дочь».

— Так любезно с вашей стороны было зайти ко мне. Боюсь, пьеса не очень интересная, но, когда начинаешь, приходится брать, что дают. Я долго колебалась, когда мне прислали ее почитать, но мне понравилась роль.

— Ваше исполнение прелестно, — сказала Джулия.

— Вы очень добры! Конечно, если бы было больше репетиций... Вам мне особенно хотелось показать, что я могу.

— Ну, знаете, я уже не первый год на сцене. Я всегда считала, если у человека есть талант, он проявит его в любых условиях. Вам не кажется?

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, мне не хватает опыта, я не отрицаю, но главное — удачный случай. Я чувствую, что могу играть. Только бы получить роль, которая мне по зубам.

Эвис замолчала, предоставляя Джулии возможность сказать, что в их новой пьесе есть как раз такая роль, но Джулия продолжала с улыбкой молча глядеть на нее. Джулию забавляло, что та обращается с ней как жена сквайра, желающая быть любезной с женой викария.

— Вы давно в театре? — спросила она наконец. — Странно, что я никогда о вас не слышала.

— Ну, какое-то время я выступала в ревю, но почувствовала, что впустую трачу время. Весь прошлый сезон я была в турне. Мне бы не хотелось снова уезжать из Лондона.

— В Лондоне актеров больше, чем ролей,— сказала Джулия.

— О, без сомнения. Попасть на сцену почти безнадежно, если не имеешь поддержки. Я слышала, вы скоро ставите новую пьесу.

— Да.

Джулия продолжала улыбаться мало сказать сладко — прямо приторно.

— Если бы для меня нашлась там роль, я была бы счастлива сыграть с вами. Мне очень жаль, что мистер Госселин не смог сегодня прийти.

— Я расскажу ему о вас.

— Вы вправду думаете, что у меня есть шансы? — сквозь всю ее самоуверенность, сквозь манеры хозяйки загородного поместья, которую она решила разыграть, чтобы произвести впечатление на Джулию, проглянула жгучая тревога. — Ах, если бы вы замолвили за меня словечко!

Джулия кинула на нее задумчивый взгляд.

— Я следую советам мужа чаще, чем он моим,— улыбнулась она.

Когда она выходила из уборной Эвис Крайтон — той пора уже было переодеваться к третьему акту, — Джулия поймала вопросительный взгляд, брошенный на Тома, в то время как она прощалась. Джулия была уверена, хотя не заметила никакого движения, что он чуть качнул головой. Все чувства ее в тот момент были обострены, и она перевела немой диалог в слова:

«Пойдешь ужинать со мной после спектакля?»

«Нет, будь оно все проклято, не могу. Надо проводить ее домой».

Третий акт Джулия слушала с суровым видом. И вполне естественно — пьеса была серьезная. Когда спектакль окончился и бледный взволнованный автор произнес с бесконечными паузами и запинками несколько положенных слов, Том спросил, где бы ей хотелось поужинать.

— Поедем домой и поговорим,— сказала Джулия. — Если ты голоден, на кухне наверняка что-нибудь найдется поесть.

— Ты имеешь в виду Стэнхоуп-плейс?

— Да.

— Хорошо.

Джулия почувствовала, что у него отлегло от сердца: он боялся, как бы она не поехала к нему. В машине Том молчал, и Джулия знала почему. Она догадалась, что где-то устраивается вечеринка, на которую идет Эвис Крайтон, и Тому хочется быть там. Когда они подъехали к дому, там было темно и тихо. Слуги уже спали. Джулия предложила, что они спустятся вниз, в кухню, и раздобудут себе какой-нибудь еды.

— Я не голоден, но, может быть, ты хочешь есть,— сказал Том.— Выпью виски с содовой и лягу спать. У меня завтра трудный день в конторе.

— Хорошо, принеси мне тоже в гостиную. Я зажгу свет.

Когда Том вошел, Джулия пудрилась и красила губы перед зеркалом и перестала только, когда он налил виски и сел. Тогда она обернулась. Том выглядел таким молодым, таким неправдоподобно прелестным в своем великолепно сшитом костюме, когда сидел вот так, утонув в большом кресле, что вся горечь этого вечера, вся жгучая ревность, снедавшая ее последние дни, внезапно исчезли, растворились в ее страстной любви к нему. Джулия села на ручку кресла и нежно провела рукой по его волосам. Он отпрянул с сердитым жестом.

— Не делай этого,— сказал он.— Терпеть не могу, когда мне треплют волосы.

Словно острый нож вонзился Джулии в сердце. Том еще никогда не говорил с ней таким тоном. Но она беспечно рассмеялась и, взяв со столика бокал с виски, которое он ей налил, села в кресло напротив. Его слова и жест были произвольны, Том даже сам слегка смутился. Он не глядел ей в глаза, лицо снова стало хмурым. Это был решающий момент. Несколько минут они молчали. Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Наконец она заставила себя заговорить.

— Скажи мне,— сказала, улыбаясь,— ты спал с Эвис Крайтон?

— Конечно нет!— вскричал он.

— Почему же? Она хорошенькая.

— Она не из таких. Я ее уважаю.

Лицо Джулии не выдало ни одного из охвативших ее чувств. Никто бы не догадался по ее тону, что речь идет о самом главном для нее—так она могла бы говорить о падении империй и смерти королей.

— Ты знаешь, что бы я сказала? Я бы сказала, что ты в нее безумно влюблен.

Том все еще избегал ее взгляда.

— Ты с ней случайно не помолвлен?

— Нет.

Теперь он глядел на нее, но взгляд его был враждебным.

— Ты просил ее выйти за тебя замуж?

— Как я могу?! Я, последняя дрянь!..

Он говорил с таким пылом, что Джулия даже удивилась.

— О чем, ради всего святого, ты болтаешь?

— Зачем играть в прятки? Как я могу предложить руку приличной девушке? Кто я? Мужчина, живущий на содержании, и — видит бог! — тебе это известно лучше, чем кому-нибудь другому.

— Не болтай глупостей. Столько шума из-за несчастных нескольких подарков.

— Мне не следовало их брать. Я с самого начала знал, что это дурно. Все делалось так постепенно, я и сам не понимал, что происходит, пока не увяз по самую шею. Мне не по карману жизнь, в которую ты меня втравила. Я не знал, как выйти из положения. Пришлось взять деньги у тебя.

— Почему бы и нет? В конце концов, я очень богата.

— Будь проклято твое богатство!

Том держал в руке бокал с виски и, поддавшись внезапному порыву, швырнул его в камин. Бокал разбился на мелкие осколки.

— Ну, разбивать счастливый семейный очаг все же не стоит, — улыбнулась Джулия.

— Прости. Я не хотел. — Том снова кинулся в кресло и отвернулся от нее. — Я стыжусь самого себя! Потерял к себе всякое уважение. Думаешь, это приятно?

Джулия промолчала. Она не нашлась, что сказать.

— Казалось вполне естественным помочь тебе, когда ты попал в беду. Для меня это было удовольствие.

— О, ты поступала всегда с таким тактом! Ты уверила меня, что я чуть ли не оказываю тебе услугу, когда разрешаю платить мои долги. Ты облегчила мне возможность стать подлецом.

— Мне очень жаль, если ты так думаешь.

Голос ее зазвучал колко. Джулия начала сердиться.

— Тебе не о чем жалеть. Ты хотела меня, и ты меня купила. Если я оказался настолько низок, что позволил себя купить, тем хуже для меня.

— И давно ты так чувствуешь?

— С самого начала.

— Это неправда.

Джулия знала, что пробудило в нем угрызения совести — любовь к чистой, как он полагал, девушке. Бедный

дурачок! Неужели он не понимает, что Эвис Крайтон ляжет в постель хоть со вторым помощником режиссера, если решит, что тот даст ей роль.

— Если ты влюбился в Эвис Крайтон, почему не сказал мне об этом?

Том поглядел на нее жалкими глазами и ничего не ответил.

— Неужели ты боялся, что я помешаю ей принять участие в нашей новой пьесе? Ты бы мог уже достаточно хорошо меня знать и понимать, что я не позволю чувствам мешать делу.

Том не верил своим ушам.

— Что ты имеешь в виду?

— Я думаю, что Эвис — находка. Я собираюсь сказать Майклу, что она нам вполне подойдет.

— О, Джулия, ты — молодчина! Я и не представлял, что ты такая замечательная женщина!

— Спросил бы меня, я бы тебе сказала.

Том облегченно вздохнул.

— Моя дорогая! Я так к тебе привязан.

— Я знаю, я тоже. С тобой так весело всюду ходить, и ты так великолепно держишься и одет со вкусом, любая женщина может тобой гордиться. Мне нравилось с тобой спать, и мне казалось, что тебе тоже нравится со мной спать, но надо смотреть фактам в лицо: я никогда не была в тебя влюблена, как и ты — в меня. Я знала, что рано или поздно наша связь должна кончиться. Ты должен был когда-нибудь влюбиться, и это, естественно, положило бы всему конец. И теперь это произошло, да?

— Да.

Джулия сама хотела это услышать от него, но боль, которую причинило ей это короткое слово, была ужасна. Однако она дружелюбно улыбнулась.

— Мы с тобой очень неплохо проводили время, но тебе не кажется, что пора прикрыть лавочку?

Джулия говорила таким естественным, даже шутивным тоном, что никто не заподозрил бы, какая невыносимая мука разрывает ей сердце. Она ждала ответа со страхом, вызывающим дурноту.

— Мне ужасно жаль, Джулия, но я должен вернуть себе чувство самоуважения. — Том взглянул на нее встревоженными глазами. — Ты не сердись на меня?

— За что? За то, что ты перенес свои ветреные чувства с меня на Эвис Крайтон? — Ее глаза заискрились лукавым смехом. — Конечно нет, милый. В конце концов, актерской братии ты не изменил.

— Я так благодарен тебе за все, что ты для меня сделала. Не думай, что нет.

— Полно, малыш, не болтай чепухи. Ничего я не сделала для тебя.— Джулия поднялась.— Ну, теперь тебе и правда пора ложиться. У тебя завтра тяжелый день в конторе, а я устала как собака.

У Тома гора с плеч свалилась. И все же что-то скребло у него на сердце, его озадачивал тон Джулии, такой благожелательный и вместе с тем чуть-чуть иронический; у него было смутное чувство, будто его оставили в дураках. Он подошел к Джулии, чтобы поцеловать ее на ночь. Какую-то долю секунды она колебалась, затем с дружеской улыбкой подставила по очереди обе щеки.

— Ты ведь знаешь дорогу к себе в комнату?— Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть тщательно продуманный зевок.— Ах, я так хочу спать!

Когда Том вышел, Джулия погасила свет и подошла к окну. Осторожно посмотрела наружу через занавески. Хлопнула входная дверь, и на улице появился Том. Оглянулся по сторонам. Джулия догадалась, что он ищет такси. Видимо, его не было, и Том зашагал пешком по направлению к парку. Она знала, что он торопится на вечеринку, где была Эвис Крайтон, чтобы сообщить ей радостные новости. Джулия упала в кресло. Она играла весь вечер, играла, как никогда, и сейчас чувствовала себя совершенно измученной. Слезы — слезы, которых на этот раз никто не видел,— капали у нее по щекам. Ах, она так несчастна! Лишь одно помогало ей вынести горе — жгучее презрение, которое она не могла не испытывать к глупому мальчишке: предпочел ей третьеразрядную актрисочку, которая даже не представляет, что такое настоящая игра! Это было нелепо. Эвис Крайтон не знает, куда ей девать руки; да что там, она даже ходить по сцене еще не умеет.

«Если бы у меня осталось чувство юмора, я бы смеялась до упаду,— всхлипнула Джулия.— Ничего смешнее я не видела».

Интересно, как поведет себя Том? В конце квартала надо платить за квартиру. Почти вся мебель принадлежит ей. Вряд ли ему захочется возвращаться в свою жалкую комнату на Тэвисток-сквер. Джулия подумала, что при ее помощи Том завел много новых друзей. Он держался с ними умно, старался быть им полезным; они его не оставят. Но водить Эвис всюду, куда ей захочется, ему будет не так-то легко. Милая крошка весьма меркантильна, Джулия не сомневалась, что она и думать о нем забудет, как только его

деньги иссякнут. Надо быть дураком, чтобы попасться на ее удочку. Тоже мне праведница! Любому ясно, что она использовала его, чтобы получить роль в «Сиддонс-театре», и, как только добьется своего, выставит его за дверь. При этой мысли Джулия вздрогнула. Она обещала Тому взять Эвис Крайтон в «Нынешние времена» потому, что это хорошо вписывалось в мизансцену, которую она разыгрывала, но она не придала никакого значения своему обещанию. У нее всегда был в запасе Майкл, чтобы воспротивиться этому.

— Черт подери, она получит эту роль,— громко произнесла Джулия. Она мстительно засмеялась.— Видит бог, я женщина незлобивая, но всему есть предел.

Будет так приятно отплатить Тому и Эвис Крайтон той же монетой. Джулия продолжала сидеть, не зажигая света; она обдумывала, как это лучше сделать. Однако время от времени она вновь принималась плакать, так как из глубины подсознания всплывали картины, которые были для нее пыткой. Она вспоминала стройное юное тело Тома, прижавшееся к ней, его жаркую наготу, неповторимый вкус его губ, застенчивую и вместе с тем лукавую улыбку, запах его кудрявых волос.

«Дура, дура, зачем я не промолчала! Пора мне уже его знать. Это очередное увлечение. Оно бы прошло, и он снова вернулся бы ко мне».

Джулия была полумертвой от усталости. Она поднялась к себе в спальню. Проглотила снотворное. Легла в постель.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Но проснулась она рано, в шесть утра, и принялась думать о Томе. Повторила про себя все, что она сказала ему, и все, что он сказал ей. Она была измучена и несчастна. Утешало ее лишь сознание, что она провела всю сцену их разрыва с беззаботной веселостью и Том вряд ли мог догадаться, какую он нанес ей рану.

Весь день Джулия была не в состоянии думать ни о чем другом и сердилась на себя за то, что она не в силах выкинуть Тома из головы. Ей было бы легче, если бы она могла поделиться своим горем с другом. Ах, если бы кто-нибудь ее утешил, сказал, что Том не стоит ее волнений, заверил, что он безобразно с ней поступил. Как правило, Джулия рассказывала о своих неприятностях Чарлзу или Долли. Конечно, Чарлз посочувствует ей от всего сердца, но это будет для него страшным ударом, в конце концов, он

безумно любит ее вот уже двадцать лет, и просто жестоко говорить ему, что она отдала самому заурядному мальчишке сокровище, за которое он, Чарлз, пожертвовал бы десятью годами жизни. Она была для Чарлза кумиром, бессердечно с ее стороны свергать этот кумир с пьедестала. Мысль о том, что Чарлз Тэмерли, такой аристократичный, такой образованный, такой элегантный, любит ее все с той же преданностью, несомненно, пошла Джулии на пользу. Долли, конечно, была бы в восторге, если бы Джулия доверилась ей. Они редко виделись последнее время, но Джулия знала, что стоит ей позвонить и Долли мигом прибежит. Долли страшно возмутится и сойдет с ума от ревности, когда Джулия сама чистосердечно ей во всем признается, хотя Долли и так подозревает правду. Но она так обрадуется, что все кончено, она простит. С каким удовольствием они станут костить Тома! Разумеется, признаваться, что Том дал ей отставку, удовольствие маленькое, а Долли не проведешь, она и не подумает поверить, если наврать ей, будто Джулия сама бросила его. Джулии хотелось хорошенько выплакаться, а с какой стати плакать, если ты своими руками разорвала связь. Для Долли это очко в ее пользу, при всем ее сочувствии она всего-навсего человек — вполне естественно, если она порадуется в глубине души, что с Джулии немного сбили спесь. Долли всегда боготворила ее. Джулия не была намерена обнаруживать перед ней свое слабое место.

«Похоже, что единственный, к кому я могу сейчас пойти, — Майкл, — усмехнулась Джулия. — Но, пожалуй, все же не стоит».

Она в точности представила себе, что он скажет:

«Дорогая, право же, это не очень удобно — рассказывать мне такие истории. Черт подери, ты ставишь меня в крайне неловкое положение. Я лщу себя мыслью, что достаточно широко смотрю на вещи. Пусть я актер, но в конечном счете я — джентльмен, и... ну... ну, я хочу сказать... я хочу сказать, это такой дурной тон».

Майкл вернулся домой только днем, и когда он зашел в комнату Джулии, она отдыхала. Он рассказал, как провел уик-энд и с каким результатом сыграл в гольф. Играл он очень хорошо, некоторые из его ударов были просто великолепны, и он описал их во всех подробностях.

— Между прочим, как эта девушка, которую ты ходила смотреть вчера вечером, ничего? Будет из нее толк?

— Ты знаешь, да. Очень хорошенькая. Ты сразу влюбишься.

— Дорогая, в моем возрасте! А играть она может?

— Она, конечно, неопытна. Но мне кажется, в ней что-то есть.

— Что ж, надо ее вызвать и внимательно к ней присмотреться. Как с ней связаться?

— У Тома есть ее адрес.

— Пойду ему позвоню.

Майкл снял трубку и набрал номер Тома. Том был дома, и Майкл записал адрес в блокнот.

Пауза — Том что-то ему говорит.

— Вот оно что, старина... Мне очень жаль это слышать. Да, не повезло.

— В чем дело? — спросила Джулия.

Майкл сделал ей знак молчать.

— Ну, я на тебя нажимать не буду. Не беспокойся. Я уверен, мы сможем прийти к какому-нибудь соглашению, которое тебя устроит.— Майкл прикрыл рукой трубку и обернулся к Джулии.— Звать его к обеду?

— Как хочешь.

— Джулия спрашивает, не придешь ли ты к нам пообедать в воскресенье. Да? Очень жаль. Ну, пока, старина.

Майкл положил трубку.

— У него свиданье. Что, молодой негодяй закрутил романчик с этой девицей?

— Уверяет, что нет. Говорит, что уважает ее. У нее отец полковник.

— О, так она леди?

— Одно не обязательно вытекает из другого,— отозвалась Джулия ледяным тоном.— О чем вы с ним толковали?

— Том сказал, что ему снизили жалованье. Тяжелые времена. Хочет отказаться от квартиры.— У Джулии вдруг кольнуло в сердце.— Я сказал ему, пусть не тревожится. Пусть живет бесплатно до лучших времен.

— Не понимаю этого твоего бескорыстия. В конце концов, у вас чисто деловое соглашение.

— Ну, ему и без того не повезло, а он еще так молод. И знаешь, он нам полезен: когда не хватает кавалера к обеду, стоит его позвать, и он тут как тут, и так удобно иметь кого-нибудь под рукой, когда хочется поиграть в гольф. Каких-то двадцать пять фунтов в квартал.

— Ты — последний человек на свете, от которого я ждала бы, что он станет раздавать свои деньги направо и налево.

— О, не волнуйся. Что потеряю на одном, выиграю на другом, у разбитого корыта сидеть не буду.

Пришла массажистка и положила конец разговору. Джулия была рада, что приближается время идти в театр,— скорее пройдет этот злосчастный день. Когда она вернется, опять примет снотворное и получит несколько часов забвения. Ей казалось, что через несколько дней худшее останется позади, боль притупится; сейчас самое главное — как-то пережить эти дни. Нужно чем-то отвлечь себя. Вечером она велела дворецкому позвонить Чарлзу Тэмерли, узнать, не пойдет ли он с ней завтра на ленч к Ритцу.

Во время ленча Чарлз был на редкость мил. По его облику, его манерам было видно, что он принадлежит совсем к другому миру, и Джулии вдруг стал омерзителен тот круг, в котором она вращалась из-за Тома весь последний год, Чарлз говорил о политике, об искусстве, о книгах, и на душу Джулии снизошел покой. Том был наваждением, пагубным, как оказалось, но она избавится от него. Ее настроение поднялось. Джулии не хотелось оставаться одной, она знала, что, если пойдет после ленча домой, все равно не уснет, поэтому спросила Чарлза, не сведет ли он ее в Национальную галерею. Она не могла доставить ему большего удовольствия: он любил говорить о картинах и говорил о них хорошо. Это вернуло их к старым временам, когда Джулия добилась своего первого успеха в Лондоне и они гуляли вместе в парке или бродили по музеям. На следующий день у Джулии был дневной спектакль, назавтра после этого она была куда-то приглашена, но, расставаясь, они с Чарлзом договорились опять встретиться в пятницу и после ленча пойти в галерею Тейта.

Несколько дней спустя Майкл сообщил Джулии, что пригласил для участия в новой пьесе Эвис Крайтон.

— По внешности она прекрасно подходит к роли, в этом нет никаких сомнений, она будет хорошо оттенять тебя. Беру ее на основании твоих слов.

На следующее утро ей позвонили из цокольного этажа и сказали, что на проводе мистер Феннел. Джулии показалось, что у нее остановилось сердце.

— Соедините меня с ним.

— Джулия, я хотел тебе сказать: Майкл пригласил Эвис.

— Да, я знаю.

— Он сказал, что берет ее по твоей рекомендации. Ты молодец!

Джулия — сердце ее теперь билось с частотой ста ударов в минуту — постаралась овладеть своим голосом.

— Ах, не болтай чепухи,— весело засмеялась она.— Я же тебе говорила, что все будет в порядке.

— Я страшно рад, что все уладилось. Она взяла роль, судя о ней только по тому, что я ей рассказал. Обычно она не соглашается, пока не прочитает всю пьесу.

Хорошо, что он не видел в ту минуту лица Джулии. Ей бы хотелось едко ответить ему, что, когда они приглашают третьеразрядную актрису, они не имеют обыкновения давать ей для ознакомления всю пьесу, но вместо этого она произнесла чуть ли не извиняющимся тоном:

— Ну, я думаю, роль ей понравится. Как по-твоему? Это очень хорошая роль.

— И знаешь, уж Эвис выжмет из нее все что можно. Я уверен, о ней заговорят.

Джулия еле дух перевела.

— Это будет чудесно. Я имею в виду, это поможет ей выплыть на поверхность.

— Да, я тоже ей говорил. Послушай, когда мы встретимся?

— Я тебе позвоню, ладно? Такая досада, у меня куча приглашений на все эти дни...

— Ты ведь не собираешься бросить меня только потому...

Джулия засмеялась низким хрипловатым смехом, тем самым смехом, который так восхищал зрителей.

— Ну, не будь дурачком. О боже, у меня переливается ванна. До свидания, милый.

Джулия положила трубку. Звук его голоса! Боль в сердце была невыносимой. Сидя на постели, Джулия качалась от муки взад-вперед.

«Что мне делать? Что мне делать?»

Она надеялась, что сумеет справиться с собой, и вот этот короткий дурацкий разговор показал, как она ошибалась — она по-прежнему его любит. Она хочет его. Она тоскует по нем. Она не может без него жить.

«Я никогда себя не переборю», — простонала Джулия.

И снова единственным прибежищем для нее был театр. По иронии судьбы главная сцена пьесы, в которой она тогда играла, сцена, которой вся пьеса была обязана своим успехом, изображала расставание любовников. Спору нет, расставались они из чувства долга, и в пьесе Джулия приносила свою любовь, свои мечты о счастье и все, что было ей дорого, на алтарь чести. Эта сцена сразу привлекла Джулию. Она всегда была в ней очень трогательна. А сейчас Джулия вложила в нее всю муку души; не у героини ее разбивалось сердце, оно разбивалось на глазах у зрителей у самой Джулии. В жизни она пыталась подавить страсть,

которая — она сама это знала — была смешна и недостойна ее, она ожесточала себя, чтобы как можно меньше думать о злосчастном юноше, который вызвал в ней такую бурю; но когда она играла эту сцену, Джулия отпускала вожжи и давала себе волю. Она была в отчаянии от своей потери, и та любовь, которую она изливала на партнера, была страстная, всепоглощающая любовь, которую она по-прежнему испытывала к Тому. Перспектива пустой жизни, перед которой стояла героиня пьесы, это перспектива ее собственной жизни. Джулии казалось, что никогда еще она не играла так великолепно. Хоть это ее утешало.

«Господи, ради того, чтобы так играть, стоит и помучиться».

Никогда еще она до такой степени не вкладывала в роль самой себя.

Однажды вечером, неделю или две спустя, когда Джулия вернулась после конца спектакля в уборную, вымотанная столь бурным проявлением чувств, но торжествующая, так как вызывали ее без конца, она неожиданно обнаружила у себя Майкла.

— Привет. Ты был в зале?

— Да.

— Но ты же был в театре несколько дней назад.

— Да, я смотрю спектакль с начала до конца вот уже четвертый вечер подряд.

Джулия принялась раздеваться. Майкл поднялся с кресла и стал шагать взад-вперед по комнате. Джулия взглянула на него: он хмурился.

— В чем дело?

— Это я и хотел бы узнать.

Джулия вздрогнула. У нее пронеслась мысль, что он опять услышал какие-нибудь разговоры о Томе.

— Куда запропастилась Эви, черт ее подери? — спросила она.

— Я попросил ее выйти. Я хочу тебе кое-что сказать, Джулия. И не устраивай мне истерики. Тебе придется выслушать меня.

У Джулии побежали по спине мурашки.

— Ну ладно, выкладывай.

— До меня кое-что дошло, и я решил сам разобраться, что происходит. Сперва я думал, что это случайность. Вот почему я молчал, пока окончательно не убедился. Что с тобой, Джулия?

— Со мной?

— Да. Почему ты так отвратительно играешь?

— Что? — вот уж чего она не ожидала. В ее глазах засверкали молнии. — Дурак несчастный, да я в жизни не играла лучше!

— Ерунда. Ты играешь чертовски плохо.

Джулия вздохнула с облегчением — слава богу, речь не о Томе, но слова Майкла были так смехотворны, что, как ни была Джулия сердита, она невольно рассмеялась.

— Ты просто идиот, ты сам не понимаешь, что городишь. Чего я не знаю об актерском мастерстве, того и знать не надо. А что знаешь ты? Только то, чему я тебя научила. Если из тебя и вышел толк, так лишь благодаря мне. В конце концов, чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать: судят по результатам. Ты слышал, сколько раз меня сегодня вызывали? За все время, что идет пьеса, она не имела такого успеха.

— Все это мне известно. Публика — сборище ослов. Если ты вопишь, визжишь и размахиваешь руками, всегда найдутся дураки, которые будут орать до хрипоты. Так, как играла ты эти последние дни, играют бродячие актеры. Фальшиво от начала до конца.

— Фальшиво? Но я прочувствовала каждое слово!

— Мне не важно, что ты чувствовала. Ты утрировала, ты переигрывала, не было момента, чтобы ты звучала убедительно. Такой бездарной игры я не видел за всю свою жизнь.

— Свинья чертова! Как ты смеешь так со мной говорить?! Сам ты бездарь!

Взмахнув рукой, Джулия закатила ему звонкую пощечину. Майкл улыбнулся.

— Можешь меня бить, можешь меня ругать, можешь вопить как сумасшедшая, но факт остается фактом — твоя игра никуда не годится. Я не намерен начинать репетиции «Нынешних времен», пока ты не придешь в форму.

— Тогда найди кого-нибудь, кто исполнит эту роль лучше меня.

— Не болтай глупости, Джулия. Сам я, возможно, и не очень хороший актер и никогда этого о себе не думал, но хорошую игру от плохой отличить могу. И больше того — нет такого, чего бы я не знал о тебе. В субботу я повешу извещение о том, что мы закрываемся, и хочу, чтобы ты сразу же уехала за границу. Мы выпустим «Нынешние времена» осенью.

Спокойный решительный тон Майкла утихомирил Джулию. Действительно, когда речь шла об ее игре, Майкл знал о ней все.

— Это правда, что я плохо играла?

— Чудовищно.

Джулия задумалась. Она поняла, что произошло. Она не сумела сдерживать свои эмоции, она выражала свои чувства. По спине у Джулии опять побежали мурашки. Это было серьезно. Разбитое сердце и прочее — все это прекрасно, но если это отражается на ее искусстве... Нет, нет, нет. Дело принимает совсем другой оборот! Ее игра важнее любого романа на свете.

— Я постараюсь взять себя в руки.

— Что толку насилловать себя? Ты очень устала. Это моя вина. Я давно уже должен был заставить тебя уехать в отпуск. Тебе необходимо как следует отдохнуть.

— А как же театр?

— Если мне не удастся сдать помещение, я возобновлю какую-нибудь из старых пьес, в которых у меня есть роль. Например, «Сердца — козыри». Ты всегда терпеть ее не могла.

— Все говорят, что сезон будет очень неудачный. От старой пьесы многого не дождешься. Если я не буду участвовать, ты ничего не заработаешь.

— Не важно. Главное — твоё здоровье.

— О боже! — вскричала Джулия. — Не будь так великодушен. Я не могу этого вынести.

Неожиданно она разразилась бурными рыданиями.

— Любимая!

Майкл обнял ее, усадил на диван, сел рядом. Она отчаянно прильнула к нему.

— Ты так добр ко мне, Майкл. Я ненавижу себя. Я — скотина, я — потаскуха, я — чертова сука, я — дрянь до мозга костей!..

— Вполне возможно, — улыбнулся Майкл, — но факт остается фактом: ты очень хорошая актриса.

— Не представляю, как у тебя хватает на меня терпения. Я так мерзко с тобой обращаюсь. Ты такой замечательный, а я бессердечно принимаю все твои жертвы.

— Полно, милая, не говори вещей, о которых сама будешь жалеть. Смотри, как бы я потом не поставил их тебе в строку.

Нежность Майкла растрогала Джулию, и она горько корила себя за то, что так плохо относилась к нему все эти годы.

— Слава богу, у меня есть ты. Что бы я без тебя делала?

— Тебе не придется быть без меня.

Майкл крепко ее обнимал, и, хотя Джулия все еще всхлипывала, ей стало полегче.

— Прости, что я так грубо говорила сейчас с тобой.

— Ну что ты, любимая.

— Ты правда думаешь, что я — плохая актриса?

— Дузе в подметки тебе не годится.

— Ты честно так считаешь? Дай мне твой носовой платок. Ты никогда не видел Сары Бернар?

— Нет.

— Она играла очень аффективно.

Они посидели немного молча, и постепенно у Джулии стало спокойнее на душе. Сердце ее захлестнула волна любви к Майклу.

— Ты все еще самый красивый мужчина в Англии, — тихонько проговорила она наконец. — Никто меня в этом не переубедит.

Она почувствовала, что он втянул живот и выдвинул подбородок, и на этот раз ей это показалось умильным.

— Ты прав. Я совершенно вымоталась. У меня ужасное настроение. Меня словно выпотрошили. Мне действительно надо уехать, только это и поможет мне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Джулия была рада, что решила уехать. Возможность оставить позади терзавшую ее муку помогла ей легче ее переносить. Были повешены афиши о новом спектакле, Майкл набрал актеров для пьесы, которую он решил возобновить, и начал репетиции. Джулии было интересно смотреть из первых рядов партера, как другая актриса репетирует роль, которую раньше играла она сама. С первого дня, как Джулия пошла на сцену, она не могла без глубокого волнения сидеть в темном зале на покрытом чехлом кресле и наблюдать, как актеры постепенно лепят образы своих героев, и сейчас, после стольких лет, она все еще испытывала тот же трепет. Даже просто находиться в театре служило ей успокоением. Глядя на репетиции, она отдыхала и к вечернему спектаклю, когда ей надо было выступать самой, была вполне свежа. Джулия поняла, что все, сказанное Майклом, верно, и взяла себя в руки. Отодвинув свои личные переживания на задний план и став хозяйкой своего персонажа, она опять стала играть с привычной виртуозностью. Ее игра перестала быть средством, при помощи которого она давала выход собственному отчаянию, и вновь сделалась проявлением ее творческого начала. Она добилась прежнего господства над материалом, при помощи

которого выражала себя. Это опьяняло Джулию, давало ей ощущение могущества и свободы.

Но победа доставалась Джулии нелегко, и вне театра она была апатична и уныла. Она утратила свою кипучую энергию. Ее обуяло непривычное смирение. У нее появилось чувство, что ее счастливая пора миновала. Она со вздохом говорила себе, что больше никому не нужна. Майкл предложил ей поехать в Вену, да ей и самой хотелось быть поближе к Роджеру, но она покачала головой:

— Я только помешаю ему.

Джулия боялась, что будет сыну в тягость. Он получает удовольствие от своей жизни в Вене, зачем стоять у него на пути. Джулии была невыносима мысль, что он сочтет для себя докучной обязанностью водить ее по разным местам и время от времени приглашать на обед или ленч. Вполне естественно, что ему интереснее с ровесниками-друзьями, которых он там завел.

Джулия решила погостить у матери. Миссис Лэмберт — «мадам де Ламбёр», как упорно называл ее Майкл, — уже много лет жила со своей сестрой, мадам Фаллу, на острове Сен-Мало. Каждый год она проводила несколько дней в Лондоне у Джулии, но в этом году не приехала, так как у нее было неважно со здоровьем. Она была уже стара — ей давно перевалило за семьдесят, — и Джулия знала, что она будет счастлива, если дочь приедет к ней надолго. Кому в Вене нужна английская актриса? Там она будет никто. А в Сен-Мало она окажется важной персоной, и двум старушкам доставит большое удовольствие хвастаться ею перед своими друзьями: «Ma fille, la plus grande actrice d'Angleterre»¹ и прочее.

Бедняжки так стары, жить им осталось совсем недолго, они влачат такое тоскливое монотонное существование. Конечно, ей будет смертельно скучно, но зато какая радость для них! Джулия признавалась себе, что, возможно, на своем блестящем и триумфальном жизненном пути она несколько пренебрегала матерью. Теперь она все ей возместит. Она приложит все усилия, чтобы быть очаровательной. Ее теперешняя нежность к Майклу и не оставляющее ее чувство, что она многие годы была к нему несправедлива, переполняли ее искренним раскаянием. Она была эгоистка и деспот, но постарается искупить свою вину. Ей хотелось принести себя в жертву, и она написала матери, что обязательно приедет к ней погостить.

¹ Моя дочь, величайшая английская актриса (*фр.*).

Джулия сумела самым естественным образом не встречаться с Томом до последнего дня. Заключительное представление пьесы, в которой она играла, было за день до отъезда. Поезд отходил вечером. Том пришел попрощаться с ней около шести. В доме, кроме Майкла, был Чарлз Тэмерли и несколько друзей, так что ей даже на минуту не грозило остаться с Томом наедине. Джулии оказалось совсем нетрудно разговаривать с ним самым непринужденным тоном. Она боялась, что при взгляде на Тома испытает жгучую муку, но почувствовала в сердце лишь тупую боль. Время и место отъезда Джулии хранились в тайне, другими словами — их представитель, поддерживающий связь с прессой, позвонил всего в несколько газет, и когда Джулия с Майклом прибыли на вокзал, там было лишь с десяток газетчиков, среди них три фоторепортера. Джулия сказала им несколько любезных слов. Майкл добавил к ним еще несколько своих, затем их представитель отвел газетчиков в сторону и коротко сообщил о дальнейших планах Джулии. Тем временем при свете блицвспышек фоторепортеры запечатлевали Джулию и Майкла: идущих по перрону под руку, обменивающихся прощальным поцелуем и — последний кадр: Джулия, наполовину высунувшись из окна вагона, протягивает руку Майклу, который стоит на перроне.

— Ну и надоела мне вся эта публика, — сказала Джулия. — Никуда от них не спрячешься.

— Не представляю, как они пронюхали, что ты уезжаешь.

Небольшая толпа, собравшаяся на платформе, стояла на почтительном расстоянии. Подошел их пресс-представитель и сказал Майклу, что репортерам хватит материала на целый столбец. Поезд тронулся.

Джулия отказалась взять с собой Эви. У нее было чувство, что ей надо полностью оторваться от старой жизни, если она хочет вновь обрести былую безмятежность. Эви будет не ко двору в этом французском доме. Мадам Фаллу, тетушка Кэрри, выйдя за француза совсем молоденькой девушкой, сейчас, в старости, с большей легкостью говорила по-французски, чем по-английски. Она вдовела уже много лет, ее единственный сын был убит во время войны. Она жила в высоком узком каменном доме на вершине холма, и, когда вы переступали его порог, вас охватывал покой прошлого столетия. За полвека здесь ничто не изменилось. Гостиная была обставлена гарнитуром в стиле Людовика XV, стоявшим в чехлах, которые снимались раз в месяц, чтобы почистить шелковую обивку. Хрустальная люстра

была обернута кисеей — не дай бог мухи засидят. Перед камином стоял экран из искусно расположенных между двумя стеклами павлиньих перьев. Хотя комнатой никогда не пользовались, тетушка Кэрри каждый день собственноручно вытирала в ней пыль. В столовой стены были обшиты деревянными панелями, мебель тоже стояла в чехах. На буфете красовались серебряная *èregne*¹, серебряный кофейник, серебряный заварочный чайник и серебряный поднос. Тетушка Кэрри и мать Джулии, миссис Лэмберт, проводили дни в длинной узкой комнате с мебелью в стиле ампир. На стенах в овальных рамах висели писанные маслом портреты тетушки Кэрри, ее покойного мужа, родителей ее мужа, и пастель, изображающая их убитого сына ребенком. Здесь стояли их шкатулки для рукоделия, здесь они читали газеты — католическую «Ла круа», «Ревю де Де-Монд» и местную ежедневную газету, здесь играли в домино по вечерам, кроме среды, когда к обеду приходили *Abbé*² и *Commandant La Garde*³, отставной офицер, здесь же они и ели, но когда приехала Джулия, они решили, что будет удобнее есть в столовой.

Тетушка Кэрри все еще носила траур по мужу и сыну. Лишь в редкие, особенно теплые дни она снимала небольшую черную шаль, которую сама себе вывязывала тамбуром. Миссис Лэмберт тоже ходила в черном, но когда к обеду приходили господин аббат и майор, она накидывала на плечи белую кружевную шаль, подаренную ей Джулией. После обеда они вчетвером играли в *plafond*⁴ со ставкой два су за сотню. Миссис Лэмберт, много лет прожившая на Джерси и до сих пор ездившая в Лондон, знала все о большом свете и говорила, что теперь многие играют в бридж-контракт, но майор возражал, что это годится для американцев, сго же вполне удовлетворяет *plafond*, а аббат добавлял, что он лично очень сожалеет о висте, который совсем забыли в последнее время. Ничего не поделаешь, люди редко бывают довольны тем, что имеют, им подавай все новое да новое, и так без конца. Каждое рождество Джулия посылала матери и тетке дорогие подарки, но они никогда не пускали их в ход. Они с гордостью показывали подарки приятельницам — все эти чудесные вещи, которые прибы-

¹ Ваза для середины обеденного стола, обычно из нескольких отделений, ярусов (*фр.*).

² Аббат (*фр.*).

³ Майор гвардии (*фр.*).

⁴ Плафон — карточная игра (*фр.*).

вали из Лондона,—а затем заворачивали в папиросную бумагу и прятали в шкаф. Джулия предложила матери автомобиль, но та отказалась. Они так редко и недалеко выходили, что вполне могли проделать свой путь пешком; шофер станет воровать бензин; если он будет питаться вне дома, это их разорит, если в доме — выведет из душевного равновесия Аннет. Аннет была их кухарка, экономка и горничная. Она прослужила у тетушки Кэрри тридцать пять лет. Черную работу делала ее племянница Анжель; но та была еще молода, ей не исполнилось и сорока, вряд ли удобно, чтобы в доме все время находился мужчина.

Джулию поместили в ту же комнату, где она жила девочкой, когда ее прислали к тетушке Кэрри на воспитание. Это вызвало в ней какое-то особенно сентиментальное настроение; по правде говоря, несколько минут она была на грани слез. Но Джулия очень легко втянулась в их образ жизни. Выйдя замуж, тетушка Кэрри приняла католическую веру, и когда миссис Лэмберт потеряла мужа и навсегда поселилась в Сен-Мало, она под влиянием аббата в надлежащее время сделала то же. Обе старые дамы были очень набожны. Каждое утро они ходили к мессе, а по воскресеньям — еще и к торжественной мессе. Но, кроме церкви, они не бывали почти нигде. Изредка наносили визит какой-нибудь соседке, которая лишилась одного из своих близких или, наоборот, отмечала помолвку внучки. Они читали одни и те же газеты и один и тот же журнал, без конца что-то шили с благотворительной целью, играли в домино и слушали подаренный им Джулией радиоприемник. Хотя аббат и майор обедали у них раз в неделю много лет подряд, каждую среду старушки приходили в страшное волнение. Майор, с присущей военным прямоотой, как они полагали, мог не колеблясь сказать, если бы какое-нибудь блюдо пришлось ему не по вкусу, и даже аббат, хоть и настоящий святой, имел свои склонности и предубеждения. Например, ему очень нравилась камбала, но он не желал ее есть, если она не была поджарена на сливочном масле, а при тех ценах на масло, которые держались после войны, это сущее разорение. Утром в среду тетушка Кэрри брала ключи от винного погреба и собственноручно вынимала бутылку кларета. То, что в ней оставалось после гостей, они с сестрой приканчивали к концу недели.

Старушки принялись опекать Джулию. Пичкали ее ячменным отваром и страшно волновались, как бы ее где-нибудь не продуло. По правде говоря, значительная часть их жизни была занята тем, что они избегали сквозняков.

Они заставляли Джулию лежать на диване и заботливо следили за тем, чтобы она прикрывала при этом ноги. Они урезонивали Джулию по поводу ее одежды. Эти шелковые чулки такие тонкие, что сквозь них все видно! А что она носит под платьем? Тетушка Кэрри не удивится, если узнает, что ничего, кроме сорочки.

— Она и сорочки не носит, — сказала миссис Лэмберт.

— Что же тогда на ней надето?

— Трусики, — сказала Джулия.

— И вероятно, *soutien-gorge*¹.

— Конечно нет, — колко возразила Джулия.

— Значит, племянница, ты совсем голая под платьем?

— Практически — да.

— *C'est de la folie*², — воскликнула тетушка Кэрри.

— *C'est vraiment pas raisonnable, ma fille*³, — согласилась миссис Лэмберт.

— И хоть я не ханжа, — добавила тетушка Кэрри, — я должна сказать, что это просто неприлично.

Джулия продемонстрировала им все свои наряды, и в первую же среду после ее прибытия начался спор по поводу того, что ей надеть к обеду. Тетушка Кэрри и миссис Лэмберт чуть не поссорились друг с другом. Миссис Лэмберт считала, что раз Джулия привезла вечерние платья, ей и следует надеть одно из них, а тетушка Кэрри полагала это вовсе не обязательным.

— Когда я приезжала к тебе в Джерси и к обеду приходили джентльмены, мне помнится, ты надевала нарядный капот.

— О да, это прекрасно бы подошло.

Обе старые дамы с надеждой посмотрели на Джулию. Она покачала головой.

— Я скорее надену саван.

Тетушка Кэрри носила по средам черное платье с высоким воротничком, сшитое из тяжелого шелка, и нитку гагата, а миссис Лэмберт — такое же платье, с белой кружевной шалью и стразовым ожерельем. Майор, низенький крепыш с лицом как печеное яблоко, седыми волосами, подстриженными *en brosse*⁴, и внушительными усами, выкрашенными в иссиня-черный цвет, был весьма галантен и, хотя ему давно перевалило за семьдесят, во время обеда пожимал

¹ Бюстгальтер (*фр.*).

² Ну, это безумие (*фр.*).

³ Это действительно неразумно, дочь моя (*фр.*).

⁴ Бобриком (*фр.*).

Джулии под столом ножку, а когда они выходили из столовой, воспользовался случаем ущипнуть ее за зад.

«Секс эпил», — пробормотала про себя Джулия, с величественным видом следуя за старыми дамами в гостиную.

Они носились с Джулией не потому, что она была великая актриса, а потому, что ей нездоровилось и она нуждалась в отдыхе. К своему великому изумлению, Джулия довольно скоро обнаружила, что они не только не гордятся ее известностью, а, напротив, стесняются. Куда там хвалиться ею перед знакомыми — они даже не звали ее с собой, когда наносили визиты. Тетушка Кэрри привезла из Англии обычай пить в пять часов чай и твердо его придерживалась. Однажды, вскоре после приезда Джулии, они пригласили к чаю нескольких дам, и за завтраком миссис Лэмберт обратилась к Джулии со следующими словами:

— Дорогая моя, у нас в Сен-Мало есть несколько очень хороших приятельниц, но, понятно, они все еще смотрят на нас как на чужаков, хотя мы прожили здесь уже столько лет, и нам не хотелось бы делать ничего, что показалось бы им эксцентричным. Естественно, мы не просим тебя лгать, но, если это не будет абсолютно необходимо, тетя Кэрри считает, тебе лучше не говорить, что ты — актриса.

Джулия была поражена, но чувство юмора восторжествовало, и она чуть не расхохоталась.

— Если кто-нибудь из наших приятельниц спросит, кто твой муж, сказать, что он занимается коммерцией, не значит погрешить против истины?

— Ни в коей мере. — Джулия позволила себе улыбнуться.

— Мы, конечно, знаем, что английские актрисы отличаются от французских, — добавила тетюшка Кэрри от доброго сердца. — Почти у каждой французской актрисы обязательно есть любовник.

— Боже, боже, — сказала Джулия.

Лондонская жизнь — со всеми треволениями, триумфами и горестями — отодвинулась далеко-далеко. Скоро Джулия обнаружила, что может с полной безмятежностью думать о Томе и своей любви к нему. Она поняла, что ранено было больше ее самолюбие, чем сердце. Каждый день в Сен-Мало был похож на другой. Единственное, что заставляло ее вспоминать Лондон, были прибывающие по понедельникам воскресные газеты. Джулия забирала всю пачку и читала их до самого вечера. В этот день у нее было немного тревожно на душе. Она уходила на

крепостные валы и глядела на острова, усеивающие залив. Серые облака заставляли ее тосковать по серому небу Англии. Но к утру вторника она вновь погружалась в покой провинциальной жизни. Джулия много читала: романы, английские и французские, которые покупала в местном магазине, и своего любимого Верлена. В его стихах была нежная меланхолия, которая, казалось ей, подходит к этому серому бретонскому городку, печальным старым каменным домам и тихим, крутым, извилистым улочкам. Мирные привычки двух старых дам, рутина их бедной событиями жизни, безмятежная болтовня возбуждали в Джулии жалость. Ничего не случилось с ними за долгие годы, ничего уже не случится до самой их смерти, и как мало значило их существование! Самое странное, что они вполне им удовлетворены. Им была неведома злоба, неведома зависть. Они достигли свободы от общественных уз, которую Джулия ощущала, стоя у рампы и кланяясь в ответ на аплодисменты восторженной публики. Иногда ей казалось, что эта свобода — самое драгоценное из всего, чем она обладает. В ней она была рождена гордостью, в них — смирением. В обоих случаях она давала один неопределимый результат: независимость духа, только у них она была более надежной. От Майкла приходили раз в неделю короткие деловые письма, где он сообщал, каковы сборы и как он готовится к постановке следующей пьесы, но Чарлз Тэмерли писал каждый день. Он передавал Джулии все светские новости, рассказывал своим очаровательным культурным языком о картинах, которые видел, и книгах, которые прочел. Его письма были полны нежных иносказаний и шутиливой эрудиции. Он философствовал без педантизма. Он писал, что обожает ее. Это были самые прекрасные любовные письма, какие Джулия получала в жизни, и ради будущих поколений она решила их сохранить. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь их опубликует, и люди станут ходить в Национальную галерею, чтобы посмотреть на ее портрет, тот, что написал Мак-Эвой¹ и со вздохом вспоминать о романтической любовной истории, героиней которой была она.

Чарлз удивительно поддержал ее в первые две недели ее утраты, Джулия не представляла, что бы она делала без него. Он всегда был к ее услугам. Его беседа, унося Джулию совсем в иной мир, успокаивала ей нервы. Душа Джулии была замарана грязью, и она отмывалась в чистом источ-

¹ Мак-Эвой (1878—1927) — английский портретист.

нике его духа. Какой покоем снисходил на нее, когда она бродила с Чарлзом по картинным галереям... У Джулии имелись все основания быть ему благодарной. Она думала о долгих годах его поклонения. Он ждал ее вот уже двадцать с лишним лет. Она была не очень-то к нему благосклонна. Обладание ею дало бы ему такое счастье, а от нее, право, ничего не убудет. Почему она так долго отказывала ему? Возможно, потому, что он был беспредельно ей предан, его самозабвенная любовь — так почтительна и робка; возможно, только потому, что ей хотелось сохранить в его уме тот идеал, который сам он создал столько лет назад. Право, это глупо, а она — просто эгоистка. Джулию охватил возвышенный восторг при мелькнувшей у нее внезапно мысли, что теперь наконец она сможет вознаградить его за всю его нежность, бескорыстие и постоянство. Джулией все еще владело вызванное в ней добротой Майкла чувство, что она его недостойна, все еще мучало раскаяние за то, что все эти годы она была нетерпима по отношению к нему. Желание пожертвовать собой, с которым она покидала Англию, по-прежнему горело в ее груди ярким пламенем. Джулия подумала, что Чарлз — отличный объект для его осуществления. Она засмеялась, ласково и участливо, представив, как он будет поражен, когда поймет ее намерение; в первый миг он просто не поверит себе, но потом — какое блаженство, какой экстаз! Любовь, которую он сдерживал столько лет, прорвет все преграды и затопит ее мощным потоком. Сердце Джулии переполнилось при мысли о его бесконечной благодарности. И все же ему будет трудно поверить, что фортуна наконец улыбнулась ему; когда все останется позади и она будет лежать в его объятиях, она прижмется к нему и нежно шепнет: «Стоило ждать столько лет?» — «Ты, как Елена, дала мне бессмертье поцелуем»¹. Разве не удивительно даровать своему ближнему столько счастья?

«Я напишу ему перед самым отъездом из Сен-Мало», — решила Джулия.

Весна перешла в лето, и к концу июля наступило время ехать в Париж, надо было позаботиться о своих туалетах. Майкл хотел открыть сезон в первых числах сентября, и репетиции новой пьесы должны были начаться в августе. Джулия взяла пьесу с собой в Сен-Мало, намереваясь на досуге выучить роль, но та обстановка, в которой она жила, сделала это невозможным. Времени у нее

¹ Перефразированная строка из «Трагической истории доктора Фауста» К. Марло: «Елена, дай бессмертье поцелуем».

было предостаточно, но в этом сером, суровом, хотя и уютном городке, в постоянном общении с двумя старыми дамами, интересы которых ограничивались приходскими и домашними делами, пьеса, как ни была хороша, не могла увлечь Джулию.

«Мне давно пора возвращаться,— сказала она себе.— Что будет, если я в результате решу, что театр не стоит всего того шума, который вокруг него поднимают?»

Джулия распрощалась с матерью и тетушкой Кэрри. Они были очень к ней добры, но она подозревала, что они не будут слишком сожалеть об ее отъезде, который позволит им вернуться к привычной жизни. К тому же они успокоятся, что им больше не будет грозить эксцентричная выходка, которую всегда можно ожидать от актрисы, не надо будет больше опасаться неблагоприятных комментариев дам Сен-Мало.

Джулия приехала в Париж днем и, когда ее провели в апартаменты в отеле «Ритц», удовлетворенно вздохнула. Какое удовольствие опять окунуться в роскошь! Несколько друзей прислали ей цветы. Джулия приняла ванну и переоделась. Чарли Деверил, всегда шивший для нее и уже давно ставший ее другом, зашел, чтобы повести ее обедать в «Буа».

— Я чудесно провела время,— сказала ему Джулия,— и, конечно, мой приезд доставил большую радость старым дамам, но у меня появилось ощущение, что еще один день — и я умру со скуки.

Поездка по Елисейским полям в этот прелестный вечер наполнила ее восторгом. Как приятно было вдыхать запах бензина! Автомобили, такси, звуки клаксонов, каштаны, уличные огни, толпа, снующая по тротуарам и сидящая за столиками у кафе,— что может быть чудесней? А когда они вошли в «Шато де Мадрид», где было так весело, так цивилизованно и так дорого, как приятно было снова увидеть элегантных, умело подкрашенных женщин и загорелых мужчин в смокингах.

— Я чувствую себя как королева, вернувшаяся из изгнания.

Джулия провела в Париже несколько счастливых дней, выбирая себе туалеты и делая первые примерки. Она наслаждалась каждой минутой. Однако она была женщина с характером, и когда принимала решение, выполняла его. Прежде чем уехать в Лондон, она послала Чарльзу коротенькое письмо. Он был в Гудвуде и Каузе и должен был задержаться на сутки в Лондоне по пути в Зальцбург.

«Чарлз, милый!»

Как замечательно, что я скоро вас снова увижу. В среду я буду свободна. Пообедаем вместе. Вы все еще любите меня?

Ваша Джулия».

Опуская конверт в ящик, она пробормотала: «*Bis dat qui cito dat*»¹. Это была избитая латинская цитата, которую всегда произносил Майкл, когда в ответ на просьбу о пожертвовании на благотворительные цели посылал с обратной же почтой ровно половину той суммы, которую от него ждали.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Утром в среду Джулия сделала массаж и завилась. Она никак не могла решить, какое платье надеть к обеду: из пестрого органди, очень нарядное и весеннее, приводящее на ум боттичеллиевскую «Весну», или одно из белых атласных, подчеркивающих ее стройную девичью фигуру и очень целомудренное, но пока принимала ванну, остановилась на белом атласном: оно должно было послужить тонким намеком на то, что приносимая ею жертва была своего рода искуплением за ее длительную неблагодарность к Майклу. Джулия не надела никаких драгоценностей, кроме нитки жемчуга и бриллиантового браслета; на том же пальце, где было обручальное кольцо, сверкал бриллиантовый перстень. Ей хотелось напудриться пудрой цвета загара, это молодило ее и очень ей шло, но, вспомнив, что ей предстоит, она отказалась от этой мысли. Не могла же она, как актер, чернящийся с ног до головы, чтобы играть Отелло, покрыть всю себя искусственным загаром. Как всегда пунктуальная, Джулия спустилась в холл в ту самую минуту, как швейцар распахнул входную дверь перед Чарлзом Тэмерли. Джулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарлз носил теперь свои поредевшие волосы довольно длинно, с годами его интеллигентное, аристократическое лицо несколько обвисло, он немного горбился, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг.

«В странном мире мы живем,— подумала Джулия.— Актеры из кожи вон лезут, чтобы быть похожими на

¹ «Кто скоро даст, тот дважды даст» (*лат.*) — изречение Сенеки.

джентльменов, а джентльмены делают все возможное, чтобы выглядеть как актеры».

Не было сомнения, что она произвела надлежащий эффект. Чарлз подкинул ей великолепную реплику, как раз то, что нужно для начала.

— Почему вы так прелестны сегодня? — спросил он.

— Потому что я предвкушаю наше с вами свидание.

Своими прекрасными выразительными глазами Джулия глубоко заглянула в глаза Чарлза. Слегка приоткрыла губы, как на портрете леди Гамильтон кисти Ромни, — это придавало ей такой обольстительный вид.

Обсели они в «Савое». Метрдотель дал им столик у прохода, так что их было превосходно видно. Хотя предполагалось, что все порядочные люди за городом, ресторан был переполнен. Джулия улыбалась и кивала направо и налево, приветствуя друзей. У Чарлза было что ей рассказать, Джулия слушала его с неослабным интересом.

— Вы — самый лучший собеседник на свете, Чарлз, — сказала она ему.

Пришли они в ресторан поздно, обедали не торопясь, и к тому времени, как Чарлз допивал бренди, начали собираться посетители к ужину.

— Господи боже мой, неужели уже окончились спектакли? — сказал он, взглянув на часы. — Как быстро летит время, когда я с вами. Как вы думаете, они уже хотят избавиться от нас?

— Не имею ни малейшего желания ложиться спать.

— Майкл, вероятно, скоро будет дома?

— Вероятно.

— Почему бы нам не поехать ко мне и не поболтать еще?

Вот это называется понять намек!

— С удовольствием, — ответила Джулия, вкладывая в свою интонацию стыдливый румянец, который, как она чувствовала, так хорошо выглядел бы сейчас на ее щеках.

Они сели в машину и поехали на Хилл-стрит. Чарлз провел Джулию к себе в кабинет. Он находился на первом этаже. Двустворчатые, до самого пола окна, выходящие в крошечный садик, были распахнуты настежь. Они сели на диван.

— Погасите верхний свет и впустите в комнату ночь, — сказала Джулия. И процитировала строчку из «Венецианского купца»: — «В такую ночь, когда лобзал деревья нежный ветер...»

Чарлз выключил все лампы, кроме одной, затененной абажуром, и когда он снова сел, Джулия прильнула к нему. Он обнял ее за талию, она положила ему голову на плечо.

— Божественно,— прошептала она.

— Я страшно тосковал по вас все это время.

— Успели набедокурить?

— Да. Купил рисунок Энгра¹ и заплатил за него кучу денег. Обязательно покажу его вам, прежде чем вы уйдете.

— Не забудьте. Где вы его повесили?

С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос: где должно произойти оболение — в кабинете или наверху.

— У себя в спальне,— ответил Чарлз.

«И правда, там будет куда удобнее»,— подумала Джулия.

Она засмеялась в кулак при мысли, что бедняга Чарлз не додумался ни до чего лучшего, чтобы завлечь ее к себе в постель. Ну и глупы эти мужчины! Слишком уж они нерешительны, вот в чем беда. Сердце Джулии пронзила мгновенная боль — она вспомнила о Томе. К черту Тома! Чарлз такой душка, и она не отступит от своего решения наградить его за многолетнюю преданность.

— Вы были мне замечательным другом, Чарлз,— сказала она своим грудным, чуть хрипловатым голосом. Она повернулась к нему так, что ее лицо оказалось рядом с его лицом, губы — опять, как у леди Гамильтон, — чуть приоткрыты. — Боюсь, я не всегда была достаточно с вами ласкова.

Джулия выглядела такой пленительно податливой — спелый персик, который нельзя не сорвать, — что поцелуй казался неизбежным. Тогда она обовьет его шею своими белыми нежными руками и... Но Чарлз только улыбнулся.

— Не говорите так. Вы всегда были божественны.

(«Он боится, бедный ягненок!»)

— Меня никто никогда не любил так, как вы.

Он слегка прижал ее к себе.

— Я и сейчас люблю вас. Вы сами это знаете. Вы — единственная женщина в моей жизни.

Поскольку Чарлз не принял предложенные ему губы, Джулия чуть отвернулась. Посмотрела задумчиво на электрический камин. Жаль, что он не зажжен. В этой мизансцене камин был бы очень кстати.

— Наша жизнь могла бы быть совсем иной, если бы мы тогда сбежали вдвоем из Лондона. Хей-хоу!

Джулия никогда не знала, что означает это восклицание, хотя его очень часто употребляли в пьесах, но, произнесенное со вздохом, оно всегда звучало очень печально.

¹ Энгр Жан Огюст Доминик (1780—1867) — французский художник-классицист.

— Англия потеряла бы свою величайшую актрису. Теперь я понимаю, каким я был ужасным эгоистом, когда предлагал вам покинуть театр.

— Успех еще не все. Я иногда спрашиваю себя, уж не упустила ли я величайшую ценность ради того, чтобы удовлетворить свое глупое мелкое тщеславие. В конце концов, любовь — единственное, ради чего стоит жить.

Джулия снова посмотрела на него. Глаза ее, полные неги, были прекрасны, как никогда.

— Знаете, если бы я снова была молода, я думаю, я сказала бы: увези меня.

Ее рука скользнула вниз, нашла его руку. Чарлз грациозно ее пожал.

— О, дорогая.

— Я так часто думаю об этой вилле нашей мечты! Оливковые деревья, олеандры и лазурное море. Мир и покой. Порой меня ужасают монотонность, скука и вульгарность моей жизни. Вы предлагали мне Красоту. Я знаю, теперь уже поздно; я сама не понимала тогда, как вы мне дороги, я и не помышляла, что с годами вы будете все больше и больше значить для меня.

— Блаженство слышать это от вас, любимая. Это вознаграждает меня за многое.

— Я бы сделала для вас все на свете. Я была эгоистка. Я погубила вашу жизнь, ибо сама не ведала, что творю.

Низкий голос Джулии дрожал, она откинула голову, ее шея вздымалась, как белая колонна. Декольте открывало — и изрядно — ее маленькую упругую грудь; Джулия прижала к ней руки.

— Вы не должны так говорить, вы не должны так думать, — мягко ответил Чарлз. — Вы всегда были само совершенство. Другой вас мне не надо. Ах, дорогая, жизнь так коротка, любовь так преходяща. Трагедия в том, что иногда мы достигаем желаемого. Когда я оглядываюсь сейчас назад, я вижу, что вы были мудрее, чем я. «Какие мифы из тенистых роц...» Вы помните, как там дальше? «Ты, юноша прекрасный, никогда не бросишь петь, как лавр не сбросит листьев; любовник смелый, ты не стиснешь в страсти возлюбленной своей — но не беда: она неувядаема, и счастье с тобой, пока ты вечен и неистов».

(«Ну и идиотство!»)

— Какие прелестные строки, — вздохнула Джулия. — Возможно, вы и правы. Хей-хоу!

Чарлз продолжал читать наизусть. Эту его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной.

— «Ах, счастлива весенняя листва, которая не знает увяданья, и счастлив тот, чья музыка нова и так же бесконечна, как свиданье»¹.

Но сейчас это давало ей возможность подумать. Джулия уставилась немигающим взором на незажженный камин, словно замороженная совершенной красотой стихов. Чарлз просто ничего не понял, это видно невооруженным глазом. И чему тут удивляться. Она была глуха к его страстным мольбам в течение двадцати лет, вполне естественно, если он решил, что все его упования тщетны. Все равно что покорить Эверест. Если бы эти стойкие альпинисты, так долго и безуспешно пытавшиеся добраться до его вершины, вдруг обнаружили пологую лестницу, которая туда ведет, они бы просто не поверили своим глазам; они бы подумали, что перед ними ловушка. Джулия почувствовала, что надо поставить точки хоть над несколькими «i». Она должна, так сказать, подать руку помощи усталому пилигриму.

— Уже поздно,— мягко сказала она.— Покажите мне новый рисунок, и я поеду домой.

Чарлз встал, и она протянула ему обе руки, чтобы он помог ей подняться с дивана. Они пошли наверх. Пижама и халат Чарлза лежали аккуратно сложенные на стуле.

— Как вы, холостяки, хорошо устраиваетесь. Такая уютная, симпатичная спальня.

Чарлз снял оправленный в рамку рисунок со стены и поднес его к свету, чтобы Джулия могла лучше его рассмотреть. Это был сделанный карандашом портрет полноватой женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показалась Джулии некрасивой, платье — смешным.

— Восхитительно! — вскричала она.

— Я знал, что вам понравится. Хороший рисунок, верно?

— Поразительный.

Чарлз повесил картинку обратно на гвоздь. Когда он снова обернулся к Джулии, она стояла у кровати, как черкешенка-полонянка, которую главный евнух привел на обозрение великому визирю; в ее позе была прелестная нерешительность — казалось, она вот-вот отпрянет назад — и вместе с тем ожидание непорочной девы, стоящей на пороге своего королевства. Джулия испустила томный вздох.

¹ «Ода греческой вазе» английского поэта-романтика Джона Китса (1795—1821). Перев. О. Чухонцева.

— Дорогой, это был такой замечательный вечер. Я еще никогда не чувствовала себя такой близкой вам.

Джулия медленно подняла руки из-за спины и с тем поразительным чувством ритма, которое было даровано ей природой, протянула их вперед, вверх ладонями, словно держала невидимое взору роскошное блюдо, а на блюде — свое, отданное ему сердце. Ее прекрасные глаза были нежны и покорны, на губах порхала робкая улыбка: она сдавалась.

Джулия увидела, что лицо Чарлза застыло. Теперь-то он наконец понял, и еще как!

(«Боже, я ему не нужна! Это все было блефом».)

В первый момент это открытие совершенно ее потрясло.

(«Господи, как мне из этого выпутаться? Какой идиотской я, верно, выгляжу!»)

Джулия чуть не потеряла равновесие, и душевное и физическое. Надо было что-то придумать, да побыстрее. Чарлз стоял перед ней, глядя на нее с плохо скрытым замешательством. Джулия была в панике. Что ей делать с этими держащими роскошное блюдо руками? Видит бог, они невелики, но сейчас они казались ей окороками, висящими на крюке в колбасной лавке. И что ему сказать? С каждой секундой ее поза и вся ситуация становились все более невыносимы.

(«Дрянь, паршивая дрянь! Так дурачить меня все эти годы!»)

Джулия приняла единственно возможное решение. Она сохранила свою позу. Считая про себя, чтобы не спешить, она соединила ладони и, сцепив пальцы и откинув голову назад, очень медленно подняла руки к шее. Эта поза была так же прелестна, как и прежняя, и она подсказала Джулии нужные слова. Ее глубокий полновзвучный голос слегка дрожал от избытка чувств.

— Когда я думаю о нашем прошлом, я радуюсь, что нам не в чем себя упрекнуть. Горечь жизни не в том, что мы смертны, а в том, что умирает любовь. («Что-то в этом роде произносилось в какой-то пьесе».) Если бы мы стали любовниками, я бы вам давным-давно надоела, и что бы нам теперь осталось? Только сожалеть о своей слабости. Повторите эту строчку из Шелли — «...она неувядаема...», — которую вы мне только что читали.

— Из Китса, — поправил он, — «...она неувядаема, и счастье...»

— Вот, вот. И дальше.

Ей надо было выиграть время.

— «...с тобой, пока ты вечен и неистов».

Джулия раскинула руки в стороны широким жестом и встряхнула кудрями. То самое, что ей надо.

— И это правда. Какие бы мы были глупцы, если бы, поддавшись минутному безумию, лишили себя величайшего счастья, которое принесла нам дружба. Нам нечего стыдиться. Мы чисты. Мы можем ходить с поднятой головой и всему свету честно глядеть в глаза.

Джулия нутром чувствовала, что эта реплика — под занавес, и, подкрепляя слова жестом, высоко держа голову, отступила к двери и распахнула ее настежь.

Сила ее таланта была так велика, что она сохранила настроение мизансцены до нижней ступеньки лестницы. Там она сбросила его и, обернувшись к Чарлзу, идущему за ней по пятам, сказала донельзя просто:

— Мою накидку.

— Машина ждет,— сказал он, закутывая ее.— Я отвезу вас домой.

— Нет, разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер в своем сердце. Поцелуйте меня на прощание.

Она протянула ему губы. Чарлз поцеловал их, Джулия, подавив рыдание, вырвалась от него и, одним движением растворив входную дверь, побежала к ожидавшему ее автомобилю.

Когда она добралась домой и очутилась в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения.

«Дура чертова. Так попасться. Слава богу, я благополучно выпугалась. Он такой осел, что, верно, даже не додумался, куда я клоню». Но его застывшая улыбка все же приводила ее в смущение. «Ну, может, он и заподозрил, что тут нечисто, точно-то он знать не мог, а уж потом и совсем убедился, что ошибся. Господи, что я несла! Но все сошло в наилучшем виде, он все проглотил. Хорошо, что я вовремя спохватилась. Еще минута, и я бы скинула платье. Тут было бы не до шуток».

Джулия захихикала. Конечно, ситуация была унижительная, она оказалась в дурацком положении, но если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора, во всем найдешь свою смешную сторону. Как жаль, что никому нельзя ничего рассказать! Пусть даже она выставила бы себя на посмешище, это такая великолепная история. Смириться она не могла с одним — с тем, что поверила всей этой комедии о нетленной любви, которую он разыгрывал столько лет. Конечно, это была только поза, ему нравилось выступать

в роли верного воздыхателя, и, по-видимому, меньше всего он хотел, чтобы его верность была вознаграждена.

«Обвел меня вокруг пальца, втер очки, замазал глаза!»

Но тут Джулии пришла в голову мысль, стершая улыбку с ее лица. Если мужчина отвергает авансы, которые делает ему женщина, она невольно склоняется к одному из двух заключений: он или гомосексуалист, или импотент. Джулия задумчиво зажгла сигарету. Она спрашивала себя, не использовал ли ее Чарлз как ширму для прикрытия иных склонностей. Она покачала головой. Нет, уж на это кто-нибудь ей да намекнул бы. После войны в обществе практически не говорили ни о чем другом. А вот импотентом он вполне мог быть. Она подсчитала его годы. Бедный Чарлз! Джулия снова улыбнулась. Если таково положение вещей, не она, а он оказался в неловком и даже смешном положении. Он, должно быть, до смерти перепугался, бедный ягненок. Ясно, это не из тех вещей, в которых мужчина охотно признается женщине, особенно если он безумно в нее влюблен. Чем больше Джулия об этом думала, тем более вероятным казалось ей это объяснение. Она почувствовала к Чарлзу прямо-таки материнскую жалость.

«Я знаю, что я сделаю,— сказала она, начиная раздеваться.— Я пошлю ему завтра большой букет белых лилий».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

На следующее утро Джулия некоторое время пролежала в постели, прежде чем позвонить. Она думала. Вспоминая свое вчерашнее приключение, она похвалила себя за то, что проявила такое присутствие духа. Сказать, что она вырвала победу из рук поражения, было бы преувеличением, но как стратегический маневр отход ее был мастерским. При всем том у нее на сердце кошки скребли. Могло быть еще одно объяснение странному поведению Чарлза. Вполне возможно, что она не соблазнила его просто потому, что больше не была соблазнительна. Джулия вдруг подумала об этом ночью. Тогда она тут же выбросила эту мысль из головы: нет, это невероятно; однако приходилось признать, что утром она показалась куда серьезней. Джулия позвонила. Поскольку Майкл часто заходил к ней в комнату, когда она завтракала в постели, Эви, раздвинув занавески, обычно подавала ей зеркальце, гребень, помаду и пудреницу. Сегодня, вместо того чтобы провести гребнем по волосам и почти не глядя обмахнуть лицо пуховкой, Джулия не

пожалела труда. Она тщательно подкрасила губы, подрумянилась, привела в порядок волосы.

— Говоря бесстрастно и беспристрастно,— сказала она, все еще глядя в зеркало, в то время как Эви ставила на постель поднос с завтраком,— как по-твоему, Эви, я — красивая женщина?

— Я должна знать, как это мне отойдет, прежде чем отвечать на такой вопрос.

— Ах ты, чертовка! — вскричала Джулия.

— Ну, знаете, ведь красавицей вас не назовешь.

— Ни одна великая актриса не была красавицей.

— Ну, как вы вырядитесь в пух и прах, вроде как вчера вечером, да еще свет будет сзади, так и похуже вас найдутся.

(«Черта лысого это мне вчера помогло!»)

— Мне вот что интересно: если я вдруг очень захочу закрутить роман с мужчиной, как ты думаешь, я смогу?

— Зная, что такое мужчины, я бы не удивилась. А с кем вы сейчас хотите закрутить?

— Ни с кем. Я говорила вообще.

Эви шмыгнула носом.

— Не шмыгай носом. Если у тебя насморк, высморкайся.

Джулия медленно ела крутое яйцо. Ее голова была занята одной мыслью. Она посмотрела на Эви. Старое пугало, но — кто знает?..

— А к тебе когда-нибудь приставали на улице, Эви?

— Ко мне? Пусть бы попробовали!

— Сказать по правде, я бы тоже хотела, чтобы кто-нибудь попробовал. Женщины вечно рассказывают, как мужчины преследуют их на улице, а если они останавливаются у витрины, подходят и стараются перехватить их взгляд. Иногда от них очень трудно отделаться.

— Мерзость, вот как я это называю.

— Ну, не знаю, по-моему, скорее лестно. И понимаешь, странно, но меня никто никогда не преследовал. Не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пытался ко мне приставать.

— Прогуляйтесь как-нибудь вечером по Эдвард-роуд. Не отвяжетесь.

— И что мне тогда делать?

— Позвать полисмена,— мрачно ответила Эви.

— Я знаю одну девушку, так она стояла у витрины шляпного магазина на Бонд-стрит, и к ней подошел мужчина и спросил, не хочется ли ей купить шляпку. Очень,

ответила она, и они вошли внутрь. Она выбрала себе шляпку, дала продавцу свое имя и адрес, и мужчина тут же расплатился наличными. Тогда она сказала ему: «Большое спасибо»,— и вышла, пока он дожидался сдачи.

— Это она вам так сказала.— Эви скептически шмыгнула носом, затем с удивлением поглядела на Джулию.— К чему вы все это клоните?

— Да ни к чему. Просто я подумала, почему это мужчины ко мне не пристают. Вроде бы «секс эпила» во мне достаточно.

А вдруг его и правда нет? Джулия решила проверить это на опыте.

В тот же день, после того как она отдохнула, Джулия встала, накрасилась немного сильнее, чем обычно, и, не позвав Эви, надела платье не совсем уж простое, но и не дорогое на вид и широкополую шляпу из красной соломки.

«Я не хочу быть похожей на уличную девку,— сказала она себе, глядя в зеркало.— С другой стороны, слишком respectable вид тоже не подойдет».

Она на цыпочках спустилась по лестнице, чтобы ее никто не услышал, и тихонько прикрыла за собой входную дверь. Джулия немного нервничала, но волнение это было ей приятно; она чувствовала: то, что она затеяла, не лезет ни в какие ворота. Джулия пересекла Конот-сквер и вышла на Эдвард-руд. Было около пяти часов дня. Сплошной лентой тянулись автобусы, такси, грузовики, мимо них, с риском для жизни, прокладывали себе путь велосипедисты. Тротуары были забиты людьми. Джулия медленно двинулась в северном направлении. Сперва она шла, глядя прямо перед собой, не оборачиваясь ни направо, ни налево, но вскоре поняла, что так она ничего не добьется. Надо смотреть на людсь, если хочешь, чтобы они смотрели на тебя. Два или три раза, увидев, что перед витриной стоит несколько человек, Джулия тоже останавливалась, но никто из них не обращал на нее никакого внимания. Она двигалась дальше. Прохожие обгоняли ее, шли навстречу. Казалось, все они куда-то спешат. Ее никто не замечал. Увидев одинокого мужчину, приближающегося к ней, Джулия смело посмотрела ему прямо в глаза, но он прошел мимо с каменным лицом. Может быть, у нее слишком суровое выражение? На губах Джулии запорхала легкая улыбка. Двое или трое мужчин подумали, что она улыбается им, и быстро отвели глаза. Джулия оглянулась на одного из них, он тоже оглянулся, но тут же ускорил шаг. Джулия почувствовала себя уязвленной и решила не глазеть больше по

сторонам. Она шла все дальше и дальше. Ей часто приходилось слышать, что лондонская толпа самая приличная в мире, но в данном случае — это уж чересчур!

«На улицах Парижа, Рима или Берлина такое было бы невозможно», — подумала Джулия.

Джулия решила дойти до Мэрилибоун-роуд и повернуть обратно. Слишком унижительно возвращаться домой, когда на тебя ни разу никто даже не взглянул. Джулия шла так медленно, что прохожие иногда ее задевали. Это вывело ее из себя.

«Надо было пойти на Оксфорд-стрит, — подумала она. — Эта дура Эви! На Эдвард-роуд толку не будет».

Внезапно сердце Джулии торжественно подпрыгнуло. Она поймала взгляд какого-то молодого человека, и ей показалось, что она заметила в нем огонек. Молодой человек прошел мимо, и она с трудом удержалась, чтобы не оглянуться. Джулия вздрогнула, так как через минуту он ее обогнал — на этот раз он уставился прямо на нее. Джулия скромно опустила ресницы. Он отстал на несколько шагов, но она чувствовала, что он следует за ней по пятам. Все в порядке. Джулия остановилась перед витриной, молодой человек — тоже. Теперь она знала, как себя вести. Джулия сделала вид, будто всецело поглощена товарами, выставленными на витрине, но, прежде чем двинуться дальше, сверкнула на него своими слегка улыбающимися глазами. Молодой человек был невысок, в сером костюме и мягкой коричневой шляпе. Клерк или продавец скорее всего. Если бы Джулии предложили выбрать мужчину, который бы к ней пристал, она вряд ли остановила бы свой выбор на этом человеке, но что поделаешь, на безрыбье и рак рыба — пристать к ней собирался именно он. Джулия забыла про усталость. Ну, а что теперь? Конечно, она не собирается заходить слишком далеко, но все же любопытно, какой будет его следующий шаг. Что он ей скажет? Джулия была в приятном возбуждении, у нее прямо камень с души свалился. Она медленно шла вперед, молодой человек — за ней. Джулия остановилась у витрины, на этот раз он остановился прямо позади нее. Ее сердце неистово билось. Похоже, что ее ждет настоящее приключение.

«Куда он меня поведет? В гостиницу? Вряд ли, это ему не по карману. Скорее, в кино. Вот будет забавно!»

Джулия посмотрела ему прямо в лицо, ее губы слегка улыбались. Молодой человек снял шляпу.

— Мисс Лэмберт, если не ошибаюсь?

Она так и подскочила. Сказать по правде, она была захвачена врасплох и так растерялась, что даже не подумала это отрицать.

— Мне показалось, что я сразу узнал вас, вот почему я вернулся, чтобы убедиться наверняка. Я сказал себе: я буду не я, если это не Джулия Лэмберт. А тут мне совсем подвезло — вы остановились у витрины, и я смог вас разглядеть. Я почему только сомневался? Что встретил вас тут, на Эдвард-роуд. Не очень-то подходящее место для чистой публики. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Дело было еще более нечисто, чем он думал. Однако, раз он догадался, кто она, это теперь не имеет значения. И как она не подумала, что рано или поздно ее обязательно узнают. Судя по манере говорить, молодой человек — кокни; у него было бледное одутловатое лицо, но Джулия улыбнулась ему веселой дружеской улыбкой. Пусть не подумает, что она задирает нос.

— Простите, что я заговорил с вами, когда мы незнакомы и вообще, но я не мог упустить эту возможность. Не дадите ли вы мне ваш автограф?

У Джулии перехватило дыхание. И ради этого он следовал за ней целых десять минут! Быть не может. Это просто предлог, чтобы с ней заговорить. Что ж, она ему подыграет.

— С удовольствием. Но не могу же я писать на улице. Люди начнут пялить глаза.

— Верно. Слушайте, я как раз шел пить чай. В кондитерскую Лайонза, на следующем углу. Почему бы вам тоже не зайти выпить чашечку чаю?

Что ж, все идет как по маслу. Когда они выпьют чай, он, вероятно, пригласит ее в кино.

— Хорошо, — сказала Джулия.

Они двинулись по улице и вскоре подошли к кондитерской, сели за столик.

— Две чашки чаю, пожалуйста, мисс, — сказал молодой человек официантке и обратился к Джулии: — Может быть, съедите чего-нибудь? — И когда Джулия отказалась, добавил: — И одну ячменную лепешку, мисс.

Теперь Джулия могла как следует его рассмотреть. Низкий и коренастый, с прилизанными черными волосами, он был, однако, недурен, особенно хороши ей показались глаза; однако зубы у него были плохие, а бледная кожа придавала лицу нездоровый вид. Держался он довольно развязно, что не особенно-то нравилось Джулии, но как она разумно рассудила, вряд ли можно ожидать особой скромности от человека, который пристаёт к женщинам на Эдвард-роуд.

— Давайте прежде всего напишем этот автограф, э? «Не отходя от кассы» — вот мой девиз.

Он вынул из кармана перо, а из пухлого бумажника карточку.

— Карточка нашей фирмы, — сказал он. — Ничего, сойдет.

Джулии казалось глупым, что он все еще продолжает ломать комедию, но она благодушно расписалась на обратной стороне карточки.

— Вы собираете автографы? — спросила она с легкой усмешкой.

— Я? Нет. Чувшь это, я так считаю. Моя невеста собирает. У нее уже есть Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс и бог весть кто еще. Хотите посмотреть на ее фото?

Молодой человек извлек из бумажника моментальный снимок девицы довольно дерзкого вида, показывающей все свои зубы в ослепительной кинематографической улыбке.

— Хорошенькая, — сказала Джулия.

— Еще бы! Идем с ней сегодня в кино. Вот удивится, когда я ей покажу ваш автограф. Как я вас узнал на улице, так перво-наперво сказал себе: умру, а достану для Гвен автограф Джулии Лэмберт. Мы с ней поженимся в августе, когда у меня будет отпуск, поедем на остров Уайт на медовый месяц. Ну и повеселюсь я сегодня. Она ни в жисть не поверит, что мы с вами пили чай, а тут я покажу ей автограф. Ясно?

Джулия вежливо слушала его, но улыбка с ее лица исчезла.

— Боюсь, мне пора идти, — сказала она. — Я и так задержалась.

— У меня и самого немного времени. Раз я иду на свидание, хочу уйти из магазина минута в минуту.

Официантка принесла чек вместе с чаем, и, вставая из-за стола, Джулия вынула шиллинг.

— Это еще к чему? Неужто думаете, я дам вам платить? Я вас пригласил.

— Очень любезно с вашей стороны.

— Но я вам вот что скажу: разрешите мне привести мою невесту как-нибудь к вам в уборную. Просто поздоровайтесь с ней, и все. Она с ума сойдет от радости. Будет рассказывать всем встречным и поперечным до самой смерти.

За последние минуты обращение Джулии делалось все холодней, а сейчас, хотя все еще любезное, казалось чуть ли не высокомерным.

— Я очень сожалею, но мы не пускаем посторонних людей за кулисы.

— Простите. Вы не в обиде, что я спросил, нет? Я хочу сказать, я ведь не для себя.

— Ничуть. Я вполне вас понимаю.

Джулия подозвала такси, медленно ползущее вдоль обочины, и подала руку молодому человеку.

— До свидания, мисс Лэмберт. Всего хорошего, желаю успеха и все такое. Спасибо за автограф.

Джулия сидела в уголке такси вне себя от ярости.

«Вульгарная скотина. Пропади он пропадом вместе со своей... невестой! Какая наглость! Спросить, нельзя ли привести ее за кулисы, и к кому? Ко мне!»

Дома она сразу поднялась к себе в комнату. Сорвала шляпу с головы и в сердцах швырнула ее на кровать. Подошла стремительно к туалетному столику и пристально посмотрела на себя в зеркало.

— Старуха, старуха,—пробормотала она.—С какой стороны ни посмотришь: у меня абсолютно нет «секс эпила». Невероятно, да? Противоречит здравому смыслу? Но как же иначе все это объяснить? Я вышагиваю из конца в конец всю Эдвард-роуд, и одета я, как надо для роли, и хоть бы один мужчина на меня взглянул, кроме этого мерзкого продавца, которому понадобился для его барышни мой автограф. Это нелепо. Бесполье ублюдки! Не представляю, куда катится Англия. Британская империя, ха!

Последние слова были произнесены с таким презрением, которое могло бы испепелить весь кабинет министров. Джулия начала подкреплять слова жестами.

— Смешно предполагать, что я достигла бы своего положения, если бы во мне не было «секс эпила». Почему люди приходят в театр смотреть на актрису? Да потому, что им хотелось бы с ней переспать. Думаете, публика ходила бы три месяца подряд на эту дрянную пьесу, да так, что в зале яблоку упасть негде, если бы у меня не было «секс эпила»? Что такое, в конце концов, этот «секс эпил»?

Джулия приостановилась, задумчиво посмотрела на свое отражение.

«Бесспорно, я могу изобразить «секс эпил». Я могу изобразить все».

Джулия принялась перебирать в памяти актрис, которые пользовались скандальной славой секс-бомб. Особенно хорошо она помнила одну из них, Лидию Мейн, которую всегда ангажировали на ампула обольстительниц-«вамп». Актриса она была неважная, но в определенных ролях

производила огромный эффект. Джулия всегда прекрасно подражала, и вот она принялась копировать Лидию Мейн. Веки ее опустились, сладострастно прикрыли глаза, тело под платьем начало извиваться волнообразным движением. Взгляд стал соблазнительно бесстыдным, как у Лидии, змеившиеся жесты — манящими. Она заговорила, как и та, слегка растягивая слова, отчего каждая ее фраза казалась чуть непристойной.

— Ах, мой дорогой, я так часто слышу подобные вещи. Я не хочу вносить раздор в вашу семью. Почему мужчины не могут оставить меня в покое?

Это была безжалостная карикатура. Джулия не знала пощады. Ей стало так смешно, что она расхохоталась.

«Что ж, одно не вызывает сомнений: может, у меня и нет «секс эпила», но кто увидел бы, как я копирую Лидию Мейн, не нашел бы его потом и у нее».

У Джулии стало куда легче на душе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Начались репетиции и отвлекли растревоженные мысли Джулии в другую сторону. Старая пьеса, которую Майкл поставил, когда Джулия уезжала за границу, давала весьма средние сборы, но он предпочитал, чем закрывать театр, не снимать ее с репертуара, пока не будет готов их новый спектакль «Нынешние времена». Поскольку сам он два раза в неделю выступал днем, Майкл решил, что они не будут репетировать до упаду. У них был впереди целый месяц.

Хотя Джулия уже много лет играла в театре, репетиции по-прежнему приводили ее в радостный трепет, а на первой репетиции она так волновалась, что чуть не заболела. Это было началом нового приключения. Она в это время совсем не ощущала себя ведущей актрисой театра, ей было тревожно и весело, словно она вновь молоденькая девушка, исполняющая свою первую крошечную роль. И вместе с тем она испытывала восхитительное чувство собственного могущества. Ей вновь предоставлялась возможность его проявить.

В одиннадцать часов Джулия поднялась на сцену. Актёры празднично стояли кто где. Джулия расцеловалась с теми актрисами и пожала руки тем актерам, с которыми была знакома, Майкл учтиво представил ей тех, кого она не знала. Джулия сердечно приветствовала Эвис Крайтон. Сказала ей, какая она хорошенькая и как ей, Джулии, нравится ее новая шляпка, поведала о тех костюмах, которые выбрала для нее в Париже.

- Вы видели Тома в последнее время?
- Нет. Он уехал в отпуск.
- Ах, так? Славный мальчик, правда?
- Душка.

Обе женщины улыбнулись, глядя в глаза друг другу. Джулия внимательно следила за Эвис, когда та читала свою роль, вслушивалась в ее интонации. Она хмуρο улыбнулась. Конечно, другого она и не ждала. Эвис была из тех актрис, которые абсолютно уверены в себе с первой репетиции. Она и не догадывалась, что ей предстоит. Том теперь ничего не значил для Джулии, но с Эвис она собиралась свести счеты и сведет. Потаскушка!

Пьеса была современной версией «Второй миссис Тенкерей»¹, но поскольку у нового поколения были и нравы другие, автор сделал из нее комедию. В нее были введены некоторые старые персонажи, во втором акте появлялся, уже дряхлым стариком, Обри Тенкерей. После смерти Пола он женился в третий раз. Миссис Кортельон решила вознаградить его за злосчастный второй брак; сама она превратилась к этому времени в сварливую и высокомерную старую даму. Элин, его дочь, и Хью Ардейл решили забыть прошлое — кто старое помянет, тому глаз вон — и заключили супружеский союз; казалось, трагическая смерть Пола стерла воспоминания об его экстрабрачных отношениях. Хью в этой пьесе был бригадный генерал в отставке, который играл в гольф и сетовал по поводу упадка Британской империи («Черт побери, сэр, была бы на то моя воля, я поставил бы всех этих проклятых социалистов к стенке»), а Элин, теперь уже далеко не молодая, превратилась из жеманной барышни в веселую, современную, злую на язык женщину. Персонажа, которого играл Майкл, звали Роберт Хамфри. Подобно Обри из пьесы Пинеро, он был вдовец и жил с единственной дочерью. В течение многих лет он был консулом в Китае; разбогатеv, вышел в отставку и поселился в поместье, оставленном ему в наследство, неподалеку от того места, где по-прежнему жили Тенкерей. Его дочь Онор (на роль которой как раз и взяли Эвис Крайтон) изучала медицину с целью практиковать в Индии. Растеряв всех старых друзей за много лет пребывания за границей и не заведя новых, Роберт Хамфри знакомится в Лондоне с известной дамой полусвета по имени миссис Мартен. Это была женщина того же пошиба, что Пола, но менее разборчивая; она «работала» летний и зимний сезон в Канне,

¹ Пьеса английского драматурга Пинеро Артура Уинга (1855—1934).

а в промежутках жила в квартирке на Элбемарл-стрит, где принимала офицеров бригады его величества. Она хорошо играла в бридж и еще лучше в гольф. Роль прекрасно подходила Джулии.

Автор почти не отходил от старого текста. Онор объявляет мистеру Хамфри, что отказывается от медицинской карьеры, так как она только что обручилась с молодым гвардейцем, сыном Элин, и до своего замужества собирается жить с отцом. В некотором замешательстве тот открывает ей свое намерение жениться на миссис Мартен. Онор принимает сообщение с полным спокойствием.

«Ты, конечно, знаешь, что она шлюха?» — хладнокровно произносит она.

Отец, еще более смущенный, говорит о несчастной жизни миссис Мартен и о том, как он хочет вознаградить ее за страдания.

«Ах, не болтай чепухи, — отвечает ему дочь, — это великолепная работа, если только можешь ее иметь».

Сын Элин был одним из бесчисленных любовников миссис Мартен, точно так же, как муж Элин был в свое время любовником Полы Генкерей. Когда Роберт Хамфри привозит свою новую жену в загородное поместье и этот факт обнаруживается, они решают, что следует сообщить обо всем Онор. К их ужасу, она и бровью не повела: ей уже было об этом известно.

«Я была страшно рада, когда узнала, — сказала она своей мачехе. — Понимаете, душечка, теперь вы можете сказать мне, хорош ли он в постели».

Это была лучшая мизансцена Эвис Крайтон; она продолжалась целых десять минут, и Майкл с самого начала понял, как она важна и эффектна. Холодная, сухая, миловидная Эвис — то самое, что здесь нужно. Но после нескольких репетиций Майкл стал подозревать, что ничего, кроме этого, она дать не сможет и решил посоветоваться с Джулией.

— Как, по-твоему, Эвис?

— Трудно сказать. Еще слишком рано.

— Я расстроен из-за нее. Ты говорила, она актриса. Пока я этого не вижу.

— Да это готовая роль. Ее просто невозможно испортить.

— Ты знаешь не хуже меня, что нет такой вещи, как готовая роль. Как бы роль ни была хороша, ее надо сыграть, из нее надо извлечь все, что в ней заложено. Может быть, лучше расстаться с Эвис, пока не поздно, и взять вместо нее кого-нибудь другого?

— Это не так просто. Я все же думаю, надо дать ей возможность себя показать.

— Она так неуклюжа, ее жесты так бессмысленны!

Джулия задумалась. У нее были все основания желать, чтобы Эвис осталась в числе исполнителей пьесы. Она уже достаточно ее изучила и была уверена, что, если ее уволить, она скажет Тому, будто Джулия сделала это из ревности. Том ее любит и поверит каждому ее слову. Еще, чего доброго, подумает, что Джулия преднамеренно нанесла ей оскорбление в отместку за его уход. Нет, нет, Эвис должна остаться. Она должна исполнить свою роль и провалить ее. Том должен собственными глазами увидеть, какая она никудышная актриса. Они с Эвис думали, будто пьеса поможет ей «выплыть на поверхность». Дураки! Пьеса утопит ее.

— Ты же умелый режиссер, Майкл. Я уверена, ты сумеешь ее натаскать, если постарайшься.

— В том-то и беда: она совсем не слушает указаний. Я объясняю ей, как надо произнести реплику, и — нате вам! — она опять говорит ее на свой лад. Ты не поверишь, но иногда у меня создается впечатление, что она воображает, будто все знает лучше меня.

— Ты ее нервировать. Когда ты велишь ей что-нибудь сделать, она пугается и просто перестает соображать.

— Господи, да с кем легче работать, чем со мной! Я ни разу не сказал ей ни одного резкого слова.

Джулия нежно улыбнулась ему.

— И ты хочешь уверить меня, будто не догадываешься, что с ней?

— Нет. А что?

Майкл глядел на Джулию недоумевающим взглядом.

— Брось притворяться, милый. Она по уши в тебя влюблена.

— В меня? Да я думал, она помолвлена с Томом. Глупости. Твои вечные фантазии.

— Но это же видно невооруженным глазом. В конце концов, она не первая жертва твоей роковой красоты и, думаю, не последняя.

— Видит бог, я не хочу подкладывать свинью бедняге Тому.

— Ты-то в чем виноват?

— Так как же, по-твоему, мне поступить?

— Будь с ней ласков. Она еще так молода, бедняжка. Ей нужна рука помощи. Если бы ты прошел несколько раз роль только с ней одной, я уверена, вы сотворили бы чудеса.

Почему бы тебе как-нибудь не пригласить ее к ленчу и не поговорить наедине?

Джулия увидела, что глаза Майкла чуть заблестели, на губах появилась тень улыбки: он обдумывал ее слова.

— Конечно, главное — чтобы пьеса прошла как можно лучше.

— Я понимаю, что для тебя это обуза, но ради пьесы... Право, стоит того.

— Ты же знаешь, Джулия, я ни за что на свете не хотел бы тебя расстраивать. Я бы с удовольствием выставил ее и взял кого-нибудь другого.

— Я думаю, это будет большой ошибкой. Я убеждена, что, если ты поработаешь с Эвис как следует, она прекрасно сыграет.

Майкл прошелся раза два взад-вперед по комнате. Кажется, он рассматривает вопрос со всех сторон.

— Что ж, моя работа в том и заключается, чтобы заставить каждого исполнителя играть как можно лучше. И в каждом конкретном случае приходится искать самый правильный подход.

Майкл выдвинул подбородок и втянул живот. Выпрямил спину. Джулия поняла, что Эвис Крайтон останется в труппе. На следующий день на репетиции Майкл отвел Эвис в сторонку и долго с ней говорил. По его манере Джулия в точности знала, что именно, и, поглядывая искоса, вскоре заметила, как Эвис Крайтон улыбнулась и кивнула головой. Майкл пригласил ее на ленч. Джулия, успокоенная, углубилась в собственную роль.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Репетиции шли уже две недели, когда Роджер вернулся из Австрии. Он провел несколько недель на Коринфском озере и собирался пробыть в Лондоне день-два, а затем ехать к друзьям в Шотландию. Майкл должен был пообедать пораньше и уйти в театр, и встречала Роджера одна Джулия. Когда она одевалась, Эви, шмыгая, по обыкновению, носом, заметила, что уж она так старается, так старается выглядеть покрасивее, словно идет на свидание. Джулии хотелось, чтобы Роджер ею гордился, и действительно, она выглядела молоденькой и хорошенькой в своем летнем платье, когда ходила взад-вперед по платформе. Можно было подумать — и напрасно, — что она не замечает взглядов, обращенных на нее. Роджер, проведя месяц на солнце,

сильно загорел, но от прыщей так и не избавился и казался еще более худым, чем когда уезжал из Лондона на Новый год. Джулия обняла его с преувеличенной нежностью. Он слегка улыбнулся.

Обедать они должны были вдвоем. Джулия спросила, куда он хочет потом пойти: в театр или в кино. Роджер ответил, что предпочел бы остаться дома.

— Чудесно,— сказала она,— посидим с тобой, поболтаем.

У нее и правда был один предмет на уме, который Майкл просил ее обсудить с Роджером, если предоставится такая возможность. Совсем скоро он поступит в Кембридж, пора уже было решать, чем он хочет заняться. Майкл боялся, как бы он не потратил там попусту время, а потом пошел служить в маклерскую жонтуру или еще, чего доброго, на сцену. Считая, что Джулия сумеет сделать это тактичнее и что она имеет больше влияния на сына, Майкл настоятельно просил ее нарисовать Роджеру, какие блестящие возможности откроются перед ним, если он пойдет на дипломатическую службу или займется юриспруденцией. Джулия была уверена, что на протяжении двух-трех часов разговора сумеет навести Роджера на эту важную тему. За обедом она пыталась расспросить сына о Вене, но он отмалчивался.

— Ну что я делал? То, что делают все остальные. Осматривал достопримечательности и усердно изучал немецкий. Шатался по пивным. Часто бывал в опере.

Джулия спросила себя, не было ли у него там интрижек.

— Во всяком случае, невесты ты себе там не завел,— сказала она, надеясь вызвать его на откровенность.

Роджер кинул на нее задумчивый, чуть иронический взгляд. Можно было подумать, что он разгадал, что у нее на уме. Странно: родной сын, а ей с ним не по себе.

— Нет,— ответил он,— я был слишком занят, чтобы тратить время на такие вещи.

— Ты, верно, перебивал во всех театрах.

— Ходил раза два-три.

— Ничего не видел, что могло бы нам пригодиться?

— Знаешь, я совершенно забыл об этом.

Слова его могли показаться весьма нелюбезными, если бы не сопровождалась улыбкой, а улыбка у него была премилая. Джулия снова с удивлением подумала, как это вышло, что сын унаследовал так мало от красоты отца и очарования матери. Рыжие волосы были хороши, но светлые ресницы лишали лицо выразительности. Один бог

знает, как он умудрился при таких родителях иметь неуклюжую, даже грузноватую фигуру. Ему исполнилось восемнадцать, пора бы уже ему стать стройнее. Он казался немного апатичным, в нем не было ни капли ее бьющей через край энергии и искрящейся жизнерадостности. Джулия представляла, как живо и ярко она рассказывала бы о пребывании в Вене, проведи она там полгода. Даже из поездки на Сен-Мало к матери и тетушке Кэрри она состряпала такую историю, что люди плакали от хохота. Они говорили, что ее рассказ ничуть не хуже любой пьесы, а сама Джулия скромно полагала, что он куда лучше большинства из них. Она расписала свое пребывание в Сен-Мало Роджеру. Он слушал ее со своей медленно спокойной улыбкой, но у Джулии возникло неловкое чувство, что ему все это кажется не таким забавным, как ей. Джулия вздохнула про себя: «Бедный ягненок, у него, видно, совсем нет чувства юмора». Роджер сделал какое-то замечание, позволившее Джулии заговорить о «Нынешних временах». Она изложила ему сюжет пьесы, объяснила, как она мыслит себе свою роль, обрисовала занятых в ней актеров и декорации. В конце обеда ей вдруг пришло в голову, что она говорит только о своем. Как это вышло? У нее закралось подозрение, что Роджер сознательно направил разговор в эту сторону, чтобы избежать расспросов о себе и собственных делах. Нет, вряд ли. Он для этого недостаточно умен. Позднее, когда они сидели в гостиной, курили и слушали радио, Джулия умудрилась наконец задать ему самым естественным тоном приготовленный заранее вопрос:

— Ты уже решил, кем ты хочешь быть?

— Нет еще. А что — это спешно?

— Ты знаешь, я сама в этом ничего не смыслю, но твой отец говорит, что, если ты намерен быть адвокатом, тебе надо изучать в Кембридже юриспруденцию. С другой стороны, если тебе больше по вкусу дипломатическая служба, надо брать за современные языки.

Роджер так долго глядел на нее с привычной спокойной задумчивостью, что Джулии с трудом удалось удержать на лице шутовское, беспечное и вместе с тем нежное выражение.

— Если бы я верил в бога, я стал бы священником, — сказал наконец Роджер.

— Священником?

Джулия подумала, что она ослышалась. Ее охватило острое чувство неловкости. Но его ответ проник в сознание, и, словно при вспышке молнии, она увидела сына кардиналом, в окружении подобострастных прелатов, обитающих

в роскошном палатце в Риме, где по стенам висят великолепные картины, затем — в образе святого в митре и вышитой золотом ризе, милостиво раздающим хлеб беднякам. Она увидела себя в парчовой платье и жемчужном ожерелье. Мать Борджиа.

— Это годилось для шестнадцатого века, — сказала она. — Ты немножко опоздал.

— Да. Ты права.

— Не представляю, как это пришло тебе в голову. — Роджер не ответил. Джулия была вынуждена продолжать сама. — Ты счастлив?

— Вполне, — улыбнулся он.

— Чего же ты хочешь?

Он опять поглядел на мать приводящим ее в замешательство взглядом. Трудно было сказать, говорит ли он на самом деле всерьез, потому что в глазах у него поблескивали огоньки.

— Правды.

— Что, ради всего святого, ты имеешь в виду?

— Понимаешь, я прожил всю жизнь в атмосфере притворства. Я хочу добраться до истинной сути вещей. Вам с отцом не вредит тот воздух, которым вы дышите, вы и не знаете другого и думаете, что это воздух райских куш. Я в нем задыхаюсь.

Джулия внимательно слушала, стараясь понять, о чем говорит сын.

— Мы — актеры, преуспевающие актеры, вот почему мы смогли окружить тебя роскошью с первого дня твоей жизни. Тебе хватит одной руки, чтобы сосчитать по пальцам, сколько актеров отправляли своих детей в Итон.

— Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали.

— Тогда за что же ты нас упрекаешь?

— Я не упрекаю вас. Вы дали мне все что могли. К несчастью, вы отняли у меня веру.

— Мы никогда не вмешивались в твою веру. Я знаю, мы не религиозны. Мы актеры, и после восьми спектаклей в неделю хочешь хотя бы в воскресенье быть свободным. Я, естественно, ожидала, что всем этим займутся в школе.

Роджер помолчал. Можно было подумать, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать.

— Однажды — мне было тогда четырнадцать, я был еще совсем мальчишкой — я стоял за кулисами и смотрел, как ты играла. Это была, наверное, очень хорошая сцена, твои слова звучали так искренне, так трогательно, что я не удержался и заплакал. Все во мне горело, не знаю, как тебе

это получше объяснить. Я чувствовал необыкновенный душевный подъем. Мне было так жаль тебя, я был готов на любой подвиг. Мне казалось, я никогда больше не смогу совершить подлость или учинить что-нибудь тайком. И надо же было тебе подойти к заднику сцены, как раз к тому месту, где я стоял. Ты повернулась спиной к залу — слезы все еще струились у тебя по лицу — и самым будничным голосом сказала режиссеру: «Что этот чертов осветитель делает с софитами? Я велела ему не включать синий». А затем, не переводя дыхания, снова повернулась к зрителям с громким криком, исторгнутым душевной болью, и продолжала сцену.

— Но, милый, это и есть игра. Если бы актриса испытывала все те эмоции, которые она изображает, она бы просто разорвала в клочья свое сердце. Я хорошо помню эту сцену. Она всегда вызывала оглушительные аплодисменты. В жизни не слышала, чтобы так хлопали.

— Да, я был, наверное, глуп, что попался на твою удочку. Я верил: ты думаешь то, что говоришь. Когда я понял, что это одно притворство, во мне что-то надломилось. С тех пор я перестал тебе верить. Во всем. Один раз меня оставили в дураках; я твердо решил, что больше одурачить себя не позволю.

Джулия улыбнулась ему прелестной обезоруживающей улыбкой.

— Милый, тебе не кажется, что ты болтаешь чепуху?

— А тебе, конечно, это кажется. Для тебя нет разницы между правдой и выдумкой. Ты всегда играешь. Эта привычка — твоя вторая натура. Ты играешь, когда принимаешь гостей. Ты играешь перед слугами, перед отцом, передо мной. Передо мной ты играешь роль нежной, снисходительной, знаменитой матери. Ты не существуешь. Ты — это только бесчисленные роли, которые ты исполняла. Я часто спрашиваю себя: была ли ты когда-нибудь сама собой или с самого начала служила лишь средством воплощения в жизнь всех тех персонажей, которые ты изображала. Когда ты заходишь в пустую комнату, мне иногда хочется внезапно распахнуть дверь туда, но я ни разу не решился на это — боюсь, что никого там не найду.

Джулия быстро взглянула на сына. Ее била дрожь, от слов Роджера ей стало жутко. Она слушала внимательно, даже с некоторым волнением: он был так серьезен. Она поняла, что он пытается выразить то, что гнетет его много лет. Никогда в жизни еще Роджер не говорил с ней так долго.

— Значит, по-твоему, я просто подделка? Или шарлатан?

— Не совсем. Потому что это и есть ты. Подделка для тебя правда. Как маргарин — масло для людей, которые не пробовали настоящего масла.

У Джулии возникло ощущение, что она в чем-то виновата. Королева в «Гамлете»: «Готов твое я сердце растерзать, когда бы можно в грудь твою проникнуть». Мысли ее отвлеклись. («Да, наверное, я уже слишком стара, чтобы сыграть Гамлета. Сиддонс и Сара Бернар его играли. Таких ног, как у меня, не было ни у одного актера, которых я видела в этой роли. Надо спросить Чарлза, как он думает. Да, но там тоже этот проклятый белый стих. Глупо не написать «Гамлета» прозой. Конечно, я могла бы сыграть его по-французски в *Comédie Française*. Вот был бы номер!»)

Она увидела себя в черном камзоле и длинных шелковых чулках. «Увы, бедный Йорик». Но Джулия тут же очнулась.

— Ну, про отца ты вряд ли можешь сказать, что он не существует. Вот уже двадцать лет он играет самого себя. («Майкл подошел бы для роли короля, не во Франции, конечно, а если бы мы рискнули поставить «Гамлета» в Лондоне».)

— Бедный отец. Я полагаю, дело он свое знает, но он не больно-то умен. И слишком занят тем, чтобы оставаться самым красивым мужчиной в Англии.

— Не очень это хорошо с твоей стороны — так говорить о своем отце.

— Я сказал тебе что-нибудь, чего ты не знаешь? — невозмутимо спросил Роджер.

Джулии хотелось улыбнуться, но она продолжала хранить вид оскорбленного достоинства.

— Наши слабости, а не наши достоинства делают нас дорогими нашим близким, — сказала она.

— Из какой это пьесы?

Джулия с трудом удержалась от раздраженного жеста. Слова сами собой слетели с ее губ, но, произнося их, она вспомнила, что они действительно из какой-то пьесы. Поросянок! Они были так уместны здесь.

— Ты жесток, — грустно сказала Джулия. Она все больше ощущала себя королевой Гертрудой. — Ты совсем меня не любишь.

— Я бы любил, если бы мог тебя найти. Но где ты? Если содрать с тебя твой эксгибиционизм, забрать твое мастерство, снять, как снимают шелуху с луковицы, слой за слоем притворство, неискренность, избитые цитаты из старых ро-

лей и обрывки поддельных чувств, доберешься ли наконец до твоей души? — Роджер посмотрел на нее серьезно и печально, затем слегка улыбнулся. — Но ты мне очень нравишься.

— Ты веришь, что я тебя люблю?

— Да. По-своему.

На лице Джулии внезапно отразилось волнение.

— Если бы ты только знал, как я страдала, когда ты болел. Не представляю, что бы со мной было, если бы ты умер.

— Ты продемонстрировала бы великолепное исполнение роли осиротевшей матери у гроба своего единственного сына.

— Ну, для великолепного исполнения мне нужно хоть несколько репетиций, — отпарировала она. — Ты не понимаешь одного: актерская игра не жизнь, это искусство, искусство же — то, что ты сам творишь. Настоящее горе уродливо; задача актера представить его не только правдиво, но и красиво. Если бы я действительно умирала, как умираю в полдюжине пьес, думаешь, меня заботило бы, достаточно ли изящны мои жесты и слышны ли мои бессвязные слова в последнем ряду галерки? Коль это подделка, то не больше, чем соната Бетховена, и я такой же шарлатан, как пианист, который играет ее. Жестоко говорить, что я тебя не люблю. Я привязана к тебе. Тебя одного я только и любила в жизни.

— Нет, ты была привязана ко мне, когда я был малышом и ты могла со мной фотографироваться. Получался прелестный снимок, который служил превосходной рекламой. Но с тех пор ты не очень много обо мне беспокоилась. Я, скорее, был для тебя обузой. Ты всегда была рада видеть меня, но тебя вполне устраивало, что я могу сам себя занять и тебе не надо тратить на меня время. Я тебя не виню: у тебя никогда не было времени ни на кого, кроме самой себя.

Джулия начала терять терпение. Роджер был слишком близок к истине, чтобы это доставляло ей удовольствие.

— Ты забываешь, что дети довольно надоедливы.

— И шумны, — улыбнулся он. — Но тогда зачем же притворяться, что ты не можешь разлучаться со мной? Это тоже игра.

— Мне очень тяжело все это слышать. У меня такое чувство, будто я не выполнила своего долга перед тобой.

— Это неверно. Ты была очень хорошей матерью. Ты сделала то, за что я всегда буду тебе благодарен: ты оставила меня в покое.

— Не понимаю все же, чего ты хочешь.

— Я тебе сказал: правды.

— Но где ты ее найдешь?

— Не знаю. Возможно, ее вообще нет. Я еще молод и невежествен. Возможно, в Кембридже, читая книги, встречаясь с людьми, я выясню, где ее надо искать. Если окажется, что она только в религии, я пропал.

Джулия обеспокоилась. То, что говорил Роджер, не проникало по-настоящему в ее сознание, его слова нанизывались в строки, и важен был не смысл их, а «доходили» они или нет, но Джулия ощущала его глубокое волнение. Конечно, ему всего восемнадцать, было бы глупо принимать его слишком всерьез, она невольно думала, что он набрался этого у кого-нибудь из друзей и во всем этом много позы. А у кого есть собственные представления и кто не позирует, хоть самую чуточку? Но, вполне возможно, сейчас он ощущает все, о чем говорит, и с ее стороны будет нехорошо отнестись к его словам слишком легко.

— Теперь мне ясно, что ты имеешь в виду,— сказала она.— Мое самое большое желание — чтобы ты был счастлив. С отцом я управлюсь — поступай как хочешь. Ты должен сам искать спасения своей души, это я понимаю. Но, может быть, твои мысли просто вызваны плохим самочувствием и склонностью к меланхолии? Ты был совсем один в Вене и, наверное, слишком много читал. Конечно, мы с отцом принадлежим к другому поколению и вряд ли во многом сумеем тебе помочь. Почему бы тебе не обсудить все эти вещи с кем-нибудь из ровесников? С Томом, например?

— С Томом? С этим несчастным снобом? Его единственная мечта в жизни — стать джентльменом, и он не видит, что чем больше он старается, тем меньше у него на это шансов.

— А я думала, он тебе нравится. Прошлым летом в Тэп-лоу ты бегал за ним, как собачонка.

— Я ничего не имею против него. И он был мне полезен. Он рассказал мне кучу вещей, которые я хотел знать. Но я считаю его глупым и ничтожным.

Джулия вспомнила, какую безумную ревность вызывала в ней их дружба. Даже обидно, сколько муки она приняла зря.

— Ты порвала с ним, да? — неожиданно спросил Роджер.

Джулия чуть не подскочила.

— Более или менее.

— И правильно сделала. Он тебе не пара.

Роджер глядел на Джулию спокойными задумчивыми глазами, и ей чуть не стало дурно от страха: а вдруг он знает, что Том был ее любовником. Невозможно, говорила она себе, ей внушает это нечистая совесть. В Тэплоу между ними ничего не было. Невероятно, чтобы до ушей сына дошли какие-нибудь мерзкие слухи; и все же выражение его лица неуловимо говорило о том, что он знает. Джулии стало стыдно.

— Я пригласила Тома в Тэплоу только потому, что думала — тебе будет приятно иметь товарища твоего возраста.

— Мне и было приятно.

В глазах Роджера вспыхнули насмешливые огоньки. Джулия была в отчаянии. Ей бы хотелось спросить его, что его забавляет, но она не осмеливалась. Джулия была оскорблена в лучших чувствах. Она бы заплакала, но Роджер только рассмеется. И что она может ему сказать? Он не верит ни единому ее слову. Игра! С ней никогда этого не бывало, но на этот раз Джулия не смогла найти выхода из положения. Она столкнулась с чем-то, чего она не знала, чем-то таинственным и пугающим. Может, это и есть правда? И тут она услышала, что к дому подъехала машина.

— Твой отец! — воскликнула Джулия.

Какое облегчение! Вся эта сцена была невыносима, благодарение богу, приезд Майкла положил ей конец. Через минуту в комнату стремительно вошел Майкл — подбородок выдвинут, живот втянут — невероятно красивый для своих пятидесяти с лишним лет, и с радушной улыбкой протянул руку — как мужчина мужчине — своему единственному сыну, вернувшемуся домой после шестимесячной отлучки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Через три дня Роджер уехал в Шотландию. Джулия приложила всю свою изобретательность, чтобы больше не оставаться надолго с ним наедине. Когда они случайно оказывались вместе на несколько минут, они говорили о посторонних вещах. В глубине души Джулия была рада, что он уезжает. Она не могла выкинуть из ума тот странный разговор, который произошел в день его возвращения. Особенно встревожили Джулию его слова о том, что, если она войдет в пустую комнату и кто-нибудь неожиданно откроет

туда дверь, там никого не отащется. Ей было от этого не по себе.

«Я никогда не считала себя сногшибательной красавицей, но в одном мне никто не отказывал — в моем собственном «я». Если я могу сыграть сто различных ролей на сто различных ладов, нелепо говорить, что у меня нет своего лица, индивидуальности. Я могу это сделать потому, что я — чертовски хорошая актриса».

Джулия попыталась вспомнить, что происходит, когда она входит одна в пустую комнату.

«Но я никогда не бываю одна, даже в пустой комнате. Рядом всегда Майкл, или Эви, или Чарлз, или зрители, не во плоти, конечно, а духовно. Надо поговорить о Роджере с Чарлзом...»

К сожалению, Чарлза Тэмерли не было в городе. Однако он скоро должен был вернуться — к генеральной репетиции и премьере; за двадцать лет он ни разу не пропустил этих событий, а после генеральной репетиции они всегда вместе ужинали. Майкл задержится в театре, занятый освещением и всем прочим, и они с Чарлзом будут одни. Они смогут как следует поговорить.

Джулия готовила свою роль. Она не то чтобы сознательно лепила персонаж, который должна была играть. У нее был дар влезть, так сказать, в шкуру своей героини, она начинала думать ее мыслями и чувствовать ее чувствами. Интуиция подсказывала Джулии сотни мелких штрихов, которые потом поражали зрителей своей правдивостью, но когда Джулию спрашивали, откуда она их взяла, она не могла ответить. Теперь ей хотелось показать, что миссис Мартен, которая любила гольф и была своей в мужской компании, при всем ее кураже и кажущейся беззаботности, по сути, — респектабельная женщина из средних слоев общества, страстно мечтающая о замужестве, которое позволит ей твердо стоять на ногах.

Майкл никогда не разрешал, чтобы на генеральную репетицию приходила толпа народу, и на этот раз, желая поразить публику во время премьеры, пустил в зал, кроме Чарлза, только тех людей — фотографа и костюмеров, — присутствие которых было абсолютно необходимо. Джулия играла вполсилы. Она не собиралась выкладываться и давать все, что она может, до премьеры. Сейчас достаточно, если ее исполнение будет просто профессионально. Под опытным руководством Майкла все шло без сучка без задоринки, и в десять вечера Джулия и Чарлз уже сидели в зале «Савоя». Первый вопрос, который она ему задала, касался Эвис Крайтон.

— Совсем недурна и на редкость хорошенькая. Во втором акте она прелестно выглядела в этом платье.

— Я не хочу надевать на премьеру то платье, в котором была сегодня. Чарли Деверил сшил мне другое.

Чарлз не видел злорадного огонька, который сверкнул при этом в ее глазах, а если бы и видел, не понял бы, что он значит. Майкл, последовав совету Джулии, не пожалел усилий, чтобы натаскать Эвис. Он репетировал с ней одной у себя в кабинете и вложил в нее каждую интонацию, каждый жест. У Джулии были все основания полагать, что он к тому же несколько раз приглашал ее к ленчу и возил ужинать. Все это дало свои результаты — Эвис играла на редкость хорошо. Майкл потирал руки.

— Я ею очень доволен. Уверен, что она будет иметь успех. Я уже подумываю, не заключить ли с ней постоянный контракт.

— Я бы пока не стала, — сказала Джулия. — Во всяком случае, подожди до премьеры. Никогда нельзя быть уверенным в том, как пойдет спектакль, пока не прокатишь его на публике.

— Она милая девушка и настоящая леди.

— «Милая девушка», вероятно, потому, что она от тебя без ума, а «настоящая леди» — так как отвергает твои ухаживания, пока ты не подпишешь с ней контракт?

— Ну, дорогая, не болтай глупостей. Да я ей в отцы гожусь!

Но при этом Майкл самодовольно улыбнулся. Джулия прекрасно знала, что все его ухаживания сводились к пожиманию ручек да одному-двум поцелуям в такси, но она знала также, что ему льстят ее подозрения в супружеской неверности.

Удовлетворив аппетит с соответствующей оглядкой на интересы своей фигуры, Джулия приступила к предмету, который был у нее на уме.

— Чарлз, милый, я хочу поговорить с вами о Роджере.

— О да, он на днях вернулся. Как он поживает?

— Ах, милый, случилась ужасная вещь. Он стал страшным резонером, не знаю, как с ним и быть.

Джулия изобразила — в своей интерпретации — разговор с сыном. Опустила одну-две подробности, которые ей казалось неуместным упоминать, но в целом рассказ ее был точен.

— Самое трагическое в том, что у него абсолютно нет чувства юмора, — закончила она.

— Ну, в конце концов, ему всего восемнадцать.

— Вы представить себе не можете, я просто онемела от изумления, когда он все это мне выложил. Я чувствовала себя в точности как Валаам, когда его ослица завязала светскую беседу.

Джулия весело взглянула на него, но Чарлз даже не улыбнулся. Ее слова не показались ему такими уж смешными.

— Не представляю, где он всего этого набрался. Нелепо думать, будто он своим умом дошел до этих глупостей.

— А вам не кажется, что мальчишки этого возраста думают гораздо больше, чем представляем себе мы, старшее поколение? Своего рода духовное возмужание. Результаты, к которым оно приводит, часто бывают удивительными.

— Таить такие мысли все эти годы и даже словечком себя не выдать! В этом есть что-то вероломное. Он ведь обвиняет меня.— Джулия засмеялась.— Сказать по правде, когда Роджер говорил со мной, я чувствовала себя матерью Гамлета.— Затем, почти без паузы:— Интересно, я уже слишком стара, чтобы играть в «Гамлете»?

— Роль Гертруды не слишком выигрышная.

Джулия откровенно расхохоталась.

— Ну и дурачок вы, Чарлз. Я вовсе не собираюсь играть королеву. Я бы хотела сыграть Гамлета.

— А вы считаете, что это подходит женщине?

— Миссис Сиддонс играла его, и Сара Бернар. Это бы скрепило печатью мою карьеру. Вы понимаете, что я хочу сказать? Конечно, там есть своя трудность — белый стих.

— Я слышал, как некоторые актеры читают его,— не отличишь от прозы.

— Да, но это все же не одно и то же, не так ли?

— Вы были милы с Роджером?

Джулию удивило, что Чарлз вернулся к старой теме так внезапно, но она сказала с улыбкой:

— Обворожительна.

— Трудно относиться спокойно ко всем глупостям молодежи; они сообщают, что дважды два — четыре, будто это для нас новость, и бывают разочарованы, если мы не разделяем их удивления по поводу того, что курица несет яйца. В их тирадах полно ерунды, и все же там не только ерунда. Мы должны им сочувствовать, должны стараться их понять. Мы должны помнить, что многое нужно забыть и многому научиться, когда впервые лицом к лицу сталкиваешься с жизнью. Не так это легко — отказаться от своих идеа-

лов, и жестокие факты нашего повседневного бытия — горькие пилюли. Душевные конфликты юности бывают очень жестоки, и мы так мало можем сделать, чтобы как-то помочь.

— Неужели вы действительно думаете, будто во всей этой чепухе, которую нес Роджер, хоть что-то есть? Я полагаю, это коммунистические бредни, он наслушался их в Вене. Лучше бы мы его туда не отпускали.

— Возможно, вы и правы. Возможно, года через два он перестанет витать в облаках и стремиться к небесной славе, примирится с цепями. А возможно, найдет то, чего ищет, если не в религии, так в искусстве.

— Мне бы страшно не хотелось, чтобы Роджер пошел на сцену, если вы это имеете в виду.

— Нет, вряд ли это ему понравится.

— И само собой, он не может быть драматургом, у него совсем нет чувства юмора.

— Да, пожалуй, дипломатическая служба подошла бы Роджеру больше всего. Там это стало бы преимуществом.

— Так что вы мне советуете?

— Ничего. Не трогайте его. Это, вероятно, самое лучшее, что вы для него можете сделать.

— Но я не могу не волноваться.

— Для этого нет никаких оснований. Вы считали, что родили гадкого утенка: кто знает — настанет день, и он превратится в белокрылого лебедя.

Чарлз разочаровал Джулию, она хотела от него совсем другого. Она надеялась встретить у него сочувствие.

«Он стареет, бедняжка, — думала она. — Стал хуже разбираться в положении вещей и людях; он, наверное, уже много лет импотент. И как это я раньше не догадалась?»

Джулия спросила, который час.

— Пожалуй, мне пора идти. Надо как следует выспаться этой ночью.

Спала Джулия хорошо и проснулась с ощущением душевного подъема. Вечером премьеры. Она с радостным волнением вспомнила, что, когда она после репетиции уходила вчера из театра, у касс начали собираться люди, и сейчас, в десять часов утра, там, вероятно, уже стоят длинные очереди.

«Им повезло сегодня с погодой».

В прежние, такие далекие теперь, времена Джулия невыносимо нервничала перед премьерой. Уже с утра ее

начинало подташнивать, и по мере того как день склонялся к вечеру, она приходила в такое состояние, что начинала подумывать, не оставить ли ей театр. Но сейчас, пройдя через это тяжкое испытание столько раз, Джулия в какой-то степени закалилась. В первую половину дня она чувствовала себя счастливой и чуть-чуть взволнованной, лишь под вечер ей делалось немного не по себе. Она становилась молчаливой и просила оставить ее одну. Она становилась также раздражительной, и Майкл знал по горькому опыту, что в это время лучше не попадаться ей на глаза. Руки и ноги у нее холодели, а когда Джулия приезжала в театр, они превращались в ледышки. И все же тревожное ожидание, томившее ее, было ей даже приятно.

Утро у нее было свободно — ехать в театр на прогон всего спектакля без костюмов надо было лишь в полдень, поэтому встала она поздно. Майкл не появился к ленчу, так как должен был еще повозиться с декорациями, и Джулия ела одна. Затем легла и проспала, не просыпаясь, целый час. Она намеревалась отдохнуть до самого спектакля. Мисс Филиппс придет в шесть, сделает ей легкий массаж; к семи Джулия хотела снова быть в театре. Но, проснувшись, она почувствовала себя такой свежей и отдохнувшей, что ей показалось скучным лежать в постели: она решила пойти погулять. Был прекрасный солнечный день. Так как городской пейзаж она предпочитала загородному и дома ей нравились больше, чем деревья, Джулия не пошла в парк, а стала медленно прогуливаться по соседним улицам, пустынным в это время года, глядя от нечего делать на особняки и думая, насколько их собственный нравится ей больше. У нее было спокойно и легко на душе. Наконец Джулия решила, что, пожалуй, пора возвращаться. Только она подошла к углу Стэнхоуп-плейс, как услышала голос, звавший ее по имени, не узнать который она не могла.

— Джулия!

Она обернулась, и Том, расплывшись в улыбке, догнал ее. Джулия еще не видела его после возвращения из Франции. Он был весьма элегантен, в нарядном сером костюме и коричневой шляпе. Лицо покрывал густой загар.

— Я думала, тебя нет в Лондоне.

— Вернулся в понедельник. Не звонил, так как знал, что ты занята на последних репетициях. Я сегодня буду в театре. Майкл дал мне кресло в партере.

— Прекрасно.

Не вызывало сомнений, что он очень рад ее видеть. Он сиял, глаза его блеснули. Джулия с удовлетворением отметила, что встреча с Томом не всколыхнула никаких чувств в ее душе. И в то время, как они продолжали разговор, задавалась про себя вопросом, что в нем раньше так глубоко волновало ее.

— С чего, ради всего святого, ты вздумала бродить одна по городу?

— Вышла подышать. Как раз собиралась возвращаться и выпить чаю.

— Пойдем выпьем чаю у меня.

Его квартира была за углом. Том заметил Джулию, когда подходил к своим дверям.

— Ты так рано вернулся с работы?

— Сейчас в конторе не особенно много дел. Знаешь, один из компаньонов умер около двух месяцев назад, и у меня увеличился пай. А это значит—мне все же удастся не расставаться с квартирой. Майкл вел себя на редкость порядочно, сказал, что я могу не платить до лучших времен. Мне ужасно не хотелось уезжать отсюда. Заходи. Я с удовольствием приготовлю тебе чашку чаю.

Том болтал так оживленно, что Джулии стало смешно. Слушая его, никому бы и в голову не пришло, что между ними когда-нибудь что-нибудь было. В нем не заметно было ни малейшего смущения.

— Хорошо. Но у меня есть всего одна минута.

— О'кей.

Они свернули к его дому, Джулия первой пошла по узкой лестнице наверх.

— Проходи дальше, в гостиную, а я поставлю воду на огонь.

Джулия вошла в комнату и села. Огляделась. В этих стенах разыгралась трагедия ее жизни. Здесь ничего не изменилось. Ее фотография стояла на старом месте, но на каминной полке появилась еще одна—большой снимок Эвис Крайтон. На ней было написано: «Тому от Эвис». Чтобы увидеть все это, Джулии хватило одного взгляда. Комната казалась ей декорацией, в которой она когда-то давно играла: была знакома, но ничего больше не значила для нее. Любовь, которая снедала ее, ревность, которую она подавляла, иступленный восторг поражения—все это было не более реально, чем любая из ее бесчисленных прошлых ролей. Джулия наслаждалась своим равнодушием. Вошел Том—в руках его была подаренная ею

скатерть — и аккуратно расставил чайный сервиз, который тоже подарила она. Джулия и сама не понимала, почему при мысли, что он так вот бездумно пользуется всеми ее подарками, ее начал разбирать смех. Том принес чай, и они выпили его, сидя бок о бок на диване. Он продолжал рассказывать ей, насколько улучшилось его положение. Как всегда, стараясь быть любезным, он признался, что большой пай в фирме ему дали за то, что он привлек туда много новых клиентов, а это ему удалось только благодаря ей, Джулии. Рассказал, как провел отпуск. Джулии было ясно, что Том даже не подозревает, какие жгучие страдания он некогда ей причинял. От этого ей тоже захотелось рассмеяться.

— Я слышал, тебя ждет сегодня колоссальный успех.

— Неплохо бы, правда?

— Эвис говорит, вы оба, ты и Майкл, замечательно относитесь к ней. Смотри, как бы она тебя не обошла.

Том хотел ее подразнить, но Джулия спросила себя, уж не обмолвилась ли ему Эвис, что надеется на это.

— Вы обручены?

— Нет. Эвис нужна свобода. Она говорит, что помолвка помешает ее карьере.

— Чему? — Слово само собой сорвалось у Джулии с губ, но она тут же поправилась: — Ах да, ясно.

— Естественно, я не хочу стоять у нее на пути. Вдруг после сегодняшней премьеры она получит приглашение в Америку? Конечно, я понимаю, ничто не должно мешать ей его принять.

Ее карьера! Джулия улыбнулась про себя.

— Знаешь, я и вправду думаю: ты — молодец, что так ведешь себя по отношению к Эвис.

— Почему?

— Ну, тебе самой известно, что такое женщины.

Говоря это, Том обнял ее за талию и поцеловал. Джулия рассмеялась ему в лицо.

— Ну и забавный ты мальчик!

— Может, позанимаемся немного любовью?

— Не болтай глупостей.

— Что в этом глупого? Тебе не кажется, что мы и так слишком долго были в разводе?

— Я за полный развод. И как же Эвис?

— Ну, это другое. Пойдем, а?

— У тебя совсем выскочило из памяти, что у меня сегодня премьеры?

— У нас еще куча времени.

Том привлек ее к себе и снова нежно поцеловал. Джулия глядела на него насмешливыми глазами. Внезапно решилась:

— Хорошо.

Они поднялись и пошли в спальню. Джулия сняла шляпу и сбросила платье. Том обнял ее, как обнимал раньше. Он целовал ее закрытые глаза и маленькие груди, которыми она так гордилась. Джулия отдала ему свое тело — пусть делает с ним что хочет, — но душу ее это не затрагивало. Она возвращала ему поцелуи из дружелюбия, но поймала себя на том, что думает о роли, которую ей сегодня предстоит играть. В ней словно сочетались две женщины: любовница в объятиях своего возлюбленного и актриса, которая уже видела мысленным взором огромный полутемный зал и слышала взрывы аплодисментов при своем появлении. Когда немного позднее они лежали рядом друг с другом, ее голова на его руке, Джулия настолько забыла о Томе, что чуть не вздрогнула, когда он прервал затянувшееся молчание.

— Ты меня совсем не любишь больше?

Она слегка прижала его к себе.

— Конечно, люблю, милый. Души не чаю.

— Ты сегодня такая странная.

Джулия поняла, что он разочарован. Бедняжка, она вовсе не хочет его обижать. Право же, он очень милый.

— Я сама не своя, когда у меня впереди премьера. Не обращай внимания.

Окончательно убедившись, что ей ни жарко ни холодно от того, существует Том или нет, Джулия невольно почувствовала к нему жалость. Она ласково погладила его по щеке.

— Леденчик мой. («Интересно, не забыл ли Майкл послать тем, кто стоит в очереди, горячий чай? Стоит это недорого, а зрители так это ценят».) Знаешь, мне и правда пора. Мисс Филиппс придет ровно в шесть. Эви с ума сойдет. Она и так, верно, голову себе ломает, что со мной стряслось.

Джулия весело болтала все время, пока одевалась. Она видела, не глядя на Тома, что он не в своей тарелке. Джулия надела шляпу, затем сжала его лицо обеими руками и дружески поцеловала.

— До свидания, мой ягненок. Надеюсь, ты хорошо проведешь вечер.

— Ни пуха ни пера.

Он неловко улыбнулся. Она догадалась, что он не может

ее понять. Джулия выскользнула из квартиры, и, если бы она не была ведущей английской актрисой и женщиной, которой далеко за сорок, она бы проскакала на одной ножке до самого дома. Она была страшно довольна. Джулия открыла парадную дверь своим ключом и захлопнула ее за собой.

«А в словах Роджера, пожалуй, что-то есть. Любовь и вправду не стоит всего того шума, который вокруг нее поднимают».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Четыре часа спустя все было уже позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала; публика, самый бомонд, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре, и ей нетрудно было угодить. Это было удачным началом театрального сезона. Каждый акт завершался бурными аплодисментами. После окончания спектакля было больше десяти вызовов. На последние два Джулия выходила одна, и даже она была поражена горячим приемом. Прерывающимся от волнения голосом она произнесла несколько слов, — приготовленных заранее, — которых требовал этот торжественный случай. Затем на сцену вышла вся труппа, и оркестр заиграл национальный гимн. Джулия, довольная, взволнованная, счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе. Никогда еще не играла с таким блеском, разнообразием и изобретательностью. Пьеса кончалась длинным монологом, в котором Джулия — удалившаяся на покой проститутка — клеймит легкомыслие, никчемность и аморальность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Монолог занимал в тексте целых две страницы, и вряд ли в Англии нашлась бы еще актриса, которая могла бы удержать внимание публики в течение такого долгого времени. Благодаря своему тончайшему чувству ритма, богатому оттенками прекрасному голосу, мастерскому владению всей палитрой чувств, Джулия сумела, при ее блестящей актерской технике, сотворить чудо — превратить свой монолог в захватывающий, эффектный, чуть не зримый кульминационный пункт всей пьесы. Самые острые сюжетные ситуации не могли быть столь волнующими, никакая, самая неожиданная развязка — столь поразительной. Все актеры играли превосходно, за одним исключением — Эвис Крайтон.

Направляясь в уборную, Джулия весело мурлыкала что-то себе под нос.

Майкл зашел почти вслед за ней.

— Что ж, победа за нами, — сказал он и, обняв Джулию, поцеловал ее. — Господи, как ты играла!

— Ты и сам был очень хорош, милый.

— Ну, такую роль я могу сыграть, стоя на голове, — ответил он беззаботно, как всегда скромный в отношении собственных возможностей. — Ты слышала, какая тишина была в зале во время твоего последнего монолога? Критики будут сражены.

— Ну, ты знаешь, что такое критики. Все внимание чертовой пьесе и три строчки под конец — мне.

— Ты — величайшая актриса Англии, любимая, но, клянись богом, ты — ведьма.

Джулия широко открыла глаза, на ее лице было самое простодушное удивление.

— Что ты хочешь этим сказать, Майкл?

— Не изображай из себя невинность. Ты прекрасно знаешь. Старого воробья на мякине не проведешь.

Его глаза весело поблескивали, и Джулии было очень трудно удержаться от смеха.

— Я невинна, как новорожденный младенец.

— Брось. Если кто-нибудь когда-нибудь подставлял другому ножку, так это ты сегодня — Эвис. Я не мог на тебя сердиться, ты так красиво это сделала.

Тут уж Джулия была не в состоянии скрыть легкую улыбку. Похвала всегда приятна артисту. Единственная большая мизансцена Эвис была во втором акте. Кроме нее, в ней участвовала Джулия, и Майкл поставил сцену так, что все внимание зрителей должно было сосредоточиться на девушке. Это соответствовало и намерению драматурга. Джулия, как всегда, следовала на репетициях всем указаниям Майкла. Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выступала на генеральной репетиции. Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое, из сверкающей серебряной парчи, и, к удивлению Майкла и ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во втором акте. Его блеск и то, как оно отражало свет, отвлекало внимание зрителей. Голубое платье Эвис выглядело рядом с ним линиялой тряпкой. Когда они подошли к главной мизансцене, Джулия вынула откуда-то — как фокусник вынимает из шляпы кролика — большой платок из

пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, она расправляла его у себя на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала им лоб, изящно сморкалась в него. Зрители, как замороженные, не могли оторвать глаз от красного лоскута. Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики, Эвис приходилось обращаться к залу спиной, а когда они сидели вместе на диване, взяла девушку за руку, словно бы повинуюсь внутреннему порыву, совершенно естественным, как казалось зрителям, движением и, откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль к публике. Джулия еще на репетициях заметила, что в профиль Эвис немного похожа на овцу. Автор вложил в уста Эвис строки, которые были так забавны, что на первой репетиции все актеры покатались со смеху. Но сейчас Джулия не дала залу осознать, как они смешны, и тут же кинула ей ответную реплику; зрители, желая услышать ее, подавили свой смех. Сцена, задуманная как чисто комическая, приобрела сардонический оттенок, и персонаж, которого играла Эвис, стал выглядеть одиозным. Эвис, не слыша ожидаемого смеха, от неопытности испугалась и потеряла над собой контроль, голос ее зазвучал жестко, жесты стали неловкими. Джулия отобрала у Эвис мизансцену и сыграла ее с поразительной виртуозностью. Но ее последний удар был случаен. Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платочек; этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение: она поглядела на Эвис встревоженными глазами, и две тяжелые слезы покатались по ее щекам. Вы чувствовали, что она сгорает со стыда за ветреную девицу, вы видели ее боль из-за того, что все ее скромные идеалы, ее жажда честной, добродетельной жизни осмеиваются столь жестоко. Весь эпизод продолжался не больше минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли. С Эвис было покончено навсегда.

— А я, дурак, еще хотел подписать с ней контракт,— сказал Майкл.

— Почему бы и не подписать...

— Когда ты имеешь против нее зуб? Да ни за что. Ах ты, гадкая девчонка,— так ревновать! Неужели ты думаешь, Эвис что-нибудь для меня значит? Могла бы уже знать, что для меня нет на свете никого, кроме тебя.

Майкл вообразил, что Джулия сыграла свою злую шутку с Эвис в отместку за довольно бурный флирт,

который он с ней завел, и хотя, конечно, сочувствовал Эвис — ей чертовски не повезло! — не мог не быть польщенным.

— Ах ты, старый осел, — улыбнулась Джулия, слово в слово читая его мысли и смеясь про себя над его заблуждением. — В конце концов, ты — самый красивый мужчина в Лондоне.

— Полно, полно. Но что скажет автор? Эта мартышка бог весть что мнит о себе, а то, что ты сегодня сыграла, и рядом не лежит с тем, что он написал.

— А, предоставь его мне! Я все улажу.

Послышался стук, и — легок на помине — в дверях возник автор собственной персоной. С восторженным криком Джулия подбежала к нему, обвила его шею руками и поцеловала в обе щеки.

— Вы довольны?

— Похоже, что пьеса имела успех, — ответил он довольно холодно.

— Дорогой мой, она не сойдет со сцены и через год. — Джулия положила ладони ему на плечи и пристально посмотрела в лицо. — Но вы гадкий, гадкий человек!

— Я?

— Вы едва не погубили мое выступление. Когда я дошла до этого местечка во втором акте и вдруг поняла, что вы имели в виду, я чуть не растерялась. Вы же знали, что это за сцена, вы — автор, почему же вы позволили нам репетировать ее так, будто в ней нет ничего, кроме того, что лежит на поверхности? Мы только актеры, вы не можете ожидать от нас, чтобы мы... чтобы мы постигли всю вашу тонкость и глубину. Это лучшая мизансцена в пьесе, а я чуть было не испортила ее. Никто, кроме вас, не написал бы ничего подобного. Ваша пьеса великолепна, но в этой сцене виден не просто талант, в ней виден гений!

Автор покраснел. Джулия глядела на него с благоговением. Он чувствовал себя смущенным, счастливым и гордым.

(«Через сутки этот олух будет воображать, что он и впрямь именно так все и задумал».)

Майкл сиял.

— Зайдемте ко мне, выпьем по бокальчику виски с содовой. Не сомневаюсь, что вам нужно подкрепиться после всех этих переживаний.

В то время, как они выходили из комнаты, вошел Том. Его лицо горело от возбуждения.

— Дорогая, это было великолепно! Ты поразительна! Черт, вот это спектакль!

— Тебе понравилось? Эвис была хороша, правда?

— Эвис? Ужасна.

— Милый, что ты хочешь этим сказать? Мне она показалась обворожительной.

— Да от нее осталось одно мокрое место! Во втором акте она даже не выглядела хорошенькой. («Карьера Эвис!») Послушай, что ты делаешь вечером?

— Долли устраивает прием в нашу честь.

— Ты не можешь как-нибудь от него отделаться и пойти ужинать со мной? Я с ума по тебе схожу.

— Что за чепуха! Не могу же я подложить Долли такую свинью.

— Ну пожалуйста!

В его глазах горел огонь. Джулия видела, что никогда еще не вызывала в нем такого желания, и порадовалась своему триумфу. Но она решительно покачала головой. В коридоре послышался шум множества голосов, они оба знали, что в уборную, обгоняя друг друга, спешат друзья, чтобы поздравить ее.

— Черт их всех подери! Как мне хочется тебя поцеловать! Я позвоню утром.

Дверь распахнулась, и Долли, толстая, потная, бурлящая энтузиазмом, ворвалась в уборную во главе толпы, забившей комнату так, что в ней нечем стало дышать. Джулия подставляла щеки для поцелуев всем подряд. Среди прочих присутствующих там были три или четыре известные актрисы, и они тоже не скупилась на похвалы. Джулия выдала прекрасное исполнение неподдельной скромности. Теперь уже и коридор был забит людьми, которые хотели взглянуть на нее хоть одним глазком. Долли пришлось локтями прокладывать себе дорогу к выходу.

— Постарайтесь прийти не очень поздно,— сказала она Джулии.— Вечер должен быть изумительным.

— Приду сразу же, как смогу.

Наконец удалось избавиться от последних посетителей, и Джулия, раздевшись, принялась снимать грим. Вошел Майкл в халате.

— Послушай, Джулия, придется тебе идти к Долли без меня. Мне надо повидаться с газетчиками, и я не успею управиться. Ну и наплету я им!

— Ладно.

— Меня уже ждут. Увидимся утром.

Майкл вышел, в комнате осталась одна Эви. На стуле лежало платье, которое Джулия собиралась надеть на прием. Джулия намазала лицо очищающим кремом.

— Эви, завтра утром мне будет звонить мистер Феннел. Скажи ему, пожалуйста, что меня нет дома.

Эви поймала в зеркале взгляд Джулии.

— А если он позвонит снова?

— Мне очень жаль обижать бедного ягненочка, но почему-то кажется, что все ближайшее время я буду очень занята.

Эви громко шмыгнула носом и подтерла его указательным пальцем. Отвратительная привычка!

— Понятно, — сухо сказала она.

— Я всегда говорила, что ты не так глупа, как кажешься. Зачем тут это платье?

— Это? Вы же говорили, что наденете его на прием.

— Убери его. Я не могу идти на прием без мистера Госселина.

— С каких это пор?

— Заткнись, старая карга. Позвони туда и скажи, что у меня ужасно разболелась голова и я вынуждена была уехать домой и лечь, а мистер Госселин придет попозже, если сможет.

— Прием устроен в вашу честь. Неужели вы так подведете несчастную старуху?

Джулия топнула ногой.

— Я не хочу идти на прием и не пойду!

— Дома пусто, вам нечего будет есть.

— Я не собираюсь ехать домой. Я поеду ужинать в ресторан.

— С кем?

— Одна.

Эви изумленно взглянула на нее.

— Но пьеса имела успех, так ведь?

— Да. Все было прекрасно. Я на седьмом небе от счастья. Мне очень хорошо. Я хочу быть одна и полностью этим насладиться. Позвони к Баркли и скажи, чтобы мне оставили столик на одного в малом зале. Они поймут.

— Что с вами такое?

— У меня в жизни больше не будет подобной минуты. Я ни с кем не намерена ее делить.

Сняв грим, Джулия не накрасила губы, не подрумянилась. Снова надела коричневый костюм, в котором пришла в театр, и ту же шляпу. Это была фетровая шляпа с полями,

и Джулия низко надвинула ее, чтобы получше прикрыть лицо. Одевшись, посмотрела в зеркало.

— Я похожа на портниху со швейной фабрики, которую бросил муж,— и кто его обвинит? Не думаю, чтоб меня узнали.

Эви ходила звонить к служебному входу, и, когда она вернулась, Джулия спросила, много ли народу поджидает ее на улице.

— Сотни три.

— Черт!— Джулию охватило внезапное желание никого не видеть и ни с кем не встречаться. Захотелось хоть на один час скрыться от своей славы.— Попроси пожарника, чтобы выпустил меня с парадного входа. Я возьму такси, а как только я уеду, скажешь людям, что ждать бесполезно.

— Один бог знает, с чем только мне не приходится мириться,— туманно произнесла Эви.

— Ах ты, старая корова!

Джулия взяла лицо Эви обеими руками и поцеловала ее в испытые щеки, затем выскользнула тихонько из комнаты на сцену, а оттуда — через пожарный ход в темный зал.

Незатейливый маскарадный костюм Джулии, по-видимому, оказался достаточным, потому что, когда она вошла в малый зал у Баркли, который особенно любила, метрдотель не сразу ее узнал.

— У вас не найдется уголка, куда бы вы могли меня сунуть? — неуверенно произнесла Джулия.

Ее голос и вторично брошенный взгляд сказали ему, кто она.

— Ваш столик ждет вас, мисс Лэмберт. Нам передали, что вы будете одни.— Джулия кивнула, и он провел ее к столику в углу зала.— Я слышал, что вы имели большой успех сегодня, мисс Лэмберт.

Хорошие вести не лежат на месте!

— Что будем заказывать?

Метрдотель был удивлен тем, что Джулия ужинала одна, но единственное чувство, которое он считал уместным показывать клиентам, было удовольствие, которое он испытывал, видя их.

— Я очень устала, Анджело.

— Немного икры для начала, мадам, или устрицы?

— Устрицы, Анджело, только жирные.

— Я собственноручно их отберу, мисс Лэмберт, а потом?

Джулия глубоко вздохнула — наконец-то она могла с чистой совестью заказать то, о чем мечтала с самого конца

второго акта. Она чувствовала, что заслужила хорошее угощение, чтобы отпраздновать свой триумф, и собиралась в кои-то веки забыть о благоразумии.

— Бифштекс с луком, Анджело, жареный картофель и бутылку басса¹. Принесите его в серебряной кружке с крышкой.

Джулия не ела жареного картофеля, пожалуй, лет десять. Но этот день стоил того. Ей удалось утвердить свою власть над публикой, дав представление, которое она не могла назвать иначе, как блестящим, свести старые счеты, одним остроумным ходом избавившись от Эвис и показав Тому, какого он сваял дурака, и—это было самое главное—доказать себе, что она свободна от раздражавших и подавлявших ее пут. Везет так уж везет. Мысли ее на миг задержались на Эвис.

— Дурочка, захотела сунуть мне палку в колеса. Ладно, завтра я позволю публике посмеяться.

Принесли устрицы; Джулия лакомилась ими с наслаждением. Она съела два куса черного хлеба с маслом с восхитительным чувством, что губит свою бессмертную душу, и отпила большой глоток из высокой пивной кружки.

— «О, пиво, славное пиво!»² — пробормотала Джулия.

Она представляла, как вытянулось бы у Майкла лицо, если бы он узнал, что она делает. Бедный Майкл! Воображает, будто она испортила мизансцену Эвис из-за того, что он проявил слишком большое внимание к этой блондиночке. Право, жалость берет, когда подумаешь, как глупы мужчины. Говорят, женщины тщеславны; да они просто сама скромность по сравнению с мужчинами. Джулия не могла без смеха думать о Томе. Он хотел ее сегодня днем, и еще больше—сегодня вечером. Только подумать, что он значит теперь для нее не больше, чем один из рабочих сцены. Как замечательно чувствовать, что твое сердце принадлежит тебе одной, это вселяет такую уверенность в себя!

Зал, в котором она сидела, был соединен тремя арочными проходами с большим залом ресторана. Среди наполнявшей его толпы, несомненно, были люди, видевшие ее сегодня в театре. Вот бы удивились они, узнай, что тихая женщина, лицо которой наполовину скрыто полями фетровой

¹ Сорт пива.

² Начало стихотворения «Пиво» английского поэта Чарлза С. Коверли (1831—1884).

шляпы, за столиком в уголке соседней комнаты,— Джулия Лэмберт. Было так приятно сидеть тут незамечаемой и неизвестной, это давало сладостное ощущение независимости. Теперь посетители ресторана были актерами, разыгрывающими перед ней пьесу, а она — зрителем. Джулия видела их мельком, когда они проходили мимо арок: молодые мужчины и молодые женщины, молодые мужчины и молодые женщины; мужчины с лысиной, с брюшком; старые греховодницы, отчаянно цепляющиеся за раскрашенную личину юности, надетую ими на себя. Одни были влюблены, другие равнодушны, третьи — сгорали от ревности.

Подали бифштекс. Он был приготовлен точно по ее вкусу, с подрумяненным хрустящим луком. Джулия ела жареный картофель, деликатно держа его пальцами, смакуя каждый ломтик, с таким видом, словно хотела воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

«Что такое любовь по сравнению с бифштексом?» — спросила себя Джулия. Как восхитительно было сидеть одной и бесцельно переходить мыслями с предмета на предмет. Джулия вновь подумала о Томе и пожала в душе плечами. «Это было забавное приключение и кое-что мне дало».

Несомненно, в будущем она извлечет из него пользу. Фигуры танцоров,двигающихся мимо полукруглых проходов, напоминали ей сцену из пьесы, и Джулия вновь подумала о том, что впервые пришло ей в голову, когда она гостила в Сен-Мало. Та мука, которая терзала ее, когда Том ее бросил, привела ей на память «Федру» Расина, которую она разучивала в ранней юности с Жанной Тэбу. Джулия перечитала трагедию. Страдания, поразившие супругу Тезея, были те же, что поразили и ее. Джулия не могла не видеть удивительного сходства между своей и ее судьбой. Эта роль была создана для нее; уж кому, как не ей, знать, что такое быть отвергнутой юношей намного моложе тебя, когда ты его любишь. Вот это было бы представление! Теперь Джулия понимала, почему весной играла так плохо, что Майкл предпочел снять пьесу и закрыть театр. Это произошло из-за того, что она на самом деле испытывала те чувства, которые должна была изображать. От этого мало проку. Сыграть чувства можно только после того, как преодолешь их. Джулия вспомнила слова Чарльза, как-то сказавшего ей, что поэзия проистекает из чувств, которые понимаешь тогда, когда они позади и становишься безмятежен. Она ничего не смыслит в поэзии, но в актерской игре дело обстоит именно так.

«Неглупо со стороны бедняжки Чарльза дойти до такой оригинальной мысли. Вот как неверно поспешно судить о людях. Думаешь, что аристократы — сборище кретинов, и вдруг один из них выдаст такое, что прямо дух захватывает, так это чертовски хорошо».

Но Джулия всегда считала, что Расин совершает большую ошибку, выводя свою героиню на сцену лишь в третьем акте.

«Конечно, я такой нелепости не потерплю, если возьмусь за эту роль. Пол-акта, чтобы подготовить мое появление, если хотите, но и этого более чем достаточно».

И правда, что ей мешает заказать кому-нибудь из драматургов вариант на эту тему, в прозе или в стихах, только чтобы строчки были короткие. С такими стихами она бы справилась, и с большим эффектом. Неплохая идея, спору нет, и она знает, какой костюм надела бы: не эту развешивающуюся хламиду, которой обматывала себя Сара Бернар, а короткую греческую тунику, какую она видела однажды на барельефе, когда ходила с Чарльзом в Британский музей.

«Ну, не забавно ли? Идешь во все эти музеи и галереи и думаешь: ну и скучища, а потом, когда меньше всего этого ждешь, обнаруживаешь, что можешь использовать какую-нибудь вещь, которую ты там увидел. Это доказывает, что живопись и все эти музеи — не совсем пустая трата времени».

Конечно, с ее ногами только и надевать тунику, но удастся ли в ней выглядеть трагически? Джулия две-три минуты серьезно обдумывала этот вопрос. Когда она будет изнывать от тоски по равнодушному Ипполиту (Джулия хихикнула, представив себе Тома в его костюмах с Сэвилроу, замаскированного под юного греческого охотника), удастся ли ей добиться соответствующего эффекта без кучи тряпок? Эта трудность лишь подстегнула ее. Но тут Джулии пришла в голову мысль, от которой настроение ее сразу упало.

«Все это прекрасно, но где взять хорошего драматурга? У Сары был Сарду¹, у Дузе — Д'Аннунцио². А кто есть у меня? «У королевы Шотландии прекрасный сын, а я — смоковница бесплодная»³.

¹ Сарду Викторьен (1831—1908) — французский драматург.

² Д'Аннунцио Габриэль (1863—1938) — итальянский писатель.

³ Перефразированные слова королевы Елизаветы I, приведенные в «Мемуарах сэра Джеймса Мелвилла», деятеля эпохи Реформации.

Однако Джулия не допустила, чтобы эта печальная мысль надолго лишила ее безмятежности. Душевный подъем был так велик, что она чувствовала себя способной создавать драматургов из ничего, как Девкалион создавал людей из камней, валявшихся на поле¹.

«О какой это ерунде толковал на днях Роджер? А бедный Чарлз еще так серьезно отнесся к этому. Глупый маленький резонер, вот он кто».

Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмости, где разыгрывается представление.

«Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры»². Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия, лишь мы, артисты, реальны в этом мире. Вот в чем ответ Роджеру. Все люди — наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства, мы создаем из них красоту, их жизненное назначение — быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они инструменты, на которых мы играем, а для чего нужен инструмент, если на нем некому играть?»

Эта мысль развеселила Джулию, и несколько минут она с удовольствием смаковала ее; собственный ум казался ей удивительно ясным.

«Роджер утверждает, что мы не существуем. Как раз наоборот, только мы и существуем. Они тени, мы вкладываем в них телесное содержание. Мы — символы всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнью, а только символ реален. Говорят: игра — притворство. Это притворство и есть единственная реальность».

Так Джулия своим умом додумалась до платоновской теории «идей». Это преисполнило ее торжеством. Джулия ощутила, как ее внезапно залила горячая волна симпатии к этой огромной безымянной толпе, к публике, которая существует лишь затем, чтобы дать ей возможность выразить себя. Вдали от всех, на вершине своей славы, она рассматривала кишащий у ее ног, далеко внизу, людской

¹ Девкалион в греческой мифологии — сын Прометея, супруг Пирры, вместе с нею спасся на ковчеге во время потопа, который должен был по воле Зевса погубить греховный род человеческий. Ковчег после потопа остановился на горе Парнас. Новый род людской возник из камней, брошенных за спину Девкалионом и Пиррою по совету оракула Фемиды.

² Шекспир Вильям. Как вам это нравится.

муравейник. У нее было удивительное чувство свободы от всех земных уз, и это наполняло ее таким экстазом, что все остальное по сравнению с ним не имело цены. Джулия ощущала себя душой, витающей в райских кущах.

К ней подошел метрдотель и спросил с учтивой улыбкой:

— Все в порядке, мисс Лэмберт?

— Все великолепно. Знаете, просто удивительно, какие разные у людей вкусы. Миссис Сиддонс обожала отбивные котлеты; я в этом на нее ни капельки не похожа, я обожаю бифштекс.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«ЛУНА И ГРОШ»

Основные вехи сюжета «подсказаны» фактами человеческой и творческой судьбы французского художника Поля Гогена (1848—1903), поздно обратившегося к живописи, эмигрировавшего в 1891 г. в Полинезию и умершего там от проказы, однако нет никаких оснований рассматривать произведение Моэма как романизированное жизнеописание Гогена (см. вступительную статью).

Название романа, несомненно, несет определенный символический смысл, который критики стремятся «расшифровать». Идея названия — заострить несравнимость, изначальную несопоставимость абсолютно разномасштабных объектов, каковыми в данном случае выступают небесное светило и мелкая монета. В контексте романа это гротескное соположение может быть распространено на многое, например, на такие пары, как творческая вселенная Стрикленда — и мир буржуазной посредственности; великое искусство Стрикленда — и «прикладное» искусство среднебуржуазных гостиных, представленное творчеством Дирка Струве; Стрикленд-творец — и Стрикленд-эгоист и т. п.

Роман вышел в 1919 г. в Англии (апрель) и США (июль).

Он неоднократно переводился на русский язык: Могам В.-С. Луна и грош / Авторизованный пер. с англ. Э. и Б. Лебедевых.— М.: Круг, 1927; Могам В.-С. Луна и шестипенсовик / Пер. с англ. З. А. Вершининой.— Л.: Государственное издательство, 1928; Моэм В.-С. Луна и грош / Пер. с англ. Наталии Ман.— М.: Гослитиздат, 1960.

Перевод Н. Ман много раз переиздавался. Он был выправлен и отредактирован для издания: Моэм У.-С. Избранные произведения. В 2-х т.— М.: Радуга, 1985. В Собрании сочинений текст перевода дается по двухтомнику.

«ПИРОГИ И ПИВО, ИЛИ СКЕЛЕТ В ШКАФУ»

О прототипах писателей и критика в романе см. вступительную статью. Английские критики указывают на Дэзи из одноименной новеллы (первый сборник рассказов Моэма «Ориентации», 1899; впоследствии новеллы из него не переиздавались) как на прямую предшественницу Розы «Пирогов и пива». Подзаголовок романа отсылает к английскому идиоматическому выражению: «скелет в шкафу» — это малоприятная, а то и позорная тайна из прошлого, тщательно скрываемаемая от окружающих. В контексте романа таким «скелетом» выступает брак Дриффилда с Розой и тот факт, что она сбежала от мужа с любовником.

Роман печатался выпусками в журнале «Харперз базар» (март — июль 1930 г.). Отдельным изданием вышел почти одновременно в Англии (29.09.1930 г.) и США (03.10.1930 г.). Авторское предисловие к роману впервые появилось в английском издании 1950 г.

Существуют два перевода книги на русский язык. Перевод С. Котенко под названием «Сплошные прелести» опубликован:

Моэм В.-С. Сплошные прелести. Брэгг М. В Англии.— М.: Молодая гвардия, 1976. Перевод А. Иорданского опубликован: Моэм С. Пироги и пиво, или Скелет в шкафу. Острие бритвы.— М.: Художественная литература, 1981. В Собрании сочинений текст перевода дается по этому изданию.

«ТЕАТР»

Роман вышел почти одновременно в США (03.03.1937 г.) и Англии (22.03.1937 г.).

На русский язык переводился два раза. Сокращенный перевод М. Ермашевой опубликован в кн.: Современная английская новелла.— М.: Прогресс, 1969. Перевод Г. Островской впервые опубликован: Моэм У.-С. Малый уголок. Театр.— Минск: Мастацкая лitarатура, 1979. С тех пор он многократно переиздавался. В Собрании сочинений текст перевода дается по минскому изданию.

В. Скороденко

СОДЕРЖАНИЕ

ЛУНА И ГРОШ. Роман. <i>Перевод Н. Ман</i>	7
ПИРОГИ И ПИВО, ИЛИ СКЕЛЕТ В ШКАФУ. Роман. <i>Перевод А. Иорданского</i>	189
ТЕАТР. Роман. <i>Перевод Г. Островской</i>	359
Библиографическая справка <i>В. Скороденко</i>	568

Мозэм У.-С.

М 87 Собрание сочинений. В 5 т. Т. 2. Луна и грош: Роман; Пирог и пиво, или Скелет в шкафу: Роман; Театр: Роман: Пер. с англ./Редкол.: Н. Демурова и др.; Сост. В. Скороденко.— М.: Худож. лит., 1997. — 571 с.
ISBN 5-280-03205-0 (Т. 2)

Во второй том Собрания сочинений Уильяма Сомерсета Моэма вошли его романы «Луна и грош» (1919), «Пирог и пиво, или Скелет в шкафу» (1930), «Театр» (1937).

ББК 84(4Вл)

Уильям Сомерсет Моэм
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
Том второй

Редакторы *Н. Будавей, С. Митюшина*
Художественный редактор *Л. Калитовская*
Технический редактор *Л. Платонова*
Корректор *О. Наренкова*

Изд. лиц. № 010153 от 14.02.97.

Подписано к печати с готовых диапозитивов 27.02.97. Формат 84x108¹/₃₂. Бумага типогр. Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отг. 30,24. Уч.-изд. л. 33,77. Тираж 10 000 экз. Заказ 840

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано в Венгрии при участии фирмы
«ИНТЕРПРЕСС»
г. Будапешт

Книги издательства можно приобрести в фирменном магазине «Пегас» по адресу: 107882, г. Москва, ул. Ново-Басманная, 19 (метро «Красные ворота»), тел.: (095) 261-85-41.

Форма оплаты любая.

*По вопросам закупки тиражей и оптовых партий обращаться в
отдел реализации издательства.*

Тел.: (095) 267-22-25 или (095) 267-61-61.